Приложение к газете
«День литературы»

Главный редактор:
Владимир
БОНДАРЕНКО

Выпускающий редактор:
Валентина
ЕРОФЕЕВА

Редакционный совет:
Вера
ГАЛАКТИОНОВА,
Сергей
КУНЯЕВ,
Станислав
ПАРФЁНЦЕВ,
Михаил
ПОПОВ,
Захар
ПРИЛЕПИН,
Александр
ПРОХАНОВ,
Алексей
ШОРОХОВ

Адрес редакции:
119146, г. Москва,
Комсомольский
проспект, 13

Телефон:
+7 (499) 246-53-11

Email:
denlitera@yandex.ru

Сайт:
denlit.ru

Регистрационный №
ПИ 77-7768
от 9 апреля 2001 г.

ДЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ

Журнал русских писателей

№2, 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ОТ РЕДАКЦИИ.....3

ПРОЗА

Николай ИВАНОВ. Тридевятое царство. *Рассказ*.....5
Михаил ТАРКОВСКИЙ. Фарт. *Рождественская повесть*.....22
Юрий ОНОПРИЕНКО. Грод умных лошадей. *Роман*.....84
Иван ПРИВАЛОВ. Камин. *Рассказ*.....162
Евгений РУССКИХ. Пять монахов. *Рассказ*.....176
Ян ТАКСЮР. Гости с майдана. *Рассказ*.....183
Сергей ШМАКОВ. Делай то, что страшно. *Рассказ*.....192
Виктор ДОБРОСОЦКИЙ. *Рассказы*.....196
Вадим АНДРЕЕВ. Психоанализ. *Рассказ*.....206
Валерий СДОБНЯКОВ. Лестница. *Рассказ*.....220

РУССКАЯ ИДЕЯ

Владимир Личутин. Пять русских мифов. *Беседует Алексей Шорохов*.....235

КРИТИКА

Владимир БОНДАРЕНКО. «На Севере – русская душа...».
О романе Дмитрия Новикова «Голомяное пламя».....247
Алексей ШОРОХОВ. Русский вопрос у Валентина Распутина.....252
Влад ЧЕРЕМНЫХ. Герой Михаила Тарковского.
Заметки на полях романа «Полёт совы».....258
Кирилл ШИШОВ. Избранница муз.
Заметки о творчестве Нины Ягодинцевой.....261

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Максим ЯКОВЛЕВ. Пушкин в июле.....269
Григорий БЛЕХМАН. Снежная улыбка или Александр Блок в моей жизни...288
Дмитрий ЕРМАКОВ. Норинская ссылка – в гости к Бродскому.....350

ОТ РЕДАКЦИИ

Наш ежемесячник «День литературы» дополнился журналом. Накануне своего 20-летия газета «День литературы» выпустила первое в своей истории «толстое» приложение – журнал «День литературы». Пока планируется выпускать новый номер журнала раз в квартал.

Каким нам видится это новое издание? Логично предположить, что журнал, возникший как приложение к ежемесячной литературной газете, унаследует её дух и традиции. Конечно же, очищенные от «злобы дня» и того публицистического задора, что всегда отличали «День литературы» в ряду других литературных изданий.

Но не только. Журнал «День литературы» делает сознательную ставку на Большую русскую прозу: романы, повести, новеллы. То, в чём мы можем сегодня увидеть и понять наше время; то, что, собственно, и останется от нашего времени. Отсюда принцип: один журнал – один роман (повесть, несколько рассказов). Печатать из номера в номер бесконечные «продолжения» в век интернета и социальных сетей, на наш взгляд, – непозволительное барство, если не сказать: неуважение к читателю.

Разумеется, журнал «День литературы» не откажется от последовательной и неизменной позиции издания на протяжении 20 лет, и вслед за газетой готов манифестировать: это журнал русских писателей. Поэтому обсуждение «национальной идеи» России и судеб русского народа – будет по-прежнему ярко и целенаправленно освещаться на его страницах.

Следующим, но не менее важным, мы считаем обязательное присутствие на страницах «ДЛ» современной литературной критики, и сделаем всё, чтобы привлечь к нам все здоровые аналитические силы, украшающие современный литературный процесс.

Кстати, о литературном процессе. В последние десятилетия в русской литературе сложилась странная ситуация, при которой Москва – это столица Москвы. И большая часть литературных изданий занимается обслуживанием (скорее самообслуживанием) небольшой группы литераторов, прописанных внутри МКАДа. Добавить к ним ещё несколько имён из Петербурга и выехавших на ПМЖ в Европу – и мы получим законченный премиальный список русскоязычных литераторов последних 10-15 лет.

И как в жанровой политике журнал «День литературы» делает ставку на Большую русскую прозу, так и в своих географических предпочтениях остаётся верен Большой России и её многочисленным и удивительно талантливым писателям. Понимая под Большой Россией, разумеется, не временно ужатую РФ, а всю историческую нашу Родину!

И последнее: чего не дождутся от журнала «День литературы»? Русская литература – это, помимо всего прочего, ещё и чувство достоинства. И точно так же, как ежемесячник «День литературы» никогда не участвовал в околописательских дрязгах, связанных с переделом писательской собственности или властными амбициями тех или иных литературных функционеров, – журнал «День литературы» обещает своим читателям заниматься русской литературой и только русской литературой, в той самой степени, в какой она неотделима от судеб нашей Родины.

Подписаться на журнал и получать его можно в редакции на Комсомольском, 13 (второй этаж).

Внимание! В связи с капитальным ремонтом нашего здания изменился наш телефон: ***8-499-246-53-11.***

Электронные координаты сайта: ***denlit.ru***

Электронная почта: ***denlitera@yandex.ru***

Николай ИВАНОВ

ТРИДЕВЯТОЕ ЦАРСТВО

Рассказ

1.

Грудки были такие маленькие, что хватило двух камушков, чтобы прикрыть их от солнца.

– Везёт же некоторым.

Покрывало, раскладываемое рядом, овеяло Алёну жарким ветерком. Глаза можно не открывать – Зинка-продавщица из Военторга. А вот уши бы замуровать...

– Мне в детстве говорили, что я копия отца. Радовалась – худенькая буду. А сейчас в зеркало гляну: «Здравствуй, мама!». Кто-то весь торт съест – и ничего, я же только гляну на него, а по бокам уже по 5 килограммов нависло. Ничего, что я рядышком?

Господи, неужели не наговорилась в своём Ванькином торге? И только бы не начинала о своём разводе...

– Я тут подумала, почему у меня не сложилась семейная жизнь: кольцо свадебное я ведь сама себе купила! Пожалела мужа, чтоб не вкалывал по ночам. А он и не стал вкалывать. После свадьбы тем более... Глянь-ка, что тут можно сделать?

Военторг, конечно, желудок армии, но при чём здесь нервы подруг, прилегших позагорать в послеобеденный отдых? Что ещё?

– Женихи все ноги оттоптали, – попробовала оправдаться за плохо подогнанные берцы Зина, отдирая лейкопластырь со

сбитых пяток. – А на что они мне? – Несмотря на возглас, тема была ей приятна: – Это девки любят красивых, а мы – уже порядочных, – то ли превознесла себя, оправдав отсутствие женихов, то ли опустила напарницу.

– Зайдёшь ко мне – смажу, – вернула камешки на место приподнявшаяся было Алёна. На войне нет разницы в днях недели, но вот напомнила, что понедельник – день по-прежнему тяжёлый.

– Он у меня как прогноз погоды был – всё всегда не вовремя.

Похоже, она сама всегда была в семейной жизни не вовремя. Так что лейкопластырь на рот клеить надо, а не на пятки...

– Я ж ещё не успела согрешить, только в мыслях, а уже – расплата. Сам, небось, направо и налево... Уходишь?

Убегает. Лучше к больным и раненым, чем в чужие семейные дрязги:

– Надо причёску какую-никакую сделать.

Масксеть, укрывшая пляжную полянку, рассеивала не только солнце, но и возможные мужские взгляды. Да и принявший под опеку женский лагерь командир морской пехоты из Балтийска старший лейтенант Мережко не только расположил свои палатки по периметру женской обители, но и наставил вдоль колючки сигнальных мин-ловушек. Сам не ам, и другому не дам...

Подоспело и известие, что старлей одинаково хорошо играет и на гитаре, и на снайперской винтовке. По крайней мере, один из командировочных майоров, вздумавший «нежданчиком» проверить караульную службу пехотинцев, научился плясать лезгинку именно под пулями, впивавшимися под его подошвами. После этого стало окончательно ясно, что даже в госпиталь, располагавшийся средь женских палаток, можно попасть лишь двумя путями – раненым с поля боя или с температурой в сопровождении ротного санинструктора. Лагерь окрестили «Тридевятым царством», намекая и на контингент «Особо Охраняемого Объекта», и на географическую принадлежность морпехов из Калининградской области, по автомобильным номерам отнесённой к 39 региону. А высшей похвалой Мережко стало то, что со временем название женского лагеря перешло сначала на весь военный городок, а затем даже в радиопереговоры между «духами».

– Какая операция? – послышался среди палаток голос начмеда, и Алёна торопливо застегнулась до последней пуговички на халате. – Пусть гороскоп глянет – все созвездия раком стоят. Операция ему... Если зимой умирать неудобно, то весной – жалко. Так и передай хирургу. Мухой.

Меж палаток не мухой, конечно, но запущенным по воде «блинчиком» – плюх-плюх-плюх – пропрыгал дежурный по медбату: видать, берцы и впрямь в последней партии завезли слишком жёсткие, если хромает каждый второй. Алёна упорхнула вслед за попрыгунчиком, а Зина, отложив бутерброд с любимым паштетом и огурчиком сверху со шпротинкой для усиления вкуса, схватила оставшиеся бесхозными камешки. Примерила на свою вольготно расплывшуюся грудь. Размера не хватило укрыть даже коричневый ореол, и продавщица, словно Алёна была виновата в её дородности, связала уход медсестры со своей прошлой жизнью:

– Причёски у неё нет... Подойди к мужу, назови козлом, и он тебе такой начёс соорудит!

За причёску Алёны она могла бы не беспокоиться: мужа у той не имелось, а что заглядывается на неё капитан-вертолётчик, так об этом разве что плакаты на строевом плацу не сообщали. Однако следовало быть честным: своё личное отношение к летуну она не выказывала, так что надеялся

на благосклонность местной дюймовочки и командир разведроты, про чью симпатию к Алёне не прошелестела ни одна травинка. Тайну морпеха мог бы распознать Зигмунд Фрейд, расшифровав рвение старлея по охране «Тридевятого царства», да только в армии в начале девяностых были ликвидированы даже обыкновенные военные психологи: мало ли что нашепчут человеку с ружьём, к чему призовут и кого любить заставят! Боялась армию новая власть, а Чечня позволяла держать наиболее толковых офицеров подальше от Москвы!

– Маликова! – раздалось средь палаток, и Алёна застыла, зажмурившись от досады: не успела прошмыгнуть мимо начмеда. И хотя погон не носила, повиновалась общему порядку и повернулась к начальнику по-военному.

Подполковник сидел на ящике из-под артиллерийских снарядов, служившем лавочкой у перевязочной палатки. Махнул рукой – подойди, я набегался. Право подзывать женщин давали не два просвета на погонах, а красные нашивки за ранения, да ещё обе в ноги.

– Ты мне дисциплину здесь не расхолаживай, – отчитал первым делом, но было непонятно, имел он в виду вертолётчика или извивы белого тела сквозь масксеть. – Думаешь, одна тут? У них, – кивнул за колючую проволоку, намекая на мужчин, – душа, конечно, радеет о работе, но ноги просятся в санчасть. И нет бы по нужде, а то ведь из-за таких красивых, как ты.

И вновь никакой конкретики. Просто виновата. На всякий случай! Ноздри раздуваются, как голенища, на избитом оспинами лице сжатые в линеечку полные губы. А ведь фамилия у него самая добрая из всех возможных медицинских – Сердцев. Подполковник Сердцев. Только вот ни к обличью, ни к характеру, видят Бог и Гиппократ, она не подходит. Да и не держатся пришлёпки на старом асфальте: говорят, менял он её. Тоже с почти медицинской, кстати – Могильщиков. В начале службы, дурачась, даже вывешивал её в самой яркой и крупной табличке на дверях кабинета: милости прошу на приём. Улыбался, глядя, как напрягаются пациенты. Однако после первой Чечни фамилия стала столь реально зловещей, что в отпуске переписал удостоверение личности. К сожалению, потока раненых и «двухсотых» это не остановило...

– Что дома? – совершенно неожиданно, как если бы вместо лекции о международном положении на сцене запел оперный певец, поинтересовался начальник.

– Мамка ждёт, – пропела свою арию Алёна.

– Мамка, – пробурчал подполковник, помассировав щиколотку. Видать, полоснуло ногу именно там. – Женихи должны ждать. Возьми на складе сорок ИП, отнеси Мережко. И под роспись!

– Сорок? – переспросила Алёна. Начмед никогда не ошибается, но и выдавать столько дополнительных индивидуальных пакетов... Морпехи идут на задание? И какое оно должно быть, если майор прогнозирует столько ранений?

Сердцев так зыркнул, что Алёна, как только что дежурный, понеслась к складу едва ли не над тротуарной крошкой.

– Сорок, – повторил начмед для себя. Именно сорок, потому что слишком хорошо знал район будущего десанта. Верхняя красная нашивка – оттуда.

Из палатки вышел, блестя бинтом на культе, священник. Улыбнулся счастливо солнцу. Ещё бы – жив остался, хотя руку не уберёг: отрубили в плену, чтобы не крестился и не молился. – Присаживайся, батюшка. Через недельку-полторы начнём заниматься протезом.

Священник, по возрасту не старше капитана, а потому никакой для подполковника не отец Иоанн, неуверенно перекрестился культяшкой, сам пока не зная, можно ли осенять себя левой рукой. На всякий случай подбодрил себя короткой молитовкой – словно маковым зёрнышком сдобу приправил. Божье слово – оно всегда слева направо читается, ему хоть обе руки утрать, а правда останется посредине. В сердце.

– Там Мережко на боевые готовится. Можно было бы среди бойцов походить, – скорее предположил подобную возможность, чем попросил Сердцев. – Тем более что, – кивнул на культю, – в те края собирается, где оставил руку.

Замполитов, как и психологов, в армии тоже сократили аккурат под чеченскую кампанию, посчитав заботу о душе и настрое солдата на войне советским анахронизмом. Или, опять-таки, не веря в замполитов, непонятно на что способных подбить подчинённых. Лучше уж оставить командиров их один на один с боевым приказом, оружием, боеприпасами, сухпайком, медициной, связью, артиллерией, авиацией. Вот тут уж им точно будет не до политики. И всё бы ничего, только вот солдатики – они вчера ещё в школе учились, мамку слушались, они ещё в разговор по душам верят. Тем более перед боем. А разговора нет, потому что командир с оружием, боеприпасами, жратвой, взаимодействием с авиацией и артиллерией...

2.

Солдат развлекал белобрысый вертолётчик, рассевшийся на вытащенном из палатки стульчике. Автомат рядом с ним и малюсенькая щепотка подвявших горных цветочков в руках говорили о его недавнем возвращении с задания. Кому предназначался букетик, гадать тоже не приходилось, и даже если капитан ущипнул цветочки с горной гряды на лету, высунувшись из кабины, это лишь ещё больше указывало на адресата, ради которого можно делать пируэты в небе.

– Она сейчас будет, за второй партией ИП побежала, – дали капитану целеуказание морпехи. – Товарищ капитан, а...

Ни получить вопрос, ни тем более ответить на него вертолётчик не успел: к палатке торопливо шёл Мережко. Развязавшиеся шнурки хлестали по ногам плетьми, но он, всегда щёголь, на этот раз не замечал небрежности в экипировке. Его бесил приказ с непонятным исходом и спешка, с которой требовалось оседлать одну из горушек, простреливаемую со всех сторон. А тут ещё посторонние по лагерю, как гуси в проходном дворе...

– Дежурный!

Сержант едва не вынес на своих плечах палатку, как плащ-накидку, и памятником замер перед командиром.

– Почему посторонние на территории лагеря?

– Да это же капитан с «вертушки», на которой неделю назад...

– Я говорил, что любого заходящего на нашу территорию, вне зависимости от регалий, пугать так, чтобы потом воробей мимо них пролетал – а они боялись? Сдать повязку!

В армии нет у человека аксельбанта – нет при нём и адъютанта. Сержант, стянув с рукава красную полоску, из повелителя времени и душ солдатских превратился в неотёсанную глыбу, случайно оказавшуюся на пути командира.

Голос Мережко не понижал, и прорезиненная ткань палаток превратилась в сплошное солдатское ухо. Городок затих, и только вертолётчик, ос-

тавшийся в одиночестве, продолжал покачиваться на ножках стула. Солнце слепило глаза, и он прикрыл веки, что давало возможность не смотреть на разбушевавшегося по поводу порядка в городке морпеха. Если кто не знает: когда Бог раздавал на земле дисциплину, лётчики были в воздухе.

– Товарищ капитан, попрошу вас...

Капитан приоткрыл один глаз. В мареве изламывалась фигура солдатика, первым попавшегося под руку Мережко и произведённого в дежурные. Идёт изгнание из рая. Значит, табачок окончательно врозь. Но ничего, Устав – он на всех один, и тут ещё надо посмотреть, кто знает его лучше.

– Товарищ солдат, вас что, командиры не научили обращаться к старшим по званию?

Голос тоже не понизил. Не дело, конечно, двум офицерам при подчинённых выяснять, сколько стоят две копейки, но раз пошла такая пьянка...

– Вспомните Устав Внутренней службы и обратитесь строго по нему.

– Товарищ капитан, разрешите обратиться?

– Не разрешаю!

Всё! Устав соблюдён, ответ дебильный, из которого нет выхода, потому как его разработчики не могли даже предположить подобное. Но да, он, капитан Руслан Летников, просто не разрешает младшему по званию обращаться к себе. Извини, конечно, парень, но... Не я войну начал. И имею право вновь прикрыть глаза.

Послышались шаги Мережко – тяжёлые и стремительные одновременно, наверняка выбивавшие искры из каменной крошки. Будет сшибать стул с разгона? Главное, не открывать глаза. При грозе это лучшее детское средство спасения. Вот рядом. И – мимо! Конечно мимо, что он сделает. Хлёст полога в палатке. Тявкнула, словно собачонка, задетая ногой гитара. Вот и вся музыкальная комедия, и стоило ли начинать? Зато можно теперь уходить. Самому, а не под конвоем.

Капитан собрал на колене окончательно поникшие цветочки, потянулся за автоматом, дежурившим у ножки стула. Тот, предатель, юркнул от страха перед морпехом за спину хозяина, и Руслан встал. Где ты, подлый трус? Выползай.

Автомата не было! Ни под стулом, ни в собственной тени Летникова, ни около палатки. Куда положил-поставил?

– Дежурный, общее построение, – словно выходя теперь уже на арену цирка, распахнул полог палатки Мережко. С автоматом на плече. Ясно, что со своим. Остановился рядом с Летниковым, но словно пустой стене сообщил: – Извините, у меня построение. Прошу покинуть расположение.

– Не задержусь. Сейчас автомат отыщем...

– Оружие своё надо беречь. Солдат без оружия, как... ясно что в проруби.

Не уничижительное сравнение, а усмешка в уголках губ не понравилась вертолётчику. А что, если... Нет-нет, не может быть! Но и мимо стула проходил только он, Мережко. Он подхватил автомат? Бредни! Ведь это оружие, а не бутерброд для Халявы.

– Он стоял у меня здесь, – указал Летников даже не на стул, а на саму тропинку, по которой проходил морпех.

– Ничем не могу помочь! – О, как насмешливо вновь тронулись уголки губ. И впрямь ковёрный в центре цирковой арены. Уважаемая публика. Впервые на арене. Алле-оп! – Становись!

– Но автомат... Я не уйду без оружия!

Над городком пролетела на форсаже «Сушка», затмив все переговоры.

– Ничем не могу помочь! – не потратился на лишние слова старший лейтенант, едва стих небесный гром.

Летников снова осмотрелся вокруг. Да не может такого быть, чтобы оружие пропало. Что за игры?

Вытерев пот со лба, поёжился от озноба. Взгляд раз за разом притягивался к приоткрытому пологу палатки, единственно оставшейся не осмотренной. Бликуют, смеясь прямо в глаза, пластиковые бутылки с водой, висящие по её углам на случай тушения искр из «буржуек». Пожар уже есть, уже надо гасить тревогу, Мережко. Не солдаты же позволили себе так шутить!

Из-за палаток выпорхнула Алёна с охапкой перевязочных пакетов. Упёрлась в солдатский строй перед собой, хотела увернуться – укололась об Руслана. Верхний пакет выскользнул из рук, девушка попыталась поймать его, да только кто ж без подготовки сможет жонглировать двумя десятками тугих медицинских скруток?

Сержант, не успевший отвыкнуть от роли дежурного, дёрнулся из строя на помощь, но команда от Мережко не продублировалась, и наклонившаяся камуфляжная гора восстановилась, замерла на прежнем месте. Не успел подбежать в своей рясе и показавшийся батюшка, хотя какой жонглёр из однорукого? Ретивее всех оказался вертолётчик, но и ему досталось лишь собирать рассыпавшуюся медицину под взглядами пехотинцев. И только Мережко остался безучастным к происходящему. Не только приказ командующего группировкой был тому причиной. Ещё вчера медсестра шептала ему: «Засушу все твои поцелуи. Закатаю на зиму в банку, а когда тебя не окажется рядом, буду доставать по одному». А сегодня ей уже интересен спустившийся с небес летун? Выгадывает лучшую партию?

Летников донёс пакеты до своего стульчика, выложил на сиденье. Чтобы не ставить Алёну в неудобное положение под солдатскими взглядами, кивнул ей и баюкавшему, словно ребёнка, спеленатую культю священнику, и направился к выходу. Не понимая, что произошло за время её отсутствия, Алёна беспомощно огляделась. Увидев упавшие на землю цветочки, подняла их, положила на ладонь, поскольку держаться на увядших ножках они уже не могли. И хотя требовалась роспись Мережко за полученные ИП, решила не встревать в мужские разборки. Петляя средь натянутых растяжек от палаток, заторопилась обратно в медбат.

3.

А вот Летников вернулся достаточно быстро, Мережко только-только успел поставить роте боевую задачу.

Вместе с вертолётчиком к грибку часового подошёл и незнакомый майор с аккуратной бородкой в сопровождении двух капитанов. Часовой, помятуя о гневе ротного, попытался преградить им дорогу, но майор с улыбкой показал удостоверение, да ещё на всякий случай двинул вперёд плечо с большой звёздочкой. Как ни страшен был командир для часового, но от него в худшем случае ему светил наряд вне очереди, а тут шла прямая угроза уйти под трибунал.

– Старший лейтенант Мережко? – поинтересовался для порядка старший группы у вышедшего навстречу офицера. – Майор Павлов, особый отдел. Женщина, – позвал идущую через городок Зину. Та приосанилась грудью – первым и самым видимым, что всегда у той имелось под рукой. – Женщина, побудете понятой. Вы тоже! – узрел выглядывающую издалека, никуда не ушедшую Алёну. Дождался её. И для окончательного авторитета будущего процессуального действа едва ли не с хлебом-солью распростал

обе руки перед священником: – Отец Иоанн, я вас тоже попрошу поприсутствовать. Пройдёмте все в палатку.

Несмотря на то, что края тента, как подол у юбки, были у неё закатаны, а внутренность продувал ветерок, внутри было липко и душно. Летников первым делом оглядел помещение, отыскивая автомат. Смотреть-то особо негде – кровать, тумбочка, стол, шкафчик. Майор с непроходящей ехидной улыбочкой, выработанной всесильностью должности, дождался, когда палатку покинут прибиравшиеся в ней пехотинцы, и только после этого протянул старшему лейтенанту листок. Чтобы не терять времени на чтение бумаги, пояснил и ему, и замершим от любопытства женщинам:

– В особый отдел группировки от капитана Летникова поступило заявление, что вы воруете оружие. Не исключено, что для возможной продажи боевикам.

Пока Мережко хватал ртом воздух, майор дал волю сопровождающим его капитанам:

– Приступить к обыску.

Старший лейтенант ещё с первого раза не успел набрать воздуха, как он потребовался снова. А капитану хватило двух-трёх движений, чтобы обнаружить автомат под откинутым матрацем.

– Номер вашего автомата? – принимая находку от подчинённых, посмотрел майор на вертолётчика.

– ЛМ 13 84.

– Под матрацем на койке, принадлежащей старшему лейтенанту Мережко, – начал наговаривать протокол обыска особист, – обнаружен автомат под номером ЛМ – Люба, Маша, номер 13 84, исчезнувший у капитана Летникова. Арестовать!

На запястьях старлея в ту же секунду щелкнули всегда готовые к подобной работе наручники. Не менее громко щелкнула челюсть у Зины. Но здесь всё понятно, про них ей даже мать говорила: «С такими челюстями похудеешь! Ешь как три козы сразу». Алёна, ощущая слабость в ногах, ухватилась за центральный стояк палатки.

Вертолётчик потянулся за оружием, желая убедиться в точности цифр на ствольной коробке, но майор желанию не потрафил, оставил вещественное доказательство себе. Зато Летников перехватил умоляющий взгляд Алёны. Она не то что просила спасти главного охранника «Тридевятого царства», в её взгляде прочиталось недоумение: разве так можно? Ты так можешь?

Может. Вот так:

– Товарищ майор, я вспомнил. Извините. Но это я положил туда автомат. Мы пили чай, я и засунул, чтоб не облить кипятком. Старший лейтенант гитару, а я автомат.

Теперь в палатке вообще никто ничего не понимал. К старлею возвращалась незапятнанная карьера, к Летникову – оружие, к Алёне – уважение. Зина, ставшая невольным и прямым свидетелем разыгравшейся прямо перед её глазами драмы, предвкушала счастье – быть первой среди новостей «Тридевятого царства». Отец Иоанн, освобождённый от свидетельских показаний, невольно перекрестил своего избавителя-лётчика. Всё ещё по привычке культёй. И только майор, выставленный идиотом, пристально впивался взглядом в вертолётчика, пощипывая трёхдневную, слегка тронутую седым инеем, бородку: парень, это ты заварил кашу, и крайним лично я оставаться не намерен.

– Я забираю своё заявление, товарищ майор, потому что оказался неправ.

– Вы не просто неправы, товарищ капитан. Вы в боевой обстановке оклеветали командира подразделения. Вы понимаете, чем вам это грозит?

Летников пока не понимал, но ради теплеющего взгляда Алёны он готов был на многое. Да и не лёг грех на душу, батюшка свидетель. Хотя морпех – полный кретин, которого стоило проучить...

– Вы точно...

– Точно, – практически эхом повторил вертолётчик майора. И, как и он, посмотрел на понятых – для возможного протокола. – Я сам оставил автомат здесь. И забыл. Напряжение. После полёта...

Майор кивнул подчинённым, те с неохотой сняли наручники с морпеха. А благодарность от начальства за бдительность была так близка...

Напряжения в палатке добавили ворвавшиеся командиры ещё более высокого ранга – низенький, квадратненький вертолётчик полковник Громак и сам начальник гарнизона полковник Играев. Каждый из них подался к своему подчинённому, но возгласы получились практически одинаковые и одновременно:

– Наигрались? Орёлики, ланцепупы, фунтуклеи! Делать больше нечего? Развели тут... – оглядели женщин, дав понять, что причина конфликта ясна, как песня чукчи: – ...царство!

Поняв, что их миссия свидетелей закончена, Зина и Алёна с поклонами попятились от греха подальше. В палатке загрохотало, едва они добежали до грибка часового. Солдатик тоже с перепугу отдал им честь, собачонка Халява, пристроившаяся рядом в скособоченной от навеса тени, собственной шкурой почувствовала, что лучше и не гавкать, но и не провожать.

– Что это они? – спросила Зина, понимая, что всё же пропустила какое-то главное звено.

– Все мужики – козлы, – подыграла продавщице Алёна, вспомнив её определение мужскому полу. Разыгравшаяся из-за неё схватка её совершенно не устраивала, не грела и не придавала авторитета, а если начнутся разборки, то в любом противостоянии любая копейка – союзник рубля. И Зину лучше держать в подругах.

– Козлы, – с сожалением согласилась буфетчица. – Да только бы все вернулись.

– Откуда? Что всё-таки намечается?

– Говорили утром в очереди про Аргунское ущелье.

4.

Среди всевозможных «прелестей» Аргунского ущелья Чечни, где основной помехой для войск являлась труднодоступность местности, оно славилось и добычей гравия.

Работа считалась достаточно лёгкой, приспособленной для лентяев: с вершины горы к подножию спускалась полутораметровая металлическая труба со штырями внутри. Требовалось лишь подносить и бросать в жерло трубы камни, которые под собственной тяжестью летели вниз, самостоятельно дробясь в мельчайшую щебёнку о штыри. И всё бы ничего, если бы гравий не добывали русские пленные и рабы, пробивавшие в горах дорогу в приласкавшую боевиков Грузию. Время от времени «борцы за веру» бросали в трубу вместе с камнями провинившихся или ослабевших пленников – в назидание остальным. Имелось в такой публичной казни и прикладное значение: на ней закаляли сердца и психику «воины Аллаха» из школы смертников, расположенной на соседнем горном плато.

Войска дважды пытались войти в этот район, но если на равнине для успешного наступления создаётся четырёхкратный перевес над врагом, то в горах это соотношение увеличивается в разы. И нет разницы, какой век на дворе – 19 или 21. Великая Отечественная лишь подтвердила данную стратегию. Так что 1 к 10 – и к гадалке ходить не надо, а тем более заканчивать академию Генштаба.

К чему-то подобному, судя по всему, готовилась и рота Мережко. Десятки будущих погибших ещё подкрашивали белилами камешки вдоль дорожек, доедали штык-ножами перловку из нанизанных на шомпола, подогретых на костерке банок. Исходя из этих деталей, выход намечался ближе к ночи, хотя влезать в ущелье в темноте... Значит, соотношение становится 1 к 15, как минимум. И тут хоть десантную, хоть морскую тельняшку на груди рви, а... а маленькая собачка – она всегда в глазах щенок, наступающий всегда на мушке обороняющегося. Стариков бы деревенских генералам послушаться: если пить, то на своей меже...

– Так куда, что? – вернувшись перед ужином за подписью, тронула за руку командира роты Алёна.

– Каменоломни в Аргунском, – не стал делать секрета из общеизвестного всем старший лейтенант, выбривая ямочку на подбородке.

Электробритва от недостаточности тока уже нагрелась, уже можно было мазаться кремом, но Мережко не изменял себе: за ворота лагеря офицеру Военно-Морского флота позволительно выходить лишь гладко выбритым и отутюженным. Даже если вместо свидания с дамой в ресторане его ждали в ущелье головорезы Хаттаба.

– Я буду ждать, возвращайся, – похоже, Алёна окончательно определилась между соперниками. И чмокнула старшего лейтенанта сверху в затылок, где вили гнёзда две макушки – народный признак того, что человек будет женат дважды. А тут хотя бы один раз...

Признание прозвучало вовремя – в палатку втиснулся батюшка. Соблюдать деликатность в палатке сложно: дверей нет, стучать не по чему, а отцу Иоанну ещё и не было чем, поскольку в единственной руке он держал за лямки рюкзак. Попросился голосом:

– Разрешите?

Глянул на медсестричку, помялся, но посчитал её доступной для собственной просьбы:

– Товарищ старший лейтенант, возьмите меня с собой. Я знаю всё в лагере пленных. Пригожусь.

Электробритва какое-то мгновение стригла воздух, замерев в руке морпеха. С военной точки зрения лучшего проводника и желать не приходилось, но...

Бритва вернулась к подбородку, но тут же замолкла: электричество от генератора вырубилось окончательно. Но Мережко продолжал сидеть без движений. Нежданная просьба батюшки ему была особо приятна тем, что после стычки с вертолётчиком и особистами палатка его не только не опустела, но и наполняется новыми людьми. Только и цена вопроса несоизмерима.

– Я в штаб группировки, – дал себе люфт на отказ Мережко. Хотя можно и доложить руководителю операции о батюшке и уже с чистой совестью сообщить тому предсказуемый итог. – Так, здесь все подписано, – передал листочки Алёне, – а вы подождите меня.

Тронул на ходу струны гитары: ты тоже подожди. На улицу вышли вместе с Алёной. Солдаты шныряли уже с оружием в руках, в банданах на головах, и это снова красноречивее всего говорило о приближении выхода.

– Может, успею купить чего? Я к Зинке в Военторг могу заглянуть, там черешню завезли, – позаботилась Алёна о разрывающемся на минутки Мережко.

– Черешня – это хорошо. Но – время. Я побежал. До возвращения.

На удачу, вдоль колючки пролетел какой-то сумасшедший БТР, подняв столб пыли. Свои-то ездят по-кошачьи, если и поднимая пыль, то по щиколотку колёс, а тут залётный дал возможность спрятаться от всех в бархатной завесе, поймать руки друг друга, даже прижаться на миг. Но когда воздух, как вода в океане, абсорбировался, очистился от пыльной взвеси, Мережко в расположении роты уже не было.

5.

Ровно через сутки его имя зазвучало и не сходило с уст в штабе группировки. Вызванный к командующему полковник Громак застал там Играева, который перед заходом к генералу успел сообщить причину вызова:

– Мережко тяжело ранен. Его группа в засаде.

Вбежавший вслед за вертолётчиком в приёмную Сердцев знал меньше всех, но времени на объяснения не оставалось, и адъютант распахнул дверь в кабинет генерала.

Тот вышел навстречу, пожал руки, разрешая не представляться по-уставному. Время, судя по всему, не терпело, но он замер у окна, глядя вдаль со второго этажа бывшей сельхозконторы, приспособленной под штаб. Офицеры ждали. Месяц назад у командующего в совершенно неожиданной засаде там же, в Аргуне, погиб сын и, возможно, он примерял ситуацию с Мережко вновь на себя. И в который раз наверняка крутилось сомнение, а всё ли сделал для спасения сына.

Вообще-то Чечня многим удивляла, и в первую очередь Москву. Как там в песенке:

Нам давала ордена
Удивленная страна:
Умный, мол, ворует,
А дурак воюет.

И пока министры делили заводы и фабрики, депутаты – влияние на этих министров, пока телевизионщики поносили армию и её командиров, эти самые генералы закрывали бреши своими сыновьями: семь офицеров, надевших в своё время погоны по примеру отцов-генералов, остались не в Арбатском военном округе протирать штаны, а полегли на склонах и в ущельях Чечни. Статисты вдруг обнародовали и другую удивительную цифру: процентное соотношение офицеров, закрывших своей грудью от пуль солдат, превысило показатель Великой Отечественной войны, когда именно солдаты закрывали собой командиров. Что-то поменялось в обществе, но стоящие в кабинете офицеры и генерал, сами отцы, сами не менее других желавшие, может быть, отдыхать на Канарах, думали не о нефти, яхтах, яйцах Фаберже, фотографиях в глянцевых журналах, а о спасении подчинённых. «Тридевятое царство» выбивалось из общего ритма, задаваемого Москвой, оно казалось другой планетой, населённой инопланетянами. А по сути совками, рашкой, потому что от них за версту несло Советским Союзом, где за людей не только волновались, но и несли моральную ответственность. И понятие Родины сошлось на конкретном человеке – морском пехотинце, старшем лейтенанте из тридцать девятого автомобильного региона.

– Группа блокируется на этой высоте, – ткнул генерал карандашом в коричневые извивы с зелёными кляксами лесов. Громак по лётной привычке распахнул планшетку, «перенёс» район на свою, более подробную карту: в воздухе на это времени нет, и хотя никто пока в полёт не посылает, ясно, что это всего лишь вопрос времени. Затоптался на месте: ясно, куда бежать, но пока неведомо, что делать. – Старший лейтенант Мережко ранен, осколок застрял в голове, требуется срочная операция. Если до утра и доживет, то станет... дурачком.

Генералу не хотелось произносить этого слова, но иного не подобралось. А может, он просто повторил слова батальонного врача, передавшего о состоянии командира. Посмотрел на Сердцева. Тот непроизвольно дёрнул головой: и дурачком вряд ли будет, потому как до утра не доживёт.

– Как быстро может добраться техника в этот квадрат? – повернулся командующий к Играеву.

– Я бы её не рискнул посылать, товарищ генерал. Пожгут. Дорог особых нет, имеющиеся заминированы. Ночь впереди. Пожгут.

Это командующий прекрасно знал и сам. Словно информация вновь, как и с сыном, ушла из-под рук – по крайней мере, встречи с Хаттабом хотя и искали сами, но надеялись на столкновение хотя бы к утру. Опередил араб, львом прыгнул, учуяв наживу. Потому и держал генерал последнее слово за вертолётчиком, своей крайней палочкой-выручалочкой. Плотный, коренастый, которого одень в «гражданку» поплоше, и покажется вылитым докером-механизатором, то есть грузчиком в порту, ему и придумывать ничего не осталось, кроме как встать по стойке «смирно»:

– Если взлетать немедленно, до наступления темноты можем успеть.

– На гору садится туман. Видимость 300 на 3, – проявил свои навигационные познания генерал. Значит нижняя граница видимости – 300 метров, по горизонту – 3 километра. Пока терпимо, но наверняка всё будет меняться только в худшую сторону. И всё же основная беда в другом: при наличии «духов» второй вертушке не приземлиться, ведомому придётся кружить рядом и отбиваться.

– Сколько человек забирать с раненым?

– Всех! Это 35 человек. Они свою задачу выполнили.

Офицеры удивленно посмотрели на командующего. У Играева свои брови наверх: операция сворачивается, не начавшись, а командир говорит об её выполнении? Громаку своя головоломка: морпехов высаживали три вертушки, а забирать на одной? Но из штанов ещё никто не выпрыгивал, такое количество народу просто физически не втиснется в машину. Тут, если по-честному, хотя бы одного Мережко вывезти...

– Товарищ командующий, если лететь – то лететь. Время, – посмел поторопить начальство вертолётчик. Количество – оно потом, по ходу движения, сначала надо добраться до крайней точки.

– Товарищ генерал, будет правильно, если полечу и я, – вдруг сделал шаг вперёд Сердцев. – И на месте буду ориентироваться на состояние раненого.

Возможно, именно это и хотел услышать от подчинённых генерал. Чтобы без приказа. Потому что в горах для них всё будет не то что непредсказуемо, а обречённо.

– Действуйте! Остальные вопросы по авиации буду решать с вашим начштаба, его срочно ко мне. Полковник Играев, останьтесь.

К аэродрому Громак и Сердцев бежали, прекрасно зная, что бегущий офицер в мирное время вызывает улыбку, а в военное – панику. Указания отдавали и получали ответы по рациям на ходу.

– Товарищ командир, в районе видимость 100 на 1.

– Чёрт...

– Товарищ подполковник, хирургическая сумка доставлена.

– В кабину! Со мной хирургическую сестру.

– Сестру отставить, лишнее место. Батальонный врач будет на подхвате.

Аэродром. Как же тревожно кровав сегодня закат, удлиняющий вдвое самую малую травинку.

– Товарищ полковник, экипаж к полёту готов!

– Экипажа не будет. Лечу один.

Возглас удивления второго пилота утонул в грохоте – из салона «Ми-8» выкатился на бетонку жёлтый, дополнительный топливный бак, занимавший едва ли не одну треть «вертушки». Значит, демонтировать успели и минимум ещё человек семь втиснутся. Вместо второго пилота и борттехника – ещё двое. Хотя нет, один. Сердцев же летит! Сидячих мест 17, как в московской маршрутке. Если набить народ вповалку, как дрова, авось все 35 и втиснутся. Но раненого ведь придётся укладывать на пол да освободить простор для врача. А это сразу минус семь-восемь человек...

Словно Копперфильд, беспрепятственно прошёл сквозь тень вертолёта. Взбежал по пружинистым ступенькам в салон. Едва не поскользнулся на коврике, заботливо постеленном перед кабиной: борттехник так и не закрепил его. Не хватало ещё спотыкаться перед полётом. Значит, получит по полной. И зря, ох, зря подумал об этом под руку, а точнее, под ногу: споткнулся вновь, на этот раз о бронеплиту, укреплённую под сиденьем. Чур, не нас, и третьего раза не будет. Забыли о приметах. Сердцев захлопнул дверцу и остался стоять за спиной, упёршись руками в проём. Опытный: в вертолёте абсолютно не страшно лететь, если смотришь вместе с лётчиком через стекло вперёд.

Громак утвердился в кресле. Пристегнул ремни, надел ЗШ – защитный шлем. Лётчики, по сути, правосторонние участники движения и ПДД, поскольку место командира, как у водителя авто, слева. Так что не японцы с праворульными машинами и не англичане с угандийцами с левосторонним ходом – русский боевой лётчик занимает свой эшелон. С Богом! Буквально вчера борттехник, выцыганивший у калининградцев янтарную иконку с Николаем Чудотворцем, по сговору со вторым пилотом прикрепил её к панельной доске. Что ж, помощь свыше, скорее всего, сегодня не помешает. Благо, и ставший напротив кабины батюшка осенил искалеченной рукой машину белым крестом.

– Я – «Мотоцикл – 333». Запрашиваю погоду.

Не взлёт, не поддержка и взаимодействие – царицей войны для вертолётчиков является именно погода в районе боевых действий.

– Видимость 50 на 0,5.

Предел. Ниже нижнего. При 100 на 1 в небо поднимаются только лётчики 1-го класса, а когда видимость до земли всего 50 метров и 500 по горизонту – это что кораблю в сплошной туман плыть средь рифов без каких бы то ни было ориентиров. Ну, товарищ Сердцев, держись. Будем надеяться, что твоя новая фамилия всё же пересилила предыдущую.

Руки в привычной последовательности, практически вслепую защёлкали тумблерами. Пропустил только висящий над головой вентилятор: не жужжи, не мельтеши, не отвлекай. Вертолёт задышал, в нетерпении пружиня на резиновых круглых лапах. Словно самурайскими мечами, начал вертеть и кромсать винтами небо над собой. На приборной доске вместе с десятком

стрелок задрожала и прямо на глазах отстала от панели иконка Николая Чудотворца, укатилась прямо к красноватому от заката стеклу. Что за приметы сегодня! Хотя кто тут выдержит постоянную вибрацию, кроме самих лётчиков? В боковой блистер, наполовину укрытый бронещитком, увидел, как в стремлении не отстать от командирской машины разгоняла винты «восьмёрка» ведомого. Кто там запрыгнул на сопровождение?

– Я – «Мотоцикл – 12», к работе готов.

Руслан Летников? Этот ланцепуп и фунтуклей, посмевший вчера поставить личные амбиции выше армейского товарищества? Почему за штурвалом? Утром перед строем ведь лично расписался под приказом об отстранении его от полётов, вплоть до выяснения всех обстоятельств по утере оружия и личному поведению! Вкупе с выкрутасами Мережко, конечно, но тот лежит с осколком в голове, рваные края которого царапают мозг. Война большая, а воюют одни и те же...

Что-то менять времени не было. Скорее всего, капитан просто первым прибежал на взлётное поле, когда он дал команду начштаба незамедлительно готовить «пару» на взлёт. Любой разбор, начиная с коврика, по возвращении. А пока прокатимся. По ухабам, раз связисты обозначили эскадрилью на этот радиосезон мотоциклистами. Только вот 50 на 0,5 – это совсем плохо...

Набрав упругости, «Ми-восьмые» оторвались-таки от решётчатых железных настилов, на которых, как на насесте, готовились заночевать. Едва приподнявшись над землёй, летчики увидели вдали, у подножия гор белые полоски, подсвеченные красными отблесками. Туман ложился плотно, пеленая собой, как бинтами, израненные чеченские горы. Где-то в них вцепилась в одну из вершин группа Мережко. До утра не дотянет не только командир, но и весь десант: за ночь Хаттаб покроет расстояние до горы. Боеприпасов морпехам хватит не более чем на два часа боя. Зачем так бездумно бросали мужиков на заведомую гибель? Смотрим карту. Где-то мелькала дорожка по склону. Хотя и она в тумане.

– Роспуск! – дал команду ведомому.

На языке лётчиков – расходимся, пробиваемся в точку каждый самостоятельно. Сам перешёл на шаг-газ, снижая рычагом «вертушку» и подныривая ею под белое одеяло. Скосил глаза влево на радиовысотомер, который только и мог помочь при полёте на ПМВ – предельно малой высоте. Больше обычного задрожал Николай Чудотворец, вместе с усилием машины стараясь удержать её на вытянутую руку от склона. На нём обозначилась более светлым фоном уходящая вверх тропинка, и, едва ли не став передним колесом на неё, Громак «запрыгал» по ней. Со склона сметалась каменная крошка, секла не успевавшие отбежать и спрятаться в пелене кусты. Главное, чтобы не выбежали навстречу полюбопытствовать на суматоху дубы, которые можно задеть лопастями, а тем паче «духи». Расстояние – из рогатки подбить можно. Что же так сердечко у Сердцева колотится! Дрожит один человек, а трясёт всю машину! Надо будет подколоть по прилёту. А вот Летникова не видно. Парень хороший, но в небе от авиации требуется только опыт и ничего, кроме мастерства. Шустрые – они не всегда помощники, к сожалению. Как же вывозить людей? Двумя ходками? Дай Бог назад спуститься этим же маршрутом-тропинкой, хотя люди Хаттаба наверняка уже бегут на звук...

Тропинка не только не давала потеряться в мутном пространстве, она ухитрялась и бежать впереди вертолёта, огибая валуны и чудом удерживаясь на обрывах. Вместе с ней огибал опасные места и Громак, опасаясь споткнуться и сломать «восьмёрке» переднюю ногу, а себе шею. В какой-то миг серой

бурой громадой спящего медведя посреди тропы вырос валун, приглашая посидеть, отдохнуть, поразмышлять о бренности жизни. Потом, это тоже потом. Пока же первым делом хочется ослабить хватку шаг-газа, через рычаг которого идёт дрожь до самой макушки. Не будь ЗШ, мозг бы вылетел от этой трясучки.

– Вон, вон, – не услышал, конечно, а увидел Громак палец врача, уткнувшийся в стекло. Господи, сколько на нём налипшей мошкары, только сейчас стало заметно. Борттехник после предыдущего полёта не отдраил, оставил, надеясь на выходной. Всё же получит своё «от» и «до». И за коврик тоже.

В белой пелене запрыгали несуразные тени. Почему-то люди всегда прыгают, когда видят спасение с неба. Сейчас, мужики, сейчас. Только левым колесом приткнуться к тропинке, всё легче держать махину. Это в небе она кажется легкой птичкой, а попробуй, удержи одним рычагом семь с половиной тонн. Это всё равно, что стоять на стуле с одной ножкой...

Вертолёт качнуло: Сердцев распахнул дверцу, сбив, нарушив поток воздуха. Морпехи, упираясь, уже несли сквозь ветер на руках раненого, а целая группа, ощетинясь автоматами, прикрывала командира живым кольцом. Приказ на эвакуацию, видимо, им уже поступил по рации, и щупленький морпех, по распоряжениям рук которого можно было догадаться о его офицерском звании, выстраивал очередность посадки.

– Сначала всех в хвост, потом раненого, – прокричал, сдвинув окошко, Громак.

Офицер не расслышал, его занимала погрузка командира, и Громак обернулся через плечо: ведь догадаются же не ногами вперёд заносить и укладывать. Всё же ногами! Но зато под правую руку врачу. Пусть разбираются. Главное, мимо окровавленного старлея, даже без сознания лежавшего на полу в струнку, аккуратистом, протискивались в хвост салона десантники. Ох, ребята, быстрее. И дурацкий шлем, из-за которого не смахнуть пот с бровей!

– Быстрее, – шептал Громак, хотя морпехи и так едва не затаптывали командира.

Один курносый, шмыгающий носом солдатик, боясь задеть синхронные с командиром педали и штурвал, залез с ногами на место второго пилота. Ещё один уселся в проёме кабины, подстелив, стервец, путавшийся у всех под ногами коврик. А за бортом всё оставались и оставались люди во главе со щупленьким взводным и охранявшим его огромного роста сержантом.

Офицер, заглянув в салон, обернулся и скрестил для оставшейся семёрки руки перед собой. Для водителей это знак – глушить мотор, но и для пехоты всё понятно. Мест больше нет.

Страшны руки, которые опускаются вместе с оружием! В них столько обречённости, тоски и отчаяния, что поневоле поверишь: именно к ним первым приходит осознание предстоящей трагедии. Да и не скрывалось ведь – прогнозируемые потери один к десяти. Даже к пятнадцати. Хотя семь – тоже много...

Вертолёт покачивало, и десантники, ощущая его неустойчивость, лежали не шевелясь. Громаку наконец удалось резким движением головы сбить с бровей огромные водяные шары пота. Но что же с вами делать, братцы остающиеся? Хоть за колёса хватайтесь, как лягушка-путешественница.

– Цепляйтесь за шасси, – мысль, навеянная сказкой, ещё не успела стать зримой, а уже сорвалась с языка. «Вертушка» заваливалась. Ей, не цапле, стоять на одной ноге без умения ловить равновесие, держась лишь на воз-

душном вихре от винтов, становилось всё сложнее, и нежданная сказочная подсказка несла выход из тупика.

– Цепляться, цепляться за шасси! – прокричал Громак в салон, надеясь на передачу команды по цепочке.

Прошла! Морпехи побежали под брюхо «восьмёрки», на ходу снимая автоматы и удлиняя на них ремни. Всё правильно, можно пристегнуться за стойки шасси, балочные держатели и блок под «нурсы». Имея по двадцать неуправляемых ракетных снарядов под задницей – где ещё так прокатишься? Не лягушки, а чистые бароны Мюнхгаузены. Пробуйте, мужики. Авось получится!

Подгоняя десантников и пробуя на вес машину, слегка качнул её. Сидевший на кресле, как на насесте, солдатик замахал руками – вниз, не успели, назад. А машине хотелось упругости, она рвалась в небо, – пусть стылое, непрозрачное, но там был воздух. А в воздухе везде опора.

Сердцев, став на колени перед Мережко, уже осматривал металлический кусок, торчащий над ухом старшего лейтенанта. Поймав взгляд Громака, умоляюще выкрикнул глазами:

«Быстрее».

Сам понимал, что его просьба ни на секунду не сдвинет время и возможности, молниеносно надел белые перчатки, протянул руку к батальонному врачу: инструменты. Значит, операция без промедления. Солдатик, державший голову командира в ладонях, отвернулся. Может, даже не из-за вида крови, сочившейся по металлу и собирающейся красным озерцом в его ладонях, а что впервые видел своего командира осунувшимся, пыльным и небритым. Значит, точно война. И если даже ротного достал осколок, то что говорить об обычном солдате!

Громак, опережая врача, вновь качнул вертолёт, проверяя «лягушек». Петушок на корточках на этот раз промолчал, и полковник начал осторожно крутиться вокруг собственной оси. И чтобы лично убедиться, что никто не оставлен на склоне, и давая возможность привязавшимся, вцепившимся мёртвой хваткой за что ни попадя, морпехам привыкнуть к высоте и качке, и приноравливая врача к вибрации, и отыскивая дорожку домой. С горы домой должно получиться быстрее.

И пошёл вниз «Ми-8» – многоцелевой, второй в мире по применению, боевой транспортный. И висели на автоматных ремнях пехотинцы, перебирая в воздухе ногами, словно шли по небу. И колдовал вокруг осколка подполковник Сердцев, сам постанывая от боли, потому что собственные ранения не предусматривали столь долгого стояния на коленях. И перед самым вылетом из тумана, там, где тропинка первый раз приглашала отдохнуть при походе к вершине, из-за валуна-приманки раздались выстрелы. Успел, успел Хаттабушка превратить дорожку спасения в тропу войны. И некуда было деться от огня «лягушатам» на внешней подвеске. Да и брюхо машины для разрывных – что фольга для иголки. А Мережко распластался как раз по центру днища, как «десятка» в мишени, так что все пули, даже случайные – его. И нет возможности шугануть «нурсами», так как висят и сидят на них орёлики, фунтуклеи и ланцепупы. Морская пехота Балтфлота, гордость и краса армии. Переусердствовали лишь конструкторы, когда при усовершенствовании «восьмёрки» убрали курсовой пулемёт в хвост машины. Или не ведали, что русские чудеса на сказках не заканчиваются, и может случиться так, что в салоне не окажется борттехника, он же стрелок? И туман, ещё минуту назад проклинавшийся, вдруг оказался

хоть и тончайшей, как вуаль, но последней и единственной защитой. Как же быстро она истаивала!

Зато усиливался огонь с земли. Трассеры прошли перед кабиной, перед взором Николая Чудотворца, и даже попытавшийся отвернуться от них петушок на жердочке всё равно увидел их росчерки на стекле защитного шлема лётчика. А у забортной семёрки, ставшей живыми мишенями, принесёнными «духам» на блюдечке с голубой каёмочкой, руки должны были опускаться не на горе, а сейчас. Потому что, оставаясь даже в одиночестве на вершине, они имели хотя бы теоретический шанс остаться в живых. Хоть кто-нибудь...

Но когда первый толчок от попадания пули ударил под бронеплитой, из вечернего сумрака и грязного тумана вынырнул «Мотоцикл-12». Летников, круживший в зоне досягаемости. Прежде чем Громак вышел с ним на связь, ведомый поднырнул и стал под «восьмёрку» командира. И вся разрывная свора, предназначавшаяся «Триста тридцать третьему» с его грузом, полетела ему в брюхо. В его лопасти, его хвостовое оперение, в стёртые, без единого намёка на протекторы, колёса. Кто там вёл статистику, что командиры в Чечне заслоняют собой подчинённых? А ведь у него полный дополнительный бак керосина на сотни литров. Размером на треть салона. Держись, «Двенадцатый». Судьба и связисты не дали же тебе тринадцатый номер, приберегали для чего-то. Пусть это будет день нынешний.

Огонь ослабел: всё же не все «духи» успели выйти на перехват, добежали лишь самые шустрые. И понеслись «вертушки» к себе домой в «Тридевятое царство». Громак, выносящий из боя всех до единого морпехов. Летников – пустой, но с двумя десятками пробоин в фюзеляже. И полулёжа, не надеясь больше на свои ноги, которых просто не чувствовал, перевязывал Мережко подполковник Сердцев. Шептал больше успокоительно для солдатика, помогавшего держать голову:

– Ничего. Теперь всё обойдётся. Ещё, даст Бог, и послужим.

И светил верхний краешек закатного солнца прямо в глаза Николаю Чудотворцу, оказавшемуся ближе всех к родному аэродрому. А с него, с родной бетонки, выстраиваясь клином, поднимались все имевшиеся в распоряжении командующего «восьмёрки» с новым десантом на бортах. «Тридевятое царство», освещённое одновременно и солнцем, и электрическим светом, посылало своих воинов в темноту и мрак ущелий, где кишели твари, бросавшие людей в жерла камнедробилок. И в проёме первой машины стоял с сияющим крестом на груди батюшка Иоанн, вглядываясь в земные ориентиры, по которым месяц назад выползал из ущелья. Единственный за все годы войны, кто смог это сделать. Издевалась охрана, заставляя одного из местных мулл, не принявшего новые порядки в Чечне, впрягаться в телегу и возить православного батюшку под кнутами любопытных. Не выдержав издевательств, в один из таких заездов он опрокинул телегу с отцом Иоанном с самого крутого обрыва, по которому охране было быстро не спуститься. По ком стреляли боевики – по нему, кувыркающемуся вместе с камнями, но (!) не в трубе, или решившему умереть мулле, то осталось неизвестным. Дай Бог, сейчас прояснится, когда отряд Мережко оттянул на себя с каменоломни основные силы банды Хаттаба, а генерал дал команду на начало основного этапа операции по освобождению пленных.

На кромке оставшегося пустым аэродрома лишь стояла, не выключая мотора, «санитарка» в ожидании Мережко. Алёна, не сдерживая эмоций,

металась перед включёнными фарами, путаясь в лезущей под ноги Халяве, оставшейся без хозяев. Обоих остановила Зина с огромным пакетом.

– Не метусись. Смотри, черешню перебрала. Половина гнилой пришло. Но для ребят отобрала. Я ж их просила вернуться! Халява, фу, тебе ничего нет. Ой, что это? Падают? – села от неожиданности на бампер «санитарки», увидев болтающихся под вертолётом людей. Завыла и собака, с тревогой задрав мордочку: это нормально ведь, да? Это хозяева всегда так возвращаются домой? Не страшно?

Подивиться чудом подскочил на «уазике» и майор Петров с двумя неразлучными сопровождающими. Капитаны зашли с двух сторон осевшей под весом продавщицы машины, тоже уставились в небо. Лишь майор сумел сохранить невозмутимость и, подойдя к медсестричке, поинтересовался с неизменной улыбкой, словно не запомнил при обыске в палатке Мережко:

– Алёна Маликова?

Та настороженно кивнула, хотела отойти от любопытного особиста, но по бокам уже стояли капитаны. И не успела Зина от удивления выронить пакет с черешней, как на запястьях дюймовочки щёлкнули наручники.

* * *

«Командующему объединённой группировкой войск (сил)
на Северном Кавказе

Рапорт

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых в рамках обнаружения источника информации боевиков, задержана Маликова А.С., завербованная два года назад в Москве представителями одной из исламистских группировок, запрещённых на территории Российской Федерации. Наряду с отвлекающим десантом ст. л-та Мережко была организована утечка срочной оперативной информации для пяти человек, подпадавших под подозрение. Методами и средствами радиоэлектронной борьбы выявлен источник, державший связь с посредником Хаттаба. Им оказалась служащая Российской Армии хирургическая сестра медико-санитарного батальона Маликова А.С., вышедшая на связь с находившимся под электронным контролем посредником.

Данный случай показывает, что на территории России осуществляется вербовка лиц славянской национальности, в том числе и женщин, с целью их проникновения в органы государственной власти, воинские части, непосредственно ведущие операции по установлению конституционного строя в Чеченской Республике.

Задержанная Маликова А.С. дала первые признательные показания. Более подробная информация будет изложена в докладной записке.

Начальник особого отдела
группировки войск (сил) на Северном Кавказе –
майор Павлов».

Михаил ТАРКОВСКИЙ

ФАРТ

Рождественская повесть

Напильники

Из-за стола поднялся длиннолицый, похожий на ящера человек очень прямой осанки. Длинный выгнутый нос, небольшая, тоже длинная, коротко стриженая голова. Жилистая шея, переходящая в затылок и череп в одну линию. Очень живая, извивающаяся, она длинно торчала из ворота, как из норы, и словно хотела вылезти, а её изнутри кто-то осаживал, дёргал, а она оборачивалась огрызнуться.

– Здравствуйте, Валерий Ирари... – сбился Баскаков и протянул книгу: – Это вам, подписанная!

– Ил-ларионович, – зычно, напористо-чётко и как-то уставно поправил Илларионыч и без паузы резанул: – Ну, что у вас?

Протянутую книгу он, кивнув, бросил в ящик стола, как в лоток, и громко задвинул.

Баскаков, заражаясь скоростью, изложил дело.

– Да, базы объединили, не один вы погорели. Регламент, правда, обжаловали... Но на это рассчитывать... – покачал головой Илларионыч. – В общем, скажу так: бесполезное дело. Можно ехать на Владивостокскую таможню и искать концы... Но это всё деньги. И время ваше...

– Да то на то и выйдет.

– Дак в том-то и дело! – радостно подхватил Илларионыч и закруглил: – Мой совет – продавать.

И вдруг возмущённо сыграл шеей:

– Только пэтээс не отдавайте ни в коем случае. Будут просить – ни под каким видом! Удачи!

Баскаков всё давно решил, а к Илларионычу сходил больше для проформы и чтобы не обидеть знакомого, устроившего встречу. Таких Илларионычей он за год навидался. Сейчас начиналось главное...

В назначенный час приехал Анатолий. Подошёл вразвалочку, полноватый, губастый до какой-то рублености – губы как кубы, с гранями. Слова выговаривал с особой спокойностью, как-то олепляя губами согласные «б», «п» и «ль».

– Ребята щас подъедут, – и глянув в телефон, брякнул буквой «б»: – Хе, зара-бо-тались.

Будто в уплату за их опоздание начал неторопливо рассказывать, куда ездил, что пытался купить и как всё дорого. Рассказывал больше для себя, чем для собеседника.

– У нас в городе хрен поймёшь. Едешь по Гоголя – одна сантехника. По Луначарского – одни мойки. Скоро все заправки на одной улице соберут, – он, видимо, чувствовал здесь зубоскальскую основу, но чего-то не хватало. И вынужденно сказал: – Бензин до того левый...

– Не знаю. Я на КНП заправляюсь, – чтоб не молчать, пожал плечами Баскаков.

– А чо за КНП? – вдруг заинтересовался Толя.

– Красноярскнефтепродукт.

– А-а-а... – он воодушевился. – Тогда понятно. Хе, короче, тут у нас на Щорса эти сидят... Синяки... Бензин стреляют и нюхают. А я стою на заправке, слышу такой базар: «Чо, Борода, ты на чём сидишь нынче?» – «Я на Сургутнефтегазе...». «А я на Сибирской Сырьевой». А один обморок, бритый, не оброс ещё, весь в портачках, токо освободился... – «ос-во-бо-дился» Толя медленно и подробно произнёс, особенно обработав, обубнив губами, так что «б» копилось и потом облегчённо срывалось. – Уже сидит торчёный. «Вы чо, уроды, тут гоните, меня слушайте, я всё пере-про-бовал, даже Бритиш Петролеум, х-ха, и я так скажу: та ещё брага, и Сибнефть – сивуха, Новосибирскнефтегаз – вообще бурдымага, и Альянс, и Роснефть – ничего не канает. Только КНП! КНП это да! Это тема!» – и поднял палец. – Ха-ха! От чёрти! – Толя не спеша, в разбежечку, смеялся. – Я бы тому, кто КНП рулит, такой ролик бы подогнал. Ха-ха-а. Вы там спросите у своих. Может выход есть? Ха-ха. А я всё думаю: чо за КНП? Это же не наша, Красноярская... Па-ня-я-ятно.

Наконец подъехали двое. Анатолий изо всех сил показывал, что он сам по себе, а они сами. Баскаков негромко поинтересовался, как они погонят машину без документов, а Толя бросил небрежно:

– Д-да! – И добавил с оттенком одновременного и отстранения, и пренебрежения, и восхищения: – Эти безбашенные разберутся!

Безбашенных звали Серёга и Валера, и они были как пара сказочных механиков, каких-нибудь Болтиков-Напильников. Небольшие, сухие, с рельефными лицами – серые, не то в щетине, не то в металлической пыли. На жуликов не походили, а скорее напоминали инженерных студентов, проходящих практику в заваленном металлом цеху, где с потолка сыплются железные опилки. Спорые, слаженные, нацеленные. И одновременно какие-то предельно изношенные.

Баскаков завёл машину. Открыл капот.

– Так, так, так... – вязко заметались Напильники. – Где от закрылков половинки? Чо, накладки на педаль нет? Так, а туманка? Серый, чо там вторая туманка? Целая? Где? В этой коробке? Ага, вот она...

– Парни, короче, магнитофон отдельно пять тыщ, – веско сказал Баскаков. – Я специально не стал вынимать.

– А может, отдадите? А?

– Нет, двести сорок пять. С магнитофоном.

– Ну, может, двести сорок? С мафоном?

Упёрлись в магнитофон и в двести сорок, будто припирает стена или на билет не хватает. Баскаков, чтобы не сбиться с главного, уступил.

Толя был полуотдельно, полурядом. Привалившись к верстаку, копался в телефоне.

– Так... – подводя итог, быстро проговорил Валера-Серёжа. – Анатолий не говорил, нам пэтээс нужен?

– Как пэтээс?

– Пэтээс нужен, – вторил, не отрываясь от телефона, Толя.

– Так. Погодите... – Баскаков чувствовал, будто под ним лестница пошатнулась и пошла в сторону. – Э, парни. Я раз нагрелся и хорош. Мне вообще никак. Я и так теряю половину. И в пэтээсе стою, фамилия моя. Не... – отрезал Баскаков.

Происходило именно то, чего он опасался. И совсем не с той стороны, откуда ждал. Он зашагал по гаражу. Зазвонил телефон. Звонила мать его друга Серёжи Шебалина, которого все с детства звали Ёжиком:

– Игорёк, – пела-плакала она голосом, бессильно разбухшим, размокшим от слёз, – я очень расстроена, может хоть ты поможешь? Надо что-то делать с Серёжей. Он не просыхает... Я не сплю с трёх ночи. Это страшно! Я во сне видела, как его уволакивают, просто уволакивают маленькие, чёрные такие люди... правда... они по пояс ему, Серёже, и они его волокут, а он цепляется за мебель, за косяки... Ты не поверишь... ты знаешь, как я ко всякой мистике отношусь, я преподаватель... но тут всё по правде, поверь мне... – Она совсем заплакала: – Вы же друзья... были... Он цепляется, и они его уволакивают, и он оборачивается, а у него... Игорёчек... у него зрачки зелёным горят, Игорёчек, и такие... ну... вертикальные, как у кошек, не могу-не-могу-не-могу... помоги, пожалуйста, не могу... это не придумаешь... это видеть надо... ааааа...

– Милая моя, миленькая, пожалуйста, успокойтесь... Лидия Григорьевна... Пожалуйста, я вам попозже перезвоню... Молитесь за него...

– Да молюсь, как могу, я же не молилась... а теперь молюсь... Всё, Игорёк... Позвони, пожалуйста, как освободишься.

Баскаков, побледневший, уничтоженный, возвращался к разговору.

– Да вы не волнуйтесь... – наседали ребята.

– Да чо не волнуйтесь?! Не, ребят... Какой пэтээс!? – говорил Баскаков, изо всех сил пытаясь собраться.

Напильники наседали наперебой:

– Да вы поймите, сейчас регламент будут обжаловать...

– Да погоди ты, Серый, с регламентом, – фыркнул Валера и другим голосом обратился к Анатолию: – А мы можем, Толь, расторгнуть договор купли-продажи?

– Да как мы расторгнем, – возмутился Баскаков, – если тот хмырюга в Уссурийске, и у меня даже его телефона нет? Не-е... обождите, мужики. Мужики, короче...

Зазвонил телефон:

– Игорь, Пете позвони, – сказала Лена, – по-моему, он не знает, что снимать можно только по пятьдесят тысяч. И ты не забыл, что нам на исповедь послезавтра?

– Да не забыл, не забыл! Всё. Пока, – отвечал с раздражением Баскаков.

– Свинюга, – попрощалась Лена.

Пока с ней говорил, слышал, как поверх разговора лёг гудочек. Прорывался-звонил как раз Петро:

– Михалыч, здоров*е*ньки! Как вы там, зимогоры, не вымерзли ещё? Да-а, морозцы-то придавили. Слушай-ка, тут такое дело. Плохо, когда ни в зуб ногой в житейских делах. Короче говоря, я договорился снять всю сумму...

– Ну и снимай, в чём проблема-то? – нетерпеливо перебил Баскаков, зная витиеватость и обстоятельную многословность Пети.

– Да ты почему такой торопыга-то? Всё бегом, бегом... Дай обскажу. У меня же, я вспомнил, срочный вклад какой-то... – «какой-то» он произнёс с брезгливинкой. – Если я снимаю, то у меня проценты сгорают... Но я всё равно снял. Уже снял... Хе-хе... Выручать-то надо классика, а как же...

– Да ты чо! Спасибо, Петро. Я щас занят. Позвоню вечерком.

– А ты слыхал, что Куперман большую премию взял?

– Да пошёл он. Иннокентич вон медведя взял. Я перезвоню... Парни, я не хочу второй раз влететь... – начал снова Баскаков.

– Не, Игорь. Подождите. Давайте так... – прикрывая глаза, говорил Серёжа или Валера, Баскаков уже не понимал. – Мы сейчас вам объясним.

Анатолий захлопнул телефон, спрыгнул с верстака и вразвалочку подошёл к Игорю:

– Вот смотрите, – заговорил он на тон спокойней стоявшего гвалта, сдержанно ощупывая слова своими гранёными губами, – люди забирают у вас авто-мо-биль и дальше он будет готовиться к продаже. Без документов всё это теряет смысл. Это как человек без паспорта. Вы сами уже с этим столкнулись...

Зазвонил телефон, который Баскаков не отключал, ожидая очень важного звонка:

– Игорь Михайлович? – раздался твёрдый и чуть надтреснутый, подрагивающий голос – есть у пожилых людей такие глухо-высокие голоса. «Ч» звучало по-западному, будто пародировали белорусских чиновников.

– Да, я. Говорите... – резко ответил Баскаков.

– У меня к вам как к редактору альманаха адресное предложение. Адресное! – налёг голос на словцо.

– Давайте после праздников, мне не с руки сейчас. А откуда у вас мой телефон?

Звонящий будто не слышал:

– Это очень важно и вы сейчас поймёте, – в слове «очень» снова зазвучало мягкое «тчэ» с сильным придыханием. – Вы пе*тч*ётесь о русском языке, – голос был очень настойчивый и Баскакову мгновенно представился рослый с костистым крепким черепом дед из тех, что на мероприятиях хулигански рвутся к микрофону, потрясая своими книгами. – И я как по*чт*ительный книго*тч*эй внимательно *тч*ытаю все ваши статьи. Я хо*тч*у передать вам для пе*тч*ати свою работу. Люди о*тч*энь бес*тч*увственные – им ты*тч*эшь пальцем, ты*тч*эшь, но они не слышат. Так вот, мою работу... Там рассказывается, как вывести язык из-под удара. Поскольку *тч*ысло семь является сакральным, – звонящий говорил о своём труде, как некоем бесспор-

ном и независимом от него самого факте, и Баскаков уже догадался, в чём дело, – предлагается сократить коли*тч*ество букв до семи, но ввести в алфавит дополнительное ка*тч*эство: цвет. Каждая буква может иметь один из семи цветоу... Таким образом, если помножить *тч*ысло оставшихся букв на коли*тч*ыство цветоу...

– Извините! Я не могу говорить, – прервал монолог Баскаков. Его уже потряхивало.

Анатолий продолжил:

– Ребята сейчас попробуют решить всё... в обоюдных интересах... и вас ос-во-бо-дить от возможных неприятностей... – «авто-мо-биль» и «ос-во-бо-дить» он произнёс безо всякого усилия, словно его губы сами свободно повторили, побрякивая, неровности согласных.

Раздался звонок, Анатолий, раздражённо покачал головой и переглянулся с Напильниками. Баскаков не видел без очков номера:

– И у*тч*ытывая *тч*аяния книго*тч*ээу...

– Слушайте внимательно! – закричал Баскаков. – У меня к вам адресное предложенье: три буквы, но в цвете и звуке! Трудитесь. Вам позвонят.

Баскакова подлихораживало. Дело, глыбиной давившее целый год, навалилось и грозило привалить, если он споткнётся об этот пэтээс, и уже сминалась Илларионычева инструкция: похоже, на неё предстояло плюнуть.

Зазвонил телефон. Анатолий возмутился:

– Да выключите вы его!

Звонил наконец Артём.

– Нас на связи не было, – говорил он негромко и приторможенно. – Да, идёт машина. У них там одна улетела с дороги, скользко. Звоните. Нет. Сегодня не будет, – рассказывал Артём варёно, будто одновременно рассматривая что-то невразумительное. – Комплектация у вас нормальная. С люком. Салон велюр. Звоните завтра.

Баскаков медленно опустил руку с телефоном:

– Ну, давайте, ладно. Только я не понимаю...

– Короче, делаем расторжение договора, – говорил Валера. – Это тысячи полторы. И снимаем с вас всю эту проблему. Вы уже не хозяин будете.

– Уже это не ваш головняк будет. А того человека, который купит, – вставил Серёжа, желая окончательно успокоить Баскакова, – и который столкнётся с той же проблемой, – как кувалдой добил Баскакова Серёжа, тоже считая, что успокаивает. – Поэтому мы хотим вас обезопасить.

– Так, Серый, Жанка сможет нам расторжение сделать? Давай тогда на рынок едем. Жанка до скольки работает? Звони ей!

Ещё минуту назад ни о ком, «кто купит», и речи не было. Баскаков чувствовал, как, не успев появиться, меркнет световым пятном внезапный человек, который столкнётся с этим гиблым пэтээсом, и что он допускает это. Сдаётся, признаёт силу обстояний. Лестница кренилась и почти разваливалась на ступеньки, и он уже собрался выключить телефон, как позвонила Галька Подчасова:

– Игорёк! Ты можешь приехать!!! У меня авария!

– Что такое?

– Машина на автопрогреве стояла и поехала, всех тут смяла! – почти срываясь на крик, она пыталась рассказать подробности.

– Подожди! Как поехала?

– Не знаю... – зарыдала Галя. – Наверное, я на скорости оставила...

– Жди, приеду, – Баскаков еле выдохнул. – От... ёхарный пуп...

– Чо там? – обеспокоенно спросили Напильники.

– На прогрев поставила на скорости. В «финик» впоролась.

– Жена? – ещё более насторожились ребята.

– Подруга жены...

Напильники наконец пробились к Жанке, у которой долго было занято:

– Жан, ты сделаешь нам расторжение договора купли-продажи? Поняли. Да. С пэтээсом. Паспорт надо? Ясно. А щас скоко? Тогда завтра с утра.

Пауза.

– Короче... Договор купли продажи расторгаем. Прямо на пэтээсе пишем, что расторгнут. С печатью. Да. Смотрите, – особенно строго сказал Серёжа-Валера, – если придут там из милиции – скажете, что приезжал этот... олень с Уссурийска....

– Да как он так приезжал? – возмутился Баскаков.

– Скажете, – подключился Анатолий, – приезжал пред-ста-ви-тель с Уссурийска, вернул деньги, забрал авто-мо-биль. Всё, – сказал он недовольно и взгромоздился на верстак.

– Да. Приезжал по делам, – сказали Напильники. – Встретились. Всё порешали миром. Спросят, когда – скажете: «Не помню, закрутился».

– Да никто не спросит, – пробурчал Анатолий, не отрываясь от телефона.

– Чо, завтра тогда к десяти на рынок, – полуспросил, полуутвердил Серёжа-Валера и, глянув на Баскакова, успокоенно кивнул и подытожил: – Тогда чо? Советуйтесь с юристом. И звоните сразу.

– Да всё нормально будет, – буркнул Толя.

На том и расстались.

Баскаков позвонил юристу. Тот куда-то ехал. Баскаков рассказал обстановку и спросил, как действовать.

– Нормальная практика. Если кто-то будет докапываться, участковый там или следователь, – говорите, что приезжал человек, вернул деньги.

– А спросят – когда?

– Да давно было. Вы чо, помнить должны? Зимой приезжал под праздники. Вроде. Забыл точно когда. Созвонились – встретились, отдал деньги и всё.

– А если телефон его спросят?

– Да какой телефон? Потерял. Делся куда-то! – возмущённо крикнул юрист сквозь шум дороги: – Да! Только обязательно... Куда, колхоз, лезешь! Только... слышите меня? Алё! Обязательно возьмите копию чего там... расторжения и пэтээски. Обязательно. В случае чего покажете – вот. Я не хозяин. Всё. Какие вопросы? – и протянул, успокаиваясь: – Дава-а-йте...

Страшно хотелось пить. Баскаков зашёл в кафешку и, заказав чайничек чаю, с облегчением бросил телефон на стол. Он продолжал лежать, излучая опасность, как шоколадка широкий, с гладким бескнопочным экраном.

Леночка подарила его Баскакову около года назад, но он так и не привык к его ненормальной чуткости. Как осторожно не ухвати, начинал мигать, переворачивать картинку, включать камеру и даже в ней умудрялся перейти на режим самосъёмки, так что Баскаков вместо номера Лены видел своё лицо, искажённое объективом и досадой.

Лена была в текущих веяниях: считалось дурным тоном звонить друг другу, а хорошим – без остановки переписываться, дескать, невежливо, человек занят или задумался, а тут звонят.

Чтобы ответить на письмо, надо было нашарить в телефоне некую область, где мельчайше вскакивала клавиатурка с буковками, половину кото-

рой Баскаков накрывал пальцем. В расчёте на это агрегат был обучен способности предугадывать и даже подправлять неправильно натыкиваемые слова. Предлагал варианты, исходя из своего уровня развития и, как говаривал Баскаков, «мировоззренческих приоритетов». И представлял заточённую в телефон и утянутую в чёрное недалёкую девицу, науськанную на навязчивую подмогу. Звали её Нинкой.

Бывало, едет он с писателями выступать по библиотекам, сам, как обычно, на своей машине и за рулём. Вдруг по-чаечьи вскрикивает телефон, и Баскаков умудряется его ухватить и увидеть Леночкин вопрос: «Какой следующий пункт?».

Он начинает натыкивать «Пих... тов... ка». Телефонная Нинель бросается на выручку: недописанная Пихтовка тут же превращается в «психов», а потом в «рихтовку». Или едут из Иркутска, Баскаков натопчет наощупь: «Прошли Канск», а Лена получает: «Пришли скан» и вскипает...

Девушка иногда правила бездумно, а иногда курьими мозгами пыталась обобщить предпочтения, но, бывало, обнаруживала и суть: переправила Чебулу в «чепуху», и вдруг отважилась, вывезя: «чо бухой?», а потом спохватилась: «Сеул».

Уже несли чайничек, как вдруг пискнула Нинка. Писал Ёжик:

«Знаешь, Игоряша, пошёл ты на ... из моей жизни со своей моралью, своими попами, и правильными базарами. Пошёл навсегда и окончательно...».

Баскаков медленно допил чай, съездил успокоить Подчасову и, вернувшись в Тузлуки, рухнул без задних ног. Проснулся по обыкновению в шестом часу. Было третье января.

Грязью замазал

– Я ещё посплю... – тихо и полувопросительно проговорила Леночка и, отвернувшись к стене, добавила: – Ты придумал, что детям девятого числа скажешь?

Баскаков на минутку прилёг-пробрался к ней, чуть не придавив коленом чёрно-блестящий экранчик, в котором Лена успела что-то успокоительное нащупать, не разлепляя глаз. Там стояла теперь синяя картинка, которая глупо перевернулась, увидя сбоку подвалившегося Баскакова.

Он подошёл к чёрному окну. Оно было нового, неиндевеющего образца, и округе гляделось в него стерильно, оголённо и как-то пристально. «Первый раз, что ль», – подумал Баскаков в ответ на Леночкины слова. Девятого января ему предстояло выступить перед школьниками на Рождественских чтениях.

На градуснике было под сорок. Он приблизил лицо к стеклу: темно, только звезда еле шевельнулась в мёрзлом воздухе, и показалось – вот-вот замрёт, завязнув, не провернув мерцающего зеркальца. Он вышел в коридор, бурая в рябь железная дверь с заиндевевшими, ворсисто-белыми болтами выпустила его во двор. Прошёл к гаражу, завёл Ленину машинку. На обратном пути гребанул горсть снега и умылся до скрипа, до перехвата дыхания. Влажная рука магнитно прилипла к дверной ручке. С чайной кружкой снова застыл у окна.

Морозно-рассеянным светом розовел восход и сизо стелилась понизу долина Чауса. Вдали за незримой Обью еле различимо дымил трубами Новосибирск. Клубы эти Баскаков хорошо знал. Если к ним подъехать, они восставали громадно и нависали гигантскими монументальными формами,

освещёнными рыжеватым солнцем. От их каменной недвижности охватывало задумчивостью, какой-то зимней углублённостью и ощущением, что можно наконец разглядеть время в упор. Что время это больше не сносит течением, и его судьба на твоих плечах.

Пора было в дорогу. Выехал за ворота, и когда пробрался на трассу через Тузлуки, густо и медленно заполняющиеся дымками, то с нарастанием скорости стало расправляться, разрежаться всё, что слежалось за ночь и казалось таким давяще-плотным и неразрешимым.

Год назад Баскаков нескладно совместил два дела: поездку в Уссурийск по приглашению филологов из пединститута и покупку машины на знаменитом Уссурийском авторынке. Ещё дома Серёжа Шебалин дал в подмогу телефон Ивана из Находки, который как раз гостил в Уссурийске. Дальнейшее Баскаков записал так:

«Океанским чем-то повеяло от Ивана, когда он подкатил на яхтово-белом «сафар*е*» с тигром на запаске и вышел в спортивную развалочку, рослый и очень загорелый, несмотря на зимнюю пору. Ваня лицом походил на чайку, или даже на олушу – есть такая морская птица. Треугольное на клин лицо, узкий длинный нос с горбинкой, внимательные, холодные глаза в тёмных ресницах и бровях. При этом волосы крайне светлые и квадратно подстриженные в плоскость. Боковыми гранями они сходили к вискам, так что причёска походила на кивер. Волосы слегка вились, и крышка кивера была будто с игрой – под карельскую берёзу, только светлую.

Для начала он забраковал те машины, которые я выбрал из-за нехватки денег, а потом, когда я нашёл нечто приемлемое, – приехал на окончательные смотрины. Машина стояла не на рынке, а во дворе каких-то складов. «Продаван» Вова в отличие от Ивана был очень обычной, привычно-трудовой внешности.

В Приморье стояло тепло, и Ваня вышел из машины без шапки в тёмном с отливом костюме. Ладонью с силой надавил на передок машины и покачал – по очереди с каждой стороны. В несколько эффектнейших движений-прыжков, с изгибом корпуса, прищуром и замиранием у прицельной линии кузова, как у орудия, он некоторое время проверял машину на битость-небитость. Линий прицеливания было несколько и у каждой он, сменив позицию, замирал, выцеливаясь, и исполнял целый танец, будто был ледовый фигурист. Меня просто заворожили эти упражнения.

Заглянув под капот и проведя пальцем, бросил: «помпа сопливит». Велел завести и, послушав, сказал, что «шьют бронепровода», на что Вова только полуснисходительно, полупрезрительно улыбнулся и пожал плечами, переглянувшись со мной. Ваня взялся за салон. Нагнулся и кропотливо, не боясь испачкать костюм, облазил нутро.

– А чо накладки нет? – ткнул он на площадку возле педали тормоза, там не было резинки и тускло блестел потёртый металл. Нашёл несколько прокуров, царапин и пятно на сиденье. Глянул документ, и вернул, ничего не сказав. Потом предложил сбросить цену, намекнув, что мол, «если чо, ты смотри», и хохотнул, ослепительно сверкнув зубами и тоже со мной переглянувшись...

Цену Вова не сбавил. На вопрос, почему продаёт, ответил, что машина отцова, но что тот мужик крупный и «взял крузака». Ваня пожал плечами, мол, если решено брать дрова, то он бессилен. И уже собрался ехать, но я спросил, как доставать запаску, крепившуюся из-под низу.

– Да просто, – бесцветно подал голос Вова. – Здесь лючок над бампером. Туда крючок от домкрата суёшь и крутишь.

Иван, не замечая Вовы, сказал:

– Запаска снизу – самая беспонтовая приблуда. В грязи или снегу задолбаешься её снимать. – И кивнул на «сафар*я*»: – То ли дело – на калиточке!

И неторопливо улыбнулся:

– Поехали с парнями на охоту и взяли здоровенного секача...

Он сосредоточенно прикинул-обозначил размеры, будто тоже только входил в картину и недоумевал вместе со всеми:

– Вот как до колеса. Здэ-р-ровый... – продолжал Ваня, раскатисто пересыпая матерком. – Клычины с палец... от трактора. Короче, пока в деревню за мешками ездили, *матрас* пришёл на убоище. А я как раз задом сдаю. Тут он ка-ак выскочит из чапыжника и на запаску! Она ещё с оленем была, ха-ха! – Ваня, оглядывая всех, ярчайше улыбался: – Он её дерёт, клочья только летят! И ворчит ещё! Молодой котяра, борзой! Пока он её пластает, я эскаэс хватаю – и клац его меж глаз с полуоболочки! – Ваня сиял: – А не запаска – так и ушёл бы! В дубняки. Хе-хе... Стекло, правда, поменял заднее, не ездить же с пулевыми. Ха-ха! Люди не поймут! Х-хе! И чехол новый поставил. А ты говоришь – снизу...

Я отработал для успокоения ещё пару машин и позвонил Вове, что беру. «Ну отлично», – не ломая ваньку, весело ответил Вова. Всё быстро оформили, и я отрапортовал Лене: «Серебро, бензин, только запаска снизу и без люка, поздравляй». В Нинкиной редакции это выглядело: «Ребро, бензин, только запуск снизу, злюка, поздравляй».

Подъехал Иван и подарил автомобильный магнитофон с экраном, а на вопрос о расчёте хохотнул:

– Да какие деньги! Это так... два раза моего крокодила заправить, – и кивнул на белого «сафар*я*». – Считай – подарок от приморских ребят. Давай, счастливо!

Улыбнулся белоснежно, глянул в сторону бензобака: «Всегда под жвак!», и, рокотнув шестицилиндровым вихрекамерным дизелем, унёсся с истинно приморским шиком...

К Тузлукам подъезжал ночью, и шесть тысяч вёрст так напирали в спину, что городок промелькнул непривычно быстро. Родной облик огней, заснеженные улички с фигурными надувами на крышах казались по-детски маленькими, требовали всматривания и тихого шага, домашнего дыхания.

Леночка, чудо моё, в накинутой куртке и тёплых калошках стояла в гараже, завороженно глядя на машину. Морозная, та тускло серебрилась сквозь дальневосточную и забайкальскую грязь, сквозь ледяную глазурь и узорную изморозь.

– Большая машинюка...

– Сколько завтра? – спросил про температуру.

– Ой. А я и не знаю... – отвечала расслабленно Леночка.

В дороге следил за погодой, и даже ночью оставался напряжённо вживлённым в неё, как датчик, – что ждёт: мороз ли, потребующий ночных прогревов, снег и тепло, грозящие кашей и докупкой омывателя? Теперь и небо, и выстужающая сизота как-то отошли, и жаль было этой отставной погоды и дорожного собранного строя. И пока не ушла сила пройденных вёрст, хотелось довести до конца – поставить машину на учёт. С утра рванул в город».

Уже стояли на площадке с открытыми капотами, как вдруг Баскакова вызвали по громкоговорителю. В окне раздражённо-сосредоточенный офицер сказал, что у Баскакова «большие проблемы с документами» и спросив: «Сколько денег отдали?», покачал головой.

После резкого повышения пошлин люди стали возить машины в разоб-

ранном виде и оформлять на документы от старого или битого автомобиля. Образовался спрос на документы, их стали плодить в виде дубликатов, выписанных взамен якобы утерянных. На одну автомобильную душу оказывалось оформлено сразу несколько машин. Для борьбы с таким широкодушьем объединили базы регионов и много народу пострадало. Ни поставить, ни снять с учёта подобную машину стало нельзя. Находкинский Ваня, увлёкшись «ходовочкой» и «калиточкой», документы проморгал.

Баскаковская машина была оформлена как раз на дубликат такого пэтээса, выданного «взамен утерянного» в Усолье Иркутской области, где автодуше было отказано в регистрации. До выяснения причины Баскакову разрешалось на машине ездить, продлевать каждый месяц транзиты и по всем вопросам обращаться в межрайонное отделение государственной автоинспекции. К беленькой, необыкновенно хрупкой девушке – Вере Лихтенвальд, в серой юбочке и кительке, в бирюзовых в толстую полоску рейтузах и сапогах, которые сидели на её тонких ногах, как краги – настолько их стенки казались толстыми, твёрдыми. Колечко на тонком пальце тоже было будто велико. Баскаков уже её называл Верочка и дарил книжки. Хрупкий Верочкин вид никак не вязался с теми сталистыми вещами, которые через неё решались, с судьбами, которые корёжились от неприятностей и как-то особенно, казалось, зависели от контраста между её видом и значением.

Через четыре месяца пришёл ответ, что машине, на чьи документы был оформлен его автомобиль, было отказано в регистрации, по причине, «наличия сведений о представленных документах в числе утраченных или похищенных».

– Да нет, – твёрдо говорила Верочка, – какой новый пэтээс? Пэтээс только один. Это как паспорт – там ваша фамилия, дата рождения. Без него вы не гражданин.

– Ну почему? Паспорта как раз меняют и фамилии... Вера Адольфовна, а ведь тот владелец наверняка с каким-нибудь гаишником этот дубликат... сплодил. Если в Усолье копнуть?

– Игорь Михалыч, – Верочка твёрдо положила тонкую ручку на стопку папок, – на это годы уйдут, я вас уверяю. Да и никто не будет заниматься. Вот есть ответ... – она взяла в руку бумагу. – И никуда не прыгнешь. Машинка ваша как транспортное средство... – Верочка развела руками, – больше не существует. Никто, конечно, у вас её не заберёт. Но ездить на ней вы не можете. – И добавила неофициально, сжалившись: – Если только на севере в тайге где-нибудь... Где милиции нет.

Машину Баскаков поставил в ведомственный гараж к знакомому. Ездил на Лениной машинке, много писал и работал, а к зиме серьёзно озаботился продажей. Решение постепенно назревало – сначала казалось диким, потом притиралось к сердцу, а потом уже ярко и победно заманило освобождением. Настала новая полоса. Если в «эру транзитов» силы шли на поиски милицейских знакомых, то теперь Баскаков колесил по мастерским.

– Да, наворотили делов.... – говорил очередной автомеханик. – Это всё из-за регламента. У меня знакомый, он тоже то ли раму пилил, то ли чо.

– А чо за знакомый?

– Генка один...

«Генка оказался здоровый полный малый с блестящим неровным лбом и прозрачным по-над ним ёжиком. Занимался «проколами» – протягивал коммуникации под дорогами. У гаража стояла его рабочая машина: фантасти-

чески-затрапезного вида японский грузовик, обвешанный ржавыми цепями, штангами, какими-то трубами и несусветными устройствами. Генка сделал большую трудную работу за городом и сидел в гараже, ел вяленую рыбу на газете и запивал пивом. Машина, о которой предстояла речь, стояла в гараже. Пыль на ней казалось светлой, а когда я протискивался к Генке, на куртку легла тёмными мазками.

– Не-е... Я раму не переваривал. Ешь пелядку, – чавкнул он. – У меня вообще не так было. Пиво будешь? Томское. У меня баллон дома... – «ль» он произносил мягко, особенно в слове «баллон» прозвучавшее как «баллён», и так пустился в рассуждения про пиво, что я еле вернул его к теме.

– А-а-а, ну... – жуя, скучно отозвался Генка, разочарованный собеседником, и нехотя начал: – Короче, я подготовился. Такой стоит шестьсот. Я беру в городе за триста ушатанный и ставлю на учёт. А в Амурской области, в Свободном, нахожу такой же, только путний, но без документов. Тоже за триста. На паровозе еду в Свободный. С собой беру документы, табличку подкапотную и клёпальник. – Он запил шипящим пивом розовато-белую пелядкину спинку. Мясо он отделял сапожным ножом, так возя по шкурке, что под ней елозила и рвалась газета и жёстко отдавался обитый жестью стол. Пиво наливал в бурую от чая эмалированную кружку, и оно входило в реакцию с заваркой на стенках и пенно лилось на газету.

– Клёпальник?

– Ну, клёпальник... – в слове «клёпальник» «ль» оказалось и так мягким и он словно промахнулся. – Клёпальник обычный. И заклёпки. Приехаль. Стрелю забили колё трассы. – Генка обгладывал плоскую рыбинку за рыбинкой и постанывал, укал как-то: – Деньги отдаль, у, машину забраль. М-м. В кусты загналь. Табличку переклепаль. – И добавил презрительно: – Х-хе! Талён этот... – условность таблички его ужасно смешила.

– А... на двигле?

– Да погоди... Короче, мужик этот, чей «крузак», сказал, что после Читы менты такие машины пасут. Докопаются и капец, себе забирают. Страсть их ценят. До Читы доехаль, ну и стал договариваться, чтоб до Улян-Удэ в фуре проехать. Там здоро-о-овая плёщадка... – он провёл вокруг ладонью и сказал восхищённо: – Дальнобои. Ну и парень на плёщадке, типа разводящего, всё сразу поняль. «Сиди, грит, тут пока». Сижу в кафешке. А там бурят пиво пьёт. – Гена всё увеличивал крупность рассмотрения: – Худющий, в чём душа держится, пиво течёт по усам, – он восторженно показал пальцем, как течёт пиво. – «Сигареты есть?» – «А что свои не имеешь? – спрашиваю. – До чего ж ты, говорю, докатился... Ты хоть ешь что-нибудь?».

– А на дв***и***жке номер не перебивал?

– Не перебивал. И... ты не перебивай. Короче. Я спрашиваю: «Ты хоть ешь?» – «Коне-е-ечно ем», – изобразил он комичную солидность бурята: – Ва-а-ажный, как слён. «Ну что ешь-то?» Тот: «Ры-ы-ыбу, по-о-о-озы», – несколько раз протянул в нос рассказчик, требуя ответного восторга.

– А дальше?

– Ры-ы-бу, по-о-зы... – не расставался с бурятом Генка. – А дальше? – спросил он, теряя интерес, и чем сильнее удаляясь от кафешки, тем чаще озираясь на неё и всхохатывая. – Смотрящий подводит меня к дальнобою... Здоро-о-овый стоит. Песят-пятый регион. Омск. Договаривайтесь. Договорились. Загоняй. Загналь. И поехаль с ним. А в Уляне выкатился. Ну и всё. А дома только с рамы на раму перекинуль. Не, ну чудотворец: «ры-ы-ыбу, по-о-о-озы»...

– Дак а на двигуне номер-то как?

– Да там никто не смотрит. А где смотрят – я в фуре проехал. Х-хе.
– А на раме?
– Да грязью замазаль.
Гена вдруг как проснулся:
– Дак у тебя в чём загвоздка-то?
Я объяснил.
– Искать «биток» с документами, – собранно отвечал Геннадий, – резать и переваривать раму. Талён этот склёпывать. И на двигл***е*** перебивать. Парни аккуратно делают... Но всё это стрёмно. И это если на учёт не ставить-снимать. А как я езжу – за четыре год никто не глянул. А в твоём случае... Не знаю... – он прицыкнул языком и покачал головой: – Если продавать... На запчасти только. За четверть цены уйдёт. Либо сам***о***му – ключ в руки, х-хе и вперёд. По узлям дороже. Но однозначно скидывать надо. Тольку не будет. Зря пелядку не ел. Удачи. Не за что...».

Баскаков уже въехал в город и полз по пробке, упираясь в красные фонари японского микроавтобуса, рвано парящего выхлопом. На бугре микрик шлифанул, прочертив шипами по льду. Лёд красно блеснул в фонарном отсвете. Рядом парень в обшарпанной тёмно-зелёной «висте» курил в открытое окно. «Как я когда-то...» – с теплом подумал Баскаков.

Баскаков всю жизнь или сидел безвылазно в Тузлуках за письменным столом или несся по тёмной утренней дороге, врываясь в город мимо огромного бетонного забора с рёбрами и колючкой. Забор этот знал ещё со времён, когда ехал на крепкой русской машине – чёрной, с форточками, малиновым салоном и воздуханом, похожим на диск от ППШ. Он тоже тогда курил, опуская стекло в любой мороз, и было что-то великолепно-несовместимое в студёном трепете за окном и смеси морозного ветра с табачной едкостью, на границе которых завязывался целый фронт неуюта, резкости и ангинной стыни, бывшими Баскакову так же нипочём, как дыры в асфальте – листовым рессорам его «двадцать четвёртой».

Парень бросил окурок на дорогу, тот рассыпался на искры необыкновенно ярко и тревожно. Баскакова не отпускало три вещи: передача денег, встреча с тягучим, как столярный клей, Петей и покупка новой машины.

Встретились уже без Толи с Напильниками, помчались на авторынок и там всё сделали в павильончике у Жанны, оказавшейся красивой и ушлой девахой с косой белёсой чёлкой. На документе появилась надпись, что договор расторгнут и что Баскаков больше не хозяин. И печать.

Баскаков хотел, чтобы деньги передавались при свидетелях, поэтому надо было успеть, пока мужики из гаража не уехали по делам. Встряли из-за аварии. Из гаража звонили, торопили. Дамочка на новой и уродливой корейской машине подалась по диагонали, не включив поворот, ещё кто-то рядом не так ехал, и парни особенно злились, матерились. «Но, чучело!» – рявкнул Серёжа-Валера на пешехода, который замешкался и не решался: идти или ждать – сначала было пошёл, потом остановился, Валера выждал, но едва тронулся – и тот рыпнулся.

В гараже передали деньги. Баскаков пересчитал и дал перечесть механику: всё было правильно, только часть пачки пухло темнела мелкими измызганными бумажками. Не веря, что всё случилось, вышел во двор. Ребята выехали на его серебристой машине и стали перед воротами – он видел их через лобовое стекло: сидели слаженным экипажем, устремлённые в свои дела и, не глядя на Баскакова, о чём-то судача, ржали.

Баскаков на всякий случай проверил в банке деньги – как и думал, они были не фальшивые. Встретился с Петей и забрал недостающее. Звонил Артёму, тот не брал трубку, потом всё-таки объявился, и на следующий день Баскаков поехал встречаться. Артём оказался невзрачным худеньким пареньком. А машина – отличной. Ясное серебро. Чистый кофейный салон. Запаска на калитке, люк. Но главное, что её состояние было намного лучше той, на которой уехали Напильники.

Утром машину оформили. Поставили на учёт. Артём предложил натереть мастикой бесплатно («наш салон делает предпродажную подготовку!»), но Баскаков отказался. Привинтил номера, поменял у знакомых ребят масло и победно вернулся в Тузлуки. Предстояла вечерняя исповедь.

Вид из космоса

Лена все дни не то болела, не то капризничала, и лежала, читая и что-то записывая в тетрадку. Была бледной, вялой и раздражала Баскакова, приезжавшего усталым и одновременно звенящего событиями и требующего ответного перезвона.

Отец Лев был другом семьи. Жил он при монастыре в Боеве в двухстах километрах от Тузлуков, куда Баскаковы собирались на Рождество. Сейчас по сложившейся традиции он приехал в Тузлучинский монастырь. Исповедь была вечерняя, могло прийти много народу, но Баскаков знал правило отца Льва исповедовать столько времени, сколько потребуется. Помимо исповеди Баскаков хотел спросить у отца Льва духовного совета по его отношениям с Ёжиком и не знал, позволит ли время.

Серёжа Шебалин был знаменитый, с гусарскими повадками парень. Когда просили его описать, отвечали: «Помните казака с картины Сурикова «Покорение Сибири Ермаком»? Там один с веслом. А другой, второй с кормы – с ружьём который: вот это он! Не помните – обязательно посмотрите».

Сходство было удивительное: совпадало именно стремительно-грозное выражение лица, летящий покат лба и свирепые белки. Только Сергей был поплотней, поухоженней, посинеглазей. И нос имел, что называется орлиный, а усы поменьше и позолотистей. Со школы был необыкновенно взрослый, крепкий, брился и курил класса с восьмого, а в студенчестве был накоротке с мужиками-преподавателями.

Чудил Ёжик напропалую. Будучи коноводом, потащил как-то всех в пивную. По дороге поймал белого голубя, и тот доверился ему и как привязанный ходил по столу меж кружек. Пивнушка закрывалась, и ребятам пришлось взять пива с запасом. Запас оказался столь основательным, что, несмотря на приказ Ежа допивать, пиво встало столбом в пищеводах. Добыли где-то прозрачных пакетов и по-хозяйски залили остатки. Собрались в гости. Долго ловили машину – компанию с янтарными пакетами никто не брал. Пузатые подушки подтекали с углов. Ёж одной рукой придерживал пазуху с голубем, другой писал на асфальте пивом: «Баскак дурак». Наконец он ухитрился остановить скорую помощь, компания в неё взгромоздилась и помчалась под крик Ежа: «Шеф, включай сирену, гони на красный!».

В гостях уже были какие-то тихие посетители. Ёж моментально перелил пиво в кастрюли, сгонял кого-то за водкой и, вовсю разойдясь, впал в чтение на память «Чёрного человека». Читал кусками, а когда сбился, маленькая, похожая на землеройку, девушка Соня с цигейковой шевелюркой пискнула:

– Как вы относитесь к Бродскому?

– Так же как к Троцкому! – рыкнул Ёж и так сверкнул белками, что девушка задрожала и спряталась в другую комнату. Вскоре поджало пиво, и Ёж рванул в уборную, находившуюся в конце длиннейшего коридора, гэобразно ломающегося к кухне. Комната, где притаилась Сонечка, тоже выходила в коридор. Девушка отправилась в экспедицию за чаем, и на беду оказалась перед Ёжиком. Решив, что его пытаются опередить, он наддал, а девушка, услыхав за спиной угрожающий топ, обернулась и наддала тоже, стремясь к укрытию – к той самой уборной, куда рвался и Ежина. Началась гонка, но девушка оказалась шустра, и Ёж не успел: раздался щелчок шпингалета. Он несколько раз колотнул в дверь ногой, и, не теряя секунд, выскочил на улицу, вернувшись с которой обнаружил, что ни этажа, ни квартиры не помнит. Сев в лифт, взялся обзванивать все подряд квартиры на каждом этаже. Нужный, видимо, прозевал и, отчаявшись, влез в лифт и нажал все кнопки сразу. Кабина застряла. Он принялся молотить ногами. Жильцы вызвали милицию. Приехал наряд, но Ёж с такой убедительностью пробасил: «Товарищ сержант, поставьте свой автомат на предохранитель. Я Ёжик, ни головы, ни ножек», что наряд посмеялся и уехал, а подоспевшие лифтёры пленника освободили.

Дальше Ёж рассказывал, как проснулся в незнакомой комнате и в рассветной синеве увидел на буфете фарфоровую троицу: «Пёсик, котик и голубчик. Когда голубь почесал клювом крыло и пошёл, я понял, что надо остановиться». К сожалению, это так и осталось анекдотом, хотя пивная каллиграфия «Баскак дурак» имела продолжение.

Одним из первых Ёж обнаружил спутниковые американские карты, отражающую местность до мельчайших подробностей. Подговорив друзей и приехав в Тузлуки, он подпоил Баскакова, а наутро на лужайке рядом с домом компания выложила огромными ветками «Баскак дурак». Фотоснимки карт в те годы обновлялись редко, и удивительным образом обновление произошло как раз тем утром, так что карта висела чуть ли не год. Потом, правда, оказалось, что Ёж подглядел задумку этой хохмы у журналиста Алексея Тарасова, но про то помалкивал и продолжал утверждать, что сам всё придумал, изучил, да ещё и подстроил, и распространял целые фоторепортажи с подписями: «Усадьба писателя Игоря Баскакова. Первый снег», «Тузлуки. Бабье лето». «Осенний звон. Дума». «Усадьба классика – вид из космоса».

Между двумя надписями «Баскак дурак» целая жизнь прошла. Шебалин закончил исторический факультет по специальности археология и этнография. Хорошо знал английский язык и в нужный момент успел завязаться с иностранцами и отхватить выходы на международные археологические программы. В то время на коне оказывался тот, кто без запинки мог произнести словосочетание, вроде, «sustainable development». Потренируйтесь: састенебл девелопмент, састенебл девелопмент... Ну как? Вот то-то и оно. А Ёж мало того, что великолепно справлялся с девелопментами, но и обладал даром вписать их в чиновничьи планы, без чего никакой серьёзной деятельности не могло быть и в помине. Среди кабинетных бытовала легенда, как Шебалин, «пинком открыв дверь, врывается в кабинет министра и с пылающим взором и криком «систенебл-девелопмент!» убеждает в чём угодно». Подобное действительно случалось и давалось искренней и открытой повадкой, умелым и убедительным словом и глазами, горящими то свирепо, то восторженно. Чиновников подкупал его сугубо мужской вид, компанейская манера, то вкрадчивая, то армейски-горластая, способность перепить любого

начальника и героем выходить из любого заезда на всякие базы с банями, бассейнами и их обитательницами.

Но, пожалуй, главный его талант заключался в сочетании двух умений: бескорыстно сиять идеей науки и, чувствуя людей, оказываться рядом в нужный момент. Всем казалось, будто за ним кто-то всегда стоит, так умел он обобщить своим видом дух любого из кругов – чиновники думали, что за ним наука и иностранные деньги, наука – что иностранные деньги и чиновники. Иностранные деньги жили по своим идиотическим правилам: их не разрешалось тратить на строительство, но при этом поощрялось просаживание тысяч на никому не нужные рок-фестивали. Ёж был хитёр и умудрялся хотя бы часть выручить и пустить на дело.

При всей любви жить на широкую ногу он стоял на принципах братства за идею и свои успехи делил на друзей: кураж и товарищество были его главные опоры. Очень поддерживал Баскакова, когда тот жил впроголодь, и издал его первый сборник рассказов «Бичуган из Богучан».

Шла совместная долгосрочная программа по исследованиям в Горном Алтае. Ёж с совершенно невозмутимым видом произнёс словосочетание «The Altai Mountains – the territory of sustainable development», после чего на въезде в республику появился огромный щит «Горный Алтай – территория устойчивого развития», а Ёж открывал пинком уже любые двери.

В это время позакрывали региональные киностудии, зато приехала из Франции некая кино-старушенция учить сибиряков документалистике, и её тут же облепили непризнанные дарования, которых Ёж умудрился растолкать и так закорефаниться с этой Катрин Водё, что вместе с ней и своим фотографом они отсняли документальный фильм «Принцесса Укока». Монтировали его во Франции, где Ёж завёл кучу знакомств и раздобыл для института новейший георадар, с помощью которого на Укоке открыли поселение афанасьевцев. До сих пор считалось, что они туда откочёвывали только летом и вряд ли укрепляли быт.

Шебалин работал в институте и одновременно был экспертом в одном международном совете. Вскоре его как специалиста по Горному Алтаю, владеющего английским, свели с премьер-министром, который должен был везти на Укок некоего «азиатского прынца». И Ёж настолько удачно провёл поездку, попутно устроив рыбалку, родоновые грязи, пантовые ванны и охоту на козерогов, что оказался небывало подтянутым к сферам. Как на шарах поднятым, неудобно поджатым к потолку и поглядывающим оттуда стеснённо, но невозмутимо.

Ёж был так уверен в своих силах и так ненавидел бездельников и хитрованов, что не заботился о тылах. Непривычка к уступкам и резкость привела к порче отношений с директором института, который попытался присоединиться к Ежиным достижениям. Ёж взбрыкнул, и попытался сам вырулить на очередную взлётную полосу под названием «Плато Укок – урок экологического штиля», но его наработки и заслуги моментально были приписаны различным захребетникам, и он оказался оттёртым в разгар самых дерзких планов. В то время заговорили о русско-китайском плане газопровода через «зону покоя Укок», и Ёж на совещании у министра назвал его «безобразной авантюрой, замешанной на карманных интересах группы нефтегазовых дельцов, не имеющих ни малейшего представления ни о научных, ни о государственных интересах». Досталось и науке: «Наука?! – возмущённо крикнул Ёж. – Попомните моё слово: едва всем этим трупоедам покажут газовые бабки, они забудут о научных идеалах и засунут языки в ...пы!». Так оно и вышло.

Враги ликовали, и Ежа постепенно выдавили из нескольких проектов, а в самый решающий момент ему прилюдно изменила жена, руководящая одним из смежных направлений, и он выгнал её из дому, оставив дочку, которую та обманом забрала.

С криком: «застенебл-девелопмент, суки!» Ёж шарахнул ногой в приёмную президента Сибирского отделения Академии наук, но его не приняли. Ёж не справился. И не оттого, что не привык проигрывать, а оттого, что всё его победное организационное бытие было изначально пропитано застольем, и никто из друзей, которых он щедро трудоустраивал вокруг себя и вовлекал в летящий и полный планов кураж, не понимал, что вечный коньяк на столе был для Ежа намного важней, чем для всех остальных. Его карьера была как хмельной полёт на снегоходе – ночью, в мороз, по наледи. Когда ледяной ветер бодрит, пока несёшься, а при первой поломке гробит. Она случилась, и пришлось спешиться. Тут коньяк навалился и стал забирать – по-хозяйски, как ночная стужа.

Баскаков писал:

«Выходит, чем больше печатаюсь и утверждаюсь в опорах и внешних и внутренних, тем сильнее рушится Серёжа. Он уже поменял с десяток работ, с которых всё чаще вылетает, потому что или пьёт или пребывает в таком звеняще-придирчивом и гневном раздражении, что от него стараются избавиться. Питьё совмещается с ночным рытьём в новостях и отслеживанием моих выступлений и интервью, где Ёж наполняется бесконечным несогласием и осуждением, которые выплёскивает при встрече.

Начинается спор, тяжкий ещё и тем, что Ёж ничего на свете уже не любит, кроме «нескольких людей» и общей идеи «организованности». Когда его спрашивают, что он сам предлагает сделать сегодня в России, отвечает, что каждый должен заниматься «своим делом», что не его обязанность что-либо предлагать, что не берёт на себя такую ответственность в отличие от «некоторых», и, вывернув на поле нападения, разворачивает атаку.

Говорит дежурные три вещи: что в «нормальных странах» всё по-другому, что хватит нам идей – пусть каждый «на своём месте хорошо дело делает», и что *здесь* ни при какой идеологии ничего *путнего* не выйдет.

Разговоры о Родине не выносит, называет пафосом и морщится. Морщиться он любит, и существует с десяток разновидностей Ежиного сморщенного носа. Весёлое, короткое, затрагивающее только переносицу, – когда кто-то что-то глупое говорит, а он со мной переглядывается. Кабинетное, будто на случай прослушки, когда спрашивают про нового губернатора: «Ну как он?». А сморщенный и несколько крысиный нос означает, что надеяться не на что. Просто сморщенный нос – от весёлого настроения. А бывает нос-сигнал – когда, устав сидеть над письмами, Ёж смешно шевелит очками, намекая на коньячок.

Средне-брезгливая наморщенность означает, что тост за Россию так же неприличен, как разговор о героизме среди военных или обсуждение таёжного риска промысловиками. В молодости нам всем так и казалось – патриотизм ассоциировался с пропагандой чего-то набившего оскомину. Среда, где рос Ёжик, была пронизана щепетильностью и бабьими страхами кого-то обидеть и потребностью без конца защищать тех, кто и не подозревал о том, что нуждается в защите. Пестовался обострённый нюх на некое настоящее, на неприятие поддельного, массового, и способность рассекретить и отсечь как можно больше постыдно-поддельного считалась сословной доблестью.

Ёж с одинаковой ненавистью относился к любому «ненастоящему», и замечательна была реакция на него дам, падких на текущие ценности. Он выглядел очень внушительно, весь в породистых штучках, водоплавающих телефонах и дорогущих карабинчиках для путешественников. За этим дыханием заграницы недалёкие девы чуяли большой буржуазный достаток. А поскольку он был намного интересней и обеспеченней краснолицых коммерсантов в меховых кепках и с маленькими портфельчиками на ремешках, то невесты на него так и клевали. А когда он вваливался в клетчатой рубахе в какой-нибудь священно-заповедный псевдояпонский ресторан, то настолько шокировал спутницу простецкой повадкой и презрением к новомещанским нормам, что слетали все девчонкины настройки.

О русском народе говорил так:

– Да, дерьмо народ, завистливый, ленивый, тупой. Ни мне, ни соседу. Лишь бы дальше носа не видеть. У Толстого хорошо на эту тему написано – как казаки на французский арьергард напоролись, сбили их, и вместо того, чтоб гнать до талого, знаешь, чем занялись? Сёдла с убитых лошадей сдирать. Х-хе! На хрена наступать? Сбруя важней. (Да, девушка, я же сказал: малосольный муксун, два стейка из оленины и ноль семь «Белухи»...) Духовность, б..! В Приморье батёк церкву строит – китайцев нанимает! Ваши-то православные где? Чо молчишь? А? Хрен на. Да на здоровье... Ни тачку собрать не могут, ни рубаху сшить... – Лицо Ежа особенно багровеет, а белки сверкают: – Уезжал тут в Рино на охотничью выставку, а мать в больницу попала. Прихожу – она в коридоре на койке голая лежит, мимо мужики ходят, она орёт, ни одна падла не подойдёт! Ни од-на! А нянька, мерз*о*та, сидит в ординаторской на стуле в телефон базарит и бутерброд жрёт... С салом. Сука жирная... – и начинал тянуть медленно, таинственно: – Не-е-ет. Ничего здесь не будет. Нич-че-го. – И обрубал: – Давай! За маму мою! – и краснел глазами. – Чудесная женщина! Закусывай... – И сам, закусив, выходил на новый круг: – Игорь, я был на ранчо в Монтане. До чего там прекрасно всё организовано. Тебе бы *просто* понравилось! Просто. Ты не представляешь, сколько там ручного труда! И всего натурального. Традиционного. И как они берегут это. И так же всю эту хрень тоже терпеть не могут... Нью-Йорки всякие. У них даже выражение: «Plastic World». Да вот! Вот! Казак твой, Михайлов, рассказывал, как их в Швейцарии принимали. В горах. Какие там деревни, музеи, спевки-гармошки! Прекрасно живут именно тем традиционным, за которое вы ратуете, – и снова отстранённо, как мохом проложит: – Не-е-е. Ни-чего не будет... – И следующее бревно наваливает: – Это у *вас* тут не могут порядок навести. Элементарные вещи. На Урале человек сделал музей, а орава дармоедов из управления культуры его в такой угол загнала, что он кони двинул. Игоряшенька, дорогой. Ник-ко-му ни-че-го не надо. Одни бабки на уме. Бабки и халява. Всё! Давай! За нас!

Пытаешься возразить, что в *тебе* дело всегда! Не в том, *какой* народ, а в том, что *ты* для него сделал. И что на тонущем судне можно сколько угодно в гармошки играть.

– Не надо ничего ни *для кого*, и ни *за кого* делать, – дидактически по складам доносит Ёж. – Все оч-чень взрослые люди. (Девушка, а у вас есть морс?) – Переглядывается: – Симпатичная, хм... (Девушка, а вы в Горном Алтае были? Напрасно...) Баскак, а хочешь, я тебе исследование закажу? По Горному проедешь, посмотришь, с людьми поговоришь, ещё и денег заработаешь. А? Давай? Девушка, а принесите-ка нам листочек бумаги, э-э-э... автоматическую ручку и груздочков со сметаной! Хорошая, кстати, работа могла

бы получиться... Как же она будет называться-то? Так. Давай! За тебя! Э-э-х! Хороша! И груздочки... просто зашибос... «Обзор...». «Обзор состояния... Так, так... обзор состояния и перспективы развития традиционных укладов на территории... хе-хе... – и он посмотрел с победной хитринкой и подмигнул: – устойчивого развития Горный Алтай». Ты и староверов туда воткнёшь, пока живые, и казаков, и алтайцев... Это ж история! Это твоё всё! Ну? К Кучугановой съездишь. А? Ну что? За нас!?

...Пить мог бесконечно и никогда не терял облика. Все уже не вязали лыка, а в Европе едва подходило деловое время и ему начинали звонить. Он не только отвечал как ни в чём не бывало, а ещё и горящим мозгом ухитрялся нащупывать новые задумки, а закончив разговор, садился за стол и до утра, припивая коньячок, писал письма на великолепном английском.

Картина из юности, которую никогда не забуду... Ёжик сидит у костра на пихтовом лапнике. Волосы – небрежным шёлковым горшком. Борода, уже настоящая, крепкая с золотцем... Он обожает рубахи в клетку и сидит как раз в такой вот, красной в чёрную клетку, и снимает её... А у него торс, смуглый от природы, бицепсы, грудные мышцы выпуклые... причём он спортом не занимался, а сам по себе такой. И волосы дорожкой породистой на грудине... И он эту рубаху снимает и швыряет... и так небрежно, под нос говорит: «Женщины, зашейте рубаху»... И они, прямо несколько штук девушек, как чайки, пикируют за его пропотевшей рубахой... А здоровый был кабанюка, мы его вдвоём с Костей не могли заломать, на руках висим и ничего сделать не можем.

В молодости у Ёжа были густые волосы. Потом они стали редеть, появилась маленькая, похожая на китовый ус, карманная расчёсочка с короткими зубчиками, с которой он стал задерживаться у зеркала. Потом он очень сильно полысел, и сейчас напоминает уже не орла-беркута, а стервятника или сипа: худая костлявая голова с орлиным носом, и особенно страшный меловой с похмелья вид – трупно-синие мешки под глазами и в самих глазах сумрак... Могильный сумрак... Не могу... Не могу... Серёжа, прости...

Пришедшие к вере его бесят, и с ними он расправляется, как Губошлёп с Егором Прокудиным: казнит за прошлое. Беспощадно. И ненавидит «попов». И также ненавидит шваль всю мелкокусачую. Логики никакой нет. А есть сердце большое и доброе. И больное. Но что-то мешает... сословная гордыня, воспитание, не знаю... В душе-то он всё любит, и мешает только точка, с которой он смотрит, и если бы его чуть с неё сместить, даже вместе со стопкой, то может всё бы и наладилось?

Куда-то нас пригласили, а он прознал, и рвался к нам, не мог найти, и пришлось ехать навстречу, забирать... А там... шашлыки, лаваш, чача-мача. Шум-гам. А потом вдруг – как звук убрали, и мы смотрим друг на друга. И я вижу его красные веки толстые, и эти глаза набрякшие, разъезжающиеся, будто они... упали, с краёв обвисли, но всё равно – глаза. Язык что угодно молоть может, а глаза не обманут. И я гляжу в них и спрашиваю: «Ну ты как, Серёг?». А он говорит немножко нараспев и совсем не по-боевому, не по-ежиному: «Всё хо-ро-шо. Всё бу-дет хо-ро-шо». И я смотрю в эти обвисшие глаза и всё внутри рвётся: «Прости меня, братка, прости! Ну как? Ну как мне тебя спасти!? Было б на войне – на руках вынес бы! Иль полегли бы оба! А сейчас – как помочь? Если ты даже сам себе помочь не хочешь! Сколько уж всего переговорено. Ну как? Как?! Да что же за горе-то!». И я смотрю в эти глаза и погибаю, каменею, молчу, и всё больше и больше в этом молчании лжи и предательства. А в глазах его чёрным по белому: «Пристрели меня! Или без войны тащи...».

Исповедь

Александро-Невский храм в заштатном купеческом городке Тузлуки был построен в конце девятнадцатого века после убийства в 1881 году императора Александра II. Тузлучинский купец Никифор Вытнов обратился в Святейший Синод с просьбой разрешить построить на свои средства храм во имя небесного покровителя убиенного царя – князя Александра Невского. А в конце двадцатого века вокруг храма была основана женская обитель. Монастырь был небольшой, но аккуратный и ухоженный, белые постройки, творожно-белый собор с золотыми куполами, кованые ворота.

Народу в храме было не много, видимо больше рассчитывали на Рождество. Баскаков пропустил Лену вперёд, и сам оказался последним. Отец Лев – рослый, светлоглазый, немного напоминающий доброго волка из «Иванцаревича», с лицом собранным, утянутым к некоей точке впереди носа. И в очках, каких-то особенно прозрачных, круглых, в тонкой серебристой оправе. С седоватой раздвоенной бородой и взятыми в пучок власами, нависающими с боков расслабленно и выпукло, и тоже седеющими и немного в зелень. Он с Юга России, гхакающий, но не по-украински придыханно, а пожёстче, по-донски. Замечательна его улыбка, особенно захватывающая глаза – радостно-смущённая, всепонимающая, от которой на душе тепло и надёжно. Очень он пришёлся Баскакову с Леной доброжелательностью, рассудительностью, неприятием формализма.

Отец Лев велел Баскакову читать на клиросе, а пока исповедовал Лену. Баскаков читал в пол-оборота, и поглядывал на Лену, видел, как двигалась её голова, когда она говорила. И как отец Лев, улыбаясь, склонялся к ней и тоже говорил, то глядя на неё, то озирая храм. А потом накрыл ей голову плотной и будто твёрдой епитрахилью, приложил ладонью и сняв, освободительно плат епитрахили, кивнул на Евангелие. Лена поцеловала Евангелие и крест и отошла сначала быстро, а потом медленно, сбавив шаг и описав задумчивый полукруг. Отец Лев кивнул Баскакову.

– Готовился?

– Да. Батюшка, благословите... Исповедуется раб Божий Игорь. – Игорь замолчал, а потом заговорил робко как-то, ещё пуще смущаясь от этого и теряясь: – Батюшка, грешен, и честно – будто никакого движения нет. Всё... всё то же самое, что в прошлый раз. Раздражение на близких, на жену, требую от неё слишком многого, старинного какого-то бесконечного духа, затворничества, неприятия всего... этого... ну понимаете... Батюшка, знаю, что надо грехи перечислить, не раскрывая, но если можно, если у нас есть время, всё-таки прошу разрешения...

– Благословения.

– Благословения... на более подробный разговор. Есть у нас время?

– Время всегда есть, если с ним... не состязаться, – улыбнулся отец Лев.

– Да... Чревоугодие, батюшка... В пост, когда гости, не всегда могу удержаться от спиртного. Ещё... ммм... похотливые мысли посещают. Ещё не сквернословить стараюсь уже много лет. Но бывает, когда оказываюсь с кем-то простым-трудовым, кто ругается, не могу удержаться. Не потому что подумает: чистоплюй... А вроде как ругнусь – и будто обозначу, что свой. Что оттуда же вышел. Стыдно. Ну и главное... Маловерие. Мало сил. На всё, что угодно есть, а с вот душой помолиться – не могу. Не всегда могу. Хотя мог раньше.

– Вот послушай. Ты, когда писать начинал и ничего не получалось, ве-

рил, что ты уже писатель? Что уже *там*? В литературной вечности? Хоть ничего не умеешь. Верил?

– Верил, батюшка, – с жаром сказал Баскаков, – сквозь *всё* верил.

Он смотрел то на Евангелие, то на отца Льва.

– И тебя ничто не могло ни остановить, ни поколебать... А тут-то в чём дело? Господь сказал – будьте как дети. Отец ребёнка подбрасывает вверх и ловит. И тому в голову не придёт, что его уронят. Маловерие – это недоверие. Ты не доверяешь тому, кто тебя...

– Подбрасывает...

– Подбрасывает... Судишь по своей слабости. Мы думаем – чем плохо молиться, лучше вовсе не буду. А ты сверяйся. Сверяйся... Не хочешь молиться или спешишь. Не бойся, пожалуйся на себя, но чтоб Он слышал, знал... – отец Лев помолчал, немного нахмурился: – Нам на путь к Божьей благодати даётся целая жизнь. Да, конечно, это духовный подвиг. Но иначе зачем мы тогда всё это затеваем? В храм ходим? Так, обозначиться?

– Нет конечно, батюшка. Но вот грешен... батюшка, молюсь по-настоящему только, когда... ну... припрёт. А бывает, напашешься и такое бессилие духовное. И мне легче штабель брёвен перекидать, чем пять минут на молитве выстоять.

– У нас в монастыре, – медленно сказал отец Лев и внимательно посмотрел на Баскакова, – одна замечательная барышня, жившая трудницей, катала тяжеленные чурки, и новоприбывший галантный господин бросился ей на выручку. – Отец Лев улыбнулся: – А она ему знаешь, что сказала? «Спаси Господи, это моё. Ну а хотите помочь – так помолитесь за меня». Дальше! – с каким-то почти азартом сказал отец Лев.

Баскаков покачал головой.

– Гордыня, батюшка, писательская заедает. Люблю говорить бесконечно о своих достижениях. Когда выпадает слава – питаюсь ею.

– Преподобный Амвросий рассказывал: «Одна исповедница говорила духовнику, что она горда. «Чем же ты гордишься? Ты, верно, знатна?» – «Нет». «Ну талантлива?» – «Нет». «Так, стало быть, богата?» – «Нет». «В таком случае, можешь гордиться»! Дальше! – говорил отец Лев, и в этом «дальше» было требование какой-то необходимо-важной общей дороги, которая теперь зависела лишь от Баскакова.

Отец Лев сосредоточенно смотрел на крест и кивал, будто знал всё, что скажет Баскаков и теперь строго сверял его слова с неким оригиналом.

– Чем большую глубину стараюсь придать героям, тем меньше глубины оставляю себе самому, своим поступкам, вообще перестаю *поступать* и всё меньше участвую в жизни, живу в каком-то оцепенении. Правда. Мысли в глуби, а сам-то наверху где-то, как плёнка полиэтиленовая.

– Плёнка тоже нужна. На всё воля Божья. Молись. И помни слова: «Будьте не мёртвые, а живые души. Нет другой двери, кроме указанной Иисусом Христом, и всяк прелазай иначе есть тать и разбойник». Кто это, кстати?

– Теряюсь, батюшка.

– Гоголь.

– Не знал! Позор. И ещё рассудите. Вот для меня Православие неотделимо от России... А вдруг я шёл в Церковь только ради Русского мира? А не ради Бога... в чистом виде? Что-то говорю такое... И ради, и не ради... запутался, и так не так, и эдак.

Отец Лев схватился за голову и так катастрофически и безнадёжно наморщился, что Баскакову стало страшно.

– Ну что же... за несчастье! Ты же о Русской идее пишешь. А она Богочеловеческая. Это если хочешь – завет, замысел Божий о нашем народе. Потому что Бог сохранил Россию как *свою* Церковь. Как говорил отец Тихон: «Мир в когтях и мы ему помеха. Это и есть Русская брань и Бог в ней воевода. А с ним всегда победа».

Но только воюй с умом! Сейчас многие хотят стать православными писателями. И к нам в Боево приезжают. Я говорю: братья дорогие, не перегружайте книги церковной риторикой, не красуйтесь цитатами из писания, пишите житие современного человека, в котором воплощается русский духовный идеал. Православие – это истина для всех народов, и чем больше мы в нём продвинемся, тем больше возвеличим наше Отечество... Люби Бога. Люби Родину. Помогай их единству. Дальше! – почти вскричал он, словно, если не узнать, что дальше, случится непоправимое.

– Стараюсь... – смиренно сказал Баскаков. – И ещё батюшка, у меня с другом беда. И я не то, что совета прошу, я грех какой-то исповедую... огромный... а слова не найду... Есть у меня такой Сергей... Он очень деятельный был, с честолюбием, с планами. Всё получалось. И меня так поддерживал, что не забуду. Звонил, спрашивал, что я ем буквально. И самое главное – я *сам* потом так же поступал. Голодным помогал. Да. И он очень многого добился... И всё в одночасье рухнуло, предательство сослуживцев, потеря работы, измена жены. Всё в один год. А была привычка к пьянству, в котором мы все участвовали за его же счёт. Я его долго не видел, он уезжал, а когда вернулся через пять лет, оказалось, что всё это время он пил каждый день. Он привык побеждать. А тут... не справился с управлением. И все виноватыми стали. А уж как России досталось... Я ему пытаюсь... объяснить – всё в водке. Освободись от неё. А он: «А ради чего?». Я говорю: «В таком состоянии ты не можешь ни о чём судить, тут не одна трезвая неделя нужна – у тебя внутри руины одни». Не соглашается. Не хочет. Не может. А шли-то вместе... И он начал меня терзать, лезть в душу, судить, как я жил, что говорил, что теперь говорю, что пишу, во что верю. Причём матом. Оскорблять то, чем мы занимаемся с Костей, с Михайловым, ну такое... созидательное, наше. При этом к нам же и тянется – все гладкие знакомые давно на него плюнули. Только мы и остались. А тут заявил: «Пошёл ты из моей жизни навсегда со своими попами, и моралью, и Россией...». Вот и спрашиваю, что это всё: мой грех равнодушия? Помочь-то можно разве, пока сам не захочет? Общаться нельзя. Каждый разговор как обстрел... Чем живее откликаешься – тем беспощадней нападки. Что ему надо? Если он так ненавидит нашу любовь ко всему этому, – Баскаков повёл рукой, очертив окно и купол, – зачем к нам же стремиться? Вообще, что означают все эти упрёки?

Отец Лев отвечал немного холодно, режуще:

– Это значит, что человека так скрутили, что не вздохнуть, не пошевелиться, что он уже хрипит о помощи, просит в голос, кричит!

– Как я могу ему помочь? Только молитвой?

– Пьянство – это попытка благодати без духовного подвига и тягчайший грех. Иоанн Кронштадтский лечил через покаяние, через обет трезвости. Но для этого хотя бы минимальное воцерковление нужно. Хотя бы чтоб он в храм пришёл.

– Да какой храм! Он в баню-то войти не может. Его корёжит.

– Молись. Молись молитвой Иоанна Кронштадтского: «Господи, призри милостиво на раба Твоего... Сергия, прельщенного лестью чрева и плотского веселья. Даруй рабу Твоему Сергию познать сладость воздержания в

посте и проистекающих от него плодов Духа. Аминь». Можно заказать молебен с Акафистом Пресвятой Богородице в честь Иконы «Неупиваемая Чаша». Можно молебен с Акафистом Святому мученику Вонифатию, и Великомученику и Целителю Пантелеимону.

– А если... всё-таки?.. Идти к нему...

– Называется идти на духовную жертву. Это только тебе решать. Дальше...

– Батюшка, я часто выступаю перед школьниками. Как к чему-то призывать, если сам несовершенен?

– Ни в коем случае не поучать от своего имени. Никто не совершенен. Тем более тебя не мораль читать ставят, а разъяснять слово Божье. Так у священников, по крайней мере, а у писателей...

– Тем более. Спаси Господи, батюшка...

Вернувшись с исповеди, Баскаков попытался прилечь, но Лена, которая его почти не видела последние дни, обиделась, и Баскаков выполз к столу, красный от усталости и насупленный. Обычно бывало наоборот – он Лену тормошил, особенно по утрам. Теперь, отдуваясь чаем, сидел Баскаков, и это будто было продолжением какого-то извечного спора, в котором каждый отстаивал свою правду и пытался приживить другому.

– Ну что ты? – улыбнулась Лена, завернув губку, и Баскаков ожил:

– Ты не представляешь, как он помогал мне.

– Кто? Отец Лев?

– Ёжик... На каком он коне был... И насколько не умел не делиться... добычей... А сейчас получается, есть я – такой сытый своим созиданием, своим служением Русскому миру, что аж свечусь... И есть он, у которого ничего – только одиночество и... это поселившееся в нём чудище, при котором он уже как гэсээмщик замызганный... Топливо принимает.... Закачка-раскачка...

Помню, мне так одиноко было под Новый год, куда податься не знал. А Серёга тогда только женился на своей капризуле, но он *все праздники* со мной провозился, притащил к себе... И мало того, что притащил, а ещё и уложил жену в другую комнату, а меня заставил лечь на огромную кровать их, а потом ещё и припёрся, и мы чуть не до утра с ним разговаривали. Причём он буквально проламывал её неудовольствие, мол, ничего не знаю, это товарищ мой...

– Да ему выпить хотелось.

– Да причём тут выпить! – взъярился Баскаков. – Просто он друзей не бросал.

– Игоряш, иди спать.

Баскаков ушёл, но едва приложился к подушке, позвонил Петя. Баскаков так и не поблагодарил его за помощь и переживал. Некудышный литератор, Петя был настолько тёплым человеком, что вокруг него все и кучковались, как вкруг очажка. Одно время он мёл метлой, и Баскаков представлял его, когда писал рассказ «Дворник». После разговора Баскаков окончательно прибодрился и вышел к Леночке. Она сказала:

– Отец Лев звонил, его срочно в Боево вызвали.

– Значит в Боеве и причастимся, – сказал Баскаков и снова завёл про Ёжика: – И ты понимаешь, ладно, я не могу его вылечить, не могу заставить этот мир вернуть-полюбить. Но были случаи, когда он просил простого поступка, *простого*, а мне настолько невыносимо было на него глядеть, что... э-э... – Баскаков крякнул и махнул рукой: – У меня этот случай с рубахами из головы нейдёт.

Баскаков занимался альманахом, литературным фестивалем, семинарами и образовательными программами. А кроме рассказов и повестей писал ещё и очерки, и открыв какого-нибудь самородка, носился с ним как с писаной торбой. Однажды случайно подвёз бывшего зампотеха танковой бригады, который ушел в запас и стал делать танки. Ему из Москвы режиссёры заказывали технику. Раз сварил «тигра» и поехал на нём по водку, а тут попался дорожный патруль. И обошлось бы штрафом, но Тузлучинский прокурор прилепил ему пропаганду фашистского дела. Пришлось Баскакову звонить прокурору области и выручать.

Писал о музыканте Василии Вялкове, его песнях прекрасных и трагической кончине в упавшем вертолёте с начальством на отдыхе – истории сколь нашумевшей, столь и замятой. Ездил в Турочак к его жене Марине.

Писал о Мариинском самородке Юрии Михайлове – создателе музея бересты, архитекторе, музыканте и подвижнике казачьего дела.

Пропадал в Уймонской долине у Раисы Павловны Кучугановой. В небольшой избёнке чудная женщина устроила музей старообрядческой культуры, славный не столь предметами быта, сколь душевным обычаем: каждая экскурсия Раисы Павловны – духовное наставление, и ни слова от себя. «Старообрядцы-то скажут: «Гладого накорми, нагого одень, босого обуй. Найди человека ласковым словом». Та-а-ак они скажут».

Казаков и старообрядцев Баскаков равно любил за верность. Однажды его познакомили с Фёдором Шлыковым.

Основатель и руководитель ансамбля «Казачий струг» Фёдор Григорьевич Шлыков был крепкий лысоватый человек лет шестидесяти пяти, жизнь положивший на изучение и поиск народной песни. Хор у него был исключительно мужской, дониконовского звучания. Шлыков был мастеровой человек, краевед, собиратель Русского мира и музыкант. Голосюгой владел могучим, брал от низов до «дишканта». Шлыков имел староверские корни и просил отвезти его к староверам в Уймонскую долину, где хотел записать крюковое пение. Ехал с сыном Никитой – иконописным чернобровым юношей, заведовавшим у отца студией звукозаписи. Шлыковы двигались из Подмосковья, с подарками и справой, с гармонью, балалайкой и колёсною лирой.

Баскаков больше всего на свете любил сводить дорогих людей, и когда они входили в согласие, как голоса в Шлыковском хоре, был счастлив. Что для него значила смычка Григорича с Кучугановой, даже Лена не знала.

Уймонская долина Катуни – это меж Катунским и Теректинским хребтом. До Усть-Коксы, где собирались стать, от Новосибирска девятьсот километров, смотря по какой дороге сворачивать с Чуйского. Происходило всё между Рождеством и Крещеньем, стояло под тридцать, а в Уймонской яме меж двух хребтов воздух за ночь слёживался до полтинника. Днём южное солнце разрыхляло его вполовину.

Баскаков встретил и привёз Шлыковых в Тузлуки, куда уже приехал Михайлов из Мариинска вместе с Ежом, который прогостил у него праздники: лежал пристольным лёжнем на диване, приподымаясь лишь на стопку. Последнее время такое гостевание стало ему привычкой.

Приехав к Баскакову, Ёж воодушевился, но, когда все повалили в баню, остался – бледный, с бугристой стервятничьей головой и тёмным взором. В дорогой одежде из старых запасов, малиновой водолазной кофте, от кото-

рой начинал распространяться запах как от бродяг. Баня была аварийно несовместима с Ежом.

Внешняя часть Ежиной души спасалась близостью друзей, а главное существо было на бессонной приёмке горючего. Как есть кто-то, живущий тепло по-домашнему, и есть – кто век в плаще на берегу под дождём и снегом. Не расслабиться – то танкер подойти не может: вал, то ёмкост*я* отпотели, то раскачка, то промывка, то замеры по рейке... Работа. Какая тут баня? Дойти до неё Ёж бы и дошёл, и даже стянул бы обтягивающее, будто резиновое бельё, но ни вспотеть, ни вынести жар не смог бы, не говоря о хлестании веником и валянии в снегу, куда Баскаков с Михайловым падали крестами. Отпечатки на склонах сугробов так каменели, что приходилось в другой раз начинать новую часть снега, чтобы не отшибить задницы. По числу копий могло показаться, что парилась рота. Но про снег речь и не шла: с Ёжом, когда-то главным банником и парщиком, несовместимо было даже простое сидение на лавке с тазом. Что-то буйное он бы ещё выдержал по привычке к куражу, а вот кропотливое, вроде намачивания и намыливания мочалки, – ни под каким видом. Всё его проспиртованное нутро, химически, животно противилось любому очищению и приковывалось к столу.

Придвинули диван, и он лежал, изредка сам наливая и разговаривая с Леной, возившейся у плиты – гостей принимали в большой гостиной-кухне. Почти ничего не ел и время от времени отваливался заснуть – чутко и неглубоко – до первого перезвона.

Вернулись банщики, с блестящими лицами, с багровой сыпью на матово-розовых плечах. Прочитали молитву и Шлыков басовито обратился к Баскакову: «Хозяин, благослови стол», выпили по три стопки самогонки, закусили капустой, огурцами и холодцом с хреном. И затянули песню. Пошло, загудело разливом многоголосье, то расходясь рукавами-протоками, то сливаясь в могучее русло, и потекло по жилам, мурашками осыпало спины, подкатило под горло, под глаза, соединило дорогими словами. Ёжа подняло, он сидел, зажмурившись и мотая головой. Сжатой в кулак рукой отбивал такт и взревал: «Жги!».

Зажгли так, что Лена еле выжила. Ёж, шарахаясь, разбил зеркало в прихожей. Неуклюжий тяжёлый Шлыков потянулся за хлебом и, с изломом наклонив стул на двух ножках, сломал его. Со Шлыкова упали очки и он беспомощно глядел близорукими глазами и повторял:

– Я ведь хлебца хотел! Только хлебца... Ой, Шлыков! Ой, Шлыков. Ну теперь только песню.

О хлебце – особо... Баскаков не признавал магазинского хлеба и заставлял Лену стряпать домашний в духовке. Лена компромиссно упирала на новые тогда хлебопечки, и Баскаков купил дорогую и редкую японскую. Месил тесто похожий на угловатое крылышко тестомес, который надлежало выковыривать из горячего хлеба специальным крючочком и быстро убирать в надёжное место.

На протяжении казачьего гостевания Лена старательно следила за тестомесом, и с вечера положила отмачиваться от теста в стакан с водой подле раковины. Утро началось с бодрого Баскаковского выкрика: «Как ночевали казаки?» и басовитого нестройного: «Слава Богу». Взялись завтракать и собираться. Лена что-то насуплено искала: исчез тестомес. Кто-то из гостей мыл ночью посуду, и Лена подозревала, в пылу приборки выбросил дорогой предмет вместе с мусором. Перерыли кухню, помойные вёдра и разобрали пылесос – тестомеса не было. Шлыков перемазался в пыли и глядел на всех

добрыми в складочках глазами. Был он несколько рассеянным, и находился под укоризненной опекой Никиты, который говорил: «Батя, ты опять мои носки надел?».

Шлыковы долго собирались, таскали справу, чуть не забыли пакет с напильниками – точить цепи от бензопилы: кто-то сказал Григоричу, что у староверов их вечная недостача. Баскаков нашёл его под столом и унёс в багажник. Позвонили из Усть-Коксы и ещё раз предупредили про «морозяки».

Ёжик тоже поехал, но не в Коксу, а к знакомым на Чуйском тракте, километра два в сторону в деревеньку. Когда его привезли и сдали хозяевам – восторженно-тихой паре из академгородка, – он не хотел расставаться, поставил на капот бутыль самогонки, велел петь и наливать... Обнимался, бился лоб в лоб с Баскаковым, вытирал слёзы.

Ехали долго, самую красотищу, где дорога пересекает Теректинский хребет и тянется по-над Коксой, проехали в темноте. В Коксе ночевали у друзей. Машину загнали в гараж.

Наутро стояло пятьдесят и котловина меж хребтов была в синем волокнистом тумане, только печные дымы поднимались веретённо-тонко, медленно и окаменело. И одновременно ликование шло от прибывшего дня, от южного солнца. Днём потеплело и они поехали в Верхний Уймон, знакомиться с Раисой Павловной. Теплейшие заповедные люди Кучуганова и Шлыков были настолько сильны и самобытны, что требовали вокруг свободного поля, людей с разреженной яркостью, способных лишь на поклонение, – и Баскаков, веря в каждого, переживал, как они сойдутся.

У музея едко парил выхлопом автобус. Перед избой была загородка из толстых жердей, а калитку заменял распространенный в скотоводческих районах мосток: с каждой стороны забора – по наклонной плахе, косой одноногой лавке, по которой ты и всходил. Шлыков, как был в форме казачьего донского войска и с гармонью, так и перелез забор по доске, моментально оценив, и, сияя, переглянулся с Баскаковым.

У Кочугановой были посетители, которым она рассказывала про обожаемых ею старообрядцев-старожилов, описывая каждого, величая по имени и проповедуя его словами. В доме находилась целая экскурсия из Санкт-Петербурга, несколько многодетных семей русских взглядов, рослые мужья с бородками и прямыми лицами, ненакрашенные жёны в платках и тёплых юбках. А дальше...

Шлыков зашёл в избу как в своё родное-кровное – с торжественным наигрышем, с монументальной снежной симфонической нотой, которую так хорошо чувствовал Свиридов. Шёл медленно, озаряя присутствующих по кругу ликующей улыбкой. Открытое курносое лицо его было начисто лишено натужной мышечной игры, какая так утомляет у гармонистов из электричек... и выражало только счастье и гордость за музыку и место.

Конечно, Кучуганова была сто раз предупреждена и ждала, и готовилась... но тут... Господи, как потянулось родное к родному! Как всплеснула женщина руками! Как вскрикнула: «Гости дорогие!». И как они обнялись – невысокие, крестьянски крепкие, сбитые, подсушенные жизнью... И как пол-России попутно стиснули объятием, к сердцам прижали! Видно, одной минуты ей хватило, чтобы с безоглядным доверием представить гостям Шлыковых как родных своих, и одному Богу ведомо – поняли экскурсанты или нет, при чём присутствовали. Баскаков-то не просто понял, а на двор вышел, отхлебнуться стужей.

Кучуганова конечно же согласились свести Шлыковах и со староверами, и с Мамаевыми из Тихонькой, и с их ансамблем «Товарочка», свозить в Муль-

ту. Баскаков с Леной успокоенно вернулись в Коксу. Назавтра предстояло ехать в Новосибирск, у Лены был эфир послезавтра утром, она тогда ещё работала. Днём собирались готовиться к Крещению и встречаться с отцом Львом, который должен был прибыть из Боева в Тузлуки.

Вечером к Баскаковским друзьям в Коксу приехали парень с девчушкой из Горно-Алтайска. На Баскаковской машине стояла сигналка с ночным прогревом разных типов. Она отлично работала при тридцати и даже тридцати пяти градусах. Не то что Баскакову очень хотелось узнать, как она поведёт себя в полтинники, но что-то близкое его мальчишескую душу искусило. Он гордился и сигналкой, и свежепригнанной машиной, ещё надеясь на благополучное разрешение истории с пэтээсом. Увидя Горноалтайский дровяной «фордишко», ещё и без прогрева, он тут же уступил место в гараже – мол, его-то красавец в любой мороз заведётся! Лена на него наворчала: не можешь, мол, не «выдрыпываться».

В шесть его уже свербило предчувствие, и он вышел к машине. Серебристая, она стояла в еле заметном инее, кружевной побежалости и казалась особенно стеклянно-хрупкой. И какой-то лёгкой, пустой, как елочный шарик. Обычно после ночных прогреваний на заиндевелом капоте темнело талое пятно. Сейчас пятна не было, а под выхлопушей чернел кругляш копоти. Он потянул хрустальную ручку. Сел в каменно твёрдое кресло, закрыл по привычке дверь, но та не защелкнулась, и чуть отошла скрипуче. Еле установил ноги – коврик деревянно завернулся, не поправить. Когда вставлял ключ – брелок, качаясь, стукнулся, как камушек, о пластик. Жидкокристаллический значок, пульсируя, замирал, туманно мазался, рассыпался на копии – игрушечное существо, завоевавшее планету, не выдерживало правдивой этой стужи.

Только железному ключу всё нипочём – вошёл в замок, не дрогнув... Двигатель несколько раз слабо и замедленно шевельнулся. После пары таких попыток окончательно забросало свечи.

Достали солярную пушку. Она оказалась незаправленной. Канистра стояла в холодной и соляра в ней взялась бледно-зелёной шугой. Оттаяли соляру у печки, заправили пушку и Баскаков долго грел поддон и задний мост. Машина не завелась. Пришлось созывать народ и катить машину в гараж, где как раз освободилось место. Туда поставили и пушку. Вывинтили и просушили свечи и завели машину.

Лена ничего не спрашивала – просто быстрёхонько села в машину. Едва отъехали, позвонил Ёж и попросил Баскакова, чтоб он заехал и забрал узел с его рубахами в стирку: потом, мол, Баскаков или кто поедет за Шлыковыми и завезёт. Баскаков сказал «посмотрим» и раздражился – неужели нельзя на месте постираться!? Тоже момент нашёл, а тут ещё Лену напрягать заездами и стиркой... Бррр... Представляю, что за узелок...

Предстояло одолеть девятьсот километров. Асфальт был только от Усть-Кана. Баскаков решил срезать от Усть-Кана до Черги и выиграть ещё километров восемьдесят – там была щебёнка, но вполне приличная. Ехали хорошо, слушали Шлыковские записи, а Баскаков, чтобы расслабить Лену, ошучивал слово Черга, превращая в «кочергу», а потом перекинулся на названия, вроде Элекмонар и Джазатор, будто бы технические. Леночка совсем было оттаяла, когда раздался хлопок и прерывистое затихающее шипение. Баскаков пропорол заднее левое колесо, объезжая каменную кучу – колесо прошло по левой обочине и поймало острый камень. Прорвало нехорошо – длинная рваная дыра по самому углу колеса.

Баскаков бодро поддомкратил машину и приступил к запаске. И тут случилось непредвиденное. Запаска была не на любимой тиграми «калитке», а внизу на цепной лебёдке, доступ к который был через лючок над бампером. Баскаков вставил крючок, но оказалось, что на лебёдке ещё и секретка. Она открывалась специальной насадкой – Баскаков перерыл машину, но такой не нашёл. На улице было градусов тридцать, чистое небо обещало студёную ночь, и до посёлка оставалось вёрст полста. Среди сопок на безлюдной дороге связь не брала. Проехал, правда, алтаец с женой на заваленной узлами «калдине», но ничем помочь не смог.

Роясь в багажнике Баскаков обнаружил, что Шлыков перепутал пакеты – баскаковский со свечами и лампочками утащил, а свой с круглыми напильниками оставил. Баскаков заполз под машину и за час перепилил цепь, вылезая греться и ругая «идиота, изобретшего нижнюю запаску».

Баскаков посчитал, что заезда за ёжиковым узлом Лена не выдержит, и проехал мимо. Домой добрались к трём ночи. На следующий день после работы Леночка из-за пустяка раскричалась, расплакалась и расколотила своё любимое блюдо. «Я так готовилась к Крещенью, спасибо тебе, дорогой муж!». А Ёжик написал: «Просил-просил тебя заехать. Устал я от твоей невнимательности».

А Баскаков завёл прогревочный набор: брезентовую юбку и специальную паяльную лампу с отдельным большим бачком на шланге.

Редколлегия

Ранним утром шестого января Баскаков по обыкновению стоял у чёрного своего окна. Ночь выдалась особенно морозная, на градуснике стояло тридцать девять градусов, но уже было слышно, как задувал юг, клоня к потеплению. Трёхкамерное стекло держало ветер с невозмутимой недвижностью, и лёгкие шторы висели как каменные.

Баскаков встал в седьмом часу, и какая-то его часть по привычке рванула по делам, но описав круг, вернулась – не надо было никуда ни нестись, ни что-то решать.

Взбурлил и, щёлкнув, облегчённо затих любимый баскаковский чайник – круглый, фарфоровый, с узором, привезённый из Китая. Кружка была прозрачно-чёрного стекла, подарок Леночки. Баскаков заварил в ней алтайский травяной сбор – чабрец, курильский чай, бадан. Кусочки травы сначала сухо взмелись и закрутились в водовороте кипятка, а потом напитались водой и тихо ложились на дно, будто воспоминания.

Баскаков отпивал небольшими глотками и проверял почту. Из Уссурийска писала студентка Аня:

«Дорогой Игорь Михайлович! Я вспоминаю ваше выступление в центральной библиотеке. Вы тогда сказали, что у слова два смысла. Один литературный, а другой наш личный. Незаметненький такой, будто одно и то же слово из книги кричит, а когда тебя касается, быстрёхонько притихает. А тому грозному машет: – ты кричи погромче! А я отдохну пока...

Вы рассказывали, как в одном дорогом для вас месте вы читали из новой книги. И что слова были метр в метр об этом месте, и были намного сильнее вас... И как на самых главных словах... у вас сорвался голос...

Игорь Михайлович, я правильно поняла, что любовь – это, когда говоришь о земле, которая у тебя под ногами, словами, которые сильнее тебя. Да? Я начи-

нающий поэт... Вы сказали, что слова должны быть сильнее, лучше, больше тебя? Я правильно поняла? Скажите, пожалуйста, как их... увеличить? С уважением – Аня Сивакова».

«Дорогая Аня. Вы не начинающий поэт: вы... действующий. Конечно, я хорошо помню ту беседу в библиотеке. И как вы сказали про типы писателей. Что одни до полу секут, а другие повдоль, слоями, на близость к земле снимают. И что Достоевский и так, и так берёт, поэтому у него все герои... в кубе. Это зд**о**рово. Правда. А насчёт слов: их не надо увеличивать. Да и некуда. Надо уменьшить себя».

Он перешёл к другим письмам. Джирджина писала по-русски:

«Здравствуйте, Игорь! У меня несколько вопросов по рассказ «Ёмкость». Вы начинать рассказ так: «Сан Саныч Тагильцев пошёл под Новый год за ёлочкой и провалился в ёмкость». Он пошел за ёлочка в место куда их продают? Я не совсем понимать, что такое «ёмкость». Это объём? Он провалился поэтически? Это русский метафизика? Я не могу находить термин. И почему он сказал «какая хрен-разница». «Хрен» это сексуальный слов?».

«Дорогая Джирджина! Ёмкость – это большая металлическая штуковина для жидкости. Она похожа на консервную банку, лежащую на боку. Для хранения бензина или солярки. Container for diesel fuel (Баскаков слазил в словарь). Обычно их красят серебряной краской, чтоб не грелись на солнце. Ёмкость, в которую провалился Сан Саныч, была вкопана в землю. Видимо ней хранилась вода для какой-то противопожарной безопасности.

Там была военная часть, постройки, службы. Потом всё было брошено и пришло в упадок (...благодаря совместным усилиям... – хотел написать было Баскаков, но сдержался и махнул рукой: «Какая теперь... хрен-разница».)... «Хрен-разница» – это грубое выражение, заменяющее сквернословный аналог. Но в данном случае оно выражает неунывающий и смекалистый характер Сан Саныча, который не растерялся и выбрался из ёмкости с помощью проволоки, верёвки и лыжины, потому что был мороз сорок пять градусов, и он бы там замёрз... на хрен, – хотел написать Баскаков, но написал: – насмерть».

«О! Теперь я понимал, – отвечала Джирджина. – *Я ещё приготовила вам вопросы:*

1. Почему Сан Саныч не позвонил по телефон, когда упал?

2. Проволока-восьмёрка это модель проволок?

3. По рассказу «Фарт». Пожалуйста переведите в нормальный предложение: «Шнадцатый, как понимашь? Слыхал чо? У «Делимакана» росомага нагрезила: все кулёмки изнахратила, а которые соболя попали, двух схрямкала, а остальных закопала. А потом «косачи» на «мотолабе» проезжали и весь путик на лыжах выгнали. И он после них ходил, как сапёр, еённые копанины раскапывал, а потом по рации ка-а-к трёкнет: «Во до чего дожили с этой нефтью: всю жизнь росомагу падиной считал, а тут вишь – в кормилицы вырвалась!».

Баскаков, откинулся на спинку... Прикрыл глаза, потом расхохотался. Ну как ей объяснить-то?

Баскаков всегда брал быка за рога, и рассказ начинался с фразы, кратко передающей сюжет. У промысловика с позывным «Делимакан» росомаха разорила путик с ловушками, двух попавшихся соболей съела, а остальных закопала в снег про запас. Мимо проезжали работяги из сейсморазведки. Их задачи – таскать к датчикам провода, сплетенные в «косу», наподобие девичьей. Ехали они на вездеходе, прозванным «мотолабой» – от МТЛБ (многоцелевой тягач лёгкий бронированный). «Косачи» решили пробежать по пу-

тику охотника и ободрать с него попавших соболей, но их опередила росомаха. Всего-то навсего. Ленка проснётся – расскажу.

Переводчице он ответил:

«1. Сан Саныч не позвонил, потому что там не было сотовой связи, да и вряд ли бы он из ёмкости поймал сигнал.

2. Проволока-восьмёрка – стальная проволока толщиной 8 мм.

3. По «Фарту». Даже не знаю с чего начать. Начну с технического, как с самого понятного. «Мотолаба» это – МТЛБ – Light Armured Multipropose Tracked Tractor... – Баскаков сползал от хохота (мультипропёс какой-то!). – Там сложно. Извините... Мне сейчас нужно срочно... – Баскаков собрался с силами, – отойти к соседу, у которого замёрзла машина. Начало рассказа я объясню попозже, а вы пока попробуйте прочитать до конца и – всё поймёте.

Пишите. С уважением – Игорь».

Уже светало и розовато светлело небо. Баскаков подошёл к окну: «Какой же вид великолепный! Только ради одного этого стоит в Тузлуках жить». Лена просила разбудить рано – чтобы подольше побыть вместе. Едва он сварил кофе и поставил на поднос, из-за спины раздалось:

– Игорь, ну почему? Я же просила! – Леночка с непроснувшимися глазами стояла, чуть скосолапя ступни в пухлых тапочках-собаках.

– Что такое?

– Сколько раз я просила не заваривать в кружке, – и она дрыгнула икрой. – Это же *мне* выковыривать! Иначе всё в раковину выливается, а она засоряется. Ну почему нельзя заварить в чайнике?

– Лен, ну ладно тебе... – пробно сказал Баскаков. Лена была полуночного склада и вставала трудно, долго молчала, а если её тормошили, потешно вскрикивала: «Перестань со мной говорить!».

– Я не понимаю, почему ты так поступаешь!

Баскаков не только заваривал в кружке, но и всякий раз брал новую, и кружки с пересохшим сеном копились на тумбочке, на полу, на столике в коридоре – везде, где он слонялся в сочинительском поиске. Баскаков обожал густой тувинский хан-чай, куда добавлял мёд с верховьев Катуни. Особенно возмущала Лену кружка от этого липкого пойла около дивана на полу: намертво приклеенная, с засохшими следами-кольцами вокруг. Казалось, её проще разбить пинком, чем оторвать.

– Я пойду поработаю, – очень быстро сказал Баскаков, и вышел на улицу огребать снег, который уже был огребён до немыслимости – стояли морозы и сугробы напоминали огромные заправленные койки. Вернулся морозный и в надежде, что сухой хрустящий простор через него охладит и Лену. Действительно, когда он вошёл, она уже спокойно пила кофе. Для закрепления дела он рассказал про Джирджину:

– Ржака, – улыбнулась Лена. Улыбка была замечательная – верхняя губка подворачивалась кверху и чуть задиралась, и посередине между нею и носом получалась необычная поперечная складочка. Розовая рисочка, некоторое время сохраняющаяся, когда улыбка уже прошла:

– И что ты ответил?

– Что мне некогда. Что у соседа машина замёрзла и я помогать пошёл.

– Токо попробуй... – шуточно нахмурилась Лена. – У нас один день за всю неделю. Давай никуда не торопиться, – потянулась Леночка. – Спокойно поза-а-а... – она глубоко-глубоко зевнула, смешно и как-то судорожно окаменев и росисто прослезившись: – Ой, Господи, поза...втракаем...

Сели за стол. Лена съела овсяную кашку на воде и перед тем как приступить к печёному яблоку, замерла и сказала:

– Тут новость. Вчера хотела сказать, но ты заснул.

– Что такое? – нахмурился Баскаков.

– Нас с премией прокатили.

– От тварины... – как бы между делом бросил Баскаков.

– В конце декабря объявили, но я решила не портить тебе Нового года. Ты и так был издёрганный... И решила...

– И решила испортить Рождество.

– Ну тебя, – Лена отвернулась.

– Какого им надо? Я не понимаю, если честно.

– Скотинюги. Я тоже ничего не понимаю.

– Чо-т-то мне потихоньку начинает всё это надоедать, – очень распевно и задумчиво сказал Баскаков. – Только непонятно, почему вся эта раздающая медали кувырколлегия ничего не боится. Хотя оно конечно познавательно.

Лена была моложе мужа и ребёнком в отношении некоторых современных явлений, которые у неё вызывали ощущение отличительной, нательной вроде бы близости. Иные взгляды Баскакова она принимала за «стариковство», и каждый выпад мужа воспринимала как подчёркивание разницы в возрасте. В обострённой же душе Баскакова резь вызывало любое проявление антирусского, и он опасался спутать в Леночке это антирусское с бездумно-молодёжным и техническим. И шёл спор-не спор, но соревнование, которое оба старались обратить в шутку, чтоб не «рассобачиться». Но Баскаков нет-нет да свою позицию подвыпячивал и поддразнивал Лену, хоть та в долгу не оставалась:

– Я всем долдонил, что у нынешних коммерческих издательств есть чёткая идеология, направленная на внедрение западных ценностей в сознание русского человека. Именно этим я и объяснял, что меня не печатают... Но потом я написал очередную бескомпромиссно-русскую вещь, в которой уравнял градус художественности с температурой...

– ...колхозной густопсовости...

– ...мировоззренческого накала...

– И добился...

– ...И долбился в прошлогодние двери...

– И добился такого вектора тяги, что сейчас...

– ...в тебя полетит мясорубка...

– ...с изменяемым вектором тяги. Теперь мне понятно, кто *ланысь* провёл запуск беспилотного тестомеса...

– Игорь, я тебя просила! – взвизгнула Лена, не переносящая, когда он произносил старосибирские слова, например, «дивно», в смысле «много», и «ланысь», то есть в прошлом году. Сама притом вовсю говорила «ково», «подсобираться» и «каляешься» (про его щетину).

– Тих-тих-тих... Дак вот – книгу вдруг взяли в издательстве, от которого я этого не ожидал вовсе. Мгновенно Костя Чебунин направил туда же недоработанную рукопись и его завернули на скаку. Так как справедливая его идея, не подкреплённая характерами и драматургией, настолько голо маячила, что более напоминала пугало для... в общем, напоминала пугало. И он закричал: вот *оно*! Вот! Идеология! Не печатают из-за идеологии! Но главное, что заблажил Константин Алексеевич ровно теми же словами, которыми ещё недавно блажил и я. О чём это говорит?

– О том, что демагогия профессиональная черта писателей.

– Это говорит о том, что навязанное нам современное мироустройство стоит на всемогуществе денег, и этим всемогуществом всякие штуки вроде идеологий не воспринимаются серьёзно, несмотря на то, что само это могущество примитивно, как расчёты в автолавке. Поэтому никакого единого специального вражьего центра управления *внутри* нашей страны нет – наоборот, всё сделано так, чтоб никакие центры и штабы не мог решить ничего, а всё автоматически решал механизм – такая центрифужка от стиральной машины, этих туда – этих сюда.

Ещё минуту назад Леночка сама так и думала насчёт «специального вражьего центра», но её возмутил нарочито лекторский тон мужа:

– Прссьь... Чушь собачья! Сразу видно, что ты никогда не стирал рубахи. Культурную политику диктуют конкретные люди. Раньше были Катков и Сытин... А щас...

– А щас понятно. Но им не обязательно объединятся в штаб-ссс! – Баскаков смешно надул валиками губы и по-мышиному пискнул, выпучив глаза. – Хотя они не могут без помощников, и тут-то начинается самое интересное. Оказывается, несмотря на всю безыдейность денежного мироустройства его сподручниками выступают силы, которые всегда были самыми идейными – например, так называемая интеллигенция, выродившаяся до такой степени, что уже не кипит идеалами, а глухо и ватно блокирует всё, что не подпадает под её ценности. Это могут быть бывшие редакторы всяких «Либрикусов», когда-то крайне мягкие и вкрадчивые дамы, искушённые в «хорошей литературе», и прочая околохудожественная челядь, включая самих писателей, выпестованных этой средой и в неё вросших. И представители этой силы, будучи полнейшими нерусями по духу и, что самое возмутительное – уже независимо от породы – настолько обнаглели и сами себе изнравились, что считают хорошим тоном называть своими именами редакции; «редакция Норкиной», с претензией, с одной стороны, на нечто купеческое, промышленное, пушное, а с другой – на эксклюзивно-личное, именное, подчеркивающее, что попасть сюда – особая честь. И каким-то образом это шобла, объединённая, сложносплетённая и связанная и с редакторами, и «жюр*я*ми» премий, начинает пестовать писателей, выбирая их подчас самым неожиданным образом... Причём пестуется любое направление! Любое! Лишь бы отвлекало от главной темы!

Баскаков глянул на Леночку и тут же громко и протяжно-угрожающе спросил за неё:

– Какой?

– Что какой? – вздрогнула Леночка, которая тайком подглядывала в свой будуарного вида экранчик.

– Какой темы? А вот какой: русский человек в наши дни! Да! И уже придумано два метода: уход в проблемы других наций, и эскапады в прошлые эпохи, оправдываемые демагогическим рассуждением о том, что, разобравшись в прошлом, мы, дескать, правильней поймём настоящее и заложим будущее. Поэтому я моментально стану самым облизываемым писателем, – «обли-зы-ва-ем-ым» он произнёс по слогам, – если напишу роман э-э-э... «Р-р-роман-Магадан», – раскатисто произнёс Баскаков. – «Р-р-роман-Магадан» о... злоключениях лопарских шаманов в Колымских лагерях. Потом его командно переведут на все языки, поскольку в нём будет показано безобразное и бесчеловечное русское государство и ст*о*ящий его бесполезный русский человек. – Баскаков наморщился и сказал растерянно: – Да, только я всё это вёл к чему-то...

– К литературным дамам, которые не стали тебя облизывать, – язвительно сказала Леночка.

– Ну не только к дамам, – Баскаков удовлетворённо кивнул, – а вообще к этой публике, которой, несмотря на весь гуманитарный лоск, особое удовольствие доставляет лезть именно к самому заповедному, и даже прикасаться своими холёными лапами к Сибири и Дальнему Востоку. Я тебе прочитаю один любопытный материалец, опубликованный в дальневосточном журнале «Охота и литература». Потерпишь? Он короткий.

«Друзья, сразу скажу, что от слов «автор» и «текст» меня всегда коробило. Они казались кощунственными, конторскими и свидетельствовали о падении культуры. Действительно: как же так – были писатель и литература, а стали автор и текст?».

– Очень оригинально, – фыркнула Лена, – дальше так же интересно будет?

– Да слушай ты! Не перебивай! «*...Потом я понял, что такое разделение позволяет называть вещи своими именами. Недавно попалась мне в руки нашумевшая книжица одного как раз автора. Он пишет о нашей прекрасной приохотской тайге, с которой его связывает единственная ассоциация – самая страшная, самая трагическая страница истории нашего Отечества в двадцатом веке, рана, еле начавшая рубцеваться: гражданская война на Дальнем Востоке. Судя по всему, больше ему о Хабаровском крае сказать нечего.*

Тем не менее книга весьма познавательна, так как из неё мы узнаём о сенсационном научном факте: он следует из одной скупо оброненной, но ключевой фразы: американские купцы скупают в Аяне «песцов, белок и куниц». Да. Ни больше ни меньше. Далёкая западная куница, обитающая в Европейской части России, совершает невиданную миграцию на Дальний Восток, продвигаясь вместе с театром военных действий, и доказывает в очередной раз, что жизнь природных систем находится в теснейшей взаимосвязи с социально-политическими процессами в России. Но это всего лишь, что называется, полдела. Хороша, как говорится, куничка, да не про то страничка! – Баскаков восторженно взглянул поверх очков: – *Появление куницы приводит к полному вытеснению ею соболя и тотальному падению его заготовок, о чём свидетельствует всё тот же приведённый автором перечень. А поскольку именно соболь во многих районах Сибири и Дальнего Востока является важнейшим экономическим и укладообразующим ресурсом, как для коренного и малочисленного населения Севера (в дальнейшем – КМНС), так и для русского, то эти изменения не могли не привести к серьезным последствиям как для природы, так и для жителей этих удалённых районов»*.

– Ой зануда какой! – прозудела монотонно Лена. – Игорь, ещё долго?

– Чем больше ты будешь перебивать, тем дольше я буду читать. «*...Вы мне скажете: а как же харза, уссурийская куница? Не принимается! Как говорится, «хочется добыть пушнинку, да придётся порвать спинку!». Ареал харзы находится далёко к югу, к тому же харза не относится к массовым видам и не является экономически значимым объектом пушного промысла. Как говорится, «не та харза, что борза, а тот калан, что делает план»*.

– Кто такой калан?

– Морская выдра. Так вот: «*...Надо отдать должное скромности автора, который мастерски замаскировал своё открытие, переключив внимание читателя на посторонние вещи, для чего не поленился развернуть целое повествование, протерев не одни штаны в архивах – и всё ради одной единственной фразы... Но как говорится: «За одного соболька дают белок два кулька!»*.

Да... Другой бы стал своё открытие выпячивать. А этот лишь скромно обо-

значил – имеющий уши да слышат! А ведь сколько в этой фразе смыслов: возьмём хотя бы первый попавшийся, так сказать, лежащий на поверхности: вытеснение к востоку куницей-западницей славянофила-соболя. Или вот: баба-куница, озверевшая от отчаяния, пошла боем на соболя-мужика и столкнула его в Охотское море. А можно и так: Запад пошёл походом на Восток, и автор предупреждает нас об опасности, уже не деля на КМНС и русских. Остаётся гадать, сколько невспаханных смыслов лежит под спудом лаконичного афоризма! Не зря говорят – краткость сестра таланта. Зимний денёк короток, да кормит роток, так сказать, весь годок!

Можно ещё долго ёрничать, но пора поставить всё точки над этим самым «ё»: тему-то не раскрыл. Обозначил, поманил, но не раскрыл. Видать тяму не хватило. Тут архивной задницей не обойдёшься, тут пока хребёт в тайге не надорвёшь – ничего путнего не выкопытишь. Как говорят промысловики: «Хорош соболёк на пялке, да поди сыграй с ним в догонялки!».

– Сколько можно слушать это занудство!? Ладно если б я была какая-нибудь грымзятина из клуба охотничьего собаководства...

– «...А теперь эмоции в сторону и сообща подумаем: почему, несмотря на такое вызывающее нераскрытие темы, книга всё-таки вышла в одном из ведущих столичных издательств и собрала множество литературных премий? А ответ прост. Книга была издана не абы где, а в «Редакции госпожи Норкиной». Ничего не замечаете? Есть нечто, подозрительно роднящее издательство и изданную в нём книгу? Совершенно верно! Те-ма. Пушная тема! И ничего, что она не раскрыта! Пролезет! Какая художественность! Какие народность и доказательная база! Это пустяки. Главное формально обозначить – и дело в шляпе. А в шляпе ли? Может быть в шапке? Или в воротнике? Или в муфте? Или даже в... гор-жэ-э-этке? – артистически протянул Баскаков. – *Подводя итог, хочется вот что сказать. А не пора ли навести порядок в нашем обществе? Подумать, кто и по какому принципу формирует у народа представление о цвете современного писательства? И долго ли вместо качественной корневой литературы будет предлагаться читателю её клеточный или искусственный заменитель? А будет! Будет – пока во главу угла издателей и их авторов будет ставиться не искреннее служение русской словесности, а... шкурные, интересы узкой шайки московских литераторов. Которым так же далеко до Сытина, как их авторам до истины, а нам с вами до сытости. Извиняюсь за каламбур.*

Как говорится: «Не та куница, что критика боится, а тот соболёк, что читателя увлёк».

– О-о-о... – зарычала Леночка, – где ты это выкопал? Тебя прямо так и тянет ко всякой заскорузлой тягомотине... Тебя и не печатают из-за неё. Не можешь шаг сделать навстречу читателю... Помнишь, как какой-то весельчак из модного журнала хотел опубликовать твой рассказ, и сказал замечательные слова: «Ты слишком «там». Переделай и напечатаем». Ты конечно не переделал.

– Можно я тебе прочитаю письмо? Ка-ак раз про «там» и «тут». Женщина пишет, директор районной библиотеки, Людмила Иванна.

«Дорогой Игорь Михайлович, читала ваше интервью, где корреспондент с горечью говорит о том, что ваши книги выходят значительно меньшими тиражами, чем того заслуживает масштаб вашего дарования. Как библиотекарь хочу это подтвердить и сказать: дарование ваше яркое, самобытное, а главное, близкое людям. Вы подаёте свой мир... да не свой, а наш обычный русский мир, как нечто само собой разумеющееся, единственное, а по нынешним правилам, заданным горсткой далёких... недалёких людей, требуется некое извинение, ус-

мешка, означающая: «Конечно же, вы и ваш мир – главные! И я такой же или очень стремлюсь на вас походить, но всё-таки посмотрите, как разнообразна иногда жизнь».

Вы рассказали, что редактор журнала, который нынче руководит самой большой денежной премией, сказал, прочитав вашу первую повесть: «Вы хорошо пишете, и вас с удовольствием возьмут в любом другом журнале... А что касается нас... То, как вам сказать-то? Слишком уж явно у вас получается: там всё настоящее, а здесь – нет».

А в нашем с вами мире говорят по-русски, живут трудно и как-то копотно, и любят свою землю независимо от того, водитель ты самосвала, руководитель завода электродатчиков для буровых (знаю такого) или библиотекарь. А все эти далёкие-недалёкие для них не более чем горстка дармоедов, ничего не знающая о своей стране и обслуживающая интересы книжных дельцов. И когда они открывают вашу книгу, из которой валит морозом и где рёв тягача мешается с колокольным звоном, то они начинают испытывать комплекс неполноценности: больно неуютно им на ваших просторах.

Я вас уверяю – вы талантливы, у вас прекрасный язык и глубокие характеры. У вас есть всё, и если добавить извиняющуюся улыбку – вы давно были бы с ними. *Но тогда... зябко стало бы нам...»* – голос Баскакова дрогнул.

– Хм, – с задумчивым удивлением сказала Леночка, – хорошее письмо. Что это за директор?

– С этого... забыл... Неважно... Важно, что *тут* и *там* – это география страны, а речь о географии духа, потому что линия раздела пролегает через души. А тот человек, который говорил, что там настоящее, а здесь нет, до сих пор ничего не понял. А простая женщина всё расставила по местам: важно не *где* ты, а с *кем*.

Лена пожала плечами.

– Всё равно, дело не только в них. В тебе тоже.

– Не понял? Ко мне-то какие вопросы? Обожди. Вот тут ещё один материал.

Леночка только пожала плечами.

– «Фарт – старинное промысловое слово»... – вступает Игорь Баскаков к своей книге с одноимённым названием. Вступает невозмутимо, будто не замечая, насколько архаично звучит такое вступление», и те-те-те... – пропустил Баскаков. *– «...Да, действительно несусветными соболятниками и золотарями веет от этого слова. И пусть оно изначально и одесское блатное... «Но! – восклицает автор. – Как же бесцеремонно выморозила из него Сибирь изначальный смысл и наполнило своим, трудовым, таёжным, народным!».*

Почему же автор назвал так книгу? Ведь рассказ с одноимённым названием не является центральным. С него лишь начинается новый сборник прозы писателя.

Рассказ будто иллюстрирует народную мудрость, что худой человек хуже иного зверя. Построен он на анекдоте: пакость росомаха, злейший враг охотника, «зарящая» ловушки, становится невольной его помощницей. Не в состоянии сожрать богато попавших соболей, росомаха зарывает их в снег и спасает от работяг-экспедишников, проезжавших по участку охотника на вездеходе и решивших проверить ловушки и собрать чужую пушнину.

Случай вопиющий, но, по-видимому, вполне реальный. Соболей потом находит охотник, распутав следы росомахи. Новая роль таёжной разбойницы по-своему забавна, а вот картина вымершего радиоэфира в тайге, когда звучит лишь китайская речь, – наводит на грустные размышления. Для справки: несколько лет назад радиовещание ведущих станций убрали с обычных частот и

перевели на ультракоротковолновый диапазон, доступный только в городах и их окрестностях.

Но автор будто предостерегает: «Пессимизма не будет! Ни на тех напали», и тому пример невозмутимый и неунывающий Сан Саныч из рассказа «В лесу родилась ёлочка». Под Новый год он отправился за ёлкой и провалился в ёмкость на территории расформированной военной части, откуда выбрался по всем правилам народной смекалки. И без пресловутых воспоминаний о не так прожитой жизни. А ведь перспектива не самая весёлая: пятьдесят градусов и звёздочки в круглой амбразуре над головой!

*За бодрой новогодней «Ёлочкой» следует самый грустный в книге рассказ с говорящим названием «Последний путь». В его основу взята традиция: когда несут умершего на кладбище, на дорогу бросают ветви пихты. Рассказ будто продолжает ряд «Последних»: «...свиданий», «...срока» и «...поклона» и провозглашает «непоследнесть» и наследность всего последнего, и одновременно расставляет литературные бакен**а** Баскакова: Бунин, Астафьев, Распутин. Пересказывать рассказ бессмысленно и даже кощунственно. Но кратко, очень кратко фабула: одинокий и ещё очень крепкий пенсионер из северного посёлка знакомится по переписке с пожилой женщиной из-под краевого центра. В этом центре они и встречаются и решают жить вместе: у Андрея Палыча на севере большой дом, хозяйство, да и руки крепкие — ни сетей в мороз не боятся, ни топора, ни лопаты. Галина Ивановна продаёт дом и участок, садится на пароход и приезжает... на похороны. Тромбоэмболия лёгочной артерии... Пихт**о**выми ветками выстеленная дорога на кладбище. И отступление об этих ветках... Собственно, на образе этих веток и держится рассказ. А начинается с того, как рассказчик едет по зимнику и зимник «из ходовой и безлюдной трассы превращается на короткое время в главную улицу посёлка, в которую вдруг впадает, вливается усыпанная пихтовыми ветками дорога, а потом так же неисповедимо её покидает. Ветки, стеклянно хрупкие на морозе, размолоты проехавшими «Уралами». Кажется, будто их оборвало ураганом»... И снова освещённый фарами укатанный сахарный зимник, по которому рассказчик едет дальше и вспоминает историю Андрей Палыча и Галины Ивановны. А финал такой: после похорон все идут на высокий речной угор. «А когда бескрайняя даль вытянула из глаз, приняла на серебряные свои плечи людское горе», внучка Палыча, маленькая Алёнка взяла Галину Ивановну за руку и сказала: «Пойдём, бабушка, домой».*

«Последним путём» писатель будто подводит черту, кланяется в ноги учителям, и нарочито ученическая простота рассказа оправдывается строжайшей и родниково-чистой интонацией, в которой, как в куске нежно-голубого неба после грозы, есть что-то прощальное.

Рассказ с говорящим названием «Весы» про директора завода, разработавшего точнейшие весы для взвешивания вагонов, которые так и оказались не востребованы железной дорогой — точность никому не нужна.

«Вечный огнь» автор посвятил памяти Василия Шукшина. В мороз что-то случилось с подачей газа в Вечном огне на городском бульваре, а подвыпивший герой попытался устранить непорядок и сунулся туда с зажигалкой. Газ рванул, и человек чуть не обгорел насмерть.

Герой рассказа «Дворник» малоизвестный сочинитель, не участвующий в писательской жизни и живущий не то как святой, не то как юродивый, не то как солдат. Особого сюжета в рассказе нет, и держится он на финальном монологе, который не привожу — прочитаете сами. А так — что можно сказать о герое? Живёт в попытках разобраться в происходящем с Россией, успокаивает себя примерами из других эпох, когда казалось, что Россия кончилась, «а она не

кончалась, и только нынешнее положение казалось особым, и он не знал: собственные ли это сомнения в силе России, или по правде времена небывалые, требующие особой верности. И жил верно».

«В проголландском самодурстве первого императора при всей безобразности попрания русского — была своя рациональная, личная, а главное понятная логика, в то время как нынешняя логика настолько спутана, что надежды на подъём внешней силы России становятся бессмысленными на фоне целенаправленной измены не только национальному и историческому, но порой и попросту здравомысленному». Действительно, редкие времена порождали столько загадок, догадок и упрёков власти в несамостоятельности.

Ну и конечно главное место в книге занимает повесть «Лествица». Героем автор сделал священника, который возвращается в родной посёлок, где возводится деревянный храм. Отец Александр участвует в заключительном этапе стройки: ему достаётся изготовление двупролётной лестницы на колокольню. Желающий видеть выражения Православия в каждом штрихе жизни, он предлагает свой план лестницы: количество ступеней должно совпадать с числом заповедей Христианства и числом заповедей Блаженства. По проекту предполагается четырнадцать и тринадцать ступеней, а он хочет десять и девять. Строители против — отклонение от проекта. Начинается обсуждение с Благочинным, который опасается, что такое совпадение будет означать попрание заповедей стопами, но отец Александр твердит, что совпадение не означает буквального уподобления ступеней заповедям, что количество ступеней будет просто по их числу. Отец Александр проявляет недюжинное упорство и убеждает Благочинного, а строители попросту машут рукой: «Делай, как знашь». Времени мало, да и денег как обычно не хватает.

В рассказе подробно и с любовью описано, как батюшка работает, выбирает пахучие сосновые плахи на косоуры, как рассчитывает проступь (слова-то какие забытые, чудесные!), готовит каждую ступень, врезает. Даже какие на ней сучочки...

Храм построен, и уже несколько лет идут службы. Помогает отцу Александру пономарь Геннадий и клирос, состоящий из нескольких женщин. Взаимоотношения отца Александра и церковных женщин составляют одну из линий повествования, в которое вмешивается одно событие: батюшка, однажды искупавшись в Катуни, заболел ангиной и получил осложнение на сердце. Здесь Баскаков остаётся верен себе — другой бы обязательно сделал батюшку ещё и спасителем тонущего ребёнка.

Сибирский климат, резкие перепады давления — нелёгкая доля выпадает отцу Александру, который особенно серьёзно относится к звону и нередко сам поднимается на колокольню. Однажды он едва не теряет сознание.

Мороз, Чуйский тракт с проносящимися тягачами. Батюшка, для которого служба в любой момент может превратиться в подвиг.

Финал составляет описание Рождественского богослужения, которое батюшка проводит один, потому что пономарь слёг с гриппом. «С вечера сильный мороз даванул, и тяжко батюшке — давление полезло, одышка». Трудно говорить, не то что петь. И «как тропка, набитая по крепкому январскому снегу», привычное размышление: остановить службу или нет? «Славная кончина для священника отдать Богу душу на службе». И что верней: умереть или довести службу? И каково людям будет, если он... грохнет? Извечный вопрос: служение Богу и служение людям? Спасение своей души или спасение мира? И правомочно ли противопоставление?

Службу батюшка доводит и идёт звонить. Девятнадцать непреодолимых

ступеней. На каждой останавливается отдышаться. Вспоминает, как рубил их тем летом... видит каждый сучочек – как раз напротив лица... Никогда так внимательно не всматривался... в прошлое.

Поднимается на колокольню и начинает осторожно раззванивать промёрзшие колокола. И несётся по-над Катунью, над дивным Алтаем этот звон – звон жизни, звон победы духа над плотью, звон нового рождения человека и Рождества Христова. Прихожанки всё видят, всё понимают, и одна из них говорит тихонько: «Что-то отец Александр раззвонился сегодня...».

Таким образом, книга состоит из семи произведений, написанных породистым русским языком, с доскональным знанием народной лексики, в которой чуткие к слову сибиряки творчески преобразуют подчас нелепые реалии современной жизни. В рассказах даются правдивые образы... Отставить! Отставить, господа... Давайте лучше попробуем выписать в столбик содержание книги:

«Фарт»
«В лесу родилась ёлочка»
«Последний путь»
«Весы»
«Вечный огнь»
«Дворник»
«Лествица».

Ничего не заметили? Чего? А того, что книга являет собой архетипическую лествицу, каждый пролёт который символизирует ступени духовного становления личности. Человек, ставящий ловушки («Фарт»), человек, попадающий в ловушку («В лесу родилась ёлочка»), дорога жизни и осознание конечности земной участи («Последний путь»), взвешивание и, так сказать, обдумывание выбора пути («Весы»), ну и... путь наконец выбран, состоялась передача огня («Вечный огнь»), охрана огня («Дворник»), и наконец образ лестницы, объединяющий практическое созидание и духовное восхождение. Вот такой предложил нам Игорь Баскаков ребус, и смысл его открывается только по прочтении книги, вектор которой можно сформулировать так: от слепой удачи к Божьему промыслу. Что ж, неплохо напромышлял наш автор безо всякой росомахи, так что теперь остаётся пожелать и самой книге литературного фарта».

– Хм. Кто это написал?

– Струкачёв.

– А ты разве... действительно так задумывал?

– Да вообще ни ухом... ни духом.

– Интересно. Нда... – Лена покачала головой. – Не утро с мужем, а редколлегия альманаха «Бережок»...

Лена порылась в своём экранчике, а потом вдруг оторвалась, пристально посмотрела на Баскакова и сказала намеренно артистически и, что называется, нараспев:

– А скажи-ка, пожалуйста, как та статья называется? Про куничку. А? Фартовай ты мой! – Лена вскочила, подбежала и стала лупить Баскакова по круглой его голове: – Гад, гад, гад! Говори, подсвинок, ведь ты это написал?! Ты? Ты? Надул как дуру. Какой ты твёрдый, чу-гу-няка! Руку отбила... Таак... – Лена открыла рот и остолбенела... – А библиотекарша? А этот Стручков?! От ведь овечка!

– Да я разве так напишу? Я просто к чему всё это вёл, – начал отворачивать Баскаков, – к этой премии! Что даже хорошо, что не дали, на кой леший она спёрлась, эта премия? Ну вот скажи! Скажи, зачем она нам нужна? Прямо по пунктам: один, два, три... Давай только серьёзно...

– Ты что, придуриваешься?

– Я не придуриваюсь. Мне по правде интересно.

– Прппсь... – фыркнула Леночка. – Но только серьёзно. Да?

– Да.

Она снова подошла, стала Баскакову за спину, занесла кулачок над круглой баскаковской головой и стала объявлять, на каждом слове отстукивая по черепу, как по кафедре:

– Во-первых (удар), тебя (удар) пустят к трибуне. – На слове «трибуна» она шмякнула особенно сильно. – Во-вторых, о твоей книге на всю страну объявят в новостях. В-третьих, тебя будут печатать в совсем иных количествах. И, в-четвёртых, тебя будут переводить.

– Хорошо, – покладисто сказал Баскаков. – Редколлегии не повториться. Но раз так – я тебя сейчас разнесу по всем кочкам. Н***а*** спор? На что спорим?

– Кто проигрывает – моет посуду.

– Не-е-е... – таинственно-тихо, умудрённо и немного по-ягнячьи проблеял Баскаков и помотал головой. – Не так. Если я выигрываю, я сколько хочу завариваю чай в кружках и говорю старинные слова.

– Не-е-е... – в свою очередь проблеяла Леночка. – Если ты проигрываешь, то покупаешь мне...

Баскаков насторожился. Лена, глядя куда-то впереди себя и чуть улыбаясь, произнесла негромко и отчётливо:

– Посудо... моечную... машину. – И протянула ручку: – Идёт?

– Ладно, – пожал плечами Баскаков.

– Но только все четыре позиции. Я их записываю.

– Да. И спор заканчиваем *однем разом*. Без переносов на вечер. Вот... – он посмотрел на стену, – до двенадцати. И без этих... А то я тебя знаю. Начнёшь юлить. И речь *только* о книге «Фарт», выставленной издательством на премию.

– Что-то многовато условий. Ладно. Согласна. Только тогда... э-э-э... шестьдесят на восемьдесят пять. На двенадцать комплектов. – И добавила полувопросительно-полуутвердительно: – С йонообменником и... предполоскателем.

– Ладно, с полоскателем. Ну что, поехали? Что у нас там? Трибуна. Кхе-кхе. Чтобы попасть к трибуне....

– Стоп-стоп-стоп! – закричала Леночка. – А если два н***а*** два ляжет? Что я скажу: отпилите мне полмашинки?

– Так... Ну да... – Баскаков сморщился и сосредоточенно почесал у глаза. Такое выражение у него было, когда приходилось соглашаться, подозревая о подвохе. – Тогда придумывай пятое достоинство премии!

– Да запросто.

– Ну-ну. А я пока подумаю. Только давай... не тяни резину...

Леночка было открыла рот, но задумалась, а потом сказала:

– Ну... это повысит твою репутацию среди литераторов.

– Ничего подобного. Наоборот, все только отвернутся. Скажут: «Да-а-а, Баскаков... Чо-т-то в фаворе ты у либералишек».

– Так-так-так... – Лена не на шутку нахмурилась. – Ладно, я пока посижу... – Покачала головой: – Анекдот. Не знаем, на кой премия!

Лена, сидела, кряхтела. Бледненькая, сероглазая, посмотрела на Баскакова с беспомощной улыбкой, так что губка завернулась, а когда легла на место, над ней зарозовела поперечная рисочка. И вдруг хлопнула себя по лбу, подскочила:

– Овцизна! Мы же деньги получим!

– Ну да, – сосредоточенно сказал Баскаков и подумал о том, что, если большой тираж ещё можно вывести вничью, то тут явный гол. – Ладно, поехали.

И начал говорить медленно и будто диктовать:

– Для того, чтобы попасть к трибуне, не надо получать премии – раз, – сказал он аукционно, и вдруг крикнул, взглянув на Лену: – Стоять! Причём тут пятая позиция? Мы разве с ничьими играем! Я же должен всё отспорить. Чо ты тут путаешь сидишь!

Леночка помалкивала.

– Убирай давай пятую позицию к баба***я***м, – быстро сказал Баскаков.

– Что-о-о-о? А что это я её буду убирать, когда эта самая главная, можно сказать единственная даже позиция, остальные так... абстракции. Ничего мы не будем убирать. Шевели давай полушарьями или... сразу мойку гони!

– Ладно, – будто предупредил Баскаков и снова задиктовал: – Дорогу к трибуне надо *строить* – и это отдельная работа – два. И коло трибуны надо жить – три! И это ты сама мне говорила, когда подбивала свалить в Москву, – четыре. А пять: для настоящей художественной прозы нужен затвор. Ну что – один ноль?

– Ну допустим, – согласилась Леночка. Она была полностью уверена в тиражном, переводческом и финансовом пункте, и опасалась только неожиданной помехи, вроде каких-нибудь гостей или аварийного фортеля Подчасовой, которая сидела на даче неподалёку. Поэтому, зная риторические способности Баскакова, она рвалась к беспроигрышной дальней части.

– Чо у нас там дальше? – развязно спросил Баскаков, и почесал спину о стул.

– Тебя покажут по телевидению в новостях, ты попадёшь в... медиа-пространство, то есть будешь на слуху, и все коммерческие структуры заинтересуются тобой и предложат сотрудничество...

– Ерунда. Раз показали и забыли. Чтобы быть на слуху, нужно из кожи лезть и напоминать о себе. И сколько сейчас знаменитых людей, которых и близко к телевизору не подпускают! Самый несерьёзный из доводов. Плюс тебе всё равно не дадут сказать, что думаешь. А если сдуру дадут, то так смонтируют твоё выступление, что будешь конченный ***о***балдень. Принимаешь?

– С натяжкой.

– Так-то. С этим разделались. Что у нас? Переводы. Дак вот, я категори....

– ...Подожди! Какие переводы? Чо ты прыгаешь? Сейчас третья позиция – большие тиражи.

– Я хочу сначала с самыми трудными разобраться. Пока не устал. А потом уже со всякой ерундой.

– Ты жухл***и***шь!

– Не понял. Мы разве договаривались, что я обязательно по порядку иду? Ну и всё. Так вот я ка-те-гори-чески... – он снова задиктовал, – против перевода на европейские языки вещей, где есть рассуждения о состоянии сегодняшнего общества в России.

– Почему?

– Потому что не хочу выносить сор из избы.

– Что за сор такой?

– Ты не знаешь, что такое сор? Объясняю. Муж пришёл с праздника с подвыпившими друзьями. Жена вместо того, чтоб улыбнуться и накрыть стол – устроила скандал. Сначала фыркнула. Потом – бумкнула пару тарелок с закусками. И вышла. Муж попросил как-то... ну поприветливей быть. А та, не стесняясь малознакомых людей, начала кричать, припоминать что-то совсем личное, что только их касается... и...

– Ну она просто невоспитанная.

– Ну вот. Значит, за границей большой спрос на невоспитанных писателей из России.

– Причём тут заграница? Это всё на их территории было. Незачёт.

– Лэдно, – тонко и покладисто сказал Баскаков, – давай так. Мужик пил два дня, баба бузила, получила в нюх... – и Баскаков сменил тон на эпический: – Но вот нужно идти в гости к соседям. Те – обеспеченные, надутые и жадные до чужого горя люди, с которыми натянутые отношения. Оба причипуриваются, пшикаются и идут. А там уже сидит такой вертлявый и падкий на закуски обморок, который пришёл без жены, потому что её стесняется, но зато жрёт за двоих и рассказывает, какая скотина тёща...

Лена закатила глаза, шумно выдохнула и резанула:

– Ну и сиди на своём соре задницей. Может, чо высидишь. Только когда ты узнаешь, кто на западе из русских писателей в почёте, ты сам в обморок рухнешь! Обморок... – она покачала головой.

– Лена, – сказал Баскаков твёрдо, – ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Да. Я склоняясь перед твоим доводом, он сильный, но всё равно – есть вещи... – и махнул рукой. – Я вообще не ставил цели переводиться, мне наш читатель в сто раз важнее. Ну смешно это всё в переводе звучит, дико, ей-Богу! И половина смысла пропадает.

– Кажется, немец один сказал, что всё, что в книге непереводимо, можно оставить за скобками.

– Ты знаешь, оно может и так... – покладисто и не спеша заговорил Баскаков, – но есть Достоевский и Чехов, – и он продолжил, понизив тон, – а есть Лесков и Бунин...

Лена стрельнула глазами на часы, как урядник из «Захара Воробьёва».

– Хотя немец может и прав. Но кроме одного-единственного случая, знаешь какого?

Лена вопросительно подняла лицо.

– Когда язык... является... главным... героем... повествования, – непробиваемо сказал Баскаков, на каждом слове глубоко кивая головой. И продолжил: – Хотя я согласен, что надо распространять за границей образ мощной России и буду над этим работать!

– Ты баскак, Бара...

– Я не Баранов! – закатился Баскаков.

– Ты баран, Баскаков! Я жалею, что с тобой связалась. Хотя уже поздно. Чо ты резину тянешь? Ну что? Что там у нас с тиражами?

– Большие тиражи не дают совершенно ничего, – нагло вывез Баскаков. – Помнишь, что мне сказали про путевой крест на обложке книги? Что крест, стоящий у дороги, «у части покупателей может вызвать негативную ассоциацию с авариями на дорогах». Полный бред. Хотя у выживающих людей возможны фобии на почве борьбы за коммерческий эффект... Так вот, внимание, уделяемое обложке, говорит о том, что покупателя завлекают. То есть предполагаются случайные читатели, которые, позарившись на эффектный вид, книгу купят, а читать, возможно, и не станут. Разве только первые страницы. И количество этих обманутых читателей тем больше, чем больше что?..

Лена уже не отвечала.

– ...Совершенно верно – чем больше тираж. Поэтому количество тиража совершенно не означает, что произведение достигло цели – то есть поддержало страждущего или изменило его душу. Следовательно, небольшой тираж – верный способ защитить покупателя от обмана, а страну от растраты

бумаги. Ведь это всё-таки ле-е-е-с... а не баби-Манин-малинник... – протянул Баскаков. – Поэтому я бы обязал издателей: для всех книг – белую обложку. И без букв. Купил – и купил. Зато честно.

– Чушь собачья. Незачёт. Да и там тоже незачёт. Я сразу не сообразила... Чо ты мне втирал с этими переводами? Про сор из избы...

– Я всё чётко разложил. И про сор. И про сыр. И про бор, который на бумагу скосят.

– Какой сыр? – Леночка начала раздражаться. – Ты что серьёзно? Баскаков, я просто поражаюсь! Как можно быть таким тонким в книгах – и в жизни таким стоеросовым! Ты же знаешь, что всё сложнее! Если художник начинает жеманничать, что-то скрывать, занимается оглядками – ему полный кириндык. Литература – это не застолье! Это исповедь.

– Да перед кем исповедь-то? – рявкнул и махнул рукой Баскаков. – Перед соседями? Не мечи бисер...

Вдруг зазвонил телефон Баскакова.

– Ково лешего несёт! – взорвалась Леночка.

– Перед св***и***ннями... Да, на связи, братка, – собранно заговорил Баскаков. – Дома. Да погоди ты! – прицыкнул он на Лену, прикрыв трубку. – Едрё-ё-ё-ё-ный пуп! Ну вы даёте. Кто же так делает? Только с ключа сейчас. Да, на мази... По-моему, даже заправленная. Добро. А куда вы денетесь! Х-хе. Давай.

– Скажи – не можешь!.. – вскричала в отчаянии Леночка. – Заболел свинкой!

Сор из избы

Позвонил Костя Чебунин, и сказал, что у него Михайловы проездом из Сросток, что Тане Михайловой нужно срочно в Прокопьевск, и что машину заводили в мороз с сигналки и, по-видимому, залили. Баскаков сгрёб брезент и паяльную лампу и ушёл на подмогу.

Костя Чебунин жил на обособленном отъярке, отделённом двумя оврагами, где морозный ветер задувал и закручивал особенно свирепо. Когда-то Костя привёз с карьера серого гранита и увалил им угор. Машина – серостылого цвета «сурф» – стояла на этих камнях, немного вверх мордой – как памятник самосвалу у гидростанции или Колькиной «аме» на Чуйском.

У Кости шла гулянка. С Михайловыми приехал ещё здоровенный казачина в штанах с лампасами и синем бешмете. У него были широченные щёки и сложного устройства растительность: густые усы с подусниками и щетинистое щёчное поле: они соседствовали как лес и тальники. Сам весь пышущий, сопящий – целый завод. Такие обильные, грузные люди устроены трудней обычных – кажется, им нужны особые механизмы для управления массой. Своя гидравлика, пневматика... То п***о***том покроется, как градирня, то остынет, стравит пар.

Компания моментально попытались затащить Баскакова за стол, но он отказался и пошёл работать. Вывалили помочь – Баскаков прогнал, чтобы не мешались, и оставил только Костю – помочь обвесить машину брезентом. А вскоре и его отправил:

– Иди гостей развлекай. Надо будет – позову.

– Ну а...

– Не-не-не... Я не пью до Праздника. Давай-давай... Не отсвечивай тут. Хе...

Уже нагнало мутно-сизую хмарь, но мороз не спешил сдавать. Всё было серо-чёрно-белым. Судорожно дрожала выдутая травка. Ветер драл брезент с ружейным хлопаньем. У Кости топилась баня и дым срывало с искрами и наваливало на Баскакова, добавляя беспорядка... Спрятавшись за ветром с паялкой, попытался налить бензин в ванночку – игольно-тонкая струйка засеребрилась бодро, но тут же заметалась, плоско скособочилась и опала. Баскаков плюнул и пошёл к Косте за проволочкой. Там будто намагничено было, чтоб его зазвать: все разом обернулись и с горластой силой потянули за стол. Он каменнороже вызвал Костю и тот нашёл кусок многожильного провода. Зачистили ножиком. Обнажённые жилки замахрились, как кисточка. Баскаков снова нырнул в упругий и обжигающий ветер и засел с паялкой. Перчатки мешали, и пришлось с одной руки снять. Мокрая от бензина, она резиново тянулась.

Проволочный венчик был из сталистых волосин. Анестезия бензина и ветра так сильно работала, что он не заметил, как наколол палец, стылочужой. Долго попадал в отверстие форсуночки, но наконец прочистил, и бензин брызнул родниковой нитяной струйкой и наполнил копчёную ванночку. Кровь капнула и разбежалась по дегтярному озерцу. Баскаков поджёг. Колыхаясь, рыжее пламя затрепетало, наконец и форсунка запела турбинно – сначала плевалась длинным рыжим хвостом, потом рыжину подобрала и осталась прозрачная – чем жарче, тем незримей – синева у сопла, побелевшего до солевой седины. Установил лампу под машину, завесил юбку, долго поправлял её на звереющем ветру. Стянул перчатку со второй руки – пальцы-крючки не чувствовали. Загрёб снегу и стал растирать. Сел в проколевший салон. Глянул на мёртвый бортовой экранчик, потом на свои руки: смесь крови, копоти и снега.

Едва отогрелся, полез проверять лампу. Мелкий, еле сеющийся снежок рябел на фоне серого гранита. Лампа ракетно гудела, под машиной за юбкой было жарко и чадно. Но не оставишь без присмотра. И снова сидел в ледяном салоне и думал о чувстве границы. Где-нибудь в тайге нет подмоги, а тут вот она – за дверью. А так же недосягаема. Самое трудное – в миру рубеж держать.

Баскаков уже открыл капот и вывинчивал свечи, жалея, что не огрел стопарёк самогонки. Отошедшие пальцы ломило. Ветер пронизывал насквозь, и он чувствовал себя огромным беспомощным ситом.

– Соседушка, не побрезгуй! – вдруг раздался громовой окрик, и на крыльцо вывалил без шапки и в бешмете широченный казачина с подносом и белым в красный ромб рушником. – Не отврати! – С подноса ветер урвал кусок хлеба. Повалилась бутыль. Подошед к Баскакову, он пал на колени с криком:

– Не отврати лице, и не отрини... ибо не врази! Не врази, но муж строг пришед скрозь мраз и ветр дасти (он пробасил именно «скрозь» и «дасти») радость и веселие заколевшему в расселинах каменных. Ибо сказано в Писании – кто аще препоясан силою духа новосибирскаго и тузлчинскаго к землям проколевшим и снегоукрашенным, тот восстав яко кедр, возвел на сей яр огнедышашую Ев*лампию*... – Ломящий ветер попытался вдавить сказанное обратно ему в горло, широченное, как дымоход, но он будто вьюшку перекрыл, и отдышавшись, открыл вновь и с пылом завёл: – И силой её упования затеплил... – он увидел в руке Баскакова свечи, – затеплил сии свечи, вдунув в них искру Божию и долгожданную! Прости, Господи!

– Ща, мужики, маленько осталось! Тащите аккумулятор! Надо ещё форсунки отцепить! – пригибаясь от ветра, прокричал Баскаков. Его больше

всего волновало, заведётся или нет. Мужики были в защитном хмельном красносиянии, жар держали и могли ещё с пару минут простоять, но уже стыли с выступающих частей:

– Уйми гордыню, сын мой! – рявкнул казачина. – Не уподобься нисходящим в ров... Угаси шатания духа и прими сию... – он хотел сказать и «чашу», и одновременно «чарку», – чару... Чару сию... – И сам засмеялся: – Чару... – он уже торжественно держал это нежданно добытое слово. – И да будет - *чара* сия чревосогревна, благоутробна и душеутешиста!

В ту же минуту, чуть прихрамывая, подбежал с гармонью Юрка Михайлов в папахе и оба загремели:

По горам Карпа-а-а-атским метелица вьё-ё-ётся,
Сильные моро-о-озы зимою трещать...

Баскаков сглотил стопку самогонки, закусил сжавшимся огурчиком. Поставили аккумулятор, он продул двигатель. И теперь жарил свечи. Надо было попасть в гнёзда, в резьбу, вставить в ключ, и он еле терпел пальцами, держа раскалённую свечу, и через неё грелось всё тело, и пятки благодарно оживали. Это было обратно тому, как втекал холод в дом через заиндевелые дверные болты. Машина со второго раза, сотрясясь, завелась.

– Пускай греется! – победно вскрикнул Баскаков, и все рванули в дом, где в него вкатили целую череду стопарей, которые, накопясь, лезли без очереди и будто ревнуя друг друга.

Запели. Казачина, которого все звали Добрынечкой, время от времени взрыкивал: «Четверт*я* надо брать спокойн*е*й!». Баскаков глянул на часы:

– Мужики мне домой надо!

– Братка, мы отвезём.

– Никово не повезём! – сказал Михайлов. – Пойдём по селу как положено! С гармошкой.

Костя предусмотрительно остался. По приближающимся звукам и истошному лаю Лена всё поняла.

Колыванским ямщикам он руку жал,
А на площади его уж унтер ждал...

Добрынечка так и ввалился с подносом и рушником. На подносе стайно взгромыхнули стопки:

– Мир вашему дому. Как ночевала, хозяйка?

– Слава Богу, – холодно отозвалась Лена. – Игорь, я не поняла.

– Лен, завели, причём со второго раза! – восторженно воскликнул Баскаков. – Собери нам чо-нибудь похряпать.

– Ты не забыл, куда нам завтра? – И добавила с прохладным недоумением: – Ну, проходите...

Ленино недовольство угрожало победной волне, и он сказал увесисто:

– Собери на стол, не видишь, люди пришли.

– Игорь, ты на себя смотрел?

Добрынечка выдвинулся, защищая Баскакова:

– Не смей, юница, преко... глаголить мужу... э-э-э... во мраз и хлад воздувшего вторую жись стальному онагру, что сложив копыта, возлёг обессилев... Огромное извините! – с недоумением сказал он упавшей вешалке. – Мужу! – строго подняв палец, сочно повторил Добрынечка, видимо наслаждаясь тем, что слово «муж» работало и в прямом, и одновременно в высоком смысле. По-самолётному посадив поднос на стол и разбрызгивая самогон, он наполнил стопки: – Елена! Сию чару подними с нами во знак *го-сте-при-им-*

ства. Ибо скудорадушие есть тяжкий грех, подобный волку, грызущему душу, и да будет он звероуловлен в самом корне адамовом и завулоновом!

Вздымаясь, и пыша, отекая с заиндевелых усов, становясь всё более красноречивым и сложносочиненным, он сказал громогласно и уважительно:

– Не будем глядеть на сей стол, яко овн на новоизлаженные воротья! За этот дом, стоящий на взлора... на взороласкающим взлобье! Да посетит его лихва и минует лихо. За тебя жена! – обратился он к Лене. – Будь глазоприглядна, лобзообильна и плодовита, ибо придёт время и сыновья твои, взлобзя... взрастя в гобзях... – он тяжко замер, тряхнул главой и громко продекламировал: – Взрастя в лесах и кущах, гобзящих дичью, добудут еленя и вепря и сокрушат кедры, а мы распострём... тучные телеса свои как... э-э-э, – прорычал он с досадой, – как насаждения масличные окрест трапезы твоея!

– Вешалку вы уже сокрушили... Так что кедрами не обойдётся... – проворчала Лена.

– И словеса твои нам же в притчу! Сей самогон настоен на кедровой шишке, младой и мягкой, аки ананас. Снятой с самой верхушки и рассечённой начетверо шашкой...

– Так! – сказал хозяйски Баскаков. – Где... хлеб у нас?

Он сильно отяжелел и казался подбитее мужиков...

– Там же, где тестомес! – отрезала Лена и бумкнув на стол тарелки с капустой и солёными помидорами, вышла в соседнюю комнату.

– Что за тестомес?! – живейше поинтересовался Добрынечка.

Лена всё слышала и тут же открыла дверь, словно сидела в скраде:

– Да это не к вам претензия! Тут год назад тестомес потеряли, а хозяин новую хлебопечку до сих пор покупает. А я в магазин не сходила. Сильно холодно. Извините, – и снова ушла в скрадок.

Баскакову хотелось, чтобы Лена восседала с ними за столом, чтоб всё было честь-по-чести, и он пошёл к Лене.

Едва она увидела Баскакова, глаза её набрякли слезами и она закричала:

– Не подходи ко мне! Не подходи!

– А ну, дура, перестань вопить! – ледяно взрычал Баскаков. – Не видишь, к нам люди пришли!

– Что?! Что ты наделал! Ты не представляешь, что ты наделал! – закричала Лена. Глаза у неё наполнились смесью ненависти и слёз. Вокруг глаз тоже вспухло, отёчно очертились мешки. Он протянул руку, но она отшатнулась, вся напружиненная, дрожащая. Ненавидящие глаза ослепили Баскакова. Он продолжал на неё надвигаться, и она выскочила обратно в гостиную.

– Препознавательно! – удивился тучный Добрынечка. – У нас в полевой кухне тестомес был – весьма плугоподобен! В толк не возьму, как возможно гостеприимной хозяйке потерять сие орало. Разве славный подъесаул Шлыков перековал его на меч-кладенец иль востросекущую шашку!

Подойдя вплотную к Лене, Баскаков сказал негромко и твёрдо:

– Изволь, девушка, быть с гостями и принимать их, как подобает хозяйке!

Ленины глаза снова наполнились слезами и ненавистью и она закричала:

– Пошёл вон от меня!

– Счастие, девица, не в тестомесе, а в семейном согласии, – сказал Добрынечка.

– Да что ж это? – в растерянности воскликнул Михалыч и развёл руками.

– А я объясню, – демонстративно громко сказал Баскаков. – Тестомес, о котором... крикоглаголила гостеприимная и мужепокорная фемина, был славным подъесаулом Шлыковым... звероуловлен и ликвидирован как самое басурманское изобретение – хозяйке в наущенье, ибо несть на земле

Сибирской и Среднерусской тестомеса душеласкательней, нежели ея заботливые длани!

– Та-а-ак!

– Ввиду же того, что хлебостряпательная авто-машинка была, э-э-э... наиредчайшей... э-э-э... разновидности, то достать необходимый тестомес было решительно невозможно. Покупку же нового механизма я не только... ик... не благоприблизил, а исключил вовсе, дабы не вносить в жилище устройство, содержащее в себе кратнопомянутый тестомес как предмет семейного раздора.

В этот миг Елена вышла на середину зала с любимым Баскаковским фарфоровым электрическим чайником, привезённым из Китая, и сказала:

– Если ты сейчас не замолчишь, я его расшибу.

– И в урок бабе, которая как эсь существо неразумное и более способна жужжать про тестомес, аки песия муха, нежели чем э-э-э... настропо... искуситься стряпать хлеб у духовом шкапчике.

Лена с размаху шарахнула чайник и выбежала, хлопнув дверью.

– За сходную мизансцену я был изгнан из Мариинского театра «Жёлтое окошко», – сокрушённо провозгласил Добрынечка.

Михайлов просто очень горько наморщился. А Баскаков с ещё большей невозмутимостью продолжал:

– Сие было истолковано моей супругою особенно превратно, наливай, Добрыня, ввиду ожидания... э-э-э действия, ответного вручению... ею... мне, – Баскаков забуксовал, – в дар телефона, с жинко... с жидкокристаллическою Нинкою, внесшей в наш уклад не менее раздора, чем многожды указанный тестомес. Потому как Нинка, желая навредить и ревнуя меня к вышеуказанной особе... не раз истолковывала сие слово превратным образом... гобзуя сомнительной лексикой и внося смуту в и так непростые отношения... И теперь... «Между нами молчанья равнина и запутанность сложных узлов»... Телефонная девушка Нина, как ты много попортила слов! Давай, Михалыч, песню!

Михалыч дал. И не одну. Вдруг Баскаков насторожился и ринулся на улицу. Михалыч с Добрынечкой тоже выскочили и увидели спину Баскакова, бегущего в тапочках к воротьям. Ворот***а*** были открыты и за ними стояла Ленина машина. Машина была праворукой: правая дверь открылась и из неё показалась нога в остром сапоге. Лена хотела закрыть ворота, но увидев Баскакова, захлопнула дверь и уехала.

Михалыч аккуратно свернул гулянку, организовал щадящий ступенчатый посошок и увёл сопящего Добрынечку.

Баскаков пошёл в ванную. «Чтоб буйну головушку в курган да не сложить!» – пропел он и посмотрел в зеркало. Вид был чужой, страшный, глаза набрякшие, тяжёлые, старые. Лицо в мешках и складках. Краем души он надеялся, что Лена одумается и извинится за полные ненависти глаза и крик: «Пошёл вон!»... Пискнула Нинка – она писала: «Подключите новый тариф «Жужжите с нами»».

– Жужжи дальше! – сказал Баскаков и шарахнул телефон о кафельный пол. Полетели чёрные осколки, отскочила мощная плоская батарейка, тёмно-серебристая и будто подкопчённая.

Баскаков проснулся в четыре утра. Почти мгновенно его настигло и пригвоздило произошедшее, но какую-то долю секунды он всплывал из небытия, и неомрачённая и счастливая эта доля была страшнее всего: она будто показывала, как мгновенно может рухнуть то, что строят годами.

Остановка

Лена рванула к Подчасовой.

В мороз дорога, что называется, потеет, поэтому, несмотря на всё душевное сотрясение, Лена ехала аккуратно, зная, что ледяная корочка может быть настолько тонкой и незаметной, что из машины выйдешь и ноги разъедутся. Баскаков учил, выбравшись на дорогу, притормозить и понять, насколько скользко. На трассе никого не было, Лена притормозила, и тут же противно заскворчала абээска.

Да он и виден был – белёсый налёт. «Надо будет ещё попробовать», – подумала Лена, и вскоре снова поглядела в зеркала и попробовала дорогу, и снова с царапающим скрежетом отозвались колёса... Слово «пробовать» будто прорвало обиду, объяснило: «Да! Он будто пробует! Как будто меня пробует на терпение... На скольжение – сорвусь или нет в занос? Зачем он так делает? – Лена закусила нижнюю губку, и опять полились слёзы. – Да, мир мужской, никуда не денешься. Это понятно. И если женщина приходит в ярость, то по единственной причине: от слабости. Оттого, что ничего не может с собой поделать. А он знает эту позорную особенность... и продолжает, и продолжает! Да он вообще... какой-то... дикий...».

Баскаков, когда ухаживал за Леной – старался быть галантным, водил в рестораны и театры, возил в Горный Алтай на всякие «Серебряные Родники» и «Бирюзовые Катуни». Потом, правда, выяснялось два обстоятельства. Первое: он не умеет отдыхать и единственное, что может, – нестись на машине в Горный Алтай. Лена мечтала пожить под соснами на берегу Катуни, на базе с душем, а он тащил её в самую голокаменистую даль или загонял в комары на север Телецкого озера, куда пробирался в окружную по Улаганскому тракту. Уланское плато почти отвесно обрывалось над долиной Чулышмана, лежащего внизу тёмно-зелёной лентой. К нему по крутейшему склону вёл грунтовый серпантин, похожий на белёсую многоугольную молнию. Баскаков сажал Лену за руль и заставлял позировать у исстрелянной из карабина таблички «Будьте предельно осторожны. Начинается горный перевал Кату-Ярык. Протяжённость 3,5 км».

А во-вторых, Баскаков менялся с такой скоростью, что Лена еле успевала к нему приспосабливаться. И настолько продолжал при ней выковываться, что она то восторгалась им, то чувствовала себя надуренной.

«И ведь знает, что нельзя меня вводить в это состояние, что мне трудно, я же... у батюшки спрашивала... И ста... и стараюсь, но срываюсь». Она то успокаивалась, то её снова окатывало: «Ну как же он мог после всего, после исповеди, перед Причастием?».

По тому, как её все обгоняли, Лена понимала, что перебарщивает с осторожностью. Асфальт был тёмный и она потихоньку осмелела, и тоже обогнала грузовичок. Её мощно оплыла чёрная леворукая «камрюха», и ей представился её водитель: лет сорока самоуверенный мужичок, умеренно деловой, умеренно народный, умеренно лиходеистый. Умеренные матерки и холёные щёки. Она даже в соревнование вступила с ним, чуть поддала и, почувствовав уверенность, с налёту обошла девчонку на красном «фунтике».

«Камрюху» уже не было видно, как вдруг левый поворот, в который входила Лена, оказался круче, чем выглядел издали. Что она разогналась, выяснилось, когда увидела снежную кашку вдоль загибающейся обочины. Всем телом Лена почувствовала хрупкость полёта по заледенелой дороге, и что

одно движение рулём – конец. Слитая с машиной, она вынужденно повторила изгиб, и тут её нечеловечески-размашистым рывком бросило на встречку, и также размашисто вернуло обратно. Ей показалась, что она, было, поймала машину, но её снова неистово рвануло. Это был второй вылет и второй возврат. Пронзённую ужасом её кидало, как камень на верёвке. И уже резче, сильней подножка, и на четвёртом рывке её совсем заломило к дороге и понесло на левую обочину. Там было расширение дороги, площадка, у которой стояла под углом автобусная остановка без крыши, с приваленным гофрированным железом – её, видимо, ремонтировали. Лена вскользячку пропахала передком вдоль железа, снесла боковую стойку остановки и завалилась набок на снежном пятачке, куда дорожники грейдером сгребали снег. Будто специально пятачок был завален снегом, и имел свой подъём, гнездом выступая над откосом. Машина завалилась неестественно мягко, и теперь лежала на правом боку. «Тэрик» был праворукий, и Лена оказалась внизу. Продолжал работать мотор и играть музыка. Трясущейся рукой Лена не сразу нашарила и повернула ключ. Сверху открылась дверь:

– Живые?

– Живые, живые... – ответила Лена и протянула руку.

Напротив остановки стояла кафешка, из которой и выбежал пожилой мужичок. Лена выбралась. Машина лежала на крепком комковатом снегу. Передок был разбит: бампер разлетелся на куски, валялись обломки решётки и номер. Зашла сбоку: точно, смято крыло, и точно, передняя дверь. Задняя непонятно.

Мгновенно остановился чёрный «прадик». Вышли отец с сыном, какие-то стремительно отзывчивые. Парень тут же подобрал номер: «На, убери! Так. Рамка! Давай собирай бампер! – крикнул он чуть ли не весело. – Спаяется! Всё собирай только! Туманка вот. Она денег стоит. Батя, строп давай. Да это место такое... Здесь сколько побились, знак-то стоит поворот, а чо толку, туда надо «сорок» ставить».

«Так, куда цепляем»... Зацепили Лениного «тэриоса», но «прад» забуксовал. «Да бесполезно. Надо «камаза» гружёного». Навстречу ехал ярко-рыжий дорожный «камаз» с ножом и посыпалкой. Лена бросилась, замахала рукой. «Камаз» остановился, вылез мужичок, буркнул: «Так-то сообщить надо, это ж дэтэпэ», мощно и проворно попятил огромный «камаз», зацепил стропу. «Прадовский» парень по-флотски сруководил выбором слабины: «Набей!» и махнул. «Камаз» мгновенно поставил «тэрика», игрушечно подпрыгнувшего. Лена для порядка крикнула: «Что-то должна?», а мужик только отмахнулся и уехал.

Лена осмотрела потери: вдавленное крыло, вдавленная передняя дверь, вторая дверь помята, но несильно.

– Ну, заводи, – сказал парень.

Мятая возле петли дверь не открывалась до конца, Лена протиснулась и повернула ключ – машина завелась.

– От-т японец! – восторженно крикнул парень. – Ну чо, помощь не нужна больше?

– Всё! Спасибо вам!

Лена села в «тэрик», переехала на другую сторону дороги, остановилась и позвонила Игорю. Телефон был выключен. Набрала Подчасову, сказала, что машину разбила. «Ну да, доеду потихонечку», и едва собралась отдышаться и успокоиться, как увидела медленно едущий милицейский «уазик». «Сообщил кто-то. Надо было дёргать сразу. Курятина!».

Вышли двое.

– Ну, что у вас? Почему не сообщили? У вас дэтэпэ.

– Да какое дэтэпэ?

– Как какое? Вы уехали с места дэтэпэ. А это что? – ткнул гаишник на капот – на его обрезе зеленела краской вмятина от стойки. – Тем более камера вон, – он указал на кафешку, и Лена не знала, на пушку берёт или по правде камера. – И след вот... – он кивнул на след «тэрика», пересекающий дорогу от остановки.

Пошли к остановке. Асфальт был покрыт тонкой и чёрной, как лак, мелко-пупырчатой плёнкой. Лена поскользнулась, но удержалась и прочертила стальным каблучком полосу. Белую с крошкой.

– Да вот... – подняв осколок бампера, полуукорительно-полупрезрительно хмыкнул милиционер. – Повезло ещё... – и покачал головой. – Пойдёмте в машину.

Сели в «уазик», показавшийся допотопным, прямым каким-то, тракторно-железным, пахучим. Лена оказалась спереди на пассажирском сидении.

– Документы.

Посмотрели, положили на панель.

– Ну что? Права забираем...

– А как же?..

– Суд будет решать. Вы с места дэтэпэ скрылись.

– Ребят, ну... ладно вам. Может... Ну вы видите, – её трясло. – Честно, я с мужем разругалась. Муж мой Баскаков... писатель. Слышали наверно.

Они переглянулись неопределённо.

– Погодите, я сейчас вернусь. – Лена сбегала за книжкой, которые у них на такой случай всегда лежали в машине: – Вот.

– «Фарт»... – недоумённо хмыкнул гаишник.

– Да уж подфартило... Ну может как-то... это? Он, главное, телефон выключил! Разругались ещё... вдребезги... – у Лены задрожал подбородок...

Мужики ещё раз переглянулись.

– Вы же остановку вон поломали.

Лейтенант вздохнул долгим вдохом и таким же ровным голосом, как уличал её в аварии, сказал:

– Давайте так, сейчас звоним в бригаду. Они приедут, будете с ними разбираться, сколько там за ущерб.

Полчаса протянулись пыткой. Наконец показалась «газель» с двойной кабиной, там сидели в ряд трое дорожников в рыжих жилетах. Вышли, поздоровались. Пошли все вместе к остановке. Потом гаишник сказал: «Ну вы пойдите пока у машины побудьте». Какое-то время шло совещание у остановки. Лена ходила взад-вперёд. Наконец подошёл гаишник:

– Сейчас Ваня начальству позвонит.

И отдал документы.

Ваня был главный. Подошёл. Молодой, полный, очень белый. Размашистой какой-то хозяйской повадки. Лицо гладкое, бесщетинистое, неестественно даже молодое:

– Подождите. Щас позвоню... – отошёл с телефоном за «газель». Долго набирал, ходил, о чём-то говорил. Потом вернулся к Лене. Лена сжалась.

– Ну короче, нам заплатите за остановку четыре тысячи. И всё.

– Ну конечно... Ой, Господи... Слава, Богу... Только, вы знаете у меня вот тысяча, а остальное на карте.

Протянула тысячу.

– Ну давайте, – невозмутимо, негромко, вскользь как-то ответил Ваня.

– А вы мне номер карты дайте.

– А... – будто даже удивившись, сказал: – Ну давайте пишите.

– Я только не знаю, могу не успеть сегодня.

– Да ладно, потом там... – махнул рукой. – Тысячу там ещё... – так же будто по поверхности пробормотал Ваня и сказал отчётливо: – Езжай с Богом.

Когда Лена села в машину, уже темнело. Замешкавшись, она проехала свороток к Подчасовой, стала разворачиваться, но колесо задевало крыло, разворот получился чересчур широким, и правые колёса провалилась в снег на обочине. Лена ударила двумя руками по рулю и заплакала. Сумерки... Грязный снег... Помятый бок. Скособоченная, окончательно подбитая машинёшка, изуродованным боком влипшая в грязный комкастый снег. Еле открывающаяся дверь, которой ещё и снег мешал открыться. Неудобство перекошенного вытискивания. Тонкие чёрные сапожки... Обессиленность полная. Ещё не пережитый свой улёт. Попытка звонка Баскакову: «Гад! Пьёт с Добрынечкой!».

Вышла на дорогу и стала останавливать машины. Самосвал проехал мимо («Сволочь!»). Двое ребят на «бигхорне». Остановились, вытащили. «Спасибо, ребята». «Да не за чего». Едва собралась трогаться, позвонила Подчасова, сказала, что едет Бузмаков в Боево. «Твой телефон дала, мало ли». Тут же позвонил мужской голос: «Галина сказала, вам помощь нужна. Вы где?». Объяснила. «Ну стойте». Это было хорошо – сил не оставалось. Со стороны города подъехал микроавтобус, мигнул фарами, развернулся и стал впереди Лены. Вышел Бузмаков и ещё один человек: рослый, с выпуклым животом, линию которого повторяла длинная очень выгнутая поясница. И живот, и поясница были плотно обтянуты курткой – синей, блестящей, набранной из пухлых полос. Сели в машины. Двинулись. Гуськом добрались до Подчасовой.

В автобусе ехало человек шесть, все в Боево на Рождество.

– Галь, я наверно с ними поеду. Там отец Лев. А машину у тебя брошу. Возьмёте меня?

– Да возьмём, конечно. Только вы в чувство придите... Так, а Игорь где? – спросил Бузмаков.

Галя сделала моментальное зверское лицо, и он понимающе поджал рот.

– Давайте чаю.

Сели за стол. Лена несколько раз пересказала своё приключение. Больше всех взбудоражился и восхитился человек с гнутой поясницей, оказавшийся московским писателем. Звали его Леонид. У него было большое, немного баклажанистое лицо. Тёмная кожа вокруг глаз с мелким напылением прыщиков – будто пшёночкой посыпанное. Увесистый подбородок. Когда он говорил – большой рот смещался-выдвигался ковшом. Леонид всем восторгался. Говорил громко и быстро, частил немного: «Да шикарно! Спасибо, Галечка! Это что? Папоротник? Мммм... Шикардос, шикардос»... Смесь мёда с кедровыми ядрышками его вовсе обезоружила. Он ломанулся к вешалке и притащил плоскую бутылочку и плоский пакетик...

– Ой, извините! – вскрикнула Галя. – Я не сообразила, – и пошла к буфету.

– Галя, никаких водок ему! Мы в монастырь едем, – крикнул Бузмаков.

– Лена, будете? Бог простит, – отхлебнул Леонид коньячку. – Вот ещё хамон – берите... Ну ладно, ладно... Ну всё же уладилось...

– Лен, может, вина? – спросила Подчасова.

– Да завтра Праздник... И главное, я ещё подумала, надо было быстро в

сторону отъехать куда-нибудь. Гаишники эти. Я только дух перевести собралась... Трясусь ещё вся.

– Да это сообщил, сообщил кто-то! – громогласно частил Леонид.

– Тот с «камаза» и позвонил! – сказал кто-то.

– Да ну, какой ему смысл – он же сам и растаскивал? Не. Это кто-то, кто ехал. Или из кафешки.

– Из кафешки! Мужик, который подбегал.

– А главное, я так и не поняла, что это за история с остановкой, то ли они захотели за мой счёт её отремонтировать? То ли что?.. Как-то непонятно. Если бы они поделили деньги – гаишники и дорожники? Нет. Ваня этот... Как он рукой махнул: «Езжай с Богом!» – Лена поджала губку и отвернулась.

– Шикардос-шикардос! – закричал Леонид. – Давайте за вас, Лена, за остановку! Ну как же хорошо! Леночка, у меня ещё кальвадос есть! Шикарный кальвадос! Шикардос-шикардос!

Быстрое это «шикардос-шикардос» звучало как присказка, как отдельное что-то и производственное, вроде «как понял – приём». Если он произносил отдельно «шикардос», то мог автоматически добавить двойной шикардос.

– Так а знака там не было?

– Да не помню! В том-то дело. Могла прозевать спокойно. Я знак прозевала. Эта «камрятина» ещё, я прямо представила такого... Баскакова... в ней. «Бэ-бэ-бэ» такого... «Я скэзэ-эл... никаких хлебопечек! В духовке стряпать будешь!» – басом изобразила Лена и все засмеялись, – Бр-р-р, терпеть не могу... И в общем, я вижу этот поворот, уже вхожу... И понимаю, что копец... Ну и ка-ак меня ки-инет на встречку.

– Лена. Ты в рубашке родилась!

– Шикардос-шикардос!

– А меня опять потом ка-ак поведёт, и главное я ничего сделать не могу. Вот тебе и полный привод!

– Леночка, полный привод выручает, пока не сорвёшься... Как у сильных людей... Тянет до конца, а как сорвался – не поймать. Отдельный навык нужен. Газ нельзя бросать.

– Да я почти поймала. В том-то и дело! А потом снова... и эта остановка! И куча эта. Прямо как ладонь... кто-то подставил!

– Остановка! Лена, вы прелесть! Ха-ха-ха! Вот это сюжет! Менты с дорожниками бабки загребают на остановке! Даже нет! Таскают! – он зашёлся от хохота. – Слышь! Они её таскают туда-сюда! На повороты ставят! Кормилицу. Ха-ха! Кино можно снять: «Кормилица»! Я Шнапсу в газету напишу! – крикнул Леонид, одновременно шарясь в широченном, похожем на изразец, телефоне: – О! Чернявского убрали.

– То есть они, смотри, – говорил он уже целенаправленно Лене, – они ищут поворот, привозят остановку... Ха-ха! Вызывают, погоди, Валер, подгоняют поливалку! Поливалку! Представь! Заливают дорогу, а потом ставят остановку! Четыре тысячи с одной машины, это сколько долларов? Так, какой курс сейчас? – он слазил в изразец: – Ага... Тридцать девять. Четыреста баксов... С десяти тачек тысяча шестьсот!

– Да, Ленк... – свозь гвалт глядя на Лену, задумчиво сказала Подчасова, – конечно дала ты... А если б на встречке?.. Подумать страшно.

– На ладно тебе, Галк! – вдруг улыбнулась Лена. – У тебя вообще машина сама поехала ночью.

– Как сама поехала? Шикардос-шикардос! – восхищённо округлил глаза Леонид.

– Взяла и поехала. У нас в Сибири автоматика. Галь, я расскажу? У неё механка. На скорости оставила. А машина на автозапуске. Ну и поехала.

– Как на запуске? А-а-а, – догадался Леонид, – мороз же! Ну да. Вот это да! Шикардос! Ну вы даёте! А мы не ставим на запуск.

– Дак у вас тепло.

Леонид хлопнул кистями ковш в ковш:

– И представь, представь, Ген! Менты остановку притащили, асфальт залили, сидят в «уазике» караулят. Тут такая тачка врезается. Они туда: «Документы! Порча имущества!». А там нет никого! Шикардос! Скрытие с места дэтэпэ! Вот чижики! Лена, так они прямо сразу вам стали предъявлять? Про дэтэпэ?

– Ну да.

– Не спросили, как самочувствие, может, помощь нужна? Не, ну какие суки!

– Нет, ну они видят. Я же сижу, нормально, – Лена тоже думала о холодке того разговора, но сейчас почему-то стала защищать ребят.

– Да в Америке вас бы успокоили сначала и в чувство привели...

– Да ладно тебе, Лёнь, – резанул Бузмаков, – успокоили, а потом такого штрафака бы впаяли, что... – махнул рукой.

– Бузя, не бузи! Ты гонишь!

– Ленк, пойдём тебе кофту покажу... – сказала Галя.

– Пошли, – быстро встала Лена.

Галя повела к себе в комнату:

– Ну что у тебя? – сели.

– Да не могу! – снова затряслась Леночка. – Рассобачились с Игорем вдрызг. Просто вдрызг. – Бросилась к Гальке. Та обняла:

– Ну всё, всё. Мужики есть мужики. Щас-то где он?

– Да пьёт с казаками этими. Телефон выключил. Главное, я его таким не видела никогда... Бывает, конечно, выпьет. А тут как животное... Ещё прёт на меня: «Ты чо, дура? Ты чо, дура?». Меня ещё взбесило, что он предсказал всё, и я как дура действительно!

– Да что предсказал?

– Ну, там началось, что нас с премией прокатили, ну и... ой Господи, ладно...

– Ну что ладно? Рассказывай уж. Смотри, какие духи Валя подарил.

– Шикардос... – Лена кивнула. – Короче, разговор про литературу, ну про сор из избы... И он прямо рассказывает вот эту всю историю... До этого! Как они пьяные пришли, а я, а я... гостеприимства не проявила! Сволочь такая...

Вернулись.

– Не, ну вы чудо, Леночка! А?! Остановку протаранили! Не, ну а те чижики! Только надо дальше допридумать? Финал нужен убойный. А! Вот! В неё все врезаются, в кормилицу-то! Она вся уже такая латанная, перелатанная... Бронированная... А дальше... – он сосредоточенно наморщился, и вдруг, сияя, оглядел всех: – А дальше, слушай! Дальше едет полкан! Ну ты рассказывал-то... танковый. Которому этот... как его... Шахназаров «тигр» заказывал. Как раз поехал за бухлом и тоже впилился в остановку! Раскатал её в блин! Ха-ха! Шикардос-шикардос!

– Поехали, шикардос! Спасибо, Галюнь, за чай. Лен, вы готовы?

– Ха-ха-ха! Блуждающая остановка! – не обращал внимания Леонид и закричал: – Слышьте! Это брэнд! Ха-ха-ха! Или нет! Смотрите: жена писателя Баскакова – глава фонда возрождения остановок! Ха-ха... – и зачастил:

– Такое совещание у губера: может ли Баскаков быть брэндом новосибирской области? Помнишь, Бузь, конференция-то, ты рассказывал: «Может ли Шукшин быть брэндом Алтайского края?». Ха-ха-ха! Шикардос! Не, Лен, представляете? На полном серьёзе. Шукшин – брэнд Алтайского края!

– Совсем сдурели! – сказала Лена, приподнимаясь и чувствуя, что при всём возмущении Баскаковым говорит его словами.

– Брэнди – «Калина красная!», – не унимался Леонид. – Самогон «Макарыч». «Печки-лавочки», отделка бань под ключ!

– Брэнди... – покачал головой Бузмаков, поднимаясь.

– Зато в трэнде! – закатился Леонид, и все засмеялись.

Сели в микроавтобус. Лена оказалась рядом с Леонидом. Он ещё поприкладывался к бутылочке, размяк, потом как-то планово положил руку Лене на плечо. Зашептал что-то пахуче. Бузмаков его шарахнул в плечо. Тот опомнился:

– Не. Я ничего.

– Ну и не бренд***и***. А то пешком пойдёшь.

– Всё-всё... – нахохлился Леонид, поднял воротник и отвалившись к окошку, прокемарил до Боева.

Ванино поле

Боевский Свято-Никольский монастырь был построен в конце двадцатого века одним священником на пожертвования. Строили из чего было, кто цементом помогал, кто кирпичом, кто бетонными блоками. Так и стоял монастырь бастионом из серых блоков, квадратный, очень высокий и стенами немного на конус, как Лхаса или миноносец. Многие блоки были с торчащими арматуринами и вид получался ощетиненный, грозный. Наверх в гостиницу для паломников вела железная лестница с какого-то завода. Длинная, крутая, со ступеньками в ромбик. Первый раз Баскаков был здесь в страшенный мороз и особенно запомнился заиндевелый и серый вид монастырских стен и суровая, судовая почти лестница.

Ехал в беде, в отчаянии, изведённый отношениями с женщиной чуждых взглядов, разрывом с ней и кризисом в работе. Что-то вдруг страшно отвратило в литературе. Стало казаться, что тому главному, ради чего всё затевалось, уделялось ничтожно мало внимания по сравнению с ремесленной стороной. При попытке донести духовный эпизод, девяносто процентов времени и сил уходило ни на его переживание, а на технические вещи, этот эпизод оправдывающий.

Прислали как-то Баскакову английский перевод его рассказа. Устав расшифровывать его, он в виде передыха перенес взгляд на свой русский текст и... его буквально отшатнуло. По сравнению с непривычной, почти непроницаемой иноязычной буквенной массой, родной вариант был настолько говорящим, что русские слова буквально вскричали, бросились навстречу. Ожили знакомо и разнолико. Столько одушевлённого было в этой качнувшейся навстречу бумаге, что наряду с радостью почувствовал он в этом оживании грозную силу, и даже предупреждение. Слова были будто стая, севшая вокруг доверчиво и мощно, но готовая, чуть что не так, навсегда сорваться... В этом «навсегда» он был уверен абсолютно, а «что не так» означало ничтожное собственное отклонение от того, к чему призываешь читателя. Он попытался описать пережитое, но всё выглядело настолько нарочи-

то, что для поиска естественной формы ушли бы годы. Зачем? Ведь чтобы стать лучше, добрее и отзывчивее, требуется совсем иное...

С таким грузом и приехал тогда в Боево Баскаков. Вошёл в зимний и суровый двор, где возле бетонной стены громоздилась куча огромных тополиных чурок. Их перекатывали две послушницы в ярких куртках. Одна, самая худенькая, с лицом, закрытым капюшоном красной куртки, особенно пронзила рвением. Он бросился к ней: «Давайте, помогу», а она ответила только: «Не надо, это моё»...

Он поднялся по судовой лестнице в гостиницу. Там было тепло, даже парко, зеленело множество цветов в горшках, просто оранжерея целая, плыл запах щец, ещё чего-то жилого. Его поселили, потом была служба, по окончанию которой он подошёл к батюшке. Мол, что нужно, чтоб монахом стать?

– Так, так, так... – сказал отец Лев, отрицательно качая головой и сразу будто отвергая весь Игорев пафос. – Тебя как зовут?

И от этого «ты» Баскакову уже вполовину легче стало:

– Раб Божий Игорь.

– Раб Божий Игорь, – ударив на «раб», быстро, удивлённо и как знакомому сказал отец Лев и поглядел пристально в глаза. – Давай так. Поживи. Трудником. Мы тебе келью дадим. Работы много. Успокоишься... Подумаешь. – Он помолчал: – Я тебе и по-другому мог сказать: что совсем не обязательно принимать монашество, чтобы уйти от того, что тебя в миру не устраивает. Что там не так и много честных и думающих людей... А ты хочешь их число уменьшить... – он улыбнулся, всматриваясь и будто изучая собеседника. – И что будущему монаху надо *там,* – он кивнул куда-то вдаль, назад, – готовиться: соблюдать посты, каждый день – как штык, молитвенное правило читать, ходить в храм. Очень серьёзно изучать Священное Писание, жития Святых, Святых Отцов. Приучаться к постному, в пять утра вставать, не говоря про телевизор и встречи с друзьями. И с девушками... – он особенно упёр на это слово. – И так с годик. А там... посмотрим... Но я тебе говорю – поживи недельку... У?

.....

Баскаков так и не выспал ничего «путнего». С четырёх лежал в полудрёме, то в жару, то покрываясь потом и остывая, холодея от бессмысленности какой-то и непоправимости, от контраста между полной невиновностью безмятежностью утра и внезапностью катастрофы. Ворочался, метался, пытался прохладней прилечь к постели, вминал жаркую голову в подушку, силясь вытянуть спасительную её прохладу, потом также припадал ко второй подушке. Из похмельной растерзанной души не шли Ленины обезумевшие глаза, порубежный её взгляд, ненавидящее: «Пошёл вон!». В конце концов встал, пошёл в ванную, нашёл и прибрал карту от телефона. Долго стоял под душем, чувствуя, как волнами то нарастает, то ужимается в голове ядро.

Пил чай. Лежал. Ходил. Жарил яичницу с луком, ел насильно, пряно, на случай, если остановят. Вышел на улицу, умылся снегом. Погода была ветреная. Серая... подстать настроению...

В машину дико было садиться. Руки, тело неверные. Сел. Жевал жвачку. Помнил, как его остановил молодой гаишник: «Игорь Михалыч, когда вы-*крайний* раз принимали спиртное?». И как непроницаемо глядя в глаза гаишнику, твёрдо и будто вскользячку бросил: «На день рыбака». По дороге заехал к Косте. Казаки негромко сидели за столом. «Смотри осторожно – сейчас перемёты будут».

На трассе задувал очень сильный ветер. Где дорога возвышалась над полем, снежные потоки переливали асфальт особенно гибко и текуче. Слоисто-туманную ткань будто перетягивали через трассу и натяг этого жидкого дыма был необыкновенно тугим и одушевлённым. Мутно-молочные струи змеино изгибались на взъёме и спуске. Их набрасывало на лобовое стекло мутной толщей, тенями, сумерками, в которых меркла окрестность. Когда машина прошивала несколько струй, аж рябило в глазах.

На снежном фоне струи не было видать и, казалось, они нарождались только рядом с трассой, ради неё. Но шершавый мел мёл по всей равнине, и поле будто жило многовековой жизнью, куда-то перетекая, а трасса с бренными машинами лишь попалась на пути. Волокна были настолько плотными, что казалось должны оплести колеса, и машины, споткнувшись, завязнуть, расползаясь, и раствориться медленно и смиренно. Но они почему-то ползли, замедляясь и работая аварийками.

Видимость совсем упала – метров сто от силы. Дорога коротко расширялась, и посередине на островке темнела тень пожарного «камаза», а рядом с ним тень человека, отчаянно махавшего круговым махом – чтобы ехавшие не останавливались. Дальше на встречной полосе стояла патрульная с мигалками, скорая и междугородний автобус, которому в зад влепилось с полдесятка легковушек. Баскаков внимательно их рассмотрел, убедившись, что Лениного «тэрика» среди них нет.

Проезжая Подчасовский перекрёсток, он вдруг решительно повернул. Остановился у ворот и вошёл в калитку. «Тэрик» стоял мордой к дому и небитой стороной наружу. Баскаков постучал...

Через полчаса он мчался в Боево. В лесу не мело, но, едва дорога выходила на простор, поле снова жилисто перетекало асфальт, полосы, перебежав дорогу, укромно сливалась с полем, будто таясь.

Он въехал в Боево, засаженное огромными тополями, глядевшимися особенно голо. Слева в ветреной дымке тянулись домишки, справа монастырь стоял ощетиненным бастионом. По железному корабельному трапу взлетел как по авралу. Комнату в гостинице так и держали за ними, словно она ничего не знала. Хотя казалось, «после всего» её следовало аннулировать беспощадно.

Вошёл без стука. Лена лежала с открытыми глазами, с открытым молитвословом на груди. Он прошёл и сел на стул.

Оба молчали. Первая не выдержала Лена, поднялась, отпила воды из стакана, спросила тихо, выцветше:

– Ну и что мы будем делать?

– С чем? – деревянно ответил Баскаков.

– С нашими... изуродованными отношениями?

Баскаков очень быстро поднялся, подошёл, обнял. Лена уткнулась в шею. Почувствовал тёплые глаза, как пошевелились, защекотали веки, потом мокро и облегчённо замерли. Начала содрогаться, дышать со спазмом.

– Ну всё, всё. Живая, главное.

Она подняла лицо, мокрые глаза, как-то длинно натянула верхнюю губу на верхние зубы. Помолчала. Потом сказала:

– Крыл***о*** сильно? – и снова уткнулась и всхлипнула.

– У машины или у... отношений?

– У-ве-во... – снова сотряслась Лена.

– Ну ладно, ладно... Выправим. Сильно испугалась?

Он чувствовал её кивающую голову. Видел хвостик, перетянутый пояс-

ком. Он снял прихваточку и освободил-рассыпал волосы. «М-м!» – возмущённо дёрнулась всем телом она, но когда он грабельно пропустил волосы меж пальцев и лапищу прижал к тёплой её голове, будто что-то долепляя, расслаблено прижалась. И снова, затрясясь, уткнулась Баскакову в шею, но уже успокоенно. Потом подняла лицо, дыша тяжело, ещё вздрагивая, и чуть улыбнулась. Между губ попал волос, отвела его длинным тягучим движением. Легла. Сказала медленно, по-больному:

– Ты телефон выключил, чтоб проучить меня?

– Чтоб проучить Нинку... Лен, я расколошматил его. Когда ты уехала. Она глупость сказала... А ты мне звонила?

Она закивала. Потом сказала очень задумчиво:

– Я почему-то *думала*, что ты приедешь. Я сегодня исповедовалась и причастилась. Иначе... я не знаю... чтоб... было.

– Испугалась, когда потащило?

– Погибнуть испугалась. Дико, когда тебя волокёт... Как будто она взбесилась, и ничего сделать не могу, какая-то силища тащит... И страшнее всего было, что я знала, что гололёд. И меня вокруг пальца обвели, понимаешь. Ехала, конечно, настроение... состояние жуткое, но всё равно тепло, музыка играет. И одна секунда! Одна...

– Там же знак.

– Это всё знак... Знак я... вроде видела... боковым зрением. А потом стала вспоминать – видела... или не видела. И запуталась... Там... пологий знак. И я как в поворот стала входить, прямо телом почувствовала, что всё. И как будто эта бровка снежная меня подрезает. А за ней же бордюр этот. Дальше само всё...

– И ты ещё газ бросила.

– Наверно бросила. Не помню... И ещё поразило, как всё мягко потом. Вдоль остановки. Будто я в пластмассовой коробке. А потом лежу. Музыка играет. А я уже думаю, во сколько ремонт обойдётся... Такие ребята новосибирские хорошие. А я ещё сильнее на тебя рассердилась. Что тебя нет рядом. Разбилась бы – знал бы!

– А почему ты Косте не позвонила?

– Не знаю... Ты знаешь, мне было так плохо, так ужасно, ты не представляешь, и как ты на меня пёр, глаза в разные стороны... и требовал... А я не могу сдержаться, и понимаю, что люди, а не могу, и эта авария... Мне надо было одно только – дожить до исповеди. Всё. Я не спала ночь. Может, теперь посплю.

Она помолчала.

– Что отец Лев сказал?

– Давай потом как-нибудь... Сил нет. Главное, что он... посмотрел... так... – она снова закусила губку и отвернулась. – А что ты старый телефон не взял?

– Да вообще не хочу видеть их. После Нинки.

– Ой, Господи, – покачала головой. – Я когда посмотрела на крыло, знаешь, что подумала? Вот она, посудомоечная машинка.

– Да ладно, купим тебе машинку.

– Я не понимаю, почему?! – она вся наполнилась этим «почему». Тревожным, требовательным, пружинным. Даже до некрасивости в лице. До складочек на лбу вертикальных: – Почему так получилось? Ведь есть причина. Есть. Не может не быть.

– Почему улетела, или почему приземлилась?

– Почему всё. И подбросили, и встречку перекрыли, и поймали ещё... И этот пятачок снежный – как ладошка. Понимаешь. И я подумала, что... – она прямо задрожала. – Что в следующий раз – ладошки не будет. А главное – пока мы не поймём, за что это... Понимаешь? Нам даже дёргаться никуда нельзя... Никуда... Я боюсь.

– Ну ладно, ладно...

– Погоди, – она скинула его руку. – Вспоминай, где мы накосячили? И... – она пристально посмотрела, – почему мы поссорились? Я как услышала, как вы с песнями идёте, меня затрясло. Ну как же так, завтра ехать... Гусь! Это он так к причастию готовится... К Рождеству...

– А ты не представляешь, как они вывалили с этим подносом! И Добрынечка забасил... прямо голосом героев Лескова или Гусева-Оренбургского... меня пробрало аж – насколько ничего никуда не девается! И душа запела, полетела, потянулась... эх, а ты её... срезала... Но только это не то... Что-то раньше!

– А я рассвирепела от статей этих липовых, которые ты зачитывал! Говорит, что времени нет, а сам про себя статьи валяет. Как не стыдно! Ещё и нахваливает себя!

– Да это не мои статьи!

– Да как не твои?

– Да так. Про куничку моя, а то письмо библиотекарша написала, я покажу тебе, если не веришь. И про «Фарт» тоже, это Броня Струкачёв. На сверку прислал. А про куницу я, чтоб тебя развеселить, написал – я же знал, что ты расстроишься из-за премии.

– Так ты знал?

– Про премию-то? Да конечно знал.

– А ты огорчился?

– Я возмутился. Но не из-за себя. Ну как так: я им русскую норму даю, а они её отвергают! Чо, сдурели?! – Баскаков заговорил с криминальной интонацией: – Не понял. Алё. Вы где? Ничо не попутали?

– Ну ладно, ладно...

– Да не-е... ну, правда. Время действие – наши дни. Написано – комар носа не подточит. Духовность – есть, народность – есть! Герои живые! Действие в сердце России! Чо надо?! Ммм... И тут эти пэтээсы ещё, – он помолчал и театрально провозгласил: – И ты лежишь.

– Я готовилась к исповеди... Все дни...

– Слушай, мне надо с отцом Львом повидаться. Насчёт как раз исповеди и причастия.

– А я посплю.

Он вышел на улицу, где извечные горожанки-трудницы перекатывали огромные тополёвые чурки... При всей знакомости картины она казалась блёклой, потому что перед глазами стоял яркий, будто резаком врезанный, оригинал. Такая же погода. Ветер с мороза закручивает меж монастырскими высокими стенами гостиницей. Хрупкая трудница в красной куртке с капюшоном склоняется к чурке. Длинная чёрная юбка, узко обхватывающая ноги, фигура, изгибающаяся неловко и тонко в коленях, нетвёрдо ступающие сапожки. Оливково-зелёная, бугристая чурка, с сучком в глазке бугра. За сучок липко цепляется чёрная полушерстяная юбка. «Миленькая, вы ж надорвётесь. Давайте я...».

Трудница быстро оборачивается: «Не надо, это моё. А если хотите помочь – помолитесь...». «За рабу Божию?..» – «...Елену», – негромко говорит

трудница, глядя серыми глазами в розоватых веках, будто надутых ветром, и улыбается вдруг беспомощно и ясно. Застеснявшись неожиданной своей улыбки, поправляет лицо, и над верхней губкой горизонтальная рисочка белеет от мороза.

У Баскакова аж глаза зачесались. Подумал о том, с какой ученической старательностью, честностью Лена готовилась, как выписывала грехи, как переживала, боялась упустить. Послушно и кропотливо выполняла всю дорогу к исповеди, каждый её изгиб. Излучину. Исполняла слово. Как школьница. Но это не ученическая старательность – а единственное отношение. У него всё взросло, где-то подсокращал, что-то считал условностью, где-то стеснялся отца Льва, как знакомого, распределял по важности – это первее, а то напослед. Хотя тоже всё вроде выписывал. Но по-настоящему озаботился только вечером перед покупкой машины, когда в голове всё перенапряжено было беспокойством, опасением не выполнить завтрашний список дел. И исповедь не то что в одном ряду с ними стояла, но всё равно – дела поддавливали.

И выходило, Лена исполняла слово *исповедь* и выполняла. А он будто редактировал. Ловил себя на попытках порисоваться перед батюшкой, пониманием, своим служением идеалам. Чтоб батюшка сделал скидку, попротежировал... И хотя, застукав себя за этими поползновениями, моментально осаживал – выходило, что слово *исповедь* они с Леной проживали по-разному.

Для неё каждое слово имеет единственный смысл, не делится на дальнее-ближнее – вплотную стоит, впритирку, не качнёшь, не подсунешь лишнего. Оно её полностью простреливает, как током наполняет, и она сама этим словом становится... Поэтому и лежит как больная.

Отца Льва в монастыре не было, Баскаков сходил к нему домой. Когда вернулся, Лена не спала, сидела тревожно на койке.

– Что случилось?

– Как ты думаешь, сны кто-то сочиняет?

– Как? – не понял Баскаков.

– Ну, или я сочиняю, или во мне... кто-то? А если кто-то – то что он во мне делает?

– Лен, что случилось?

– Да мне сон дикий приснился. Аж проснулась.

– Ну расскажи, ну что такое? – он сел, обнял.

Она сняла его руку:

– Тяжелённая... Погоди, сядь вон напротив. Или чаю мне сделай.

Баскаков принёс кипятку.

– Ну рассказывай.

– Мне приснилась будто я улетела, всё как по правде, а потом мы с тобой будто сидим, как тем утром... и спорим. А на что спорим... Страшно сказать. Я от этого и проснулась...

– Лен, ну надо сказать.

– Спорим, вернее, продолжаем будто спорить на эту... машинку для посуды. Что мне эта машинка нужна прямо позарез. А спорим вот на что...

– Ты сказала на машинку.

– Нет. Ну да. Машинка – это выигрыш. А спорим...

– Ну!

– На... твои грехи.

– Как? Ничего себе искушение...

– Как-как?! Вот как ты должен был доказать тот весь список. Про пользу

премий... Так же... – она заплакала, – не могу. Так же будто... будто... есть список, а там – те грехи, которые ты исповедовал тогда в Тузлуках... И мы на них спорим...

– Да как?

– Да в том-то дело, что я не помню, как... Знаешь, как во сне бывает. Всё складно. А проснулся и вспомнить не можешь... Ну а смысл такой, что ты говоришь, что *всё* исповедал, по списку. А я: «Нет, не всё! Что-то осталось! Не всё!» – прямо кричу. Понимаешь? «Не всё!». И если ты проспоришь, если я окажусь права, то... – она заплакала.

– То что? – почти вскричал Баскаков...

– То покупаешь эту машинку злосчастную!

– Ну всё, всё. Не плачь. Бредятина. Забудь и всё.

– Да как забудь?! Не могу. Ты скажи... Я знаю... ты такой вот... честный... – она всхлипывала. – И пишешь про честных... хороших... Я знаю... Только не сердись, пожалуйста, я понимаю, что нельзя так спрашивать... Я думаю: может это как-то с машинами связано? А ты... ты...

– Да, что?! Что «я»? Говори!

Лена будто собралась и сказала негромко и низко:

– Ты батюшке про пэтээс говорил?

– Про ка... – Баскаков и осёкся. И осмотрев комнату, будто здесь ещё кто-то был, сказал: – Не. Не говорил...

.....

– Они же, я ещё удивился, они *три раза* сказали: Толя, и каждый Напильник. Будто пытали меня. Сначала Толя намекнул, мол, хотим вас «осво-бо-дить от возможных неприятностей». Я, правда, не понял. Потом первый Напильник... обозначил, мол, снимаем с вас проблему, вы не хозяин будете. И казалось, достаточно. Но нет! Второй уже прямо открыто, прямо разжевал, что будет «человек, который столкнётся с той же проблемой»... Главное, зачем разжёвывать? На их месте понятней не заострять... Может им в голову не пришло, что это может остановить. Хотя... Не знаю.

Это же «Фальшивый купон»! Я узнал, но отмахнулся – больно хотелось машину. А что звонки с толку сбили, дерготня – это отмазка. И обстоятельства эти, Петины деньги, Артём с машиной. Они были как ураган по сравнению с этим купонишком. Я как травинка перед ним, сразу признал, что в рост не встать. Даже не рассматривал, сходу сдался. Вотт так вот. Пи-са-те-лёк...

Знаешь, бывает при полном алиби – ты всё равно виноват. И оно хуже, потому что все-то с тобой как с человеком, верят, что честный, а ты... Это как украл, а тебя оправдали за неимением. Как с ежиными рубахами. Вроде не до них и поздно... А дело во мне. Эх... У меня была конечно душевная подвижка забрать эти рубахи, но не решился тебя напрягать, стеснять стиркой. Другой бы решил не ездить и всё. Ни машину не морозил, ни колеса не порол, ничего. И времени полно светлого. А вот нет и всё. Не заеду. Это лучше. Выходит, - *так* духа не хватило отказать и за обстоятельства спрятался.

А те и рады.

– Выходит, ты меня остерёгся напрягать ради друга. А я бы постирала! Надо забрать было... Я же тебе сказала... потом...

– «Потом», – раздражённо повторил Баскаков. – Да я так и собирался... А «потом»... постеснялся, тебя постеснялся... Думаю, разворчится... Выходит, думал о тебе хуже. Надо всегда эту первую подвижку, позывку слушать. Хм... – он улыбнулся: – У меня в детстве друган был Мишка Кузнецов. Ре-

шили играть в моряки и идти на север. Вернее, кто-то моряк, а кто-то его родители. Мишка мгновенно стал моряком и говорит: «Ну, всё отлично. Я тут коло полюса. А ты давай волнуйся». При команде «волноваться» я собрался головой вот так вот заболтать, – Баскаков быстро начал качать головой вправо-влево, – но думаю, Мишка решит, что я маленький, и официально занудил: «Ой, да что же это такое?! Ой, да как мы волнуемся?!», и за голову давай хвататься... Мишка как возмутится: «Да ты не так волнуешься! Вот как надо!» – и начал качать головой именно так, как я постеснялся.

– А ты волновался, когда я поехала?

– Да я тебя придавить был готов за то, что перед мужиками опозорила.

– Хм... А как ты думаешь, что означает этот Ваня? И его неинтерес к этим деньгам, и то, что гаишники его... призвали?

– Призвание Вани гаишниками... Знаешь... – мечтательно и задумчиво сказал Баскаков, – есть такие тайны Русского мира, которые трудно объяснить... и это такое счастье... Наверное, важно не тайну раскрыть, а понять, зачем Господь Бог тебя подвёл к ней... Хотя это почти одно и то же. Так... зд*о*рово... что не всё объяснить бумагами... А эти двое гаишников тоже с ним. С Ваней. Они из его поля... Поля... – вдруг задумчиво сказал Баскаков. И представил мутное поле, перетекающее трассу туманными потоками, вспомнил снежную руку, подхватившую Лену.

– А с Ежом? – вдруг насторожилась Лена. – Как с Ежом-то? Звонить будешь?

– Не-а.

– Как так? – спросила резко.

– Он меня в чёрный список занёс.

– А что делать будешь?

– Пойду.

– Пойдё-ёшь?!

– Ну.

– Он же орать будет, материть.

– Всё равно пойду.

– И терпеть будешь?

– Буду.

– И спасать будешь?

– Буду.

– И пить с ним будешь?

– Буду...

– И рубахи?

– И рубахи, всё... буду...

Лена покачала головой – будто у неё внутри всё закружилось от происходящего, и в сложности этой смеси, в её круговой поруке было теперь спасение.

– Мне так страшно стало, когда у тебя телефон отключился... – сказала вдруг Лена и снова всхлипнула. – А представляешь, в храм зашла... Литургия началась, и вдруг голова так закружилась, ты знаешь, у меня бывает... Приступ... Испугалась... Господи, помоги, Господи, помоги... – говорю. И вдруг чувствую, меня за руку кто-то берёт. Оказался врач... Потом на стульчике сидела. А потом на исповедь, и на причастие... Вот видишь, как борюсь... с бесами своими... – Лена прикусила губку. – В истине... вышла...

Баскаков сжал её руку:

– *Здесь* будем венчаться?

Она кивнула. Её голова снова лежала на его плече. Он голову гладил и тихо говорил:

– Будешь ещё чайники бить?
– Бубу, – всхлипывала Лена.
– И кричать на меня будешь?
– Бу-бу... – ещё больше захлюпала Лена.
– Позорить будешь меня перед мужиками?
– Бу-бу, бу-бу... – тряслись её плечи.
– Детишек рожать?
– Бубу...
– И ждать... если чо?
– Бубу...
– И волноваться?
– Бубу...
– Как будешь?

Она смешно покачала головой... Тут и у Баскакова по глазам как ветром резануло. Да и в окно навалился порыв со снегом. Растворил серую бетонную стену, и сквозь неё подступила и хлынула в очи суровая и древняя даль. И будто вернула к жизни, к новой полосе. Стало вдруг ясно, какой пласт пережит, и что грядёт следующий. Незнамо какой. И надо готовиться к исповеди, к Рождественским Чтениям. Лена тоже это почувствовала, словно холодный и сухой снежный ветр и её наполнил силой. Что-то знакомое, старинное, тускло стальное сверкнуло-перелилось в Лене и она воспросила строго и порывисто:

– Как к детям пойдёшь?

Не в смысле, как, мол, «осмелишься после всего», а как солдату говорят: «Готов, всё взял?». Ничего не забыл? Справишься?

И новая волна окатила Баскакова. «Господи, как же я вас люблю!».

Якорь

Баскаков отстоял ночь. Лена ушла раньше – голова кружилась... Поздним утром пошли к отцу Льву в его гостевую трапезную. Там всё было приготовлено со всей праздничной торжественностью. На большом столе грузди в сметане, в блюде драгоценный, будто гипсовый творог с сеточкой от марли, прозрачная красная икра – её прислали с Дальнего Востока.

За столом сидели гости монастыря. Молодая состоятельная пара из Томска, помогавшая монастырю. Бледный и значительный Леонид и Наташа, молодая женщина откуда-то из Ростовской области. Она была несколько наивная и время от времени что-нибудь, как сказала Лена, «вывозила», причём с улыбкой, означающей: возможно, я сейчас что-нибудь сморожу, но остановиться уже не смогу. Был ещё один священник, отец Владимир – крепкий, лысый, с круговой оторочкой и рельефным лицом.

Во главе стола восседал отец Лев. Звучал рассказ отца Владимира про то, как со школы он мечтал стать священником, а инструкторша из районного комитета его преследовала, и он едва не лишился аттестата. Спустя долгие годы случилась у него служба, после которой подошла женщина... И они встретились глазами. «Если бы вы эти глаза видели...» – негромко сказал отец Владимир. Некоторое время все молчали.

За столом у отца Льва никогда не было праздних бесед, всегда были смысл и тема, на которую он искусно направлял.

– Друзья мои, – попытался отец Лев и сейчас направить разговор, поглядел на Баскакова и вдруг спросил: – Книжку привёз?

– Привёз, батюшка, – весело ответил Баскаков и положил на стол «Фарт».

– Ну вот это правильно, а то... не дождёшься... – отец Лев говорил по-хозяйски, то распорядительски-грубовато, то с шуткой. – Ручку дайте классику.

Баскаков подписал и протянул батюшке книгу.

– Вот давно бы так. Ну так что? На пробу! – сияя, оглядел присутствующих отец Лев, открыл книгу в середине и, откашлявшись, начал читать, сначала громко, а потом по мере вчитывания всё вдумчивее:

«Писателем быть и счастливо, и стыдно. Стыдно, что кишка тонка имени не ставить под рукописью, и что на встречах у тебя совета спрашивают: как жить? А я какой учитель? Я так... снежок огребаю... Знаете, как у древних земноводных жабры снаружи, как веточка. Вот я – такой земноводный. Я раньше думал – какой же у меня огромный внутренний мир! А это не внутренний мир огромный, это жабрам есть куда простереться. Потому что внутри у меня от несовершенств тесно и душно. И всё лучшее в моей душе – это наружная веточка кислородного голодания по Русскому миру. И когда эта веточка сливается с его кроной – это и есть милость Божия».

Отец Лев, оглядел всех с загадочной улыбкой. Образовалась пауза. Потом улыбнулась Наташа и спросила:

– Как это наружные жабры?

– Это у некоторых древних земноводных. У аксалотля.

– У кого-о? – удивлённо спросила Наташа.

– У аксолотля.

– Это кто?

– Личинка амбистомы, – сказал Леонид.

– Ко-во-о? – ещё удивлённей, восторженней и осторожней спросила Наташа, и все засмеялись.

– Если эта личинка живёт в слишком холодной воде, то она так и не дорастает до амбистомы и начинает сама размножаться, – объяснял Леонид. – И у неё как раз жабры снаружи. В переводе в ацтекского аксалотль – водяная собака.

Наташа угрожающе улыбнулась:

– Раз дети писателя – книги, то его лучше в холоде держать? Чтоб раньше писать начал.

Все снова засмеялись. А Наташа вдруг спросила:

– Что такое литература?

– Ой, ну перестаньте вы... Ну не надо... Ну что вы! – наморщился невозможно Леонид, замахал руками, стыдясь и будто стрясая с себя вопрос.

– Леонид, я не у вас спрашиваю, – твёрдо сказала Наташа.

– Ну... – торжествующе и требовательно сказал отец Лев, будто что-то очень важное, им затеянное, достигло наконец заключительной фазы.

– Литература... – медленно повторил Баскаков. – Я не знаю... И знаю. В этом слове для меня есть что-то неловкое... Почему? Потому что существует как минимум три правды. Правда литературы. Правда жизни. И просто правда. Правда литературы и правда жизни – они как два провода, и им пересекаться нельзя. Хотя бывает, литературная правда ослабнет и спикирует к жизненной. И тут замыкание! Пробой поля! Искр***а*** какой-то единой, единственной правды. И она будто окно прожжёт, и что-то смертельно-личное – станет вдруг образом. – Баскаков замолчал, потом продолжил: – Вы знаете, наверное, нельзя пронзительней написать о России, чем Бунин и Шмелёв писали из своей эмиграции...

– Совершенно не согласен, а «Антоновские яблоки»? – фыркнул Леонид.

– Да тише вы с яблоками! – цыкнула Наташа. – Продолжайте, пожалуйста. Ужасно интересно!

– ...Из своей эмиграции, – повторил Баскаков. – Знаете, что такое под «жвак»? Кто во флоте служил?

– Я служил! На Тихоокеанском, – сказал отец Владимир. – Жвако-галс.

– Истинная правда, батюшка! Это последний, или первый – откуда смотреть – кусок цепи, заделанный на палубе. Под жвак – это когда якорная цепь вытравлена полностью. До жвако-галса. Ещё говорят – заправиться под жвак – тоже полностью. Так вот, при всей длине э-э-э... бунинской якорной цепи, нет страшней эмиграции, чем та, в которой я находился, когда не знал этой... искровой правды. Вот отец... – Баскаков повернулся к отцу Владимиру...

– Владимир, – быстро подсказал отец Лев.

– ...Отец Владимир рассказал давеча... Когда они встретились глазами, спустя жизнь... Понимаете? Я будто там стою! Это... до мурашек. Спасибо вам... Оно открывается, когда пишешь... об этой земле, вот прямо... стоя на ней! Как сейчас в этом монастыре. Ничего не надо ждать. Искать специально. Высасывать из пальца. Такое счастье... Это не литература. Это... Я не могу объяснить! Это ощущение, которого у меня раньше не было. Это ощущение... – Баскаков замолчал... И сказал с тихой силой и чуть хрипло: – *Когда якорь под тобой*. А литература – всё остальное!

– Шикардос, – прошептал Леонид и, привстав, пожал Баскакову руку и, кивнув, прижмурил глаза.

На Наташином лице вдруг появилась улыбка, и Баскаков приготовился к продолжению экзамена:

– Вот вы писатель... Я просмотрела книгу. Там всё больше про мужчин написано. У вас есть женщина? Я не имею в виду... бабушек. А вот женщина такая, вот... как я... – она посмотрела на Лену, – как мы? Вы можете сказать, какими нам быть?

– Вы знаете... Раз уж такой разговор... Это всё очень важно... Да. У меня есть женщина... И она только что попала в аварию...

– А-а... – ахнула Наташа.

– И когда я приехал, она была здесь... Вы спросили, кто женщина. Она хранительница... А мужчина защитник. Так и пойдём. Как шли.

Из трапезной гулко доносился шум. Зашёл монах:

– Отец Лев, сейчас в трапезной шоколад выдавали, всем не хватило. Что, ещё взять?

– Возьмите.

Монах вышел. Через некоторое время раздалось «Многа-а-я-я лета-а-а...».

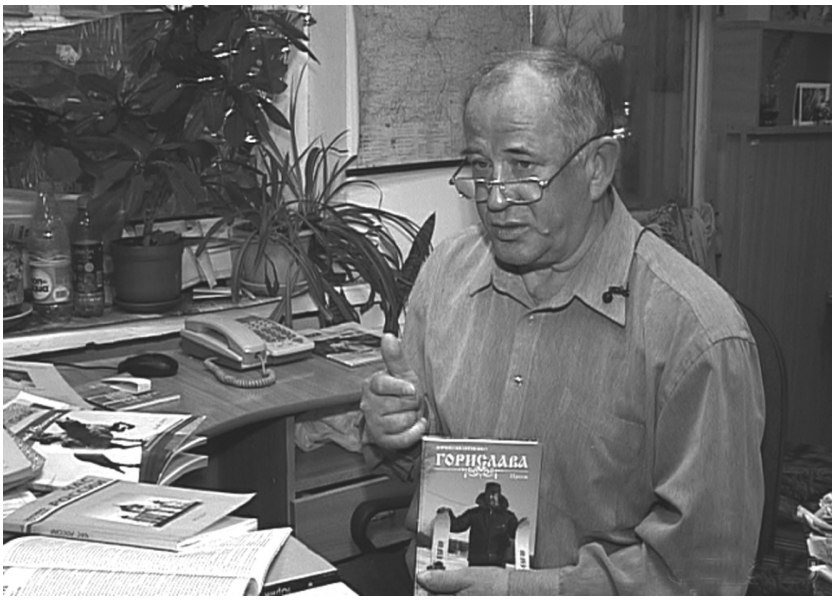
Наташа вдруг неумолимо начала расцветать несуразной своей улыбкой:

– А разве... у кого-то день рождения сегодня?

– Да! – с торжествующей улыбкой ответил отец Лев.

– У кого?

– У Иисуса Христа!



Юрий ОНОПРИЕНКО

ГОРОД УМНЫХ ЛОШАДЕЙ

Роман

1.

«Вот и созрела она, моя полуденная звезда – самое верхнее и самое приметное яблочко-штрифель. Пол-лета пряталось, сизое, в матовой зелени, слабо мерцало сквозь крону и покорно думало: упасть до срока, не упасть?

И вдруг зажглось розовой нежной капелюшкой, раздвинуло листву-облако, и ничто теперь не стало мешать его чистому сияющему цвету.

Даже соседний тополь-маяк, что вдвое выше и старше яблоньки, удивлённо воззрился на вспыхивающие внизу крапинки сладких фонариков и в полной тишине зашумел островерхой шапкой.

Когда в расплавленный вёдренный денёк старый мудрый тополь начинает ровно плескать ветвями, словно осторожный лодочник умытыми вёслами, – жди непогоды. Значит, там, в верховодье, потёк ветерок-предтеча.

Ещё нет на тёплых небесах ни одной войлочной тучки, ещё комарьё настырно спорит со стрекозами о кровососной своей политике, ещё жарынь и душный морок – а рыжий муравей вдруг спешно задраивает все дверцы-иллюминашки, и лес тих, как никогда. Где-то по-над верстовыми взгорками ползёт-стелется большая гроза.

Зачем же она, если на опушке тебя ждут лопоухие грибы-лисички, юные королевы трав, чистые девицы с золотыми рубчатыми коронами. Успеть, что ли; что тут, всего полкилометра по низинной мягкогрудой тропке, вскачь через брёвнышко над ручьём, полным булавочной рыбьей молоди.

Успел, но лес уже шумит – ох, слыхал ли ты, как шумит вековой лес перед бураном? Он взорвался сразу всеми октавами, всеми голосами мира: и плач ребёнка здесь, и старческий стон, и зовущие песни сирен. Визги, вопли, треск – и какая-то вселенская гармония, все страсти бытия, на высшем накате, в накале лопающихся жил; и страх, и – веселье...

Дремучая берёза раз за разом ударяет о разлапистый дуб: ей сегодня о него преломиться, ровно посерёдке бело-мшистого ствола; и перелом будет растерянно висеть на высокой и крепкой дубовой рогатине; висеть долго, несколько лет.

Странные, шиллеровские виды есть в наших равнинных местах: древо-гигант на отвесе крутейшего обрыва, корни-змеи обнажены, из последних сил оплетают крутизну на десятки метров в обе стороны; под ними чьи-то понурые норы, жилые, с утренними следами на метровых песчаных уступах-входах.

Обрыв утопает вниз и вниз – там, на дне, пласты-камни, всегда влажные, всегда заваленные мёртвыми стволами, павшими поперек, почему-то именно поперек. Солнце сюда никогда не достаёт, тут вечный сумрак, разве лишь десятиметровые снега осияют эти глубины, но тогда из них вовсе не выбраться.

Диковинный мир, пугающий и манящий; каждый овраг тут оброс чащобой, будто раковина-зев хищной океанской актинии. И каждый овраг тут имеет своё имя – Акульшин, Порточки, Можары; а общее прозвище излучин любого оврага – отвершек.

По берегам тех отвершков и гнездятся-роятся колдовские лисички-золотнички; стайками, семейками, укрытые плотной прошлой листвой и редким пока свежим берёзовым сусальным листом.

– Не найдёшь, – мирно говорит селянин-бегунок, встающий в пять утра и в десять уже идущий в дом с полной корзиной ядрёных, с кулак и ярче солнца, находок. – Лисичка самый медленный гриб, ей росту надо целых три недели.

– Как же ты такие большие ухватываешь?

– Я с детства каждую берёзку знаю, а лисы десятилетиями на одном месте растут. Пробежишь вёрст двадцать – корзина. Назавтра – в другой край. Тебе не суметь, твоё дело маслята и белые, а я их и не замечаю, у меня глаз на лисичек сейчас намётан. У меня их заготовитель не глядя скупает, прямо на дому; а потом их за кордон везут, Германию от большого ума лечить.

Всё же мне достаётся килограммчик золотых кругляшей-десятидневок; улов непромысловый, на рынке всего сотню стоит; но дорог сам поход, раскаты грома, бьющие со всех небесных сторон и, кажется, даже из-под земли; дороги сосновые иголки, усевшиеся за потный воротник; сладка бирюзовая ежевика, уже проглядывающая сквозь путань резной стареющей травы.

И главное, буран стороной-дозором обошёл; и не довелось вымокнуть в лесном ливне, тоже чарующе-странном, разбивающемся в верхних ветвях на мириады капелек, падающих затем, словно мельчайшие радужные осколки, вкривь, вкось; не холодных, не злых.

Вот и родная землянка с усевшимися рядом клеверами, красивыми, но безвкусными, как сахарин; вот и сад с чистотелом, целебным, но в сокепачкуне, будто давленая гусеница на клюве у трясогузки, гуляющей по коньку соседского дома.

Глянул в яблоньку – нет моей полуденной звезды-яблока. Самые высо-

кие звёзды падают раньше других. Наверное, потому, что их полёт особенно долог и пленителен.

Отыскал у корня своё падшее яблочко. Специально не кошенная здесь трава-перина спасла, на розовых боках ни вмятинки. Только роса – как святая водица».

2.

«Московские репортажёры, по жизни стажёры, азартно подражают европусам и во весь экран дёргают обеими руками, будто стряхивают с пальцев серную кислоту. И по-ихнему же улыбисто прикидываются, что вляпались всеми своими вдохновенными ногтями не в кислоту, а в тазик с вареньем... Гм, можно завтра сказать это в эфире, да не дадут».

Зелёная искра пронизала рассвет, вздрогнула тёмная дверь-скрипучка. В ней стояла жена – в вуали. Эту вуаль, одну на весь город, эту прозрачную диковину, чем-то похожую на защитное наглазное стекло хоккеиста, Алла надевала, чтоб молчаливо пугать у центрального моста никого не боящихся спесивых городских чинов, да ещё вытрезвительщиков, боящихся лишь тех чинов.

– Я всё-таки ухожу от тебя, Андрей, родной мой, – произнесла жена по обыкновению слегка надрывным тоном. – Ты не держишь слова. А этот человек держит.

Из-за её спины выглядывал чистый молодец несказанно шулерского вида, с усами будто бы вклеенными в подносье.

– Матушка... Алуся... – Андрей загородился ладонью от зелёной искры, прошивающей мозг.

На движенье его руки жена вскинула свои ладошки и слаженно затрясла ими – вот именно по-сериальному:

– Ты тридцать лет не держишь слова! Мы ушли, прощай.

Оба исчезли, а в проёме распахнутого на крыльцо коридора взгукнула по дачной улочке бордовая машина.

Истерянный Андрей неловко встал с растерзанной дурным ночным сном лежанки, вышел за калитку, увидел соседа:

– Сергеич, тут машина сейчас проезжала?

Супротивный Сергеич горевал над приболевшей помидориной:

– Скоко их... Была.

– Красная?

– Скоко ни возьми, все красные. Одни помидоры без красноты буреют.

Андрей вдруг поверил в происходящее и тотчас обрёл себя, сжался пружиной – словно микрофон вживую ему включили. Надо точно говорить, быстро реагировать.

Прыгнул обратно в дачу, схватил тысячную заначку, сквозь чужие гряды выскочил на трассу и раскинул руки вперегород первому встречному авто. Авто попалось самое то: Камаз.

Шофёр на ходу ещё полез было за монтировкой, однако вовремя увидел на пальцах Андрея купюру, трепещущую, как мандат реввоенсовета. Впустил Андрея в кабину-бункер, глянул готовно.

– Мчи за красной, она там где-то, догони.

Шофёр выдался молодой, ушастый, понятливый. Промчали поворот и увидели впереди действительно красную. Она бодро перебирала колёсами-лапками, но от мотивированного камазовца так просто не улизнёшь; улепётывающую машинку подтягивало, словно жука-живца на рыбной лесе.

– Кто там внутри? – жарко прищурился Андрей.

– Двое, – голос у водителя оказался азартным; видно, впрямь рыбак иль природный вышибала-догоняла. – Мужик с бабой...

– Прижимай! – Андрей простил сейчас даже «бабу», хотя никто его жену так называть никогда не смел.

Обошли, прижали, чуть в обочину не свалили. Андрей вылетел, яростно подскочил... В испуганном жигулёнке, лупая измазанными косметическим дерьмом очами, сидела тётка – не Алла.

Вернулся быстро, без извинений; попробуй извинись, сразу вдогонку лай будет; с такими очами лают смертно.

– Гони в город.

– Нельзя грузовым по городу...

– Ничего, я с краю живу, – и сунул тысячку водиле в нагрудный карман.

Хорош край: три квартала взрыли шинищами, пять улиц продрали грохотливо. У тупика взопревший камазовец встормозил:

– Извини, дядя, надо скорей на объездную. Дуй по дворам.

Двор в ста метрах, ничего, вот этаж, вот дверь. Позвонил, будто дрель вставил. Открыла Алла – без вуали уже, в платочке выходном кухонном. У неё именно так: платок выходной в кухню.

– Что с тобой, Андрюша, родной? Откуда... Ноги, половичок!

– Где он? – рявкнул Андрей, толкнул жену чугунными пальцами в щёку, отбросил, ворвался, готовя кулак для шулерка.

Но вместо того в коридоре стоял какой-то сапогастый, несмотря на половичок, и смотрел уверенно-радостно, будто в кино.

Андрей отбросил и его, ища за ним того, умело держащего слово. Однако из ванной выглянул второй, держащий потроха крана. И никого больше.

Тут наконец стало ясно, что микрофон никто и не думал включать, прямого радиоэфира не предвиделось вовсе, напряг скандально ложен, Алла на дачу не приезжала, а всё утро терпеливо руководила слесарями, чинящими водопровод.

Жена держала щеку, налившуюся гущей, и скромно светилась, словно синяк был медалью.

3.

Полгода назад Аллу уволили за вздохи.

Она вела свою простенькую кухонно-дачную передачку, но и туда звонили ужаленные в темечко слушатели с их липкими вопросами. Про вековечное бумажно-справочное насилие, или про вновь где-то обрезанные провода.

Не могла же Алла ответить, что пунктами приёма цветного лома владеет вице-губернаторская золовка и чудовищно воруемый по всем дальним деревням алюминиевый провод идёт на эти золотоносные пункты; посему обрезать электролинии ни в жизнь не перестанут, хоть они всё равно что твои собственные жилы.

Обозначая сочувствие, Алла вздыхала – трубно и сердечно.

– Не вздыхайте там, не вздыхайте над нашим людским горем народным! – тренированным тоном закричала однажды какая-то мелкая отставная чиновница, злая от своей завершённой неудачной, то есть безворовской карьеры. – Вы должны принципиально поднимать и конкретно заострять, а нелепые вздохи оставьте нам, простым обездоленным труженикам.

Голос этой дикой защитницы «людского горя народного» был нечаянно услышан кем-то из её молодых родичей, потомственно укоренённых во вла-

сти, и родил мимолётное устное замечание в адрес радио. Радиодиректор, его звали Пепелов, прибежал с городского совещания с совершенно мокрым копчиком.

– Где эта воздыхательница?

Он, конечно, не видел разницы между словами вздыхать и воздыхать, он был личностью нечленораздельной, живой издёвкой над смыслом жизни. В нём был один природный смысл: стремглав мчать к начальству. Так ручей бежит вниз, а пар поднимается кверху – по природному смыслу.

Когда-то, будучи ещё институтским преподавателем-бубнилой, Пепелов сочинил книжечку – чего бы вы думали? – кроссвордов. И задарил ею всех обитателей уличных литературных праздников. А вручить её пришлому властителю считал боевой задачей, без выполнения которой – смерть.

Хорошо сказал муж Аллы Андрей, известный пересмешник:

– При мысли о Пепелове у меня перед глазами сразу всплывает наш драгоценный мэр – и Пепелов, сующий ему книжицу. Затем без остановки, как в кинотитрах, возникает главарь гордумы – и Пепелов, бегущий к нему с книгой. Тут же вижу райглаву – и возле него жаркого Пепелова с кроссвордами наперевес... Отдельно без мэра, думца или главы я не могу представить Пепелова; не умею вспомнить даже его личика...

Вспомнить-запомнить пришлось, поскольку пепельный уродец вдруг упал в трон городской радиоредакции. Что удивительно – никто не удивился. За двадцать перестроечных лет все привыкли к дивным какашкам, прицельно падающим на руководящее кресло.

Ненормальное потихоньку стало считаться нормой, низкое – вершинным. Воровство торжественно назвали первоначальным накоплением капитала и провозгласили национальной идеей. Мастерство тунгусского лизоблюдства пригласили оттачивать перед утренним зеркалом: «все западные улыбаются – и ты моги». Взметнувшееся на стыке веков поколение уже принимало пепеловых как должное, как природу – суровую, но с которой не спорят.

Пепелов без проблем уволил Аллу. Достойно сказал, что вместо неправомерных вздохов надо чётко советовать слушателям обращаться в органы правопорядка. Алла готовая пенсионерка, посему ушла покорно. Беззаветно любивший её муж Андрей сделался счастлив. Он был гениален и без того счастья, а тут вовсе расцвёл. Радиоредакция стала ему словно разминированная райская лужайка. Всеохватная, плазменная опека Аллы ссунулась до пределов квартиры и немного дачи.

Там, на даче, Андрей отдыхал и от лучшей в мире жены, и от бремени лучшего журналиста эпохи. Короче, напивался – с кем попало, хоть даже с супротивным Сергеичем.

Алла, конечно, учиняла успешные дачные налёты, однако в это лето растратилась на примерный комнатный ремонт, по причине коего и оставила мужа слишком надолго беспривязным. Кончилось, как мы видели, синяком-медалью.

Впрочем, какое там кончилось; только началось. Ведь Алла была женой выдающейся. Ну, что придумает обыденная супруга, чтобы замять перед сантехниками похмельный разбой мужа? Ну, даст денежку не на одну бутыль, как обычно, а сразу на три. Наша же Алла поступила гораздо душевнее. Она, конечно, стала вздыхать.

Под тихий аккомпанемент этих своих неповторимых вздохов она рассказала мастерам, какой ранимый её Андрюша и как бережно надо с ним посту-

пать. Попросила никому не говорить про его вполне простительный для утончённой натуры поступок.

Что отвечает обыденный домовой слесарь на такие жилищные откровения? Если получит узаконенную бутыль, то мирно кивнёт, поскольку за свою сантехническую жизнь наслушался всякого. Наши же ребята не получили ничего; поэтому, уныло шагнув за порог, подумали вполне здраво: «Ага, эти жмотные фраера боятся разговоров? Да мы и писать умеем, пусть знают».

Вот и покатила к радио почтовая телега с рассказом о недемократичном поведении великого ранимого Андрюши по отношению к простым раненым труженикам. Телега была анонимная и вызывающе неграмотная, однако встретил её Пепелов восторженно, вполне в духе прежних морально кристальных и непримиримых времён.

Они сидели друг против друга: глянцевая прореха на местном человечестве, душевная рвань, великолепно пахнущая страхом, – и цвет-татарник, колючее размочало, истресканное, но неистребимое.

Андрей Жихарский был любимцем мэра, этим всё сказано. Когда-то он перевернул ход городского выборного собрания, одиноко, вопреки инстинкту самосохранения, выступил с трибуны; одиноко, зато по-левитански: от его запально-громовитого голоса половине зала вдруг захотелось бежать в бомбоубежище, а второй половине победно хватать колья.

После этого пошла писать губерния, да всё по Жихарскому. Мэр оценил жертвенный поступок, стал брать Андрея в главные свои «рабочие поездки», даже разжился для него каким-то общероссийским радиолауреатством, с которым сделался Андрей самым официальным здешним талантом.

И быть бы Андрюше очередным кислым пепеловым, да не умел он вязать галстук; а ещё кидало его лишь после двухсот граммов в отъявленный вампиризм: в кураже норовил нахамить первому попавшемуся чину, испить затхлой зелёной кровушки.

«Гении творят, а бездари ими командуют», – застольно бросал он районному администратору, искренне угощавшему его.

«Ты никого не объел?», – кидал упитанному майору, пришедшему записать приветственные косноязычия ко дню милиции.

Конечно, по причине этого жихарские бока были давно и сурово отбиты, и на черепе таились швы довольно изрядные.

– Ну, что с вами делать, Андрей Степанович? – мякеньким голосом спросил Пепелов.

– Можно без отчества, – мрачно буркнул Жихарский, давно знающий, что на «вы» переходят при вздрючке.

– Спасибо. Сказали, будто разрешение дали, Андрей Степанович, – не скрыл торжества Пепелов, хоть тоже давно знал, что начальнику-победителю торжество своё показывать не пристало; да и опасно: где ещё она, эта победа. – Тут народ на вас грамоту прислал, ведёте себя обиженно...

Увидел весёлый вопрос в глазах Жихарского, поправился:

– Обижаете, то есть.

– Народ?

– Народ. Вот письмо прислал.

– Народ?

– Народ, – Пепелов вдруг увидел, что не он, а Жихарский побеждает; уже сейчас, когда разговор ещё и не начат.

Так меж ними почти всегда. Однако ныне надо быть твёрдым.

– Твердолобым, – невинно возразил его пепельной мысли Жихарский.

– Твердолобым голос даден, а грамотёнку я бы у них вовсе отнял. Можно прочесть сих слухачей? «Во первых строках мово письма приношу возражение»... Так?

– На этот раз написали не слушатели. Этот серьёзный сигнал пришёл от твоих это... ну, сожителей.

Жихарский глянул ещё веселей:

– И при таком изумительном чувстве слова ты, господин Михайло Пепелов, имеешь оклад лишь в пять раз больше мово...

Михаил Викторович собрался с силой и иронически выпрямился в кресле:

– Зато вы, Андрей Степанович, в пять раз умнее меня. В пять раз бедней, в пять раз умней. Закон равновесия природы.

Укус древопитека. Поскольку Жихарский мастер подначек, то колючих шуточек в свой собственный адрес он абсолютно не терпит.

– Хоть заслуженный дурак, Миха, а не говори кроссвордами.

Стратегическая ошибка. Тупицы тоже не любят обид. А упоминанье о былой низменной страсти к кроссвордам есть обида смертная. Пепелов отбросил всю врождённую свою сверхосторожность и заверещал тонко и свирепо:

– Пиши заявление! Не посмотрю на твою гениальность!

Гениальность у Пепелова ругательство. Он ненавидел её, как любой нестандарт; видел в ней покушение на устои. Пепелов и сейчас был жестоко обижен вселенской беспардонностью Жихарского, а тот искал взглядом пепельницу, чтоб рвануть её со стола и шмякнуть в стенку.

Но если честно, Андрея накрыла сосущая растерянность. Вся его жизнь плескалась в корытце под названием радиоредакция и бортики той посудинки всегда стояли крепко. А сейчас его кидают за борт, словно осточертевшего боцмана-выпендрёгу.

И всё ловко, логично. И противоестественно. Вот так нынешние институтские взяточники легко подставляют под взятку самого честного, чистого и грамотного. Не лезь против системы, а полез – носи клеймо вора, коли такой честный.

Андрей встал и ровно вышел – занозистый творец, морёный дуб-окорайчик. И ни начальник, ни даже его секретарша-садистка с парой сидящих у её ног прихожан не заметили на узловатом лице ни царапинки, ни надреза. Лицо-кора всё так же было в общий сухой цвет, непролазно защитный.

Лишь Алла при свете ретро-навороченной домашней лампы разглядела, поняла всё. И сказала сразу:

– Унижаться не будем, выход есть. Единственный, но верный: просить Олежку.

4.

Олег Чупров журналист-ошибка. Таких земля рождает редко и невесть по какому случаю. Ошибкой его кличут потому, что он безнадёжно путает имена и не запоминает лиц. Он может целый день работать с милейшим человеком, а через месяц пройти мимо.

Ошибок в передачах он не допускал никогда, поскольку специально по десять раз перепроверял в тексте цифры и названия. Зато в прямом эфире мог спокойно перекрестить Иван Иваныча в Сидора Сидорыча. За такую наглость Чупрова ненавидели все чиновники, знающие, какое это преступление против человечности – не узнать в толпе родное начальство.

К тому же Олег смертельно презирает всяческие совещания и вообще сбо-

рища; даже если собирались слушать приехавшего из Москвы вершителя судеб. Открыто заявлял, что лень тратить себя на мертвечину. Говорил, что заседания высасывают из него энергию.

– Я будто к Свифту попадаю, в его страну умных лошадей, – бубнил повинно. – У всех не речи человечьи, а однообразно премудрые игогоки.

Когда-то, ещё работая в газете, Чупров умудрился написать с громкого официоза целую полосу, вовсе не побывавши там. Изложил виртуозно, цитировал и доклад, и выступления. Вклеил весьма уместные размышлизмы, дал даже невинную безадресную подначку-оживляж – но всё выудил заочно, через своих агентов, весь день маявшихся в зале; и написал всё заранее, в последний момент лишь подставил в текст фамилии трибунных выступленцев.

Это было феноменально ещё и потому, что отчёт жутко понравился городским властям, и Чупрова чуть не наградили. Но редактор газеты, целый день бесполезно высматривавший из президиума своего невидимого подчинённого по всем рядам, понял, что ленивый Олежка виртуозно поиздевался над игого-системой.

То же самое Чупров вытворял и на радио. Пепелов всерьёз задумался о его увольнении после передачи о милицейской собаке, кою Олег приволок в студию записать лай «чисто и шелковисто».

– Ты бы ещё свинью записал! – возопил на летучке Пепелов.

Однако Чупров отбрил убойно:

– Так вас же рядом не оказалось...

Зловещую паузу, во время которой все дружно зазеленели, разрядил вполне уважительно:

– Ну, в смысле посоветовать было некому.

Олег всегда шёл по краю общения, говорил и жил на грани фола. Его бы давно вытурили, перед ним давно захлопнулись бы все двери – однако у Чупрова имелся странный штрих: из любой ерунды он делал какие-то гипнотические тексты.

Жихарский, который был на пятнадцать лет старше, брал Олега за грудки и потрясал:

– Открой секрет, несчастный буратинус! Почему у тебя самые дурацкие темы читаются? Почему меня за уши не оттащишь от твоих буратинистых фраз? Ты ведь на деле косноязычен, заикаст и безус, ты полное недоразумение!

Они были жгучие антиподы и они были не разлей вода. Их сдружила общая русская страсть.

Они сидели в измождённом кабинетике, который не позволяли ремонтировать, не меняли иссохшую советскую мебель на новую европеидную; тут не имелось никакой идеологии, оба просто не хотели отвлекаться от главной мысли. По утрам понурый Андрей спрашивал у понурого Олега:

– Сколько у тебя?

– Минус полтораста. А у тебя?

– Минус двести. Ну, пойдём доведём до нулевой отметки?

Вставали, шли в кафе напротив. Жихарский выпивал двести граммов, Олег чуть помене. Возвращались и работали так ладно, что к вечеру у них был солидный плюс в шестьсот-семьсот водки, и значит, назавтра утром снова первостатейно требовалось выныривать из минуса к нулю.

У них, конечно, было много приключений. Пьяный Андрей погружался в самые случайные компании и лез в скандал. А Олег наоборот соловел от всякого общества.

Жихарский махал рукой:

– Юнец... Что с тебя взять. Когда с человека нечего взять, с него берут пример.

Он любил младшего друга за уступчивость. Чуя в нём особинку ещё посильней своей, не ревновал. Вернее, не показывал, поскольку ревность была, куда от неё деться. Видел, как твёрд его якобы мягкий приятель, сколь независим, а значит счастлив. И в юнецкие тридцать пять владеет чем-то важным, что Степанычу не дастся и в семьдесят.

Облик у Чупрова подстать древнему уличному увальню: взгляд слегка нерешительный, походка носками внутрь. Залысины на крепеньком затылке, тёмные глаза чуть навыкат. В движеньях угловат, за столом горбоват.

Радиодамы когда-то были потрясены, увидев, что новичок тяжко встаёт из-за стола при появлении любой женщины. Приглашает присесть, а сам слушает стоя. Его тотчас прозвали господином офицером, однако в коридорах господин этот застенчиво здоровался с каждой дамой по три раза на дню, позорно выдав, что все они ему на одно лицо.

Андрею при выборе пивнухи Олег отвечал покорно:

– Веди, Степаныч, куда хошь. Не умею принимать решения.

Пепелов называл Чупрова главным недоразумением радиоредакции. Передачи Олега были малопонятны начальникам. Его темы считались мелкими, а речи выпендрёжными.

– Это потому, что начальство русский язык понимает на уровне семиклассника, – объяснял Андрей. – Пусть твои герои иногда говорят трибунно: мол, выполним, несмотря на тяжёлые погодные условия и тэдэ. А то без этих заклинаний ты всех начальников вроде как унижаешь, усёк?

Олег виновато пожимал плечами.

– Может, я неправильно живу? – тихим тенористым голосом спрашивал порой. – Вот я в своей жизни отстрелял уже несколько десятков чинуш, а нужно ли это? Мне знаешь что больше всего нужно? Сидеть на деревенском обрыве и тупо смотреть в горизонт.

Утром Чупров вошёл в кабинет и увидел Андрея привычно сумрачным, однако непривычно сумеречного цвета.

– Гонит Пепло, теперь не один ты в испепелённых позорниках. Вот заявление об уходе написал, сейчас отнесу.

Олег понял, что дело всерьёз.

– Да он уже отмяк, небось. И что он мэру скажет?

– Он, по-моему, мэру что-то про меня накапал, а тот шибко повёлся, – друзья легко общались на уличном жаргоне, также могли на профессорском наречии, на горкомовском, детсадовском; это была их словесная гимнастика, рабочий тренинг. – Без того разве посмел бы о заявлении сказать...

– Подожди, не пори горячку. Мне вон раз пять уйти предлагалось и отменялось.

– Я не ты. Ты ловкий счастливец, с тебя и как с гуся вода, и взятки гладки; а от меня он немедленного униженного поклона ждёт. А я никогда никому не кланялся.

Олег ответил трезво и без раздумья:

– Тогда я тоже заяву на уход намалюю. Вместе понесём.

И взял ручку, склонился над бумагой.

Выцветшие зрачки Степаныча расширились, взялись молодой синевой. Торжественно положил рубленую ладонь другу на плечо:

– Ладно, погоди. У кого из нас горячка? Есть верный ход и лишь ты его можешь сделать.

Чупров глянул вопросительно.

– Позвони пепельской жене. Он её боится пуще мэра. А она тебя боготворит... Я знаю.

Жена директора являлась в жизнь Чупрова несвязными эпизодами. Примерно раз в месяц звонила какая-то Лидия Петровна, представлялась почитательницей Олега и благодарила за передачу. Благодарности те были нудноваты: «Спасибо за интонацию, спасибо за слог, за искренность».

Олег тут же забывал разговор, имя-отчество и следующий звонок воспринимал вновь как из ниоткуда, отвечал с доблестным терпением, обыденно, нейтрально-вежливо.

«Однако ты хам, Олежка, – как-то сказал Андрей. – Другой из таких дарёных спасиб, как из литых кирпичиков, дачу отгрохал бы. Дачу судьбы, кхе-кхе!».

Олег включился лишь после пятого-шестого звонка, да и то в ситуации любопытной. Однажды вошёл Пепелов, с гримасой – кажется, то была гримаса смущенья – бросил Чупрову на стол бирюзовый конверт, вовсе не почтовый. И тут же убрался.

В конверте лежало письмо от какой-то Лидии Петровны. «Тьфу, олух царя небесного! – взорал Степаныч, едва Олег недоумённо прочёл вслух эту подпись. – Не какая-то она, а самая заглавная! Пепельская жена, она тебя звонками полгода потчует!».

Действительно, череда спасиб в каждой строке напомнила Олегу те звонки и даже сдержанный ровный голос – на голоса память у него была почти нормальная. Олег повертел духовитое письмо, куда-то сунул, и оно навсегда затерялось в столе.

Чупров и не пытался представить эту Лидию, она должна походить на Пепелова с его дряблыми ушами и носом-пупыркой. Или на чопорную Аллу, отвращенья к коей Олег не скрывал даже от Жихи.

Алла всё же почитала Олега; видно, потому, что он всегда знал, где прячется её беспутный Андрей Степанович.

Олег смотрел, ожидая пояснений. Андрей пульнул прямо:

– Жена говорит, моё спасение только в тебе да в ней, этой Петровне. Позвони, она добрая, хоть и с закидухами. Она тебе обрадуется. Вот её номер мобильный.

– Хм... – задумчиво сказал Олег. – И что я ей скажу?

Он ненавидел телефоны. То был ещё один из его бессчётных пунктиков, или, как выражался Андрей, закидух.

– Скажи, что её давно стухший Пепел безвинно гонит друга, а с ним уйдёшь и ты, оставишь её без твоих наркотических передачек.

– Шантажист записной, – нахмурился Олег, нехотя считывая с бумажки и набирая номер. – Такое сулят лишь бандиты на стрелке.

А в трубку мягко сказал:

– Здравствуйте, Лидия Петровна. Предлагаем трёхминутную радиопередачу Олега Чупрова. Специально и только для вас... Что? Хорошо, не смею возражать.

Отодвинул телефон, вновь хмуро посмотрел на Степаныча.

– Чего? – спросил Жихарский и волосы у него на голове сами собой взъерошились. – Даже слушать не стала?

– Лучше, говорит, через час в вашем любимом кафе. И кафе наше с тобой знает... Вот во что меня втягиваешь, – раздумчиво прикидывался Олег, а закончил грозно: – В общем, пойдём туда немедля, за час доведёшь меня до

нулевой отметки, плюс двести плюса. А потом линяй, видеть тебя не хочу, интриган.

Кафе уселось на лучшем месте города и, конечно, имело прозвище Жихарка. Его владелица столь походила на мужика, что обожала хоккей и считала Олега с Андреем актёрами, удалёнными с театральной площадки до конца игры.

Она не давала кафе под властный разор уже двадцать лет, что само по себе было подвигом. Андрей запретил Олегу выдавать, кто они, иначе владелица давно спалила бы их жалостными просьбами да исповедями.

Жихарка вмещала уйму деревянных столов, днём пустующих, похожих на маленькие спящие стадионы. Оттого днём тут было тихо, уютно; и несколько лет сюда входила с улицы серая собачка-бродяжка, становящаяся на задние лапы и передними изображавшая меланхоличное музицирование на пиано.

Андрей с Олегом как по писаному сыграли перед улыбчивой белобрысой буфетчицей Валей три стограммовых прелюдии, добрались до желанного плюса, и Жиха удалился, подняв занавес для основного действа.

Минут через пять из-под этого чуть плывущего занавеса явилась дама, уверенно села рядом с Олегом. Причём, это была не дама, а обычная девчонка; правда, весьма ухоженная. В причёске продуманный беспорядок, прямо Клава Шиффер к уличной прогулке.

– Вы слишком молоды для Пепелова, – как-то даже разочарованно буркнул Чупров на её приветствие.

– Всего лишь на десять лет моложе его, – просто сказала девчонка. – И на те же десять старше вас, Олег Иванович.

– Вы слишком красивы для Пепелова, – уточнил претензию.

Он вредничал, поскольку смущался; смущался, поскольку не ждал такого изящества.

– Считайте это браком по расчёту, – лицо начальнической жены тронула летучая улыбка.

– Будете командовать? – гнул своё Олег. – Или выпьете?

Она без жеманства выпила припасённую ей коньячную стопочку и спросила о деле. Быстро всё поняв, вынула телефон, обыденно сказала в него:

– Надо бы сейчас извиниться перед Андреем Степановичем.

Ещё через стопку Олегу позвонил Жихарский, сказавший, что минуту назад приходил смирный Пепел, с мирным словом.

– Спасибо, – теперь уже по-настоящему уважительно взглянул Олег на девчонку-даму. – Чем вас отблагодарить?

– Расскажите, почему вы всяческие пустяки считаете главными ценностями жизни, – серьёзно произнесла эта Лидия Петровна. – Почему делаете передачи о разных там сдвинутых на природе чудаках, а не о столь любимом всеми воровстве.

– О чинушных ворах рассуждают воры несостоявшиеся, врождённые мелкие завистники.

– Да все рассуждают!

– Вот все и завидуют. Что не довелось им вот так же украсть.

– А вы, значит, не завидуете.

– Завидую моим чудакам. О них и говорю назло пепеловым.

У неё были тёплые глаза, спокойные движения.

– Я не Пепелова. У меня другая фамилия и другой мир.

– Вы настолько другая, что даже хочется вас поцеловать.

Она смотрела так же, никаких конвульсий. Конечно, мужику с этаким хорошим плюсом невинная секундная дерзость простительна.

– Жаль, ваши губы в помаде. Как окрашенная скамейка: смотреть приятно, а использовать по назначению нельзя.

Тут уже натуральное его хамство; однако Лидия взяла салфетку, отёрла губы, прикоснулась ими к нему, пьяному.

– Теперь расскажите, почему не женитесь. Всё о вас знаю.

Он откинулся, отодвинулся от стола, словно теннисист, перешедший на игру с дальней позиции.

– А знаете, что такое звериная любовь? Ну, её ещё называют звериной опекой. Мать любила меня именно звериной любовью. Поэтому я ненавижу любовь в любом её проявлении.

Лидия отложила салфетку, помолчала, глядя всё так же спокойно и прямо в глаза; и это нисколько не напрягало.

– Если тяжело, Олег Иванович, не продолжайте. Но мне кажется, вы светлый человек.

Он допил свою солидно плюсовую водку, попробовал застегнуть пуговку на груди и не смог. Лидия Петровна протянула холёные руки и застегнула ему рубашку.

– Не надо, это интим, – заторможенно воспротивился он.

Лидия расхохоталась. Смех взрывной и странно счастливый. Словно после долгих ласк.

Простились хорошо. Лидия проводила Олега к остановке, приказала ехать домой и нынче о работе не помышлять. Взяла слово иногда гулять с ней по городу.

5.

Леонид Манохин никогда не думал, что станет районным главой. Был простым начальником автоколонны, в мутное время согласился, ничего не знаючи, перебросить не совсем легальный груз, за это был взят под крыло.

В инициаторы не лез, за что повышался. В конце концов, как надёжного служаку, его и поставили на новый городской район, вернее, разросшийся микрорайон. Город большой, но не областной, губернская власть далеко; а тут всё во власти мэра, человека доброго и не корыстного, любящего лишь овации.

Изменилась система, но не люди. Они, люди руководящие, с отменой морального облика коммуниста вздохнули радостно. Никого теперь не гонят с поста за развод с женой.

Общество вновь сделали классовым, в класс эксплуататоров вместо былых помещиков и капиталистов назначили себя, то бишь всё чиновничество. Замелькали магазинные вывести типа «элитная сантехника», поскольку элитой стали себя называть даже районные секретарши, а как же им без элитных нужников... Проснулось дремучее, вековое. Жадность первозданная, возведённая в абсолют, восхваляемая как высшее свойство ума.

Леонид Николаич по-бычьи лобаст и загадочен мозгами. Почти никто не в силах понять его поступков. Но любой чин вам скажет, что понимать поступки начальства и не надо, их надо угадывать.

Мэр Комков был не жадиной, однако знал, что от решётки это не уберегает, скорей наоборот; потому все бумаги с сытненькими предложениями об отчуждениях земель и райских стройках, о валютных купцах и заводах под спис отписывал своим замам. «Товарищу Кастратову. Прошу рассмот-

реть». Рассмотрят-исполнят, поделятся-сядут. Троих мэрских замов прокуроры кастрировали, а Комков есть как есть, потому что решающих подписей на бумагах нет.

Мэр прямо об этом Манохину, конечно, не толковал, просто советовал «присматриваться к старшим», и уже это большое доверие. В разных рабочих поездках к Комкову сквозь кордон свиты пробивались почитатели-просители. Он многим отечески говорил: «Заходи запросто».

И заходили – то есть один из сотни, самый ушлый и наглый, сумевший кроваво продраться через посты, замов, секретарш; или просто вновь стоически подстеречь мэра возле красного крыльца и выметнуться под ноги прямо из парадных акаций.

Каждый такой герой имел право рассчитывать на успех, на добрую разрешающую подпись в углу своего потного прошения.

У дам процент удач удваивался. Из радио к нему сумела пробиться волосатая Марина Анисимовна, которую радисты звали Мандариной Апельсиновной и еле терпели за громогласность. После посещения мэра Апельсиновна вдруг стала у Пепелова замом, навела порядки, даже приватизировала православие, никому не позволяя без её разрешения делать эфир на столь святую тему.

Манохина всё это мало волнует. Его жена живёт под Москвой в частной психиатрической клинике. Тут, без преувеличения, трагедия. Жена свихнулась на чистоте. Придя с мужем на выборный участок, она под фотообъективами вынула носовой платок и принялась тщательно вытирать им безупречно чистую урну для голосования. Конечно, в газеты не попало, мало кто вообще об этом узнал. А уж тем более о том, что здесь была веха: несчастная жена сдалась.

Двадцать лет, с того мига, как их дочь, наевшись таблеток, полезла в петлю, жена твердила о вине мужа, о его преступной психологической неустойчивости. Сама дочь председателя колхоза, она снисходительно презирала шофёра Лёню, угодившего ей в мужья. С годами презрение превратилось в ненависть, поскольку стало ясно, что не Лёня, а наоборот она Лёниного ногтя не стоит.

После гибели дочки жена обрела смысл своего нелепого существования: доказать, что девочку сгубило отклонение по отцовской линии. До того Леониду некогда было разводиться, а после смерти дочки стало жаль жену; в результате она его сожрала.

Уродясь рохлей, жена нашла себя в тряпке. Она истово тёрла пол и посуду, причём любую тарель елозила никак не полминуты, а все пять. Прислугу истребила, поскольку понимала, что рядом с любой посудомойкой выглядит безрукой. В общем, тут не могло не кончиться публичной оттиркой блескучей избирательной урны.

Теперь жена жила в частном заведении, а Леонид чувствовал полное бессилие перед судьбой. Вот он глава, может миловать или снимать головы – но не способен сменить, обновить прохудившуюся головку собственной жены. Ни за какие денежные баснословья не может Манохин купить иной расклад, вычеркнуть злую спятившую жену из своей жизни, ведь это больное уже давно родное.

Нет, не сложно убрать постылую с глаз долой, вовсе не сложно; тут другое, тут совесть. Чёрт возьми, пожалуй, только в России ещё есть это неуклюжее слово; и не обозначает оно ничего, что можно бы увидеть или пощупать – а враз прихватывает оно сердце и перехватывает горло.

И ведь как взывают к совести всякие бессовестные, как извращают и оборачивают её в товар; и всё потому, что народ веками верил одной-единственной конституции, состоящей из одной-единственной фразы: «Жить по совести».

Отчего до сих пор люди верят в эту небывалую истину? Какая-такая совесть? Ведь даже быть в городской администрации уборщицей девки считают за счастье.

Старый партиец рассказывал молодому Манохину:

– Ты думай, откуда наш закал! После городского актива на общем ужине нальют всем полные маленковские стаканяры: «За Родину!». Попробуй не выпей до дна. Тут же ещё по полному, до краёв: «За Сталина!». Попробуй опять не допей. Потом, конечно, все директорки и секретарки падают под стол в бесчувствиях. За ноги тащи куда хошь... А ты говоришь сейчас. Сейчас – это тьфу.

Дед был из тех тёртых бодрячков, какие сурово и в такт сдвигали брови при словах «международный империализм», а потом наперегонки хлопали при криках «да здравствует». С таким же азартом при другом раскладе изображали бы восторг от криков «за веру и царя» или даже «хайль», поскольку они люди стаи и отлично знают законы стаи, только и всего.

У этого убеждённого партийца сыновья и внуки имели полутеневой бизнес и солнечно-демократические посты; сие не мешало им братски сходиться за обильным родительским столом и любовно слушать добрые отчие укоризны о продаже родины. Они, сыновья да внуки, тоже знали стайные и родоплеменные законы; незыблемые, отточенные мохнатыми тысячелетиями. Природные.

Сам Леонид после гибели дочки ясно понял, что в жизни главное. Для него, только для него. Этого главного уже не будет никогда. Не будет доверчивого дочкиного взгляда и её русой головки.

От этой потери он не изменился внешне, но сжёг себя изнутри. Перестал бороться, утверждаться, интриговать. Манохин смотрел на отстранённые лица городских заседателей, иногда – когда надо – окрашивающиеся живейшим, но опять же фальшивым интересом к теме обсуждения, и думал:

«Они же все прекрасные люди. Их же поставили не за глупость или злобу, а за здравые слова и действия. Что такое хорошо и что такое плохо, они весьма понимают; до того, что на уровне инстинкта могут подменить одно другим; они эти правила подмены постигают в самом начале карьеры... да нет, в самом начале жизни; и теперь вот тот благолепный ректор устроил в институте чудесный денежный общак. Получше, чем в иной тюряге. А этот директор мечтает обанкротить свой заводик, чтоб продать за копейки и мзду; и обанкротит, хоть режь».

Лица собравшихся совещателей всегда были умны, внимательны, взгляды исполнены достоинства – о, как ретиво эти ребята защищают в судах свою честь и достоинство! Как знают вековые ритуалы и обряды сановного общежития.

«Это в науке и технике произошёл гигантский взрыв-скачок, а в психологии всё так же... И вокруг всё те же сплошь гоголевские типы. И я один из них».

Он научился благородно орать на подчинённых; без того они считают своё начальство никчёмным. Научился спокойно, словно комариный писк, сносить оры начальства своего; но если они общие. Если же на тебя лично – демонстрируй послушанье мгновенно.

Позвонил мэр:

– У тебя что, с Пепеловым нелады? Утром его радио на тебя наехало. По поводу левых пунктов приёма лома. Ты там разберись с этими пунктами. Да палку не перегни, Пепелов врать горазд.

В чистопородном своём гневе Комков вместо «п» выдавал «пф» – и получилось губошлёпное «пфепфелов».

Принесли интернетскую распечатку утреннего радио. Передача вычурно называлась «Цветоломобзик» и была напичкана такими же словесами. Радист рассказывал, как в приписанном к микрорайону селе, где только что срезали провода, его помяла бешеная толпа.

«Они шли на меня, будто это я, а не богатый губернский родич, перепродаю лом в бернскую заграницу. Будто я, а не циничные приёмщики, открыто принимаю высоковольтный электропровод и бронзовое надгробье с именем героя соцтруда. Будто я, а не приёмные отцы города, закрываю медные свои глаза на эти их алюминиевые пункты приёма».

Приёмные отцы, конечно, здорово, подколка неплохая, но вот губернский родич – тут главное и настоящее свинство.

– Что ты своим позволяешь, Михаил? – сказал в телефон. – Это же слышится как губернаторский.

– Клянётся, что нет, – чуть не плакал Пепелов. – Говорит, что сзади специально созвучное слово «бернский» поставил, чтоб поиграть; это, мол, была просто фигура речи; мол, не совсем удачная, но лишь фигура.

– Смотри, сделает мэр из тебя фигуру, из меня уже сделал, – буркнул Леонид. – Давай совместный рейд по этим пунктам проведём, что ли. Дашь репортаж, пожури, если за дело, но в общем поддержи, пусть дед утихнет.

– Да, да! – ухватился Пепел. – И работника другого пошлю, а этого... этого! В шею! Так и передайте, достал меня своими...

Районный глава снова пододвинул распечатку.

«Когда успокоились, одна старуха сказала мне, что год назад её сын сгорел на проводах соседнего хутора, а вот теперь и хуторские обнищали, за её проводом в ответ пришли. Говорила о сыне-преступнике, как о герое-кормильце... Эти несчастные люди наивны, словно чеховский злоумышленник. Если бы их жилы были из дорогой меди, они бы не задумываясь тянули их из себя по капиллярчику и меняли на хлеб... Куда той вольтеровской Кунигунде, отрезавшей в голодуху собственную ягодицу».

«Впрямь фигурист, – плюнул Манохин. – Либо дурак, либо нас за дураков держит. Как его, Чупров? Недавно от своих слышал: напьёмся, как Чупров. То есть демонстративно, не прячась. Ишь, вольтерьянец ягодичный. Отыщет же такое».

6.

Олег сменил работу просто и естественно, словно вчерашнюю рубаху. Увидел на воротничке будней тухлую прозелень пепельского взгляда. Михайло подписал заявление с шумным вдохом ныряльщика, наконец-то выкинувшегося из глубины. И уже назавтра Олег был на частном радио у Славки Крыжовича, давно звавшего.

Всю свою жизнь этот Крыж просыпался с одной и той же мыслью: «С кем бы мне сегодня повоевать?». В детстве воевал с зажиточным сельским сторожем, в молодости с хапугами-перестройщиками, сейчас с депутатами всех мастей. Дрался успешно, ещё успешней продавался – гордо, не теряя принципов.

Он вёл радио-филиал московского олигарха, через день на полчаса выхо-

дил в эфир, чмокал, экал, сглатывал, звучно отклеивал язык от нёба. И плёл такую кособокую дрянь, что народ терял вечерний аппетит, однако слушал, поскольку дерьмоедство людям так же свойственно, как томящейся похоти – прыщи-жировики.

Олега Крыж уважал давно и по случаю. Как-то в газетной молодости сцепился с директором шахматного клуба, большим сутягой да пройдохой. Свежих зацепок против него не было, а пинка дать хотелось, поскольку говорил директор с Крыжом без почтения.

– Так и напиши: «Во время беседы у него был вид проходной пешки», – сказал Олег, мельком выслушав попавшегося на улице Крыжовича. – И зацепок никаких не надо. Без них взовьётся, но поделать ничего не сможет.

Крыж написал, и директор действительно взвился. Привычно подал в суд за оскорбление чести и достоинства. Но его приятелю судье подсказали, что проходная пешка вовсе не то, что пешка простая, что она штука почти героическая, поскольку вот-вот станет ферзём, поэтому оскорбления ни в коем случае быть не может.

Так и прокликали шахматного директора пешкой-проходимцем, а Крыж с восторгом рассказывал всем про подсказку Чупрова.

С Крыжа Олег сейчас взял слово, что в откровенно вонючие темы тот Чупрова влезать не заставит. Остальное его не волновало, поскольку в те дни Чупров бросил пить.

Дело вышло дивно лёгкое, видать, подготовленное всей жизнью. В третью встречу Лида попросила выпившим больше не приходить – и Олег без раздумий пообещал. И исполнил. Жихарский жестоко обиделся. Но и это не смутило Олега. Что Жихарский, когда вся Земля вдруг обернулась Марсом.

Вдруг увиделось, что мир переполнен нежилым и гиблым. Как красные марсовы каналы, всё оплетали траншеи, кладки, трубы, столбы. Требовалось уворачиваться, нагибаться, отклоняться, как от бритвенных лезвий или кислотных жал, а всё это было везде, вверху, внизу, лавой, паутиной.

Странным и злым казалось клоповье скопище машин. Они давно вылезли за каменные пороги дорог. Ежесекундно выползали из дворов, подворотен; казалось, падали с каждого куста прямо на голову, словно колорадские жуки-мутанты.

– Как себя чувствуешь? – спрашивала Лида.

Олег честно отвечал:

– Выхожу и всего боюсь. Выглядываю из-за угла одним глазом. Это что, белка?

– А она у тебя раньше бывала?

– У Жихи была. К нему в квартиру полуметровые черти строем заходили; во главе с их чёртовым майором. Маршировали на балкон, прыгали вниз и снова сквозь дверь входили. Даже Аллы не боялись, она их не видела. Вот такие у Степаныча были глюки.

– Это не глюки. Это настоящие черти, реальные, – неулыбчиво ответила Лида. – Они существуют, но видят их только алкаши и святые. Перед первыми бес может не таиться, а перед вторыми таиться не может.

– Прямо афоризм, даже запомнить хочется. Откуда столь красивая мистика?

– Вовсе не мистика, это из наших книг православных.

– Ты ярая богомолка? Как Мандарина? Упаси господь...

– Нет, не бойся. Но насчёт беса не смейся, он сильнее любого человека без креста.

– Значит, моё дело худо. На меня дворовые машины с кустов падают, как Жихины военные черти с балкона.

Она взяла его за руку:

– Просто тебе вдруг открылось, что город есть раковая опухоль всего сущего.

Олег глянул чуть оторопело:

– Жёсткий диагноз... Я об этом часто думаю, но не вслух. Потому что вслух получается забубённая пошлятина: ах-ах, на дальней станции сойду, ах, трава по пояс. Нет, песенка весьма приятная, так ведь только это и нужно. Поругать родные асфальты, повздыхать о травке. А на дальней станции хрен кто остаётся. Быстрей назад, к обруганной суете.

– Человек существо стадное.

– Угу, со всеми законами стада: иерархией, соперничеством. Причём, самым бесчестным. Честных человечье стадо затаптывает с особой охотой.

– Мне кажется, тебя оно никогда не затопчет. Если б захотел, то стал бы отличным пастухом любого стада и надёжным вожаком любой стаи.

– Стадо, называющее себя обществом, выворачивает наизнанку саму суть правды. Каждый старается быть как все – и каждый лезет выделиться. И товарищество легко превращают в толпу, и братство делают быдлом...

– Знаешь, а жаль, что мне нельзя в тебя влюбиться, – сказала вдруг Лидия, положила тёплые пальцы Олегу на холку, вглядываясь серьёзно, даже строго.

Они встречались уже второй месяц, с каждым разом их разговоры были жарче. Повод встречам важнецкий: Лидия сказала, что пишет монографию о влиянии личности автора на его творения, потому и выбрала Олега, потому и просит разрешенья покопаться в его потрохах. Пепелов обо всём знает; впрочем, теперь он Олегу не указ, а Лидии так вообще никогда указом не был.

– Я вправду расчётливая. Он когда-то потянулся ко мне, и я не стала играть, ломаться. Мы быстро заключили устный брачный договор: я скрашиваю его скудный внутренний мир, а он избавляет меня от внешних мерзостей жизни. Например, от необходимости заискивать перед всяческими мелкопоместными управителями.

Лидия была институтским доцентом и ещё консультантом-лингвистом в городской администрации.

– Вычёркиваю в грозных постановлениях школьные ляпы вроде «более совершеннейший подход» или «наиболее производительнейший метод».

– Да, ты в стойбище самых умных лошадей.

– Поверь, по отдельности каждый из них весьма приятственный человечек. Даже на корпоративе пробуют изящно пошутить, все благообразны. Но это маска, необходимое умение.

– Как на свиноферме умение нажимать пятачком рычаг автопоилки, – засмеялся Олег. – Слушай, Лид, ну тебе нельзя влюбляться, но я ведь в тебя могу?

– Зачем лишняя боль? Сказала: не тебя люблю, а твои тексты.

– Сие идёт вразрез с монографией. Автор и его творения нераздельны – ведь это хочешь доказать?

Они втыкались в какой-нибудь городской угол и вновь удивлялись, что сделали гигантский круг и опять за разговором ничего вокруг не заметили, не разглядели осени и её жухлых кружев; и что говорить хотелось всё больше.

Их история нравилась обоим с самого начала. Он держался слегка дурашливо, она весело-назидательно. Его забавляла смесь её покровительственности с наивностью. Ещё летом, сразу после знакомства, он принёс ей букет поздних незабудок, однако перепутал место свидания, не дождался и отдал

букет встречной знакомице, а Лидии по телефону сказал, что съел цветы. Затем заснул прямо на служебном диване и через полчаса вдруг проснулся, и увидел сидящую у себя под боком улыбающуюся Лидию. Вся в лёгком белом, чуть проминала диван и приминала обмякшее бедро Олега.

– Вы вправду съели мои незабудки? – спросила растроганно.

Андрей предусмотрительно отсутствовал, дверь была прикрыта, однако весь коридор знал, конечно, что привольная жена редактора сидит у этого изгоя Чупрова чуть не на коленях; и то был уже истинный интим.

Но Олега подивило совсем другое, а именно вопрос про изглоданные цветочки. Он кивнул, пробуя привстать. И Лидия всё так же ласково добавила:

– Ну ничего, они не ядовитые, пусть считаются салатом.

Доверчивость была столь бездонна, а резюме столь доверительно, что Олег с минуту взлохмаченно молчал, таращась на такой детски чистый наив, и не стал признаваться в шутке.

В другой раз она показала ему свою учёную статью о святочных катаниях на санках; конечно, с участием Пушкина.

– Здорово, – сказал, почитавши на ходу, Олег. – Только в строке «Пушкин с размаху чмокнул подругу» я бы вместо «с размаху» написал «с разбегу».

Она мгновенно поняла, залилась клюквенной краской. Крупные слёзы губительно потекли из её изощрённо подведённых глаз.

– Ты меня раздавил, как мошку, – то было их первое «ты». – Десятки учёных дам читали, хвалили и ни слова про эту чушь не подсказали. А за спиной, небось, вдоволь насмеялись.

– Да никто и не заметил, милый мой доцент, – Олег испугался столь открытых слёз. – Да ничего тут плохого и нет, ну чуть-чуть безвкусно. Главное, не промахнулся, с размаху-то.

Получилась ещё большая подначка, Лидия отчаянно застучала кулачками по его груди, а Олег, успокаивая, обнял, прижал, она подалась – и её лифчик расстегнулся на спине.

– У этой дамочки полна пазуха грудей, – сказал недавно Степаныч, и видя, что Олег нисколько не улыбнулся, поспешил добавить: – Но она умеет это не выпячивать.

Лидия действительно носила просторные блузки и всякие жабо, скрывающие бюст, слишком выдающийся для её сухой изящной фигурки.

На ней было тигровое платье с вырезом, и освободившаяся грудь Лидии прильнула к Олегу, и он ощутил её тугой жар. Через секунду Лида отстранилась, спокойно завернула руки назад, застегнула под платьем крючок.

– Вакханка, – сказал Олег, пытаясь вновь привлечь её к себе, однако Лидия отстранилась окончательно, глаза смотрели просто, словно жгучей секунды не было вообще.

Олег мягко улыбнулся, протестуя:

– И что мне теперь делать после такого волшебства?

– Не буду надевать это платье. Чтобы на меня не охотился.

– Но я теперь буду помнить это косновенье, ты ведь Барби.

– Не называй меня так, уже говорил это, и очень иронично.

– Говорил? Когда?

– Года три назад, в своём репортаже об одном вульгарном конкурсе. Кажется, «мисс спецавтобаза».

Олег не вспомнил, засмеялся, потом залюбовался. Она вытирала уголок глаза кончиком мизинца, отводя локоть; это было слегка рисованно, но по-домашнему мило.

Он путался в её переменах. Её открытость часто сменялась отчуждением.

– Я весь вечер думала о тебе, – говорила она и тут же добавляла ключевое: – Но я не тебя люблю, а твои эфирные фразы.

На прогулках брала его под руку, он второй своей рукой тихо гладил её запястье. Ей нравилось и она сама просила погладить. Но однажды она увидела его ученические фото, принесённые по её желанью. На блёклой карточке Олег точно так же держал ладонь у запястья какой-то своей, уже полузабытой, одноклассницы. И враз в глазах Лидии заплескалось знакомое отчаяние:

– Ведь это нечестно... Я думала, ты это только со мной. Вспоминала, мечтала, как назавтра вновь почувствую твои пальцы. А ты со всеми...

Олег по-настоящему изумился:

– Послушай, Лида, ты сама повторяешь, что мы только друзья; ведь только друзья, да?

– Да! – заученно-решительно подтвердила она.

– Так в чём же дело? Она тоже была лишь подругой. В чём дело, милая?

– Не знаю...– обиженный тон сменился плачущим; было видно, что Лида вправду растерялась от его простого вопроса. – Но ты виноват. Это, наверное, и есть проклятая женская логика.

Он обнял её и поцеловал. Она не противилась, губы были мягки, теплы и покорны.

– Люблю тебя, – сказал Олег.

– Да что ты говоришь... – уронила она ту особо пошлую своей расхожестью фразу недоверия, которой бросаются даже на рынке.

– Тьфу... – яростно выдохнул Олег. – Что за жеманство такое дешёвое!

– Ты не можешь меня любить, – мирно, поправляя ошибку, ответила Лида. – Я для тебя старушонка.

– Я тоже расчётливый, – буркнул он, силой успокаиваясь. – Ты выгодная учёная партия.

На этой полушутке встреча закончилась, оставив у обоих тягучее чувство досады. Наутро Лидия позвонила, отрывистым отчуждённым голосом спросила:

– Ты ко мне сейчас приедешь?

Он понял, что нельзя переспрашивать и медлить, что даже секундная пауза убьёт всё.

– Да, – ответил он и лишь потом уточнил адрес.

Обстановки в квартире он не заметил. С первой секунды были объятия.

– Вот же твоя кукла, вот, – шептала Лидия, распахнув ажуры, за которыми открылись матовые груди, ещё более чудесные в своей открытости. – Скажи мне что-нибудь, скажи, дружок. Можно даже скоромное.

– В тебе все кладези мира, – пробормотал он рвущимся голосом, поскольку оба уже задыхались.

Потом, когда по ней пошли волны сладких судорог, всё более нарастающих и шумно рушащихся на самом гребне, он остановился, любуясь.

Глаза её были широко открыты, но ничего не видели, полные первозданности. Жаркое взрывное дыхание успокоилось лишь через пару минут, после чего она тихо смеялась, глядя мимо.

Он понял, что это смех счастья, и вновь прильнул, и вновь всё повторилось, и волны, и дыхание, и смех. И ещё, и ещё.

Его собственная разрядка бросила Лидию в такой восторг и столь жаркое безумие, что где-то наверху у соседей недовольно громыхнуло.

– Ты всю сладость из меня достал, с самого донца. Тебе трудно быть таким чародеем?

– Да нет...

– И никогда не было трудно?

– Почему же... было. В глупой молодости. А с тобой у нас явное родство тел.

– Знаешь, что родство тел намного сильнее даже родства душ?

– Да, знаю. Хотя об этом не принято петь в романтических руладах.

– Об этом вообще нельзя петь. Потому что заниматься любовью естественно, а прилюдно смаковать эти занятия – противоестественно. У нынешнего же гомо сапиенса эти смаки дошли до отвращения.

Они расстались усилием воли, ведь оба были временными беглецами с работы. В конце Лидия мельком сказала, что у Пепелова длятся сложности с мэром. Как зажглось тогда из-за ломобзика, так и тлеет.

7.

«Дворник Вадимыч разматывал катушку колючей проволоки и хмуро огораживал ею вверенный ему двор.

Из-за угла дома осторожно высунулась личность в галстуке, спряталась обратно. Вадимыч крепче сжал рукавицей катушку.

Личность высунулась опять, понюхала воздух, подошла и вежливо сказала дворнику:

– Скажи-ка, дядя, ведь недаром разишь сегодня перегаром?

– Недаром! – огрызнулся Вадимыч. – Чего надо?

Личность оглянулась по сторонам и тихо шепнула:

– Мне надо... надо в избирательный округ номер двадцать два...

– Ага! – заорал вдруг дворник, замахиваясь тяжким колючим мотком. – Так это ты вчера соседний дом листовками умусорил!

– Не я, не я... – отпрянул пришелец, давясь галстуком. – Что такое, какие листовки?

И с этими словами протянул дворнику торопливо вынутую из кармана чекушечку.

Вадимыч принял её в руки и сразу принял внутрь. Через минуту подобрел. Отодвинул сапогом катушку с устрашающей колючкой, сел у подъезда на лавочку, пригласил и гостя.

– Понимаешь, господин хороший, гон у депутатов начался; ну, как у зверья перед весной. А у них перед выборами. Понимаешь?

– Да, да... – поспешно закивал гость, по-прежнему чуть озираясь.

Вадимыча уже вело.

– В народ они пошли. И до вешних только дней поддержи нас, дуралей.

Дворник тоже умел сказать красно.

– Вы про листовки что-то...

– Про них и толкую. Вон, смотри.

Вадимыч кивнул в сторону мусорного бака. Тот доверху был набит бумагами.

– Целое утро по двору собирал. Вечером жильцы эти бумаги в своих почтовых ящиках увидели, вынимали, читали и сразу себе под ноги кидали.

Дворник встал, взял из бака листок, пропечатанный с обеих сторон.

– Отчёт, вишь ты! О выполнении наших наказов депутатом Соснегиным!

– Интересно, интересно... – сказал гость, уныло косясь на мятую бумагу.

– Куда как интересно! Наказы когда делались? Пять лет назад, сразу, как дали ему счастливый депутатский срок. А теперь слушай: «В работе нахо-

дятся наказы по ремонту тротуаров»... «В работе находятся наказы по ремонту дороги»... «В работе установка колонки».

Вадимыч ожидающе посмотрел на слушателя. Тот с готовностью вынул ещё чекушку, ласково говоря:

– Но ведь и сделал, небось, немало.

– Ох, немало! – озирая ёмкость перед приёмом, согласился дворник. – Глянуть бы на него, спасибо сказать... Но жаль, он ни разу в эти годы к нам не зашёл. Зато смотри: «Удалось провести канализацию по улице»...

– Вот видите – удалось.

– Удалось! «Совместно с общественностью, депутатами горсовета, администрацией города». Со всеми удалось! Может, даже с Брак-Абамом удалось.

В подъезды заходили люди, жизнь продолжалась, а дворник читал, всё больше восторгаясь:

– И асфальт положить «удалось»! Раз, два... по десяти улицам удалось! И подсыпка щебнем удалась – аж по шести «и многим другим»! Понял? И многим другим! Как будто сам так удачно подсыпал и подкладывал. А ведь можно было и неудачно, ручками-то белыми.

– Вы уж больно строго судите...

– Я? Сужу? Я его расцелую, как увижу! Глянь: «Поддерживал выделение средств на ремонт роддома». Выделили или нет, не знаю – но поддерживал! Смотри, смотри – всё поддерживал! Даже «поддерживал линию на сдерживание роста тарифов на ЖКУ».

Гость как-то съёжился и чуть отодвинулся, словно готовясь бежать. Дворник этого не заметил, продлевая речь:

– Я перед женою и сам поддерживаю линию на сдерживание! Так она, змея, всё равно полполучки на платья тратит!

Кто-то вышел из дальних дверей и махнул пришельцу рукой. Тот облегчённо вскочил.

– Стой! – спохватился Вадимыч, настойчиво ища глазами собеседника. – Документы! Ты кто?

– Помощник депутата Соснегина! – радостно прокричала издали галстучная личность. – Не стоит орать, вам и завтра весь двор убирать!

И исчезла вместе с подельниками.

Поняв, что его бдительность была ловко усыплена, Вадимыч нетвёрдо прошел по подъездам. Изо всех почтовых ящиков торчала всё та же отчётная бумага. Сквозь щели косо проглядывали обрывочные строки: «Участвовал в поздравлении ветеранов ВОВ...», «активно содействовал...», «на контроле вопросы...», «содействовал реализации...».

Наивная колючая проволока не спасла, депутатский гон брал разгон, все готовились переизбираться».

8.

Жихарского отослали на городской актив. Пепел трижды сказал ему, что текст передачи почти весь должен состоять из выступления мэра.

Ожидая начала, Жиха уныло сидел во втором ряду. Зал постепенно густел голосами, сидения, как осиные соты, ловко запечатывались крепкими чиновными задниками.

Андрею давно уже неинтересны все эти выставки ужимок. Весь спектр выражений лиц укладывается в короткой скучной шкале: от угодничества, называемого уважением, до спеси, называемой достоинством.

Этот спектр, как штрих-код, лежит на каждой физии, меняя окраску в зависимости от того, какой чин проходит мимо. Кто-то уверенно ждёт приветствий, кто-то поспешно их раздаёт.

Пепелов с приклеенной улыбкой стоял в фойе и вместе с другими самыми уважительными ждал приезда мэра. Тот вошёл как всегда угрюмый – высшая степень достоинства, – уткнулся взглядом в Пепелова и вместо вельможного допуска к ручке резко его обматерил на ходу.

Свита обтекла Пепела с двух сторон по большому радиусу, словно он был пеплом радиоактивным, уже отработанным. Никто, конечно, не подал ему даже завалящей ладони.

Зато в зале, идя по проходу к золотой трибунной головке, Комков высмотрел сгорбленную спину Жихарского, сказал «Здравствуй, Андрюха» и расцеловал его, неуклюже вскочившего.

– Ты подойди ко мне после, – добавил мэр, поднимаясь в президиум, а вся свита задержалась, старательно, в очередь, пожимая Жихе руку.

– Спасибо вам, Григорий Петрович, за то, что помогли советом и вниманием, – декламировал с трибуны очередной докладчик, местный шойгувец и депутат Снегин. – В наше неспокойное время мудрая помощь самоотверженным подразделениям гражданской обороны особенно мудра...

Этой мудрой дури похлопали так же счастливо.

После последней овации мэр высмотрел и поманил Жиху пальцем, взял за локоть и сказал самым что ни есть доверительным тоном:

– Эй, Андрюха, ты долго собираешься в рядовых обретаться?

– Да я не жалуюсь, – смутился Жихарский. – У меня есть свой слушатель...

– Знамо дело. Мастерство твоё известное. Да разве эти мои кастратовы что-то уловляют в твоих аллитерациях и образах? Они, дружок, уловляют только должность, ты знаешь. Становись-ка на место кроссвордиста.

Знак Снегину, тут же оплывшему свиту, как ловкий катерок, белолобый и свежевыкрашенный. Глаза Снегина преданно сияли чистой синевой.

– А пока защити, Андрюха, вот этого человека, – кивнул на него мэр. – Ни за что дураком выставили на олигарховом радио. Нашлись акулы эфира, бред настоящий дают, дворник какой-то, при чём хоть он?

– Мой помощник в суд подать хочет, – обиженно-осторожно сказал Снегин. – Уверяю, он добьётся опровержения.

– Но в опровержении и его, и вашу фамилии озвучат, – сказал Жихарский. – Ещё более неловко выйдет.

– Вот потому и прошу именно тебя: ударь по этим акулятам, – сказал мэр, отпуская локоть Андрея и давая понять, что душевный разговор окончен. – И бей без всяких их иносказаний. Депутатов в обиду не дадим. Считай, что даже не его, а меня защищаешь. А потом заходи, заходи.

И оставил Жихарского наедине с завистливыми взглядами и показательно-восторженными рукопожимателями.

Конечно, Андрей не верил в такую смену Пепелова. Он, Жиха, на посту редактора столь же смешон и неуместен.

«Но мэр слов на ветер не бросает, даже походя, – поправлял себя Андрей по пути к Жихарке. – Это награда за мою многолетнюю непродажность. Есть на свете справедливость, и не всё глупцам быть в начальстве».

Он вспомнил о свите, она показалась не столь уж отвратной. Все кастратовы пожимали руку крепко, прочувствованно. Снегин вообще герой, у него служба такая. Нет, Олежка заслужил оплеухи, заслужил.

Андрей впервые вплотную подумал о Чупрове. До этого гнал от себя его имя, чуя тут главную препону.

Но в чём препона-то? Чупров, по сути, его предал. Предал дружбу. И делает вид, что взятки гладки.

Да знаем твой секрет, всё из-за той пепельской. Из-за бабы оставил друга одного. Даже перед этой буфетной Валей неуютно.

– Где ж ваш друг-то закадыка подевался? – спросила она под руку, под мысль.

– В Голливуде на съёмках.

– А вы что ж?

– Я пробы не прошёл, плешивый оказался для ихней Дженифер Жопес.

– А это я не ваш голос давеча по радио слышала?

– Ага, это мы спектакль ставили про ударную вывозку навоза на поля.

– Про чего?

– Про навоз. Про что ещё можно на нашем радио спектакли играть...

Буфетчица была приставучая и простая. Но одному разыгрывать её скучно. То ли дело раньше, на пару с Олегом. А теперь хоть самому завязывай с питьём. Вот народ бы посмеялся.

Андрей выпил несколько рюмок и окончательно обозлился на бывшего друга.

Возвращаясь потом в контору, он заметил, что улицы города сделались вроде бы поменьше. Дома показались игрушечными, пряничными. Угол родной радиоредакции хотелось откусить и почуять на языке сладкий привкус. Облупленный кирпич над фундаментом, бывшей жандармерией, потерял углы, выветрился, его давно хотели прикрыть серым мрамором.

Но, как всегда, нашлись визгуны, вскричавшие про исторический облик города. Сохранять у себя в домах исторические выгребные ямы эти визгуны нипочём бы не согласились, а тут звали к возмездию, к красным стендам о жертвах двадцатого века, желали установки пыточных экспонатов в подвале и гневных уличных табличек на гнилом кирпиче.

«Сделаю там редакционный спортзал», – подумал о подвале Жихарский, вдруг понимая, почему всё кажется игрушечным и доступным.

К нему пришло то, о чём не помышлял, о чём думал с презрением; к нему пришла власть.

«Своё взяху, а чужого не восхотяху», – иронически отвечал он словами Ивана Васильевича всем этим мелкотравчатым Курбским.

Он отлично понял слова мэра об уважении к должности и принял их всей душой, и восхитился сегодняшним простым и справедливым поворотом своей судьбы.

Признание его таланта приходилось у каждого из приятелей вынимать силой, отнимать словно последний двугривенный. Всякая его передача была словно бы кражей сахарной косточки, которую каждый считал своей.

Теперь становилось намного проще. Всеобщая зависть должна не раздражать, а радовать, ведь она непременное приложение к власти.

Впрочем, глупо это – радовать. Зависть просто перестаёт замечаться. Иные отсчёты, иное видение.

Когда-то малышом он заплутал в лопухах, потом нащупал шаткий камешек, привстал на него – открылось поле репейное, большое, и тропка в нём. Вот что такое иное видение.

«Да, камень власти шаткий. Но умей стоять... В Жихарку теперь ходить нельзя... И Алуся заставит купить новый костюм, может, даже тройку, гнусную, картонную, но необходимую».

Андрей уже сидел за клавиатурой в ожидании первой фразы, а мысли гуляли всё там же, по открывшемуся репейнику.

Начнут смехотворно шептаться: «К нему теперь на козе не подъедешь, он же вон кто такой!». А ведь всегда было почти то же: «К нему на козе не подъедешь, а кто он такой?».

До тошноты знакомое взаимоисключение: «Зазнаётся, а с чего?»; «зазнаётся, есть с чего!». И там, и там равноценное осуждение. Обывательщина, злость, ревность. Повально, неистребимо.

А Олежка заслужил, заслужил!

И вместо отчёта об активе Андрей вдруг застучал на клавишах текст об Олежке.

«Покайся, на кого руку поднял... Как другу тебе говорю».

Да, надо сделать текст в форме строгого дружеского обращения. Это честно, открыто. Укор, полемика. Действительно, его передачи очень выпендрёжны, рассчитаны на внешний эффект. Вся эта игра слов есть полная дешёвка, эфемерность.

А ведь речь о конкретных судьбах, о деле важном, геройском, мэр прав.

«Покайся, на кого руку поднял! Сам глава города под твоим шаловливым прицелом, ты же мой друг, зачем же подрывать устои, вредить делу общему, делу достойному. Мы с тобой люди государевы, должны отвечать за свои слова. Покайся!».

Третий раз «покайся», это уже заклинание, уберём...

Наутро он не перечитывая надиктовал на плёнку оба текста, сначала об активе, потом об Олеге. Первый дался обычным автоматом. Второй тоже пошёл с нужным пафосом и интонационными паузами в ударных местах.

Обе записи дали во всех трёх эфирных включениях; про Олега ещё и назавтра трижды повторили.

Алла была в шоке, в десятидневном оцепенении. Ни о чём не спрашивала, только мямлила, что первые и сразу жуткие морозы останавливают ей дыхание.

9.

«Сонные ангелы забыли закрыть ледяную форточку где-то у Архангельска – и в одну ночь вся срединная Россия безнадёжно выстудилась.

Арктика вошла к нам вся, разве что без белых медведей. Тысячи родных тёплых километров обернулись бездонным морозильником.

Машины мчат сквозь крепкий хлад – с дымными хвостами, как подбитые «мессеры». У пешехода слеза каменеет прямо на реснице, обращаясь в досаждающий бриллиант.

Породистые галки исчезли с веток, безродные дворняги умолкли. Все по домам – в дымоходах и вентиляциях.

Почему-то вспомнились Карл, Бонапарт и Адольф. Жаль, что ооновские миротворцы не стали нас оккупировать именно в эту зиму: голубые каски тотчас примёрзли бы к их демократическим черепам.

Пока мороз не грянет, Европа не перекрестится. Сибирь сочувственно глядит по-над Уралом: из-за парникового таяния ледников Гольфстрим тихо умирает – и мягкий, как перина вдовы, европейский климат становится резко континентальным, а значит сибирским.

Нам легче, особенно русскому старичью. Оно ещё помнит такие морозы за тридцать, ему не привыкать. Где мой треух и валенки, где растопка и огниво?

Вот только бы не разорить добрый наш «Газпром» своими газовыми печурками.

Как ловко написал Булгаков: тётя Маня уронила тряпку на пол и поднять не смогла – тряпица примёрзла, поскольку над столом было семь градусов, а под ним градусов вообще не было, даже одного не хватало...

Соседка прибежала в восторге:

– Глянь, у воробья изо рта парок!

Уличный пуховичок удобно сидел в балконной кормушке, требушил тёмную семечку, а из раскрытого клюва слабенько вырывалась прозрачная струйка.

– Такая кроха, а тоже дышит...

Доживи до весны, дружок. Солнце далеко не на лето, но дневное небо в ослепительно-синей подсветке.

А холод лёг на город перистым пластом, йодисто-жгучим и сахарно-сладким. Как хорошо без слякоти, как знобко и легко – в лёгких пьянящий эфирный наркоз.

На целый месяц раньше пришло крещение морозом. Проруби, далеко ещё не иордани, натягивают на себя узорную ледяную корку, словно разбуженный в детсад утренний неслух – одеяльце.

Господи Иисусе, ведь твоё купание было не во льдах! А тут – во имя твоё – хоть сейчас занырнут, как в спиртовый настой...

Деревья вмёрзли кронами в небосвод, ветра нет: он своё сделал, принёс этакую глыбу хрустальной стужи – на весь мир.

Неделя вышла звонкой, будто белая глиняная поделка после обжига. Лопались трубы и планы, заиндевелые усы делали мужиков похожими на трудолюбивых коняшек.

Горели холодные чисто-красные закаты, тонкие снега лежали, как тугая повязка.

Мальцов неистово тянуло лизнуть лыжную палку, оставить на ней кончик языка – без этого нипочём не узнаешь, что такое настоящая дедовская зима.

Поля, хоть и с раскатистой твёрдой тропой, стали гибельными для случайного пешего: в полчаса не пройдёшь – пиши пропало: на мёртвом просторе прошибёт мороз любую ватину...

Пережидал лесной зверь в угретых ямках; куда тут бегать по оврагам – лежи.

Через несколько суток старый архангел чутко проснулся, чертыхнул своих крылатых учеников и спешно запер обширное северное окно.

В снежной России стало тихо, с надеждой, теплеть».

10.

Крыж был как бы задумчив.

– Знаешь что, Иваныч, – сказал, точно отмерив задуманную паузу. – Я человек прямой, ты знаешь. Так вот, не обижайся: зря мы дали твою лирику. У нас не литературное радио. Про холода надо говорить насущно. Слесарь такой-то спьяну разморозил трубу, его начальник такой-то украл эту списанную трубу, начальник того начальника такой-то взял взятку за то, что по дешёвке продал ту трубу в коррумпированную Австралию.

– Класс твоя малява, начальник! – одобрил Олег.

– Ну я утрирую, ты понимаешь. Фамилии воров нужны, фамилии. Продали страну, так надо говорить, кто.

– Начальник, про это четверть века не могут сказать четверть миллиона самых высокооплачиваемых дознателей.

– Надо и их пофамильно клеймить. За то, что не знают.

– А они знают. Но не скажут.

– Надо нам самим про них сказать.

– А они над нами посмеются, да нас же и посодют. За клевету. Или того хлеще, за подвернувшееся воровство каких-нибудь спичечных коробков.

Крыжович азартно вскочил и, как истинный павиан в гневе, затопал ногами из угла в угол по своему только вчера отремонтированному кабинету:

– Меня не посадят, я спичку чужую в жизни не взял.

Олег тоже встал, подошёл к двери, повернулся, оглядел на прощание стены:

– А быстро тебе, Славик, уют создали. И цена сходная.

Крыж довольно повёл взглядом:

– Никакой оплаты, с чего её взять, у нашего московского учредителя денег всё меньше. Это местный спонсор, один хозяйственник из депутатского корпуса.

– Ну да. Сказал, что твоё радио очень хорошее, только вот поменьше бы... Чего?

Крыж стал опадать и морщиться, как всамделишний продырявленный резиновый надувной павиан:

– Ну, чего?

– Того, о чём ты мне сейчас мозги парил. Поменьше неконкретной чупровской вычурности. И чего это моя неконкретика их так конкретно цепляет? Неужели даже за голубые каски на обмороженных демократических черепах им обидно?

Крыж мрачно мялся. О том, чтобы убрать Чупрова, разговор был, но ведь без свидетелей.

– Да ладно, уйду я, – успокоил Олег.

– Ты подожди, – заспешил редактор. – Ты хоть скажи, куда пойдёшь. В газету? Станешь оттуда для меня свои тексты дублировать? Под псевдонимом, за хороший гонорар. А наговаривать знакомый артист будет.

Олег засмеялся:

– Тот, который даже нехудожественное слово «скотина» произносит с художественным выражением? Нет, видно, завяжу с журналистикой. Больно гнусная стала.

– Это точно, – притворился согласным Крыж. – Я тебе до сих пор благодарен за старую закалку, ты когда-то из меня настоящего профессионала сделал.

Чуприн еле удержался от улыбки.

– Так куда думаешь?

– Может, в деревню. Обрезанные провода назад на столбы тянуть, я же электриком был в юности.

Про провода была шутка. Про деревню почти нет. Подозрительный по жизни, но сейчас расчувствовавшийся Крыж поверил всему.

– В деревню? А как же эта... твоя...

Он был настоящий обезьян, то есть полностью без мозгов. Его полуторастакилограммовой тушей можно управлять как тараном, но можно и под его родимую ступнищу угодить.

«Про Жихину подлость чуть ли не каждый с сочувствием говорит – и чуть ли не каждый при этом про Лидию глазами вопрошает, но молчит. А этот прост, как будильник».

Олег увернулся от ступни, не дал себя по-доброму раздавить. Увернулся опять же шуткой. С приматом, притворяющимся добрым, лучше говорить столь же доброй и столь же тупой шуткой:

– Моя? Моя твоя не понимает.

И вышел с вещами.

В конце коридора Крыж его окликнул:

– Иваныч, ну ты пока у меня на работе, так подмогни, давай сейчас в один разведанный притон съездим. Я сам материал возьму, ты просто неподалёку побудешь, ты детальки всякие хорошо подмечаешь, потом что-то мне подскажешь.

Поехали на самую окраину, туда, где снег грязно продран машинно-мышиными ходами и где заборы скошены, а порой и сброшены с кольев; и чудились на самых высоких кольях гнилые коровьи черепа.

Странно было разглядеть, что это не язычески-ритуальные черепушки, а рогатые телеантенны, столь же ритуальные знаки совместной пещерности.

Тут был обшарпанный клуб.

– Ты в машине сиди, просто поглядывай кругом.

– Да что это за помощь; я с тобой пойду.

– Не-не, сиди, ни за что не выходи; мне сказали, тут наркота буйная. Я сам, у меня, видишь, за пазухой диктофон-цифровичок, шеф подарил, любой шорох пишет.

Крыж обогнул закрытый на замок клуб, мешковато потолкался у тёмного дома с самой угловатой телерогатиной, вплыл во двор. Олег равнодушно оглядывал пустырь и торчащий из матёрых сугробов жёлтый репейник. Тишина, унылое безлюдье.

Проползла от ледяной водоколонки старуха с ведром и подозрительным взглядом – в пригородах у людей глаза всегда подозрительные; пригород есть уродливый мутант от смычки города и деревни.

В деревне все знакомы, в городе все незнакомы, а тут ни то ни сё, тут не работают ни законы знакомства, ни законы незнакомства, тут самый рай отбросу.

Олег перевёл взгляд ко двору, куда ушёл Крыж.

Славка лежал у калитки мохнатой дряблой кучей. По нему молотили башмаками пять-семь наркомашек. Среди них две колготочных девки, верещащие:

– В морду цель! Дайте мне!

Затылок Олега сжал холод – и следом сразу жар. В ногах лежали вещи, там сверху хлебец в прозрачном целлофанчике. Олег в секунду вытряхнул хлеб, одним выдохом надул целлофан шариком, рванулся из дверцы, на бегу заорал:

– Стоять! Милиция!

И ударил ладонью по шарику. Тот звучно лопнул, будто выстрелил.

Шпана прыснула по сторонам, растворилась в кривых паутинных переулках. Обратно в калитку никто не нырнул, так что туда идти разбираться бесполезно.

Чупров поднял редактора, повёл к машине. Крыж молчал, только прерывисто сопел, озираясь. Поодаль к водопроводной колонке медленно шла молодайка, прочно безучастная, как и сама колонка.

– Ничего не сделал, только вошёл, – возмущённо бормотал Крыж, совсем как в кино. – Диктофон только пощупал.

– Тайная аудиозапись без санкции органов запрещена, – напомнил Чупров. – Так что, товарищ Саахов, теперь либо им замуж, либо тебе к прокурору. Либо давай уезжаем нафиг. Какой тут притон, скажут тебе, у них просто репетиция школьной художественной самодеятельности на дому, по причине закрытого клуба.

Крыж сидел в машине и напряжённо думал. Чупров понял, что теперь у Крыжовича долго не будет по утрам вопроса, с кем бы ему сегодня повоевать. Враги нашлись, почитай, на целый месяц.

– Жихарский Андрей Степанович как-то сказал, что ты не умеешь принимать решений и сам это признаёшь... А ты вон какой. А если бы они не разбежались?

– Маловероятно.

– Почему?

– Так утверждают на курсах управления толпой.

Избитый, но бдительный редактор тотчас поднял свои мохнатые кинг-конговы уши:

– А где такие?

– Да я на них не учился, это мне Жихарский говорил. Андрей Степанович.

В тон обвеличивал Жиху, но Крыж не заметил иронии. Для него было абсолютно естественным, что после вестей о скором повышении Жихарского многие стали его даже за глаза величать по имени-отчеству. Инстинкт, подсознание.

– Ладно, успокойся, ни о каких курсах я не думал, когда из машины выскочил. Так, реакция. Может, и меня бы свалили... За рулём можешь, руки целы?

– Могу, – буркнул редактор, тяжело выводя авто на дорогу к центру. – Слушай, Олег, я человек честный. Мне вправду насчёт тебя намекнули, что ты на радио нежелателен. Но ты оставайся у меня, если хочешь. Я утрясу, я человек прямой и упёртый.

– Да прямой, честный, знаю. Но мне давно хочется послать всё к чертям, – ответил Олег и про себя подумал: – «Будем с Викулей куропаток силками ловить».

11.

Юрик Викуля слезал с парной утренней печки в самый первый сумерек, едва узенькое окошко засвечивало.

Покинуть лежанку было не так легко, она могла держать в сладких оковах и до полудня. Поэтому, едва открыв глаза, Викуля нащупывал валяющееся у подушки и тоже сонно разогретое радио, нажимал кнопку.

Голос из приёмника назидательно произнёс:

– Что же взять с собой в баню, чтобы извлечь максимальную пользу для своего организма?

Викуля тотчас выключил, мотнул башкой:

– Мозгоеды максимальные. Турки завоёванные.

И весело слез.

У снежного крылечка и столба с пустым замороженным рукомойником знакомой учёной росписью лежали свежие заячьи следы. Опять приходил профессор.

Этого зайчару Юрик впервые повстречал ещё летом. Был зверёк второго помёта, двухмесячный, меньше кролика. И шёрстка гладкая, с рыжинкой, в цвет уже подгорающей травы.

Радостной домашней собачонкой выкатился он из просторной садовой тропинки и кинулся к Викуле, словно к горячо любимому хозяину. На полпути, на перекрёстке дворовых тропок резко замер, вперив косой наивный глаз в июльский дом, лопушистое крылечко и в неподвижного утреннего Викулю.

Он, наверное, до того не видел вблизи человека, хоть их тут летом бродит немало.

И его братец тоже не видел, поскольку в ту же секунду так же счастливо вырвался из одичавшего сада, таким же собачьим галопцем промчался мимо замершего братика, сбежал к яркому пластмассовому рукомойнику, остановился у высокой одинокой травинки, потянулся к ней, откусил ей кончик – и лишь потом сердечно замер, так же вперив глупый серый глаз в стоящего в трёх метрах Юрика.

Это, конечно, было чудно: два забавных зверя в трёх и десяти метрах с одинаково скошенным на тебя взглядом, знаменитым и почти никем, в общем-то, не виданным.

Они выросли где-то в километре, у озимого поля; сегодня расширили заячье житейское пространство, ночью разведали удобные тропинки-прокосы, здраво посчитали их своими личными аллеями.

Тридцатилетнему Юрику на секунду по-детски показалось, что зайцы дадут себя погладить. Он поднял руку – ушастые прыснули.

И лишь в ноябрьское первозимье, выйдя за сад по печатной пороше, парень лоб в лоб столкнулся и тотчас узнал того, первого – левое ушко у него было без тёмного кончика; и лежал этот наглец без всяких правил, не в былье и не в заснеженной водомоине, а прямо во вчерашнем Юриковом валеночном следу.

Лежал крепко, смотрел в упор, а Юрик был без ружья, посему только охнул, видя заячий прыжок почти из-под самых своих ног.

«Ладно, цацик, завтра же тебя возьму», – подумал Викуля и целую неделю уверенно выходил на ближний след-малик, поскольку заяц где родился, там всю жизнь и кормится.

Пороши теми ночами были чуть влажные, именно печатные, то бишь каждый зверушечий ноготочек отпечатывался на снегу, как на агитационном плакате.

Юрик подходил к просторной озими, шёл вдоль. И всё более впадал в диво. Казалось, простое дело: вытропить ушастого недотёпу, спящего после сытной ночной жировки. Пара скидок, пара сдвоек, хитренькая петля, лёжка головой против ветра. Взбуженный, всегда сигает в тот след, которым пришёл. Бей, не хочу.

Но сразу вспотел Викуля. Скидок было целых пять!

А обыденные двойки-сдвойки то и дело переходили в редчайшие тройки, легендарные трюки, которых не каждый охотник за всю жизнь и видал.

И главное, через час круженья по той кропотливой путани нашёл Викуля дальний беглый ход с закрайка; совсем свежий. Значит, этот белоух весь час следил за Юриком, а потом невидимо ушёл, посмеиваясь.

«Э, да ты не дурак, чтобы всегда в валенке лежать. Врождённый профессор, хоть и полугодовалый», – азартно подумал Викуля и в следующие дни стал делать оклады, то есть предварительно обходить весь закраек по большому кругу, чутко ища утекновенный след.

Но находил только взбудные следы, ведущие от ещё не остывшей заячьей лежанки.

Молодой профессор над ним издевался.

Весь декабрь так прошёл. Вдоль отдалённых заовражных взмётов бегали другие зайцы, крупные и глупые; но эти матёрые простаки не манили Викулю: его гордость лучшего зайчатника округи была горько уязвлена, он был унижен каким-то безухим младенцем, этим бесхвостым бесом в мелкой бросовой шкурке.

И когда по сугробной улице медленно прошёл нагруженный рюкзаком сосед Олежка Чупров, Юрик кинулся к нему, как к родному брату:

– Ой, здорово, что ты приехал! Мне стучалка сейчас позарез нужен. Ну загонщик, чтобы косого постучал и на меня выпугнул. То не заяц, а депутат госдумы, до того хитрый. Уже и под поленницей жировал, а взять его не могу. У меня охотничий билет от такого позора заберут!

– А что же Боцман?

– Боцман! Эх, Боцман...

И слёзы навернулись у Викули. С осени парализовало двенадцатилетнего гончего Боцмана, отняло обе задние лапы; и три месяца держал Викуля те лапы на весу, когда Боцману хотелось прогуляться по любимому двору хотя бы на двух передних.

Слабо рыдал, тихо семеня за собакой, поскуливающей и неуклюже перебиравшей дрожащими передними, и задние тоже бессильно дрожали в руках Викули.

Картина была не для слабаков. А окрестные мужики просто усмехались, прослышав про те инвалидные прогулки.

– Недавно похоронил, вон столбик у берёзы стоит. Три выстрела в воздух дал. Считай, вся жизнь охотничья с Боцманом прошла. Ни один зверь не мог от Боцмана отрасти, даже лиса.

Юрик хотел пояснить, что отрасти значит убежать, однако увидел, что Олег и так понимает. Знал Олег и честность Викули, что он никогда не браконьерил, что всегда исправно платит охотничьи взносы, но всё равно сейчас вроде браконьера.

Лицензию на нынешний сезон ему не дали, потому как здешнее госугодье вдруг кому-то продали, а кому не говорят, и кто теперь выписывает лицензии, не знают, дело, мол, ещё не улажено.

Тёмное, видать, дело; обычное по нынешним временам.

Окрестным да заезжим стрелкам это до лампочки, они всегда без разрешений; но Викуля вдруг почувствовал себя вором в родных лесах.

А охотиться надо, Юрик живёт этим, в пятимесячную зиму обязательно добывает хотя бы пяток зайцев себе на еду, а хлеб ему сердобольная почтальонша на лошади привозит раз в полмесяца, когда не метельно.

Деревня Пчёлка из шести домишек, но никто в них не прописан, летом едут как на дачу, а в стужу тут один Викуля. Деньги, собранные за летние грибы лисички, все сразу же уходят в город больной племяннице, сам Юрик в городе почти не бывает, чтоб не стеснять плодовитых родичей, а они же и считают его бездельником.

Он вправду когда-то пробовал поработать на заводе, да тотчас задохнулся непонятно в чём, невидном, но удушающем. Дни состояли из криков и непрерывных обманов.

Викуля доверчив и беззлобен; однако камнями валились на него чьи-то злые слова и взгляды, ему даже не адресованные, но рвущие сердце.

Жизнь тягуче плелась вокруг цен, квартплат, авралов, простоев, должностей, аварий, посиделочных дней рожденья, бессмысленных драк у подъезда, скучных городских праздников – и жадности, болотной жадности!

– Бунин написал, что нищие гораздо более жадны и завистливы, чем богатые. А мы все сейчас нищие, – сказал как-то радиожурналист Олег, уже несколько лет приезжающий в землянку, выкопанную рядом с избушкой Викули.

Землянка его не простая, а ещё фронтовая. Она долго была просто ямой,

Олег попал сюда по рабочему случаю, загорелся восстановить её в отпуске, и Викуля ему помог.

Они уложили внутри бревенчатые стены и сверху такой же накат, притом двухслойный. Взялись вроде из забавы, но втянулись, дело шло быстро, весело, явились в землянке печечька, пол, входная низкая дверца, а сверху крышевое окошко-заглушка.

И рядом долгий широкий сход к ручью, прозванный Потёмкинской лестницей. Шаг у ступеней большой, с метр, чтоб не обваливались.

Викуля помогал сначала из любопытства и вежливости, однако журналист его всё больше тянул, удивлял простой своей небывалостью. Юрик всех этих учёных умников обычно называл мозгоедами, их много мелькало и тут, в глуши, бравых городских миссионеров.

Они на всю Пчёлку восторгались природами, рассуждали о вечности, первозданности, о том, как здорово поселиться бы здесь, избавиться от якобы ненавистной суеты.

А Олег ни слова не сказал о природных красотах, только дышал, смотрел и радостно тесал брёвнышки из собственноручно сваленных осин да сосенок, что ежегодно и несчётно поднимались на брошенных полях по-над оврагами, грозя окончательно затопить собой хилую деревушку, которую, как говорила покойная мать Юрика, в сорок третьем наши три раза отбивали у немцев, давали рукопашную вон там, на дне гигантской балки-разлома, где течёт в Оку спокойный ручей, в то военное лето ставший красным на целых сто дней, а то и больше, потому что и после боёв дожди долго смывали сюда со всех окрестных склонов въевшуюся в землю кровь.

– Музей настоящий вышел, – по окончании проговорил Юрик, чтоб сказать Олегу приятное.

Но тот даже рассердился:

– Помолчи про музей. Обмусолят твою святую деревню так, что взвоешь. Потому что те стены землянки были забрызганы солдатскими мозгами, когда ночным снарядом её разнесло. А вот эти стены школяры измызгают надписями и излепят бумажками от шоколадов.

Юрик тогда помолчал и сказал совсем другое:

– Ты мою Пчёлку святой назвал... Слушай, я думал, я один такой неудельный. Ну... дурак. Меня все дураком считают. И учат, как жить, как по магазинам ходить, как машину заиметь. А я того не хочу ничего, вот и считают неудельным, недоумком.

Олег, большой, увалистый, посмотрел серьёзно, сказал медленно и твёрдо:

– Юрик, всё, что считают в тебе глупым, на самом деле есть ум и сердце. Понял? Они это инстинктивно чувствуют, потому злятся и учат. Хотят тебя вернуть к своим законам. Затем, что если признать твою вольную жизнь правильной, их машинное житьё получается мышиным. Да они тебя лучше убьют, чем признают себя грызунами, биокормом сатаны.

Про биокорм худенький Юрик знал, он был пытливым и часто слушал научное радио. Он сказал:

– Ну да, мыши есть биокорм, начальное звено животной цепочки, потому так необходимы. Значит, их изводить нельзя...

– А то сатана с голоду подохнет; и боженьке без него работы не будет, не от кого правду оберегать, – засмеялся Олег. – Поэтому боженька считает, что изводить, конечно, нельзя, но нельзя и давать плодиться бессчётно.

– И позволяет войны?

– И посылает таких, как ты. Вас божьими людьми называют. Вы редкие и одинокие, но вокруг вас, безответных, спасаются тысячи. Библия, дружок.

– Да откуда ты знаешь, что я безответный. Я из кустов одному начальничку бекасиный заряд чуть в зад не влепил...

Викуля сейчас вспомнил все те разговоры, и затормошил, и почти силой стащил рюкзак с плеч старшего дружка:

– Куда тебе в блиндаж, он ледяной, его трое суток греть надо. Лезь ко мне на печь, а завтра за профессором двинем. Принесём максимальную пользу своим организьмам.

12.

Печкина лежанка у Викули в полуметре от потолка. Тем она походит на космическую кабину-скорлупу.

Кособокое квадратное окошко-иллюминатор прямо возле лежанки. За ним мечется метель. И тут же рядом мечется пламя печурки.

Тут, на нескольких квадратных метрах, соединилось многое, прямо противоположное: обжигающий кирпич лежанки и ледяная корка воды в ведре, шурпаный мобильник в обшарпанном валенке, дымчатый кот на подоконнике и дятел, глядящий на него без всякой боязни, стучащий по стеклу как будто измывательски.

Но главное тут – белизна, белизна всего и вся. Жгучая, рассыпчатая, она освещает не только горизонт, поля, деревья, – она, казалось, освещает изнутри сам мозг Олега, потемневший от мучительных дум.

И сейчас сознание Олега, казалось, светится изнутри, как светится вся эта маленькая, уютная, парная комнатка чудака Викули.

– Мы не в пятнадцати верстах от города, – проговорил Олег. – Мы за тысячи вёрст от этой так называемой цивилизации.

– Почему бедные жадней богатых? – перебил Викуля.

– От нужды, конечно. Жадность обычное природное свойство. Жадность во всём живом, даже в этом милейшем коте. Вот проснётся, проголодается и украдёт твой ужин.

– Да кот зверь и всё, – убеждённо сказал Юрик. – Хотя я зверя с десяти метров бить боюсь. Вижу, как кровь брызжет.

Принёс три заледеневших перепёлки. Перепелов он добывал просто. Вечером делал в снегу несколько ямок донышком бутылки, поливал края водой, кидал внутрь несколько подсолнечных семян. Силясь их достать, птица падала в теснину лапками вверх.

Лёгкий, с детства известный способ добычи. Сейчас он выручал, без верной собаки охота у Викули вправду не шла.

Олег пошёл топить свою землянку и она прогрелась на удивление быстро. Ведь в ней не было морозного свища, земля держала температуру, не то что брошенные ледяные избы.

Подкатила на розвальнях почтальонша Нина. Обычные вековые сани глядели будто инопланетная снасть. Сама Нина тоже из уходящих натур: простая дородная дивчина, весёлая, разбубённая. Любимая песня её была «Ох, уехал, ох, уехал».

– Ох, приехал, Нина, привет тебе, – улыбнулся Олег. – Ни разу здесь зимою не был. Сказка. И ты настоящая в ней королевна.

– Я-то что, а ты зачем от славы-то своей убёг? Я твоими передачами каждый вечер кончаю, – сказала Нина, играючи швыряя Викуле три буханки прямо в сугроб.

– Оставайся на перепелов, – ответил Юрик. – Не снасилим.

Шутка имела смысл. Викуля, вдвое ниже Нины, звал её ласково Большая Берта. Нина знала, что это неуклюжая немецкая пушка, такая же нестрелялка, как и наша Царь-пушка; прощала прозвище и любила Викулю. У Викули была тонкая, словно у макового ростка, шея, прозрачные уши и щёки и какой-то вопросительно-удивлённый взгляд. Юрик тоже любил Нину – нескоромно, как чистую подружку, притворяющуюся развязной только из защиты перед жизнью.

Она жила в большом селе Богатове, где Викуля когда-то учился вместе с ней в школе, часто тулузила его после уроков, заодно не пускала идти сюда, к дому за пять метельных километров, а силой притаскивала к себе, где её родичи, такие же грубовато-шумные, давно считали Викулю родным. Сейчас ни их, ни его родителей не было на свете, а родство осталось.

– Насулила Олежке славы, как СПИДу, – подлаживаясь под её напускной тон, сказал Викуля. – Хорошо, не в телевизере сидит. Жалко этих знаменитостей телевизерных. Они, наверно, на улицу выходят, как в комариную тучу морду суют. Правда, Олежка?

– Правда, Юрик. Да им это комарьё приятно.

Олег приехал за уединением. Но радовался и Юрику, и Нине. А на краях Пчёлки был ещё фермер Василич, были три бабушки-сестры. И все эти люди имели особый мир, и тот мир никак не отталкивал Олега.

Легко оставил и комнату-коммуналку, и город. К тому же знал, что полквартала многоэтажек сейчас мёрзнет от того, что снова прорвало генеральную теплотрубу, а вторые полквартала стонут без воды, потому как в другом месте прорвало трубу водопроводную.

Олег знал, как выжил Пепелов: он усидел в кресле только лишь потому, что Жихарский запил привычным образом.

Спасся Пепелов – успокоилась Лидия. Она изрядно переволновалась, чего не ожидала от себя.

– Оказывается, я тоже просто обыватель, – сказала чуть грустно. – И мне тоже хочется, чтобы было легко, уютно, и чтоб был денежный дождик, пускай его и зовут Пепелов. Как ни цинично это.

Рывок Олега за город, в сугробы, в снежные облака Лидия восприняла как красивую, но временную блажь. Поэтому даже одобрила. И все семь километров от электрички Олег думал о ней, тяжёлый рюкзак грел спину, а душу грели мысли о Лидии.

Вспоминал, как она слушала его самые жаркие, самые глупые речи; и посреди самой отвлечённой его тирады, глядя куда-то в сторону, обыденно – но вдруг – произносила:

– Я тебя люблю.

Это было необыкновенно-неожиданно. И Олега окутывала тёплая волна нежности. Эти три слова были самым убедительным аргументом в спорах, поворотным ответом на философские его измышления и лиризмы.

«Я тебя люблю». Роняла, не меняя шага, глядя на сквер или улицу, или на тусклую вечернюю звезду. Роняла ровно, задумчиво-спокойно – и это спокойствие надолго оставалось с ним.

Сейчас голос Лидии слышался от каждой ёлочки, распадка, от гигантского заполненного снегом разлома, на дне которого наши когда-то страшно дрались с немчурой.

Земля укутана метровым, вкусным даже на вид слоем плотного белого шоколада, Олег лежал в сугробе и думал опять же о Лидии. «Я счастлив, как же я счастлив здесь», – мысленно говорил ей.

Он ел снег, умывался им, плавил в печке. Дивил этим Викулю, не ходил к колодцу, уверяя, что топлёный снег гораздо вкусней, чем даже ключевая вода.

Восхищался старыми валенками, которые отписал ему Викуля, вдыхал их шершавый запах и еле слышную мышью тлень. А все привечали его приезд. Живо явился Василич, что фермером лишь назывался, а на деле был полный бездельник, вольный, разухабистый.

Три сестры тоже пришли, принесли в кастрюльке роскошный холодец. Они жили верным способом: по двое, «вахтовым методом». Третья сестра через десять-пятнадцать дней меняла одну из двух. И так вели полноценное хозяйство, хотя прописаны были в городе.

Здесь родились, учительствовали в городских школах, теперь вернулись, не дав погибнуть отчему гнезду в ровной низинке, неподалёку от брода.

Сейчас увидели Олега вовсе не экскурсионного, не журналюгу-сноба – а в истоптанных валенках, в свалявшейся ушанке; небритого мужика, приехавшего на неподрумяненное житьё. И поняли, что он жаждет вместе с ними чувствовать этот холод, вдыхать инистый воздух, любоваться льдистыми тучами.

За ручьём, поперек крутого склона, неспешно шёл кабан. Он был неестественно громаден.

– У него щетина от мороза дыбором стала, – пояснил Викуля. – Вот и сделался как бычара.

Глянул в бинокль, свистнул. Кабан нехотя повернул морду не на свист, а вполоборота. Круглые уши равнодушно и неподвижно торчали. Ни испуга, ни насторожённости, так просто, моторная переключка ровного дыханья жизни. Постояв секунд десять, кабан столь же неспешно пошёл тем же ходом, наискосок вверх по склону.

– Секач-одинец, один то есть, – сказал Викуля. – У него скоро гон начинается. Секачи живут отдельно, самки стаями.

Олегу нравилась дикарская жизнь. Зайца-профессора оставили в покое. День пролетал в заготовке сушняка, в топке. У Викули бочка крупы, сало. Нина вновь привезла хлеба, а заодно хлипкую тетрадку-брошюру. Большая Берта была чуть растеряна.

– Вот, инструкция по гражданской обороне, – дала тетрадь с мелким шрифтом и каббалистически-схематичными рисунками на сорока страницах. – Начальник сказал, экзамен будет всем почтовикам, приказ ведомский. Не сдашь, говорит, уволю. А я ни слова не пойму. Олег, переведи дурочке, что тут написано. Учат, как по земле ходить да как дышать. Оказывается, мы это совсем не так делаем. Не по науке. И теперь за то увольняют.

Случившийся тут же мокрогубый говорун Василич с готовностью шумнул:

– Скоро деньги будут брать за то, что дышим. Им только найди! От глянь, межеванье придумали, так по двадцать тыщ с каждого хрестьянина сдерут. Межевание! Людишки за километр друг от дружки живут, а они межевание. Нет бурьян от полевых возгораний обкосить...

Пенсионный Василич человек крутой. Рыжий, вострозубый и рябой, он страстно скандалит с властями. Когда всех повально заставили менять электросчётчики, отказался. То есть, купил новый счётчик, но подключил его сам. А электрики ругнули, что подключил неправильно. То есть, правильно, но самовольно, а положено за подключку сперва полторы тысячи уплатить. Тогда он сорвал счётчик и провода. Теперь живёт без света. Высоковольтка проходит мимо, электрики подозревают, что он кидает на линию петли, а он сказал:

– Не буду со светом! Буду фермерить сам, без вас, загребущих идьётов! А вон у меня так называемый ветряной динамо-мотор есть, со сквозняков ток даёт!

И показывал на огороде какую-то халабуду.

– Если хочешь, Нина, мы про эту гэошную инструкцию по радио песенку смешную споём, – подумавши, предложил Олег. – Ты не против?

– Спой, только меня не называй. А так бери тетрадку насовсем. Всё равно ни слова не разберу, вроде по-русски написано, а вроде по-китайски.

– Ну и ладно. Научим их родину любить и по-человечьи говорить, – усмехнулся Олег. – Мне в охотку, люблю потешаться над умниками.

13.

«...И БЛЕСК СЕЛЁДОЧНЫЙ В ГЛАЗАХ... Во дворе одной телефонно-почтовой станции появился дядя ревизорского обличья. Он посмотрел на заснеженную клумбу с прошлогодней надписью «Цветы не рвать», тут же нахмурился:

– Разве это порядок?

– В чём, спрашивается, дело? – подошёл к строгому гостю не менее строгий сторож Ромыч.

Гость оценил его стать и снисходительно ответил:

– Инструкции и приказы так не пишутся. Первым пунктом надо объяснить гражданам, что такое цветы. К примеру, вот так: «Цветы это зелёные однолетние растения высотой до полуметра с разноцветными овальными лепестками и различными запахами, на которые любят слетаться назойливые насекомые»... Тут же в скобках объясните, что такое насекомые, как выглядят, какие из них вредные, какие не очень.

У сторожа телефонистов в голове раздался настойчивый гудок, как во время международного вызова; но он вида не подал, потому что и не такое видел. А гость продолжил:

– Потом надо объяснить гражданам, что значит рвать или не рвать. Скажем, вот так: «Рвать – это тянуть цветок за уши в сторону, противоположную корню, пока его лепестки (не корня, а цветка) не отлетят к лешей матери; а не рвать это действия, обратные действию рвать». Вот тогда окружающие граждане всё поймут, и цветам будет обеспечена надёжная гражданская охрана их растительного труда.

Гудки в голове Ромыча восторженно оборвались:

– А-а, так вы из охраны труда; пришли нас экзаменовать! Как же, как же, я до сих пор наизусть помню ответы на ваши прошлогодние билеты по охране труда: «одним из главных признаков биологической смерти является появление селёдочного блеска в глазах».

Ромыч с невольным подобострастием заглянул гостю в глаза и добавил:

– Я когда-то был отличником «хим-дыма», ну, гражданской обороны.

– Молодец, – гость хлопнул Ромыча по плечу. – Ты и теперь можешь стать нашим активистом. С этого года к зачётам по охране труда добавляется экзамен по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Настало время взрывов и пожаров, нельзя без инструкций, у нас теперь образован целый отдельный соединённый штат, чтоб их писать. Вот билеты экзамена, изучите; а кто не сдаст, того, гляди, уволим.

И показал пачку листков убористого шрифта; эта пачка, если перевести её в стандарт, потянет на сорок машинописных страниц. Повесть! диссертация! поэма!

Почтовые телефонисты и телефонные почтари дрожащими пальца-

ми развернули манускрипт, скользнули взглядами по первым попавшимся строкам:

«Для горения необходимо наличие окислителя, горючего вещества и источника зажигания. Окислитель это...».

Пошли слова про фтор, бром, хлор, кислород воздуха, кислород в составе молекул селитры, и прочего... Потом так же описывались горючие вещества и источники зажигания.

«Следовательно, пожар можно прекратить, если из зоны горения исключить хотя бы один из перечисленных элементов».

– Ага, значит, если источником зажигания стала спичка, надо эту спичку немедленно исключить! – догадливо кричит одна почтарка.

– А вот ещё страшнее, – вторит другая. – «Людям, попавшим в зону урагана, поражение наносится в результате их переброски по воздуху (швыряния), ударов и придавливания летящими предметами»...

От летящих придавливаний перешли к взрывам («взрыв – это происходящее внезапно событие»), к химическим авариям («по заражённой местности не бежать и не поднимать пыль»), к наводнениям («это затопление водой местности», а «затопление – покрытие окружающей местности слоем воды»).

– Как сложно, я не выдержу экзамена, – первым сдался шеф.

– Что тут сложного, – бравировал Ромыч, гордый знакомством с ГО-инструктором. – Вот, если ты попал в воду, то «держись за плавающие предметы и отталкивай предметы с острыми выступающими частями».

– А бревно с сучками отталкивать или можно держать?

– Ну, сучки толкай подальше, само бревно держи поближе...

Ажиотаж рос с приближением зачёта. Говорили, что МЧС скоро устроит такие зачёты в домах инвалидов, детсадах и моргах. Спрашивали, учить ли секретные маркировки ядерных бомб. Боялись, что несдавших будут стерилизовать.

Кто-то добавил, что тут явное нарушение прав человека и надо подать жалобу Америке и Чукотке, а пока следует немедленно организовать партию сопротивления и явиться в Госдуму в противогазах. Кто-то путал массовую эвакуацию с классовой экзекуцией и ждал погромов.

Пришёл чёрный день. Экзаменаторы из ГО и ЧС числом пятнадцать человек (весь новый соединённый штат) валили всех подряд.

– Что происходит при потере видимости вследствие задымления? – спрашивал кто-то из этих новых и умных.

– Движение людей становится хаотичным, – отвечал человек вполне по инструкции.

– А что такое хаотичность? задымление? видимость?

Попробуй всё одолей.

– Вот выгонят вас за незнание правил ГО, тогда и узнаете, что такое хаотичность.

В общем, всех беспощадно наделили селёдочным блеском глаз.

И остался один сторож Ромыч, который всю жизнь прибивал на станционные стены почтовые ящики и писал на них: «Невпихуемое не впихать».

Он очень гордился той работой; ведь гордятся же своим делом те, кто пишет «Цветы не рвать, по газонам не ходить».

И ещё он, в силу своего химдымовского прошлого, надеялся на отличную отметку экзамена. Он классно подготовился, составил конспект. В нём было написано:

«Невпихуемое – это внезапное событие, обратное впихуемому. Событие – это момент вслед за прибытием. Момент – это внезапный впих. Впих – это запланированный момент».

И так далее, грамотно и с расстановкой.

Весь новоявленный штат почтово-телефонных служб ОТ, ГО и ЧС вперился в Ромыча, размышляя, как бы ловчей его слопать:

– Что надо делать при объявлении по ГО режима повышенной готовности?

Ромыч с честным выражением лица ответил:

– Надо с повышенной готовностью впихнуть всё впихуемое.

Председатель экзаменаторов раскрыл рот:

– Что это значит – впихуемое?

Надо было Ромычу показать конспект, продемонстрировать свою старательность и лояльность. Но он стал импровизировать:

– Это всё, что положено по вашей инструкции: формирование, выявление, прогнозирование, обеспечение, уточнение...

Ничего не поняв, экзаменаторы заглянули в свои бумаги; там вправду были слова про «выявление причин ухудшения обстановки непосредственно в зоне возможной ЧС», про «уточнение планов действий и выдвижение при необходимости средств спасения в район предполагаемой ЧС», про «прогнозирование возможности возникновения ЧС» и прочее такое же неотложное.

– Ты что, не можешь сказать вот так вот ясно и чётко, как здесь написано?

– Нет, не могу... Потому что это уже будет невпихуемое. Нельзя будет впихнуть.

Экзаменаторы слаженно стукнули кулаком по столу:

– Куда невпихуемое? В твою башку? Куда хочешь впихнуть? Чего хамишь против государственной политики?

Короче, затоптали и почётного химдымовца Ромыча. Теперь он выпихнут с работы. Ходит по морозным клумбам, ищет правду, и всем доказывает, что новый хим-дым – это и есть чрезвычайная ситуация.

Да разве кто таких слушает».

14.

Сказавшись снова больным, Андрей лежал в узкой щели на полу. Всё в его комнате, и продавленный диван, и узкие тумбы завалила Алла вещами из остальных комнат. Жена длила героический ремонт, превращая квартиру в палаццо, мнящееся смладу.

Стены и потолок усеяли розочки-лепнины, застенчиво сыплющие невесомую гипсовую пыльцу; на кухне у разломанного пустого холодильника сутулилась в коробке с землёй усохшая карликовая берёза. Теперь, без листьев, ей суждено исполнять застарелую японо-икебанскую миссию.

Ведь Алла верна привычкам и мужу. Всю жизнь всё делает только для него. Знает его тонкую натуру и создаёт ему столь же тонкую атмосферу. В итоге, почитай, два десятка лет Андрей спит в щели на расписной подстилке, отыскивая рабочие записи в завалах кружевных платьев да шляпок. Хотя, если честно, чаще ищет он запрятанную с вечера пивную банку.

Сегодня жене надо отлучиться на поиски выходного воздушного шарфика для воздушной её берёзовой кухни. Ушла спокойно, потому как тщательно убедилась, что никаких денежных и прочих заначек у Андрея нет. Одна привычная зелёная искра на закорках сознания.

Едва хлопнула дверь, Жихарский стал обзванивать малознакомых. Метод проверенный: как раз мало его знающие быстрей всего и придут на помощь.

После шестого или седьмого вежливого отказа (Андрея изучили всё-таки очень многие) попался разлапистый боец Крыжович. Андрей купил его просто:

– Слышь, Славик, ты мне когда-то свою композиторию играл, помню, вроде хорошо. Что, обругал? Это я, небось, с зависти. Тащи гитару сюда и песен штук пять вспомни. Что-что, я музыкальную передачку срочную готовлю. Запишем у меня дома, вот слушай адрес.

Славик явился быстро. Само собой, и поллитру принёс. Андрей сосредоточенно выпил, достал микрофон, выслушал гитарные звоны, округлил глаз:

– Ты чего столько лет молчал? Классные нотки! Чего на своём радио их не играешь? Стесняешься? Дурак ты, Славик, ты ж находка, талант свежий, нотник можно выпускать. Так в передаче и скажу, скромняга.

Скромный мохнатый Славик, не ждавший таких похвал, тут же сбегал, принёс ещё две бутылки, да пива, да закусок. И пошла у них в тихой щели нормальная громкая оратория.

– Ты, мне сказали, дал какую-то фигню про сторожа. Это, небось, Олежкина? А знаешь, что он той фигнёй целую службу спасательную обмарал?

– Не он, клянусь. Это сам автор читал, артист один; ты ж эфир не слышал, чего сразу Чупрова... Без него что ли некому?

– Про невпихуй? Да весь люд словечки его эти с ходу узнаёт. И почему меня трясёт при упоминании об Олежке? Я ж его любил и люблю... А он про меня не вспоминает. Да?

– Ему, кажется, мы нынче до лампочки. У него баба титятая пепельская.

– Ох, скажу я этому Пфепфелову!

– А то не догадывается. Тоже ещё кроссворд!

Хохотали, пили, потом бросали порожние бутылки в стену. Стекло бухало, летело осколками на горы кружев.

– А инструкцию почтальоны сельские дали, вычислим в два счёта! Замаскировался телеграфной станцией! Да он чистопородно ленивый, сроду по телеграфам не пойдёт! Скажу, скажу про ту почтальоншу, её в шею погонят.

С этим Андрей упал носом в подушку, осыпанную стеклом. Славик тяжело собрал самые крупные осколки в бумажный короб, вынес на площадку, однако не в мусоропровод, а в лифт. Нажал кнопку первого этажа, крошево закрылось, уехало вниз.

Славик повернулся обратно к квартире, но на пороге стоял босой Андрей и грозно вопрошал:

– Ты кто?

– Да Степаныч, да...

– Ты кто? Ты пришёл мою жену еть?

Крыж даже протрезвел:

– Андрей Степанович, мы с тобой уже два часа у тебя пьём. Ты сам меня позвал...

– Ты, свинота, пришёл мою жену, мою матушку еть! Еть-еть, разъеть!

Лифт открылся, из него с горы битого стекла вышагнула ошарашенная Алла:

– Ой, что же ты так ругаешься, родной мой!

Но было видно, что ей не впервые.

Андрей помолчал, водя мутным глазом, что-то подключил из резервов сознания – и обнял в минуту пролинявшего Крыжа, и изрёк жене:

– Алуся, это молодой бард, я готовлю передачу о нём. Он гуингнам из страны умных лошадей. Поняла? Он гуингнам, а никакой не еху; и завтра отвезёт тебе в имение твои драгоценные онучи.

– Правда? – розово воссияла жена.

– Да, с удовольствием отвезу, – почуяв горячее облегчение, сказал Крыж и ретировался.

Назавтра вправду трижды возил Аллу на дачу, таскал по утопистым снежным дорожкам узлы тряпья, вышедшие из моды стульчики и стульчаки.

И ещё три дня возил, и ещё носил, и слушал проникновенные Алусины рассказы о том, какой ранимый у неё муж.

И не сами даже поездки, а вот эти рассказы привели его в такое истомление, показали такую страну умных лошадей, что Гулливеру со Свифтом и не снились.

На пятый день столь насильственной линьки позвонил Андрею, объявил, что не может больше помогать, потому как на службе да и машина служебная. В общем, из гуингнама он добровольно превратился в еху.

– Ну ладно, – сумрачно согласился Жихарский. – Всё равно микрофон издох, ничего не записал, да и поёшь слишком тихо.

Крыж, ставший изрядно клокастым, Степаныча во враги не записал, поскольку помнил про его мэрскую неприкасаемость. Но и на призывы больше не покупался, боясь бесповоротной линьки.

Андрей встретил это равнодушно, у него в письменнике верной шеренгой стояла полусотня телефонных номеров таких же любителей искусства.

15.

Поездка в город ушла в прошлое. Она запомнилась чёрным, грязным, как лёгкие курильщика на больничных плакатах, снегом. Постылой увиделась коммунальная комната, отданная двум студентам; постылым казался кабинет Крыжовича, спокойно взявшего фельетон со словом, что не выдаст авторства; постылым было всё.

Средств достанет лишь до лета, а потом нужно искать занятие. Но ещё Олег знал, что в городе через месяц запьёт и за неделю спустит весь денежный запасец.

По колено в сугробах, по горло в мыслях пришёл Олег снова к землянке. За ползимы она стала близкой, родным домом. Белизна волшебная, бездонная, неисчерпаемая.

И на эту чистоту вдруг упала капля чёрной джипяры. То явился глава сельской администрации, из посёлка Богатово, что за пять вёрст отсюда. На джипе – значит вор. Машина стоила больше, чем все подворья посёлка.

С показным дивованьем глядел дядька на землянку.

– Это што за домовладение такое? – спросил он, не узнавая Олега, хотя и встречались когда-то по работе. – Што за копанка тут приблудилась?

Полон рот золотых зубов – мета отвратная, вековая.

– Это не домовладение, – сдержанно ответил Олег. – Скорей, землевладение.

Администратор с готовностью оскорбился. Он сдвинул-надул брови, пнул каблуком колесо – тоже дремучий жест самосвальщиков; и вщурился-вцелился, желая поточней стрельнуть словом.

– Землевладение стоит ещё поболе... Так погоди, друг ситцевый, а иде свет? А... вообще, што это за домовладение? И по какому праву, и што за дела, и почему без всяких разрешений?

– Без разрешений сюда немцы приходили. А это блиндаж. Может, будущий музейный, – вспомнил версию Викули Олег.

– А, так это тебе Нинка хлеб возит? И бумаги для пасквиля дала? Так мы её уже уволили.

Олег вынул из землянки ломик, хмуро сказал:

– А я сейчас продырявлю твою самоходку и сюда в распадок скину. Пускай на родных своих германских костях поваляется.

Олег приходил в бешенство мгновенно и знал за собой эту беду.

– Ты потомок конокрада, – добавил холодно. – И за Нину мы тебя утопим в ручье.

Мужик вспомнил, что он не обыденный уличный штукарь, а вполне законный начальник, и обязан уметь разрешать конфликты.

– Ладно-ладно, – сказал, будто и не было плохой минутки и плохих слов. – Ничего с ней не сделано. У неё даже завтра очень важнецкое заданье. Начальство будет. Я сюда и приехал сказать, чтоб Викуля не мелькал со своим ружом дырявым.

Золотозубого администратора звали Тухнёв, и кое-что о нём Олег знал. Фермер Василич говорил про него: «Так называемый сорный человек». У них была когда-то разлюбезная дружба, но в девяностых скандально кончилась. Вышло, они по-разному смотрят на мироздание, ну и естественно на фермерство.

Фермером Василич согласился стать, а кредитов не желал.

– Кредит это ростовщичество, – заявил сразу. – За него раньше в так называемую яму сажали.

Трактор, землю, корову и свинью он получил от развалившегося колхоза. Фермерство тогда было нужно для очень большой галочки.

– Хочешь стать фермером? – спросили у Василича. – Ну на тебе трактор. Распишись вот тут. А вот тебе земля, распишись вот тут.

Таким манером Василич и стал зваться по-американски. Но кредиты не взял.

– А на што будешь покупать горючее? А семена?

– Найду на что. А в долговую яму без кредитов не посадите.

В том споре и родилась принципиальная, можно даже сказать расовая вражда.

– Поют кругом: кредит, кредит! Да лет двести назад и банков не было. А кредит ростовщицкий был под семь процентов. Если боле – у яму! Били процентщика, сажали. Чего ж вы весь мир сейчас превратили в кредитку, а?

Колхозные механизмы и коровы в год сничтожены, а у Василича коровушка ходила за ним, как домовая собачка. И на тракторе он ездил по распадку весело, всего два раза в речку упал. Вытащил, высушил – и опять ездит, только кабину снял: «чтобы прыгать легче». Солярку где-то у мужиков добывает. Сажает... что ж он сажает? Картошку; да только не в апреле, а в самом июле.

– До октября вырастет. В октябре ваша уж старая, а у меня молода-ая!

Да, выкопал по первым морозным дождям, в бурты свалил. Мелкая, но ведь без удобрений, потому как без кредитов. Монашкам отдал. Съездил в монастырь вёрст за двадцать, они прибыли, забрали бурты. Ещё поклонились, не сказав дурного слова.

И начальство не говорит. Без кредитов ничего с Василичем поделать не могут. Он налог фермерский и тот не стал платить.

– Не считайте меня, какой я фелмер? Я этот... однодворец. Есть в инструкциях такое слово? Нет, ну и не считайте.

А недавно у него с Тухнёвым совсем политическое дело вышло. Поспорили ухарски, из-за Боцмана Викулиного. Вопрос не простой, каждый винил другого в разорительстве России. Приехал Тухнёв высматривать незаконные электропетли, а Василич сидел в той халабуде, которую динамо-машиной

назвал. Никакое то не динамо, то обыкновенная баня, и выскочил из неё Василич весь рыжий, то есть голый; и стал кататься по снегу и кричать:

– И подтираться сугробом надо! А не кредиты так называемые за море пускать!

И был он весь, кроме плешины, в рыжей волосне; будто огонь метался по снегу.

– Да ты и собаку есть будешь, – ответил Тухнёв, блюдя начальническое достоинство.

– А что, зверь чистая, – обрадовался Василич, подхватил Юрикова пса и чмокнул в зад.

Администратор был потрясён. Хоть и стойкий сорный человек, а такая картина его сшибла, как азиатский ветер-суховей.

– Он заразный! Он лису мял линючую, бешенством больную! Она его по носу цапала, я видел! – заверещал Тухнёв, теряя начальственную осанку. – Я в медицину доложу.

И доложил же гад, а? И назначили целых шесть уколов Так Называемому, да ещё с каким-то загадочным перебоем в днях. И три месяца нельзя было Василичу пить, и возненавидел он Тухнёва и всю политику. Вот с какой мелочи начинаются великие распри.

Сорный человек всё это рассказал Олегу, был словоохотлив, как и Василич. Зашёл в землянку, опять подивился, теперь искренне. Даже благожелательно присел у круглой железной плиты.

– Осталось девку сюда, – мигнул вывернутым веком. – А чего, Нинка подходяща. Што сказала! Говорит, ты, тухлый! Вот так называемого однодворца Василича, говорит, я на себе вижу, а тебя, убей, никак не представлю. Понял? Видит-не видит – на себе! Куда с такой девкой? А ты с ней сладишь. Викуля што, он ей нолик.

Юрик тропил по лесу недоступного зайца-профессора. Власть уехала. А Олег задумался о зиме, о жизни, о Лидии.

Тосковал. Всегда маялся без родной души. Хоть зримой, как сейчас в образе Лиды, хоть безвестной, лишь смутно ожидаемой. Давно понял, что где бы ни был, пускай даже в шейховых дворцах, имел бы полморя – тоска не отпустит.

Думы перешли к матери. Мать любила болезненно и страшно. В ней умер великий надзиратель. Ни одна детская секундочка Олега не проходила без её присмотра. Она двадцать раз на дню заставляла мыть ладошки, истёршиеся до прозрачности от столь немыслимой помывки. Подсказывала ежеминутно, что сыну делать, правила каждый его шажок. Любя это делала. Но Олегу уже в его пять или семь лет становилось нечем дышать.

И потом с близкими он боялся быть таким. И был именно таким: растворялся в чувстве и в любимой женщине. И знал, что тем всё губит.

Его желали жарко – но девичьи симпатии скоро и пугливо стихали. Его чувства ядерные, а значит невыносимы. И даже сейчас, с Лидией, давно познавши себя, Олег видел, что перебирает. Звонить и говорить хотелось сутками. Теперь уже он её искал, а не она, как раньше. Приветливо отвечала; но угадывалось, что истомлена.

Вернулись из леса Викуля с Василичем, сладко переругиваясь. Василич пел руладу, свежесклеенную из двух несвежих песен:

– А на том берегу! зайцы косят траву!

Юрик понимал, что тут подначка ему, снова оставшемуся без добычи, и легко огрызался:

– Пошёл хоть ты на фиг.

– Почему «хоть»?

– Ну больше некого посылать, не Олежку же.

Василич часто подкалывал Викулю, но натыкался на мягкость, улыбку, а если и получал такие ответные выпады, то беззлобные, и быстро стихал. Он любил Юрика, хотя и ревновал, блин, к Нине.

Сейчас они радовались, что снега парализовали Европу, что она стонет, самолёты уткнулись заносчивыми носами в сугробы и приходит крантик чопорной цивилизации. Москва буксует в ржавых снеговых горах, призывает бомжей расчищать улицы, а те лениво посылают её, как Викуля фермера: с прибавкой «хоть».

– Ничего, проанализируют, анализаторы, – смеялся рыжий плешак Василич.

Он давно подметил: долгие учёные разговоры о любых проблемах всегда кончаются надсадным выводом, что «это надо глубоко проанализировать»; и весь телевизионный, весь чиновничий мир сшит из аналитиков, делающих надменные лица и повторяющих одно: надо продумать, проанализировать.

– Знаешь, Олежка, на отвершке за распадком в чащобе уже построечка с лавочками, сенцом и столиками. Небось, новый хозяин готовится дичину прикармливать да свежевать.

16.

Пятак знобило от упорного холодного рытья. Желудей под снегом почти нет, а коренья в мёрзлой земле тверды, как тракторный трос, однажды сломавший секачу лучший клык.

Откуда-то дивно тянуло зернистым едивом. Кабан-одинец вышел из чащи на видное и тут же замер. На взгорке-отвершке метрах в двухстах стояла не таясь кучка охотников. Старым мутным глазом секач безошибочно отличил средь них главаря.

Вожаки у людей странные. Они обычно хилые либо рыхлые, и всегда беспомощные. Однако вокруг них всегда тихий топот и подобострастие. И сейчас возле морщинного горбоватого деда кружились два подтянутых егеря и два сподвижника-холуя. Дальше у машин стояли женщина и местный начальник.

Если бы у кабана случились мозги, как у этого мелкого начальника, то бишь Тухнёва, то он бы узнал в главаре мэра, в холуях – нынешнего владельца леса Снегина и микрорайонного главу Манохина, а в женщине почтальоншу Нину.

Не разбирал он, о чём сшёптываются медленно поднимающие ружья охотники, и даже не понял, что то не ружья, а дальнобойные карабины «Максим». Секач стоял, верил в дистанцию.

Грянули выстрелы – сухие щелчки; две пули сбили над ним иней, досадливо впились в дубовую кору. Но другие две, пущенные подручными главаря, вошли в секача. Одна зажгла болью заднюю ногу, ударила поверх пазанка, в самый окорок; вторая того хуже, взодрала весь бок.

Снег и лес на секунду стали огневыми. Потом кабан кинул вразмах, чуя погоню смерти. Он ломил кусты, шёл вглубь, невидяще. Кровь красила след, толкалась в кабаньи виски; и виски эти, так же, как обычно и человечьи, охладила испарина, холодная, ледяная – и вдруг, рывком, жаркая, душащая.

Всё живое одинаково чувствует всплеск собственной крови, её отток и утекновенье. И боль у всех одинакова. И смертный страх у всех первосоздан.

Секач полчаса шёл галопом, припадая на раненую ногу; где-то порёвывал и умолк вездеход. А кабан ломил, его качало, землю вертело кругами, но хода секач не сбавлял. Тишина обманет: в любой миг в загривок войдёт пуля. Несколько раз свин заросшим звериным умком чуял, что падает – но не падал, упасть значило умереть.

Он бессознательно забирал вправо и вышел на кровь, и понял, что след его, что сделан необходимый круг; и так же, как миллионы кабанячьих предков, тут надо залечь и убить тех, кто гонит за ним.

Зарывшись в снег, секач лежал под одиноким кустом. Солнце падало за горизонт, оказавшись слабей кабана; он не понимал, что то солнце, он думал, что это жгучая пуля или блеск прицела. Стемнело, силы оставили зверя-дикаря; он пожалел, что враг ушёл; и не повезёт его напоследок ударить.

Услышался торопкий хруст, увиделся тёмный силуэт. Кабан рванул из засады, ткнул человека рылом – и облегчённо пал.

Человеком был Олег. В сумерки кончилась вода, он взял пятилитровую баклажку, спустился в распадок, но не к скользкому колодцу, а подальше, за ручей на тот берег, где из склона выбивался родник. На подходе к тому роднику его рубанула тяжкая тень.

Олег отлетел с оборванным дыханьем. Такое было в десять лет, когда на футболе чья-то игровая коленка нечаянно вошла под дых. Тогда так же: весь мир на месте, нет лишь дыхания. Детская грудка запала без воздуха, отказываясь вдохнуть его в себя. Чистый-чистый мир – и ни капли жизни внутри.

Сейчас то же, но гораздо сильней. Тупой глубокий удар, тычок лицом в снег, раскрытый рот без воздуха. Ни вздоха, ни движенья.

Бог весть, сколько длились холод и морок. Еле подвинулся, огляделся в лунном свете. Громадная туша рядом.

«Вот, обходил машины, чтоб попасть под свинью».

Подполз. Щетина в ледяных ростах, брюхо слегка теплится. Если его взрезать, можно на полчаса согреться. У цепенеющего Олега за валенком нож, им думал обколоть ледок родника. Но достать его и судорожно вонзить в брюхо секача нет сил. Чупров припал рваным боком к зверю, сронил голову у стёртой свиной ноги.

Через час коченелого Олега нашёл Юрик. Мешались во тьме его охи-причёты, громоздкий Василич, гремучие кованые санки, боль-огонь в ребре, печка Викули, бредовая плазма перед глазами.

Слышалась дверь, глухой топот мужиков, оба уходили к туше, лежащей за ручьём, в самой пойме распадка. Оттуда её трудно поднять по такому склону даже на санках; значит, рубили.

Очнулся Олег уже днём от чужих корозистых голосов. То были егеря. Они звали Викулю браконьером и повторяли в сбив, будто плохой школьный стих:

– Сейчас составим полный акт о незаконном совершении отстрела учтённого государственного парнокопытного.

Викуля отвечал зло, с наскоком – так загнанная в угол дворняжка до самого корня обнажает клычки, готовясь задорого продать свою дешёвенькую, но единственную жизньтицу.

Спрашивали и Олега, он не разбирал, всё плыло, слова и лица, сознание и мысли. Законники заполнили, пыхтя, казённую бумагу. Заставляли Юрика расписаться и предъявить для изъятия булдыжку. Ночью мужики отсекли кабану задние ноги, разнесли по домам.

Викуля окорок не отдал, заявив, что свиная нога на экспертизе ООН, поскольку в её кости сидит пуля вот этого же егеря. Допрашиватели выруга-

лись, ушли. Они на всепроходимом «Буране» спешили отвезти хозяину обезноженного, но учтённого кабана.

Викуля промыл Олегу рану. Ватник сдержал удар, клык только сломал ребро. Ехать в больницу Олег отказался, ни к чему тревожить Нину, а тем боле Тухнёва, весьма бы обрадовавшегося.

Неделю валялся на печке. Будто глупую пилюлю, вертел языком песенку Василича: «А на том берегу-у! Чьи-то тени встают!». Хоть сглотни, хоть сплюнь, всё забава. Потом ходил с повязкой, тугой до немоты, но вполне держащей бок. И история забылась.

17.

Леонид привёз жену из клиники. Светлана стала совсем другой. Глаза печальны, недвижны, будто стоячее болотце. Она ни на что не жаловалась, ничто не хулила, как прежде. Невидяще смотрела в потолки комнат.

Быть сиделкой Леонид попросил старшую сестру, у неё дети давно выросли и сама на пенсии. Сестра Вера никогда не сближалась с его женой, но тут иное. Сердечность нежданная целебно легла меж обеими.

Вера с детства опекала Леонида, и без уговоров, забыв прежний холодок, взялась опекать его Светлану. Подобрали дорогие заморские таблетки, от них Света полусонная, но отвечает здраво, гуляет с Верой по аллеям, смотрит фильмы. Выбирали старые, добрые ленты, вспоминая молодость.

Однажды Света расплакалась, жалко и вдруг:

– Они ведь покойники... И Папанов, и Миронов... Все. Как странно, как можно, ведь мёртвые, а тут живые, смеются...

Фильм был «Берегись автомобиля».

Леонид и Вера поняли, что Света вспомнила о дочери.

– Нельзя так, – сказали смятенно. – Ведь и книжки... Их век назад писали, а слово живое. Это искусство, оно вечно.

Лицо Светы вновь стало неизменчиво и без выражения, как восточная маска. Великая жалость сосала Леонида. Для Светланы ушедшая дочь была жива, но кино выворачивало наизнанку эту нормальную память, делало ненормальностью.

Печаль в глазах Светы, старушки-ребёнка, плавилась в тревогу. Леонид вызывал врача, тот говорил, что нет-нет, это пока не диагноз, здесь пограничное состояние, надо варьировать дозы.

И повторял, что у каждого человека есть малые отклонения психики, без них люди будут клонированно похожи и не будут людьми. И не станет талантов, прогресса, развития. Эти отклонения приветственно зовутся индивидуальностью. Весь вопрос в том, чтоб они не переходили черту. То есть, ту самую границу.

Вера, сама вся ломаная, маскирующая свою в общем-то приятную грубоватую внешность невозможной бабьей манерностью, нудно успокаивала Леонида, а он сквозь её расплывчатые речи отчётливо видел, как в его жизнь входит чёрная неизбывность.

Потому что все его когда-то переливчатые, противоречивые чувства к жене сейчас состояли из одной жалости – рвущей сердце, убивающей плоть, травящей сознанье.

Теперь Леонид не работник. Не годен для того, что поручено. Хотя руководящая тропа никакая не запредельная. Ещё в разбитные перестройкины годы тёртые коллеги-хитрозады весело учили Леонида-новичка: «Составил короткую справку начальству – считай, день провёл с государственной

пользой. А дальше живи от себя». Это изначальный празакон, так всегда и так будет вечно.

Но не в том дело. Просто Леонид теперь смотрит на всё лунатически-отстранённо. Вот как Светлана глядит в окно.

Сквозь глухое толстое стекло смотрит Манохин на всю эту глупейшую маяту, что втекает в кабинет звонками, визитами. То и не маята, потому как дела серьёзные: где-то сталкивались не поделившие трассу драные маршрутные газельки-гробовозки, где-то злые от нехватки водопроводных кухонных струй пенсионеры перегораживали улицы, где-то вороватые ревизоры уловляли не распилившихся с ними кредитных махинаторов, где-то коммунальные подлецы цинично душили целые кварталы.

Леонид вонзался в это яро, кричал-поручал, не забывал перепроверить – но всё теперь освещено другим, лилово-чернильным светом. И даже во рту гадкий чернильный привкус.

Вчера директор издательства и директор музея принесли альманах, борющийся, конечно, за культуру.

– Вот, Леонид Николаевич, – сервелатно произнёс издатель. – Этот номер тоже вышел благодаря вашей авторитетной финансовой помощи. Здесь важные для культуры нашего родного края публикации.

Он всегда говорил бархатные мертвецкие фразы, правильные и порожние. Музейщик боевитей, оригинальней. Он ляпал интересно:

– Да-да-да. Народное искусство надо укреплять защитой. Такое повеяние времени.

И оба с осторожным достоинством тыкали в страницы, показали и критику. Подпись несчастного учёного шизофреника. Заголовок: «Про Олежку-браконьера».

– Олежка-браконьер? – переспросил, не веря. – Это какой?

– Ну... тот радиожурналист с тупыми фельетонами и показной честностью. А оказался браконьер, поросёночка дикого застрелил. Сегодня из интернета взяли, местный автор, учёный, честный. Природа ведь тоже... культура. Её тоже надо защищать. И как вообще рука поднялась на малютку розового...

– Хватит. Пойдёмте-ка сюда.

Манохин почти силой завёл их в боковушку с холодильником; вытащил из морозилки вырезку с клоком могучей щетины. Вырезку неделю назад прислали от мэра. Манохин не хотел прикасаться, так и лежала, окостеневшая, в инее. Грохнул ею по столу:

– Этого, что ли, малютку застрелил ваш Олежка?

Прихожане смотрели выпученными глазами, подобный нестандарт не занесён в их мозговые программы.

– А... это он подарил? Не, ну тут секач, другое дело, это по лицензии, геройское дело, молодец Олег Иванович, один на такого... Или вы вдвоём? – забредили оба.

– Не вдвоём и не подарил. Но это именно тот кабан, из-за которого вы назвали Чупрова браконьером.

Директора исходили по-малому.

– Леонид Николаевич... Тираж ещё не вышел, это сигнальный экземпляр, мы сейчас сменим статью. На Олега, общего друга нашего... такой негодяйский наезд... Да мы... Так это ваш трофей?

– Трофей доблестного гэошника. Раненый кабан от него ушёл и при смерти ткнул ничего не подозревающего Чупрова. Олег Иванович лежит со сломанным ребром, там, в деревне.

Про рану Олега ему сказала сельская почтальонша Нина, в тот раз смешно убежавшая от игровых объятий начальства. Леонид был без ружья, с трудом перенёс охоту. Когда Нина суматошно скрылась в сугробистой чащобе, послал шофёра за ней. Дал прямой телефон и сказал позвонить, если на работе поступят худо. И потом вернулся в зимники, к чистокровно разгоравшейся пьянке.

Нина в телефонном разговоре успокоила, что с ней нормально, а за Олежку просила постоять. Рассказала о нём доверчиво, горячо, как о родном брате. И как родному – ему, главе глаженому. Это подкупило Леонида. Никто, кроме сестры, так с ним не говорил.

Но и Вера стала манерная горожанка, вместо «поешь» изрекала «прими пищу». А Нина напомнила шофёрскую молодость, угловатых сельских девчат с простыми порывистыми движеньями.

Он втайне рад, что Нина порушила старческое отдохновение вожака, выездной сценарий Снегина, что скомкала их благолепие, взбрыкнула, убежала, как от опившихся сторожей.

Тогда всё-таки завалили косулю, погулевали в свежеструганных летниках-зимниках. Вместо Нины были тётки уже городские, знающие огнеборки; сгладили её бегство, с благодарностью за оказанное доверие расцветили гульбище.

Снегин, как хозяин леса и затеваха выезда, конечно, с ревностью следил за Манохиным. Он вычислил в нём мэрского фаворита, своего соперника. От него не ускользнуло страдальческое сожаленье, мелькнувшее в глазах Леонида возле убитой косули.

При своей осторожной вертлявости Снегин умел бросить и наглое. Например, после пятой рюмки сказал Манохину:

– Чего такой честный? Думаешь, не захомутают? Любой чих можно назвать превышением служебных полномочий. Да вот недоступные простым смертным лекарства для твоей жены – это тоже при желании запишут превышением, понимаешь? Мы одним миром мазаны, Лёня: что ты, честный, что я, ворюга в твоих глазах.

18.

Мобильник, так досаждавший Олегу, молчал. Даже приятно. И слегка удивительно. Как много, оказывается, людей просто использовали Олега. Как быстро он сделался никому не нужен.

Олег спокойно смотрел на эту обесточенную пластмассовую мину, на этот обмылок. Улыбчиво вспоминал, что в городе деловые люди носят его у самого сердца, как когда-то партбилет.

А на снежно-болотистых улицах судорожно выхватывают его по первому зову-писку, искажёнными глухими голосами бормочут себе под ухо, делают лицо достойным, даже трибунным.

Иногда он всё же брал холодный обмылок, заряжал в розетке у Викули, выходил на взгорок, нажимал глянцевые кнопки. В землянке звук плыл, поэтому говорил на морозе; конечно, с Лидией.

Она отвечала ласково, но коротко. И обыденными словами. В последний приезд Олега в город они встречались, однако встреча получилась скомканной. Лидия неуловимо стала другой.

Что-то в ней исчезло. Она присылала письма только в ответ, и никогда первой. Ласковые слова выбирала, как в школе: шаблонные, давно известные: себя называла лисичкой-сестричкой, его – волчок серый бочок. Это могло согреть, но не грело.

Разочарованно читал, без сожаления стирал холодные строки. Он надоедает, без своей моторной работы становится неинтересен. Лида, как и все, считает его несчастным изгнанником, достойным жалости. Коротко сочувствовала.

Олег злился. Она не могла поверить, что он впрямь неслыханно свободен, его не раздражают выдумки о браконьерстве; господи, какая чушь... Он купается в нирване, о какой давно мечтал.

Однажды в мартовский день, когда первые ручьи стали тут и там просекать распадок, шумели над ещё спящей Пчёлкой пронзительно, по-жавороночьи, со звоном и каким-то подснежным эхом, – в тот колдовской день послал письмо.

Наверное, глупо. Он написал не про никчёмную букварную лисичку-сестричку, а другое, от сердца и нежности: «Очень хочу снова пронести тебя на руках».

Лишь наутро упала и жалобно звякнула длинная эсэмэска от Лидии. Странно, она была на «вы»: «Безумно нежные строки вызвали безумно безобразную сцену. Забудьте этот номер, не звоните и не отвечайте на звонки с него».

Изумлённый Олег тут же позвонил, на служебный. Голос Лидии жестяной; она не хотела говорить, положила трубку. Олег снова позвонил; она снова отключилась.

Он растерянно думал. Сцена, почему сцена? Ведь он писал в рабочий час, когда Лидия, конечно, была одна в своём отдельном кабинетике, одна, как шоколадная конфетка в расписной фольге. А здесь получается, письмо пришло при муже, но как так вышло?

Наконец догадался, что эсэмэска просто зависла во времени, долго плавала где-то на орбитных воздусях. Такое было. Здесь, в деревне, связь терялась и путалась, особенно если сойти ниже в распадок. Месяц назад одно письмо бессильно опустилось к нему в телефон аж через сутки.

Видно, и здесь: текст, посланный днём, дошёл вечером или, хуже того, ночью. «Ну и что? – в горячке размышлял Олег. – Ведь ошибка, а не умысел, почему сразу на «вы»... Мог, мол, ошибиться адресом, нажать соседнюю кнопку, так могла ему сказать?».

Но всё ясней было, что промашка по-настоящему роковая. Представил, как бегает тщедушный Пепелов по ночной спальне. Одно дело подозревать, и совсем другое – удостовериться.

«С кем? И с кем, и с кем? – стонет и хватается за голову морщинистый безволосый Михаил. – Лучше бы с сантехником Ваней из третьего подъезда, чем с этим...». Ну конечно. Связь с Олежкой страшней, чем с арабскими террористами.

«Да ёлки-палки, – взрывался Олег. – Неужели она обязана показывать свои письма? Средневековье! Неужто он так её блюдёт, а она так от него зависит? Но всё былое говорит об обратном».

Пришла обида. Олег якобы не думал о Лидии, перед всеми инистыми берёзками поклялся забыть её имя. Ручьи на распадке чернее, шире. Мир менялся, но не радовал. Жизнь стопорила и тонула в лужах вспухающего половодья.

С неделю картина весны виделась испорченной, с дырой, которая порой мучает прожжённый солнцем глаз. Белая обжигающая дыра на небе, мыслях и чувствах. Режущая дыра, выкалывающая сознание и мозг.

Викуля всю эту неделю обретался в городе. Позвонила вдруг Мандарина и сказала, что Пепелов не против, если Олег вернётся.

– Разместишься со мной, – добавила, как самый лучший аргумент. – Будь в понедельник.

Кончалась пятница. Приехала Нина. Милая розовощёкая Берта сразу разглядела потерянность Олега.

– Возвращайся. Плохо будет и там, и тут. Но там ты нужней.

– Нигде я не нужней...

– Девка, что ли? – уронила понимающе; помолчала, и ещё тише: – Ну хочешь, останусь. Лучшее лекарство, знай.

– Да ты Василича на себе видишь.

– Тю, этим лошакам что ни скажи, лишь бы отвязались. Так останусь, небось?

– Да... Викуля не заревнует?

– Он нам как братик. Порадуется за тебя и меня. Только без ваших городских штук. Будем тихо, по-стариковски.

Большая, роскошная; живая перинка. Вышло вправду хорошо, по-родному. И стало легче. Ушла обида на Лидию – да и сама Лидия ушла, будто не было.

Нина проста, чиста, доверчива. Лежала головой на плече Олега, смотрела ровно и тепло:

– Когда снова будет тяжко, приезжай. Видишь, я не прорва. Это у меня только на языке дурь. А так я хорошая. Зря меня Юрик пушкой кличет. Да ещё немецкой.

– Он все ружья пушками зовёт, – смеялся Олег, обнимая её мягкий свежий преданный стан. – «Наши жёны пушки заряжёны». А ты лучшая из русских женщин. Юрик это знает.

– И ты лучший. Как тебя не любить, такого... Ласка моя. Медведик косолапенький, глазки чёрненькие, так бы и выцарапала от нежности. И весь большой, добрый. Буду Викулину печку помнить.

Наутро протопились, накормили задумчивого дымчатого восьмилетнего кота и уехали. Сугробы менялись топями, такими же бездонными и, казалось, вечными, как и сами снега до того.

Олег дивился, что не тронут этим непостижимым слиянием переменчивости и вечности, которое всегда его поражало в природе. Не думал ни о городе, ни о Пепелове.

Знакомая журналистская подёнщина не пугала и не тянула. Дырявое жжение в глазах исчезло вместе с мыслями о Лидии.

О ней не думал; как и не было. Легко открылось, что они – с разных планет, только и всего. И планеты эти взаимоотталкиваются. Зачем же терзать себя. Всё по законам мирозданья.

Её планета зовётся толпизм, их тысячи, у них правильные орбиты и они вовсе неплохи. Его планета зовётся одиночество. Удел таких молча лететь сквозь пустынный мертвенный космос.

Не разгадывал поступок Пепелова. Наверняка она заставила, из каких-то своих минутных импульсов.

Нина всю дорогу тоже молчала. Возле станции высадила из забрызганных саней, стряхнула с его куртки соломинки. Он обнял, поцеловал в загоревшиеся атласные щёки, в податливые губы:

– Езжай, Нина, не раз увидимся, хорошая. Лето впереди. Спасибо, душу вернула... А Викуля чтоб зайца не трогал.

Пахло набирающим силу сдобным апрелем, чисто-холодной талой жижей. Олег сел в электричку и понёсся к городу, этой раковой опухоли всего сущего.

Пепелов встретил слегка затравленно и облегчённо. Завёл Олега в кабинет, велел никого не пускать, продиктовал заявление о приёме на работу, потом, отведя угасший взгляд, сказал:

– Я, вообще, тупица. Тогда ночью побил всю домашнюю аппаратуру цифирную, смертно жену выпугал.

Олег ответил давно придуманное:

– Не ей я писал. Ошибся адресной кнопкой, пьяный был, прости, Викторыч, не хотел. Чёрт знает, как получилось, имена алфавитные, рядом. И слал не ночью, просто в деревне связь часто зависает. Днём ещё написал... почтальонше одной, так и объясни Лидии Петровне, пусть тоже простит. Почтальонше слал.

Ложь во спасение – не ложь. В таких случаях правда убийственно нечестна; и никогда её нельзя говорить.

Пепелов действительно на глазах изменился, расцвёл, мальчишечьи заулыбался.

– Мы с тобой славно поработаем, – сказал.

Смотрел на Олега, как на избавителя. От чего спасся? Забитый, вызывающий живое сочувствие человечек... Жена ли затравила, работа ли с её жуткими правилами, держащимися на страхе потерять нечто уютное... а на деле эфемерное.

«Вообще-то неплохой мужик. Ну слаб. Под гусеницами системы, этой вековечной табели о рангах, не такие гибли. А он держится, страдалец, людской облик не потерял. Маленький человек, самый притягательный типаж русских классиков».

– И попросите жену больше меня не беспокоить. Можно? Думаю, она не обидится. Диссертацию Лидия Петровна, по-моему, уже написала, – перейдя на субординационное «вы» (и вспомнив её «вы»), сказал Олег последнее, тоже приготовленное и необходимое.

Пошёл в кабинет, отведённый Мандариной, слушать её гробокопательские инструкции. Он тёртый, жжёный, жёваный, многим обломавший зубы калач. Окопник вернулся из медсанбата на передовую. Готов к новым ранам, контузиям.

В коридоре кидались с объятиями, с преувеличенной радостью. Но все хотели понаблюдать встречу с Жихарским. Тот не заставил ждать, вышел на шум, прилюдно протянул руку, сказал:

– Старик, я был не прав.

– Забыто, – ответил Чупров.

Он прочно спокоен, ничего не таилось у него против Андрея; знал, что они теперь не друзья; но ни в коем случае и не враги. Олег чувствовал в себе защитную перемену. Познал что-то не понятое раньше. Стал другим.

Оказалось, всё вокруг стало другим. Оказалось, город притих. Оказалось, ждут смены мэра.

19.

«В час ночи у подъезда сидел мужик и пел женский гимн «Виновата ли я...». Словно радио перед тем, как отключиться. Слёзный пьяненький голос одинокой мухой дребезжал в окнах спящей многоэтажки. Свадьба кончилась.

Апрельские свадьбы проводят по пятницам. Пятница кончилась.

Наутро с болящей любым градусом головой народ инстинктивно кидается к огородам. Надо глянуть, как помёрз (а он всегда мёрзнет) чеснок, надо сбросить с души зимние портянки.

Паводок ушёл, но его запах остался. На верхушках прозрачных деревьев развешаны знаки недавней стихии – пучки плывшего мусора. Будто гнёзда, сотни гнёзд.

Вода катила буйно. И асфальт, и пахота в волнистых песчаных наносах, лёгших красивым рисунком речного дна. Такая большая и мягкая стиральная доска во всё поле.

Былая трава прилизана водой, как темечко банковского клерка. Но это смертная прическа – её уже дыбит чёрный пал. Жизнь травы кончилась на высокой ноте: вымахавшая в прошлогодние дожди, она, давно потерявши сок и зелень, в последний свой месяц познала и снег, и воду, и огонь.

Пламя ползёт по склону балки, делая её живою военной картой. Линия фронта – лента огня – мажет чернотой завоёванное, пока вся балка не превращается из бледно-серой и бугристой в густо-сажную и на диво ровную.

Через неделю эти выжженные участки вдруг вспыхнут яркой младенческой зеленью и затмят даже вон те озимые, уже умывшиеся, и тот березняк, воздушный, светлый, с сотнями открытых всему миру сияющих стволов.

Снега ушли, а березняки остались светиться вместо них; могучие белые пятна на этой огромной сине-рыжей картине апреля.

Клочья недавних бетонных сугробов узкой строчкой лежат на дне балки. Взятые в ладонь крупные кристаллы снега полны вкусной влаги. Они тяжелы и тусклы, уже теряют цвет, но не теряют красоты, они прохладно-благородны и мутновато-прозрачны, словно старый бабушкин жемчуг.

«У ровах снег и до лета долежит», – говорит соседка, и я замечал, что и сам в разговоре с удовольствием говорю «ровы» вместо «рвы».

Соседский сын в болотных сапогах и в сопровождении куцей собачонки ходит вдоль разлившегося ручья, здесь после половодья можно загарпунить зашедшую с реки нерестовую щуку.

«Да какая там щука, это я лягушек для собаки бил...».

И не угадать, шутит, нет ли. У собачонки пузцо пухлое, мокрое и глаза в сторону.

Стоим, курим, смотрим с высоты на потухший пал, на пойму ручья, уже почти очистившуюся от воды. Только в трёх странных кругах диаметром метров по двадцать влага ещё стоит.

Давно я хотел спросить у соседа про эти круги. Будто гигантской сковородкой на полметра в землю вдавленные, дно ровное и трава в них всегда чуть свежее, чем на пойме, и потому ровные те круги всё лето резко выделяются глазу. Уж не инопланетянство ли наше любимое?

«А бомбы это, – отвечает сосед. – Немцы, когда их уже отсюда выбили, кинули фугаски на деревню. Мы в детстве в этих воронках купальный сезон начинали. Вода от солнца теплющая! Так матерям и говорили: пошёл в бомбе купаться... Теперь их илом да травой затянуло, вот и всё инопланетянство».

Нынешней весной он мне про это рассказывал или прошлой? А может, позапрошлой? Сошлись вёсны в памяти, смешались их чистые дыхания в один неповторимый аромат. И одно и то же чувство, и одна и та же мысль вздрагивает в глубине сердца: господи, как хочется жить! Как хорошо жить!

В промозглом декабре в посадках спилили целый ряд берёз. Оцепеневшие стволы почти не почувствовали боли – помирать так помирать: разве это жизнь на морозе да холоде? А пришёл-разгорелся апрель – и погнали ничего пока не понимающие корни наверх свою сладкую кровушку.

И полились из ещё живых пней неизбывные потоки слёз. Виновата ли я, говорит каждая берёза. Мне так хочется жить. Так хорошо жить...».

20.

Несчастен город, оставшийся без поводыря. Сотням рук вдруг нечего делать. Бесполезным, никчёмным видится привычное аплодирование. Смешны овации, главное упражнение этих трудолюбивых рук.

Как пчёлы, покинутые маткой, бесцельно ползают чины по сотам большого города-улья. Судорожно толкаются лбами, бросают друг дружке бессмысленные реплики, инстинктивно боясь однако же сказать лишнее. Мысль у каждого одна: что со мною теперь будет. Не с городом, не с державой – что будет со мной.

Страх, похожий на лягушиное оцепенение перед немигающим лазерным взглядом ужа. Тихая вселенская паника. Каждый пробует угадать, что ближе новому властителю.

О прежнем мэре никто не думал. Прятались, ускользали от его взора. Он, невинное престарелое дитя, в полнейшем недоумении. Отчего столь жестоко? Ведь произнесено кодовое слово «преемственность»...

Да, хоть произнесено, всё равно прежнему городскому вождю всегда ни к чему быть рядом с новым. В губернскую управу его не переведут, по старости, значит, он должен исчезнуть, убраться на дальний покой, равнозначный уходу из благолепного бытия.

В квартире, словно в наполненном аквариуме, плотное беззвучие. И на дне лежит захлебнувшийся Комков.

Когда Манохин пришёл к нему домой, увидел обрюзгшего деда, нисколько не похожего на властелина. Как мудрые годы сравнивают людей низших и высших... И стоит снять эфемерно-условную шкурку власти, сами эти определения «высший-низший», «первый-последний» мгновенно становятся неуместны.

Комков радости не стал прятать. Приобнял:

– Ты единственный за неделю. Все продали... Спасибо, – помолчал, доверительно добавил: – А ведь отлично знаешь, я никому не отказывал. Кто приходил, любому помогал.

«Не делай добра, не наживёшь врага», – вспомнил Манохин.

– Полученное добро, как бремя. Того, кто сделал тебе добро, люди часто начинают тихо ненавидеть, – ответил сочувственно.

Тут в дверь позвонили и вошёл кто бы вы думали? – Пепелов.

Уж этот-то, едва-едва спасшийся! Он теперь мог ничего не бояться и публично топтать умершего льва. А он подошёл, остановился в метре, сделал полупоклон и дождался, когда Комков, как и положено по законам субординации, первым протянет руку.

– Это уже будто заседание теневого кабинета, – пошутил Комков и, конечно, вытащил коньяк: – Ну, вы можете от работы от своей государственной оторваться, с пенсионером побалакать?

Говорили не о делах, а об охотах-рыбалках, о женщинах. Так, по-дедовски. Манохину нужно было уходить, но он остался.

– Спасибо вам за всё, – сказал Комкову Пепелов. – Вы были очень хорошим руководителем. Вы были именно на своём месте.

– Эх, мужики, вам ещё предстоит узнать... Власть приходит абсолютно случайно. Что такое власть? Ну, власть это голова, да? Так вот, я, может, был создан вовсе не для головы, а для... ну, допустим, для заднего прохода. А взяли и прилатали. Я вместо «п» произносил «пф», особенно в молодости, когда горячился. Вот и заставляли с трибуны выступать дело не по делу, чтоб позабавиться. Никто меня конкурентом не считал, какой докладчик из ше-

пелявого? Двигали безбоязненно и додвигались. Жизнь случай. И приход во власть тоже случай.

«Мозги из заднего прохода, это он здорово, – подумал Манохин. – Только умница про себя так пошутить осмелится. Нормальный мужик, да и не ворюга по нашим временам».

Словно услышав, Комков сказал:

– Гляньте на хватеру. Как раньше у инженера советского. Ну да, есть всякие там дачки. Если бы их не заимел, ссадили бы. Это так вроде положено сейчас. А для кого, для чего? Детей нет. Вот племянницы и будут проматывать. Уеду, ладно. А вы держитесь. Трудно не скурвиться, но вы сможете. И ты, Мишка, сможешь.

– Нет, я ему благодарен: не погнал, как собаку, простил, – сказал Пепелов, когда они с Манохиным вышли. – Только за что, не пойму, прощать, что я ему тогда сделал?

– Ты молодец, что снова того парня взял. Ну, этого Олега Чупрова. По-моему, неплохой пацан. А знаешь, с чьей подачи я тебе позвонил-то насчёт него? С подачи твоей жены. Интересная она у тебя. Связывается и говорит: испытываю, мол, потребность в общении с вами. Она у тебя кто, лингвист? У меня сестра такая же, слова в простоте не скажет. Испытывают потребность, понятно? Гм... Вообще, симпатичная, передавай привет, хорошая женщина.

– Плутовница, – махнул рукой Пепелов. – Всегда так выражается. Я из-за того парня половину аппаратуры переколотил. Как она потом сказала: «довольно дорогостоящих вещей». Да я специально побил так много. У жёнушки есть слабость овечья: прижимистость. И она знает, что Олежка презирает жадин. Проведает и на неё даже не взглянет. И она, ты понимаешь, боится того.

Манохин жестом попросил замолчать, но Пепелов жестом же попросил продолжить. Видно, и сказать про личное бедняге некому.

– Так представляешь, жадность в ней победила только поначалу. А потом отошло, стала опять о нём думать. И придумала. Через меня убоялась просить, чтоб его вернули, а к тебе пошла.

– Ну вы даёте, – сказал Манохин. – Прямо испанская классика. Чего ты побил хоть там у себя?

– Пару компьютеров расколотил. А потом так, по мелочи. Но довольно дорогостояш-шие вэш-ши.

Они отпустили машины и шли по городу неторопливо.

– У нового мэра сейчас, небось, целыми делегациями в приёмной сидят, – без паузы продолжил разговорчивый пьяненький Пепелов. – Докладывают друг про дружку. Может, про меня уже доложили. А жена, если без должности стану, быстро меня в отстав пустит, – вздохнул Михаил; видно мысли о жене его томили постоянно.

Он принимал действительность как данность; а именно, что жена безумно красива, безумно молода, а он щупл, глуп и лыс. Надо иметь ум, чтоб осознавать себя глупым. Было видно, что Пепелов не боится потерять работу – он боится потерять Лидию.

Михаил толковал, что мужикам-скаредам легче. Мужик напьётся и швыряет деньги по столу, избывая скаредский комплекс. Прижимистая женщина изживает скопидомство труднее.

– Когда она задумает себе что-то купить, сначала меня изнарядит, потом тихо скажет: «Ну надо и мне что-то». И купит нечто с пятью рукавами, а ты молчи. Она же смотрит на вещицу и говорит: «Жалко денег». Деньги любит

раскладывать веером, как колоду карт, и чтобы всё новенькие, сверкучие, без морщинок.

Пепелов бормотал под нос, почти уже и не для Манохина.

– Домик деревенский продала за копейки. Ну и решила, раз копейки, так и нечего делиться. А родственники деревенские обиделись, что полкопейки им не дала; обозлились. Деревенские такие: считают, если выбился в город, значит обязан их всю жизнь прикармливать. Я сам сельский и родичи до сих пор меня доят, хотя по пять поросят у каждого.

«Странный несчастный человек, – думал Манохин. – У каждого и вправду есть скелет, спрятанный в шкафу. А мы всё толкуем о счастье. Счастье это отсутствие несчастья, давно же сказано. И вот этого-то «отсутствия» практически ни у кого нет. У всех «присутствие» – того самого скелета в шкафу...

Пепелов примолк, заглянул в невидящий взор Леонида. Видно, вопрошал, не надоел ли.

«Хотя что уж его несчастья против моих? Ничто... Э нет, Манохин, не скажи. Чужую беду руками разведу? Сейчас придёт на работу, увидит жену в объятиях Олежки – да и кинется из кабинета на асфальт, и всё... А ты, Манохин, скажешь, что он, в отличие от тебя, был счастлив; и с чего, с какого жиру взбесился... Да так и обо мне, если что. Мы кто, мы счастливцы, буржуи в глазах хоть вот этого прохожего. И это мы, сами не желая, взращиваем отчаяние в их глазах. И у каждого из них целые короба несчастья».

21.

«ПЯТЬ ДЕТЕЙ И СТО ЛЮДОЕДОВ. Тут всё, как в сказке, – то есть чем дальше, тем страшней. Алозоренское село Медвежье тонет в дремучем земном разломе, похожем на разинутую медвежью пасть. Даже зори здесь в цвет кроваво-алого звериного оскала.

Когда-то здесь наверняка жили шатуны-людоеды. В крутых витых дубовниках хорошо прятать истерзанную добычу. В ручье, протёршем дно до праисторических камней, удобно омывать клыки от костных осколков и хоронить свой след от собак.

Пасть времён поглотила мохнатых людоедов. Люди остались. Сменив медвежьи шкуры на пластмассовые стёганки, они до сих пор живут как встарь: корчуют пни и топят ими дымные свои убежища.

Однако топка очага превратилась в муку. Рубить лес на дрова запрещено. Нужно особое позволенье, именуемое лицензией.

Кто выдаёт такое позволенье? Ну уж, конечно, не злые облезлые людоеды, а прямо наоборот: добрые пушистые людоведы.

Это слово выдумали шалуны-сочинители. Означает оно штуку простую и глубокую: ведать людей. По такому примеру и все, кто считает себя главным, полуглавным или просто с портфелем-должностью, сочли себя людоведами. Любой самый мелкий чин призван служить благу людскому, это ещё с петровской табели о рангах повелось.

Ну ладно, как ни назовись, только дрова подай. С тем и едут медвежьевцы к лесным людоведам.

А лесная контора не в родной Алой Заре, нет! Дёшево взять хотите. Оно, глянцевое лесное стойбище, прямо у нас в городе, за тридцать километров.

Разрешение дают, только плати; место указывают то с выездом, а то, если распутица, по карте или просто на пальцах. Перепутаешь – будешь считаться самовольным вырубщиком. Всё правильно, всё во благо высших государственных задач.

В Медвежьем люди покладистые, законопослушные, бумаги выправляют вовремя. Да вот не подрасчитал Александр Огнин. В январе ударили морозы, щелястый дом-перестарок выстуживался, поэтому и уголь, и дрова кончились раньше намеченного.

У Александра Даниловича пятеро детей, все сыновья. Старшему девятнадцать, младшему шесть. Сам на тот момент безработный: кризис надолго остановил работу карьера, где Огнин трудился бульдозеристом. Из денег одно материнское пособие.

Дверь в зал плотно запечатали, разместились всемером близ печи. Бесполезно – печку ведь топить надо, а чем... К городу за лесной разрешающей бумагой не проедешь: сугробы, пурга.

Отец смотрел, как жена Людмила отдаёт своё одеяло девятилетнему Андрейке и шестилетнему Серёже, жалко прижавшимся друг к другу; видел, как крепятся четырнадцатилетний Женя и шестнадцатилетний Шурик, уже считающие себя взрослыми, но тоже дрожащие, будто лепестки.

Не будем нагонять слезу; отец сделал то, что должно: накануне Крещения завёл трактор и белым днём (именно днём, потому что Огнин, по твёрдым свидетельствам соседей, никакой не вор) выехал за край села и там, средь неухоженного гнилья, спилил два бросовых корявых дуба – подобные убожества здесь так и зовут: коряжики.

Приволок к дому, распилил на катышки – ими думал топить неделю, в которую и к городу можно было бы прорваться.

Однако жизнь наша сказочная устроена занозисто: средь ближних твоих всегда найдутся особо бдительные, готовые «на честность». Вот так же честно и тихо кто-то шепнул мирно дремлющим властям о самовольной порубке Огнина.

На всех кустах-постах встрепенулись! Во всех кабинетных берлогах азартно прокинулись! Закипели благородным возмущеньем разномастные людоведские сердца!

Вздирая служебными вездеходами глубокие медвеженские снега, ринулись на тот берег непроходимого разлома галстучные лесоведы и погонистые правоведы. Сурово фотографировали, составляли акты. Не боясь озябнуть душой и телом, смело вошли в студёный дом и, дуя на ладони, учинили допрос порубщику.

– Почитай, всю крещенскую неделю сюда ездили, – говорят соседи Огнина. – Лучше бы газ помогли в дома провести, а то трубу на улице уложили и денег от нас ждут. Полтора года назад у нас трёх телят со двора кто-то ночью увёл. Так выслушали, а через месяц бумагу присылают: никого не нашли, дело закрыто... Да штук шесть таких покраж здесь было, и ни разу милиция воров не отыскала. А тут глянь-ка, преступник готовый! Разве упустят...

С особым чувством смотрел на отработанные процедуры приезжих людоведов старший сын Юра. Год назад он готовился в армию. Шёл с охотой. Сейчас это редкость. Но не взяли из-за неполадок в здоровье и к тому же... из-за серьёзного недовеса.

Юра жалеет, ему хотелось послужить Отечеству. Теперь он, наверное, думает: какому отечеству? И как – как вот эти служители? И захотят ли его младшие братья, когда подрастут, вот так служить?

А отец наверняка подумал: тут просто старательные исполнители, а правда и защита выше, и потому Отечество всё равно пишется с большой буквы. И пошёл наш Александр Огнин прямо к главному местному людоведу по кличке Псюшкин:

– Из-за детей ведь, из-за сыновей...

И ответил людовед проникновенным медвежьим голосом:

– Не надо было столько рожать.

Надо ж как выучился популярной человечьей фразе. Обычно за такие антидемографические слова хлыста дают, а Псюшкину, видать, сахар – как и положено по законам дрессуры.

Впрочем, многие демократские людоведы сахар сами хапают – всей лапой-пригоршней. В прошлом году мы говорили в эфире о сотнях сосен, вывезенных на продажу, сфотографированные номера грузовиков назвали. И что? Ничего! Вывозчиков не нашли...

Сотни украденных породистых сосен – и два дубка... Десятки гектаров бездарно сгоревших лесов – и пять мёрзнущих мальчишек. Великая держава – и пять будущих защитников Отечества.

Многодетная семья, на которую по нынешним временам надо молиться, записана в воры. Семья, о которой до того никто плохого слова не сказал, раздавлена людоведческой машиной.

Машина сильна и работает бесперебойно. От этого возникает чувство ирреальности, как при чтении романа «Процесс» великого сумасшедшего Кафки. Всё логично, всё законно – и полный ужас, полная чудовищность.

Людмила Сергеевна не смогла получить пятисотрублёвое школьное пособие к первому сентября. Нужно собрать тараканью массу справок. Не смогла – а любой людовед скажет: не захотела.

Да матери это несчастное пособие на блюдце должны были принести! Но это в нормальном обществе, а не в кафкинском.

Мировой судья посёлка Алозорье А.Ю. Кожуряка без сомнений приговорил А.Д. Огнина к ста двадцати часам обязательных работ. Затем Александру сообщили, что он должен уплатить за «дуб черешчатый сырорастущий» более сорока тысяч рублей.

Не уплатит в десять дней, опишут имущество. Срок истёк.

Во дворе Огниных ссыпано несколько кубометров аккуратно распиленных чурбачков. Их буквально в день нашего приезда привезла алозоренская соцзащита.

Но к чему эти дрова сейчас, в двадцатиградусную апрельскую жарынь? Жалость тут запоздалая или насмешка? Ни то, ни другое – просто по району пошёл нехороший резонанс. Даже вездесущие правозащитники заинтересовались. Ужо будет всем!

Вот какая «медвежуть». Мультик с таким названием смотреть смешно. Реальную сказку с таким названием слушать страшно.

Лучше бы вместо добрых старательных людоведов вернулись мохнатые медведи-людоеды. Хоть сто их будет – народ не испугается. Ведь косматых шатунов на рогатину посадить можно. А наших приглаженных и дубьём не взять. За то дубьё тебя и уроют».

22.

Олег сидел у Марины-Мандарины в предбаннике с отдельным телефоном. Позвонила Лидия.

– Спасибо за мальчиков, – тон прежний ровный. – Ночь не спала. Ради таких передач стоит возвращаться, не правда ли?

– Благодарю и вас. Наверняка это ваша идея вернуть меня.

– Испытываю потребность в общении.

– Ого! Я снова в вашем списке нужных людей?

Раньше язвительности не допускал. Она смиренно ответила:

– У меня нет никакого списка.

– Отчего же... Я в нём значусь сразу следом за Крыжом. Он пару месяцев назад хвалился точно такими же вашими словами. Вы звонили Крыжовичу. Он рассказал. Это было очень весело слышать. Я – и Крыж... В одной упаковке-монографии.

Лидия молчала. И он молчал.

– Хочу знать, кто эта почтальонша, – сказала Лидия.

– Она прекрасная женщина.

– Молоденькая?

Не слыша ответа, вздохнула:

– Насчёт Крыжовича неправда.

– Правда. Он разочарован вашей встречей. Говорит, простенькая эта Пепелова. Я ей, мол, про историю ассирийцев, а она всё перебивает: «Съешьте вареньица, сама делала, что не едите, коллеги хвалят». Вот как вы его болтливый рот затыкали.

– Каюсь, так и было... А она интересная?

– Что, ассирийская история?

– Не издевайтесь, Олег Иванович... Я хочу знать о ней.

– Вашего хотения мало. Нужно ещё моё.

Глупый отчуждённый разговор. Растерянное дыхание, ранящие фразы. Неужели чужаки?

Из-за двери спасительно крикнула Марина.

– Простите, Лидия Николаевна, матушка-начальница зовёт, – и Олег положил трубку; надо было ещё раньше, она ведь тоже однажды-дважды положила телефон, не договорив.

– По твоим людоедам уже принято решение, – сказала Мандарина. – Новый мэр попросил губернатора снять Псюшкина, поселкового главу алозоренского. И сняли. Сроду так быстро не было. Поздравляю.

– Это просто совпадение. Начало кадровых перемен.

– Теперь ты фаворит, – повернула Мандарина. – Завтра поедешь с новым мэром в его рабочую поездку по пригороду.

– Езжай сама. У меня от многого начальства клаустрофобия. Со страху схожу по нужде прямо под озимые зеленя показательные.

– Дурак ты, Олег, – вздохнула Марина. – Говорят, ты раньше вставал при дамах. Тебя все хотели расцеловать за выпуклые зрачки и плешь нимбовую. А теперь куда ты годен, грубиян.

Вновь позвонила Лидия:

– Она вправду лучше меня?

– Она умеет двигать интимной мышцей, – жесточайше соврал Олег. – Таких женщин в Древнем Египте тотчас вели к фараону, не глядя на возраст и внешность. Это вам не ассирийские сказки.

Лидия бросила трубку. «О, третий раз. Криминальные манеры».

Снова позвонила:

– Почтальонша не может быть женщиной.

Голос надтреснут. Такое случалось редко – лишь когда Лидия напрягалась. Обычно голосок её, как ровная дорога; приятный, без сбоев. Но стоит ей немного заволноваться, и голос скрипел.

Олег положил трубку. «Квиты. Пусть у меня тоже манеры».

Зашла Марина:

– Вы с Пепелом оба дураки. Крыж умнее, уже был у нового.

– И тот его обнял, облобызал?

– Нет, спросил, чего тебе надо. Крыж ответил, мол, хотим плодотворно сотрудничать. Мэр ответил, что будем, и отпустил ни с чем. Но зато Крыж вовремя засветился.

Позвонила Лидия:

– Я берегу Флинта и Умку.

То были две мелкие стеклянные безделушки, тюленьчик и медвежонок. Полгода назад Олег подарил их Лидии и она поцеловала мизерные мордочки своими пухлыми крашеными губами.

– Привет им. И пожалуйста, пощадите мужа. И меня. А Снегурка у Марины Анисимовны; надёжно, как в консервной банке.

С этим взял со стола подарок Лидии, фарфоровую Снегурочку с беленькой шубкой-распашонкой, потому что Снегурка была колокольчиком, – и отнёс на стол Мандарине.

Та по своему обыкновению преувеличенно вздрогнула:

–Ты считаешь меня настолько отвратной, что уверен, будто она не выдерет мне волосы?

– Она сюда больше не придёт, – и Олег ушёл.

Колокольчик-Снегурка, бывшая с ним всю зиму, жалобно посмотрела вслед. Марина взяла её, качнула, глухо звукнув, и сделалась несчастной.

23.

Жихарский шёл по городу поздним вечером. Из-за угла вынырнула высокая, очень знакомая фигура. Мысляков, один из кастратовых, то есть бывших заместителей Комкова. Он два года сидит в тюрьме. И глянь, вдруг собственной персоной.

– Доктор! – радостно кликнул Андрей. – Никак осломонили?

Мысляков остановился вполне свойски. Прежде он был рубахой-мужиком. При встречах, прежде чем пожать руку, делал шутливый жест с намерением будто бы схватить приятеля за мошонку. Став большим чином, с трудом отучился от той привычки.

– Пускают к дому на ночевье. Полсрока прошло, пригоден к амнистии, надеюсь, скоро совсем выпустят. Как там кормовище?

– О, у вас там лучше прежнего. Все стерильно вежливы, как в советских фильмах. А сейчас вежливы просто небесно, даже с машинистками все такие показательные-показательные.

– Знамо, кормовище обязывает, – сказал Мысляков и вынул из пазухи тетрадку. – А я вот диссертацию написал для внучки. Аспирантка, защищается скоро. Последние подправки в монографию ей несу. Учёный совет уже и дату защиты утвердил.

– Молодчага, доктор!

Мысляков когда-то сделался доктором филологических наук и, придя во власть, тискал умные учёные статеечки в газетах.

И подписывался не кастратов, не заместитель городского главы, а непременно доктор филологических наук. Поэтому Жихарский называл его доктором и подначивал:

– Когда поверишь, что ты доктор наук? Так настойчиво подписываются те, кто никак не может поверить в своё счастье.

Сейчас Мысляков угадал эту засветившуюся в глазах Андрея подначку и придал худощавому лицу серьёз:

– Хорошо, что тебя встретил. Там в учёном совете новенькая есть. Жена

Пепелова, странная особа. Единственная может хай поднять. Я цитат из её работ насовал во внучкину диссертацию. Но боюсь, не поможет. Как бы уломать, чтоб слегка помолчала на защите. Вздорная бабёнка, но кого-то ведь слушает...

– Ага, понял, – кашлянул Жихарский. – Только Пепел на неё влияния не имеет. Зато моя жена с ней как бы дружит.

– О, Аллочка! Самый тёплый привет ей. Пусть с этой поговорит, отблагодарю. А фрагментик диссертации тиснуть или по радио там... Пособит при защите. Публикация в СМИ! Такая галка!

– Пепел побоится: тебя, зека, через тот фрагмент расшифруют, как родича, – ответил Андрей. – Есть Крыжович, на радио частном. Мы вместе боролись против комковщины...

Жихарский сказал это совершенно обыденно, не шевельнув ни единым лицевым мускулом.

– Вот его телефон, и пускай внучка завтра ему самый умный фрагментик отнесёт, с приветом от меня. Он и коротенький учёный диалог с нею запишет, и в эфир быстро даст.

Мысляков взял листок с номером, в благодарность улыбчиво сделал знакомый жест к мошонке, потом пожал руку.

– Выходи быстрей, – усмехнулся Андрей. – За решёточкой научные труды, как дедушка Ленин, пишешь; значит, терпимо.

– Я всё-таки кастратов былой. Дают послабку. Всё везде понимают. Сдал меня шеф, конечно... Ну, бог ему судья. Ладно, мои ждут. Не говори, что меня видел. Жене так, круговым обиняком.

Разошлись. Жихарский побрёл мимо древней тюремной окраинной стены, оказавшейся с годами чуть не посерёдке города. Алла весть об «услышанной от третьих лиц проблеме Мыслякова» встретила с энтузиазмом.

– Надо помочь! Ты с ним дружил не как с чиновником, а как с человеком. Обязательно поговорю с Лидочкой.

В последнее время жена была почти в трауре, смену мэра приняла как катастрофу для её Жихи. Сейчас воспрянула. Наутро позвонила Лидии, медленным кладбищенским голосом попросила о встрече где-нибудь «в приличном сквере» и поплыла по улице. На ней была плоская розовая шляпка, изящный аналог скромного гриба сыроежки, и, конечно же, верная тёмная вуаль.

Эта вуаль вообще-то подвела Аллу, потому что в намеченном приличном сквере, едва она приготовилась сесть на намеченную приличную скамейку, к ней подошли два милиционера и поинтересовались документами.

Алла всею своей трепетной душенькой возмутилась. Когда-то она сама пугала милиционеров, приходя за пьяным Жихой в участок именно в этой вуали. А теперь вот так, вдруг...

– Что случилось? – трагически спросила она.

– Документы разрешите.

У неё в сумочке теснилось много чего, практически всё, кроме документов.

Но тут подошла Лидия, благополучно разъяснила. Стражи откозыряли с извинениями, сказав, что у них особые инструкции, поскольку по земному шару бродит призрак терроризма; и везде, даже на примерном Западе, воюют с закрытыми повязками, с паранджой, за которую мундирные ребята и приняли мирную вуаль.

Минут десять Алла приходила в себя. Затем увидела то, что следовало обнаружить в первую секунду. На Лиде была белая, длинная, тонкая плис-

сированная юбка. Алла забыла о бесцеремонных блюстителях, помолчала и кончила следующим:

– Лидочка, а нельзя купить у вас эту миленькую юбку?

Лида втрое тоньше подруги и в полтора раза моложе; но знала её невинные слабости и вида не подала; отказала коротко, ласково.

Разговор о диссертации мысляковской внучки не получился. Лидия не стала слушать; вежливо перевела беседу на другое, расспрашивала об Андрее. И Алла забыла, зачем пришла, успокоилась, спросила о новой власти, однако и тут ничего не добилась и не обиделась.

Обеденный перерыв иссяк, Лидия обняла подругу, ушла – и тут Алле позвонили. Просили явиться в мастерскую такого-то художника по такому-то адресу, поскольку её муж Жихарский Андрей Степанович нуждается в сопровождении домой.

И она в вуали через весь город привычно повела шатающегося Жиху, привычно силящегося якобы броситься с моста. Утром муж был хмур, мрачен. На любящий взгляд жены сказал, что не хочет жить, потому как рядом на этом свете живёт светлый Олежка.

Такие заявления означали, что Андрей на работу сегодня не пойдёт; и как его ни закрывай в квартире, он напьётся и сегодня. Получалось, Олег Чупров становился бесом, гасящим всё бытие.

Лицо мужа пересекал сабельный удар. То был живописный след беличьей кисти художника. «Бог знает, что за творческие споры случились вчера», – сказала Алла; и поняла, что надо поговорить с Олегом, остепенить. И задумалась, как по этому поводу нарядиться.

24.

Май роскошно разгорался. Однако всё портил душевный неуют. И Олег, не готовясь, позвонил Лидии. Она ответила холодно:

– Что будет угодно?

– Угодно знать, как поживаете.

– Вашими молитвами.

– Жаль, что мало молюсь, – сказал Олег и отключился.

Затем случайно встретились на берегу, на бойком месте близ священного властительного дома.

– Я не искал встречи, – зачем-то предупредил Олег сразу.

Она молчала и смотрела лунатически.

– Иду с защиты диссертации, – сказала после паузы. – Я в шоке. Защитилась внучка Мыслякова. Все знали, что он за неё написал; и кивали, и хвалили. Я задала несколько вопросов, на которые она, конечно, и близко не смогла ответить. Но на меня даже зашикали... Я в их глазах выгляжу неприлично. Как, мол, так, несчастный человек, писал кровинке диссертацию, возле параши, жертвуя здоровьем. А я, такая непорядочная особа, смею высказывать замечания. А они, этот диссертационный совет, все такие честные, несгибаемые. Поскольку наука для них, конечно, превыше всякой власти... Олег... я в шоке.

Он притянул её и поцеловал долго, успокаивающе. Она секунд пять была недвижна, потом часто задышала, прильнула. Майская листва, клейкие листочки прилипли к их плечам, сквер над ними сдвинулся. Олег смотрел, обнимал, не отпускал. Отпускать нельзя, надо через себя вернуть ей силы:

– Ведь эти диссертации никто, кроме вас, тамошних, не читал. И никто никогда больше не прочтёт. Вот вы их помусолили – и всё.

– Понимаю. Но... дико. Кандидатами делают внучек, больных сыночков, невесток.

– Это лженаука. Она всегда будет.

Лидия смотрела, не слушая; уже ждала другого. Он вновь прижал, её ухоженные рыженькие локоны с длинными прозрачными серёжками-висюлечками мягко и сухо щекотали ему шею.

– Знаешь... Нас свёл Бог. А случайный мелкий бес развёл... Хорошо, что мы сейчас встретились. Но прежнего, видно, больше не будет. Изменилось многое, очень многое.

– Смотри, уже сирень! – прервала она. – Так рано...

Олег поднял руку, сорвал две веточки, подал Лидии.

– Какие волны... – вдохнула она аромат; и поникла.

Молчала, прижимая сирень к груди.

– Жихарский смотрит затравленным волком. Приходила Алла, что-то от меня хотела. Что я им сделал, не могу понять. Конечно, я своим существованием им теперь мешаю. Как укор... Но ты знаешь, это вправду от меня далеко. И теперь знаю, что всегда будет далеко.

– Ты два раза проходил по улице мимо меня и якобы не заметил. Зачем так, мы же друзья. Всегда будем друзьями, верно?

Он чуть усмехнулся:

– Ну пожалуйста, будем играть в друзей. В возлюбленных поиграли. В друзей давай попробуем. Пока тебе не наскучит.

Лидия выдержала, ровно переменила тему:

– Снегин прошёл в депутаты, продлил неприкосновенность.

– Знаю. Странно, что такие люди для меня ещё существуют. Думаем о них, а не о сирени; ведь растворимся, как эти её волны.

– Твои передачи у меня в памяти. Некоторые фразы даже снятся. Почему так?

– Значит, для тебя написано и сказано. Для тебя.

Она заглянула в глаза:

– Смотри, у меня губы не накрашены.

– Нет, не будем больше целоваться, не надо, извини, милая моя. Знаешь, что-то впрямь произошло. Пепелов стал больно жалок.

– Ах, не в Мише дело, а в почтальонше твоей...

– Не порть встречу, умоляю, не говори так.

Но беседа была испорчена. И наверное, не ею, а им.

25.

Они расстались, и Олег забыл о встрече. Утром вспомнил и очень удивился, что забыл. Два месяца назад сходил с ума от мыслей об этой женщине. Это было пожиравшее его пламя. Сейчас же всё кануло, как в полымя. Он видел даму, у которой отняли игрушку. Не шибко любимую, но свою. А отняли – и она в немой стандартной истерике.

Она вообще открылась какой-то стандартизированной. Все обороты: «волчок серый бочок» и прочее – всё истёрто, захватано. И очень уместно. Стандарт самая уместная штука.

Ничто злое не тревожило Олега, радость свободы была инстинктивной. Лишь удивление владело им: как безболезненно схлынула с него недавняя дурота. Не хотел больше разбираться в её свойстве доверчиво хватать первый смысл, когда в каждом слове, фразе всегда есть несколько смыслов. Смешная наивность с незабудками... И тут же этакая себенаумешность, веж-

ливая скрытность, таинственная лёгкость двойной жизни. «Себе на уме» плохая черта, а в Лидии приятна. Но и тут Олег не желал копаться.

При мысли о Лидии часто невольно вспоминал о матери. Родительница, несчастная музыкантша-композиторша, в порывах откровенности говорила:

– Сынок, не связывайся с женщинами, лезущими, как я, в творчество. Помни, что история, в общем-то, не сохранила имён великих художниц, писательниц, музыканток. Зато много в истории женщин, что вдохновляли великих художников, писателей... Из этого следует простая вещь: женщина должна вдох-но-влять, это её величайшее предназначение. Потому не гонись за творческими девами. Видишь, что из меня стало, из глупой гордой бабы. Все мои одарённые поклонники нашли других вдохновительниц, добрых и понимающих. Ни образование, ни талант тут не играют никакой роли. Важно только женское всепрощение.

Это говорила мать, женщина дёрганая и бездарная, как она сама понимала. Жестоко жалела, что не смогла никого вдохновить, всю себя истратила на собственное вдохновение-пустоцвет. И эти горькие слова говорила взрослеющему сыну честно, вымученно, желая охранить его от очень тёмного и рокового.

И Лидия виделась Олегу не вдохновительницей, а такой же неудачной творуньей. Он не сможет ей объяснить, что с ним происходит. Просто Олег понял, что надо делать в этой жизни. Надо лишь смотреть на жизнь. На воздух, солнце. Не истреблять себя беготнёй и своими так называемыми страстями. Выпукло-вогнутыми, дешёвыми.

Молодость вспоминалась как двухмерное пространство. То есть, третьего измерения, дающего объём, просто не было. Живущее в третьем измерении бегало на плоском двухмерном листе смутными тенями, двигалось хаотично и непонятно. С годами, счастливо обретя объёмность жизни, Олег увидел, что большинство так и живёт в двухмерном мире, судя обо всём по теням, суетливо ползающим на их узкой плоскости.

«Нет, третье измеренье видят все, но каждый по-своему, – возражал себе. – И потому у каждого свой объём и пространство, по-своему искривлённое; в итоге своя планета. И в итоге беспросветное непонимание друг друга. Ведь каждый с чужой планеты».

Люди считают себя вершиной эволюции, совершенством. А между тем ничто не меняется. Когда-то Олег прочёл «Записки о Галльской войне», затем «Историю государства Российского». Был потрясён, что и галльские племенные цари, и славянские племенные князья, жившие через полторы тысячи лет, одинаково подличали, мелко предавали и одинаково гибли из-за той подлости да жадности.

И сейчас, когда жадность стала высшей ценностью, когда, кажется, из самого воздуха раздаётся клич: «Будь жлобом! Пожирай! Ты не жадина? Значит, ты неудачник!» – Олег чувствовал, что это опять не ново, просто очередной нарыв массовой психики.

Снова сердечный нерв, отвечающий за человечью совесть, разорван – и первобытная дичь животной, стайной жадности хлынула из гнойного нарыва, накрыла землю.

Люди толкуют только о жадинах. Газеты клеймят только жадин. Все осуждают жадность. Но те осуждатели сами жадины, поскольку это для них самый главный интерес.

«Нет, опять не то, – противился Олег. – Тут всеобщий стон о справедливости. Миллионы обездолены, как им молчать? У них отняты кусок хлеба и

элементарная крыша над головой. Как не злиться на жлобов?». Да, как не злиться на медийных жлобов, у которых слово «коррупция» вдруг стало любимейшим! «Что поделать, коррупция...». «Что поделать, взяточники...». Во всех эфирах с усмешкой обсуждают размеры взяток – со сладострастием, с разлитым в воздухе извращением; уже не замечаемым, вдыхаемым, как привычные бензинные пары.

26.

Из Москвы приехал Саша Плейшнер. Сашей его звали, а Плейшнером кликали. По подобию известного евстигнеевского героя, потому что Саша такой же рассеянный, нескладный.

Саша недавно заведовал челюстным отделением городской клиники. Все бандюги со сломанными физиономиями перебывали у него. Когда-то его звали в Европу на конференцию, но свои чины не пустили. Москва тоже звала, пускали через раз.

Пил он мало, но этих двух радистов поил почти насильно. Мол, интерес к «творческим людям». Они отвечали, что при взгляде на Сашу вдруг верится, будто все врачи честные и умные.

– И я журналистов теперь почитаю за ангелов неподкупных, – смеялся Плейшнер. – Сейчас все профессии опохаблены и обгажены. Причём, с помощью вас, журналюг.

Андрей вздыхал:

– Между тем люди остались прежними. Просто главный лозунг сменился, вместо «да здравствует!» повсюду написано «да сдери!».

Саша с семьёй уехал в Москву лет семь назад.

– Сколько можно уголовников ремонтировать, – объяснил виновато. – Да и зависти дебильной чиновной только добавляется. А Москва с руками отрывает, только, говорят, пропишись как-нибудь.

Он продал квартиру за гроши, уехал в столицу, там взял большой кредит, купил жильё на окраине и стал ценно врачевать сразу на трёх работах. Приезжал раза два в год, на глазах менялся, сделался каким-то жёстким. Однако с друзьями Саша по-прежнему был смешлив, слушал жадно и повторял, что душой отдыхает с ними.

На сей раз он примчался нежданно, в такси, взятом на целый день за тыщу зелёных иль даже полторы. Вызвонил Олега, Олег понял, что Саша вызвонил и Андрея, и успел только сказать:

– Только не в ресторане, Саша. Там мне кажется, что всё вокруг засижено воровскими задницами. Лучше ко мне в деревню. В землянке тебе не будет нестерильно?

Жиха уже сидел рядом с молодым подмосковным таксистом и излагал теорию, едва родившуюся в возвращённой к плюсу голове:

– Знаешь, дружок, люблю таксистов. Жена давно говорит: брось пить, купи машину, как все приличные люди. Я отвечаю: сколько приличная машина для приличного человека стоит? Полмиллиона, допустим? А сколько она у приличных людей служит? Лет пять, допустим? Так за пол-лимона ты, любушка, все эти пять лет можешь ежедневно ездить с работы на такси. И с дачи впридачу. У нас по городу такси всего сотню стоит, вот и считай.

Саша коротко засмеялся. Ободрённый Жихарский развивал:

– Зачем повально машины покупают? Для поездок «куда захотел»? Нет! Чтоб считаться господином средней руки, как Чичиков, допустим. А забыли, что Чичиков имел к рессорной бричке и кучера Селифана. Сам госпо-

дин на козлы ни в жизнь не сядет, это скандал. Так почему же нонича все считающие себя господами так сладостно за вожжи хватаются? Они получаются не господа, а кучера. Ты раз личный лимузин купил, покупай и личного шофёра. А? Иль как я советую: едь на такси. Тебя везут, тебе удобно, ты господин уже настоящий. За те же деньги. И заметь, ни о гараже, ни о ремонтах-запчастях не думаешь. И родичам не служишь кучером. И тверёзость противоестественную не блюдёшь! Совсем как нонешний господин госслужащий самой даже средней руки.

Теперь засмеялся водитель. Но тоже коротко, из вежливости. Машина мягко мчала в одинокий распадок, в согревшуюся Пчёлку.

Распадок благоухал. Василич с Викулей тоже в истоме обсужденья: сентябрьский гриб рыжик вдруг выскочил под всеми сосенками – и в довершение закраснела июльская ягода земляника, почти безвкусная. Это не по-майски.

Гостей они тем не менее радушно угостили варёными рыжиками. Засим встали к неотложному: рушить плотину бобров, потому как ручей разлился на рукава-болота; а бобры никакие не русские, а сорные канадские, с дрянной шкуркой, и расплодились так, что изгородили всю водянистую Европу.

Ушёл подремать в машине и таксист, попросив Сашу помнить про договор вернуться к дому засветло. Врач односложно ответил, что помнит. Когда наконец остались втроём, Олег внимательно посмотрел на Плейшнера:

– Саша, у тебя неладно.

– Умираю душой, – односложно сказал врач. – Не могу жить в этом тромбозном городе.

И рвануло Сашу, заговорил сбивчиво, всё более спеша:

– Три работы ерунда. Знаете мою реактивную энергетику, могу на пяти справиться. Другого боюсь. Бесконечность ломаных скул! Вдруг и со мной случится, как будут мои сын, жена? Кредит... Его нетрудно выплачивать, хоть и по шестьдесят тысяч в месяц. Но ведь десять лет. Потому и думаешь: что если...

Пауза, тягостная. Чтоб оборвать тяжесть, Олег произнёс:

– Хорошо, Василич ушёл. У него на сей счёт позиция жестокая: нынешнее вездесущее слово «кредит» означает слово «смерть». Все прославления кредита есть призыв к самоубийству.

– Счастливый ваш Василич... Я сегодня утром сорвался. Сказал жене, мол, быть может, отдать обратно этот займ... Потому что становлюсь психопатом. Я, с моими железными нервами.

Саша говорил уже отстранённо. Ему становилось легче, боль истекала вместе со словами.

– Никогда не боялся смерти, а сейчас боюсь любого нелепого случая. Каждый день смотрю на поток смятых в яичницу лиц, опять же из драки, а больше из-под машин... Сказал жене, что зря уехали. Не поняла, отругала. Потому и рванул к вам.

– Да... Нынче ты, небось, был бы первым нашим медиком. Твои гонители давно ушли в тираж. Были бы и регалии, и известность общая. И заграница бы с радостью звала на лекции, и та же Москва.

– Сейчас она меня примитивно использует на износ. Завтра опять несколько операций, – Саша всмотрелся в распадок, вслушался, закончил другим: – Здесь какая-то космическая тишина...

– Так ведь космос естествен, – ответил Жихарский.

Саша задумчиво глядел на рыжеватые остатки прошлогодней травы, то-

нущей в новых изумрудных побегах, на пятна чёрного пала, тоже почти заросшие свежей зеленью:

– В ушах звенит от тромбоза, а уши закладывает от вакуума. И то, и другое ненормально. Что там за пятна?

– Городские рыбаки в апреле траву зажгли у речки. Огонь на вёрсты расползся, ночью искры притухнут, а утром снова раздувало, – объяснил Олег. – Викуля с Василичем домишки обкапывали, молились, чтоб ветер стих. По ветру пламя летит десятки метров, поверх ручья и копани, ничем не остановишь.

– Словно Дикое поле, – сказал Андрей. – Трава бездонная, сухая, страшней пороха. Неужели здесь так всегда было?

– Нет, конечно, – возразил Олег. – Лет сорок назад здесь стояло семьдесят домов. Огороды шли полосками по обе стороны распадка, наверху. А склоны считались неудобьем, их позволялось косить себе. Выкашивали до былинки.

– И что за люди жили? – спросил Саша.

– Бабушки здешние говорили, но я лишь два имени запомнил, по месту. Видишь, напротив нас овраг впадает в распадок. Его зовут Прусиков ров. На самом его отвершке стояла изба мужика по фамилии Прусиков. На улицах дома стояли впритык. Построился там, на отшибе. В войну его избу первой снарядом снесло. Потом, конечно, сгорели и остальные сто. После войны отстроилось семьдесят. Сейчас их опять нет. Ни имён, ни фамилий. А Прусиков ров остался, вся округа его так зовёт... И такой же назади, Акульшина балка называется. Там тоже сидел дом; мужика по фамилии Акульшин. В километре отсюда, сейчас это сплошь грибное место. От жилья тоже ни следочка. А имя есть. Даже в городе слышу: «Айда за подосиновичками в Акульшину балку»...

Олег умолк, Саша медленно разлил по стаканам остаток.

– А ты говоришь кредит, – Жихарский крутнул головой, дождавшейся заключительного плюса. – Вся жизнь кредит. Не уплатил процент вовремя, всё наросло горкой, посыпалось катастрофой, взорвалось, исчезло. Сто домов, ни одного нет... Смотри, вот муха сидит, деловито лапки потирает. Такая она, жизнь. И московская, и здешняя. Просто потирание мушиных лапок. Смотри, и задние трёт, так же сладко. Готовится к большим делам.

Саша засмеялся.

– Не зря приехал, ребята. Как вы-то? Что-то друг дружку не подначиваете. Раньше постоянно шпынялись, а? Ничего у вас, нормально?

– Нормально, – ответил Олег.

– Конечно. Потиранье лапок, – в тон добавил Андрей. – Именные рвы хорошо ложатся к Олегову вопросу о стаях и одиночках. Одиночек боятся или презирают, но знают прочно. А в стае каждый без имени.

– Подожди, деревня ведь не стая, – возразил Саша. – Она тонкая общественная ячейка, проверенная тысячелетиями.

– Да уж, тонкая, стремящаяся к совершенству, – кивнул Жиха. – И верх совершенства любимая Москва... А знаешь, что майя сами ушли из своих волшебных городов?

– Кто-кто?

– Народ майя свои точнейшие города строил по ходу звёзд. И вдруг бросил всё, дивные ступенчатые пирамиды и подземные акведуки, по которым вода без всяких моторов шла в их домашние ванны даже снизу вверх. И почти пятьсот лет, до прихода конкистадоров, жил в сотнях мелких дереву-

шек... Хранил неземные знания, а жил в лианах, в хибарах. И кроваво их защищал от европейцев, и погиб за них... А его кладовку мудрейших записей сожгли иезуиты-миссионеры – чтоб мы никогда не узнали, где же спит совершенство, в городе или деревне.

Внизу, вдоль молодой ручьевой осоки, шли бедовые аборигены Викуля с Василичем. На плечах висели громоздкие самодельные решётчатые корзины, в них метались две-три тени.

– Бобров переселяют. Вверх по ручью пронесут, там Викуля им плотинку сделал. Пусть на безлюдье осины обгрызают. А тут наши владенья, уважать надо, бобры поймут.

Саша, Олег и Степаныч спустились вниз. Мокрые бобряки, будто и не канадцы вовсе, зло глядели из-под решёток японовидными глазками, скалили самурайские зубы-лопатки.

– По знакомству выловили, – подмигнул Саше Викуля. – Плотину продырявили, вход в пещерку и открылся.

Наверху у землянки хлопотала Нина. Она без перемен: ни той неуловимой развязности, что является в женщине, обретшей какие-то права, ни наоборот, зажатости и смущения. Обновила стол, вкопанный возле землянки, разложила своё привезённое, первые редиски, лук со щавлем – и свежую бутылочку.

Села рядом с Олегом, подкладывала ему, с любопытством смотрела на московского гостя, молча слушала. Она светилась простой женской радостью; от того, что видит Олега, что такой прекрасный день. Осёдланная лошадка тихо щипала траву вокруг такси, таксист коняшку фотографировал, гладил по холке.

Андрей наверняка вспомнил зимнюю историю с фельетоном о гэошниках и смутное участие в ней некоей почтальонши. Ещё он понял, что эта Нина-почтальонша тоже вычислила в нём, Жихарском, автора нашумевшего радиовыпада против Олега. Выпада, который и сам Андрей безуспешно хочет забыть.

Саша сказал хлебосольной Нине:

– Меня ваши друзья дразнят Плейшнером. А вас, наверное, теннисисткой Шараповой, вы точно на неё похожи.

– Кто это?

– О, все богачи мира от той красавицы без ума. Но она холодная кукла, а вы так и сияете домашним теплом...

– Куклы тут не живут, это Олежкина Мата Хари, шпионка, – внезапно и зло буркнул пьяный мятущийся Андрей.

Вызов. Никто не понял, лишь Олег. Вызов за его теперешнюю трезвость и всегдашнюю непохожесть, за утраченную дружбу.

Олег встал, обошёл столик, сел рядом с Жихарским – и обнял:

– Степаныч, старый ты буян, прости. Мы прежние друзья.

И здесь Андрей заплакал:

– А что ж ты который месяц казнишь меня. В глаза не глядишь, Аллу не выслушал. Она тебя о пощаде просить приходила... Нина, скажите ему, пусть пощадит меня.

Лошадка подошла, положила порозовевшей Нине морду на плечо и сочувственно уставилась на истекающего слезой Андрея.

– Что-нибудь объясните, ребята? – потерянно спросил врач.

– Гордыня моя всему виной, Саша... Не думай, всё теперь будет в норме. Жиха сильный мужик. Только сильные могут так, как он сейчас... Отвези его домой, мы с Ниной пока останемся.

Саша жалобно улыбнулся, отвёл хлюпающего Андрея к машине, и они уехали. Олег с прильнувшей к нему Ниной, не произнёсшей ни слова, сидели на лавочке и следили за далёкими фигурками Викули и Василича, входящих по ручью в лес вместе со своими воинственными бобрами-переселенцами.

27.

«Стартовый пистолет весны взметнулся – прозвучал зелёный выстрел. Жизнь рванулась по короткой стометровке дней.

Замороченный человек, долго и суетливо выбиравший лучшее зрительское место, как всегда, прозевал первый миг – и следующие тоже. Хлопнул глазами – отцвела вишня с десятками гулких чёрно-жёлтых шмелей на каждой ветке. Отвернулся от дождливого ветра – улетел белый хмель черёмух. Огрызнулся на соседа – просмотрел сиреневую цветь. Как всегда.

На всех парах и соках природа ворвалась в лето. И травы уж по колено, а мы не видим. И соловьи поют на всех даже полустанках, а мы не слышим. Ещё несколько метров-недель – и они умолкнут. Ещё несколько шагов-дней – и исчезнут майские жуки, бархатные бомбовозы. Вон пока их сколько вьётся над вечерней вербой, над тёплой тишью. Смахнул слезу – они исчезли. Все.

Клубится гонка жизни, быстрей и быстрей мелькают солнечные спицы. И вот слились в ослепительный круг, вот уже тридцать на градуснике. Зачем так быстро, ведь первый помидор едва посажен, и последний заморозок едва ушёл, – кричит человек, обиженный на природу, на собственную слепоту.

А тут парной ливень, а тут серебристые градины – жемчуг неба. И запах промокшей пыли, и трава выбрасывает мягкий колос – сенокос, уже сенокос.

О лето, о русский краткий миг. Вот и разменяли мы твой золотой червонец. Мечта сбылась – и значит её уже нет. Сможет ли какой африканец понять нашу любовь к лету? Сможет ли понять нашу грусть даже в этот святой миг сбывшихся грёз – грусть от быстроты и краткости дивной гонки?

Придёт нежданный июньский холод – или просто холод чувств; придёт ненужная июльская распутица – или просто распутица споров, – о, поймут ли наше отчаянье... Горсть тёплых монет, выданных взамен золотой купюры – как же быстро тают эти монетки-дни, на какую бестолочь уходят.

Человек, стань скрягой! Не траться на туман хлопот. Плывут иные, воздушные туманы. Они легко опускаются на зеленоглазую балку после жаркого дня, встают над прудом после желтоглазой ночи.

Всё твоё. Хор лягушек над влажной тишью – твой. Мягкий одуванчик, одетый в росу, – твой. Прохладные ромашки, розовые клевера; и первый луговой шампиньон, и первое лесное ночевье – твои, твои. Нет, это не гонка. Это – вечность.

Огромное красное солнце, прикоснувшись к синему горизонту, будет долгих четыре минуты волшебно утопать в дремотной своей постели. Семь тихих часов прозрачная заря будет плыть к востоку, расцвечивая наши сны.

Мы проснёмся счастливыми».

28.

На десять Манохина вызвали к новому мэру. «Вот и час икс», – подумал, подъезжая к знакомому до изжоги зданию.

В приёмной никого не оказалось («ага, перемены, всё расписано»), его впустили сразу. В кабинете, однако, перемен не было вовсе. Словно Комков

не уходил. Даже его любимая ваза, вечно пустая, ютилась всё на той же тумбочке в левом углу.

Новый был, по классику, скорее худ, чем толст, его рукопожатие было скорее крепким, чем мягким. Да и фамилия подстать, скорей благозвучная, чем запоминающаяся: Новиков.

Они, конечно, уже встречались; и на тронной речи, и на первых совещаниях. Но один на один – минута особая, решительная.

– Как ваша Светлана Валентиновна? – спросил мэр тоном вполне простым.

«Дежурно и тонко. Ничего не скажешь, приятно, подкупает».

– Спасибо, она сейчас уже дома.

– Сиделка хорошая?

– Моя сестра. Они дружат.

– Это здорово. Родной человек не обманет. Но если понадобится и вторая, профессиональная, не раздумывайте много. Ваша щепетильность всем известна, но в личном я бы вас просил не стесняться. Ведь домашние мысли в квартире не оставишь. У моего брата тоже инвалидность, культышка вместо ноги.

– На Кавказе с вами воевал? – послужной список нового мэра был опубликован в первый день назначения.

– Да. По дури ему ногу отшибло; причём, по моей дури, а не его. Куда теперь от мыслей деться?

– Искренне сочувствую, Пётр Петрович, – начальственное имя-отчество, произнесённое впервые, сразу сделалось близким.

– А... – махнул рукой Новиков. – Куда ни глянь, у всех какая-то беда; наверное, чтобы Бога помнили. Мне иногда кажется, если у кого всё в самом деле нормально, так это не человек, а рождественский поросёнок; его жребий впереди... Ладно, не затем же позвал, Леонид Николаевич. Пойдёте ко мне замом? Пока не первым, конечно.

Манохину следовало выдержать благодарственную паузу, но он не стал этого делать:

– Вам сказали, как прежний мэр кликал своих замов?

– Да. Я себе такого не позволяю.

– А кого вместо меня? Снегина?

– Отличная осведомлённость...

– Нет, просто интуиция. Если честно, я с ним не очень... Жалко ему микрорайон отдавать.

– Так я поэтому и зову. Район совсем неплох. О вас, вы понимаете, мне многое уже наговорили, но микрорайон действительно стоит неплохо. И никому после вас его пошатнуть мы не дадим. А вот с лесами по всей округе беда. Хочу, чтобы вы за них взялись. Тут в прогнозах жара негритянская на всё лето, а в лесу ни егерей, ни пожарной охраны.

– Но Снегин и есть самый главный пожарник.

– Нет, говорит, мы красивые объекты перед телекамерами обязаны тушить, а не какие-то корявые пни... У него такие инструкции. Я в ответ тоже сказал нет, так не играю. Сколько недель берёте на обдумывание?

– Дайте полмесяца. Семью надо подготовить.

– Берите месяц, понимаю. А в лес раза два уже сейчас смотайтесь; дескать, с шефской помощью. Вы ведь и шефство сохранили, знаю.

В приёмной самого Манохина сидела пёстрая птичка-невеличка Пепелова-Лебедева. Фамилия увесистая, как двойное монисто.

– Испытываю потребность в общении.

– Общайтесь. Только побыстрее, прошу прощения. У меня непредвиденные сложности.

– У меня тоже непредвиденные. Сообщаю, что у вашей секретарши туфельки на слишком высоком каблуке. Того и гляди, носом зароет. И ещё сообщаю, что радист Чупров посягнул на меня.

– Буквально или фигурально?

– Посягнул буквально на мои чувства.

– Насчёт чувств полномочий не имею. В эфире говорит с чувством, это верно. Однако не про вас. Вы уж, если что, обратитесь прямо к Михаилу Викторовичу.

– Он двоеженец!

– Викторыч? Боже упаси.

Она с первой секунды пробовала его на излом этой своей игровой истерикой, приятной самой себе. Но Манохин воробей стреляный. Пусть поиграет, всё равно окажется в ауте, вне игры.

– Вы знаете эту особу, – наседала Пепелова.

– Я знаю и пять-шесть клерков из белого дома, с особым умилением пожимающих вам ручку...

– Чупров садист. Зачем он рассказал мужу о почтальонше? Чтобы помучить меня.

– Думаю, чтобы вернее освободить вас от себя. Думаю, давно заметил вашу патологическую ревность и сыграл именно на ней.

– Что-о, патологическую?

«Чёрт её побери, этак она быстро меня до грубостей доведёт».

– Не обижайтесь, ею страдает большинство женщин и мужиков. Ревность это элементарное чувство собственности, не так ли?

– Не так.

– Почему же вас взбудоражили туфельки секретарши? Потому что в них вы зарыли бы носом явно красивее? Так вам кажется. В ревность входит всё: зависть, комплексы, заносчивость.

Но она осознанно рвалась за границу дозволенного.

– Да, перед вами я лежала бы явно красивей. Вы представительный и почти холостой.

Манохин почувствовал отвращение.

– Вас называют тихой сапочкой. Расчётливой дамой, лишь изредка неопасно играющей в смелость и принципиальность. Но здесь ваш просчёт. Я сейчас охотно вздёрнул бы вас на этой люстре.

– Я вооружена, – и Лидия сронила на пол грюкнувшую сумочку.

Манохин встал, поднял. В сумочке был лишний килограмм.

– Тут что, действительно товарищ маузер?

– Нет, тут господин вальтер. Травматик, зарегистрирован.

– К районной власти со стволом! – расхохотался Леонид.

– Он всегда со мной. Хотя ни разу не применяла.

– Разок может выпасть в какой угодно подворотне. Особенно при такой заманчивой юбочке.

В этой юбке, не дотягивающей до колен, уже печально полнеющих и теряющих упругость, Пепелова была две недели назад на каких-то региональных чтениях, открывать которые пришлось ему, Манохину. Он сказал пару приветственных слов, вежливо просидел первое отделение с тремя докладами. Третьей была Лидия в пышном сиреневом жабо.

Она молитвенно читала о миниатюрах Бодлера, простеньких, похожих на обрывки школьных сочинений. Может, он и умница, может, это так бездар-

но перевели, или ещё что. Но Пепелова цитировала эту скукоту с восторгом, восхищённо поводя щёчками.

Манохин тогда подумал, что будь жив тот Бодлер, или лучше наши Тургенев с Толстым, как смачно высекли бы они у себя на конюшне всех этих зануд бодлероведов-кошкоедов.

Сейчас Леонид подумал вовсе о другом.

«Интересно, у кого диагноз круче: у дамы, носящей с собой чистую половую тряпку, или у носящей чистый ствол? Конечно, у первой. Вот если бы эта, вторая, размешала стволом чай в стакане, тогда она здорово бы обошла первую. А так что, ну пульнёт в приставучего таксиста, нормально. И пульнёт, раз носит».

Газеты полнились историями про кровожадную травматику, пущенную с трёх метров; в лицо или сердце; из-за копеечного схлыста, обычного, каких миллионы в секунду...

– Вообще, я пришла поздравить вас со вчерашним днём рождения. Опоздала. Наверное, я сотая по счёту.

– Нет, вы железно в первой десятке. Для меня этот день есть обыденный беспечальный шаг к финишу. Заметьте, беспечальный.

– Странно, Чупров такой же... А я в молодости учитывала все поздравительные звонки. Помню рекорд, тридцать семь. Смешно. Но гораздо смешней, когда старики свои даты золотом начищают. Мой Пепелов боится не доработать до юбилея. Его уберут? Переживаю.

– Этим слухам уж полгода. И тогда, зимой, вы вовсе не переживали. А сейчас почему вдруг?

Лидия подошла поближе:

– Потому что и покровитель мой закачался. Заметно трусит.

– Не уточняю, – с усмешкой отступил Манохин.

– Да Снегин.

«Господи, и здесь этот...».

– Но я сочла бы за счастье иметь покровителем вас.

– Не знаете своего счастья. Всё у него лады. Отвечаю за слова.

Следующие дни Манохин звонил и ездил по лесной округе. Договаривался с сельскими главами, чтобы опушки рощ, кромки лесов обметали хотя б узенькой пахотой в четыре лемеха, а пустоши обкосили. Высылал своих городских, гнал технику.

Народ смотрел на всё, как на очередную дурь. Косари – и местные, и приезжие – лениво мигали сонными глазами, слиплыми, словно у опившихся вольной кровушки слепней.

Жарынь пришла действительно адская. Листва сворачивалась трубкой, лопухи в полдень опадали пёклым блином.

Сельские старушки полушёпотом рассказывали, как благодарно молятся на закат; а с утра в страхе смотрят на раскалённые крыши изб и гонят каникулярных внуков вверх, обливать жгучие скаты. Казалось, мир самовоспламенится, как бумажка у истопья.

Москва, вся стоящая на проеденных, словно дырявый голландский сыр, торфяниках, утонула в дымах – и скоро её дымка пришла сюда, за триста километров. Странно проглядывал сквозь неё круг солнца. Его разглядывали как яркую луну. Оно не жгло глаз, но от него, как от чудовищной микроволновки, шли невидимые убийственные потоки.

Зловещее висело в воздухе. Трава к июлю превратилась в сизый порох. Вовсе не та лежалая апрельская, прибитая ушедшим паводком, она дурно и высоко колыхалась живым бикфордом.

29.

Москва-матушка наконец оскорбилась непреходящими дымами, этой совершенно нестоличной неуместностью, какой-то неконцертной, нецветной консистенцией, так не идущей к ароматным гламурам да глянцам. Рыкнули руководящие трубы-раструбы, полетели веером указующие звоны – и вся торопливо-расторопная Россия вскочила с колен и выскочила в леса, разгонять обнаглевшие дымы, баюкать рапортом столицу.

Оказалось, что да, дело не шутка, полпровинции в чаде; регионалы тому, каждый в свой черёд, подивились, прытко погнали людишек на тлелые кусты да травы. Сунули каждому в руки что попалось: кому, может, детский скребок, а кому насос-прыскалку, сосать водицу из болотца да плевать струёй в огнище непотребное.

Марина влетела к Олегу во всегдашней азартной панике, смешанной с готовностью отдать чью-то жизнь за правое дело.

– Олежка, Алозорье горит, пятеро мальчиков на поле чудес!

– Они нищие, какое им поле чудес?

– Езжай, сделай десять минут в эфир на вечер. Только машину не дам. Я на ней за мэром, если что. Всем приказано в лес, спасать.

– За мэром целый автобус для прессы пустят, чтоб горели скопом... Я забираю машину, или обеспечивай вечер сама, на метле успеешь, а мне перекладными не обернуться.

Это было очевидно, Марина и возражать не стала.

Через четверть часа «Уаз» выбрался из города и помчался к подшефному Алозорью, посёлку-побратиму с инвалидским названием, когда-то данным взамен не менее инвалидского Вымрино. Тридцать километров, вскользь мимо Пчёлки.

Солнце стояло в зените, смотрело вниз сквозь синий круг, а за чертой того круга лежала угрюмая серость, плотно съедающая горизонт. Тоскливо пахло: то был вовсе не дымок спалённой жнивы либо другие сладкие дымы отечества – то воняло горелой резиной и пластмассой, обильно валяющейся в бурьянах. Одной заброшенной тракторной шины хватало на отраву двух дней и вёрст.

Вымринское поле чудес, как и все другие такие, походило на задохнувшуюся пасеку с коробчатыми ульями. Деревьев среди подобных строений нет по причине их дешевизны, а есть заборы по причине их насущности.

Возле одного забора юзили красные машины, уже погасившие огонь. Сырой дым вился над спасённым коробом, три пожарки, брюхатые, словно переспелые клюквины, стояли с мокрыми мордами.

Олег расспросил доблестных, сунул диктофон спасённым, записал фамилии и обрывочные фразы – дело было готово, можно вертаться, надо ещё смонтировать плёнку.

И тут пыхнуло в самом углу чудесного поля, на самом высоком заборе. Двухсаженный ограждион, прячущий за собой именные квадратные метры пятьдесят на пятьдесят, был выкрашен дурацкой огнеопасной краской и задней стеной утопал в высохшей крапиве, поджёгшей забор быстро, сильно, словно монгольским факелом.

– Горит! – заорал Олег пожарникам, отдохновенно топчущимся возле своих клюквиц. Те смотрели тормознуто: оказалось, в их брюхатых машинах нет воды, всю доблестно вылили на первый забор и теперь надо не тушить, а ехать полнить баки.

И то: мчаться на природный пожар с несколькими тоннами воды – как

бежать туда с детской кружкой. Огонь, умеющий вулканически вырываться даже из океанской пучины, есть страшная придумка Бога, похищенная сатаной.

Высоченный бандитский забор был подкравшемуся огню на один зуб. Огонь с треском выметнул из зарослей иссохлого крапивного бурьяна, прыгнул наверх, гулко растёкся по породистым доскам.

Пожарка, единственная оказавшаяся ещё с водой, не могла подъехать к этой стороне из-за рытвин и рва, от которого и отгородил себя умненький бандюг.

А вот и он. Учуяв снаружи крики и бессильный стук топоров, он выскочил, словно из энтэвэшного сериала, с дурной тяжкой цепью на дурном пузе, в гнусных расписных шортах и, бог мой, с гнусным карабином наперевес.

– Не трогать, это частная честная собственность! – зверски вскричал он, однако сразу всё понял и без смены тона переключился: – Руби, руби, ребята!

Огонь плясал по забору, будто по безвредному цирковому колесу, пламенному зверюшкиному занавесу, сквозь который им сейчас привычно прыгать. Малые огни радуют мальцов и будоражат взрослых; превращенье огонька в огнище цепенит взгляд, поскольку это взгляд в никем не виданную преисподнюю.

Стена была обречена, но ветер с неё шёл мимо внутренней постройки, а вот стенка рядом, угловая, вполне ещё живая, вся парусила, прося огонёчка, чтоб хмельно раздуть его по себе и метнуть на трёхэтажную хоромину.

Сбивали угловые доски семью топорами; и пожарники, и прибежавшие люди с посёлка; а сам цепной хозяин молотил карабином, в минуту исщепив приклад о забористые заборные болты. На него сыпались матюки и ободрения «давай!»; и он тоже рычал, ободрял и молил.

«Может, вот так толпа и превращается в товарищество», – мелькнуло у Олега, который тоже яростно сшибал красной эмчеэсовской секирой дебелую доску, уцепившуюся за литой штырь.

Ещё несколько ударов, и в углу надветренной стены сделали пролом. На том краю, в стене подветренной, тоже пробили защитный проём. Забор-квадрат был отсечён от пылающей тыльной стороны.

Олег замахнулся в последний раз – и тут рвануло бок; и жигануло внутри, и топор вылетел из рук, взятых мёртвой судорогой.

– Ах ты, кабаняра.., – застонал Чупров, тотчас вспомнивший про полугодовалую травму, про неловко сросшееся нелеченное ребро, сейчас вновь лопнувшее.

– Поставил себе Байконур, так хоть от крапивы его обкашивай. А не можешь сам, нас найми, – выговаривали обмякшему бандюку перепачканные копотью поселковые алкаши.

И хозяин послушно кивал, и бестолково совал кому-то в дар полуразбитый свой карабин, а вымринцы отказывались и, показывая знание бандитского дела, шутили уже с приятельской усмешкой, что ствол, небось, давно засвечен.

Пожарка, подвёзшая в брюхе свежую толику болотной воды, просунулась в проём и окатывала из кишки недовольно шипящую стену-предательницу. Олег выбрался из толпы, сел в «Уаз», дал знак ехать. Марина ждала репортаж через два часа.

На полпути, у знакомого поворота к реке и прятавшейся за ней Пчёлке, Олег сказал шофёру:

– Захарыч, возьми вот диктофон с блокнотом, пусть Мандарина сама го-

лоса свяжет. Я не могу, у меня, кажись, нутро хрустнуло, давай сейчас выйду, в деревне у себя пару дней перележу. Тормозни.

– Ну, ты уж меня совсем жлобом считаешь, – ответил Захарыч вполне здраво, поскольку шофёры по самой своей природе действительно жлобы, но обычно лишь чуточку, а не совсем, что и подчеркнул беззлобный Захарыч. – До избы довезу, штука плёвая.

– Хватит и до реки, – возразил Чупров. – А то Марина тебя на церковные свечки пустит.

– Как думаешь, она в самом деле верует? – спросил Захарыч, старый, носатый и принципиальный. – Она же шастает с верой, как разбойник с дубиной.

– Просто дурёха. А кто сказал, что веровать дозволено только умному? Верим, как умеем.

Захарыч высадил Олега почти у дома, у самого низовья распадка, у брода через ручей, а дальше «Уаз» и не взобрался бы; колеи почти не было, её с осени дальние приезжие фермеры-новички грубо распахали под свекольное поле. Свекла наивно и растерянно зеленела среди бросовых пепельно-жёлтых трав.

Олег пошёл прямой нижней тропой вдоль вовсе не пересохшего, а наоборот располневшего ручья. Вернувшиеся бобры заплотинили его крепче прежнего, двойным каскадом, и каждую ночь несли вахту, быстро забивая любой разор в обоих запрудах.

30.

У Потёмкинской лестницы сидел терпеливый Викуля с сетью, однако бобры справедливо ему не доверяли, наделав с полдюжины ложных ходов-камер.

Викуля повёл шатающегося Олега вверх по земляным ступеням, забинтовал бок. Вскоре явилась Нина и всё переделала. Промазала больное место жгучим снадобьем, и до рассвета сидела на половой подстилке возле низких Олеговых полатей, молча держа его свисающую руку. Копаные земляные стены, щелисто обложенные брёвнами, были не прохладны, но и не теплы, и уже это облегчало.

Утром Нина скатала на село – по твёрдым летним тропам она ездила не на лошадке, а на велосипеде, – вернулась в пыльном по колени трико, сказала, что росы нет ни капли. В обычное время это считается к дождю, а сейчас просто знак всеобщего перегрева.

– В село пожарных из района прислали. Стоят у машин, шланги дрочат, а на кого, на что, сами, говорят, пока не знаем. Тухнёва звонками дёргают, и тётка городская в детском слюнявчике, в жабе.

– В жабо?

– Ну да. Синий такой слюнявчик. Тухнёв его больше всего испугался. С концертом, говорит, к нам? так это не вовремя.

Сельсоветчик лёгок на помине, из заросшего верхового просёлка выпростался его джип. Машина грузно остановилась у землянки, из неё вышла Лидия. Конечно, на высоких каблуках, тут же увязших в суглинистом пороге.

– Это погреб? – без приветствия спросила Лидия.

– Во всяком случае, не школа бальных танцев, – ответил Чупров, приподымаясь на локте.

– Бездокументальное строение, – влез и Тухнёв, спрятав за щёку золотой клык. – Вы, граждане, я вас предупреждал, незаконно на чужой земельной собственности.

– На чьей это?

– На моей, – ровно сказала Лидия. – Я только что приобрела этот участок в десять гектаров.

– Половину всего склона, по самые Порточки? – взволнованно влез и Викуля. – Берите хоть с облаками, но эта копанка на моей земле, тут ещё кленок рос, под который я дитём по нужде ходил.

– Межевать! – деловито изрёк Тухнёв.

– Свежевать, – ответил Так Называемый Василич, совсем заткнувший собою вход в землянку. – Эта ямка есть воинский памятный след, и мы подпишемся.

– Как понимать «по самые порточки»? Это грубость? – строго спросила Лидия. – Следите за словами, а то и мы подпишемся.

– Порточками зовут два заросших овражка, сбегающих к ручью, – сказал Олег. – В Порточках три наших батальона легло.

– Ой, давайте лучше на воздухе, – уронила Лидия.

Все мужики выбрались, кроме Олега.

– Нина, послушай там, что им надо. А меня от этого мутит.

– Извините, земельный вопрос тонкий. Хотелось бы с владельцем, а не с какой-то...

– Я бы тоже хотел не с какой-то, а с владельцем. К примеру, с каким-нибудь деятелем по фамилии Снегин.

Лидия не повела бровью, хотя пошла краской. Нина вышла.

– Не обижайся, – помолчав, сказала Лидия совсем иным, полузабытым тоном. – Я услышала от Аллы, что ты ранен... Ничего с твоей чудной землянкой не случится. Но соседство тяжёлое. Он хочет на этом склоне поставить промысловую звероферму.

– Значит, Пчёлка умрёт...

– Я не причём.

– Ты всего лишь тот Жихин майор, ведущий бесов строем прыгать с балкона и вновь приходить сквозь дверь.

– Не смей, я верующая.

Олег опустил голову на лежанку, посмотрел в низкий бревенчатый потолок с квадратной дыркой, грубо, не по канонам, прорубленной к небу, сказал бессильно:

– Верить лучше молча; и креститься лучше наедине...

Лидия наклонилась, заглянула в глаза.

– Я тебе, конечно, кажусь сволочью, притворщицей. А мне просто страшно остаться одной. У меня больше нет ни родных, ни родственников... И у меня нет твоей цельности, я обычная, мне здесь дурно. Я ведь не такая, как эта твоя...

На её шее обнажились слабые тени-морщинки, особенно явственные в полутьме. Шея у женщин стареет раньше всего. Морщинки выглядели беззащитно, даже мило – и тоже красили Лиду, хоть она того не понимала. Она вообще – не нарядами, а лицом – была эффектнее Нины, однако уже видела свой закат. К ней близилась тихая и такая тоскливая трагедия уходящей красы.

И женщины, теряющие главное своё природное оружие, часто бросаются в самые конвульсивные слова и поступки.

– Эта моя, – Олег нажал на «моя», – хоть и живёт среди оврагов, вовсе не завидует городу. Но и нисколько не считает город раковой опухолью всего сущего. Ты тоже никогда не считала, лишь повторяла где-то вычитанное. И я теперь не считаю. Видно, эта опухоль у каждого из нас за левым плечом.

– Да помню, помню, что у нас за левым плечом бес, а за правым ангел. И они вечно воюют за нашу душу. К чему ты?

– К тому, что никогда человек не бывает один. Он всегда либо со своим ангелом, либо против него. Вернись к своему ангелу, Лида...

Снаружи вдруг закричали – странно, судорожно, в голос. Олег с торопливым усилием встал, шагнул вслед выбежавшей Лидии, выглянул за косяк. Все смотрели назад, в сторону Акульшиной балки. Из-за горизонта на неё летела полоса пламени. Ветер рвал языки, страшные даже издали.

– Вот и пришёл к нам половецкий пал, – сказала Нина оборвавшимся голосом. – А я велосипед у ручья оставила.

На нижнем боку высунулась из хлипкой колеи вереница ярких пожарных машин, неестественных средь этого пыльного бездорожья. Ветер словно гнал их, как пустые пластиковые катышки; гнал к броду, где распадок кончался и был песчаный переезд на тот берег.

У самой почти воды машины стали, потому что их обогнал начальственный пикап, из которого выскочил кто-то резкий.

– Власть моя, смерть моя, – заполошно сказал Тухнёв. – Мне надо туда, встретить...

Позабыв про Лидию и всех других, сел в джип и спешно поехал по краю, не боясь колдобин, бросающих вбок.

Тем временем у брода явно завязалась схватка, сцепка, один начальник толкнул другого, выдернул из передней пожарки шофёра, влез и развернул красную машинищу по взгорку, к ближнему дому бабушек, скромно сидевшему почти на исходе распадка. Остальные четыре пожарки осторожно поехали вброд на тот берег. Ветер, африкански горячий, вновь секанул по ним, по траве, по всему свету.

– Дурни так называемые! – дыряво завопил Василич в пустой воздух. – Сгорите в своём лесочке, разве ж вашим ведёрком его от этой страсти спасёшь!

Затем Василич обернулся на зарево, от которого за три километра уже слышался треск и злобный гул, тоскливо кинул взгляд вверх распадка, на своё бесшабашное подворье, обречённое, как и Викулин дом, как всё здесь.

– Закройтесь все в копанке! Я за Нинкиным лисапетом! – крикнул Так Называемый и сиганул в глубину, покатился к ручью.

Но не ручей был ему нужен. В два шага переплеснулся он через ленивый илистый поток, на ходу кинув в него подхваченный из травы велосипед почтальонши, в секунды вскарабкался на тот склон, где на четвереньках, где клюнув носом в сухую путань травы.

Финишно упал наверху возле Прусикова рва, над которым начиналась плотная череда Можарских лесов-перелесков, и под которым ниточкой шла якобы защитная пахотная бороздка в четыре лемеха, то есть в полтора ни от чего не спасающих метра.

Василич однако всё на тех же многострадальных своих четвереньках-карачках поскакал вдоль этой чёрно-серой бороздки – и после него оставался след мерцающих огоньков. Огни медленно, но верно поползли от бороздки вниз, соединяясь и ширясь.

– Что он делает? – надтреснуто крикнула Лидия в страхе.

– Встречный пал пускает, – будоражно ответил Викуля. – Вряд получится против такого ветра, сгорит, чёртушка! А может, успеет...

Викуля оглянулся назад и в ужасе оборвал себя, заорал:

– Уже Акульшину жгёт! Лезьте к Олегу в копань!

– Нет! – ещё страшней заорал от косяка Олег. – Тут испечёшься, как яйцо в песке. Хватай их, Викуля, и в ручей! Быстро, через пару минут всё пыхнет! А у меня тут в полу сырая ямочка под картошку, умещусь один.

Викуля схватил обеих женщин за локти и потащил вниз по рытым ступенькам, на ходу уча:

– Ныряем и лежим на дне плашмя, пока чуть не задохнемся. Если высунетесь над водой, в секунду спалит.

Чупров смотрел вдаль на Василича, который всё копошился с огнями, всё бегал по тому склону с пучком горящей травы, всё поджигал и гнал свой низенький, но спасительный огонь ближе к ручью, делая защитную полосу всё шире, уже почти в полсклона.

Вдруг на руки Чупрову прыгнул кто-то дрожащий и мятый. Это был заяц, и лапки у него почти дымились.

– Профессор, дружок... – выдохнул Олег.

Сзади ударил поток нестерпимого, как из топки, воздуха. Олег захлопнул изнутри дверь, надел крюк, лёг вместе с зайчишкой в угловую картошечью копаночку, и впрямь чуть прохладную.

Наверху сатанински завыло. Двойное квадратное стёклышко в скате, которое Олег забыл заранее привалить крышкой сверху, взялось будто газосваркой, лопнуло – и вмиг весь воздух землянки высосал адский жар.

Зайчишка забился о грудь Олега, конвульсивно-жалко раскрыл зубастенькую пастку. Однако уже через минуту вой огня и ветра сбросило в сторону ручья. Олег вскочил, скинул с двери крюк.

Сбоку в полусотне шагов жутко горела изба Викули, доменный ком пламени. Олег жадно искал взглядом своих. И никак не находил, поскольку над ручьём колыхалась и пучилась огневая каша.

31.

«Господи, что я наделал, – страшно дёрнуло у Олега в мозгу и сердце. – Зачем я погнал их туда? Сам пересидел же...». Ужас, холодный, никогда не испытанный раньше, владел им. Он шагнул вниз. Бок отдал болью, зайчишка вздрогнул. Олег хотел опустить его на землю, однако зверёк судорожно цеплял рубаху, тонко плакал, лез на плечо. Так и пошли по лестнице, навстречу отчаянью и смерти.

Каша меж тем опускалась, жидилась дымами, открывала ручей. Чёрный с обеих сторон, он тоже был чёрен от плывущего пепла.

И стояли по колено в этом водном растворе две женщины, растерзанно обняв друг дружку. И бежал по воде Викуля к бессильно лежащему в ручье Василичу, хватал за руки, тащил на берег.

«А вот так, наверное, рождается братство».

Василич был без сознанья; видно, наглотался дыма. Викуля встянул его на землю, хлопотал, метался. Подбежали Нина с Лидией.

Олег спешно сошёл, хотя каждый шаг отдавал внутри, словно взмах ножа. Вся лощина как огромный смоляной жбан. В лад пылали подворья Викули и фермера, а оба хозяина даже не глядели. Василич лежал недвижно – и так же был недвижим сидящий рядом Викуля. Вместо волос на голове чёрная плавленая короста.

– Твой профессор, уходить не хочет, – протянул зайца Олег, ещё не понявший главного.

Викуля не взял. Зайца, как младенца, приняла Лидия.

– Нырнули, в дно впластались, а Василич только побежал, – потерянно

сказал Викуля. – Я потом выглянул, за секунду до жара. Гляжу, прыгает в ручей и в воздухе с пуза на спину переворачивается корчмя. Это его спереду, с нашего берега, в лицо жигануло.

– Огнём? – глупо переспросил Олег.

– Огню оставалось метров десять до ручья, но жар перед ним летел. Мне голову как кислотой обдало. А Василича нашего сожгло будто комара над костром. Уже, небось, мёртвый в воду падал...

– Мёртвый? – ещё глупее сказал Олег. – А почему он вверх не побежал, по своему палу?

– Его ещё перепрыгнуть надо, тот встречный пал. Да в горку. А к ручью Василич уже был гораздо ближе. Секунды не хватило.

Наверху, у Прусикова рва, у самой пахотной полоски, свесились по-над краем героические пожарки, удивлённые отсутствием зловредного огня.

– Явились! – отчаянно крикнул им Викуля. – Сейчас бы полохнули синим пламенем вместе со своим лесом! Василичу спасибо скажите, прыскалы хреновы!

И Викуля хрипло зарыдал, размазывая мокрую, сползающую на лицо золу горелых своих волос.

На этой стороне остановилась та пожарка, что давеча у брода отделилась от остальных. Тонкая струя лишь обозначила тушение Викулиной избы, у которой из оконных проёмов били, на манер чудовищной газосварки, толстые снопы огня, гулко выпрастываясь сажени на три, словно кто-то толкал их из ревущих комнаток.

Начальник покинул машину, стал на земляную лестницу, пошёл вниз, чуть оступаясь. Олег издали узнал Манохина.

«Кого это он полчаса назад зашиб у брода?».

Увязая в пойменной гари, Манохин подошёл, даже почти подбежал. Увидел распластанного Василича, коротко спросил о нём, сказал что-то в телефон. По обгоревшему сгорку, в конец проминая земляные ступени, прыгали люди: спасатели, медик, даже Тухнёв.

Машины на той стороне развернулись, пятясь назад к броду. Кто-то от них спешил вниз, напрямик, и Олег издали узнал и этого человека. Снегин секунду потоптался у ручья, ища узкое место, затем махнул по воде, вышел, глянул беспомощно.

– Вот этот мужик спас твой лес, – кивнул Манохин на Василича, уносимого наверх. – Ценою жизни.

– Кто он? – покорно-поспешно спросил Снегин; всегда ухоженная золотая шевелюра спутана, будто клок жёваного сена.

– Семён Васильевич Игнатов, – с готовностью вышел наперёд Тухнёв. – Наш фермер. Один из лучших...

– Герой. Наградим, поблагодарим родных. Где он живёт? Извините, жил...

– А вон, – указал Олег на широко пылающее подворье в самом верху распадка, дивясь про себя, что до сих пор не знал ни имени, ни фамилии непутёвого шестидесятилетнего Василича.

– Он себя кликал Так Называемый, – глухо добавил Викуля как нечто важное. – Шутил. Всегда шутил не впустую, а по жизни...

И боясь вновь подступающих слёз, спросил другое:

– Конец нашей Пчёлке? А бабушки что?

– Их дом цел, – успокоил Тухнёв и, набирая в голос торжества, сказал для всех: – Свекловое поле зелёное их домик загородило, такое поле палюка и с ветром не перепрыгнула, а когда с бока зашла, её товарищ районный глава из города на пожарной машине сгасил.

– Не глава, а снегинские спасатели, – хмуро бросил Манохин.

– Я был полный дурень, Леонид Николаевич, – смиренно сказал Снегин. – Правильно вы меня у брода...

– Ладно, я перед твоим шофёром извинился, что выдернул его из пожарки. Некогда было нам с тобой полномочия делить.

Манохин повернулся к обеим женщинам, перепачканным, мокрым, но уже накрытым принесёнными из машин одеялами. Они по-прежнему стояли обнявшись, словно боясь остаться в одиночку посреди этой ужасной чёрной лощины с чёрной трещиной-ручьём.

– Зайчишку спасли, молодцы дамы, – скупо улыбнулся им Леонид. – Хоть у вас всё в порядке...

– Ой, сумочка ваша с документами, – взглянула Нина на Лидию. – Она там на дне, я помню, как она в последний миг из ваших рук плюхнула, тяжело так...

– Это, наверное, у документов тяжело на душе было, – усмехнулся Манохин, зная, что неуклюжую шутку поймёт одна Лидия. – Новые выправите. А эти сейчас достанем, спишем на пожар.

– Не надо ничего искать, в илу копаться, – сказала Лидия. – Всего, что было в сумочке, больше нет, так и считаем.

Снегин дёрнулся, однако смолчал, лишь отвёл взгляд.

Вернулись машины с того края, стали кружком у истлевающих Василичевых построек и принялись горестно их поливать.

– Профессора бы пора отпустить, – тихо сказал Викуля.

Лидия передала ему зайца, Викуля перешёл ручей и посадил зверька на том берегу. Прусачок поскакал к именному своему Прусикову рву, нехотя, выбирая необгоревшие клоки остывшего, но пока дымящего встречного пала. За пахотцей нырнул в траву.

– Даже ладошкой на прощанье не махнул, – мрачно хмыкнул Викуля. – Ну, я тебя...

– Не стреляй его зимой, – сказала Нина.

– Где зимовать? – глянул Юра на своё издыхающее пожарище.

– Дом вам отстроят, – сказал Снегин, и его выцветшие было глаза снова сделались деловито-синими.

Манохин тем временем подошёл к Олегу, подал руку. Лоб круто выпуклый, в разводах сажи, лапища как у сфинкса.

– Много доброго слышу о вас, Олег.

– Взаимно, Леонид Николаевич.

Снегин тотчас повернулся к Чупрову. Рука тоже умело крепкая.

– Рад хорошему соседству.

Знает, что Олегу всё о нём известно, в хорошие соседи просится. В синих глазах врождённая, неосознаваемая самим им преданность. Этим счастливым свойством без всяких усилий и подкупает он любое начальство; и даже случайных мелководных встречных вроде вот Олега или, к примеру, Лидии.

Лидия перехватила мгновенный взгляд Чупрова, потупила взор. Все редкой медленной цепочкой пошли по лестнице наверх, а Олега остановил звонок. Крыж, боясь, что его с первых секунд пошлют подальше, кричал из трубки намеренно бодро, без пауз:

– Держись так же геройски, Олег Иваныч, отступать некуда, позади Москва! Хотя чего её защищать, она давно сдана и рада этому. Но гореть люди не должны, наши всё-таки. Держись и передачку геройскую мне потом, может, сделаешь.

Он плёл всегдашнюю околесицу, однако в голосе нежданное, искреннее, тоже преданное. «А что, окажись он здесь, наверняка кинулся бы, как Василич... И Тухнёв, гляди, человек человеком. И Снегин... Что это? То самое братство? Пусть на день, на час, но всё ж. Братство, оплаченное смертью...».

Впрямь беда объединяет. Все стояли наверху, у площадки перед землянкой, теснясь и не стесняясь тесноты. Нина с Лидой не отходили друг от дружки, кутаясь в одинаковые одеялки, помогая отереть себе лицо, колени, локти. Вовсе они не походили на Шарапову с Шиффер; ни куклы Маши, ни куклы Клавы – просто две испуганные, но всё-таки чем-то прекрасные русские бабы.

– Не смотри, Олежка, – сказала Нина, заметив его взгляд.

– Смотри, Олег, смотри, – возразила Лидия. – Вот какие мы всамделишние. По крайней мере, я. Без помад. Зато и без ужимок.

– Вы обе молодцы, – повторил Олег слова Манохина.

Ему снова звонили.

– Мы тебя любим, Олежек, родной ты наш! – причитала Алла, причём, без обычной своей проникновенной замогильности. – Вот и Андрюша хочет сказать...

– Жена главное уже сказала, старик, – послышался скрипучий голос Жихарского. – Что у вас там, все живы? Мы Марину откачиваем, переживает за твою Пчёлку. А Лиде не можем дозвониться, говорят, она у вас.

Олег передал мобильник Лидии и та минут десять сбивчиво рассказывала Алле обо всём. Изнеможённые эмчеэсники разбрелись по взгорку, забивая лопатами и водой тлеющие кусты.

Пришли все три почти уже не ходячие старушки, они не помнили себя от благодарности и скорби. Безголосо причитали над Василичем, сгоревшее лицо его было закрыто бурым пожарным брезентом. Со страхом смотрели на чёрную печку Викули – и видели своё детство, испалённое средь таких же печных остовов.

Приехали врачи, милиция, спешно оформляли бумаги, клали Василича в «скорую». Чуть не затащили туда и Олега, но он решил остаться. Осталась и Нина, её спасённый Василичем велосипед дымил из ручья обгорелыми потрошками шин. Пикап Манохина и джип Тухнёва тоже спаслись вместе с бабушкиным домом, под прикрытием свекольных рядков.

Лидия всё же села в глянцевую снегинскую служебку, глянула оттуда жалобно-облегчённо. Укатили все, даже Викуля, которому приказали срочно мазать и клеить горелую голову.

– И зачем Василич кинулся к велосипеду...– уронила Нина.

– Любил он тебя по-отечески, – ответил Олег. – Но и без того кинулся бы. Спас лес. Он же ему родной, он вырос возле этого леса.

Утихло; и на свет вылезли бобры, по обыкновению хмурые. Они с отвращением нюхали плавучую золу, облепившую плотину, и думали, как её содрать.

Бобры не обращали внимания на двух людей, молча сидящих далеко вверху, у землянки над распадком. Они знали, что все люди одинаково глупы и одинаково быстро обо всём забывают, живя своими странными интригами на странном гудронном асфальте.

Иван ПРИВАЛОВ

КАМИН

Рассказ

А потом всё было хорошо. А тут ещё и квартиру получил. Пусть на бумаге, но уже! Тетка, получившая метры в другом доме, всё не хотела уезжать: то вещи не собрала, то в подвале что-то осталось. Цеплялась и не отпускала. «Ждал и терпел, значит, ещё немножко потерпишь-подождешь». И ждал, и терпел, с переполняемой сердцем радостью и ликованьем. Квартира!!! Бездомному псу будка, вместе с должностью: служить и защищать.

Ну, вот и ключи в кармане. С треском и скрипом распахнута массивная немецкая дверь. В лицо дохнуло, ударило сыростью и затхлостью; запахом пустоты и хаоса; качнуло кусками свисающих со стен, полу-оторванных, ещё советских обоев; гирляндами кранов разных размеров, пронзёнными хитросплетеньями полу-ржавых труб; грязным, мокрым, вонючим тряпьём. Перекошенной дверью, прикрывающей собой комнатёнку с чугунной, довоенной немецкой ванной, чёрно-коричневыми годовыми кольцами потёков по белой эмали отсчитывающей время. И унитазом, сиротливо застывшим в центре и горделиво кричащем о господстве над этой территорией. Двумя убитыми комнатами. Коридором с умывальником и плачущим в него медным старинным краном, за которым замызганными и заляпанными стёклами настороженно замерла полусгнившая дверь, прячущая свалку поколений – испорченных заготовок, вздутых консервов, ненужно-необходимой рухляди и хлама. Высокой комнатой с огромным проёмом вместо двери, красным газовым баллоном, грязной плитой, закопчённым котелком отопления. Океаном пространства и пустоты.

Остановился и прислушался.

Это ведь только кажется, что квартира пустая. Так могут говорить и думать те, кто совсем ничего не понимает в жизни. Приложи руку к двери, останови стук сердца. Слушай! Даже дети, нет – именно дети, остро чувствуют и слышат таинственный шёпот домов и квартир, заброшенных чердаков и зданий. Голоса стен зовут и увлекают. Слышат и разговаривают детством. И только.

Через мгновенья нарушенной тишины старенький немецкий дом пустой квартирой оправился от внезапного вторжения. Расправил плечи, осторожно вслушиваясь в застывшего в комнате человека. Тихонько обнимая своей затхлостью. Трещинами стен и оторвавшейся побелкой заглядывая ему в глаза. Скрипом полов и грязными, внезапно запотевшими окнами слушая его дыхание. Вздыхая, жалуясь, смеясь и плача, делясь своим прошлым и его будущим.

А чувство радости обладания жильём, пусть служебным, но своим, оглушали. Кружили голову. Делали недоступным для понимания. Отталкивали. Много ли слышишь вокруг, когда счастлив?!

И дом, постонав-поохав, неуслышанным и непонятым забился в угол, облюбованный пылью и пауками. Обиделся.

Теперь покой заснувшего, замершего дома нарушал лишь осторожный, тревожный шёпот и внезапный топот ног тараканов.

Присел на корточки. Поймал одного. Усатого и недовольного. Посадил на ладонь, придерживая пальцем – дабы не сбежал. Покрутил, рассмотрел и рассмеялся:

– Так, дорогой! Беги-ка к своим и передай, что у вас есть три дня, чтобы собрать вещи и уйти. Это теперь моя квартира. Не забудь.

Поставил аккуратно на пол, не бросил, подтолкнул пальцем остолбеневшего и не раздавленного:

– Беги, я сказал!

Таракан, подняв свои усищи, не торопясь затопал в угол к своей щели. Там и скрылся.

А сам: прошелся ещё раз по комнатам, переступая мечущихся тараканов; хлопнул входной дверью; навесил замок, и по бетонным ступенькам, окантованным латунными полосами, отполированным ногами до сияния золота, пошёл служить и защищать...

Через три дня, вернувшись вооружённым веником, совком и шваброй, не застал ни одного таракана:

– Вот и славненько!

Тараканы-то попонятливей этой тетки оказались. Прочувствовали всё в секунды.

А дом даже не взглянул в сторону *хозяина*. Поворчал для порядка и затих обидой под песню подметающего пол веника.

Через три часа бесполезной борьбы с грязью присел на школьный стул перевести дыхание. Осмотрел сделанное и несделанное. Кинул веник и пошёл в ванную умываться. Воды не было. Так и ушёл. Грязный и злой. В другой город. В чужую, съёмную квартиру.

А помощь пришла, как и квартира. Исполнением мысли поставленной задачи. Написал ведь в контракте: «с предоставлением в течение пяти лет квартиры». Года не прошло – должность, квартира: судьба – везуха. А здесь безысходности разрухи и недели не прошло.

Чего туда понесло!? Выезжает из части машина, гружёная краской, стройматериалами: «Стоять Зорька!». Откуда?! Куда? Документы. Документов нет.

Есть побелевший капитан, что-то пытающийся объяснить. И Иваныч, с левого плеча шепчущий: «Вот тебе и ремонт!». Подбежал прапорщик, который всё сразу понял. Взял ключ от замка, спросил адрес и, пожав руки, уехал. С материалами.

Жизнь закипела восемью матросами, уместившими наследие прежних владельцев в трёх машинах хлама, мусора, оборванных обоев, отпавшей штукатурки, забытых и брошенных вещей. Да и вообще, прочей, непонятно откуда взявшейся и постоянно берущейся грязи. А после – заклеивание дешёвыми бумажными обоями остатков ещё более дешёвых, но ярких, несуразных, кричащих обрывков послевоенных лет. И масляной краски, устало пробивающейся местами, среди бумажных континентов, нанесённой ещё пленными солдатами великой Германии. Лабиринт труб был покрыт густым слоем жёлтой, противно пахнущей олифой, краски. Слоем другой, красной, – полы, и ключ от дома перекочевал от прапорщика назад, в его карман.

Это уже потом от этого непрекращающегося угара халявной олифы дом несколько месяцев приходил в себя. Это уже потом он светился открытыми гнилыми створками окон, выплевывая из себя эти зловонные запахи. Но сейчас, дождавшись прихода воды плачем умывальника, предстояло заполнить эти свежеокрашенные трубы и древние немецкие батареи водой. Кран, пузырящийся многослойной краской и возвышающийся над унитазом дамокловым мечом возможного прорыва, как не странно, отвернулся. Вода, с клокотаньем и почему-то стуками, устремилась в шипящую пустоту труб. Устремилась, чтобы через минут пять вырваться в коридоре из какого-то аппендикса, смонтированного видимо для сброса избытка чувств. И вырвалась. Выстрелом едкой, грязной, оранжево-жёлтой детской неожиданности. Громким шлепком врезавшись в кусок гранитно-мраморной плиты, служившей немцам полом, оставляя ржавые кляксы на стенах. Еле успел перекрыть подачу воды. Поелозил тряпкой, смывая всю внутритрубную грязь в ванну. Нашел какой-то обрезок резиновой трубы, присобачил его, выведя конец в раковину, и включил воду снова. Ещё минут пять-десять труба, подпрыгивая и плюясь, изрыгала эту оранжевую слизь, всё больше и больше принимавшую свойства жидкости. Ещё чуть-чуть и раковина стала очищаться обычной, светлой, с желтоватым оттенком и ржавым запахом водой. Той самой, что текла обычно из крана.

А из подвала: ведро остатков угля и грохот рубящихся досок, потревоживших размеренное дыхание дома. Ненадолго. Сложены шалашиком щепки. Спичка – и живой огонёк робко и жадно запрыгал по сухим щепкам, постепенно набирая силу. Котелок загудел, подрагивая нетерпеливым ожиданием тепла труб и батарей. Протечек нет, но едкий запах краски стал ещё ядовитей и тошнотворней. Окна нараспашку – эксперимент окончился удачно.

А ещё через какое-то время матросики внесли в квартиру мебель, приобретенную за восемьдесят рублей. Ту, что всё хотели выбросить, но всё руки не доходили. А тут за деньги, да ещё самовывоз. Без труда и не бесплатно. Старый ухайдаканный диван, в пятнах и дырках от непотушенных сигарет, угрожающий выпирающими из глубины недр пружинами, и два шкафа. Немецких, раритетных, из ореха. Украшенных резьбой фасадов и карнизов, скрытых безобразием советского декора под слоями половой краски. Превративших их в безобразных чудовищ, сверкающих уцелевшими, хоть и замутненными глазами витражей. Даже сквозь краску смотрящих гордо и непокорно, с такой же непокорной, непокорённой и неистребимой немецкой молью. Неизвестно откуда взявшуюся кровать из детства: железную, с пру-

жинящей сеткой. Потрепанное жизнью и расшатанное людьми кресло-кровать. Матрац, одеяло и скромное барахло в виде постельного белья да всякой разной незамысловатой одежды. И формой. Новой и не очень. Великое, историческое переселение.

Потом набеги. В основном в обед. Посмотреть. Походить. Подышать. Лето теплое, и даже запах постепенно практически пропал. Или привык... Воду давали только утром, на часок, потому и не встречал его в обед одиноким журчаньем вечно не закрывающийся кран. Тишина, пропитанная олифой. Даже полы не хотели отзываться скрипом на его шаги: обида не прошла.

Всё как-то шло, непонятно какими мыслями и устремлениями. Осень встретил закрытыми окнами и летней дорожной пылью, осевшей равным слоем по всей квартире. Воспалением легких. От нервов и молодости. В госпитале. В тумане температуры.

Кинули на кушетку, застеленную простыней, в матросскую палату. Закутался ознобом в солдатское одеяло и забылся. Что-то меряли, что-то кололи. Кто-то что-то спрашивал. Кто-то что-то хотел. Не помнил – болел. Вынырнул через сутки. Когда молоденькая медсестричка, со слезами на глазах, пыталась призвать к порядку обнаглевших вечером и отсутствием офицеров матросов. Смеющихся всё время о чём-то. А на просьбу утихнуть отреагировал только старший и здоровый. Подошёл успокоить оборзевшего худого, коротко остриженного карася. А заодно укрепить свой палатный авторитет. Пришлось встать и отправить под кровати «пахана». Следом ещё парочку. Не больно, так, для профилактики. Спецназ, ребята, это вам не караси. Хоть и в прошлом. Хоть и недолго. Обессиленный, упал на кушетку и поплыл, захлестываемый волнами слабости и болезни. Утром пришел Шевченко – начальник отделения, и под его ругань и мат, поддерживаемый медсестричкой, оказался на койке в офицерской палате. Лечили быстро и хорошо. Кормили тоже. На выходные приезжал домой. Сидел в постепенно остывающей стенами, после лета, квартире. Что-то делал. Что-то нет. Лежал, слушал. Иногда стучал топором, растапливая котелок. Иногда...

А дом молчал – с чужими не разговаривают.

А после выписки – дом, работа, попытка начать семейную жизнь, которая всё как-то не складывалась. Вроде и любовь, и понимание, и обещания, и всё такое. Но порознь. День – шутки, смех. А вечер – вздохи, поцелуи. А в ночь, как в ледяную прорубь – один. Совсем один, в молчащем доме. Хоть и в своём. Но всё лучше, чем в чужом.

А три года назад, когда умер папа... Расстались не поговорив. На разных полюсах. Не поняв, не услышав друг друга. С отцом, искренне гордившимся своим непутёвым сыном. Его достижениями и победами. Его повторением. Живущим сразу и тогда. А ведь и умер он так, как и жил – сразу. А потом, через сорок дней, пришёл и нашел на матрасе непутёвого своего. В чужой пустой квартире, без мебели, без надежды. Прошёл по квартире, застонавшей под его тяжелыми шагами, погремел посудой на кухне, остановился подле и вздохнул, электризуя воздух вокруг себя. И стал приходить. Каждую субботу. И говорить, говорить, говорить... А когда суббот стало не хватать, стал разговаривать так, мимоходом, по своему желанию. Вовремя и не очень. Вмешиваться, учить, размышлять, направлять, подсказывать. И говорить, говорить, говорить... За всю жизнь столько не разговаривали. Словно наверстывая упущенное. За все годы. За прошлое и будущее. Словно знал: недолго осталось, совсем чуточку отпущено. Последним глотком воздуха. А и не скажешь никому. В дурку секундой отправят. А как рассказать, что физически

ощущаешь его присутствие, слышишь его. Только что не курит. Бросил. Перестал. А вот маме рассказал. А она заплакала, обняв и вздрагивая от рыданий, уткнулась воспаленными глазами в плечо: «А ко мне по воскресеньям». Вот и камень от сердца – нормальный. А то уж что только в голову не лезло. Пусть приходит. И приходил...

А вот в эту квартиру почему-то не пришел. Может, заблудился или сам позабыл сказать ему адрес?! Или не посчитал нужным. Ушёл не попрощавшись. Как из жизни...

А потом война. Пришёл, слил воду из системы. Помолчал на дорожку с домом и уехал, забыв закрыть воду. Два месяца, по часу в день, заливая соседей. Да, наверное, не два, а так, недельку. Взломали соседи замок, да и закрутили потом на честное слово.

А вернулся в тепло другого, не своего дома. Прямо с самолёта к любимой и ждущей. Обласкан и накормлен. А тут родители. Её. А уходить не хочется. А за окном белый февраль, мороз и снег. Оттягивал до последнего. Но всё хорошее заканчивается. Быстро и недолго. Темнотой. А автобусы ушли. А попутки в такую метель не берут. Да сжалился один. Довез до полдороги, оставив в два часа ночи на остановке какой-то деревушки – не по пути дальше. Час танцев. Почувствовав, что начинает замерзать, попытался зажечь костёр. Руки обжёг, заморозил – не горит. Пошёл пешком – «Двигаться! Не заснуть!». Километров десять протопал. А как хочется прилечь и заснуть! А ветер в спину толкает-подталкивает. Как хочется спать. Нашёптывает, зовёт. «Не спать!». К пяти утра остановилась машина – до дома. Открыл дверь. В лицо теплый холод стен. Скинул мокрую одежду, и забился на диване, кутаясь в то, что нашёл, укрываясь матрацем. Забылся воспоминанием ожидания тепла.

Утро разбудило тишиной. Открутил вентиль, и из крана в коридоре радостно ударила и забарабанила тонкая струйка воды. Наполнил систему, разломал стул и засмеялся веселому, прыгающему и кричащему треском дерева огоньку. Резкому и осторожному дымочку.

Да и дом, сдержано, но улыбнулся.

Затем сразу работа. А после: пустота и одиночество. И сны. Черные и красные. Страшные и беспокойные. Кричащие и рвущиеся. Спасающие и бегущие. Выстрелами криков взрывающие тишину. Охающие и завывающие сбитым одеялом. Всхлипами мокрой подушки.

Как-то незаметно, постепенно ушел сон. Куда-то. Может быть, он и был, но с каждой ночью становился беспокойней и страшнее. Да и короче. А на войне было не страшно. А вернее страшно, но потом. И потом пришло сейчас. Та стена, что держала серо-чёрные ужасы минувшего, постепенно рассыпалась, пропуская больше и больше картинок вчерашнего дня. Картинок разрушенных зданий, убитых и истерзанных взрывами и пулями людей и товарищей. Застывшего хаоса и метания сознания. Всего. От и до...

А потом медицинская комиссия и снова госпиталь. Неврология. Нервы подлечить. Расшатанные донельзя. Уже до края. И Сорокобаткин. Сергей. Владимирович. Врач. Мучивший полдня глупыми вопросами. Заставлявший шипеть, свистеть, принимать разные позы. Колющий и стучащий своим хитрым блестящим молотком. Извинившийся за определение не в офицерскую, а в мичманскую палату. И назначивший бешено-активный курс лечения.

А в эту палату он определил ещё и кап-два. Капитана второго ранга. Подполковника по-нашему. Из штаба флота. Ну, нет мест. Нет! А впрочем, команда собралась неплохая. Кап-два неплохо играл в нарды. Так неплохо, что

выиграть у него не удавалось. Вот в основном он и играл с пожилым мичманом. Единственным соперником. Старым боцманом из книжек. Мичманом, написавшим о флоте. В очередной раз выигрывающим и делящимся мыслями и рисунками из новой книги. Названием. Волнующим и интригующим. «Когда качается океан». – Не напишет...

А таблетки не действовали. И вместо сна ночи заполняли разговоры с медсестрами. Брожение по пустынному коридору отделения. Погружение в мир непрочитанных книг.

И вот уже и сон появился. Другой. Глубокий. Как в пропасть. Раз – и нет. Как из-подо льда нырк – и тут. Без снов. С искусанными в кровь губами, порванными наволочками. Красными глазами растерянного, непомнящего, расстроенного лица в зеркале. В пустой, отдающей эхом квартире. В одиноком доме. Слушающем и запоминающем. Принимающем на себя удары его ночи. Словно сам вздрагивал, идя в атаку. Бился в бессильной ярости за ушедших. Смирно лежал в темноте блокпоста. Сжимая зубы, уносил в пустоту гранату без чеки. Отстреливался и просил патроны. Зверел от окружающей тишины.

Видимо, что-то выскакивало наружу. Забрали и перестали выдавать пистолет. Да и с людьми что-то изменилось. Какими-то другими они стали. Цепляющимися, придирающимися, не понимающими. Что-то им всё надо, до всего у них есть дело. Дебилы, придурки, идиоты. Внутри, словно черный ком. Ненависти и злобы. Маленький такой. Крохотный. Но внутри. Но очень глубоко. Но ждущий и выстреливающий в доли секунды. На вспышку. На звук. Маленький. Но настойчивый и растущий. А тут пистолет забрали. Словно раздели. Отдал медвежьим рычанием. Ничего. Ничего страшного. Как учил инструктор: «У вас могут отнять оружие, не понимая, что самым страшным оружием являетесь вы и только вы. Всё остальное это просто приложения к вашему умению и знаниям». Ему легко. Он салфеткой горло может перерезать. А металл успокаивает. Вселяет уверенность и покой. Укрепляет надежду и сон. Но ничего. Ведь было страшней. Всего одна граната на двоих. Ведь было же! Или это из снов? Реальность, ускользающая сухим песком сквозь пальцы. Сквозь сон. Где настоящее? Где прошлое? Какая-то каша: вчера, сегодня, завтра, тогда, потом, здесь. Это хорошо, что психологам нашим забота только о тестах. Заглянули бы внутрь, человеком, обожглись глазами зверя и со страху бы уволили. Сразу. Ан нет! Работать-то придется. А так на бумажках, в делах, все по инструкции: и до, и после войны окутан сотрудник и заботой, и вниманием. А спроси психолога: «Чем и как живут эти вернувшиеся и оставшиеся?». Кому нужны их души. Сколько ребят ушло, не найдя света в этом лабиринте тоннелей вчерашнего и сегодняшнего. Кто должен, обязан был протянуть руку, а не смог, не захотел. Диплом он чуткости и внимания не добавляет. Все кричали, что там всё по пьяни. Здесь отписываются – по пьяни. Никто не виноват. Всё сам, помогали чем могли. Последнюю рубашку свою (!) отдавали. И следили. А на секунду отвернулись и он, гадёныш, напился и ушёл! Как ушёл Сыч. Отслужив лет тридцать до полковника. Половину по войнам. Уволившийся на солидную, руководящую, работу в банк. Балагур. Заводила. Юморист. Не унывающий и конкретный. Кучей проверенных и перепроверенных друзей – ветеранов – психологов. А война она умеет ждать. Она находит свои аргументы и доводы. Нашла и к нему ключик. Обошёл всех, попытался поговорить, закрыть эту страшную калитку в никуда. Но, не услышанный, с улыбкой и шутками, простился. Приехал в гараж и ушёл. Сломав всю отчётность. Трезвым...

И кто подсказал? Кто надоумил? Кто подтолкнул? Из какого сна вырвалось? Вскочил ночью с дивана. Зашёл в комнату. Потрогал стену и на всю комнату прошептал: «Здесь!». После этого снова лёг и забылся, в первый раз, спокойным, глубоким сном, безмятежно улыбаясь пустому дому.

Утром, еле дождавшись открытия книжного магазина, купил все книги про камины и их устройство. Штудировал. Обсуждал. Начал рисовать. Грубо и неумело кидая мысли на бумагу. Реальность обретенной мысли. Проект захватил. Отбросил всё прошлое и ненужное. На свалку памяти.

Камин. Нужны кирпичи. Кто посоветовал? Как увидел? А не важно. Важно то, что на немецкой береговой батарее, у пролива, кто-то копает старый добротный медный кабель. В свинцовой оплётке. Неосмотрительно оставленный немцами на столь малой, для жаждущих денег копателей, глубине. Кабель, по которому неизвестно откуда, наверное, с войны, из того времени, шло электричество. В своё время сильно удивило, что лампочка, вкрученная глубоко в бункере, под землей, начинала тусклой желтой спиралью пробуждаться к жизни. После полста лет. Но сейчас не это было главным. Главным был кирпич. Вырываемый и бросаемый копателями. Разный. И маленький, и большой. И битый, и целый. А главное – он был!

В воскресенье пришёл в отдел. Вроде тихо и дежурный разрешил взять уазик, на часок. С водителем, Олегом Александровым, едем на батарею. Из песка, глины, клинкерные, обычные, с оттисками волчьих лап, огромные и тяжеленные кирпичи на одном дыхании – в машину. Остановился, когда УАЗ был наполовину забит трофеями и проснулась рация: «Всем, кто на связи! В районе «поля чудес» совершен грабеж. Подозреваются четверо молодых людей в военной форме...». Всем, кто на связи! Но мы-то знаем, что в обед кроме нас в городе никого нет. Ни одной машины. Олег смотрит растерянно: на меня, на машину, на кирпич, на меня, на кирпич, на машину. Как есть, в испачканном глиной и кирпичами камуфляже сажусь в машину: «Поехали искать!». В рацию: «Принято». Уазик загудел в город.

Поиск преступников по горячим следам – это целая наука. Наука, которую можно преподавать вечность, но в итоге ничего не получишь на выходе. Кроме «глухаря». В академиях, конечно, дают азы: пять минут, десять, двадцать и через полчаса – результат. И шанс кого-либо задержать. А здесь: пока потерпевший очухался, доехал до отдела, объяснил, что произошло, пока мы добрались до места преступления – всего минут сорок. А начинать кружить надо от точки. А по горячим следам – это интуиция, опыт, твердо стоящие на теории, и самое главное – удача и способность думать преступником.

Покружили. Пусто. Смотрим друг на друга: на базу? Нырнули ещё в одно место. Из-за железной дороги прямо на УАЗ вышли четверо. В камуфляже. Олег по форме, я в кирпичах. Остановили. Предложили проехать в отдел милиции, так как поступило заявление об изнасиловании. Это чтобы успокоить. Открывают дверцу, а там ещё полмашины кирпича. Залезать отказываются, начинают угрюмо обступать. Шарахнут по голове с ноги, и будешь потом вспоминать, как самого зовут. Прошу у Олега пистолет, беру, досылаю патрон в патронник и вежливо прошу всех забраться в машину. Олег, действуя им на мозги, кричит:

– Только не перестреляйте их, а то вам после войны всё равно в кого стрелять, а мне не отписаться потом!

Остановились и с матом полезли на кирпич. Так и привезли. И их, скукоженных, измазавшихся, злых, потерпевший опознал сразу. А Олег, как ока-

залось, кричал не на публику. На самом деле. Да и эти струхнули. Что-то изменилось. Перестроился на боевой лад. Заметно, наверное.

Кирпич в дом. Горой. История. И рыцарей видел. И шторма, и войны. И людей, и судьбы. И тут ещё поучаствовал в задержании. Жизнь.

Постройка длилась недолго. Стенки выросли быстро. Основная проблема была в перекрытии и глине. Глину с трудом, но нашел. Накопал. А сверху уложил какой-то швеллер, вытащенный из груды металлолома, и закрыл всё кирпичом. Замазал глиной. Камин готов! Не удержался, бросил газету и поджёг. Закашлялся от дыма. Открыл окно.

Ходил вокруг кругами. Думая и раздражаясь. Рассматривая и заглядывая. Прикидывая и меряя. Всё так, но не так. Вроде всё правильно, но дым не уходит. По правилам, но на полкомнаты – не пройти. Засел за книги, ища тот неуловимый ранее секрет. Секрет камина. Без дыма. Без проблем. Это как в дзюдо по книжке, по картинке – и движения те, и захваты, и повороты, но ничего не получается. Не хватает маленькой такой изюминки, на которой держится и построен весь приём. Маленький приём. Маленькой хитрости. Мазка кисти, оживляющего картину. Но именно этого и не хватало. Книги читаны перечитаны. Перелистаны и пересмотрены. Никак.

Чем больше стремишься к цели, тем дальше она от тебя. Это он уже усвоил. И потому забыл. Отложил в глубину мозга, чтобы он сам думал и решал. Взвешивал и оценивал. А так – для чего он нужен? Зачем постоянно вмешиваться в его работу? Если все данные в него вложены, то пусть сам и определяет, что и когда.

А тут ещё служба. Что-то пошло не так, и весь мир встал против. Встал, понимая, что причина в другом. Совсем в другом. Мир не изменить. И даже не поправить. И менять его надо сначала в себе. А как можно, если там и на секунду нет его? Если там кругом война! Захватившая и окутавшая. Со своими передышками, ожиданием, атаками и боями. Как найти мир в хаосе сражений?! Да и не искал он его. Ни мира, ни войны. Жил тем, что осталось. Жил главным для себя. Жил криками и стонами. Жил местью. Жил там – ходил здесь. И в голову никому не приходило, что внутри происходит, ни тем, с кем дружил, ни тем, с кем работал, ни тем, кому по долгу службы было положено знать. Спасибо Качановичу – пистолет забрал. Спас от непоправимого. Да и выгнал практически из отдела. В управление. Подальше от себя и от проблем. Спокойней. А в управлении Ермаков. Видящий и чувствующий. В принципе он и увидел, и помог. Зная, что скоро уйдёт, вызвал к себе. Родным отцом. В памяти осталось то, что мир не бывает белым и чёрным. Как ни странно: мир – это множество тонов и полутонов. Согласился, понимая и закрашивая оставшиеся полутона чёрной краской. А когда он ушёл, началась улыбчивая травля. Ненавязчивое выпихивание. Целенаправленное взращивание ненужности. А катализатором всей ситуации стало вручение ордена Мужества. Улыбки, поздравления, шампанское, конфеты, тортики, чай – они подчеркнули, вынесли приговор и поставили точку. Не место в их рядах. Не ихний он, не ихний. Как-то всё неправильно. Радостно – нерадостно. Рано или поздно выгонят. Найдут за что и когда. А из некомплекта всего одна должность. У чёрта на рогах. Рапорт. Здесь толкают, там не пускают – свой кандидат есть. Умный и знающий. А кому нужен штабной и нулевой?! Но видимо желание избавиться было столь велико, что включили в приказ, и в день рождения, став капитаном, уже был на новой должности. У чёрта на рогах. Там, где не ждали.

И началась жизнь другая. С такого нуля, который ему раньше и не снил-

ся. С земли. Знания. Знаний не хватало катастрофически. Как воздуха. Как жизни. Сначала неделю изучал уголовный кодекс. Тщательно конспектировал статьи в служебную тетрадь. Дурел от непонимания. Как кодекса, так и в коллективе. А потом посыпались материалы и заявления. Проверки и рейды. Планёрки и отчёты. Совещания и подведения итогов работы. И так до бесконечности. Без конца и края. Земля.

А ещё очень хотелось спать. В армии научился спать в любом положении, в любом месте. Так и сейчас: спал, сидя на совещании, в кабинете и даже идя туда и оттуда. Спать и только спать. Утром. В пять тридцать первый автобус. Автобус, на штурм которого шли стеной. Как в последний раз. Ибо следующий мог прийти только в обед. Первыми врывались сильные, смелые, ловкие, профессионалы – офицеры флота. О каких-то нормах и приличиях речи не шло. Побеждал сильнейший. Благо этому способствовала темнота и видение только спин и погон. Это уже потом ворвавшихся и набившихся догоняли нормы и правила. Но и они касались только стоящих и тискающихся. Захватившие кресла уже храпели. Но стоя, это было очень даже хорошо. Лучше оставшихся и стучащих кулаками по дверям автобуса. А стоя тоже поспать можно. Главное, ноги не поджимать – не упадешь. И главное потом не сломаться и доехать... Доехать. Через два часа пересадка. И новый автобус. Час или полтора. И бегом, чтобы успеть на часовую пятиминутку. Потом ещё одну. Потом работа. И вечером, если получится, в семь или полвосьмого сбежать. Сбежать из мира сводок и происшествий в реальный, суровый и беспощадный мир быта. В мир, в котором до тебя никому нет дела. Где ты один на один с глубиной, чёрной дырой памяти. К двенадцати может и доберёшься в дом. Без воды, без тепла, без жизни. Первое время пытался растопить, затопить котелок, но пока нагреется квартира, дождаться не успевал – пора вставать и уезжать. Потому и кастрюлю с гречкой на газ. Воды уже ещё нет. Сполоснул лицо из ванны. Съел горячую и безвкусную гречу, и под матрац. Спать. А утром с полпятого – ополоснул лицо, зубы почистил, доел гречку и на штурм.

Полпятого... Эти полпятого и спасли. Не понравилось, что-то товарищам бандитам. Не получилось по материалу договориться. Не отдал фуры с водкой, идущие на Польшу. Не взял денег эквивалентных, по тем временам, стоимости квартиры. Ну и получил тепла с утра. Налили какой-то дряни, и подожгли. Это хорошо, когда в доме есть ванна воды. Сбил пламя у двери, выскочил на улицу и пошёл, сверкая голыми пятками и улыбаясь, в отдел вызывать пожарных. Потушили, разворотили, уехали. Двери почти нет – условна, в потолке дырища, грязи и воды по колено. Разруха. Живой. Участковая приехала. Юля. Села за школьный стул на диван писать протокол осмотра места происшествия. При свечке. Романтично. Достал две кружки. Открыл шампанское. Уговорил. Хлобыстнули по чуть-чуть. За день рождения. Потом ещё. И ещё. Парочку. Бутылок. В девять ушла дежурство сдавать. В десять пришла материал дорабатывать. А после обеда и муж её приехал. Забирать с дежурства. До вечера. А из администрации, от ЖКХ – делегации. Все ходют, смотрют, рассматривают: музей открытых дверей. К утру ушли остатки тепла стен. В дверь и дыру. Алкогольный, послестрессовый озноб. У обоих. На пару с квартирой. А утро вечера мудренее. Собрал сумку нехитрых пожитков, да мыльно-рыльных принадлежностей, взял молоток, и стуком забиваемых в дверь гвоздей ушёл. Опять на съемную, деньги сосущую. Плюс только один – работа в получасе езды. Спи не хочу!

А вот и не спалось. Ушли чёрные провалы снов. А вернулась вчерашняя действительность. Реальностью дня. Да и не атаками в принципе, не штур-

мом, а друзьями и незнакомыми. Глазами и криками. И черным рвущим изнутри. Стоном. Яростью. Злостью. Бессилием. Бесами и чертями. Ну, нет Бога там, где война, ну нет! Припавши к телевизору – война. Прислушавшись к радио – война. На рынке, в трамвае, на улице – война. В том или ином виде. В каждом доме. Мечешься, ищешь испариной ночи автомат. Ползешь и рвёшь, бежишь и спешишь. Открыв глаза, плачешь и снова бежишь. Бежишь за сном, догоняешь себя. Настоящего?! Задолжавшего. Не отомстившего...

И снова закружило. Застреляло. Заполыхало. Загрохотало. И снова жарко. И снова вещмешок. Автомат. Разгрузка. Гранаты. Патроны. Война. Возьми злость и ненависть в дорогу! Возьми памятью!

А война встретила на удивление спокойно. Мирно. Взошедшими хлебами. Пыльными дорогами, свечками тополей, верхушками гор. Людьми. Тогда их и видно-то не было. А в того, кого не видишь в глаза, и стрелять-то легко. А тут глаза, глаза, глаза. И души. Истерзанные и яростные. Не забывшие. Не простившие. Оставшиеся врагами. И с той и, с другой стороны. Друг – враг. День – ночь. Мир – война. Заколоченной, полусгоревшей, растерзанной, одинокой квартирой на краю России.

И снова работа. Благо, что ехать никуда не надо. Открыл глаза, и ты на работе. Положил автомат к кровати – на работе. Закрыл глаза – и в ожидании работы. Защищать и зачищать Родину. От бандитов, как бы их не называли, как бы они себя не называли, как бы их не поминал. И защищал, и зачищал. Пока самого не зачистили. Бух! И всё. Чёрно-зелёный мир сменился на бело-красный. Очарованье и свежесть гор на цинизм и хлористую вонь госпиталей. Транспортировка. Операция. Операция. Капельницы. Утки. Уколы. Перевязки. Рабоче-сострадательные гримасы медсестер. Решительно-уверенные лица врачей. Плачущая, гладящая руку мама. Любимая женщина в белом, накинутом на плечи, дежурном халате. И практически полная неподвижность. Посещения. Сначала по несколько раз в день. Потом в неделю, потом в месяц. Сначала часы, а потом мимоходом, на минутку, по пути на море, на пляж. Благо рядом. Холодный поцелуй и адьюс. Пока. К этому привык. Да и хорошо, что мало. Хорошо, что редко. Вдруг мысли услышат. Вдруг прочитают по лицу.

Устал. Устал видеть сочувствующие лица. Слышать сдержанный шёпот за дверью. Чувствовать раздражение окружающих. Нервничать и плакать. Безмолвно. Глазами. Ночью.

Приехали с работы – подпиши, что согласен на увольнение. Слишком долго болеешь. Работать надо. А ты место занимаешь. А по приказу положено уволить. А уже есть кандидат. Больше четырех месяцев нет на работе. Значит уволить. Да и подписал бы! Да пальцы ручку не держат. Да и рука не поднимается. Да делайте, что хотите...

По приказу. Здесь в госпитале тоже свои порядки. Свои законы. Болей. Лечись. Но есть кто-то страшный и ужасный. Тот, которого боятся врачи. ОМС. Болеть и лечиться можно. Но не больше установленного срока и норм. А потом – на хрен. В любом состоянии. Это потом узнал, что лежал словно разведчик, по следам которого идет враг. ОМС. Две недели в неврологии. Выписан. Новая история болезни – нейрохирургия. Выписан. Новая история – пульмонология. Две недели – выписан. Эндокринология, хирургия, снова неврология и так до... Есть, о чём думать. Есть над чем поразмышлять. Пока не закончится терпение и у врачей, и у больного. Встать и уйти. Да вот только никак. Не идут ножки по дорожке.

А терпение закончилось. Надежда и вера погасли утренней свечой. С копотью и противным запахом. Ничего. Ничего не хочется. Устал. Устал и ещё раз устал. Устал быть обузой. Балластом.

Приехал Сашка. И когда никого рядом не оказалось, попросил пистолет. Очень устал. Он рассмеялся. Обозвал дураком. И уехал. И приехал Саныч. Сергей Александрович. Словно не знал. Словно ничего не произошло. И с Сашкой не говорил. И набил морду. Интеллектуально и красиво. До злости. До слёз. Изгалялся, пробиваясь сквозь усталость и броню отрешённости. Рвал и крушил в поисках. И нашёл. Разбудил и заставил расти. Нашёл одну оставшуюся струну и сыграл на ней. В пику так и не появившимся психологам и целителям душ по обязанности. На злости и взметнулась рука слабой ладонью, чужими пальцами. Взметнулась и упала. Заставил – всё-таки можешь, если хочешь! А потом Агафонов! Дорогой Игорь Григорьевич. Не он, так уже бы давно закопали. Во всех смыслах. И процесс пошёл! Руки. Ноги. Голова. А к концу месяца уже ходил по стеночке. И ещё чуть-чуть и выписали. Извиняясь. Словно выкидывали в море, за борт. Но ведь хожу!!!

Вот он дом. Кто-то вытащил гвозди. С грохотом, скрипом, пылью бухнула дверь, ударив наотмашь, по лицу, одиночеством. Окутало пустыми стенами и высокими серыми потолками. Кружевами паутины и застывшими пауками. Остановился и поздоровался. Эхом повторило. Подошёл к камину. Погладил рукой пыльный, криво сложенный камень. Накидал бумагу и поджёг. И пока дымила, говорил. Рассказывал и вспоминал. Рыдал и рычал. Грелся и замерзал. Рассказал за всю жизнь свою непутевую. Огню. Камину. Квартире. Дому. Принёс дровишек и сидя у всплесков ночного огня, говорил, говорил, говорил. Словно с другом, женой, товарищем. В дыму, огне, в бессоннице. Обсуждал. Как и что. И за уже почти развалившейся дверью и дырой в потолке, закрытой обещаниями ЖКХ картонным ящиком, сжигая какие-то ненужные газеты и журналы, будоражил дом своими планами и мечтами. Набросками и эскизами.

А дом смотрел и недоумённо молчал: «Он-то и ходит еле-еле. А тут ремонт. И сам. Превратил квартиру в кучу строительного мусора и стройматериалов. Кто-то привозит, носит, складирует. Горы уже до потолка. По дому тропки как в лесу вытоптаны. Камин монстром, чудищем пугающим стоит. А он мечтает»...

Поутру дом вздрогнул. Приехали какие-то люди, целый день стучали, гремели, пылили. И оставили после себя новую, сверкающую, пахнущую краской металлическую дверь. Что-то неуловимо изменилось. Дом подтянулся, набрал в грудь воздуха и поправил ремень. От важности. Заблестев пыльными стеклами, сдающимися времени, превращающихся местами в труху рам.

Решив бороться с серым потолком в маленькой комнате, ставшей островком и берлогой, закупоренной и единственно согреваемой вентиляторным обогревателем, вытащил из завалов упаковку потолочной плитки. Прочитав инструкцию, нанес пять точек клея, встал на стол и прижал плитку к потолку. Как легко и просто. Красиво и быстро. Висит. Вторую. Затем третью... а на третью силы и закончились. Руки отказались поднимать и прижимать. Легко и быстро. Головокружением сполз на пол. Там и пролежал в слезливой ярости к самому себе и всему миру. До темноты. До силы.

А утром в тихом безудержном спокойствии прошел по тропинкам комнат. Посмотрел на унитаз с замерзшей водой. Достал молоток и зубило. И стал крошить камин. С остановками и перерывами. Со свистом и клоко-

том легких. Без сожаления. Оставив ещё одну гору, в ещё одной комнате. А когда не смог оторвать от пола мешок с пятью кирпичами, понял: если не унесёт эти кирпичи, то останется с ними здесь навечно. Опять включилась злость. Включился механизм выполнения поставленной задачи: или выполнить, или...

На первую половинку кирпича, вынесенную на мусорку, на улицу, ушло полдня. Тихо, мелкими шажками, с перерывами-остановками, гудением и стуком лёгких и сердца. С трудом закрывая дверь, вернулся и неизвестно сколько провалялся, борясь со слабостью и кружащейся головой. Проснулся от робких прикосновений квартиры. Нетерпением увидеть продолжение бесконечного, но трогательного сериала. Поднялся. На кирпич сил не хватило. Отыскал в куче половинку. И понёс. Ещё полдня. Всё в этом мире теперь заключалось в одном – отнести кирпичину на улицу. И вернуться. Стало единственным. Вставал и нёс. Словно мир исчезнет, если не отнести. Что и было недалеко от истины. Что было над ней и везде.

Постепенно получалось сходить два раза в день. А когда закончились половинки, отнеся ЦЕЛЫЙ кирпич сел, обливаясь слезами. Слезы Победы. Победы над этими половинками.

А дом уже не просто созерцал, он подзуживал, поддерживал, направлял, подпитывал и подталкивал. Сталкивал с карябающих пружин дивана и заставлял, и требовал, и просил.

И были и два кирпича, и три. И собрав веником глиняно-кирпичную крошку, сев, с любовью и нежностью смотря на освободившееся пространство, вздохнул: задача выполнена. Приступаем к выполнению следующей. И понеслось. Только теперь процесс пошел обратный. Новый, шамотный, огнеупорный кирпич поднимался наверх. Глина. Асбестовые листы. Цемент. Всё, что нужно для нового. Того, что нарисовал в своём воспалённом мозгу, застывающем в ледяной квартире одиночества. Из рисунков. Из прошлого будущего. Камина.

Испытанием, проверкой на злость и выдержку, на себя – стала чугунная капсула будущего камина. А ещё арка и какая-то квадратная, но тоже чугунная, труба. Попросил сгрузить у дверей дома, отклонив все попытки занести в квартиру. Сам! Ага. Сам. Попробовал оторвать, приподнять. А капсула и не шелохнулась. Словно мгновенно – стремительно, вросла в эту утрамбованную шлаком и строительным мусором землю. Смеялась и издевалась над ним на окнах тёмных глаз дома.

А задача поставлена! Крякнув. Оторвав один край от земли. Центр тяжести. Занос края вперёд. Этот на землю. Другой вверх и вперёд. И враскачку. Со скрипом вырванного шлака – вперёд. Раз-два! Два-раз! Вперёд и только вперёд. Ступенька. Дверь. Вернее, проём от двери. Покарабкался, поскрябался, и капсула в коридоре дома, хрустит проминающейся старой плиткой пола. Маленький отдых. Надолго останавливаться нельзя! Уйдут силы – не поднять никогда. Пять ступенек. Тяжко. Капсула всё норовит откинуть назад, опрокинуть, подмять под себя, хрустом выравнивая кости. Врёшь! Не возьмёшь! Пять ступенек. Пять! Целых пять. И раз. И два. И два. И раз. Качаемся и ползём на первую площадку. Отдых. И вперёд. Снова. Ступеньки. Двенадцать. Качаемся и балансируем. Льёмся потом и ползём. Вверх. На площадку. За ней ещё двенадцать. Смотреть вперёд. Гордится пройденным. Осталось чуть. Вперёд... а арка совсем легко пошла. Потому что удобная. Потому что технологию раскачал. А за трубу и подавно молчок – пушинка. И три дня в лёжку...

А потом работа. Предложили новую и интересную, и ответственную. Но на два часа ближе к дому. Песня! По приезду ещё оставалось время на мечты и претворение их в жизнь. А было куда ехать. А было к кому.

Дом ждал и вздрагивал в нетерпении ожидания. Только что хвостом не крутил, завидя идущим по дороге. Ну не было у него хвоста... а жаль.

А камин рос. Под рассказы, мысли, ругательства. Рос, как положено. По ряду в неделю. Не торопясь. Не спеша. С достоинством и удовольствием. Непонятным волнующим ожиданием завтрашнего. Завтра наступившее вдружением капсулы и арки на выложенный пещерой постамент.

Дом подпрыгнул и захлопал в ладоши. Захлопал в ладоши этому зарождающемуся и уже осязаемому островку жизни. Островку, с которого началось наступление на хаос, развал и запустение. Аплодисменты.

А когда на своё место стала труба и шамотной глиной, и асбестовыми листами, и огнеупорным кирпичом было всё выложено, заложено и законопачено. Когда, не удержавшись, комком смятой газеты вспыхнуло и белым дымом пыхнуло в квартиру, осмотрелось и нырнуло в трубу тепло – засмеялся колокольчиками. Зазвенел в круговерти танца. В поцелуях и слезах счастья. Дом.

А куда ушли эти чёрные ночи?! Куда ушел хаос и вьюга?! Незаметно. Нехотя. Отпустили, оставив свои следы рубцами на стенах. Куда умчалось эхо ночных криков и горечи слез?! Куда делись вытесненные расправляющим крылья домом мысли и ненависть? Ушли. Или притаились. Притаились в своём ящике – закутке. Запертые от Пандоры камином.

И снова командировка. Снова туда, где стреляют и взрывают. Уехал. Провожаемый домом, ждущим домом.

Домом со стучащим сердцем в углу комнаты.

И вернулся. А вернулся заросшим, с подкопчённым лицом. С сумками и охапкой дров. Скинул камуфляж и разжег огонь в камине. Так и просидел, до утра, что-то бормоча себе под нос, отражая вздрагивающее взрывами радости пламя бегущими по лицу слезами. Вернулся.

Ушёл куда-то котелок. Немецкие динозавры-батареи. Изменились стены, потолок, свет, музыка. Появилось тепло, мебель. Всё менялось и улучшалось. Текло и перетекало. Оставался только один слушатель. Оставалось только одно место, возле которого он проводил вечера. Место, где они говорили, делились, спорили, рассуждали. Место, где встречались, делили аппетитный, дурманящий ароматом шашлык. Место, где читали и писали. Вспоминали и записывали. Камин. Камин сердце, камин центр, камин ракета, камин космос.

А потом командировки ещё и ещё. И он, ждущий. И он, надежный и непоколебимый. Потом любимая девушка. Потом жена. Потом единственная и неповторимая – дочь. Потом и сейчас счастье. Другая мебель. Другие окна, картины, шторы, посуда. Постепенно сдавая позиции, уткнулся спиной в чугун камина. Потом робкие, затем уверенные требования жены о продаже квартиры. Настойчивые и напористые. И уже не спрячешься за смехом и молчанием. А женщины всегда добиваются своего. И она получила вымученное и вырванное согласие. Ради будущего дочери. Молчаливым согласием замершего сердца.

А беда пришла в канун нового года. Дымом из-под пола. Со всех щелей. Снизу. Пришла пожарными, тушащими и заливающими, растревожившими напором воды уголок квартиры, ящик Пандоры.

Первым пал камин. Камин, на который они бросали недвусмыслен-

ные взгляды. Камин, не зажигаемый больше трех лет. Уже украшенный мишурой и гирляндами. Камин, обвинённый и приговорённый. С каждым ударом молотка, каждым отколотым кирпичом прощающийся и уходящий. Другом, братом, товарищем, сердцем. Орошаемый слезами и приглушёнными рыданьями. Тающий кирпичиками воспоминаний. Взятой на себя болью.

Каждым стуком, каждым упавшим кирпичом: «Прости!». А дойдя до основания и увидев, что он не причём, что пожар-то совсем не от него – завыл волком диким, волком лютым. До сердца, до Чечни, до космоса. Закрылся скрипом зубов от всех. Спрятался под потоками скрываемых слёз. Остановилось вырванное сердце.

Подходил. Щупал стены. Спрашивал. Говорил. Уговаривал и успокаивал. Тишина отвечала тишиной. Вакуумом прошлого.

Заклеил обоями. Вырванного сердца не видно. Как не видно и раны, и пустоты.

Осталась жизнь. Жизнь, согреваемая одним. Одним всплеском прошлого. Патроном, оставленным в рукаве.

Смейся оставленной надеждой, Пандора!

Евгений РУССКИХ

ПЯТЬ МОНАХОВ

Рассказ

1.

Новенькую выдавали руки, когда она, комкая воротник плаща, подошла к регистратуре, и Алина подала ей анкету; но юные перепуганные её пальцы не верили, что все это ей нужно, и ручка раз-другой выпала из её руки, пока она все там заполнила. Это неверие Пять Монахов почуял нутром.

– Ну и как она? – тихо спросил его доктор Юшкевич, они стояли в холле, наблюдая за прибывшей.

Пять Монахов выронил из рук сумку с письмами. Новенькая оглянулась.

– Добрый день, – кивнула она доктору с чуть надменной улыбкой, которой никто здесь не верил.

– Добрый, – поклонился доктор, косясь из-под очков на её красивые ноги.

– Ну и что скажешь о ней? – повторил доктор свой вопрос, когда Пять Монахов поднял с пола сумку, подобрав несколько выпавших писем.

– Выздоровеет! – сказал Пять Монахов.

– Ты так полагаешь? – нахмурился доктор.

С тех пор как они затеяли игру в прогнозы и догадки, Пять Монахов ни разу не ошибался. Об этом свидетельствовал «мартиролог». Так называл этот скорбный список из фамилий умерших Юшкевич. Пять Монахов и сам не вполне понимал, как он просчитывает кто из онкологических выздоровеет, а кто – нет. Но он ни разу не проиграл пари.

– Она вылечится! – повторил Пять Монахов.

Но на этот раз доктор Юшкевич заведомо навел справки о новенькой, и врач-радиолог, работавший в Москве, сообщил ему по телефону, что болезнь

побеждает новенькую. Несмотря на повторную лучевую терапию – метастазы в легких. Но шанс есть. Всегда есть шанс, говорил дежурные фразы его бывший однокурсник. Однако оба понимали, что чудес не бывает.

2.

– Где она поселилась? – спросил доктор у Алины, провожая взглядом новенькую, которая с рассеянным видом, далекая от всех, словно знать не знала этого санатория, катила свой чемодан к лифту.

– Она поселилась в гостинице. В номере с видом на море, – сказала Алина.

– Вот как!

– Ну не хочет она жить в палате с соседками. А мне-то что. Пусть живет в гостинице. Раз у нее есть деньги.

– Да, конечно, – согласился доктор.

– Как она? – спросила Алина, взглянув на доктора.

– В каком смысле?

– Ну, что тебе сказал Пять Монахов?

– Он сказал, что она выздоровеет.

– Слава Богу.

– Поживем, увидим, – буркнул доктор, изучая карточку приезжей.

– Пять Монахов не ошибается.

– Знаю, – сказал доктор. – Но тут дело швах.

– По ней не скажешь, – вздохнула Алина. – Яркая женщина. Владелица балетной школы.

«Ах, вот оно что...», – подумал доктор о стройных ногах приезжей. И взглянув на часы, висевшие на стене регистратуры, пошел принимать больных.

3.

Несмотря на утро, было жарко, но в тени, еще державшейся под обрывом, сыроватый песок холодил ступни. Она положила пляжную сумку на песок и устало присела на выбеленный солнцем и морем трехглавый пень, похожий на дракона с отсеченными головами.

Катило волны море, сверкая гребешками из пены. На валуне, торчащем из воды, сидел баклан, расправив черные крылья для сушки. На морском горизонте громоздились розовые облака. Облака были прекрасны. Но все, на что она смотрела, приобретало привкус отчаяния. Лгать себе можно было год назад, когда ей сделали операцию. Но рак продолжал пожирать её, и вера её поколебалась, а потом умерла...

– Привет...

Она подняла заплаканное лицо.

– Привет...

Перед ней стоял Пять Монахов, высокий как коломенская верста, в руках он держал сетку из проволоки, прикрепленную к длинному шесту, такой снастью местные жители ловят янтарь. В санатории он был вместо почтальона – переправлял письма санаторским, жившим в домиках на берегу моря. Но почта ему не платила ничего, и он обходился тем, что ему перепадало на кухне главного корпуса. Несколько раз она видела его в холле, он продавал свои безыскусные картинки с парусниками, выложенные из янтаря. Во взглядах, которые он бросал на нее, были почтительность и влюбленность. Но она истребляла всякую попытку к сближению одним взглядом серых глаз. Парень был красив, но зачем ей блаженный?

– Извини, – сказал он, увидев её слезы. – Тебе надо выплакаться...

– Ничего, – сказала она, сглотнув.

– Это тебе, – вытащил он из кармана линялых шорт крест из янтаря вишневого цвета на кожаном красном шнурке.

– Мне? – взяла она крест.

На верхнем его конце золотилось слово «любовь», на нижнем – «вера».

– Ух ты, – увидела она в красноватом сиянии янтаря застывшего жука. – Спасибо большое...

– Та-а не за что, – осклабился Пять Монахов, обнажив ровные белые зубы. – Это магический крест, – он присел возле нее: – Носи его на груди поближе к шее. В нем сила Солнца и кровь Дракона... Это камень победы! Носи его постоянно. И ты победишь!

– Правда?

Она взглянула через крест на солнце. Голова у нее закружилась...

Очнулась она на песке, чувствуя тошноту: дексаметазон отравлял её.

– Я, кажется, отключилась... – вымученно улыбнулась она, поправив сползшую на её красивый лоб косынку.

В её огромных глазах проглядывало отчаяние.

– Я сейчас! – вскочил Пять Монахов. – Тут в лесу есть бочажок... Там живая вода!

Не нужно, хотела сказать она, вода в сумке, но парень уже бежал к обрыву, бросив свой сачок.

Она надела крест на шею. И попыталась подняться, но ноги не держали. Силы вытекли из нее как балтийский песок сквозь пальцы. Он принес ей родниковой воды в глиняном кувшине. Вода, пахнущая хвоей, была действительно холодной и вкусной. Ей стало лучше, когда она сделала несколько глотков.

– Ох, спасибо! – сказала она, отдавая ему кувшин.

– Ты смелая, – сказал он. – Санаторские сюда не ходят поодиночке.

– Ты хочешь спросить, почему я одна? – сказала она.

Пять Монахов потупился.

– Потому что я одна, – призналась она, собираясь с силами. – Продолжим телепатию?

Пять Монахов покосился на её руку.

– Ах да, кольцо, – перехватила она его взгляд. – Я не живу с мужем. Мы развелись...

– Значит, ты свободна! – радостно воскликнул он.

Потом запнулся и деликатно прибавил:

– Я хотел сказать, что худо быть одному, но еще хуже жить с человеком чуждым тебе по духу.

«А он не глуп», – подумала она, – и как будто читает мои мысли...».

– Муж изменял мне, я понимала его и прощала. Но потом он влюбился по-настоящему... Мне с мужчинами вообще не везло.

– А я бы отдал жизнь за тебя, – произнес Пять Монахов с нежностью, подспудно в нем копившейся.

– Да ну? – улыбнулась она. – Такие слова мне давно никто не говорил.

– Это не слова.

– Сколько тебе лет?

– Двадцать три.

– А мне тридцать три, – грустно улыбнулась она, хотя было ей только двадцать восемь.

Она всхлипнула

– Я скоро умру, – объяснила она свои слезы.

– Ты не умрешь, – сказал он, в его живых глазах светилась доброта, переполнявшая его. – Ты будешь жить долго!

– ...И счастливо, – горько усмехнулась она.

– Да, – не заметив иронии, твердо сказал он. – Долго и счастливо!

Он прислушался. Нет, сердце не лгало. Она не умрет! Радостное ощущение победы заполнило его. Не теряя ни секунды, он создал из этого ощущения сияющую звезду, вобравшую в себя добро, энергию и силу, лучезарно исходящую от его правоты. Сосредоточившись на этом сиянии, он страшным усилием воли направил исходящий от нее яркий и мощный луч на женщину. Теперь её вера будет непоколебима. И поможет ей одолеть болезнь!

– А почему я должна тебе верить? – донеслось до него из посюстороннего мира.

– Надежда сильнее сомнений, – сказал он рвущимся от волнения голосом, представив, как с небес опускается легкое покрывало дуновения Духа и, сливаясь с чистым сиянием звезды, обволакивает женщину: – Только нужно верить. А ты сейчас как деревце, вырванное с корнем из земли. Где питание? И ты подпитываешься тем, что было с тобой до того, как это случилось. Лепишься душой к городу. И почти не придаешь значения тому, ради чего сюда приехала...

«А ведь он прав...» – посмотрела она на него долгим взглядом. И в ней опять шевельнулось животное, которое от страха, гордыни и непокорства заставляло её бежать по берегу моря куда глаза глядят, только бы отвязаться от санаторских, от всего и вся, что напоминало ей о болезни. Не в этом ли её проблема?

– Почему тебя зовут Пять Монахов? – спросила она, повеселев от того, что теперь знала своего врага.

– Мне казалось, что я могу помогать людям. С помощью одного ритуала. И хотел создать при санатории школу «Пять монахов». Но все решили, что у меня на Тибете снесло башню...

– Ты был на Тибете?

– Да. Но сначала я побывал в аду. Это случилось после смерти моей мамы. Я остался один и связался с плохой компанией, сел на иглу. Короче, однажды я ширнулся. И моя душа отлетела... Знаешь, ад – не выдумка! Там чад и стенания! Над кострами коптятся человеческие головы... И работа не прекращается ни днем, ни ночью. В ужасе я умолял Бога вернуть меня назад. Клялся, что стану другим. Он меня услышал... И когда я очнулся, то понял, что все ничто. Все ничто, кроме души. И тогда начался уже ад наяву. Наркота побеждала меня. И если бы не Тибет, я бы точно погиб. Там меня приютила семья тибетца – отец, его жена и сын. Эти простые люди добывали свой хлеб тяжелым трудом на клочке земли. Зато место, где стояло их жилище, было райским. С площадки, отгороженной от пропасти невысокой стеной, сложенной из камней, открывался вид на горы с заснеженными вершинами. Внизу петляла лента реки, и дух захватывало от этой первозданной природы. Вот на этой площадке семья тибетца утром и вечером проделывала один и тот же ритуал, который они называли «Пять монахов». Первый месяц я был мутен и слаб. Ритуал меня грузил, но я не хотел обижать добрых людей, спасших меня, и каждый день добросовестно выполнял все пять упражнений. Но через неделю или чуть больше в душе моей появилась радость. Чистая радость от того, что я живу, переполняла мое сердце. И мало-помалу до меня стало доходить, что «Пять монахов» это не «зарядка», а способ, помо-

гающий обрести веру. И вся фишка в том, что его просто нужно выполнять. Каждодневно. Я полюбил Тибет, но затосковал по родине и вернулся. Квартиру, где мы жили с мамой, у меня отобрали за неуплату долгов. И у меня не было места, где бы я мог приткнуть голову. Однажды сгорел домик в лесу, принадлежавший санаторию, и доктор Юшкевич упросил директора санатория отдать мне то, что от него осталось. Я отстроил дом. – Пять Монахов махнул рукой в сторону лесистого обрыва. – И мне там хорошо. Только бывает очень одиноко. Особенно зимой, когда люди празднуют Рождество...

– Бедный, – сказала она с почти материнским умилением в повлажневших глазах.

И неожиданно даже для самой себя, провела рукой по его голове. Его длинные волосы, собранные в хвост, были шелковистыми, как у девушки.

– Ну, мне пора, – сказала она.

И поднялась, собрав силы.

– Ох, – пошатнулась она, закрываясь тыльной стороной ладони от солнца.

Но парень не дал ей упасть, подхватив её. Вдруг он поднял её и понес.

– Держись за шею. Крепче!

Она не закричала, не стала отбиваться, но притихла на его руках, трепетно дыша ему в сильную шею. Его сердце молотило о грудную клетку, но Павел – такое у него было имя – донес её почти до самого поселка, где находился санаторий.

4.

– Ты пришла! – сбежал к ней с обрыва Павел. Его лицо сияло от счастья.

– Привет! – одарила она его беглой улыбкой, пребывая в том настроении, которое охватывает человека, миновавшего смертельную опасность, только что ему грозившую. Она положила сумку на песок, стащила с себя футболку, сняла шорты. И осталась в косынке и в купальнике цвета морской волны. В стремлении жить на полную катушку она была готова на все.

– Ах, какая ты! – вздохнул он.

– Какая?

– Необыкновенная, – сказал он с нежностью.

– Я в море! – воскликнула она.

И решительно бросилась в воду, вспугнув на берегу черного баклана. Павел взглядом проследил бреющий полет птицы. А когда он перевел взгляд на женщину, она уже сидела на камне, лежавшем в море. Огрызком карандаша он стал быстро рисовать её на картоне, чтобы потом выложить из янтаря картинку, но не для продажи...

– Я замерзла! – крикнула женщина.

И, соскользнув с камня, поплыла обратно.

Когда она вышла из воды, он уже шел к ней навстречу с её полотенцем.

– Разотрись, – сказал он, в его взгляде читалось почтительность и... желание.

Странно, но ей это понравилось. Она чувствовала себя гораздо лучше, чем по приезде в санаторий. Нынче она отмахала три километра и совсем не устала. Небо было в тучах. Солнце не пекло голову. Соленый морской ветер вдувал силы. За две недели, проведенные на берегу, она окрепла. У нее даже волосы стали расти на голове. Но косынку она не снимала.

– Ну, я готова. Показывай свой ритуал.

Господи, как же он обрадовался!

– Каждое упражнение нужно делать двадцать один раз. Вот первое... Смотри!

Он выпрямился с вытянутыми в сторону руками.

– Руки на уровне плеч. Пальцы вместе, ладони вниз. Теперь кружимся...

Глядя на него, она стала кружиться, ощущая себя девчонкой, беззаботной и свободной как ветер. У нее хорошие анализы. И завтра она улетает в Москву! Но совсем иной, чем до встречи с Павлом. Жаль его конечно, но у нее своя жизнь. Любимая работа, круг знакомых. От этого никуда не денешься...

– У-у-у...

И её грустные мысли о том, что завтра эти игры на берегу моря закончатся, подхватил и унес морской ветер...

– Уф! – села она на песок, раскинув точеные ноги. – Голова кружится...

– Теперь нужно лечь на спину, – сказал он, когда она немного отдохнула.

Павел лег на спину и вытянул руки вдоль тела.

– Выдох... А на вдохе поднимаем голову, касаемся подбородком груди и поднимаем ноги... С выдохом плавно опускаем голову и ноги... Вот и все... Поехали!

Это упражнение она сумела выполнить только пять раз.

– Трудно? – посочувствовал Павел.

– О, нет, – солгала она, хотя перед её глазами плыли багровые пятна, но она поставила перед собой цель: рано или поздно выполнить этот ритуал по полной программе.

– Третий монах.

Ей было приятно смотреть, как он, тонкий, мускулистый, прогибает спину, стоя на коленях. Встав на колени, она стала повторять его движения; со вздохом запрокидывала голову назад, выставляя вперед грудь и прогибая позвоночник... Павел был на седьмом небе от счастья.

– Теперь садимся...

Он сел на песок и вытянул ноги перед собой.

– Ступни на ширине плеч. Пальцы ног тяни на себя. А ладони прижми к песку возле... – он застеснялся.

– Задницы?

– Да. Теперь выпрями спину. Опусти голову, и постарайся коснуться подбородком груди. Выдох. А со вздохом запрокинь голову как можно дальше назад, подними бедра... Вот это гибкость! Молодец... У меня так не получается!

– Я была танцовщицей...

– Ух ты! – изумился он. – В детстве матушка читала мне сказку Андерсена про стойкого оловянного солдатика и танцовщицу, ради которой он...

– Это моя самая любимая сказка, – сказала она, вздохнув. – А что нам говорит пятый монах?

– Ах да! Смотри!

Прогнувшись, он оперся на ладони и пальцы ног. Голова его была поднята и запрокинута назад.

– Запомнила?

– Да.

– Теперь выдох, а со вздохом... Не сгибая рук и ног, поднимаем задницу и касаемся подбородком груди... Выдох! – принял он исходное положение.

– Здорово, – сказала она.

Это упражнение она смогла выполнить только пять раз.

Потом они легли на песок. Совсем близко друг к другу. Он нашел её руку и небольно сжал её пальцы. Это было дружеское пожатие.

– Ты меня любишь? – спросила она, подумав.

– Да, – признался он.

Она взяла его руку и положила себе на грудь.

– Ты хочешь любви? – спросил он с надеждой.

– Да, – сказала она, готовая полюбить до безумия.

И приоткрыла губы.

Дрожа, он провел рукой по её голени, отполированной морем. Не открывая глаз, она бессознательно обняла его...

Неизбежность скорой разлуки удесятеряла её страсть, придавала любовному акту жгучую мучительную остроту. Женщина любила в нем каждую клеточку. Но так и не решилась сказать ему, что завтра она уезжает.

5.

Под Рождество она решила вырваться из города к морю, чтобы увидеть Павла – она стала тосковать по нему. На рождественских распродажах она накупила ему кучу подарков, включая теплые вещи для зимы. И, позвонив в регистратуру санатория, забронировала номер в гостинице. Регистраторша Алина, принявшая заказ, тут же насплетничала доктору Юшкевичу, еще больше растолстевшему и полысевшему за минувшую осень.

– Та самая танцовщица? – удивился он, уже давно ничему не удивлявшийся.

– Ну да. Наша красавица.

В тот же день Юшкевич позвонил своему бывшему однокурснику в Москву, врачу-радиологу и, поздравив его с Рождеством, поговорив о том, о сем, между прочим спросил, как дела у пациентки, и назвал фамилию танцовщицы.

– Она выздоровела! – бойко сказал приятель. – Магнитно-резонансное сканирование показало – все чисто! Представляешь? И она продолжает работать. Открыла школу «Пять монахов». Что-то вроде йоги, черт знает, но желающих заниматься у нее немало. У нее даже волосы отросли, что, сам знаешь, после облучения... И я не узнал её, когда встретил на Арбате...

Ах, какая женщина!

Какая женщина!

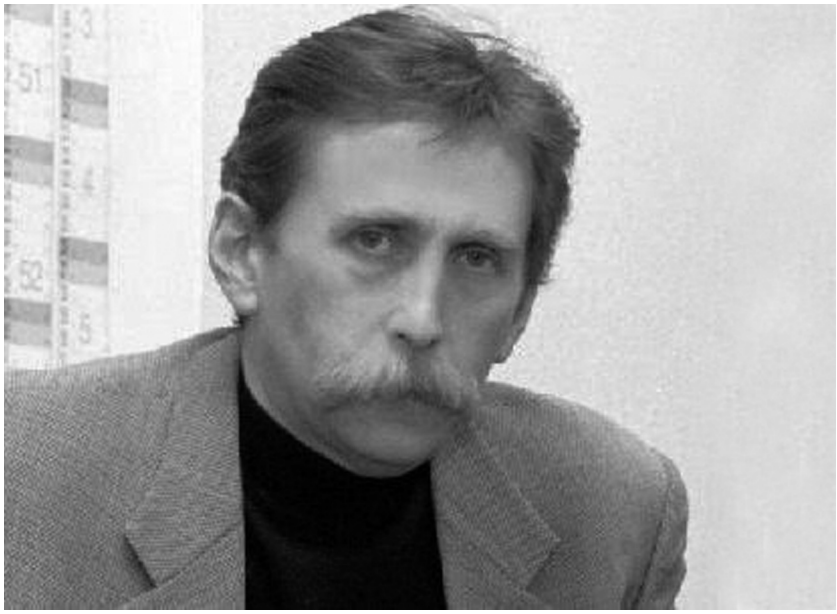
Мне б такую... –

пробасил он в трубку, подвыпивший.

Поговорив с Москвой, доктор Юшкевич долго сидел в задумчивости, глядя в окно, где качались на морском ветру черные кроны сосен. Потом, покопавшись в ящиках своего стола, заваленных бумагами, отыскал свой «мартиролог» и, порвав его в мелкие клочья, бросил обрывки в корзину.

– Пять Монахов никогда не ошибался, – вслух подумал он.

По этому поводу стоило пропустить. И доктор пропустил, достав из портфеля подарок одной из пациенток – бутылку коньяка. Потом, посидев в размышлении о превратностях судьбы, стал надевать «пуленепробиваемое» пальто. Собираться домой в свою холостяцкую квартиру, мимолетно пожалев бедного почтальона по прозвищу Пять Монахов, умершего в декабре в своем доме на берегу – не иначе как от тоски. По женщине, которую он так любил.



Ян ТАКСЮР

ГОСТИ С МАЙДАНА

Рассказ

Я часто думаю о роли мелочей в нашей жизни. Например, чьей-нибудь улыбки. Простой улыбки...

Ну, вот зачем я это написал? Решил же, писать правду. Ничего я не думаю. Ни о каких мелочах. И ни о каких простых улыбках. Я думаю, почему при одном воспоминании о моём старом друге Жене, о его милом, робком, интеллигентном лице и о его улыбке я чувствую раздражение. И даже ненависть. Вот, что я хочу сегодня понять. Потому что здесь тайна. Причём тайна, касающаяся не только меня, но и многих моих соотечественников. Признаюсь, иногда мне кажется, что я разобрался, в чём тут дело. Но потом начинаю сомневаться, и выводы забываются. Кроме того, я сделал одно потрясающее открытие! Но, пожалуй, об открытии я расскажу позднее. Сначала нужно ещё раз всё вспомнить. И тогда, может быть, придёт окончательная ясность. А пока большую часть времени я пребываю в растерянности.

С Женей мы познакомились давно, много лет назад, хотя так и остались на «вы». По вечерам мы часто гуляли вдвоём по старым улицам горячо нами любимого Киева. Помню, как прохладным вечером, где-нибудь в октябре, когда у нас опадают листья каштанов и тополей, мы с моим дорогим Женечкой останавливались на Владимирской или Большой Житомирской, и он, маленький, с восторженными глазами, поглаживая седеющие усы, говорило Паустовском, о Булгакове и счастливо улыбался.

А вот теперь эта самая улыбка или даже одна мысль о ней будит во мне ненависть. Почему так? С чего всё началось? Видимо, с наших споров двухлетней давности. И, конечно, с нашей Революции достоинства, которую

мой друг не принял, над которой зло подшучивал и которую, что уж тут скрывать, несомненно, презирал.

Собственно, о революции, о Майдане и о том, что случилось со мной в те незабываемые дни, я и хотел вам рассказать. Но без Жени и без его так много значившей для меня улыбки тут не обойтись. Ведь каждый раз, как только я вспоминаю о тех бурных революционных и (что бы ни говорили наши идейные противники) исторических событиях, я мгновенно вижу перед собой его ухмылку и слышу вкрадчивый, скрипучий голосок:

– Вы, действительно, считаете, что прыгание несчастных, обманутых людей может привести к свободе и процветанию? Но каким же образом?

Так случилось, что один из самых первых дней Революции в Киеве мы провели вместе. Тогда всё только начиналось. Я и близкие мне по взглядам люди были возмущены избиением студентов. На душе было тревожно. Но Майдан уже собирался и шумел. Звучала музыка, выступали первые ораторы. Я чувствовал, приближается нечто грандиозное. И мне хотелось быть причастным наступающим событиям.

Словом, поздней осенью 2013 года, чтобы как-то унять тревогу, я решил пойти в консерваторию, на концерт приехавшего в Киев знаменитого виртуоза-гитариста. Женя и ещё несколько наших общих друзей тоже пошли. Скажу сразу, это был наш последний совместный «культпоход». Так когда-то мы называли подобные вечера в старые, добрые и, думаю, навсегда ушедшие времена.

После окончания довольно симпатичного концерта мы вышли на Майдан Независимости. Внезапно до нас долетел неприятный запах. Мы переглянулись, потом свернули на улицу Городецкого, бывшую Карла Макса, и вдруг увидели большую лужу. Она текла вдоль гранитного фундамента консерватории в сторону Крещатика. Запах исходил именно от неё. Происхождение лужи не вызывало сомнений. Людей на Майдане было уже немало, а туалетов не хватало. Но в этом не было ничего постыдного! Это обычная ситуация при больших скоплениях народа. Однако Женя сразу же стал зло шутить и делать язвительные обобщения.

– Друзья мои, принюхайтесь и не отвращайтесь! – вскричал он театрально. – Это же запах революции! Если хотите, эта лужа символична. Она предвестник будущего революционного хаоса. Не исключаю, что со временем здесь появится памятный знак в честь мочившихся героев. Но останется ли в целости само здание, это ещё большой вопрос!

Точно помню, именно тогда, после этих слов я впервые почувствовал хорошо сейчас знакомые холод и злобу. Мой друг будто отходил от меня в тень. В мрачную тень. И там, в тени, уже говорил не он. Не мой старый приятель, с которым исхожены тысячи улиц, выпито много вина и спето множество песен Окуджавы и Высоцкого. Теперь это был враг. Враг всего, что мне казалось важным и дорогим.

После того дня мы долго не виделись. События зимы 2014 года захватили меня. Среди нас, пришедших на Майдан киевлян, были люди разных профессий. Музыканты, преподаватели вузов, предприниматели, барды, литераторы. Нас, людей творческих, радовала возможность быть со своим народом. И дело было не только в бутербродах и чае, которые мы носили протестующим. Важно было единение, общий дух обновления, обретение нами чувства единого народа, творящего свою историю.

К сожалению, наши противники видели кругом только недостатки. Обычные нелепости они возводили в степень катастрофы. Говорили даже о фашизме, когда речь шла всего лишь о патриотической молодёжи, искавшей форму протеста, и в своей браваде, в скрывании лиц и бросании булыжни-

ков находившей романтику. Впрочем, чтобы бросать булыжники в представителей насквозь прогнившего режима, нужна была смелость. И они являли эту смелость. И это не могло не вызывать восхищения.

Спустя два месяца после нашей последней встречи, примерно в январе 2014-го, я неожиданно встретил Женю на Майдане. Он шёл мрачный, нахохлившийся. Вокруг горели костры, раздавали еду, молодёжь пела, бродячие кобзари играли на бандурах, сотни людей укладывали мешки с песком в баррикаду на случай штурма. Мы с моей дорогой женой Люсей собирали металлическую посуду после чаепития и оживлённо беседовали с новыми знакомыми. Мы легко понимали галицкий говор и находили прелесть во всех этих «пане» и «пані», «ви є», «ви не є», и в протяжных обращениях – «маєте хліб?», «маєте гроші?».

Настроение было приподнятое. И тут появился мой бывший друг. Как я уже сказал, вид у него был угрюмый. Вид ироничного наблюдателя. Подойдя к нам, он не протянул мне руки, не улыбнулся, а сразу заговорил:

– Господа, – начал он, оглядываясь по сторонам. – Ходят слухи, что участники революции всё прибывают, а расселять их негде. И не исключено, что самых сознательных киевлян попросят поселить активистов у себя на квартирах. Так сказать, взять в семьи для взаимного воспитания. Скажите, господа...

Но в этот момент, как будто нарочно, рядом с нами громко запели, а потом закричали: «Будьмо, гэй! Будьмо, гэй!». Да, возможно, пели не слишком музыкально. Да, вероятно, не все были трезвы. Но ведь была зима, холод. А костры обогревали далеко не всех.

Однако мой некогда друг буквально задрожал от отвращения.

– Так вот, скажите, господа, – продолжал он, недовольно зыркая вокруг, – если вам предложат взять к себе домой пожить кого-нибудь из этих гэй-певунов, вы согласитесь?

Помню, я посмотрел на свою дорогую жену Люсеньку. Она молчала. За тридцать лет нашей совместной жизниона не осудила ни одного моего начинания. Ни разу не высказала неудовольствия. Потом я твёрдо глянул в насмешливые глаза, посмотрел на знакомые седеющие усы и, желая как можно скорее стереть эту отвратительную улыбку, сказал:

– Разумеется, соглашусь.

Так совпало, что как раз на следующий день на Крещатике ко мне и ещё нескольким моим единомышленникам подошёл ныне весьма влиятельный государственный деятель (мне бы сейчас не хотелось называть его имя). Он поблагодарил нас за помощь и очень вежливо, на прекрасном украинском языке попросил взять к себе временно пожить кого-нибудь из активистов Майдана. По его словам, мест для расселения пока не хватало, но вопросы жилья вот-вот будут решены. И тут я опять вспомнил Женю. Его кривую, невыносимую ухмылку. Именно она, как я теперь отчётливо понимаю, явилась главным толчком к моему решению. В общем, я протянул подошедшему свою визитную карточку.

Они пришли через несколько дней. Их было двое. Василий и Маричка. Довольно молодые. Василий постоянно оживлённый, с большими, чуть на выкате глазами, мясистым носом и алым румянцем на небритом, лоснящемся лице. Маричка, наоборот, была тиха, неразговорчива, смотрела несколько тускло, ступала несмело. На голове у неё был цветастый платок, оставлявший открытым только большой бледный лоб и полностью укрывавший волосы, которых я, кстати, так никогда и не увидел.

Тут я должен признаться в одной своей слабости. Я боялся прихода людей с улицы. Возможно, это была чисто интеллигентская боязнь разруше-

ния собственного мирка. А может быть, глубоко затаившееся презрение умника к представителям простого народа. Не знаю. Но я со стыдом вспоминаю, какие ужасные картины мне рисовались. Мне вдруг стало сниться, будто являются грубые постояльцы, нас с Люсей выселяют из собственной квартиры, и мы стоим с узлами на своей родной улице Толстого, а мой приятель Евгений потирает руки и говорит нетто издевательское.

Когда же я увидел Василия и Маричку, на меня сошло огромное облегчение. Я почувствовал к своим гостям невероятную симпатию. Естественно, мы с женой накормили их обедом. Попросили располагаться и не стесняться. Потому что Маричка держалась уж слишком скромно. За столом она молчала и только иногда робко что-то шептала на ухо Василию. А он в ответ ей ласково ворковал: «Та ну, не бийся. Всэ нормально».

От обоих наших постояльцев пахло костром. И этот запах не только не раздражал, но, наоборот, служил нам с Люсей своего рода напоминанием. Мы ясно понимали, что вот эти двое людей с улицы сегодня, вместе с тысячами таких же «маричек», творять историю.

Прошло несколько дней. Наши гости стали привыкать. Да и мы тоже старались к ним привыкнуть. Уходили они обычно рано, после того, как Люся кормила их завтраком. А возвращались поздно. И мне казалось, что делают они это нарочно, из деликатности, чтобы не доставлять нам неудобств. Впрочем, некоторые мелкие неудобства всё же были. Но я связывал их с тем, что наши постояльцы проживали в сельской местности, далеко на западе Украины. А там свои патриархальные и в чём-то упрощённые нравы.

Так, Василий мог иногда оставить не закрытой дверь туалета и оттуда громко отдавать Маричке распоряжения, что взять с собой на Майдан. Какую рубашку или носки. Он также мог довольно громко петь в ванной. Голос у Василия был красивый, сочный. И вообще, все эти «Ой, у стайні два коня» или «Візьмемо, браття, зброю до рук» звучали довольно мило и романтично.

Да и ванную, честно говоря, наши гости занимали крайне редко. Как-то раз, проходя по коридору, я случайно увидел сквозь щель, что Василий находится в ванной полностью одетым, в больших сапогах, и при этом не моется, а почему-то моет бутылки. Помыв, он аккуратно зворачивал каждую бутылкув газету и складывал в мешок. Когда я поинтересовался, зачем ему столько бутылок, он ответил не сразу, немного покряхтел, почесал свой мясистый нос, а потом сказал уклончиво:

– Та хорошим людям пригодяться.

Некотрые более серьёзные недоразумения начались недели через две. Однажды утром я вышел в кухню, когда Василий и Маричка уже ушли. Посередине кухни стояла моя Люся. Она тихо плакала. Признаюсь, сердце у меня упало.

Весь стол был завален грязной посудой и объедками. И дело было не в том, что наши гости не убрали за собой. И даже не в том, что они съели всё, что предназначалось нам с Люсей, и, как потом выяснилось, унесли колбасу и сыр, лежавшие в холодильнике. Не это огорчило мою добрейшую Люсю. Тут было другое. От картины общего беспорядка, от всех этих пустых кастрюль и объедков, валявшихся на полу, веяло презрительным неуважением. Разумеется, я постарался успокоить жену. Напомнил ей, что именно такие простые и не всегда удобные в общежитии граждане ныне меняют судьбу Украины.

– Ты только подумай, – говорил я, – ведь эти люди оставили родные места, проехали сотни километров до столицы, чтобы помочь нам с тобой обрести новую будущность!

Не помню, кажется, я ещё что-то сказал, и жена успокоилась. Однако, неприятный осадок у меня всё же остался.

В тот же вечер, по традиции, мы с Аллой Эдуардовной, доцентом лингвистического университета и нашей старинной приятельницей, понесли на Крещатик и Банковую кофе с печеньем. На Банковой, возле Дома с химерами, толпилось множество народа. Люди, обсыпанные снегом, громко кричали и хором повторяли довольно неприличное ругательство. На некотором возвышении я узнал господина Тягнибока, а рядом с ним господина Яценюка. Ругательство, видимо, относилоськ ним. В ответ они тоже что-то кричали. И тут я увидели Маричку с Василием. Они быстро бежали мне навстречу, таща за собой туго набитые голубые пакеты для мусора. Я улыбнулся и приветливо помахал им рукой. Но они посмотрели неприязненно, не поздоровались, а лишь обошли меня как некое препятствие. Мне стало не по себе.

На следующий день, а точнее, на следующую ночь, мы с Люсей не спали. Замечу, к тому времени мы оба стали плохо спать. Внезапно из гостинной послышались странные звуки. Там явно кто-то ходил. Иногда хлопали дверцы шкафа. Несколько минут мы с женой лежали не шелохнувшись. Потом я встал и пошёл в гостинную.

Там, в длинных цветастых трусах и растянутой под мышками майке, стоял Василий. Ящик комода, где мы с Люсей обычно храним дипломы, паспорта и старые грамоты, был открыт, а Василий, переминаясь на босых ногах с огромным ногтями, внимательно читал какую-то бумагу.

– Вы что-нибудь ищете, Вася, – спросил я как можно спокойнее.

Он обернулся, слегка потупился, почесал свой большой нос и сказал:

– Та хотив документы заховаты.

– Так давайте я спрячу.

– Та нэ треба.

И он быстро закрыл ящик комода и вышел из комнаты. Вернувшись в спальню, я всё рассказал Люсе. Она немного помолчала, а потом вдруг сказала:

– Ты знаешь, она говорила со мной.

– Кто?

– Маричка.

– О чём?

– Спрашивала, сколько метров у нас в квартире. И сколько человек прописано.

До сих пор стыжусь того страха, который я тогда испытал. В груди заколотило. Страшная мысль о том, что не всё так безоблачно, что такие, как мой бывший приятель, может быть, в чём-то правы, на мгновение обожгла меня. Но я тут же, усилием воли, отогнал её.

Через некоторое время неожиданно позвонил Женя. Зачем он тогда объявился, не знаю. Услышав его голос, я тут же напрягся. Сначала мы говорили о пустяках. Потом он спросил насмешливо:

– Говорят, у вас гости из будущего?

Я стиснул зубы и сказал, слегка задыхаясь:

– При чём здесь будущее? О чём вы?

– Но вы же не станете отрицать, что будущее всегда несёт на себе черты того, кто его завоёвывал.

– Всё это слишком сложно, – сказал я холодно.

И тут его словно прорвало.

– Послушайте, мой дорогой, – заговорил он быстро и горячо, – разве вы не видите, кого вы кормите с рук? Какого они духа. Им чуждо всё, что мы с вами любили – поэзия, музыка, культура! Они не только не способны воспринимать их, но и не желают ничего знать о них. Поскольку считают вредными и враждебными себе. И не вы, мой дорогой, будете их

учить, а они вас научат, кого любить, кому молиться и кого ненавидеть! Ведь это провинциальные, озлобленные неучи, которые считают свой набор знаний о мире единственно правильным и патриотичным. А ваши ценности – смешными, ничтожными и подозрительными. И скажите мне, голубчик, как из скопления проплаченных хамов может вылепиться что-нибудь иное, кроме огромного гиганского хама? Каким образом местечковый комплекс неполноценности, пусть умноженный даже на миллион, породит нетто светлое и созидающее? Нет, уважаемый, он породит только худшее зло. Он породит фюрера! Новое божество! Все революции заканчиваются одинаково – на смену дрянному приходит в тысячу раз более отвратительное!

Я не выдержал и бросил трубку. Ещё несколько минут я стоял в передней у телефона. Меня трясло. И всё же, когда, сделав усилие, я запретил себе вспоминать о том, что сказал этот человек, когда я заставил себя прервать внутренний диалог с ним, дрожь стала утихать. Но тут ко мне подошла Люся.

– Там... – сказала она, указывая в сторону, – пойди, посмотри.

Жена повела меня к нашей старой кладовке, где за много лет собрались разные ненужные вещи. Теперь тут стоял незнакомый матерчатый баул. Он был засаленный и грязный. От него исходил кисловатый запах.

Когда я открыл баул, то увидел сверху какие-то тряпки. Под ними лежала пятнистая военная форма, упаковки с лекарствами. Множество неизвестных мне таблеток. Ещё там были пачки шприцов и завёрнутые в измятую газету золотые украшения. Кажется, женские. Помню, серьги и кольца. Несколько пар. А на самом дне, обёрнутый промасленной тряпкой, лежал небольшой револьвер. Он был чёрного цвета. Довольно тяжёлый.

Я посмотрел на Люсю. Она смотрела на меня своим ясным, добрым и немного печальным взглядом. Возможно, она ждала, что я, как обычно, найду разумное объяснение тому, что мы видим. Но говорить о пассионарных личностях, которые всегда являются двигателями любой революции, мне тога не захотелось. Я лишь закрыл баул и осторожно вернул его в нашу кладовку.

И раз уж я решил быть до конца откровенным...

В те дни случилась ещё одна неприятность. Однажды мы с Люсей пошли на вечер нашего знакомого, киевского поэта и барда. Обстановка была прекрасная. Я чувствовал себя среди своих. Друзья подходили ко мне и благодарили за активную гражданскую позицию. Высказывали поддержку. Очевидно, они знали о моём отношении к революции и посильном участии в ней. Не скрою, мне было приятно. Да и поддержка единомышленников была весьма кстати.

Домой мы возвращались поздно. Уже у подъезда мы заметили, что у нас дома горит яркий свет. А когда подошли к входной двери, то услышали музыку и громкий смех. Мы вошли прихожую. Музыка была включена на полную мощность, и потому наши постояльцы не услышали, как мы пришли. В гостинной я заметил несколько человек – Василия, Маричку и ещё незнакомого нам очень толстого мужчину, который спал на софе. Его жирная, волосатая рука свисала до пола. На руке виднелась чёрная татуировка – надломленный крест с орлом.

На журнальном столике стояла большая, почти выпитая бутылка водки, а рядом банка с мутноватой жидкостью. Василий, развалившись, сидел в моём кресле. Маричка хлопотала у стола. При этом Василий хватал её за талию, пытаясь привлечь к себе. Маричка отбивалсь и вскрикивала: «Вася, перестань, чуешь? Дай повечерять!». Она била его по рукам, но это ужасно веселило Василия, он гоготал и продолжал хватать. Лицо Василия было красным и лоснилось, как никогда. Наконец, ему удалось посадить Маричку к себе на колени, но она, продолжая вырываться, закричала: «Та перестань, сказала! Ну шо ты робышь, козьол! Зараз наши жиды прыйдуть!».

Я замер, как от пощёчины. Конечно, мы с Люсей не подали вида, что всё слышали. Но с этого вечера во мне словно что-то переменилось. Нет, я не оставил хождения на Майдан. Наоборот, я стал бывать там чаще. Но теперь, если можно так выразиться, я ходил туда с особенной жадностью. Я искал таких однозначных, положительных впечатлений, которые укрепили бы мою веру. Которые доказали бы, что события у меня дома всего лишь нетипичное недоразумение.

И вот как-то раз поздним вечером, погружённый в свои беспорядочные и не очень весёлые мысли, я шёл по Крещатику. Было холодно. Снег, истоптанный тысячами ног, перемешался с грязью и почернел. Вокруг была всё та же привычная картина – палатки, гомон голосов, запахи полевой кухни. Но прежней радости я не чувствовал.

Вдруг в разных концах Крещатика началось странное движение. То тут, то там послышались резкие, тревожные выкрики.

– Куды вы побиглы?! – закричал сильный мужской голос. – Дывиться! Он, воны дэ!

Тут же с разных концов улицы двинулись возбуждённые люди. Некоторые повторяли: «Титушки! Титушки!». Не знаю, почему, но общее возбуждение предалось и мне. Я быстро пошёл за кричавшими. Сначала мы держались вместе. Но потом, на Майдане, наша группа рассыпалась по улочкам, ведущим вверх к Михайловской площади. Я пристроился к нескольким воинственного вида мужчинам с металлическими прутами в руках. Однако и они куда-то исчезли. Было темно. Мне показалось, что они свернули в старый кирпичный подъезд под домом с лепными украшениями. И я свернул туда же. То, что мне довелось увидеть, я не забуду уже никогда.

В подъезде, который вёл в старый двор, стены были разрисованы, и горела одна маленькая лампочка. Но я всё же разглядел группу человек из пятишести. Они стояли ко мне спиной и смотрели вниз. Внизу на земле, а точнее, на асфальте, что-то медленно шевелилось. Когда один из стоявших отошёл в сторону, я увидел, что на земле шевелится мужчина. Он лежал на спине. На нём была милицейская форма с нашивкой «Беркут». Он был без шапки. Один глаз его почернел и был залит кровью. Он приподнимал одну руку, будто защищаясь. Но обступившие что-то злобно выговаривали ему. Внезапно я узнал Маричку. Её бледное лицо в полутьме подъезда казалось восковым. Тонкий рот кривился. На ней был всё тот же цветастый платок, закрывавший волосы.

– Паскуда! – прошипела Маричка и ударила лежавшего ногой в бок. Он застонал. Только тут, когда от удара человек в милицейской форме немного отшатнулся, я увидел под ним тёмную лужу и догадался, что это тоже была кровь. Потом Маричка быстро обошла лежавшего и, подойдя к нему с другой стороны, несколько раз ударила его каблуком в пах. Он сильно закричал. Потом замер и распластался на асфальте.

– Шкура московська! – выдохнула Маричка и хотела ударить ещё раз.

Но тут меня заметили. Какой-то парень с железным прутом кивнул в мою сторону. Рядом с парнем стоял Василий. Он посмотрел на меня, коротко усмехнулся и негромко сказал:

– А ну, хлопци, держи його.

Меня спасло только то, что я хорошо знаю Киев. Когда они бросились за мной, я, несмотря на возраст, какими-то нелепыми скачками, шумно дыша, пробежал метров десять до улицы. На улице я увидел знакомую подворотню и вспомнил, что за ней проходной двор. Дрожащими руками я толкнул железную калитку, юркнул в неё, и уже ничего не видя, помчался вниз. Голоса догонявших стали удаляться.

Ещё несколько часов я прятался по дворам, пробираясь к дому. Дома, ничего не объясняя Люсе, я попросил немедленно собрать вещи. Мы закрыли квартиру, и после этого три месяца прожили у друзей. Своих постояльцев мы больше не видели.

С тех пор прошло два с половиной года. За это время многое переменилось. И в стране, и во мне самом. Здоровье моё резко ухудшилось. Я живу в постоянном напряжении. В тревожном ожидании. Я почти не сплю. Настроение чаще всего подавленное.

Однако, если вы полагаете, что я отрёкся от тех чувств и мыслей, которые владели нами на Майдане тогда, зимой 14-го, вы ошибаетесь. Всякий раз, когда речь заходит о событиях нашей киевской революции, я горячо убеждаю всех видеть только лучшее. Да, надежды народа пока не оправдались. Но идея происходившего всё равно была прекрасной! Правда, всякий раз, когда я начинаю об этом говорить, во мне всплывает тёмный вечер, подворотня и залитый кровью мужчина, выставляющий вперед слабеющую руку. Но я тут же отгоняю это видение.

И всё-таки недавно я сделал один важный и печальный вывод. Я понял, что на самом деле было главным в моей жизни все эти два с половиной года. Что наполняло её не на поверхности, а, так сказать, на глубине. Так вот, наполнял её страх. Да, страх! Я боялся быть осмеянным вместе со своими идеями. Я боялся, что явится некто улыбающийся, беспощадный, умный и скажет такие слова и такую правду, после которых все мои заклинания «видеть лучшее» покажутся ничтожным лепетом. И вот из этого страха унижения, страха ущемления моей гордости и страха правды родилась моя ненависть. Теперь я это ясно вижу.

Впервые я это понял, когда встретил всё того же приятеля Женю. Это произошло год спустя после победы Майдана. Он подошёл ко мне своей чуть вертлявой, подпрыгивающей походкой, и как всегда, поглаживая свои седеющие усы, сказал:

– Спасибо вам, дорогой, за чудесные достижения вашей революции. Сидим сейчас с женой без денег. Живём на мамину пенсию.

И он захихикал. О, это было страшное, я бы сказал, роковое хихикание! Потому что в тот самый момент, когда он захихикал, я понял всё. Сразу! Это было, как озарение. Я понял, что мне, по большому счёту, безразличны и революция, и её итоги, и европейский выбор, и безвизовый режим. Мне даже безразлична Украина. А важно для меня только одно – не видеть наших ухмыляющихся противников. Не слышать их рассуждений о том, что на Майдане мы нашими жалкими бутербродами накормили бандитский сброд, разрушающий страну. При одной мысли, что мне придётся это услышать или, ещё хуже, признать это публично, я прихожу в ярость. В исступление. И мне хочется стучать кулаками по стене.

Тогда же, глядя на человека, которого долгие годы по-настоящему любил, я почувствовал ещё кое-что. Оно было ужасным. Впрочем, я дал себе слово писать правду.

Я, всегда считавший себя мягким, добрым и гуманным человеком, ощутил желание ударить Женю. Причём, не просто ударить, а так же, как Маричка в подъезде, с икривлённым ртом, избивать и калечить его. Вы скажете, я был нездоров. Несомненно. Я и сейчас нездоров, о чём уже говорил вам. Но иногда мне кажется, что так же, как я, нездоровы сегодня тысячи, а может быть, и сотни тысяч моих сограждан!

Ну, а теперь пришло время рассказать о моём главном открытии. Я упоминал о нём в самом начале. Честно говоря, даже не знаю, как об этом написать.

Одним словом, в ту самую минуту, когда Женя смеялся, кто-то внутри меня внятно произнёс:«Убей его!». Разумеется, я решил, что мне показалось. Но голос, шепнувший «убей его», стал повторяться. Он стал говорить со мной каждый день.

И тога я понял, что во мне кто-то живёт. Какая-то сила. Невидимое, разумное существо. Одной частью души я понимал, что это бред. Но другой частью...

Я обратился к врачам. Мне прописали лечение. И мне стало легче. Но тот голос, тот невидимый шептун вскоре вернулся. Никак не хочу его называть, чтобы не впасть в религиозное мракобесие. Но знаю точно, это он не позволяет мне хоть как-то критически думать о нашем Майдане. Если, например, я говорю, что революция была прорывом к свободе и шагом в Европу, голос молчит. Но стоит мне на мгновение подумать о признании некоторых наших ошибок, о раскаянии, он оживает. И тут же рисует мучительные картины позора и насмешек. И тога все вокруг начинают казаться мне скрытыми врагами. Картина мира мрачнеет, а в душу сходит тяжёлый, злой туман.

А недавно мне стало казаться, что внутри меня живёт уже не один, а несколько голосов. Они говорят со мной, подсказывают аргументы в полемике с воображаемыми противниками. Вчера я не выдержал и прямо спросил их: «Кто вы?». Они засмеялись. А потом ответили: «Гости с Майдана!». И снова захохотали.

Понимаю, что вы сейчас думаете. Но уверяю вас, у меня есть новый препарат. Я обязательно вылечусь. И докажу. Докажу всем непатриотам, всем насмешникам, что идея наша была изумительной. Исторически мы всё равно правы. И я уверен, так думают тысячи лучших людей страны!

Одна только любопытная мысль пришла мне сегодня в голову.

А что если и эти тысячи лучших людей, как и я, слышат голоса? И слышали их тогда, на Майдане. А вдруг и в них тоже кто-то живёт? Квартирует, так сказать. Вот, было бы забавно! Значит, и те, кто бежали за мной с арматурой, тоже слышали голоса! И те, с кем я прыгал у Главпочтамта.

А что если в них тоже внутри кто-то сидел и шептал: пой! прыгай! стреляй! Но если это так, то что тогда получается? Тогда получается, что нас на Майдане было ещё больше! Ну, если учитывать шептавших изнутри. Чушь! Чушь! Никто сидеть не мог. Я потомственный атеист!

Впрочем, было бы мило. Ведь сразу же меняется статистика революции. Выходит, стояли и прыгали не сотни тысяч разумных существ, а уже миллионы! Ха-ха-ха...

* * *

На этом месте рукопись больного С.Х. обрывается. В истории болезни, к которой рукопись была приобщена, сделана следующая запись:

«Данный материал был изъят у больного С.Х. при госпитализации. В виду того, что он содержит не только болезненную симптоматику и фантастические картины, ничего общего не имеющие с реальностью, но и оскорбительные измышления, подпадающие под статью уголовного кодекса, медицинский консилиум принял решение направить текст в компетентные органы. Врач Н.Г. Дмитрук».

Сергей ШМАКОВ

ДЕЛАЙ ТО, ЧТО СТРАШНО

Рассказ

Историю, которую я хочу поведать, мне рассказал Анатолий Николаевич Третьяков, полковник в отставке, участник боевых действий в Чечне. При первой же встрече он произвел на меня впечатление человека доброго, сдержанного, мягкого. Помню, как он радовался дождю, стоя под его каплями, радовался как ребёнок. Полагаю, умением так воспринимать окружающий мир владеют люди, бывшие на волосок от смерти.

Подобные истории я называю историями силы, и, как я склонен думать, они происходят с далеко не обычными людьми: людьми сильными, чем-то одарёнными или имеющими необычную судьбу. Возможно, поэтому я с самой первой минуты нашего знакомства проникся к Анатолию Николаевичу глубокой симпатией.

Это произошло в 1974 году в селе Дерюгино Курской области, куда, будучи молодым офицером в возрасте около двадцати двух лет, Анатолий Николаевич приехал в гости к своему дяде. Любитель побыть на природе, увлеченный рыбак и охотник, он решил сходить поохотиться на уток.

– Ты только на дальнее озеро не ходи, – сказала ему соседская бабушка.

– Это почему же? – удивился юный Анатолий.

– Там водяной живёт, – серьёзно ответила соседка.

Анатолий рассмеялся: было смешно ему, молодому офицеру, воспитанному в Советах, отказавшихся от всего потустороннего, верить в местный фольклор о нечистой силе. Взяв ружьё, патроны с картечью, Анатолий рано утром отправился в сторону озёр. По пути ему встретился Николай, местный пастух, собиравший коров для угона на пастбище.

– Ты только на дальнее озеро не ходи, – сообщил Анатолию Николай, узнав о цели гостя. – Там водяной живёт.

Анатолий недоумённо воскликнул:

– И ты туда же! Ладно бабка, но тебе-то стыдно должно быть.

Но Николай стоял на своём:

– Да все об этом говорят. Туда никто не ходит.

«Раз никто не ходит, значит, там должно быть много уток», – подумал Анатолий и отправился дальше своей дорогой, позабыв о наставлениях.

И вот оно «дальнее озеро». Вокруг ни души. Тишину нарушает только шелест камыша, растущего вдоль берега. Из воды торчат мохнатые кочки, по поверхности воды плавают длинные водоросли, и только местами виднеются незаполненные растительностью узкие протоки, по которым можно свободно плавать. А по всему водному пространству – утиная дислокация, да такая многочисленная, что стреляй наугад – не промахнешься.

Анатолий зарядил ружьё и начал охоту. Выстрел – одна утка готова. Второй – ещё. Третий, четвёртый – охота идёт по плану...

И вдруг посреди всей этой битвы человека с природой всплывает водяной. (На этом месте рассказа я оторопел, ощутил лёгкий страх от несовпадения образа рассказчика и того, что он рассказывает. Не может такое говорить старый боевой офицер! Это невозможно! Но я почему-то верил ему. А он спокойным тоном продолжал описывать внешность водяного.)

Водяной выглядел так, как и должно выглядеть существо, проводящее большую часть жизни под водой. Он был полностью покрыт тёмно-зелёной тиной. Анатолий ясно видел его очертания: над водой возвышались голова и плечи водяного. И он, как ни страшно это представить, молча двигался в сторону охотника.

Анатолий испугался, причём испугался так, что, как он сказал, «будет весьма неуместным говорить об этом за столом и в присутствии женщин». Волосы встали дыбом. Он вспомнил про ружьё, и усвоенная в военном училище привычка защищаться посредством оружия взяла верх – он выстрелил в водяного. Водяной качнулся назад, ошмётки тины разлетелись в стороны, но он продолжал надвигаться на человека. Его молчаливое движение вперёд, навстречу неприятелю, выглядело зловещим, а сама мысль о существовании сверхъестественного и, что самое ужасное, вера в оное, вели молодого офицера к потере рассудка. Он выстрелил ещё раз, но безуспешно: фигура мрачно наступала на него. Не помня себя, бросив ружье и патроны на берегу, Анатолий бросился бежать. Впервые в жизни он убегал не оглядываясь.

Оказавшись дома, он стал постепенно приходить в себя, и здравый смысл забрезжил в его остывающем сознании. Вот он здесь, далеко от дальнего озера, ничто ему не угрожает, здесь можно успокоиться и осмыслить произошедшее. Этого не может быть, но он ясно видел своими собственными глазами, как некое существо, называемое местными водяным, двигалось над поверхностью воды. И всё же рассудок сопротивлялся. «Я, советский офицер, комсомолец должен верить во все эти сказки?» – спрашивал он себя и не мог найти нужного ответа. Страх и стыд боролись друг с другом.

Вечером Анатолий решил вернуться на дальнее озеро. Главной причиной возвращения было брошенное ружье, которое принадлежало его

дяде. Она перевешивала все. Как он должен был объяснить пропажу ружья? Тем, что он испугался водяного? Такого позора он не мог допустить.

Было еще светло, хотя солнце уже клонилось к закату, когда Анатолий появился на берегу дальнего озера. Увидев ружьё там, где оно было брошено, он испытал легкую радость. Стаи покоящихся на воде уток искушали сердце молодого охотника лёгкой добычей. Ну как он мог отказаться, когда сама природа приглашала поупражняться в стрельбе. И он уступил ей. Утреннее событие поблекло на фоне предстоящей охоты. Всё как будто уже забылось и казалось неким сном. К тому же повторись это снова, опасность не так уж страшна – он теперь знает, что можно просто убежать, а опыт не позволит ему бросить ружьё. Он остался.

Охота началась и продолжалась до тех пор, пока над поверхностью воды снова не появился знакомый силуэт. Освещаемый садящимся за горизонт солнцем сзади, теперь он казался ещё страшнее, чем утром. Холод и ужас сковали Анатолия. Он было собрался бежать, но его остановили интерес и отсутствие опасности: фигура была не так близко, и двигалась она не так быстро, чтобы успеть напасть на него.

Он выстрелил. На этот раз водяной качнулся сильнее, чем в прошлый, поскольку Анатолий зарядил патроны с пулями. Брызги воды, куски тины. Фигура двигалась в направлении юноши. Он выстрелил второй раз, но водяной продолжал плыть навстречу. Он аккуратно плыл между водорослями, в протоке, направление которой совпадало с местоположением Анатолия. Анатолий выстрелил третий раз – безуспешно. Когда между чудовищем и человеком оставалось около трёх метров, последний не выдержал и пустился бежать. Уже на подъёме, там, где берег круто поднимался вверх, Анатолий развернулся и выстрелил ещё раз.

Водяной упёрся в камыш и завалился набок. Увидев это, Анатолий остановился – его охватил интерес. Он пригляделся и обратил внимание на что-то белеющее там, где у водяного должен был быть живот, и это белеющее сильно напоминало щучье пузо – опыт рыбака дал о себе знать. Он не спеша спустился к воде, приблизился к существу и ткнул в него ружьём. Томление разума в непонятном преобразовалось в мощнейший прилив энергии триумфа и восторженной эйфории. Он рассмеялся, едва не упав от нахлынувшей на него радости.

Это была самая обыкновенная щука – десятикилограммовое рыбное существо, с трудом выдернутое человеческим рассудком из сумрака мистического. Последний выстрел попал ей в спину и перебил хребет, отчего она потеряла управление и обнаружила себя, перевернувшись на бок под тяжестью груза, находившегося у неё на спине. Грузом же оказался орел, который однажды решил полакомиться щучьим мясом, вцепился когтями в спину рыбы, но, не сумев поднять её, был вынужден уйти вместе с ней под воду. Сам Анатолий Николаевич объяснил это тем, что орлу, чтобы отпустить жертву, необходимо положить её на твердую поверхность, а поскольку таковой в водной среде не оказалось, он не смог освободить когти и погиб. С тех пор щука катала его на спине как напоминание о своей доблестной победе над птицей, которая со временем обросла тиной, и как устрашение тем, кто отважится на неё напасть, что, стоит отметить, ей удавалось, пока она не встретила более удачливого хищника, коим оказался Анатолий, который, оставаясь в плену страха, и подумать не мог, что плечи водяного – это всего-навсего крылья, застывшие в

раскрытом состоянии после долгого сопротивления воде. В тот день Анатолий принёс домой двенадцать уток, здоровенную щуку и знание о том, что страх рождается из невозможности ясно понимать происходящее.

Нет более страшного, если так можно выразиться, греха, чем невежество, поскольку именно оно держит нас в плену предрассудков. Делая то, что страшно, мы побеждаем его, побеждаем самих себя. Знание, а вместе с ним и сила, всегда прячутся за страхом. Точнее, страх – это обратная сторона незнания. Не зная, мы создаём из вполне понятных и нестрашных вещей что-то ужасное. Единственно правильный путь – идти по пути страха. В любой тёмной комнате есть выключатель, найдя который, человек увидит её истинный вид. Осмотрелся, увидел то, что тебя пугает, и пошёл ему навстречу. Другого пути для человека, желающего быть счастливым, не существует. Нужно бояться не собственного страха, нужно бояться того, что он нам не встретится. Страх – это учитель, который заставляет нас учиться.

Виктор ДОБРОСОЦКИЙ

Рассказы

ПАПА ГАНС

Это был ничем не примечательный осенний день. Москва галдела шумом спешащих автомобилей. Я шёл по привычке на работу, и неожиданно в моём воображении возник облик моего немецкого друга, нет, не друга – человека без определенного формального циркуляра, придуманного людьми. Это был просто Папа Ганс. Почему-то в памяти всплыла картина, когда много лет назад в лихие голодные восьмидесятые-девяностые, когда я приезжал к нему в гости, он тайком от Мамы Волтраут давал мне пятьдесят марок с просьбой не говорить ей об этом. Мама Волтраут, в свою очередь, через полчаса подходила ко мне, давала мне пятьдесят марок и просила не говорить об этом Папе Гансу.

Папа Ганс часто повторял мне: «Ты будешь великим человеком, я это знаю, я верю в тебя, и когда ты им станешь, не возвращай нам эти деньги, а купи Маме Волтраут золотые сережки». Он говорил это очень трогательно, показывая для убедительности на свои уши, боясь, что я не пойму его немецкого...

Вечером, придя домой, я почему-то снова вспомнил эту сцену из прошлого, и у меня в сознании вновь возник образ Папы Ганса. Необъяснимое чувство заставило меня принять решение: ехать срочно в Берлин, увидеть стариков и исполнить свой долг. На следующий день я купил серёжки с бриллиантами и срочно вылетел в Берлин.

Папа Ганс встречал меня на своей машине с Мамой Волтраут и сразу повёз в ресторан. Щедрости в угощениях не было предела. Это были и знаменитые немецкие рульки, шнапс и, конечно же, смальц с хлебом. Папа Ганс

совсем не ел. Он смотрел на меня очень странным, таинственным взглядом, то улыбаясь, то задумываясь о чём-то своем, совсем не относящемся к теме нашего разговора. Именно в ресторане я передал ему мою научную монографию с автографом.

Мама Волтраут по секрету сказала, что Папа Ганс накануне плакал, узнав, что я стал доктором и сенатором.

Я чувствовал, как он, перелистывая непонятные страницы, сжимал с гордостью и любовью мою научную книгу и с трепетом пытался вчитаться в непонятный ему язык...

Познакомились мы случайно на вокзале в 1985 году, когда я, как руководитель комсомольской делегации, приехал с группой молодёжи в Берлин на празднование Нового года. Это было незабываемое время перестройки, когда нам казалось, что рушатся границы и Европа заключила нас в свои дружеские объятия.

Мы прибыли на центральный вокзал Берлина поздно вечером, но никто нас почему-то не встретил. Я растерянно стоял с тридцатью туристами из России на промозглом перроне, под мокрым снегом и ветром уже полчаса, когда к нам подбежала приятной наружности девушка и быстро сказала с сильным акцентом, нараспев:

– Меня зовут Корнелия. Я ваш гид. Извините.

Я очень обрадовался, что нашёлся сопровождающий, и сразу простил Корнелии её опоздание.

Мы сели на электричку и помчались в направлении нашей гостиницы на окраину Берлина. Корнелия была, как мне показалось, очень скромной и молчаливой девушкой. Мне же, напротив, хотелось подробно обсудить программу нашего пребывания в Берлине.

– Расскажите мне о программе на завтра, – предложил я, после того как мы устроились в удобных креслах вагона.

– Я бы...ла в Ленин...граде, – пропела Корнелия.

В этот момент я понял, что мой гид не молчалив, а просто не знает русского языка.

Тем не менее десять дней новогодних праздников пролетели весело, и язык молодости и восторга жизни стал для меня и Корнелии общим языком.

Поздно вечером мы уезжали из Берлина. Практически все ребята купили себе долгожданные подарки – недоступную в СССР аудиотехнику – и на перроне со счастливыми возгласами наперебой рассказывали друг другу о своих драгоценных приобретениях.

Корнелия на вокзал пришла зачем-то со своими родителями. Это были Папа Ганс и Мама Волтраут. Так они мне представились, и так я их называл всю жизнь.

Отправление поезда по погодным условиям задержали на два часа, и мы стояли на перроне и о чём-то говорили и говорили. Неожиданно Папа Ганс спросил:

– А вы не приедете к нам в гости?

Я ответил:

– Конечно, приеду, если вы вышлете приглашение.

Я вернулся в Волгоград и быстро, в суете важных и неважных дел, позабыл об этой встрече, но ровно через две недели мне пришло приглашение приехать в Берлин в гости к Папе Гансу. Так началась долгая и очень стран-

ная дружба между двадцатипятилетним парнем и шестидесятипятилетними пожилыми людьми.

Это была первая, но одна из многих моих частных поездок в Берлин. Папа Ганс и Мама Волтраут приезжали, в свою очередь, в Волгоград. Вселенская боль и вина за преступления нацистов не покидали Папу Ганса. Он ненавидел фашизм и все время вспоминал доктора Татьяну, которая после медобследования в одном из немецких лагерей для пленных отпустила его по состоянию здоровья. Папа Ганс шёл домой несколько дней, голодный, изнурённый болезнями и молил только об одном – о здоровье доктора Татьяны. Он не был на передовой, он был заправщиком самолётов, попал в армию насильно, искренне ненавидел войну и передал любовь к русским своим детям.

Наша странная дружба крепла с каждым годом. Папа Ганс высылал из Германии гуманитарную помощь в обнищавшую от развала СССР Россию. Он подарил мне свой маленький «Тарабант», о чём написала тогда вся местная волжская пресса. Ещё в Германии он учил меня водить «Тарабант» и чинить его, если вдруг поломается. Он делал всё, чтобы я был счастлив, и, главное, всегда по-отцовски гордился мной.

После ресторана мы поехали домой. Это был традиционный, самый любимый момент наших встреч – момент раздачи подарков. Приехала к родителям и дочь Корнелия с мужем и маленьким сыном.

Я начал подношение своего подарка издалека, рассказал всем о своём обещании Папе Гансу подарить Маме Волтраут серёжки и закончил свою речь словами:

– Вот такая история.

Папа Ганс прослезился.

– Хорошая история, но я её не помню. Я, видимо, тогда шутил.

– А я не шутил, я привёз эти чудесные сережки в подарок Маме Волтраут.

Я быстро достал завёрнутые в подарочную упаковку серёжки и передал их маме Волтраут.

Я в тот момент был самым счастливым человеком в мире. Старики смотрели на блистающие яркими переливами драгоценные камни, и мне казалось, что их слёзы сверкают ярче бриллиантов, потому что это были слёзы бесконечного счастья.

После обмена подарками началось восторженное веселье с вином. Корнелия с мамой примеряли серёжки по очереди с разными нарядами, а Папа Ганс держал меня за руку и сжимал её то ли от благодарности, то ли от воспоминаний, внезапно нахлынувших на него.

Уходя, мы все вместе сфотографировались на память, и я почему-то спросил Папу Ганса:

– Как самочувствие?

– Бывало лучше, – очень грустно ответил старик, и мне показалось, что голос его задрожал.

Наутро я выехал во Францию, и в этот день Папы Ганса не стало. Он умер спокойно, попрощавшись со всеми. Пригласил нотариуса и изменил завещание. В завещании он выделил деньги для перевода моей научной монографии на немецкий язык.

– Он любил тебя, как сына, – сказала по телефону Корнелия. – Он должен был умереть давно, но ждал твоего приезда, чтобы проститься.

Она заплакала, и я почувствовал щемящую боль в груди и искреннюю скорбь от потери очень дорогого в моей жизни человека – Папы Ганса.

ЖОРА

«Кинотавр» набирал силу. Сила эта была не в качестве фильмов, а в общем нарастающем восторге всех представителей развлекательной индустрии кино от Моря, Солнца, Сочи. Я был на этом празднике впервые и не в полной мере понимал чувства хозяев праздника. Для меня это была однодневная, в большей мере познавательная поездка. Я видел много знакомых лиц, много знакомых глаз, которые ранее встречались на моём пути, но уже растворились в памяти силуэтами мелькающего железнодорожного перрона жизни.

Очередной фильм о смысле жизни в России уже после пятнадцати минут просмотра вызвал у меня желание покинуть кинотеатр и отправиться в бар. Я не понимал, зачем я пошёл не на море, а именно в бар – видимо, по генетической привычке русского человека обдумывать с бокалом вина новые смыслы, которых на самом деле никогда не было и не будет.

Неожиданно я услышал знакомый голос. Обернувшись, я увидел известного продюсера Серегу в компании популярных актёров. Мы обнялись и из соображений утоления голода прошли из бара в ресторан.

Прямо на входе нас встретила приятной наружности девушка не более двадцати пяти лет на вид, в фирменной одежде официанта, пошитой из тонкой голубой вискозы. Платье девушки было удивительно в тон и морю, и её небольшим голубым глазам. Черты лица были некрупными и представляли собой смесь славянской и азиатской цивилизации: высокий лоб, зачёсанные в пучок русые волосы, явно выраженный приплюснутый маленький нос и аккуратные пухлые губы.

Девушка устало улыбнулась, застенчиво показав нам белые неровные маленькие зубы и слегка виднеющиеся десны.

Я посмотрел на её бэйдж и с улыбкой спросил:

– Вика, вы нас не желаете вкусно покормить?

Она с грустной улыбкой кивнула и повела через зал к большому столику. Неожиданно за небольшой декоративной пальмой нашим взорам открылась прекрасная панорама Чёрного моря. Нас невольно охватил восторг от ярких красок радостного пейзажа пальм и моря.

«Мяу! Мяу!» – услышали мы очень странного тембра, надрывистый, с хрипотцой кошачий крик и невольно обернулись.

Прямо за пальмой в тени стояла большая клетка с огромным попугаем. Это был настоящий сказочный говорящий попугай из детства: с зелёным одеянием, украшенным красным галстуком, и синими штанами из перьев.

Официантка заметила наш интерес и с нескрываемой любовью сказала:

– Это Жора – наша гордость. Но он больше любит, когда его зовут Георгием.

– А можно мы купим Георгия и увезём в Москву? Он грустный у вас такой... – пошутил я.

Вика посмотрела на меня с явной обидой и совершенно искренне произнесла:

– Но как же мы здесь без Георгия?! – Затем ее тон стал сухим и официальным: – Вот ваш столик и меню. Знакомьтесь, через пять минут я подойду.

Мы сели и, будучи с утра голодными, быстро сделали традиционный заказ города Сочи – жареные барабульки.

Попугай вёл себя очень нервно, то мяукая, то гавкая, то выкрикивая: «Больно, дурак? Больно, дурак?».

Перед подачей десерта я спросил Вику:

– А почему Георгий кричит с таким надрывом такую странную фразу: «Больно, дурак, больно?».

– Люди злые, обижают его, тычут в него палками, чтобы он с ними говорил, то есть повторял всякую глупость. Но Георгий наш только доброту понимает, он не терпит зла, замыкается и молчит. А они тычут и тычут его палкой, приговаривая: «Говори, дурак! Больно, дурак?». А сейчас он жалуется вам. Чувствует, что люди вы добрые.

От трогательной речи официантки у меня защемило сердце, и я совершенно искренне сказал:

– Давай мы заберём Георгия в Москву. Его не будут там обижать. Он будет летом жить у меня на лужайке рядом с прудом и будет счастлив.

– А зимой мы будем переносить его в мой шикарный зимний сад с другими птицами. У меня большой красивый зимний сад, – неожиданно вступил в разговор Сергей.

– Но как же так! Мы все будем скучать по Георгию! Мы его любим! – наивно, по-детски воскликнула девушка.

– Мы установим видеосвязь с рестораном, и вы в любую минуту сможете поговорить с ним.

– Правильно, правильно, – внезапно подтвердил попугай.

Мы от неожиданности обернулись на Георгия.

– Вот он какой умный у нас. Умнее, чем многие люди, – с гордостью заметила девушка и улыбнулась.

– Представляете, вы включаете связь, а там ваш Георгий сидит, развалившись, около пруда. В одной лапе у него сигара, в другой бокал «Хеннесси». И он говорит вам: «Я счастлив! Я счастлив...» – начал фантазировать я и неожиданно увидел вселенскую грусть и тоску в Викиных глазах с яркими набегающими слезами, в которых отражалось море.

Я невольно прервал свои фантазии, и за столом возникла странная тишина. Все мы, поражённые, смотрели на трагический, сейчас почти иконоподобный лик девушки, думающей о чём-то очень важном в её жизни.

Пауза длилась не меньше минуты; наконец Вика пришла в себя и тихо, с поразительной искренностью и детской прямолинейностью произнесла:

– Может быть, вы кого-нибудь из нас возьмёте с собой?

С этой минуты каждый из нас по-другому увидел эмоциональный ряд «Море, Солнце, Сочи». Без счастья они выглядели грустно.

МИЛЛИОНЕРША

Я летел в Киргизию впервые и, к моему удовольствию, не работать, а путешествовать. Киргизия в моём сознании смешивалась романтическими образами из путеводителя путешественника: загадочное по красоте и шестое в мире по глубине озеро Иссык-Куль, древний красавец Бишкек, величественная Ферганская долина, недосягаемые горные массивы Тянь-Шаня, Памира и самый северный семитысячник на земле Пик Победы. Да, и ещё плантации нежного хлопка, исцеляющий кумыс и – особо подкупающее дружелюбием – государственный русский язык.

Приземлившись в комфортабельное кресло в первом классе «Аэрофлота» и ожидая начало полета, я блаженно размышлял о приятной встрече с неизвестной романтической страной. Неожиданно мои фантазии прервала красивая киргизская женщина лет тридцати пяти. Она стремительно вошла в салон, дежурно поздоровалась сначала со стюардами, а затем, заметив мой любопытный взгляд, улыбнулась мне, слегка обнажив свои красивые ровные и белые как жемчуг зубы. Положив свою модную сумку из коллекции «Шанель» на багажную полку, незнакомка села со мной рядом и пристегнула ремень.

– Здравствуйте. Чуть не опоздала на рейс – пробки. Меня зовут Гульнара, – улыбнувшись, произнесла она.

– Красивое имя! – сделал я дежурный комплимент.

– Да, красивое. С персидского это «цветок гранатового дерева», – пояснила красавица и снова – как мне показалось, слегка кокетливо – улыбнулась.

– Теперь я знаю, как прекрасен цветок гранатового дерева, – искренне восхищаясь красотой женщины, произнес я.

Гульнара действительно была прекрасна. Несмотря на свой невысокий рост, она имела стройную и очень привлекательную фигуру: длинная шея, украшенная ожерельем из голубых топазов, которые спускались ручейком к её высокой изящной груди; идеальная осанка и длинные ровные ноги, подчёркнутые чёрным с кружевами платьем. Восточный эталон красавицы не допускал ни одного изъяна на её лице: большие карие глаза, аккуратный кокетливый носик, страстные губы и, конечно, редкие для славян чёрные, блестящие густые волосы, собранные в толстый сноп.

Я представил себе, как выглядит эта женщина с распущенными волосами, но в этот момент стюард подал нам шампанское, и мы, улыбнувшись друг другу, выпили за знакомство.

Сразу после взлёта, видимо, от выпитого романтического напитка женщина заметно оживилась и неожиданно произнесла:

– А вы мне сразу понравились.

– Это почему же? – удивился я.

– У вас животик такой красивый, большой в смысле. Видно сразу: настоящий красивый, благополучный мужчина.

Я не знал, что и сказать, кроме как пошутить:

– Вы определяете красоту мужчины по животу?

– Да, – невозмутимо произнесла красавица, – то есть не только, но это главное. У вас красивое лицо; но без живота, у нас считается, мужчина не может быть красивым. Без живота – это бедняк или больной злой язвенник, завистник. В нашем народе живот у мужчины – это знак его удачливости, богатства, да и главный признак того, что жена у него хорошая. А хорошая жена – это тоже большая заслуга мужчины. У моего мужа живот тоже большой. Он у меня тоже красивый, но не богатый. Зато я миллионерша, я богатая. Значит, и он живёт хорошо при хорошей жене. Жена должна жить ради мужа.

– Вы бизнесмен? – удивился я.

– Нет, что вы, что вы! Какая я бизнесвумен, – поправила мою глупую оговорку Гульнара. – Посмотрите на меня. Я ничего не понимаю в бизнесе. Я просто миллионерша.

– Это как – «просто миллионерша»? – изумился я.

– Это интересная история. Вы хороший человек, и я вам её расскажу, –

произнесла загадочным голосом красавица. Она своими по-детски пухлыми губками, сложенными в розочку, сделала маленький глоток белого вина, поданного приветливым стюардом к обеду, и о чём-то задумалась, видимо вспоминая, с чего начать.

– Я хороший человек: у меня хороший и добрый живот, – пошутил я, чтобы заполнить образовавшуюся паузу.

Гульнара приняла на секунду кокетливо-обиженный вид, а затем серьёзно заговорила:

– Вы зря смеётесь. У вас добрые глаза, но живот – это тоже признак доброты. Значит, вы не жадный, не экономите на пище, а следовательно, угощаете своих друзей. Это и есть доброта. Народные приметы имеют большие философские корни. Они проверены поколениями наших предков. Так вам интересно узнать, как я стала миллионершей, или весь полёт будем восхвалять ваш живот? – не дожидаясь ответа, Гульнара сделала маленький глоток вина и начала рассказ.

Читателю известно, что самое сокровенное можно рассказать только незнакомым людям в поездах и самолётах в надежде и уверенности, что больше ты их никогда не увидишь и откровения растворятся в земном эфире вместе с твоими случайными попутчиками.

– Мы с братом родились в среде партийной элиты Киргизской Советской Социалистической Республики. Наш отец был до мозга костей коммунист, отдающий все свои силы ради светлого коммунистического будущего. Мы редко видели его дома. Всеми вопросами занималась мама, а папа постоянно строил коммунизм. И вот в одно мгновение вся благополучная жизнь нашей семьи дала трещину из-за той чудовищной, как тогда казалось, катастрофы, которая не умещалась в обыденном сознании людей в Киргизии: прекратил существование Советский Союз. Наша бедная республика осталась один на один с этим огромным миром лжи и насилия, где нам предстояло самим выживать и строить новую жизнь. Мой отец был вторым секретарём горкома партии...

– Я вспомнил анекдот про второго секретаря, – перебил я рассказ Гульнары, чтобы как-то погасить её серьёзный настрой: – Приходит второй секретарь райкома партии поздно ночью. Ложится под бочок своей жене и причитает жалобно: «Надоело! Как за границу ехать, так едет первый. Как пленум готовить, так это второй. Как в Москву на пленум ехать, так это первый. Как выговоры за всякую ерунду, так это второму. Надоело. Все второй и второй». Жена, зевая, сквозь сон говорит: «Будешь приходить раньше – будешь первым».

Я засмеялся над своим анекдотом один: моя знакомая только вскользь заметила:

– Мама не изменяла отцу. Этот анекдот не про него.

А затем с тем же задумчивым видом продолжила:

– Отец неожиданно из ярого коммуниста-интернационалиста превратился в махрового националиста. Он стал создавать новую националистическую партию. Мне было тогда семнадцать лет, и я не могла, как и мой брат, отказаться от русского языка, от русской культуры, которую мы впитали вместе с молоком матери. Это был ужасный период жизни нашей ранее дружной семьи, период, полный постоянных скандалов с отцом. Очередной конфликт закончился ультиматумом папы: или мы с братом вступаем в

его партию и предаем забвению всё русское, или он выгоняет нас из дома. Мне тогда только исполнилось восемнадцать, а брату – двадцать, и мы сделали свой выбор: ушли из отчего дома. К чести отца, он подарил мне двухкомнатную квартиру в центре Бишкека, а брату – однокомнатную, в хорошем новом жилом массиве города.

К тому времени я была обручена с сыном крупного партийного вождя, который тоже, как и отец, быстро перекрасился в другие цвета флагов и стал общественным деятелем – депутатом новой республики. К слову, все партийные функционеры с лёгкостью, как меняют галстуки, поменяли тогда свои убеждения и ловко пристроились при новой власти, держа на всякий случай в сейфах свои партийные билеты членов КПСС.

У нас в стране девушки рано выходят замуж, и в девятнадцать мы сыграли свадьбу. Мой муж, прожив всё своё детство в достатке, не был приспособлен к борьбе за выживание. Он, окончив университет, пытался работать журналистом, чиновником, даже строителем и всё бросал, бросал, бросал. Он очень у меня талантлив, очень умён, очень красив. Посмотришь на него – и сразу видна порода. Благородства у него на сто современных мужчин хватит, а гордости на тысячу. Одним словом, искал он себя в бизнесе, науке, власти и нигде не нашёл. Одни разочарования. Везде ему казалось, что его не ценят, не понимают. Весь мир не понимал его, кроме меня. Он играл на рояле концерты Рахманинова, наизусть читал целые поэмы Пушкина. Я очень любила и сейчас люблю его. Так вот, он окончательно бросил работу, и наш семейный корабль погрузился в пучину безденежья и жуткого ожидания краха. Всё, что у нас было, – это моя двухкомнатная квартира, его однокомнатная и наша большая любовь.

Мой муж опустил руки и ушёл в религию. Мы же мусульмане-сунниты и все свои неудачи, как правило, связываем не с собой, а с внешними врагами. Ну, это обычно для слабых людей. Я искала работу, но, будучи студенткой, могла подрабатывать или официанткой, или уборщицей. Это давало деньги только на хлеб. И вот однажды вечером, сидя на кухне и изучая предложения, где можно быстро заработать много денег, я наткнулась на объявление. Русская девушка Марина из самой Москвы искала в Киргизии партнёра для организации бизнеса по продаже наших ковров и других предметов народного творчества. Она просила инвестировать пятнадцать тысяч долларов и за них давала пятьдесят процентов бизнеса. Я часами смотрела на фотографию Марины в интернете и любовалась её открытым добрым лицом. Сначала я хотела поехать в Москву познакомиться с ней, но денег на поездку у меня не было, и тогда я втайне от мужа продала свою двухкомнатную квартиру за пятнадцать тысяч долларов и выслала их по реквизитам незнакомки Марины.

– И вы никогда не разговаривали с Мариной, не видели её? Просто так послали деньги по реквизитам в интернете? – изумился я.

– Да, именно так. Вам кажется это сумасшедшим поступком; наверное, вы правы, но я была в отчаянье. Мне нужно было менять свою жизнь. Я не могла больше бороться одна. А Марина предстала передо мной как реальный шанс изменить жизнь. Да и отец говорил: выбирай людей по лицам и глазам. В глазах живёт Бог – не ошибёшься.

– И что дальше произошло с деньгами? – нетерпеливо произнес я.

– Через две недели Марина позвонила мне, поблагодарила за доверие,

выслала мне учредительные документы, и мы создали совместную компанию. Марина оказалась одной из самых успешных бизнесвумен в России и создала целую империю, а я таким образом стала миллионершей и самой богатой женщиной Киргизии. Приезжайте ко мне в гости. Мой муж и дети будут вам рады.

– Почему же рады? Из-за живота? – пошутил я.

– Для нас достойно встретить православного человека – это большая честь.

Заметив на моём лице удивление, красавица продолжила:

– Все очень просто. Мы все православные.

– И муж? Я совсем запутался, простите меня. Вы же только что сказали, что он мусульманин-суннит... – искренне удивился я.

– Да, да, но в прошлом. И он, и я были мусульманами, но последние пять лет мы православная семья. Я расскажу вам правду, как это было. Двенадцать лет мы с мужем хотели, но не могли иметь детей. У меня обнаружилась неизлечимая болезнь, которая называется врождённое бесплодие. Муж молился Аллаху, ездил в разные страны в паломничество. Я молилась тоже, пыталась лечиться в разных странах мира, включая Израиль, Америку и Германию. Светила мира подтвердили страшный диагноз. И вот однажды мне позвонила та самая Марина, мой компаньон по бизнесу, и сообщила, что в Загорске есть старец, лечащий от бесплодия. Муж меня отговаривал, ссылался на нашу религию, но я так хотела детей!

Женщина прервала свой рассказ, и я увидел на её глазах слёзы. Несколько капель медленно сползли по её щекам, но она, как в забытьи, продолжала говорить и говорить, как будто читала молитву:

– Так я с помощью светлой моей подруги Марины попала к старцу. Он глубоко и пристально посмотрел в мои глаза своими голубыми глазами, и внутри меня что-то стало происходить. Меня бросило в холод, потом в жар, голова закружилась, и казалось, я вот-вот упаду. Старец неожиданно заговорил, назвав меня по имени: «Гульнара, у тебя будет два ребёнка ровно через год. Я буду молиться за тебя. Всё будет хорошо. Иди, дитя моё, с Богом». После этих слов тепло блаженства стало греть всё моё существо. Я хотела жить и летать, как птица, Я была уверена, что рожу, и от радости воскликнула: «Что я должна сделать? Давайте я построю храм. Всё что угодно!» – «Ничего. Бог тебе даст знак, и ты сделаешь, как Он скажет. Всё в руках Бога», – сказал старец, улыбнулся своей добрейшей улыбкой, согревающей душу, и беззвучно исчез за колонной храма. Вот и вся история...

– Как вся история? – изумился я.

– Ах да. Конечно. Простите. Я прилетела домой, и через неделю мне приснился старец. Он сказал, что мне, моему мужу и моим будущим детям нужно стать православными, и тогда наступит долгожданная беременность.

– И что? – спросил я.

– Ничего. Я переговорила с мужем, и мы приняли христианство.

– Так просто? – высказал я своё удивление.

– Любовь – это не просто. После рождения малышей я поехала благодарить старца. Он сказал мне: «Бог помогает тем, кто умеет по-настоящему любить». Вот и весь секрет моего счастья. Вы должны понять, что это не обыкновенная связь, сотканная из похоти и прагматизма. Это жертвенная любовь. У меня лучший муж в мире. Столько лет борьбы за детей! Он меня не

бросил, не предал, не изменил. Он верил в нашу любовь, он верил мне, он верил в Бога и жертвенно принял новую веру ради нашей любви и нашего счастья. Кстати, после рождения детей у него с Божьей помощью открылся дар педагога. Он так любит детей, что пошёл учителем в школу. Сейчас он уже директор. У нашего народа учитель выше богатства и чиновничьих почестей. Поэтому он в семье был и остается самым главным, – так миллионерша завершила свой рассказ, а потом, помолчав, добавила: – Ваш Бог самый лучший.

«Ваш Бог самый лучший» – эти слова милой миллионерши долго звучали в моём сознании, и в воображении вставали герои этого правдивого и наивного рассказа открытой, простодушной киргизки, которая творила свою судьбу с чистотой дыхания гор, обращённых к Всевышнему.

Вадим АНДРЕЕВ

ПСИХОАНАЛИЗ

Рассказ

1.

Старость приходит незаметно. Как день переходит в ночь. Также незаметно человек начинает новую жизнь, удивляясь поначалу тому, что всё, что он делал в молодости и зрелости с легкостью, стало требовать больших усилий. Он с трудом встаёт, с трудом одевается, медленно, подобно роботу, передвигается, внимательно глядя на дорогу, чтобы не подвернуть ногу, не упасть. Позже он привыкает к жизни с низким энергетическим ресурсом: экономит силы, не переедает, не пьёт на ночь чай, чтобы в отведенный ему короткий четырехчасовый сон не вставать с постели.

«Не беда», – говорит себе он, засыпая, – все проходят через это. Я читал, что Толстой боялся смерти и часто, будучи уже глубоким старцем, говорил, что природа очень строга к людям, поскольку всех забирает к себе, никому не делая исключения. Даже Толстому».

С некоторых пор он стал бояться одиночества. Ночью его пугала тишина. Через час или два после полуночи, когда все спали, его охватывала какая-то странная тревога. Он не мог себе объяснить, что это, откуда и как от этого избавиться. Он ходил из комнаты в комнату, много курил, садился в мягкое кресло и смотрел вперёд – на стену или настольную лампу. Смотрел, чтобы смотреть. Он не видел ни стены, ни настольной лампы. В провале между тем и другим вырисовывался силуэт человека, который подобно ему смотрел в сторону. Четко просматривались только часть лица, потухшие глаза и графитовый лоб, всё остальное, от носа и нижней губы, проливалось вниз, словно он был одет в длинную черную сутану. Это был он – господин Х, точнее,

голографический эскиз, наспех сделанный с его лица, как выражение мучающей его тревоги.

«Вот она какая», – глядя на себя, подумал он о том, о чем никогда не хотел думать.

«Но зачем мне это? Я не хочу видеть себя таким», – шепотом говорил он.

Он выходил на балкон, открывал, звякнув щеколдой, окно и смотрел на деревья – ровные ряды, сквозной ствол, покрытые лунным шафраном, заледеневшие, медные листья.

«Деревья только кажутся живыми, – думал он. – На самом деле, они давно мертвы. И этот серый свет от фонарей и серп месяца, выглядывающий из плотной, как волчья шерсть, тучи – они только подчёркивают правоту моей мысли. Выходит, суть моей тревоги в... Ах, нет, я не хочу так думать. Эти мысли – не мои. Они навеяны тишиной, вызвавшей у меня тревогу и грусть. Но о чём я грущу? Или о ком? О детстве, юности, зрелости? Они давно прошли. И я уже давно не знаю, что это значит – быть молодым, как это – быть зрелым и сильным? Мне говорят, что надо больше ходить, не понимая, что каждый шаг стоит мне огромного напряжения. Мне говорят, что надо бросить курить. Но что мне ещё делать? Сидеть сиднем и пустыми глазами смотреть на мертвый пейзаж за окном? Жить памятью о прошлом? Но где она – эта память? Она слабеет вместе с мышцами, умирает вместе с костным мозгом.

Господин X опустил голову и хотел заплакать – в надежде, что слёзы ослабят тревогу, растопят её и по капельке покинут его измученное сердце. Так уже несколько раз было. Жалость к себе вызывала слёзы, и он успокаивался. В такие минуты, по давно заведенной привычке, он видел себя со стороны – старый, брошенный всеми, седой – и слышал откуда-то извне чей-то голос: «Боже, как же мне тебя жаль!».

Чей это был голос?

Голос из прошлого? Из мёртвого прошлого. А разве нет? Ведь если всё мертво в настоящем, то что говорить о прошлом? Оно давно покоится под прахом беспамятства, исключившим время как действующую субстанцию, где не найти ни одной из сотен миллиардов потерянных жизней.

Господин Z не случайно его терроризирует, сравнивая со старой вещью, место которой на чердаке. Или в подвале, куда сваливают всё ненужное, древнее, пыльное, отслужившее свой век.

Довольно обширная в молодости и зрелости память год за годом теряла целые пласты жизни. Исчезали города и улицы, друзья, знакомые, женщины, отношения с которыми проходили настолько драматично, что, казалось, забыть о них можно только окончательно лишившись рассудка. Тем не менее стирались из памяти и они. Он забывал их имена, смутно, как в густом тумане, представлял их лица, словно между ними ничего, кроме нескольких случайных встреч, не было.

Это его пугало. Сердце сжималось от тоски, и он, чтобы встряхнуться, выходил на улицу, пробовал сконцентрироваться, чтобы воскресить черты далекой возлюбленной или хорошего друга, и, обнаружив, что это ему не удаётся, возвращался домой. Сознание его было похоже на опустошенное ветрами помещение, из которого давно уехали люди. Они вывезли вещи, мебель, картины, ковры, посуду и сервизы – ничего не забыли, всё, от самой большой до самой малой вещи, загрузили в большой грузовик и отправили куда-то в полое пространство. А следом на маленьком с открытым верхом автомобиле уехали сами. Туда же, в то же полое пространство, где ра-

створились, как капельки дождя, точнее, как бабочки-однодневки, рождающиеся сегодня, чтобы завтра умереть.

Как странно всё это получается, думал он, глыба, глыбина времени в какую-то долю секунды сжимается в горошинку. Но чтобы найти её, надо включить свет. И он, ощупывая руками стены, ищет выключатель. И не находит. И наконец понимает, что выключателя нет – его вместе со всем скарбом тоже увезли. Потом он смеётся над собой: боже, что я делаю, ведь в этот дом уже давно не подают электричество! Люди уехали отсюда, расплатившись по всем счетам, чтобы энергетическая компания не подала на них в суд с требованием взыскать долги. Скрыться от кредиторов нельзя. Да и глупо. Лучше заплатить и с легким сердцем уехать. И там, на новом месте, где они остановятся и будут какое-то время жить, почтальон не принесет повестку в суд, где, укоризненно качая головой, судья скажет, что не платить по долгам это плохо.

«Я стар», – с каким-то наигранным удовольствием говорит он, заглядывая в глаза собеседнику. Несколько раз опять-таки не без удовольствия вспомнил, как один английский лорд на упреки красивой молодой жены горделиво ответил: «Мадам, мне 68 лет». Ответил с достоинством, давая понять женщине, что во время диалогов с ним надо делать ссылку на возраст. Наконец, однажды, после охватившей его волны «творческих» мук, связанных с экскурсом в стилистику, он сказал себе: «Проблема не в том, что у меня нет денег, что меня не берут на работу, что слабеет память, давно уже не та хватка и прочее. Проблема в том, что я стар, и если всё, что я сказал выше, можно как-то исправить, изменить, одолеть, – надо только проявить собранность, терпение и волю, – то старость не одолеть, не перебороть. Разумеется, можно с помощью диеты, лекарств и правильного лечения её приостановить. Но не более того. И это естественно – никому еще не удавалось изменить природу старения».

Единственный человек, с которым он дружит почти 50 лет, частенько говорит:

– Господин X, знаете ли вы, что в вас погиб великий актёр?

– Помилуйте, господин Z, – отвечал он, покраснев. – Ну, какой с меня актёр!

– Нет, вы не знаете, что в вас погиб великий актёр. А жаль.

– Полноте, господин Z, с меня такой же актёр, как с вас китайский император.

На самом деле, Z ошибался. Нет, у него и вправду был театральный талант, и при других условиях он, может быть, блистал на какой-нибудь сцене, поражая публику позой и страстью («О, Брента! Нет, увижу вас!»). Но талант у него был особенный – он мог играть исключительно для себя. И только для себя, даже если за ним наблюдал всего один зритель – его собеседник. Причём в отличие от всех, кто тоже играет исключительно для себя, вне зависимости от полноты зрительного зала, он принимал позу, то бишь актёрствовал не только на людях, но и наедине с собой.

Он даже спать ложился, наблюдая за собой со стороны.

Вы скажете: «Какое странное раздвоение личности! Как это поименовано в научной литературе? Шизофрения? Нарциссизм? Комплекс самонаблюдения?».

Не знаю. Он, собственно, был таким всегда. Точнее, сколько себя помнил. И эта вторая жизнь, как отражение первой, или как представление событий в тех же кривых зеркалах, была главной особенностью его жизни.

Как сны о смерти, когда воображение показывало помещение с высоким, как в католическом соборе, потолком, стол на низких прямых ножках и обтянутый черной материей гроб. В помещение никого не было, и может быть от этого было холодно. Но секунду спустя вокруг гроба выстраивались тени людей, они окружали его и молча стояли с опущенными головами. Странно, но среди собравшихся не было ни одного знакомого лица. Лишь однажды мельком он увидел мать. Она сидела на стуле с опрокинутым, розовым лицом и в узкой черной юбке с плотно сжатыми, тоже почему-то розовыми коленями. Она была молода – ей нельзя было дать и двадцати лет.

«Но ведь это нонсенс! – восклицал он. – Если она здесь так молода, то значит меня не должно быть, поскольку я родился, когда матери было больше тридцати лет. Как странно смешались времена! Или это гримасы моего болезненного воображения? Представьте себе, мать пришла на похороны сына, которого ещё нет! Которого ещё предстоит родить как минимум через десять лет. В Пензе. Да, в Пензе. Так написано в паспорте. Мне рассказывали, что роды были тяжелые, мать чуть было не умерла. Дитя было очень большим, и врачи думали произвести кесарево сечение. Но передумали. После родов она ещё три месяца пролежала в больнице. Меня отдали на кормление тёте Лизе, маминой сестре. У неё месяцем ранее тоже родился ребенок. Девочка. Назвали Элей. Потом я узнаю, что Эля – моя молочная сестра. Рассказывали, что, когда мать вернулась домой – исхудавшая, бледная, с застывшей в глубине зрачка слезой – я отказывался от её груди. Тетя Лиза громко смеялась: «Ну, давай, давай его сюда». Мать говорила: «Я ещё не очень здорова, меня воротит от еды. Не знаю, что делать».

Он почувствовал, как вялые щёки вытянулись в жалкую улыбку, под глазами стало влажно от слёз. Ему было и страшно, и грустно. Страшно от картинки собственных похорон и грустно при виде матери, ещё нездоровой после мучительных родов.

Он ложится в постель и с гримасой, уродующей его покрытое глубокими морщинами лицо, засыпает. Заряд эмоций действует, как лёгкое снотворное.

– Вы очень больны, господин X.

– Да, если старость считать болезнью.

– Старость – это вместилище болезней. Но у вас другой случай – вас мучает депрессия, которую можно излечить, если узнать, в чем её причины. Помимо того, вас надо лечить от фразерства – это лишнее. Как аппендицит.

– Что? Вы с ума сошли. Я старик, мне уже...

– Не горячитесь. Я знаю, что вам много лет. Попробуйте заснуть и проспать хотя бы пару часов.

– Спасибо, господин Z. Вы могли бы быть очень любезны, если б не были столь циничны.

– Это и есть фраза. Лечиться и ещё раз лечиться! А сейчас спать.

– Вы неисправимы, господи Z.

– Знаю.

Он ещё раз пробует заснуть, на этот раз ему это почти удается. Сознание колеблется между бодростью и провалом в сон. Шум в затылке, усиливаясь, показывает другую картинку – легковую машину, промчавшуюся по дороге

между желтыми деревьями и повернувшую в сторону железнодорожного вокзала. Взгляд натыкается на острые колючки облысевшей акации. Жарко. Солнце беспощадно мнёт дорогу, превращая битумный покров в мягкий ковер. Он молод. Ему 20 лет. Красив. Здоров. Пот идет градом, собираясь в щекочущие струи в ложбинке шеи, вдоль позвоночника, стекая за пояс. Он расстёгивает верхние пуговицы рубашки, разводит в стороны воротник, достаёт из кармана носовой платок и, аккуратно сложив, прикладывает к шее. Так делают все взрослые юноши, чтобы не испачкать белый воротник. И только после этого замечает женщину, идущую с ним рядом. Это мать. Она провожает его до станции, где он сядет в вагон и поедет в университет. Всё утро она собирала сына в дорогу. Чисто выстиранные и выглаженные рубашки, брюки, носки, дюжина носовых платков, нижнее бельё, несколько книг – всё это сложено в маленький чемоданчик. В тряпочную сумку мать уложила банки с вареньем, с солеными огурцами, сгущенку, печенье и карамель в большом бумажном кульке. Перед выходом достала из кошелька 20 рублей, два красных червонца, и передала сыну. На дне кошелька осталась десятикопеечная монетка.

– Мать, ты ничего себе не оставила.

– Не думай об этом, сынок. Через неделю аванс. Как-нибудь проживу. В доме есть картошка. Масло. Яйца. А на хлеб займу у соседей.

– Нет, мать, так нельзя. Давай разменяем червонец, возьми хоть три рубля.

– Не надо, сынок. Не бери ничего в голову. Я остаюсь у себя дома, а ты едешь к чужим людям. К тому же скоро аванс, я вышлю тебе ещё денег.

– Зачем? Мне этого за глаза хватит.

– Может, и хватило бы, если б бросил курить.

– Брошу, мать.

– Обещаешь?

– Клянусь, мама, но вижу по глазам, что ты мне не веришь.

Мать улыбается:

– Верю. Но не очень.

– Честно говоря, я уже несколько раз пробовал бросить курить, – сказал он. – Но не выдерживал и дня.

– У тебя просто нет силы воли.

– Это правда.

– Мужчины думают, что курение помогает им думать. Какое заблуждение! Всё как раз наоборот – табак вызывает токсикоз, сужает сосуды, и кровоток замедляется.

– Откуда ты это знаешь, мать?

– Читала в медицинском справочнике.

– А я читал у Чернышевского противоположное тому, что написано в твоем справочнике. Один из героев говорит, что без сигареты он не может думать. Так кто же ближе к истине: Чернышевский или справочник?

– Конечно, справочник.

– Почему?

– Потому что его писали известные врачи.

Препираясь, дошли до поворота в сторону вокзала. Там, если перейти на левую сторону, книжный магазин. На полках новинка! – сборник стихов Евгения Евтушенко «Поющая дамба». В эти минуты произойдет случай, который будет помниться полвека. Сборник стоил 1 рубль 10 копеек. У него в нагрудном кармане рубашке был рубль, а десять копеек (последние) дала

мать. В вагоне молодой господин X залез на вторую полку и на одном дыхание прочитал книгу. Он очень любил Евтушенко. «Возрастная болезнь», «Могила ребёнка», «Твист на гвоздях», «Петровский домик», «Под кожей статуи Свободы» – эти стихи нравилось больше других. И ещё очень много разных стихотворений и поэм. Он уже видит себя, прогуливающимся по вечернему парку с какой-то красоткой («фиалочкой с филфака») и декламирует стихи. Он делает акцент на строчках из «Возрастной болезни»: «Повторы за познание расплата! И женщины как будто города, в которых я уже бывал когда-то, хотя не помню в точности, когда». Энергичными жестами он отбивает такт за тактом: «Попробуй сам себя восстанови! Переболела плоть, перелюбила. И жуть берет от холода в крови, от ощущенья: это было, было». Девушка слушает, склонив милую головку:

– Это ваши стихи?

Он улыбается. Он не говорит, что это его стихи. Это написано на его лице, он смотрит на неё с упрёком: «Почему вы мне не верите?». Она целует его в щёку:

– Простите, я не читаю стихов современных авторов.

А днём ранее, проводив сына, мать будет возвращаться домой. Солнце раскаленным железом стоит в зените. Август медленно растягивает время. Как смолу. Словно никогда не станет сентябрем. Она облизывает сухие, с трещинками, губы и быстро проходит мимо киоска газированной воды. Она спешит. Очень хочется пить. Воду в город подадут только вечером. А купить хотя бы стакан она не может – последние десять копеек она отдала сыну.

– Не стыдно, господин X?

– Стыдно, но... Но это не то слово. Проблема в том, что она мне часто снится. В особенности, в последнее время. И всегда о чем-то просит. Я спрашиваю её, что мне для тебя сделать, мама, она что-то говорит, но я её не слышу.

2.

А с книгой произошел такой случай. Он забыл её на столе в приемной деканата и через сутки нашел на том же месте. «Странно, подумал он, почему её никто не украл?».

– Вы себе представляете, господин Z, книга пролежала на столе в огромной приёмной, за это время мимо прошло несколько десятков человек, и никто не обратил на неё внимание.

– Ну и что?

– Как что? Ведь это же Евтушенко!

– Хм... Почему вы думаете, что никто не обратил внимания? Я думаю, обратили, полистали и положили на место. Почему вы полагаете, что книгу обязательно должны были унести? Ведь она чужая. Да и не бог весть какая ценность. Вот если бы вы забыли там десятирублевую купюру, она не пролежала бы и минуту. Но знаете, друг мой, что-то мне подсказывает, что десятирублевку вы бы там не забыли.

– Это ирония? У вас, дорогой мой, превратное мнение на мой счет, вы меня совсем не знаете, – сказал господин X.

– Нет, знаю, причем знаю хорошо. И скажу вам честно, я перед вами преклоняюсь. Таких, как вы, на свете единицы.

– Единицы? Помилуйте, господин Z, я такой же, как миллионы других.

– Это фраза.

– Что?

– Я сказал, что это фраза.

– Ничего не понял.

– Попробую объяснить. Задолго до нашего знакомства я за вами несколько месяцев наблюдал.

– Что вы говорите! Зачем?

– Вы, господин X, человек особенный, я бы даже сказал, избранный, но в отличии от разных Бонапартов, Цезарей и прочих Карлов Великих, вы объявили себя личностью сами. Я наблюдал за вами под разным углом зрения и заметил, что вы всегда принимали позу великого человека, уникума, оракула. Сначала я думал, что это свойственный вашей натуре артистизм, поскольку вы хотите нравиться собеседнику. Позже я понял, что вы действительно великий человек, то есть масштаб вашего величия ничем не меньше, чем у Толстого или Сталина.

– Боже, какой вздор вы несёте, – улыбается господин X.

– Я имею в виду форму, друг мой, а не содержание. Вероятно, вы когда-то приняли решение стать великим человеком, и начали им подражать.

– Как это?

– Вы видели памятник Пушкина на Тверской? Да? Никогда не ловили себя на мысли, что время от времени вольно или невольно принимаете его позу.

– Нет, господин Z, не ловил.

– Друг мой, потому что вы не видите себя со стороны. А я вижу! Да что там Пушкин! Вы подражаете и многим другим: Цезарю, Наполеону, Маяковскому и так далее.

– Какой вы наблюдательный, господин Z. Но что, собственно, из всего этого следует? Зачем вы мне это говорите?

– Затем, что, когда я понял, что разгадал ваш секрет, я стал искать знакомства с вами. Помните, у нас была общая знакомая Аня Руковишникова?

– Смутно. Вероятно, это было очень давно.

– Да. Эдак лет сорок назад.

– Господин Z, у меня было очень много знакомых женщин.

– Не сомневаюсь. Но эту вы должны помнить.

– Почему? Потому что она познакомила меня с вами?

– *Пустяки. Я мог бы познакомиться с вами и другим путем. На эту даму тогда просто выпал жребий.*

– Какой жребий? Не говорите загадками, господин Z.

– Постараюсь. Если вы не помните эту несчастную женщину, то, прошу вас, восстановите в памяти хотя бы своего приятеля, жившего через два дома от вашего. Не припоминаете?

– Нет.

– Подсказываю. Высокий, красивый, учитель музыки, с ранением пришедший с афганской войны.

– Ах, да! Композитор!

– Композитор – это его кличка. Вспомните, как его звали. Этот молодой человек души в вас не чаял, любил, как старшего брата, несколько лет подряд почти каждый день бывал у вас в гостях. Неужели забыли имя?

Господин X. взялся за голову, а потом подпёр кулаком подбородок.

– Только не надо Родена! – крикнул его мучитель. – Не надо «мыслите-

ля!» Вы хоть помните, что он погиб? Если вы скажете, что и это забыли, я вас возненавижу.

– Нет, помню. У него была опухоль мозга. В Пироговке ему дважды трепанировали череп, после второй операции он погиб.

– Имя, Господин X!

– Его похоронили на Калитниковском кладбище.

– Имя! Умоляю вас, вспомните имя!

– Простите, не могу припомнить.

– Но этого не может быть! У вас что – амнезия? Тогда вам надо лечиться самым серьезным образом. Такие события люди не забывают. Согласитесь, у вас тогда не было человека ближе, чем он.

– Да. Согласен. Я относился к нему хорошо, предупредительно и подчеркнуто вежливо. Я никогда с ним не сорился, делился с ним самыми сокровенными мыслями.

– Сколько дежурных фраз! Откуда это у вас? Ведь вы прочитали тысячи прекрасных книг. Зачем? Неужели эти тысячи книг не научили вас простому, искреннему, а не лицедейскому отношению к людям? Неужели нельзя, встретив хорошего друга, пожать ему по-простецки руку, без позы, без фразы, без дежурной цитаты? Впрочем, о чём я? Простите меня, дорогой мой, я забыл, что вы человек необычный, – я не шучу и не иронизирую! – вы действительно великий человек, и не важно, по содержанию или по форме. Когда вы заболели этой болезнью?

– Я не знаю, о чём вы.

– Знаете.

– Я никогда никакой болезнью не болел.

– Охотно поверю, если вы вспомните имя погибшего.

– Не могу припомнить.

– Негодяй! Какой же вы негодяй!

– Вы не имеете права меня оскорблять.

– Но, помилуйте, друг мой, должна ведь форма, та форма, в которую вы облачили себя и явили миру, хоть на малую долю процента соответствовать содержанию. Чтобы повесить плащ, надо как минимум забить в стену гвоздь. Величие на чем-то должно держаться, иначе всё рассыплется. Как прах на ветру. Я говорю серьёзно. Ведь вы не актер, сыгравший роль Сталина, и после спектакля, сбросив маршальский мундир, превратившийся в обычного малого. У вас другая игра. Вы играете всегда, следовательно, это не игра, а состояние души. Ваша пьеса не имеет финальных актов. И не может иметь, пока вы живы. Даже в последние секунды вашей жизни вы будете разыгрывать из себя нечто, кем на самом деле никогда не были. Но ведь это не имеет значения, правда? А знаете, почему?

Сделав в этом месте паузу и внимательно посмотрев в глаза собеседника, господин Z тихо произнес:

– *Потому что так легче умирать.*

– Боже, какой же чушь вы несёте, господин Z!

– Чушь? Пусть чушь. Но давайте наберемся мужества, и отойдём в сторону. На шаг. На полшага. Без фантасмагории и фанаберии. Надо только быть человечнее, хоть на малую толику. Ведь вы не такой плохой, как говорят о вас вокруг. Вздор всё это. Сплетни. Разумеется, великие люди должны быть жестоки по отношению к своему окружению. Да и вообще ко всем. Но и они временами весьма избирательны, и не каждого встречного-поперечного добивают до смерти. Давайте мы тоже сделаем кому-нибудь исключение. Например, нашему учителю музыки. Вы уже вспомнили его имя?

– Нет.

– Ах, дорогой мой, я буду говорить вам плохие слова. И не только. Я сегодня сделаю кое-что похуже. Для себя и для вас.

– Что именно? Предупреждаю, не пытайтесь испугать меня – в моём возрасте ничего не бояться.

– Опять фраза, но примите мои поздравления: сильно! Очень сильно! Умеете вы всё-таки отделаться одной фразой – лёгкой, лаконичной и острой, как копьё. Снимаю шляпу. А, кстати, где вы научились этому искусству? Ах, да, совсем забыл, что все великие люди много читали и любили театр. Но, не сочтите за лесть, не каждый великий мог вот так, как вы, одним ударом, жестом или даже взглядом поставить соперника на место. Пусть обиженно сопит в две дырочки и пишет вам другую биографию. Мне совсем не жаль этих бузотёров, которые распространяют о вас бог весть что.

– Что именно?

– Один из них недавно сказал, что вы убийца.

– Я? Он просто сумасшедший.

– Разумеется.

– И кого же я убил?

– Своего отца. Вот вам и Эдипов комплекс в чистом виде.

– Что за вздор? Кто этот безумец? Мой отец погиб в автокатастрофе, когда я был подростком.

– Правда, правда... Именно так я ему и говорил. Но перед этим, то есть в день автокатастрофы между вами была ссора? Да?

– Да. Только сначала ссора была между отцом и матерью. Он хотел её ударить, я не дал. Я запер мать в спальне и встал у двери.

– Какой мужественный поступок! Не перестаю вами восхищаться. Но что было дальше?

– Отец подошел ко мне, у него были красные от гнева глаза, и начал орать, осыпая меня грязными ругательствами. Я всё это выслушал, а потом сказал, что, если он хоть пальцем тронет мать, я его убью.

– Браво! И что отец? Он пробовал применить к вам силу?

– Нет. Он только буравил меня глазами. Знаете, есть такая психологическая дуэль – взглядами. Как у боксеров перед боем.

– Понимаю. Надеюсь, вы вышли победителем из этого психологического дерби?

– Вероятно, да. Во всяком случае, он ушел. А вечером...

– А вечером его автомобиль в лобовую столкнулся с грузовиком. Какой ужас!

– Я не хочу об этом говорить, господин Z.

– Почему?

– Потому что ваш бузотер косвенно прав. Если бы отец не поссорился с матерью, и я не встал бы между ними и, самое главное, не сказал бы тех слов...

– Каких слов?

– Что я убью его, если он ударит мать.

– Ну и что? Это же только слова.

– Я о другом. Возможно, после этого он не напился бы вдребезги и не сел за руль.

– Вы считаете себя косвенным виновником в смерти отца? Но что вы могли в той ситуации сделать? Разве у вас был выбор?

– Нет, но... Как видите, мужество, проявленное одним человеком, привело к смерти другого.

– Балл не засчитывается – опять фраза. Вы неисправимы. Право, господин X, я всё-таки сделаю то, что обещал.

– Сделайте. Но не берите меня на испуг. Насколько мне известно, вам столько же лет, сколько мне. Ну и что вы, дряхлый и дряблый старикашка, можете со мной сделать? Избить? Застрелить? Зарезать?

– *О, нет! Я сделаю хуже – я перестану в вас верить.*

– Что? Я не ослышался, господин Z?

– Нет. Но не будем об этом. Вы ещё не вспомнили имя учителя музыки?

– Нет.

– Тогда я уйду. С вами бесполезно говорить. Позвоните мне, когда вспомните.

– Но почему это для вас так важно, господин Z?

– *Это важно для вас.*

– Опять загадка?

– Нет.

– А что?

– Проза жизни. До свидания. Позвоните мне, пожалуйста, когда к вам вернётся память. Вы слышите меня, старый маразматик?

1.

Гость встал и вышел из комнаты, прикрыв за собой дверь.

«Ну и скатертью дорога», – подумал господин X, когда он ушел. В комнате было душно. Так бывает, когда на улице вот-вот пойдет дождь. Он подошел к подоконнику, отдернул в сторону штору и открыл окно, выходившее на балкон, у застекленный стены которой притаилась полная холодного серебра полночь. На той стороне узкой, асфальтированной дороги, за густой стеной высокого шиповника, горели фонари, покрывавшие голубыми зонтиками верхушки кустарника. Чуть дальше, за каменным забором, детская площадка с качелями, низким турником, хоккейными воротами, треугольной, как аршин, лесенкой и парой вырезанных из дерева медведей. Свет здесь был ярче – зеленый с томящим ленивым золотом. Справа от площадки высилась выложенная из красного кирпича котельная с толстой трубой, выдыхающей горячий воздух в небо с подслеповатыми алюминиевыми звездами. Было тихо. За детской площадкой деревья сливались в темно-синюю полосу и уходили тем дальше от города, чем ближе к нему подплывала бледная с рыжей подпалиной луна.

Он стоял у открытого окна, вытянув вперед лицо. Мелко, почти бесшумно зашелестел дождь – в такие минуты он всегда испытывал какую-то почти животную, детскую радость. Он вышел на балкон и сел в плетёное кресло. Он мог сидеть так часами – неподвижно, слушая музыку моросящих дождинок, не смыкая глаз и вдыхая в легкие свежий воздух. Казалось, что эти крохи живительной влаги падали не откуда-то сверху, а рождались где-то рядом, в полуметре от него, на расстоянии вытянутой ковшиком ладони. Нескольких капель, уколовших ладонь, было достаточно, чтобы в организме заиграла кровь, словно эти капли приготовил незримый волшебник из редких лекарственных трав.

И память вернулась к нему. Учителя музыки звали Николаем. Да что там имя! Он мог сейчас рассказать о нём всё, с подробностями вспоминая эпизод за эпизодом, так же подробно, если надо, говорить о его подругах, о матери, об отце, который, кстати, тоже был музыкантом – он играл на виолончели в Тбилисской филармонии. Жаль, что сейчас нет рядом вредного гос-

подина Z. Он вспомнил и Аню Руковишникову – красавицу с голубыми, как морская волна, глазами, с точеной, как шахматный слоник, фигурой и нежной чёлкой, которая могла свести с ума самого закоренелого женоненавистника. Он достал из кармана халата сотовый телефон и набрал номер господина Z.

– Доброй ночи.

– Вспомнили?

– Да.

– Говорите.

– Минутку. Сначала я должен вам сделать замечание. Сегодня вы вели себя не только не корректно, но и оскорбительно, что вынуждает меня изменить мнение о вас. Одно из двух: либо вы принесете извинения, либо я прекращаю с вами отношения.

– Вот как? Ну что ж, извините. Я и впрямь вёл себя по-хамски. Ещё раз извините. Этого достаточно? Или приползти к вам на коленях и облобызать полу вашего венценосного халата?

– Достаточно.

– Назовите имя учителя музыки.

– Его звали Колей, то есть Николаем.

– Далее.

– Что далее?

– Что было дальше, господин X?

– Помню, я пришел к нему в дом и в коридоре перед дверью встретил Анну. Николай не пускал её к себе, потому что в это время занимался любовью с другой.

– Анна его любила?

– Больше жизни. Но он не отвечал ей взаимностью. У него было много поклонниц.

– Как она оказалась в сумасшедшем доме?

– Что? Вы и это знаете? Откуда?

– Не валяйте дурака. Вы сами мне об этом рассказывали.

– Тогда продолжайте вы.

– И не подумаю.

– Почему?

– Потому что это ваш грех. Это вы её упекли в психушку, а не я.

– Но ведь она совала себе в рот лезвие, причем не одно, их было много, целая горсть, она могла себя ранить, я тогда решил, что она сошла с ума и что ей нужна медицинская помощь.

– Вы видели кровь у неё на губах?

– Кровь? Признаться, нет.

– Значит, это был фокус. Лезвие закладывают под язык, оно липнет с помощью клейкой слюны к стенке языка, и, если плотно закрыть рот, не будет никакого вреда.

– Значит, фокус?

– Да.

– Но зачем?

– Чтобы напугать вас и вашего друга, чтобы вы и, главным образом, Николай обратили на неё внимание.

– Но позвольте, я видел всё, она была в отчаянье, глаза горели решимостью сотворить что-нибудь недоброе, в конце концов, она плакала, дергала себя за волосы. Как вы это объясните?

– Ревностью, дорогой друг. Это тоже невротическая болезнь, но излечить её легче, чем склонность к суициду. С суицидом дело обстоит сложнее. Чаще всего человека толкает к самоубийству комплекс причин. Хотя... известны случаи самоубийств из-за сущих пустяков.

– Вам виднее, вы врач. Вы продолжаете практиковать?

– Да.

Дождь за окном затих, раскаты грома и голубые зигзаги молний уходили на север, за лесной массив, вспыхивая над верхушками сосен, как бенгальские огни. Листья черемухи мелко вздрагивали, блестя золотым позументом от яркого света ночных фонарей. Газон утопал в воде, а высокая трава в ямах напоминала колышущиеся от легкой волны морские водоросли. Видно было, как рассеивается туман. Он уходил в сторону высоких деревьев и там рассасывался в плотной, застоявшейся сырости. Ночной мир одевался в жидкое, цвета слюды стекло.

– Вы там ещё не заснули, господин Х?

– Нет.

– Рассказывайте дальше.

– Я вызвал скорую, она отвезла Аню в больницу. Через день я был у неё. Меня проводили в палату, она сидела на кровати, сжав колени, и смотрела перед собой. Лицо было спокойным, глаза грустные, но умиротворенные. Судя по всему, она была накачена успокоительными.

– Синдром ревности снимается быстро, но после того, как лекарства перестанут действовать, всё возвращается на круги своя. Мне известно, что после клиники она посетила вас. Правда?

– Да.

– И задержалась допоздна?

– Да.

– У вас был с нею секс?

– Да, был.

В трубке легко вздохнули:

– Это, пожалуй, единственное, что вы сделали правильно. Примите мои слова в качестве комплимента. Вы сделали больше, чем все врачи вместе взятые. Помните, как написано у вашего Евтушенко: «Как мало надо женщине, мой бог, чтобы её за женщину считали». Кстати, эти стихи тоже вошли в сборник «Поющая дамба». Помните гривенник, который вы выкрали из пустого кошелька матери, чтобы купить эту книгу?

– Оставьте в покое мою мать. Пожалуйста! Не было и дня, чтобы я не вспомнил об этом поступке. Эта десятикопеечная монета мне уже снится! Я уже дал себе оценку – она отрицательная. Я поступил как последний негодяй. Что вам ещё от меня надо? Чтобы я повторял это по сто раз на дню, как «Отче наш»? Чтобы бился головой о паркет? Или вы полагаете, что я настолько глуп, что не знаю, что не существует мелких прегрешений? Что за всё на свете рано или поздно надо отвечать? Что за мелкими прегрешениями следуют большие? Я знаю о себе всё. Знаю, что всё, что я в жизни натворил, связаны одним местом действия – это моя совесть. Зачем вы корите меня за дело, по которому я уже вынес себе приговор? Что вы хотите мне сказать?

– Ничего более того, что вы уже сказали. Но что это... что это с вами? Вы плачете? Я, кажется, позволил себе лишнее. Простите меня, мой друг, умоляю, простите! Но позвольте дать вам один совет. Сегодня, ложась спать, поставьте на столик стакан с водой. И делайте это каждую ночь.

– Зачем?

– Не знаю. Может быть, мать приходит в ваши сны, потому что её мучает жажда?

– Вы серьёзно? Вы верите в потусторонний мир и бессмертную душу, господин Z?

– Не важно, во что я верю. Вы просто сделайте это – и всё.

– Какой вздор! Скажите лучше, что произошло с Рукавишниковой после того, как она от меня ушла?

– Она уехала в другой город и через несколько лет умерла от рака пищевода.

– Да что же это за мор такой! Ведь ей не было тогда и 23 лет.

– А вашему другу только стукнуло 26.

– Мерзкая война.

– Вы думаете, дело в войне?

– Не могу судить. Однажды он рассказал, как во время марш-броска солдат от жары и усталости сморило, и они уснули. Взводный, чтобы разбудить их, бил спящих прикладом автомата, Коле досталось по голове. Он говорил, что после этого его страшно мучают нестерпимые головные боли и бессонница. Простите, я полный ноль в медицине, но после войны эти два эпизода – разъярённый взводный в афганской пустыне и операция в Пироговке – как-то связались.

– Пустяки. У него была опухоль мозга. Вряд ли она могла обнаружить себя от удара прикладом. Причина, скорее всего, в другом. Вы говорили, что ему сделали две операции?

– Да. Я был у них на Девятой Парковой перед второй операцией. Я хорошо знал Таисию Ивановну.

– Кто это?

– Мама. Она мне звонила, попросила зайти и дать немного денег.

– Дали?

– Конечно. Я был тогда при деньгах.

– Что было потом?

– Он умер во время операции.

– Как вы об этом узнали?

– Звонила Таисия Ивановна.

– Он похоронен в Москве?

– Да.

– Вы были на похоронах?

– Нет.

– Почему?

– Я не помню.

– А на могилу... Вы приходили к нему на могилу?

– Нет.

– Что же, выходит, дали денег, и умыли руки? Примите позу Понтия Пилата, господин X, она сейчас как раз кстати.

– Всё куда более прозаичнее: я просто не люблю похороны и кладбища – их вид меня удручает. От Николая у меня остались две вещи: солдатское фото и рисунок.

– Рисунок?

– Да. Белый лист из школьного альбома, на котором нарисован желтый бархан и небо над ним такое же желтое, дымное.

– И всё? Мазня, которая не годится и для конкурса детского рисунка.

– Верно, но есть одно обстоятельство. Дело в том, что в самом низу листа было написано два слова: «Оттуда стреляли».

– Ну и что?

– Ничего. Во время одного из боев он был ранен в ногу. Видно, память зафиксировала место, откуда был произведен выстрел.

– Я начинаю вас понимать, господин X. Это место, возможно, ему часто снилось, как вам проклятый гривенник, и поэтому он запечатлел его и показал рисунок вам.

– Не только показал. Он попросил, чтобы рисунок остался у меня.

– Что вы говорите! Значит, он передал вам то ужасное наваждение, которое его мучило все годы после войны. Вы взяли?

– Глупый вопрос. Конечно, взял. Скажу вам больше, я до сих пор храню этот рисунок в своем архиве. Около тридцати пяти лет.

– Но зачем? Это же безделка.

– Пусть безделка, но у меня остался от него только этот рисунок. Кроме фото, конечно.

– Значит, вы любили его?

– Он был моим другом.

– Господин X, вы начинаете давить на меня благородством и человечностью. Выходит, вы сделали как минимум два добрых дела: помогли Анне излечиться от комплекса «брошенной женщины» и освободили от невротического психоза Николая. Ведь после того, как он передал вам рисунок, ему стало легче? Он большой не жаловался на плохой сон?

– Нет. Но как я помог Анне? Я плохо вас понимаю. Что значит этот комплекс.

– Простое, как мычанье. Отдаваясь вам, она представляла себе, что занимается любовью со своим возлюбленным. Надеюсь, это не покоробит ваше мужское самолюбие?

– Нет. Напротив. Главное, что ей после этого становилось легче.

– Пожалуй. Во всяком случае, она больше не думала о суициде.

– И то хорошо.

– Знаете, господин X, я очень сожалею, что говорю с вами по телефону и не вижу вашего лица.

– Моё лицо? Причем тут моё лицо?

– Хочу удостоверится, что на нем нет никакой маски.

– Полно вам, господин Z, время масок уже прошло.

– Вы уверены?

Валерий СДОБНЯКОВ

ЛЕСТНИЦА

Рассказ

Мы так разрозненны; мы жаждем
нравственного убеждения, направления.
Ф.М. Достоевский

Быть человеком между людьми
и остаться им навсегда, в каких бы то
ни было несчастиях, не уныть
и не пасть – вот в чем жизнь.
Ф.М. Достоевский

Раз, два, три...

Я знаю, мне нужно подняться вверх по лестнице на двадцать ступенек. Восемнадцатая громко скрипнет, потому что гвоздь, которым она была прибита к деревянному брусу, давно потерялся, и на его месте сейчас виднеется большое ржавое отверстие. Затем шесть шагов по пропахшему керосином, слежавшейся бумагой и прелым тряпьем коридору и подойду к деревянной двери, густо выкрашенной в тёмно-коричневую краску и с цифрой «8», неаккуратно выведенной чьей-то рукой белым мелом. Со временем след от мела почти стёрся, и лишь царапины на краске держали в себе желтоватые, забившиеся когда-то в них комочки. В коридоре, недалеко от двери, будет тускло гореть лампочка. Я без стука открою эту дверь, потому что знаю, она никогда не запирается. А впрочем, её могли и запереть, потому что челове-

ка, в котором постоянно нуждались другие, сейчас за этой дверью нет. Его вообще больше нет...

Четыре, пять, шесть...

Первый раз я поднимался по этой лестнице в доме барачного типа, который стоит на Стрелке у самой портовой стены, около года назад. На улице было холодно, шёл мокрый снег вперемешку с мелким осенним дождём, и налетающий порывами ветер с Волги задирал полы моего плаща, срывал с головы шляпу, которую, чтобы она не улетела, приходилось придерживать рукой. Войдя в подъезд низенького двухэтажного дома, очень старого, я сразу почувствовал себя лучше. Здесь было темно и тоже холодно, но не было ветра. Он только бился за окном, которое было над дверью под самым потолком, и звякал озлобленно стёклами, неплотно вставленными в раму.

Пришёл я в тот дом тогда не случайно. Но лучше всё по порядку.

Осень. Я очень не люблю это время года, холодное и дождливое. И не просто не люблю, а трудно, с мучениями переношу физически. В теле постоянно ощущается разбитость, усталость. Но та осень была особенной. Почему? Может быть, потому, что в любой человеческой жизни наступает момент, когда нужно совершить свой первый значительный поступок. Видно, такая же пора пришла и ко мне. И поступок этот не виделся мне чем-то абстрактным, неясным. Нет. Мне нужно было решить раз и навсегда, чем я должен заниматься в жизни, чтобы оставить в ней свой след, память о себе. Зачем я живу, для чего хожу по земле, ем, пью? Почему совершаю те поступки, которые совершаю, а не другие? Выходит, я должен совершать именно эти поступки? Но тогда от кого это зависит? От меня или от какой-то иной силы, живущей не во мне, но влияющей на меня, заставляющей поступать так, а не иначе? И если это так, тогда где эта сила, как её понять?

Этот, казавшийся неразрешимым, вопрос непроходящей тяжестью давил на сознание, на душу. И тогда я подумал: а может, и нет его, этого ответа? Может быть, не дано людям узнать его. Не дано узнать того, для чего они живут и что обязаны совершить в жизни.

Я, хорошо помню, подумал об этом на переходе через дорогу. С другой стороны шоссе, напротив переходной дорожки, светофор зажёг зелёный свет. Я стал переходить улицу. Чёрная «Волга», истерически визжа покрышками колёс о сырой асфальт, затормозила в полуметре от меня. Наверное, от испуга меня бросило в жар, но я почему-то не отскочил, а, наоборот, остановился, как вкопанный, перед машиной. Затем снова пошёл и вот тогда неожиданно подумал: а может быть, и нет этого ответа. И эта мысль, как проклятая, с того времени вертелась в моём сознании.

Я приехал на главную площадь города. По центральной улице дошёл до Дома офицеров и там свернул во двор, вошёл в скверик. Я любил этот небольшой двор и этот скверик. Они всегда успокаивающе действовали на меня. Но в этот раз не помогли и они.

Расшвыривая ногами мокрую отяжелевшую листву, я прошёл в дальний угол сквера, сел на лавочку, укутавшись в плащ.

Мне казалось, что так безысходно я ещё никогда себя не чувствовал.

У своего старшего товарища Евгения Ивановича я не был года два. Раньше часто заходил, особенно после армии, а последнее время как-то позабыл

его, заела текучка. То на работе план заваливали, то в институте сессия. Но тогда, в сквере, меня неодолимо потянуло увидеть именно этого человека. Я, конечно, был виноват перед ним за то, что долго не приходил, и он вправе был обидеться на меня. Но если Евгений Иванович, непризнанный философ и умница, не поможет, то кто тогда? Мне казалось, что только он сможет всё объяснить, как это делал раньше, ещё в институте, и потом, когда было трудно, когда что-то случалось, все, не я один, шли к нему.

Евгений Иванович встретил меня приветливо. Может, и был сначала обижен за долгое мое непоявление, но, видно, подсказало сердце старому педагогу, не ради праздных разговоров я вдруг приехал. Наверно, поэтому он улыбнулся и, как и раньше, предложил пройти.

Мы сидели в его рабочем кабинете, где царил полумрак, и только большой письменный стол был освещён стоявшей на нём старой, ещё довоенного образца (высокой, с плоским абажуром) лампой. Евгений Иванович долго, не перебивая, слушал меня. Когда же я замолчал, он отвернулся к стеллажам с книгами (он так всегда делал, когда что-нибудь обдумывал), а потом, опять повернувшись ко мне, сказал негромко, но как-то твёрдо, однозначно.

– Хочешь понять, чем должен заниматься в жизни? Хочешь найти своё дело? Знаешь что, одевайся и пойдем. Я тебя познакомлю с одним человеком. Это девочка... или нет, я тебе по дороге расскажу, а сейчас одевайся и пошли. Да, да, – продолжал он говорить уже в прихожей, – ты должен обо всём этом рассказать ей, она поможет, вот увидишь, – и немного выждав, – если только ты ещё не совсем обиделся на людей.

Когда мы подошли в тот первый раз к этому дому, Евгений Иванович вдруг остановился.

– Ты должен идти один. Поднимись на второй этаж, в квартиру «8». А мне нельзя там быть, незачем... Я свою жизнь уже прожил. А ты иди, ты должен идти, и, если выдержишь, то узнаешь ответ на свой вопрос. Я желаю тебе выдержать.

Евгений Иванович говорил быстро, взволнованно, чуть заикаясь, и местами не выговаривая звук «р». Он то и дело тёр рукой лоб, и я замечал, как мелко, словно от уколов, вздрагивают его пальцы.

Евгений Иванович хотел ещё что-то добавить (я это чувствовал по выражению его глаз), но так ничего больше не сказав, повернулся и быстро пошёл прочь.

Я был растерян и не знал, что делать. Всё, что случилось, для меня оказалось неожиданным, пугающим и, главное, – что я должен выдержать? Тогда мне казалось, что я стою на пороге неизвестного ещё никому мира и, чтобы совершить открытие, надо сделать только шаг, всего один шаг.

– Ну, смелее же, – шёпотом уговаривал я сам себя, – смелее.

Я вошёл в подъезд...

Так я познакомился с Ольгой, девушкой, которая не могла ходить – у неё отнялись ноги, которой трудно шевелиться – у неё парализована правая часть тела, но у которой ясный и добрый ум.

«Я люблю людей, потому что, если бы не было их, я была бы совсем одна. Нет, меня бы вообще не было! А ещё за то, что я их помню. Это так здорово, когда кого-то помнишь!». Это она мне скажет потом, во время одного из наших разговоров. А тогда, год назад, я шёл к ещё не знакомому мне человеку, сильно волновался и от неожиданности вздрогнул, когда восемнадцатая ступенька деревянной и крутой лестницы громко скрипнула, словно простонала, у меня под ногой.

Я знал, что дверь в этой квартире никогда не запирается, и всё-таки постучал. Мне не ответили. Тогда, взявшись за ручку, я сам открыл её.

Маленькая квадратная комната. Прямо напротив двери – тоже маленькое и тоже квадратное окно. У окна кровать. К её железной решётке прислонена подушка, оперевшись на которую спиной, сидит девочка. У неё над головой и в углу на полочках стоит много икон. Девочка молча и удивлённо разглядывает меня, я – её. Большие тёмные глаза широко раскрыты, брови тонкие, будто по моде выщипаны, нос с чуть заметной горбинкой, подбородок острый, не раздвоенный, длинные волосы распущены и, закрывая половину лица, спускаются на одеяло. Поверх одеяла лежат и её руки. Левая держит раскрытую книгу.

Потом она мне скажет: «Книги, это тоже люди. Я читаю и вижу человека, какой он, добрый или не очень, сильный или слабый. Иногда посмотрю на фотографию писателя, старенький он на ней, а я всё равно знаю, значит, в молодости сильным был... Слабый никогда о сильном не напишет, ведь он не знает, как им быть. Да и старость – это не всегда слабость».

Она первая спросила, как меня зовут. Я ответил и рассказал, откуда узнал про неё.

– А-а-а, Евгений Иванович, он приходил со мной заниматься, – и улыбнувшись, – это мой учитель. – Помолчав, она несмело попросила, – расскажи мне о школе.

– Ты никогда не была в ней?

Она отрицательно покачала головой.

Я стал рассказывать, но у меня как-то не получалось. Я вспоминал то четвёртый класс, потом сбивался, путался, начинал рассказывать про девятый.

В этот первый раз мы говорили с ней очень недолго, и я бы, наверняка, никогда больше не вернулся в эту комнату, если бы не её последние слова.

– Уходишь... Я знаю, ты больше не придёшь...

Нет, она не заплакала, но в глазах такая печаль и уверенность, что к ней приходят только один раз. Возвращается лишь добрая, но любящая поворчать, соседка тётя Маша, про которую мне тоже рассказал мой знакомый.

Я долго сидел молча, не решаясь встать со стула, который нетвёрдо подо мной покачивался.

– Я приду, обязательно. Вот в конце недели освобожусь и тогда приду.

Она утвердительно кивала головой в благодарность, улыбалась, но глаза мне не верили. Она благодарила за обещание. Другие, видно, не делали и этого. Да и много ли их было, других? Тогда я ещё не знал.

– Ты не веришь мне?

Она, не отвечая, продолжала улыбаться, а пальцы беспокойно теребили потрёпанный угол книжной страницы.

– Что ты хочешь почитать, какую книгу тебе принести?

Она опять не ответила, продолжая всё также улыбаться, только в глазах неверие заменил укор: «Не оправдывайся, я всё понимаю, не нужно только лгать».

Так и не услышав от неё ответа, я встал, подошёл к двери.

– До свидания.

Она сказала это отрывисто, проглотив окончание, будто задохнувшись.

Я вышел, тихо прикрыв за собой дверь, и, лишь подойдя к лестнице, вспомнил, что не попрощался. Но ведь, если честно, то я действительно больше не собирался возвращаться сюда.

Семь, восемь, девять...

Когда я сильно волнуюсь, то всегда что-нибудь считаю про себя: машины, прохожих, шаги...

Я пришёл к Ольге во второй раз примерно через неделю. Зачем? На это трудно ответить сразу. Нет, я не хотел уверовать в милосердие, не хотел убедить сам себя, что способен на него. Меня влекло к этой девушке что-то другое, ещё до конца неосознанное. А может, тому действительно был виной её взгляд, которым она смотрела на меня, когда я уходил?

Моему приходу Ольга искренне обрадовалась, и в начавшемся между нами разговоре я понял, что она всё-таки верила в то, что я приду ещё. Это было неожиданным для меня и приятным. Всегда приятно, когда тебя ждут, когда чувствуешь, что ты кому-то нужен.

Я протянул Ольге холодный от того, что нёс его по улице и не завёрнутым в бумагу, том избранных повестей знаменитого тогда писателя. Она взяла книгу, понюхала её, смешно зарывшись острым носиком в глянцевые страницы и, хихикнув, сказала:

– Как пахнет! Когда тётя Маша приносит зимой с улицы бельё, оно тоже морозом пахнет и болгарскими яблоками.

– Почему именно болгарскими? – спросил я, удивившись.

Ольга медленно закрыла книгу, отвернувшись от меня, посмотрела в окно.

– Два года назад, на новый год, мама приносила мне болгарские яблоки. Они были большие, красные, ещё в стружке и сладко пахли холодом.

Мы надолго замолчали. Ольга продолжала смотреть в окно, за которым было видно только занесённую снегом крышу большого сарая да одну его стену, сколоченную из досок, почерневших от времени. Потом она снова начала листать книгу. Я смотрел на её руку, которая перелистывала страницы, на тоненькие, беленькие, чуть подрагивающие, пальцы с коротко остриженными ногтями и почему-то думал о её матери. Я знал историю этой женщины (опять же благодаря Евгению Ивановичу), которая прожила нелёгкую жизнь. Ольга у неё единственная дочь, но родилась калекой. Муж (да и был ли он им?) бросил её сразу после родов. Мать и до этого пила немало, а тут... Вот и сейчас Ольга не видела её (как сама мне сказала) уже больше недели и неизвестно, что бы ещё было с девочкой, если бы не добрая тётя Маша и все остальные соседи. Нет, Ольга не плакала, не жаловалась, когда за домашними хлопотами о ней забывали (а было и такое) и вспоминали лишь к вечеру. Она считала, что люди ей дают ровно столько, уделяют ровно такую долю внимания, какую она сама заслужила.

Я первым тогда нарушил молчание, спросив у Ольги, читала ли она произведения этого писателя?

– Нет, пока ещё ничего в руки не попадало. Мне ведь тётя Маша книги носит. Она из-за меня и в библиотеку записалась.

В этот раз мы говорили с Ольгой о литературе. Прочитать она успела до удивления много. Но главное было всё-таки не в этом. Мы уже привыкли, что когда говорят о привязанности к литературе покалеченного жизнью человека или человека, появившегося на свет с большим физическим недугом, то перечень этой литературы сугубо выражен в героике сюжета. Герои книг преодолевают физические и духовные слабости, которые могут сломать человеческую личность. Но заговорив с Ольгой о литературе (и мне это сначала показалось странным), я вдруг открыл для себя другого, обеспокоенного не своей судьбой и личностью, но судьбой и сохранением целостной

личности всего человечества. Или нет, это не точно. Она искала единую нравственную ценность в человеке и твёрдо верила, что такая есть. В её рассуждениях я тогда почувствовал что-то схожее со своими мыслями, и мне казалось, что на вопрос, мучающий меня, может ответить Ольга. Или нет. Я мог сам найти ответ на него, но только в разговоре с ней.

– Эта ценность должна быть единой, – сказала она мне тогда, – и неважно, где живёт этот человек, на каком континенте, в какой стране, какой у него цвет кожи, на каком языке он разговаривает. Эта единая безоговорочная ценность должна быть... Она есть. Она определяет наши поступки, направляет их, сдерживает их в установленных пределах.

Смысл тогдашних слов Ольги крепко врезался в мою память, поразив глубиной размышлений и своей эмоциональностью. Она говорила, а тонкие её брови удивительно вздрагивали, щёки покраснели, а на лбу вздулись, точно вены, упругие складки морщин.

– Ведь ни в одной стране люди не хотят умирать. Везде добро ценится, как благо и везде люди мучаются от зла, насилия. На всей земле матери любят своих детей и готовы ради них на многое, если не на всё. Ни один народ не лишён сильнейшего из земных чувств – любви, благодаря которому и продолжается его род. Мы не имеем права принижать великие чувства человеческие, мы не имеем права отнимать у людей Бога.

Нельзя отрицать существования единой нравственной ценности в человеке, нравственной категории. Природный инстинкт не смог бы поднять человека на такие, именно нравственные высоты. Инстинкт силён сам по себе. Когда же принимает решение человеческий разум, дух, когда инстинкт самосохранения, по существу, должен подвести человека к обратному поступку, не тому, который он совершает, то это в полной мере доказывает существование опять же великой нравственной силы.

– Значит, мы заранее сами себя в чём-то ограничиваем, так что ли? Но ведь это несправедливо по отношению к самой человеческой личности.

– Нет. Те рамки выступают как помощь человеку. Они родились вне людей, но благодаря им. То, что мы называем нравственными рамками, моралью, есть не что иное, как эталон жизни. И выверено всё это не десятилетиями – веками. В этом процессе не было ничего случайного. Всё разумно. Потому что в основе находился Божий замысел. И чтобы продолжало жить человечество, эти рамки необходимы.

Ольга замолчала, закрыла лицо ладонью и помассировала пальцами лоб. Затем спросила, не отрывая ладони от лица, и поэтому голос её послышался глухо.

– Неужели ты никогда не замечал за собой? Тебе что-то хочется сделать, но ты не смеешь, потому что понимаешь – это чудовищно. Ведь бывает у тебя такое?

– Бывает.

– Но почему ты уверен, что этого делать нельзя? Иной раз так подопрёт, что и жить не хочется, но ты же не бежишь сразу искать верёвку. Что тебя сдерживает? – Здесь она выдержала большую паузу, дожидаясь моего ответа, но я молчал. – Только это, такое абстрактное и, тем не менее, непосредственно касающееся нас всех, властвующее над нами. И не нужно этого бояться.

– А может быть, если бы человеческая личность была более свободна в своём выборе, она бы ушла в своём развитии намного вперёд без этой морали? – Я волновался, и голос у меня отвратительно булькал, будто я захлёбы-

вался на окончании слов. – Ты говоришь, что это охрана жизнеспособности человека. Но, может, это тормоз, перестраховка?..

– Да, страхуемся. Только вот какая штука – по-твоему, убери мораль, и пусть человек делает то, что ему хочется.

– Да.

– И с ним будут делать всё то, что захотят.

– Почему так, зачем ты...

– Усложняю?

– Да.

– Хорошо. Сколько сейчас в мире (добавлю – человеческом) существует такого, что может погубить его. Проблемы, проблемы... Природа, загрязнение среды, космос. И всё это выходит из-под контроля мудрости. Каждый решает эти проблемы по-своему. Но как? И здесь единственно правильный ответ даёт человеку его мораль. Она не совершает какого-то насилия над ним, она с самого рождения человека в нём. Это своего рода предохранитель, вставленный в нас. Это закон нашего существования.

– Ты считаешь мораль порождением духа?

– Безусловно.

Многое в словах Ольги я принял, был согласен, и в то же время поражал тот вывод, который вытекал из них.

– Ты хочешь сказать, что те проблемы, которые сейчас мы решаем (проблемы общения людей друг с другом), уже когда-то решались нашими предками?

– Конечно! Может, не в таких масштабах, но...

– Но ведь тогда выходит, – перебил я Ольгу, – что вся наша жизнь – это что-то вторичное, повторяющееся. Зачем же мы живём?!

– Вернёмся к началу разговора. Самопожертвование. Да, оно нужно, потому что жизнь, в свою очередь, продолжает духовно развивать следующее поколение. Это развитие было бы невозможно без самопожертвования. От этого же продолжается познание самого человека. Но оказывается, что та высота, которой достигло предшествующее поколение людей и которая, казалось, вот-вот найдёт скрытую тысячелетием тайну, вдруг открывала ещё бо́льшие просторы человеческому мышлению, а найти то первоначальное чувство, что поддерживает в человеке стремление к добру и благородству, стремление к мечте, материалистическими способами оказалось опять невозможным. Но это чувство есть, я уверена. И оно в нас!

Сейчас, перепечатав из своего дневника ту запись, которую я сделал сразу после разговора с Ольгой, я вспомнил, что в тот раз очень мало говорил сам, а больше слушал её. Меня поражала сама постановка вопроса. Девчонка – и вдруг... От этого «вдруг» я избавлюсь потом, немного позднее, когда узнаю чуть больше об Ольге, а в тот день я вышел на улицу со странным чувством, затаившимся где-то внутри сознания. Это было чувство неудовлетворённости собой и какой-то неконкретной непонятности тех поступков, что совершал.

В тот раз я уже знал точно, что обязательно возвращусь в этот дом.

Десять, одиннадцать, двенадцать...

На следующий же день сразу после работы я опять пришёл к Ольге.

– Снова ты, парень, здесь?

Я не понял, то ли это спросили у меня, то ли сказали от того, что были

недовольны моим приходом, но я остановился и только тут услышал тяжёлые шаркающие шаги по коридору где-то за спиной. Я обернулся.

Пожилая женщина, поравнявшись со мной, пристально поглядела мне в лицо, даже остановилась на какое-то мгновение, затем прошла дальше. Я тоже было направился к двери с плохо заметной цифрой «8», когда женщина, открыв дверь комнаты напротив, предложила – заходи, – и, заметив мою нерешительность, посчитала нужным объяснить, – нельзя к ней сейчас, мать пришла.

Я не совсем уверенно вошёл в комнату тёти Маши – это была она, я догадался. Чувствовать себя смелее мешало стеснение, которое всегда появляется у меня при знакомстве с новым человеком. И тогда я поймал себя на мысли: почему я стесняюсь человека, которого ещё совершенно не знаю и перед которым мне не из-за чего стесняться? Да, да, тогда я подумал уже с самооценкой своего поступка, заряд для которой дал разговор с Ольгой.

– Не робей, садись вон туда.

Тётя Маша показала рукой на выкрашенный белой краской стул, стоявший около кухонного стола, накрытого клеёнкой. Я выдвинул стул, сел.

Охая и причитая вполголоса, тётя Маша прошла в свою комнатку, отгороженную от кухни тонкой деревянной перегородкой, тоже выкрашенной в белую краску, и уже оттуда спросила.

– И чего ты повадился сюда ходить?

Как я мог ответить? Я и сам ещё не понимал зачем, не понимал, что меня влечёт в эту крохотную квадратную комнату, от которой отделяли тогда две тонкие перегородки дощатых стен и совсем небольшое, метра два в ширину, пространство коридора.

Тётя Маша вернулась из комнаты с аккуратно повязанным на голове платком, концы которого торчали у неё на затылке крохотными косичками.

– День рождения у неё сегодня, вот мать и пришла.

Тётя Маша достала из-под стола ещё одну табуретку, села рядом, облокотившись локтями о крышку стола.

– Сколько ей?

– Двадцать пять уже... Всё мучается.

– Двадцать пять?!

– Да. Что, или моложе думал?

Я сознался, что дал бы ей не больше пятнадцати. Евгений Иванович про возраст Ольги не сказал, и я подозреваю, что неслучайно.

– Мала она, мала. Да и то, откуда здоровью взяться, когда жизнь у неё, сам видел, какая? Мать ещё непутёвая, а она её и такую любит. – И немного помолчав, с задумчивостью в голосе: – Она у нас всех любит, за всех страдает и мается. К ней, как к святой, каяться идут, грехи замаливать. Придут, поплачутся, она выслушает, потом поговорит, и уходят от неё люди успокоенные, будто душу с совестью очистили. Да только навряд ли одними разговорами это сделаешь. Совесть-то ведь всю жизнь мучает, если раз против неё пошёл, не по её воле поступил.

Тётя Маша замолчала, и в это время стало слышно, как в комнате негромко тикает будильник.

– У нас в доме, что ни случись, и большой, и малый к ней за советом идут. А чего идти, что она может сказать? Ольгуха-то ведь и сама ещё ничего не видела, не знает. Только что по книжкам и живёт. Да ещё с молитвой. Книг много прочитала, – тётя Маша покачала головой, – ой, много! Замучилась ведь я ей их таскать, не молодая уж, а книжки эти – хоть и не велика тяжесть,

а руку сушит. Да и своих дел, кроме её книжек, полно... А с другой стороны, как не сходить, если калека просит. Вдруг и у меня на завтра эдакое приключится, так что ж, без присмотра оставаться. Да-а-а. – Тётя Маша опустила взгляд, посмотрела себе на колени и стала, медленно поглаживая ладонями, расправлять складки на стареньком, выцветшем и вытертом фартуке. – А вот ведь находит для человека нужное слово. Я тут с ней как-то разговорилась про жизнь нашу теперешнюю. Ничего не могу худого сказать, умно она говорила, складно да сладко. И про жизнь-то прошлую, и про войны великие, а всё сводила к тому, что будут жить люди без крови да братоубийства. Слушала я её и верила, а когда осталась одна, к себе в комнатку вернулась, то ночь не спала, всё об этом самом думала. Под утро не осталось больше терпения. Встала с постели и к ней, а она уже, готово дело, с книжкой в руке лежит. Спросила я у неё тогда, когда же это станется, что люди без войны жить будут, мирно да ладно? – Тётя Маша улыбнулась, зашевелилась на табуретке, охнула. – Вот ведь старая, и вправду поверила, что знает она, когда время это наступит... Уж больно дожить до него хочется. А она мне и ответила. «Когда люди истину свою в себе найдут и в другом её увидят». Опять я ушла, не поняв ничего, а потом уж доползла умом своим. Я её слова так понимаю: должен каждый полюбить другого за то, что он, этот другой, тоже такой же человек, как и ты сам. А захотел убить его, так всё равно, что себя порешить надумал. – Тётя Маша вздохнула, убрала руки с колен и, положив их на стол, начала легонько покачиваться. – Вот она у нас какая. Да-а... А ещё помню, прибежала соседка наша с первого этажа, ревёт. Деньги на базаре у неё украли. Я гляжу, Ольгуха моя аж позеленела, так разгневалась. Долго она с той соседкой говорила. Я-то не слушала, у меня в аккурат тесто подходило, так я всё у печи вертелась. Но ничего, управилась, возвращаюсь в комнату. Я порог ещё не успела переступить, а Ольга-то наша меня и спрашивает: когда, говорит, вся нечисть на земле выведется? А у самой глаза большие, губы подрагивают, и сказать, главное, больше ничего не может. Я ей вроде начала втолковывать, мол, воровство было и есть, а когда оно с земли сгинет, про то одному Богу известно. Да только гляжу, не слушает она меня, о своём о чём-то думает. Ну, я встала потихонечку, да и вышла. Вот ведь человечина. Другого кого успокоит, слова добрые найдёт, объяснит, что как знает да что как понимает, и уходит человек, вроде как перемогший кручину свою, а она-то после в одиночку за них всех мучается. – Тётя Маша тяжело вздохнула, встала с табуретки, поправила платок. – Вот какое у неё сердце, на всех хватает. И не думают люди, всё своё горе в это сердце сваливают. А каково ему-то, про то вроде как и не беспокоятся шибко. Вспоминают чаще Ольгуху в дни невесёлые. Да и то, со счастьем мы и одни больно хорошо справимся, это несчастье в одиночку не выдюжишь. – И вдруг предложила. – Уж коль пришёл, так, может, тебя чаем напоить? – Затем покачала головой. – Не пойму, ты-то чего к ней присох? Сказывала она мне, нет у тебя воронья над душой.

– Мне нужно.

Сказал я это негромко, да ещё от долгого молчания слиплось в горле, от этого сказанное послышалось хрипло.

– Эк, как тебя. Сиди уж, я за чайником пошла.

Тринадцать, четырнадцать, пятнадцать...

Во время наших разговоров я постоянно замечал, с каким интересом и

желанием Ольга слушала о том, о чём я ей рассказывал. Уже потом мне подумалось: «Она ведь и жизнь только по рассказам людей знает». Но какие это были рассказы – боль человеческая и ненависть. Мне же захотелось рассказать ей о чём-нибудь светлом, радостном. Пусть она знает – не одним горем и страданием жив человек. Но как это всегда бывает: вроде много в жизни хорошего, а как надумал рассказать о нём, так вроде и нестоящим оно, должно быть, для Ольги покажется, лишь для меня это хорошее цену и имеет. Нет, ей нужно было рассказать о чём-то много раз виденном и... необычном. И вот... Всё произошло неожиданно. Поздним вечером я шёл по набережной, и вдруг услышал громкий, доносившийся с реки шорох. Я остановился и прислушался, подумав, что мне это показалось. Нет, звук шёл снизу, с реки, словно там кто-то мял фольгу или топтал битое стекло. Я стал вслушиваться ещё внимательнее, и вскоре слух различил потрескивание и лопание тоненького льда. Я спустился к тёмной ширине реки по белому от снега бетонному склону. Несколько раз поскользнулся на ледяной, спрятанной под рыхлым снегом, корке. В сапоги набился снег и неприятно щекотал холодом ноги, да ещё у самой воды я оступился и упал на правую руку, сильно ударившись локтем, и теперь он болел. Но обо всём этом я очень скоро забыл. Шум, который, было, затих, опять стал постепенно нарастать. И вот звяканье, громкое и хрусткое, до удивления вкусное, даже слюна во рту появилась, начинает, казалось, заполнять собой всё вокруг. Я присел, чтобы лучше разглядеть, что же это такое, и понял – это лёд, но где он, его же не видно!

В воде, недалеко от того берега, где я сидел на корточках, стояли спаренными металлические ампулы понтонного моста. Куски тончайшей плёнки льда надвигалисъ по течению на эти металлические поплавки, натыкались на них, наползали и ломались, остро поднимая вверх оскольчатые бока льдинок. И те вдруг сверкали, попадая в неширокие цветные полосы рекламного неонового света, тянувшиеся с другого берега Оки от гостиницы «Нижегородская». И всё это – звук, цвет, острые края льдинок – очаровывало красотой. И не хотелось шевелиться, уходить, а только бы слушать и смотреть, смотреть, смотреть... И упиваться морозною свежестью, и запахом замерзающей воды, и звуком похрустывающего неглубокого снега.

В тот вечер уже было поздно, что-нибудь около одиннадцати, когда я бегом поднялся по лестнице старенького, покосившегося на один бок домика, распахнул дверь Ольгиной комнаты и, запыхавшийся, ввалившись в неё, сел на стул у кровати. Я только тогда окончательно почувствовал себя счастливым и уставшим.

Ольга долго и весело смеялась, а я продолжал тяжело дышать и изредка глубоко вздыхал, потому что воздуха в лёгких не хватало. Потом я уже заметил за собой, что продолжаю всё это делать ради смеха Ольги.

После того вечера я уже больше никогда не слышал такого её смеха.

– Откуда ты, а? Ну, откуда, расскажи?!

Я, дурачась, тяжело мотал головой, словно не мог перевести дух, а она всё просила.

– Ну, расскажи, ну, пожалуйста, расскажи.

И я рассказал...

Тётя Маша сказала, что все к Ольге шли с горем. Она была и судьёй, и исцелителем. Намного позже я подумал: «А может, это и хорошо, может, горе и беда других поддерживали её. Она видела, что несчастна не одна, что много горя у людей вокруг и людям нужно помочь с ним справиться».

Ведь она была нужна людям, которые шли к ней. Но, наверное, зря пожилая женщина думала, что нужно отгородить Ольгу от горьких судеб человеческих. Может, от неё нужно было скрывать другое. Жестоко? Да. Но эта жестокость была бы ради неё самой и во имя тех людей, кому она ещё не успела помочь.

...Я ей рассказал всё, что увидел и перечувствовал на берегу, и сам испугался рассказанного. Потому что тогда я, захлёбывавшийся от восторга, не смотрел ей в глаза (ну почему мы так редко смотрим друг другу в глаза?), а когда посмотрел, то было уже поздно... Нет, это я сейчас понимаю, что было поздно, а тогда я просто смутился, почувствовав что-то неладное в глубокой внутренней удалённости её взгляда.

Говорил я в тот вечер охотно и много. Ольга меня почти не перебивала, только слушала и улыбалась. Сейчас мне кажется, что эта улыбка была ей нужна для того, чтобы сдержать слезы. Когда я уходил, она необыкновенно искренне попросила меня:

– Приди ещё, завтра, обязательно завтра, ладно?

Я пообещал.

Шестнадцать, семнадцать, восемнадцать...

С тех пор, когда я приходил к ней, она меня обязательно просила рассказать о себе. Я ей пересказывал все фильмы и спектакли, которые успевал посмотреть, читал отрывки из понравившихся книг. Ольга слушала меня и улыбалась. Теперь уже улыбка не сходила с её губ, и я был счастлив этим, счастлив тем, что показал Ольге жизнь, которую она никогда не видела и не смогла бы, наверное, увидеть. И она становилась другой у меня на глазах. Стоило мне на немного запоздать к обещанному сроку, как Ольга сразу просила, едва я успевал войти в комнату, и, не желая ждать, пока я разденусь: «Ну, быстрее, рассказывай, рассказывай...». И я рассказывал, долго, до чугунной тяжести в голове. Когда же собирался идти домой, то прятался от её взгляда, который всё равно, в конце концов, находил меня, мои глаза и просил не уходить. Такому взгляду отказать было невозможно, и я оставался ещё на какой-то срок. Одно время этот взгляд мне начал казаться ненормальным. Нет, это не совсем правильно. Мне казалось, что это взгляд человека, напоившего своё сознание какой-то лёгкостью и неземной отрешённостью. Я стал не на шутку бояться этого взгляда и начал реже приходить к Ольге. Реже – это значит – не каждый день, а два-три раза в неделю. Но, главное, из-за чего я реже стал бывать у неё, так это из-за появившейся во мне, непонятно с чего, раздражительности. Сейчас-то я понимаю, откуда она тогда во мне появилась. Ведь я неосознанно ждал, что эта необычная девушка откроет для меня что-то новое, необходимое для моей жизни. И вдруг всё сводилось до обыденного к простому. Я должен был, как не один уже раз, делиться своими мыслями, не доказывая их, не находя в споре с чужим мнением какого-то необходимого зерна истины. Сначала этого раздражения не было. Я чувствовал себя сильным и мне хотелось чувствовать себя таким. Но что может твоя сила сделать с бессильным? Он не сопротивляется, и ты перестаёшь чувствовать себя сильным, и сам в свою очередь становишься в самом себе по отношению к другим, окружающим тебя, бессильным. Но как же я тогда ошибался!

Ольга по-прежнему с большим желанием встречала меня, с нескрывае-

мым удовольствием слушала, и я поначалу не замечал той перемены, что произошла в ней. Она перестала говорить сама. Перестала совсем. (Почему я не заметил этого сразу?) Та, которая могла почти любого взрослого человека убедить в нужности или никчемности какого-либо поступка, сейчас молчала.

После одного из наших разговоров, опять стараясь не встретиться с ней взглядом, чтобы уйти, я всё-таки задержался в двери, оглянувшись, посмотрел на Ольгу и опять заметил у неё на лице и в глазах непонятную пустоту.

Когда я вышел в коридор, то в его темноте встретился с тётей Машей.

– Что это с ней? – не по воле своей спросил я тогда.

Пожилая женщина вздохнула.

– Ох, и не говори родной, сама не знаю. С людьми разговаривать перестала. Всё только молится. Я спрашиваю, а она молчит и только в окно смотрит. А что там, в окне-то увидишь? Ох, Господи, и за что мучения такие человеку?

Она ещё раз тяжело вздохнула (а, может, всхлипнула, потому что звук из её горла вырвался какой-то натужный, будто был очень тяжёлым) и, перекрестившись, зашаркала по полу тапочками, в которые была обута.

Девятнадцать, двадцать...

Вот и кончилась лестница. Теперь шесть шагов по коридору до двери и...

Последний раз мы с Ольгой виделись меньше месяца назад. Я только вошёл в комнату и сразу понял, что Ольга больна. Странно, но в этот раз она не просила, чтобы я что-нибудь рассказал. Когда я спросил у неё про здоровье, она не ответила сразу, а потом, после, как мне показалось, долгого молчания, негромко проговорила: «Голова что-то болит». Я протянул руку, чтобы дотронуться до её лба, и она от неожиданности и испуга чуть заметно отпрянула. И всё-таки я дотянулся до её лба. Он был горячим, а в мизинец мне, часто и сильно, стучала жилка на виске.

Я убрал руку.

– У тебя жар. Врача вызывали?

– Странно, всё прошло, – не отвечая на мой вопрос, сказала она.

– Что прошло?

– Ты дотронулся, и всё прошло... Вот, и когда мама дотрагивается, у меня всегда перестаёт болеть голова.

Тогда я подумал, что коснулся, дотронулся до неё в первый раз.

И вдруг Ольга заговорила, будто сама с собой.

– Тётя Маша думает, что жалею я людей. А зачем им нужна моя жалость? Я понять хочу, когда они со своим горем приходят, отчего оно, как люди сами его понимают, да как бы сделать, чтобы не было его больше. А жалость... так это минутное. Всех не пережалеешь. Да ещё ведь вот как бывает. Одному сделали нехорошо – жалуется, а сам потом сделает так же и не задумается. Я хочу, чтобы люди осознали беду свою, а уж коли так, то, значит, и внимательнее к соседу своему были. Только нужно найти в любом этот корень человеческий, самому увидеть и другому показать, а уж дальше легче будет, дальше люди сами увидят, как это здорово человеком-то быть.

– А ты уверена, что это единое во всех людях есть?

– Да.

– Но где же оно? Почему его до сих пор не нашли, не открыли?

– Где?.. Да если бы знать!

И она опять надолго замолчала. Кажется, я тогда подумал о наркотике. Сумев привыкнуть к нему, человек становится не властелином своего тела и

разума. Я долго не мог понять, как это происходит, откуда берётся сила, способная побороть разум. Для Ольги наркотиком были мои рассказы. Я отравил её ими. Сознание её, наверное, противилось. Ведь так легче, когда не знаешь, сколько теряешь в жизни из-за того, что прикована к кровати. И Ольга, конечно, понимала это, но сделать с собой уже ничего не могла.

– Я о многом с тобой говорила, но всё это было, – она замолчала, не находя нужного слова, и по лицу было видно, что это её мучает, – ну, не до конца, что ли. Как думаешь, нужны были мои разговоры кому-нибудь? Я не знаю. Может, и нет. – Я хотел возразить, но она остановила: – Подожди... Нужны ли они мне? Да! Они помогали больше понимать людей, понимать и оценивать их поступки и, в первую очередь, поступки свои. Это анализ того, что очень часто мучило меня и мучает сейчас своей неразрешимостью и сложностью. Мысль, ту, которая родилась в голове, пускаешь по одному, главному руслу. Она заплывает в притоки и омуты сознания, тем самым дополняясь и, в конце концов, разобранная, остаётся она в одной из гаваней мозга. И уже по ней меряешь те или иные поступки людей.

– Но ты же можешь ошибиться?

– Да, эту мысль нельзя считать окончательной. Если против неё предоставят убедительные, более правильные выводы, я соглашусь с ними.

– Значит твоё убеждение неокончательно?

– Мне кажется, ни одно из убеждений нельзя считать окончательным. Другое дело, когда мы привержены одним убеждениям, потому что нам не могут противопоставить другие, способные разубедить нас в наших. Люди спорили раньше, спорят сейчас и будут спорить после нас. – Ольга замолчала, вопросительно глядя на меня. И вдруг, будто решившись на что-то очень важное: – Давай поговорим о жизни и смерти. Это две крайние точки существования человека на земле. Некоторые люди говорят, что они не боятся смерти. Я в это не верю. Человек переходит в мир смерти, а ведь он жил и не так часто думал, что когда-то его жизни придёт конец. А если и часто думал, то до конца, конечно, не осознавал. Но вот приходит смерть, и человек вспоминает всё то, самое лучшее, что было у него. А может, больше горькое вспоминает, обиды. Вот тогда, наверное, хочется прожить немного иначе, ну, хоть немножечко, а не так. Более полно, что ли, интереснее. И в то же время большинство за жизнь борется. Ко мне раньше часто приходили старушки и всё про жизнь свою рассказывали. Какая бы она ни была, а лучше смерти. Слышала я один раз, как про таких говорили: «Разве это жизнь? Уж лучше умереть!». Только я думаю, слова всё это. Вот живём мы и живём, и не думаем, что вдруг конец, и только заросший травой бугорок будет напоминать о нас людям. Но ведь все мы хотим жить, а не напоминать о себе. И тут открывается самое удивительное. Почему же зачастую при жизни мы о себе не напоминаем людям, словно и нет нас вовсе? Но если жизнь наша не приносит никому пользы, так, может, лучше смерть? Ты стар, что же тебя удерживает на земле?

– Ну, и что?

– Я долго думала и теперь уверена. Человек борется со смертью не ради жизни как таковой (уж какая жизнь, когда ходишь еле-еле), а ради памяти о ней. Все старые люди мало говорят о сегодняшнем, почти не говорят о будущем, но очень много о прошлом. Замечал ли ты, как старые люди берегут свою память? Для них самая большая обида – осквернение памяти. И выходит, что в итоге человеческого существования она, память, и есть жизнь. Мы не можем будущее назвать жизнью. Но прошлое, то, что мы, то есть

люди, уже прожили и что запомнили, называем жизнью. Жизнь человечества будет длиться до тех пор, пока оно будет помнить. Нечего помнить – нет жизни. Значит, жизнь, это всегда прошлое. Каждый час, минута, секунда становятся жизнью только тогда, когда мы проживём этот час, эту минуту и секунду. Когда они уйдут в прошлое, в память.

Умирающий человек, молодой или пожилой, не имеет значения, редко думает о том, как бы он ещё успел прожить. Он вспоминает уже прожитое. А памятники, да и вообще искусство: книги, картины, музыка... Что это, если не дань человечества памяти? В молодости мы живём познанием, хотим всё увидеть и узнать. В старости – памятью о познанном и увиденном. Вся прожитая жизнь (всё равно, большая она или маленькая), будто день. Вся громадина переживаний, испытанная и прочувствованная, сливается воедино, образуя как бы один, насыщенный и интересный день. Вот, наверное, почему старый, должно быть где-то уже измученный жизнью человек не хочет с ней расставаться, расставаться со своим днём. – И вдруг призналась: – Я тоже не хочу расставаться со своим днём. Я много знаю про людей, я их помню. Это так хорошо, когда есть за что помнить!

Теперь-то я понял. Всё, что сказала мне в ту нашу последнюю встречу Ольга, для неё самой было сокровенным. Она тоже готовилась к смерти и поэтому пыталась осмыслить то своё состояние так же, как и всё предшествующее ему. Ольга должна была умереть. Она вбирала в себя человеческое горе, а отдавала взамен кусочки своей жизни. Она отдала всю себя, всю свою жизнь людям и уже не могла впитывать горе. Оно начало выплёскиваться из неё.

— Мне не хочется умирать, но и жить больше нельзя. Понимаешь, мне сейчас тоже пожаловаться на свою жизнь кому-нибудь хочется, а это, значит, всё. Что могла – я сделала.

Ольга замолчала, но от меня не отвернулась, не отвела взгляда с моего лица.

Признаюсь, мне тогда очень хотелось утешить её, сказать о том, что нет ещё ничего страшного, что она поправится. Но я не смог. Где взять такую искренность, с которой только что говорила она со мной? Я просто не думал о жизни так много, как она, и поэтому не мог открыть ей свои чувства своими словами, вывари вшимися во мне, рождёнными моим мозгом, моим ощущением и пониманием мира. И как бы оскорбительно звучали тогда обыденные человеческие штампы!

Такой была наша последняя встреча.

Когда я пришёл в следующий раз, Ольги уже не было в живых. Лампочка в коридоре горела так же тускло, как и тогда, когда пришёл я в этот дом в первый раз. И всё так же пахло керосином, тряпьём, слежавшейся бумагой. Я помню, как за ручку дёрнул дверь на себя и почувствовал, что она упруго не поддалась. И почти тут же послышался скрип половицы и слова тёти Маши:

– Подожди, я открою.

Она долго ковырялась ключом в замочной скважине – это с непривычки – наконец, что-то щёлкнуло, и дверь открылась, громко и протяжно заскрипев. (Странно, раньше я никогда не слышал этого скрипа.)

Квадратная комната прибрана. Новые занавески на квадратном, что напротив двери, окне. Постель непривычно для взгляда аккуратно заправлена, а в воздухе стоит густой и приторный тёплый запах растопленного воска, ладана, лампадного масла.

– Отмаялась, родимая, ох, Господи... Ну, ты посидишь? Мне уйти нужно.

Я утвердительно кивнул.

Как непривычно и пусто в комнате, а в ушах отчего-то стоит голос Ольги, будто она сказала что-то и вот на мгновение замолчала. За окном всё та же крыша, только сейчас чёрная, покрытая толем, намокшим от недавно стаявшего снега, и ослепительно белая, выкрашенная известью, стена сарая.

Очень скоро возвратилась тетя Маша. Вздохнув, присела у изголовья кровати, там, где всегда сидела Ольга, и стала молча поглаживать рукой пустую подушку. Она не плакала. Старые люди, когда не при народе, когда знают, что не осудят – вот, мол, не жалеет, – редко плачут. Нет больше слёз, выплакали уже все.

– Возьмёшь на память-то чего?.. Возьми, покойница часто тебя поминала. – Тетя Маша говорила негромко, задумчиво. Над её головой слегка трепетала тень лампадного огонька. – Ты что ж не приходил, неужто не чувствовал?

Как мне нужно было ответить на этот вопрос? Правдой? Но чего бы она дала тогда. Да и не объяснила бы она ничего, потому что всё это было просто и очень сложно одновременно.

Я чудовищно боялся смерти Ольги. Я был уверен, что она не умрёт, не должна умереть, пока я её не увижу. И я сознательно оттягивал эту последнюю встречу. Мне казалось, что если я приду к ней, то эта наша встреча будет последней. А оказалось, у смерти свои законы, и она заставляет людей жить по ним. Я хотел, чтобы Ольга прожила дольше, а вышло, что я даже не успел проститься с ней... Так как это объяснить, как сказать доброй, замечательной тёте Маше, какими словами, чтобы она не поняла – почувствовала, почему я так долго не приходил этот последний раз.

Промолчав, я взял со стола потрёпанную книжку роман-газеты, бережно перелистнул несколько страниц. Я до сих пор не мог поверить в смерть Ольги, не мог ощутить того, что она была и вот... нет. И понял я, почему не могу принять её смерти. Потому что осталась Ольга в памяти, надолго осталась, навсегда.

– А народу на похоронах мало было, – тётя Маша продолжала гладить подушку. – Всегда так-то в народе, что ли? Она для них всех, а они... вот и ты... Э-эх-х... жизнь.

Тетя Маша поднялась, и тогда я впервые заметил, какое измятое, в морщинах у неё лицо, как много седины в прядях волос, выбившихся из-под платка, как мелко и часто подрагивают у неё пальцы рук, какая она большая и рыхлая... старая. – Ну, чего сидеть, всё равно уже больше ничего не высидим. – И оправдываясь, но стараясь, чтобы этого оправдания в голосе не слышалось: – у меня там бельё кипятится. – И, видно, вконец раздосадованная на меня: – Нет её больше, Ольгухи-то нашей, нет! – И заплакала неслышно, без голоса, одними глазами.

Опавшая листва сухо шуршит, когда я шевелю её ногами, не вставая с лавочки, с той самой, в скверике за Домом офицеров, на которой я впервые решил пойти к Евгению Ивановичу, а как оказалось – к Ольге. Совсем рядом дымит ворох такой же сухой листвы, как и у меня под ногами. Парень и девушка подметают вдвоём узенькие заасфальтированные дорожки и почему-то обходят то место, где сижу я. А кроме меня и их в сквере никого. Тихо... Даже шумной улицы, которая совсем рядом, за домами, не слышно. И пахнет догорающей листвой.

Осень...

Владимир ЛИЧУТИН

ПЯТЬ РУССКИХ МИФОВ

Беседует Алексей ШОРОХОВ

О самых жгучих мифологемах современности: «антисемитизме русского народа», идеологии паука-процентщика, «загадке Путина» и естественных пределах Русского мира – пространственных и исторических. Самое обширное интервью писателя за последние годы.

А.Ш.: *Владимир Владимирович, можно сразу и без околичностей спросить – о чём сегодня молчит писатель Владимир Личутин? Уже давным-давно записанный в нелюбители семитских народов, арабов, например («антисемит») и в нелюбители оффшорных спасителей Отечества («нестяжатель»)? Что сегодня он не может (боится) сказать?*

В.Л.: Многое сказано за сорок лет «протирания штанов». Слышащий да услышит и, кое что из моих досужих мыслей растеклось по Руси и было воспринято читателем и оказалось, увы, верным. И многое, о чём нынче судачат «властители дум», было сказано ещё лет тридцать-сорок назад в научение и остережение.

Было время скапливать знания, пришло время отсеивать их через мелкое сито и забывать. И тут обнаружилось, что «я знаю лишь то, что ничего не знаю». И не молчу я, отнюдь (хотя и пора бы), но всё в современном мире живёт повторением, пус-

тоговорением и не переходит в практику; запущена в государстве машина насилия, сепаратор по «переливанию из пустого в порожнее» с нулевым кпд, и в то время, когда платные баюнки надувают щёки, гордясь собственным умом, прохвосты и щелкопёры лихо, с небывалой наглостью обводят простой «бессмысленный» народишко вокруг пальца, глумливо похохатывая, поглаживая вечно несытое брюшишко, а нищий бредёт к помойке в поисках хлебца насущного. И снова в ходу песнь нищей братии: «И кто нас накормит, оденет и кто нас теплом обогреет?..». Мы угодили во времена великого обмана и густо сваренной жирной лжи, обволакивающей каждое доброрадное мирное русское сердце. Господь попустил дьявола, и тот плотно уселся на горбину России.

Алёша, ты задал умысленный, с подковыркою, вопрос об евреях. Об этом народе я довольно много размышлял и писал. Вышли роман «Миледи Ротман», автобиографическая повесть «Путешествие в Париж». Сейчас не место распространяться. Только замечу, что русский народ никогда не был «антисемитом», таково глубинное свойство нашей души. В истории человечества русские уже неоднажды спасали евреев от уничтожения, и как бы это племя ни досаждало с необыкновенным странным упрямством, если случится новая беда, то русские снова отведут их от погибельной пропасти. И за это евреям надо быть благодарными России всевечно и незабытно, а не хулить, изрыгая из уст нечистоты русофобии, не «улыскаться» мстительно, на каждой пяди трудного пути, коварно ставя подножку, наслаждаясь страданиями ближнего. Непростительно плевать в горсть, из которой получил спасительный кусок хлеба.

Как никогда прежде поучительна мысль святых отцев: «Кому Россия не мать, тому Бог не Отец». Либералы, обожествившие своё ненасытное брюхо, плотно уселись на властные стулцы, как жуки-древоточцы, с хрустом изгрызают сук под собою, на котором сидят, вырывают последнюю корку у православного, злобно урчат: «Это моё и это тоже моё... Сначала съедим ваше, потом каждый своё». Что им Божье увещевание: «Возлюби ближнего...». Им куда ближе: «Подтолкни... помоги упасть».

Для нынешнего либерала, оседлавшего власть, крепко незалюбившего русский народ, это наставление звучит как спасительная молитва. И не понимают того, грешные, что у самих верёвка на шее, и придётся лететь в ту же пропасть и далее, в самую Потьму, откуда клятвопреступнику уже не будет исходу.

А иные готовят спасительные пути отхода. Бог, конечно, придумка для простецов и глупцов, – полагают они: но вдруг на том свете что-то действительно есть такое, отчего голова кругом? Может стоит уделить малую толику от наворованного? Любимое присловье богатого либерала: надо складывать яйца в несколько корзин. Одна из корзин – рай... В Сарове есть храм Серафима Саровского, благолепный, сияющий, подпирающий православными крестами самое небо. Входишь в притвор собора, на стене огромная тёсаная доска из белого «италийского мрамора» с благодарственной надписью золотом Анатолию Чубайсу и, всяк входящий молитвенник, снимая шапку, невольно кланяется и отступнику Чубайсу, от одного упоминания имени которого у каждого русского вскипает от гнева сердце. Для народа Чубайс – это «исчадие адово», как император Петр Первый – антихрист, бывший президент Горбачёв – бес, управитель церкви сатаны. Это неистираемые печати, как бы ни марафетили, ни румянили, ни накрашивали «хари», клятые для русской памяти. В Дивеевском храме под Саровом по-

добное же признание в любви к господину Дерипаске. За денежный принос. Вы скажете: наверное, сердце не совсем зачерствело у Чубайса, призывавшего своих соплеменников к насилию: «Больше наглости!». Вот и очнулся, пришёл в ум? Ха-ха-ха!

Но наружное покаяние не цельбу приносит, а погибель.

По такому случают в ходу нынче анекдот. Один бесермен много помогал церкви, вносил богатую лепту, и думал, вот по смерти, конечно, прямая дорога в рай. Приходит час, и возносится его душа грешная к вратарю Петру: дескать, апостол, отвори дверь, впусти в рай, мол, я столько доброго на земле содеял. И давай перечислять. А Пётр ему в ответ: «Мы тебе деньги вернём». И захлопнул перед носом оконце в рай...

Россия крепко ульнула в сетях ростовщика. Дьявольский ссудный процент оказался сильнее стыда, совести, чести и самого Бога. Ростовщичество для русского человека – самое клятое ремесло, и если ты окунулся в этот мерзкий промысел, то безусловно распрощался с душою и дорога тебе одна – в ад... Меняла, процентщик – опора нынешней власти, государева элита, а президент Путин ежедень строго уверяет нас, запамятовав, видимо, о миллионах нищих и обездоленных, о растерзанной русской земле, что с либерального пути не соступит вовек, всячески обласкивая мошенника и меняла, что наживает капитал с чужого труда. Утром наш президент клянётся в любви к России, находит верные признательные слова, ставит свечку в церкви, кушает просвирку, запивая теплым винцом, лобызается с патриархом, чтобы тем же днём навешивать ордена нанавистникам России (откровенным русофобам), норовя прикупить и обласкать, привязать к себе, называя их самым «дорогим человеческим капиталом», наверное, не догадываясь, что не успеет третий петух вскрикнуть, как они предадут и растащат его имя по зарубежным торжищам. Забывает президент, что либерал служит лишь себе и «золотой кукле», а о Спасителя вытирает ноги. Как только ни охаживал Путин непутёвые семейки Ельцина и Собчака (Нарусову, Ксюшу со товарищи), клан Гайдара, Ходорковского, Абрамовича, Лужкова и т.д., уверял в вечной дружбе, и где они? – Презрев узы «товарищества», скоро сметнулись «к поганым ляхам» и вербуют в той стороне орды наймитов, «куют орала на мечи», неистово желают русскому народу погибели. Лучше бы Путину в своё время не спасать христопродавца Собчака от тюремки, а вручить в руки правосудия: глядишь, и душу бы сохранил грешнику и семью бы его облагоразумил на будущее.

Проныра Чубайс ходит по Кремлю гоголем, присматривая, что бы ещё поделить меж товарищи, а в это время престарелый герой России полковник Квачков томится на тюремной «шконке». Мистер Табуреткин вместе со своей красоткой переваривают лихо уловленные миллиарды, а русский философ Юрий Петухов, затурканный бесконечными следствиями, лежит на Ваганьково. И примеров тому тьма. Миллионы людей хотели бы знать, что за странная тяга у господина президента к Анатолию Чубайсу и как надо так не любить свой народ, чтобы столько лет держать всеми презираемого либерала возле ноги, как гонного пса. Нынче на Руси дворных собак награждают кличкой: «Чубайс». Владимир Путин любит великого Даля, листает его словари и, наверное, не раз натыкался на русское присловье: «Крещёный еврей, что кормленый волк». И потому, наверное, и обихаживает, прикармливает Чубайса, чтобы изголодавшиеся, сбежавшиеся в стаю волки, не загрызли... Но верность кагалу принимается ими, как слабость. А простой народ гадает на картах, на четверговую соль и на крещенскую воду, что такое, необычное,

мистическое, потустороннее связывает этих людей, крепче манильского троса, и всякие догадки тут приходят на ум, отчего почтение к президенту вянет, как трава под «плящим» солнцем.

Алексей, ты спрашиваешь, о чём я нынче молчу; мол, хочу сказать и держу себя на вязке?

Хотелось бы порассуждать о самоизоляции. Как говорили древние: «Наша одежда не по ним, их одежда не по нас, каждый народ в своей одежде ходит». Разумная самоизоляция спасительна. Если бы не было железного занавеса, Советский Союз рухнул бы лет пятьдесят назад. Если бы мы не открылись в восемьдесят пятом при этом щелкопере Горбачеве, великое государство стояло бы и поныне. Горбачёв сам заявил по телевидению на всю страну: «Я, Шеварнадзе и Яковлев ещё в восемьдесят втором году объединились в тайную организацию, чтобы разрушить Советский Союз». (Наверное, был в подпитии гражданин, иль в расслабленном состоянии ума.) Хватило трёх подпённых жуков-короедов, чтобы источить могучее древо изнутри.

Нельзя открывать хозяйские ворота во двор нараспашку, скоро налезет со своим уставом всякая гиль и тля, и ловко, по-разбойничьи, всё переворошит, вывернет изнанкою, наведёт всякого сраму и глума. Протестант император Пётр Первый лишь окно в Европу приоткрыл, и сколько дичи, жадно щелкая клювами, сразу налетело в наши пределы, до сей поры Россию трясёт от лихоманки. Но гостевую, парадную дверь не стоит запирать на щеколды: милости просим на чашку чая и рюмочку сливянки, а ночевать пожалуйте к себе домой.

Хотелось бы порассуждать о просвещённом православном национализме великого русского народа. Для наших политиков-космополитов-менеджеров, пролезших в Кремль, всякая мысль о национализме, что встреча с крокодилом на берегу Амазонки: сразу глаза наперекосяк, уши топориком, спина в испарине. Как бы не подслушал кто и не донёс по инстанции: взрастили же шишигу на своё несчастье и сейчас он пожирает будущее нашего отечества. «Ой, только не это, а вдруг что... да это такой ужас... привидится коли, сойти с ума, не заснуть». Национализм Израиля, Америки, Японии, Китая – это прекрасно, там же цивилизация, мировая культура, а в России одни пьяницы, балбесы и лентяи, прожигающие жизнь на русской печи, – хуже негров и папуасов. Никто на свете ещё не живал даже минуты при русском национализме, но при малейшем упоминании сразу протяжный тоскливый волчий вой на все пределы. А ведь все народы мира, малые и великие, опираются на своё национальное чувство; убери эту истовую любовь, сердечный поклон матери-сырой земле и к своим предкам – и в короткое время племя истечет в небытие. Этим-то и похожи все племена, – необоримой тягою к своему роду. Традиции и обряды куда сильнее придуманных законов. Национализм – самая древняя мировая религия, единственно духовная, мистическая, лишенная материального умысла и эгоистического кабального смысла, религия спасения. Все остальные верования, ныне существующие в мире, – умственные и лишь приложены, приставлены на подпорках к первобытному духовно-космическому неиссекновенному чувству. Его-то глубины, его необходимости, Алексей, мы и не хотим понять, но сразу стараемся отвергнуть, оттолкнуть от себя, чураемся, как проказы, уже сотни лет исповедуя антисистему, уходя всё дальше от истоков нашего всеобщего родства, и тем погубливая имя своё и свою историю. И это, увы, не просто красивые слова, но сущность спасения. А в патриотизме, которому

либеральные власти отдают ныне дань, кроется нечто умышленное, расплывчатое, как бы пронизанное угарным дымом, отодвигающее от национальной русской общности в страну забвения, когда за иностранным словом скрыт сам объект поклонения и защиты, его историческая глубина, его смыслы, его особенность, его образ, его поведение и божественные смыслы. Вроде бы термин внешне понятен, патриот – защитник отечества, поклонник государства, – но он безлик, в нём не струит «национальная кровь». И не случайно Лев Толстой выделил странность патриотизма, напомнил его тайную умышленность, что «патриотизм – это последнее прибежище негодяя», когда отступнику и клятвопреступнику уже некуда деваться, и он скрывается за «приличными одеждами» патриота, которые впору всем. Он напяливает сюртук патриота, в груди оставаясь прежним негодяем, лицемером и ханжой. Вышел из партии, следующим днём ступай в церковь, чтобы не опоздать, не остаться без места, а пооглядевшись, выбрать более выгодный прикров. И всё время на словах оставаться патриотом, предавая и презирая ближнего.

А.Ш.: *Безусловно, тут вы правы, если не зачеркиваете всей глубины Православия, необходимого для России. Ибо, как сказал митрополит Иоанн Санкт-Петербургский и Ладожский: «Россия без Христа – Богу не нужна!» И стоит всей душою отдаться частному, как тут же рассыпается весь дом. А «дом, разделившийся в себе, не устоит». Увы, много искушения для слабого, мало знающего человека, окунуться в соблазны со всей истовостью, забывши о коварстве темного омута...*

В.Л.: Как во времена «ереси жидовствующих», борьба меж стяжателями и нестяжателями разгорелась с новой силою, только с иным толкованием и содержанием и из церковного обряда сметнулась в общество, в его сердцевину, разрушительно разогревая изнутри, ибо либералы, заместив собою Бога, с легкостью поглощают любое шаткое сердце и вербуют в поклонники «золотой кукле».

Да и к тому же живём нынче по лживым, суетным мифологемам: «Война не закончилась, пока не захоронен последний солдат». Абсурд, лишенный всякой логики. На Бородинском поле, к примеру, сорок семь тысяч павших русских героев лишь поздней осенью стащили с поля боя кокотами в овраг и там сожгли в огромных кострах, а пепел закопали. Но разве их безымянный подвиг потускнел, иль истончился образ солдата? Разве измельчился подвиг сталинградцев, когда живые ходили по мертвым, вмерзшим в лёд, чтобы под обстрелом достать из ручья фляжку воды? Таковы печальные картины каждой войны, а Россия вынесла на себе сотни сражений. И вот нынче отыскивают по лесам погибших шестьдесят лет назад, черные неведомые кости бросают в ящики, как дрова, чтобы снова зарыть под рыдания медных труб, и вскоре снова потерять усопших, а после снова раскапывать, вроде бы руководствуясь православным чувством. Лихие беззастенчивые парни отыскивают оружие, приводят его «в боевое состояние», способное убивать своих ближних. А ведь совсем рядом доживают свой срок деревенские старики и старухи, одинокие, печальные, нищие, зарастают дурниною поля, новый лес густо встаёт над людской памятью, скоро выпивает погосты, и никому нет дела до изжитых и немощных, ибо молодые московиты «убиваются» над безымянными костями. А ещё ждут утонувшие в морях и на переправах, уморенные в немецких лагерях смерти, растерзанные бомбами, раздавленные

танками. Деревенские погосты, поросшие лесом. Боже мой, сколько нарочитой работёнки спущено фарисеями сверху, чтобы возбудить, якобы, национальное чувство, но, увы, «некрофилия» не пробуждает сострадания, но неслышно замораживает душу.

Правда бытия: живые бродят по костям мёртвых, не сознавая о том. Война подбирает не только погибших на передовой, но и живых. Миллионы скончались от ранений, от болезней в госпиталях, в тылу «на втором фронте», умирали у станка и на пашне, от тоски и одиночества, от голода и тяжкого труда, и тех жальников уже нет, их выпила мать-сыра земля, как нет и выселков, деревень, сёл и полустанков. Скоро сиротеет в запустении русская земля, а мы копаем с усердием вытлевшие кости, пренебрегая живыми. Такова философия либерала.

Говорят, что у нас нет идеологии, не записана в конституции, живём, как на душу Бог (или дьявол) положит, дескать, идеология убивает «права человека», ставит его под ружьё, оскотинивает, высушивает личность, отбирает индивидуальность, выскребает ту самую «изюминку», что и делает из аморфного первобытного существа хомо сапиенс... Хотя без умысла и замысла Божия и птичка не чирикнет. И вот с усердием, противясь православной этике, восстав против Бога, упорно вчинивают в русское общество нравы потребления в виде образов и лозунгов, и ложных мифологем. Притесняя ближнего, восклицают: «Никто не забыт и ничто не забыто». Хотя бездушная элита строит своё будущее на тщательно скрываемой философии менялы и шкурника: грабь награбленное, всё перетрётся-перемелется, скоро забудется, чёрное станет белым, а бесчестие правдою.

А.Ш.: *Я не совсем с вами согласен... Человеческие кости – это не скотские, не звериные. Это и не кости даже, это – останки. Каким-то образом, нам неведомым, они порою превращаются в святые мощи. Даже не всегда за праведную жизнь, не за подвиги (нам, во всяком случае, неведомые). А как бы просто так, по случаю. И тут особая, вне человеческого разумения, тайна. Народ решил, – и точка. Я тут даже не говорю о Царской семье, останки которой якобы нашли в Ганиной яме... Но вот вы сами рассказывали о вашем поморском чуде, как под деревней Верколой на реке Пинеге в семнадцатом веке был убит грозою пастушонок Артемий двенадцати лет. Он не совершил никаких добрых деяний (нам во всяком случае – неизвестно), подвигов, никого не спас и никому не принёс благ, кроме того, что помогал отцу-матери пасти скотину. И вот через несколько лет вырыли его мощи, а они благоухают, светлые, нетленные. Стали крестьяне им поклоняться, и по молитвам приходила помощь. Так был вылечен Артемием Веркольским сын воеводы Пашкова. Пашков, мезенский воевода, поставил деревянную церковь, после возник монастырь, и Артемий Веркольский был признан крестьянами поначалу местночтимым святым, и скоро слух о нём достиг столицы и Царского двора, и над мощами деревенского мальчика был воздвигнут собор.*

В.Л.: Целитель святой Пантелеймон тоже был ребёнком. Я не смею тут рассуждать, погружаться в мистические глубины, досюльные предания. Это особые розмыслы, требующие церковного знания и глубинного понимания святоотеческих писаний, которого у меня нет. Я не отрицаю божественной связи духа и плоти, таинственного сопряжения родственных чувств с матерью-землею, тоски и мук, не исчезающих и после смерти. И потому покойники постоянно приходят к живым, напоминая о нерасторжимости двух

миров. Мечтания о том свете (как и тот свет) не раскрыты и никогда не поддадутся коварному деятельному уму, но всегда против нашей воли будут внушать о грядущей бесконечной жизни и о «восстанном» дне, когда праведники станут, в отличие от грешников, праздновать воскрешение. И напрасно атеисты этот свод напряженных мыслей называют суеверием и мракобесием. Это нечто особое, живущее рядом, в зазеркалье, и не поддающееся нашему любопытству, как бы мы ни напрягали ума. Тут ни знания не помогут, ни церковь. Ведь никто не видел Бога, но и никто не может сказать, что Его нет. «Что-то такое подвидится», – так говорит простец-человек, не зная мудреного философского языка.

А.Ш.: *Разве мало вам, дорогой Владимир Владимирович, быть просто писателем? Просто красивые слова складывать в просто сюжеты?*

В.Л.: По характеру и судьба. «Каким рожен, таким и заморожен» – говорят в народе. Есть люди, которым до всего есть дело. И я, наверное, из таких. Ещё говорят: «Горбатого к стенке не приставишь». У писателя «горб» – это внутренняя душевная маята и духовная работа. Он не может жить спокойно, лежать замшелым валуном при дороге. Проливается из его сердца родник-студенец и хочется напоить всех страждущих. Даже церковь не смогла перенять на себя учительских свойств русского литератора. И оттого нынешнее «антисистемное» государство, презирающее крестьянина, сторонится русской глубины и русской истории, чуждается писателя, боится его религиозной мысли, загоняя в резервацию и подменяя совесть буржуазными «химерами», чурается его учительства, укорливости, сострадания и жалости, сурового суда, от которого не скрыться фарисеям за баррикадами уложений и законов, в сердцевине которых, увы, всегда таится призатаенная неправда, оправдываемая необходимостью порядка и спасения. Философ и писатель Юрий Петухов, загнанный судебными ханжами на Ваганьково, перед смертью писал: «Когда Иван Сусанин завёл отряд поляков в болото – это был подвиг христианина. Новоявленные местечковые «сусанины» заводят в болото целые поколения русских. Мол, утопим их в трясине и дело с концом – нет народа, нет вопроса. Истекая злобой и ненавистью, Запад выдернул нас из светлого будущего к себе, в смрадную пещеру архантропического звериного прошлого... Нам надо освободиться от Зверя из Бездны, от клана дегенератов, от людоедского Запада».

Путин за годы власти нарисовал на политическом небосклоне сложный авангардистский автопортрет: то он на истребителе, то на подводной лодке, то с гигантской сибирской щукой, то провожает журавлей-стерхов на утерянную родину, то укладывает японскую девочку на борцовском татами, то вступает в члены немецкого рыцарского ордена, то вместе с молчаливым писателем Распутиным погружается в пучину Байкала; Путин с тиграми и леопардами, за столом с олигархами, за шампанским с русскоязычными либеральными литераторами, которые нынче дружно предали президента, то награждает шутов и шоуменов, которые нынче из-за бугра проклинают главу государства и сулят погибели; он же признаётся в любви к России, не скрывая слёз перед стотысячной толпою; он на лыжах в горах, а вскоре из морских глубин добывает древние амфоры, обсаженные ракушками; он обсуждает низкие пороки власти на вече «национального фронта», а на другой день уверяет с телеэкрана воркующим голосом, что правительство работает замечательно и нет нужды менять его; он недоумевает и негодует от нескла-

дицы и воровства, царящего совсем рядом, за проходной, и тогда он тускл и невзрачен обликом, как старое серебро (ибо всё изнашивается), но когда награждает высшим орденом очередного болтуна-либерала (тайного взяточника и лицемера), глаза его вспыхивают удивительным голубым огнём; иногда Путин с поклоном и восхищением вспоминает великого русского философа-националиста Ивана Ильина, но, опомнившись от наваждения, тут же остерегает ошеломленную паству: де, упаси Господи видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный.

Но я ни разу не видел президента с русской книгой в руках, или в кругу русских писателей за откровенной беседой. Лишь гнетущее молчание, словно черт застыл за плечом, и ни одного доброго слова, знака сердечного внимания и помощи. И ни разу не видел в погибающей Тверской иль Рязанской, Вологодской иль Архангельской глубинке, в бессловесной умирающей деревнюшке (а их многие десятки тысяч), откуда явился на свет великий русский народ, где нынче последний житель прозябает земные сроки в запустении и нищете на поросшей чертополохом когда-то славной земле.

Путин вышел на Русь неожиданно, как партизан, из неведомых европейских «болот», где столетиями скапливалась всякая чешуйчатая чертовщина. Распахнул дверь русского Дома, воскликнул: «Вот и я, которого вы заждались!» и застыл на пороге, не решаясь вступить в народную неспокойную стихию. А может упрямо тянут в морок за подол чертовы силы? Притягливый, но вместе с тем отталкивающий, пугающий, неожиданный по манере письма образ разведчика и устроителя будущего, которого, увы, и сам не представляет, – и потому столько смуты, столько неразберихи, шума и гряка столпившихся вокруг автопортрета зрителей в мастерской Владимира Путина.

А.Ш.: *Распространено мнение, что через судьбу Путина Бог являет свою силу: чудесное превращение человека из Савла в Павла во времена утраты всяких надежд в возрождение нашей родины и всеобщего позора?*

В.Л.: Этот случай действительно из области чудес; вроде бы совсем был проглочен человек левиафаном и выбрался наружу. Хочется верить, что Бог услышал нас... Но ведь порою слона побеждает обыкновенная мыша, подгрызая великану пятки.

А.Ш.: *Но я хочу спросить о другом. В чем сегодня для вас сохранение русскости, без которой никакой России (империи, царства, федерации, конфедерации) не будет?*

В.Л.: Главная беда в государстве, что по-прежнему отрицаются «либеральной клоакой» полнота русской истории и идеология, якобы пожирающая права человека, его верховенство над Богом, когда Господь лишь неотчетливое приложение к прихотям. «Хотя и без Него нынче вроде бы нельзя, неприлично как-то»... Нет идеи развития, целеполагания, направления и пути движения, единящей задачи, маячного огня, а без цели живёт (существует, прожигая время) лишь совершенно опустившийся или внутренне потерянный человек. Точно так же и с народом, обществом. Не надо никого догонять и перегонять, но идти вперёд ровной ступью, иначе скоро надорвёшься, сорвёшь пуп, никакая бабка не выправит. Однажды Никита Хрущёв попытался догнать и перегнать Америку по молоку и мясу. И где теперь Союз?

Надо ставить религиозно-нравственную цель, духовную, а не плотскую. А нынче живём набором мифологем, противоречивых, часто бездумных, но легко внушаемых народу, по которым и правим путь от одной болотной кочки до другой. Пока летим, с ужасом думаем: выберемся на твёрдое, иль затянет в трясину с головою. Потому и владеет «элитой» клиповое сознание, этакое лоскутное одеяло воображения, в прорехи которого легко проникает чужой разрушительный замысел, который сразу не уловить; нужно время, чтобы почувствовать его скрытые каверзы и организовать сопротивление. Многие из чиновного братства, отслужив половину жизни при большевиках, не могут распрощаться с прежним укладом и, приноравливая психику к новому быту, невольно путают черное с белым, ложь с правдой, а национализм с фашизмом и шовинизмом. Видят в предке что-то вроде пещерной гориллы с дубиною. Эта раздерганность сознания, шаткость души, равнодушие сердца помогают чиновной «элите» выживать, приспосабливаться, но с другой стороны незаметно уводят от Бога к дьяволу. (Вся Европа уже незаметно для себя качнулась от Христа к дьяволу, что и знаменует последние времена. Исламисты не хотят подпасть под власть шайтана, и потому главным злом становится европеец.) И вот в помощь на Руси Путин предложил новую-старую мифологему, позаимствовав её у СССР: «В здоровом теле – здоровый дух». На этом понятии погиб в разврате древний Рим, рухнула Византия, угодила под турка Греция. Этот принцип в тридцатые годы минувшего века присвоила советская империя, отряхнув с лозунга вместе с Богом пыль забвения. Как помнится, в домах культуры и школах висели плакаты за подписью Климента Ворошилова. Но стоит знать, что по народным представлениям плоть – это вран и нечистая свинья, а душа – белый голубь. Ибо плоть живёт удовольствиями, одним днём, а душа – вечностью и страстями, и потому хотя и умещаются в одной телесной оболочке, созданной Господом в седьмой день творения, но меж ними не замирает постоянный конфликт, и участь при конце бытия совершенно разная: плоть уходит в землю, а верующая душа взмывает в небо.

Вот и нынче, исполняя мифологему: «В здоровом теле – здоровый дух», невольно подпадаем под ростовщика, печёмся о теле, гордимся мышцами, президент обнимается с борцами, кочует с гор на воды, и в это время закрывают библиотеки и деревенские школы, дома культуры, клубы, книжные магазины, писателя, как личность исповедующую первичность духа, придавили торгашеским прессом, пропустили через молотилку, испытывая на нищету; власти с некоторым злорадством нетерпеливо ждут, когда русский писатель под гнётом процентщика превратится в камбалку и наконец-то испустит дух, чтобы своим духовным уроком не устыжал энергичного «погонялу» с мячом, хоккеиста с клюшкой и бойца с железным кулаком, долбящим у противника последние извилины. Нет, братцы, когда молотят кулаки, там душа «малинового пиджака» и коллектора, выбивающего долги и зубы, не вскрикнет. Какого бы чиновного ни спроси нынче (хотя бы видом самого-то русачка), дескать, что читаешь, милейший? И услышишь в ответ: «Читать некогда... Совсем времени нет. Забыл, когда книгу в руки брал». Но стоит помнить: если добрых русских книг не читает человек, он умер ещё при жизни. А нынче книга – товар. Скоро станут товаром совесть, честь, справедливость и правда. Любовь-то уже давно перешла из высокого чувства в прибыльный товар и занимает третье место по доходности после наркотиков. Но предки наши поклонялись книге. «Книги – это реки напояющие вселенную!» – говорили они. Чувствуете разницу!? И чтили отечество с при-

дыханием, сердечным восторгом. «О, красно украшенная земля наша!» – восклицали они.

Задача мыслителей обосновать отличие русского народа от прочих, его безусловное величие, его «душу неизъяснимую». Со времён славянофилов подступаемся к русскому вопросу и отпрядываем, боясь обжечься: иль ложка велика, иль рот мал.

Надо для духовного взросления и широты национального взгляда окунуться в далёкое детство своего племени, преодолеть давление «чужебесов», смыть с историчекого лица их ядовитую отрыжку, установить и признать примерные границы русского народа в начале его обитания на земле, которые упорно русофобы обгрызают и обрезают, как подпольные мыши, со всех углов, собираясь довести его границы до московского княжества. И не хотят знать того, что ещё в третьем тысячелетии до нашей эры было великое славяно-русское королевство от южного Средиземноморья до Карского моря со столицей в Ростове Великом, что этот невзрачный (нынче) старинный северный городишко старше Рима на две тысячи лет, славный родитель наш. А Великий Новгород возник за тысячу лет до рождества Христова, и Киева в те времена и в помине не было. Чтобы размышлять о русском племени, надо знать не только его историю, географию, быт, обряды, этику и эстетику, его движение в пространстве и во времени, почему он подался на Север*а*, к Китаю, до Тихого океана и далее, до Америк, что влекло его в Индию задолго до Британии, его неистребимую страсть к пути по мистическому зову, странное уведомление с небес о его предназначении; он велик не только потому, что обжил великие пространства, которые стали его крепостью и судьбою, но и сохранил сотни племён. Разве мог бы «лютый ненавистник-националист» (по определению Дмитрия Лихачёва – «совести России») пестовать братьев меньших, заботиться о них, порой презирая своё благополучие, обживать суровые земли, заступаться за других, жертвуя жизнью, прощать и миловать, лишенный мстительности, коварства, злорадства, кабальности отношений и чувства превосходства. Воистину Божий народ с великой, неисследимой биографией, которую всё время ненавистники и завистники России пытаются утаить и перелицевать. Информационная война против русской истории длится уже более тысячи лет. К сожалению, фомы-неверы оккупировали наше прошлое, как хлебное место, поливая уксусом скепсиса, и, конечно, ничего доброго не вырастет, пока народную толщу не удобрит родящее национальное чувство. Надо вернуться к себе, понять самих себя, прежнее ощущение русскости, душою услышать признание Александра Суворова: «Быть русским – какой восторг!». А для начала хотя бы вернуть в паспорт национальность. Без названия человек обезличен, он незаметно утрачивает лицо и общность, племя невольно рассыпается, теряет соединительную внутренннюю ткань. Этого-то и добиваются «коварники», оплодившиеся в России, но не признающие её за отечество.

Ведь ещё в середине восемнадцатого века гениальный Ломоносов уведомил Россию, что легендарная Троя, засыпанная пеплом забвения, воспетая Гомером, – это крепость скифов-русов. Ему сразу в ответ: чур-чур, сказки, блажь, такого просто не может быть! Ха-ха, русская крепость у Средиземного моря. Ломоносов написал уникальный труд по истории русского народа, который была переиздан только через двести лет, и ни звука о книге, ни одна историческая животинка не пискнула в благодарность за изыскания; и великая работа снова погрузилась в нети. Ну как же, разве можно тревожить великих белокурых, голубоглазых эллинов, приписанных в истории к вла-

дениям греков. А вся прочая срединная Русь к поместью угро-финнов. Но, однако, насколько прозорлив был великий помор. Это вам не «совесть нации» Лихачёв, считавший, что «национализм – это ненависть к другим народам». И кто он, этот ставленник на Должность главного «совестника», перед великим помором? – просто скользкий налим из угодий Собчака-Ельцина... Через сто лет после открытия Ломоносова археолог Шлиман отправился в сказочное место, раскопал легендарный выселок и обнаружил золото скифов-русов-ариев, артефакты, которые удивительным образом сошлись рисунком с древним, но и поныне живущим творчеством русских поморов. Интеллигенты любят скидываться на беспамятство русского народа, дескать, беспечен и остыл сердцем к своему прошлому, погряз взглядом в земле. Да, он, русский мужик, веками жил с согбенной выей, ему не было времени бездельно скитаться взглядом по небесному аеру, сосчитывая звезды, ибо надо «со своих ногтей» добывать хлеб насущный и кормить тех работников пера, чей истинный промысел состоит в вышелушивании смыслов из древних книг и рукописей. Вот их-то душа, этих архивистов, книжных червей, и должна быть особенно заражена любовью к отечеству и изумлением перед великим прошлым. Но увы... эта остылость зачурованного чужебесного сердца и пугает, а умысленное искажение фактов заставляют вздрагивать, какую ещё каверзу подбросят России «хлебоядцы-культурники» с удивительным косоглазием и фасеточным зрением. Надо думать, очнется русский народ от опойного сна, протрёт глаза и, обведя взглядом зачумленные русские пространства, воскликнет: «Господи, дай силы в трудах». В своё время, когда латиняне, щелкая зубами, наползали на Русь, стремясь пожрать её, римский папа, заманивая «медведя» под свою руку, писал государю Ивану Грозному, дескать, вступи в унию и получишь во владение Византию. На что Иван Васильевич, великий русский царь, ответил: «Нам и своей земли достаточно».

Редко нынче упоминается стихотворение дипломата и выдающегося поэта Фёдора Тютчева «Русская география»:

Москва и град Петров и Константинов град –
Вот царства русского заветные столицы.
Но где предел ему? И где его границы –
На север, на восток, на юг и на закат?
Грядущим временем судьбы их отличат.

Семь внутренних морей и семь великих рек.
От Нила до Невы, от Эльбы до Китая,
От Волги по Ефрат, от Ганга до Дуная...
Вот царство русское... и не пройдет вовек,
Как то предвидел Дух и Даниил предрек.

Нынешним робким специалистам по русской истории, лютым ненавистникам русского национализма, стоит в своих современных изысканиях решиться наконец-то и взять за основу трудов мысли Фёдора Тютчева, который не побоялся отодвинуть исторические границы русского племени куда как далеко от времен христианизации и от днепровской кручи, где пытаются и доныне утопить в водах реки пласт истории на многие тысячи лет, величие и могущество великого русского государства со столицей в Ростове Великом.

И верно, что чужого нам не надо; как бы осилить свои земли, попущенные Господом, не осиротить, не кинуть без пригляда на прожор и разор хищному пауку-процентщику. А былую историю сохранить в назидание и восхищение любопытным потомкам для воспитания русского чувства.

...Вот такая получилась беседа с Владимиром Владимировичем... Однако, чтобы действительно узнать, «что под шапкой у писателя Личутина», нужно продолжить издание полного собрания его сочинений, которое сейчас замерло на II томе... А для этого – придётся как встарь пустить «шапку» по кругу, организовать всенародный сбор.

АКЦИЯ «ШАПКА ПО КРУГУ»:

Владимир Личутин – писатель известный, его романы и повести изданы тиражом более двадцати миллионов экз. Владимир Личутин – лауреат Государственной Премии, премии им. Льва Толстого «Ясная Поляна» в номинации «Современная классика», Большой премии им. И.А. Бунина, им. Антона Дельвига (Золотой Дельвиг) «За верность Слову и Отечеству», им. Александра Невского «России верные сыны», им. Василия Белова «Всё впереди», Большой литературной премии СП РСФСР, премии СП России, международной премии Москва-Пенне и др.

Казалось бы, давно пора издать собрание сочинений Владимира Личутина, но государство, под либеральным флагом вступившее на тропу ростовщичества и ссудного процента, вытеснило русскую литературу на задворки культуры, а русских писателей обрекло на нищенское существование, лишив всяческих прав, тайно мечтая отобрать саму возможность заниматься литературным трудом. И любители творчества Владимира Личутина, утратив надежды на государство, решили сами выпустить «Собрание сочинений в 12 томах» по принципу православного русского мира «Шапка по кругу». В минувшем году в издательстве «Вече» вышел первый том «Фармазон», куда вошли одноименный роман и повести «Вдова Нюра», «Крылатая Серафима», опубликованные миллионными тиражами ещё в девяностых годах прошлого века. Подготовлен и скоро увидит свет второй том: исторический роман «Скитальцы» (в двух книгах)

Все поклонники творчества Владимира Личутина, меценаты и благотворители могут включиться в русский проект.

Счёт получателя:
40817810038186218447,
Московский банк Сбербанка России г. Москва,
ИНН 7707083893, БИК 044525225,
К/с 30101810400000000225, КПБ 38903801645.
Адрес подразделения Банка: г. Москва, ул. Лукинская, 1.м

Владимир БОНДАРЕНКО

«НА СЕВЕРЕ – РУССКАЯ ДУША...»

О романе Дмитрия Новикова «Голомяное пламя»

Радуюсь вместе с читателем новому русскому литературному шедевру, роману петрозаводского писателя Дмитрия Новикова «Голомяное пламя». Вообще сейчас пошли в рост новые большие русские национальные писатели: Захар Прилепин с «Обителью» и «Взводом», Алексей Иванов с «Тоболом», Михаил Тарковский с «Тойота-Крестом», Дмитрий Новиков...

Могучая русская поросль. И все по большому счёту – почвенники, традиционалисты, накрепко повязанные с русской землёй и русской историей.

Вот и мой земляк из родного мне Петрозаводска Дмитрий Геннадиевич Новиков посвятил свой первый большой роман русскому Северу, северной природе, северным людям, северной истории. Читая роман, я вспоминал и собственную жизнь, походы по северным рекам, Белое море, поморских родственников.

На мой взгляд, главным героем романа «Голомяное пламя» является не тот или иной персонаж (которые все эпизодичны), а сам Север как таковой. Дмитрий Новиков пишет: «Кто не здоров – тот болен, не может быть в стране людей нормальных с невылеченной Севером душой. Мы – северные люди и, заслоняя глаз яркой, южной обманкой, не забывать стараемся – обёртка всё, под нею – пустота. На Севере русская душа, ей душно без него...». Абсолютно согласен: люди Севера и спасут мир от гибели, они надёжны.

Писатель искренне наслаждается Севером, его манят даже сами названия деревень, рек и островов: «А берега да острова наши, – тут уж я тоже увлекался азартом его, – Летний, Зимний, Карельский, Онежский, Терский. Серебрянка-остров, Пудинка, Парус-камень, Сковородный, Водохлебиха...».

У сёмги шестнадцать имён, у ветра до десяти и больше, у снега двенадцать, у льда – десять, и так далее. Вся история России сосредоточена в памяти Севера. Не случайно и былины все русские на Севере записаны, песни древние, народные сказки.

При этом роман «Голомяное пламя» совсем не перегружен научными и краеведческими изысканиями, они равномерно распределены среди живых героев книги, вплетены в сюжет. Книгу просто вкусно читать, не столько сам сюжет увлекает, как радость и сладость от самой северной жизни.

Герои романа, Григорий и его друзья, путешествуют на байдарках по северным рекам и Белому морю, но это никак не заметки путешественников, не взгляд со стороны, ибо герои-то сами – коренные северяне древних поморских родов. И потому они способны описать сладостность всех своих чувств от запаха свежести морской, рыбы морской, солнца морского северного.

Сам язык романа становится эпическим, словно новая «Одиссея» или карельская «Калевала». Вот описывается сцена гибели поморов от приезжих молодцев, желавших ускоренным путём построить социализм: «Было чёрным Белое море. Строгим, траурным... Белели спины мужиков плывущих. Белели головы русые, русские. И заговорил, захлёбываясь, пулемёт с накренённой баржи. Веером ложились на воду пули... Один за одним исчезали там северные люди, сталь русской земли. И словно рыбины, сверкнув на глубине белизной, исчезали в морской воде... Яркая, тонущая небесная радуга легла на голомя и уходила вместе с жизнью и надеждой, вслед за рыбьим племенем, ещё недавно бывшим людьми и от людского зла ушедшим...».

Погибшие поморы становились эпическими героями и оставались в памяти читателей романа навсегда. Автор и не скрывает свой северный патриотизм, откровенно гордится своей северной родиной, и откровенно же описывает и все трагедии, случившиеся здесь на протяжении веков.

«Север – край света. Край такой, где единственно возможны свободные мечты, где единственно неподвластен человек воле чужой. Будь то на море, в лесах, в тундре или на диких камнях – жизнь его, смерть его лишь от Бога да самого человека зависит, и нет никого между ними...».

Иные и вознегодуют, назовут писателя неким расистом, северным националистом. Но имеет талантливый писатель право на возвеличивание своего родного края? Он же не отрицает другие русские просторы: «На юге тоже ясно – там земля русская, Великий Новгород да царство московское. Свой там народ, русский, а всё не такой, как мы. Без моря живут, воли не знают, все под хозяином каким, царь там да прислужники его. Тоже понятно. А вот на восток – сторона тёмная, неизвестная, интересная...».

Потому северными первопроходцами и освоен был восток, хотели поморы узнать край, где солнце встаёт: «ведь не помор ты, если далёкие земли тебя не манят, да опытным не станешь, когда северное дело во всех тонкостях не изучишь...».

Не случайно и то, что большинство писателей новой волны – не москвичи. Дмитрий Новиков осваивает и познаёт Север, Василий Авченко – Дальний Восток, Захар Прилепин – Нижний Новгород, Герман Садулаев – чеченец, они не замыкаются в столичной болтовне.

Конечно, я вижу несомненную близость Дмитрия Новикова и моего старого друга Владимира Личутина. Не знаю даже, читали ли они друг друга, но почва

общая, корни из той же северной земли. Вот оба ни от кого и не зависят, ибо ими владеют свободные северные мечты, неподвластные воле чужой.

Роман ли это в его каноническом, классическом виде? – Не похоже. Сюжет, как и у Личутина, явно не главенствует. Скорее, это можно было бы считать сборником новелл, проповедей, словарей, притч. Как считает критик Валерия Пустовая: «Его можно читать одновременно как исповедь, травелог и притчу...». Но никуда не деться от единения всего текста, от связи всех этих разделённых веками событий, встреч и воспоминаний с северным святым Варлаамом Керетским.

Есть в романе просто перепечатки с сохранением старой орфографии, с портала «Древнерусская литература», из древних северных книг – «Поведание от чюдесъ преподобного Варлаама Керецкого чюдотворца», есть его жизнеописание, но и в самых живых повествованиях о наших днях, о современных героях мы вновь и вновь встречаем ссылки на незримое влияние на все происходящие события северного святого. То герои добираются до Крестовых озёр, где находят заново отстроенную церковь и часовню, посвящённые преподобному Варлааму Керетскому, то само спасение изнемогших путешественников от гибели происходит по его небесному благословению. Откуда взялись силы выстоять на краю? «Может, это ещё одно чудо, явленное преподобным Варлаамом Керетским. Потом, через годы, узналось, что дни поминовения его пришлись именно на это время».

Герои в романе подобраны из разных времён, наш современник Григорий с товарищами-путешественниками соседствует с пареньком Колямбой из 30-х годов, который появляется и в наше время, напутствуя молодых бродяг, уже в виде древнего старика Саввина. Ещё одним героем является сам Варлаам Керетский, русский святой из шестнадцатого века.

Роман разбит на множество мелких главок, от одной до десяти страничек, и каждая из них читается как отдельный рассказ. Иные и были опубликованы как рассказы в предыдущей книге автора «В сетях твоих». Сверстник Новикова, писатель Илья Кочергин в своей рецензии на роман так и назвал его «пакетом рассказов, подвергшихся сварке, а затем многократной перековке, – как дамаск», но и он не отрицает, что в результате сварки у писателя получилось нечто цельное и единое, хоть и рассчитанное на медленное чтение.

Любители глотать сюжетные романы могут не браться за «Голомяное пламя», всё равно не дочитают. Но тот, кто получает удовольствие от хорошего текста, будет читать и перечитывать по несколько раз. К примеру:

«Нет ничего в мире красивее, чем берег Белого моря. Словно медленный сладкий яд вливается в душу любого, увидевшего это светло-белёсое небо, эту прозрачную, как из родника, воду. Это серое каменное щелье, покорно подставляющее волнам своё пологое тело и благодарно принимающее лестную ласку воды. Эти громыхающие пляжи, усыпанные сплошь арешником – круглым камнем, который море катает беспрестанно, шутит с ним, играет, и в результате – не смолкаемый ни на минуту грохот, и думаешь невольно – ну и шутки у тебя, батюшко. Эти подводные царства, колышущийся рай, пронизанный солнцем, как светлый женский ситец – весенним взглядом. Этот лёгкий ветер с запахом неземной, водной свежести и отваги, и каждый знает теперь, что такое свежесть и отвага. Этот пряный шум соснового леса и удирающий от берега трусливый бурый зверь, кисельно плескающий жирным огузком. Эта радость бескрайней дороги, свободного пути к жизни, к счастью, к смерти...».

Не случайно, все критики, пишущие о Новикове, любят его цитировать для собственного удовольствия. Но, понаслаждавшись художественной мощью романа, признают его печальный трагический настрой от ощущения гибели

всего того, о чем пишет Дмитрий Новиков. Исчезли уже все старые деревни, все большие двухэтажные поморские дома, исчезли и сами поморы, рыбаки, исчезла и северная рыба, истреблённая хищническими потребителями.

Роман Сенчин пишет: ««Голомяное пламя» абсолютно почвенническое произведение. Правда, в отличие от почвенников прошлых поколений, автор видит лишь «останки» деревень; людей, живущих на почве и почвой, – этот «виноград земли русской» можно пересчитать по пальцам. В реках и море почти не осталось благородной рыбы... То, о чем горевали писатели-деревенщики сорок-пятьдесят лет назад, что пытались спасти, кажется, погибло окончательно...». Но заканчивая рецензию, не может уйти от наслаждения процитировать:

«Самцы к нересту лошать начинали, ярко-красные, нарядные становились. За самочкой несколько их увивалось. И бились они, дрались молодецки, удаль свою и уважение этим выказывая. Она же выбирала одного и с ним начинала гнездо строить. Где-нибудь на перекате речном, где галька да песок на дне, да вода неглубокая, чтоб солнышко прогревало, нароют они холм большой, да туда она икринки и вымечет.

Ещё когда стадо вверх по реке идёт, всю мелкую рыбу оно убивает, всех скользких до икры охотников. И не ест их, а деды говорили – «мнёт», убьёт и выбрасывает. Самка после радости своей обратно в море скатывается, отъедаться да следующего раза ждать. Самцов же часть икру остаётся охранять. Другие же тоже в море. Только наряд свой теряют тогда, худеют страшно – скелетина с большой головой. Вальчаки они тогда называются».

Может, такая проза поможет возрождению нашего Севера? Здесь и мощная северная природа, и трагедия русского народа, всё неразрывно друг с другом: «белое и чёрное, пьянство и честность, неистовость и покой. Здесь главная русская свобода, обещанием свободы попранная».

Что заставило писателя, признанного природным рассказчиком, мастером короткого рассказа, обратиться к большой прозе? Писался роман долгих семь лет, потому и читаться за один день не будет, другой язык, другое замедленное мышление. Как рассказывает сам автор: «Знаете, возле Петрозаводска есть такой остров – Голомяной. Этот остров расположен там, где заканчивается Петрозаводская губа и начинается простор большого Онежского озера. Голомяной – это открытый. В случае с островом – начинается открытая вода. А в названии романа речь идёт об открытом пламени, радуге над Белым морем и пламени в душе человеческой, с которым так или иначе связана та история, которая рассказывается в тексте. Любопытно, что в московском издательстве хотели поменять название, искали другой вариант, но так и остановились на этом – наши предки умели давать очень четко имена многим явлениям, и очень жаль, что мы сейчас забыли тот язык. В моём романе 3 временных эпохи и 3 языковых пласта – начало 16-го века, начало-середина 20-го и, наконец, наше время. Язык же – старорусский, наша знаменитая поморская «говоря», и, конечно, современный русский язык. Среди героев есть и реальные исторические лица. Например, святой Варлаам Керетский и русский этнограф, помор и исследователь Иван Дуров, создатель уникального «Словаря живого поморского языка», который был арестован и расстрелян в 1938 году, найдя своё последнее пристанище в Сандармохе. Формулировка в деле была примерно такой: «уделяет слишком много внимания старине, не обращая взора на реальные достижения советской власти». В то же время я хотел бы подчеркнуть, что это не исторический роман. Это, скорее, роман о том, что такое северный русский дух, о нашем северном менталитете, который, несмотря на все лишения, гонения, вой-

ны, нашествия, на всю нашу перепаханную историю, сохраняется и хранит наш Север. Одновременно это и своего рода роман-путешествие. Каждая глава названа по имени населённого пункта, в котором происходит действие. Роман, собственно говоря, и рождался из серии отдельных рассказов, постепенно обретая внутреннюю логику, гармонию и завершённость. Это первый роман, который я написал, и его создание было тяжким трудом...».

Мы давно уже не знаем свою историю, своих героев, и потому роман Дмитрия Новикова крайне нужен, он уже сразу же после своего выхода в издательстве стал вехой в познании Севера, подобно прежним романам великих северных прозаиков Дмитрия Гусарова и Дмитрия Балашова. Дмитрий Новиков упрекает своих соотечественников в отсутствии гордости за свою историю, за свою русскость: «А между тем, именно этой своей уникальностью, своей необычной историей, своей непохожестью мы и интересны окружающему миру, да и самим себе...».

Вот и в романе наряду с героизацией былых поморов писатель осуждает современную ему действительность. «Я шёл по своей земле и не узнавал её. Везде были русские люди, но чем дальше от Севера – тем непонятнее они мне становились... Чем дальше уходил я от Севера, тем больше видел, что не знают, не понимают этого люди. Брат на брата волком рычит, разорвать готовый. Все со всеми не согласны. Простые люди подобрее, начальники – злые как черти... Никак не мог я понять свой народ. Тяжело и зло жилось ему, моря не знавшему. Вертелось всё в бессмысленной круговерти, раз за разом открывая круг злых неведений...».

Действие романа то опускается в шестнадцатый век, то возвращается в наши дни, а между ними – и война с немцами, и революция, и 1935 год, и репрессии. Жизнь главного героя Григория разбросана по разным главкам, если соединить их воедино, получится крепкая небольшая повесть о жизни помора. Но исчезнет ощущение Севера, его приметы...

Нет в романе, несмотря на горькие трагические сцены, никакого пессимизма. Ушёл старый Север, будем строить по-новому, соединим прошлое и с настоящим, и с будущим. «Голомяное пламя», пламя жизни и света, идущего от северных морей и озёр, никогда не умирает. Это пламя переходит от воды к небу, из нашего времени в шестнадцатый век, это пламя соединяет Григория с Варлаамом Керетским, это спасительная радуга на северном небе.

Григорий, вспоминая жизнь своего деда-помора, решает проехать по сказочным северным местам, он находит там, на Севере, основу для нового возрождения, единения с природой, с рыбами, с загадочной серебристой сёмгой, которая жаждет своего возвращения в родные реки.

Писатель признаётся в интервью: «Почему я взялся за северный роман? Просто мне стало обидно, что о русском Поморье мало знаем. А ведь здесь за пять веков не было ни одного уголовного преступления!.. Люди боролись с природой, выживали и жили. А потом эта цивилизация куда-то исчезла. Мне стало интересно, куда она делась, почему, что её сломало. Я задумался над этим. В итоге родился роман. Мне очень приятно, что друзья из Петрозаводска и Вологодска меня поддержали, и новая северная проза оказалась не искусственно придуманным феноменом, а действительно духовным движением...».

Да и сам петрозаводский писатель основательно выстраивает свою жизнь. Построил крепкий дом на берегу озера, где и живёт нынче. «Сейчас очень важно строить...» – пишет он. Вот и строит – крепкий роман, крепкий дом, крепкую семью, русскую идею.

Он и становится важным символом русского северного возрождения!

Алексей ШОРОХОВ

РУССКИЙ ВОПРОС У ВАЛЕНТИНА РАСПУТИНА

О последней повести писателя «Мать Ивана, дочь Ивана»
(*К 80-летию Валентина Григорьевича Распутина)*

Затопили нас волны времён,
и была наша участь мгновенна!
Александр Блок

Валентин Григорьевич Распутин в полной мере обладает удивительным даром, отличающим русского совестливого писателя от беллетриста западного образца – каждым своим крупным произведением он овеществляет в слове, делает зримой самую жгучую боль своего времени. И она начинает жить, двигаться, болеть в нас уже по-другому, как получившая самостоятельное бытие. Подчеркиваю – в каждом крупном произведении! Закономерность даже для русской литературы редкостная.

Я думаю, что в первую очередь это обусловлено другим редкостным дарованием писателя – его литературное творчество на всём открывающемся сегодня пути внутренне непротиворечиво и цельно, чего нельзя сказать даже о таких крупных художниках, как Толстой и Лесков. И у этой непротиворечивости Распутина есть своё объяснение: в силу сословных и временн**ы**х условий формирования личности художника, ему не пришлось тратить значительную часть жизни на поиск и обретение «русского пути», как тем его предшественникам, которым мешало барство или социал-демократическое воспитание. Крестьянский сын, носитель тысячелетнего гена русского этноса, он самим местом и временем своего рождения – одного из пиков Русской цивилизации, победившей во Второй мировой войне, – был поставлен

на этот путь. Ему оставалось только с него не сворачивать. Что, безусловно, требовало (и требует!) большого мужества. Но мы сейчас о другом – чтобы в достаточной мере осознать эту повесть Распутина, нужно прежде всего уяснить тот очевидный факт, что становится она понятной во всей своей полноте только при взгляде на неё через все предшествующие знаковые повести писателя. Именно здесь он договаривает начатое в «Живи и помни» и, особенно, в «Прощании с Матерой».

1. Затопленная почва

То, что происходит с героями повести Распутина – семьёй Воротниковых, – становится последней каплей русского исхода, после которой или должно что-то происходить, или уже не может произойти нечего.

Этой последней капле дано, наконец, доплеснуться до нашего сознания, оглушённого визгом и лязгом нового времени. Дано для того, чтобы понять: *русского человека вне почвы нет!* Достаточно вспомнить факты: только в годы революции Россию покинуло свыше пяти миллионов человек – и где они, что с ними сталось? Уже во втором поколении их потомки не знали русского языка, и всеми силами старались слиться с окружающими их народами! Вы что-нибудь слышали, например, о «русской диаспоре» в США? А ведь по численности эмигрировавших туда в разные эпохи русские уступают, пожалуй, только ирландцам! И это говорит отнюдь не о какой-то там слабости или «размытости» русского типа, как нам сегодня втолковывают иные «доброжелатели» – применимо «к самому непокорному на свете народу» такие измышления смешны! – нет, это говорит только о том, что, лишившись почвы, русские теряют и свою великую национальную силу. Вспомним хотя бы расхожий фольклорный мотив, когда русскому богатырю, чтобы победить противника, нужно было обязательно коснуться земли и набраться от неё своей удивительной силы. А его враг, наоборот, всеми силами старался не допустить этого и приподнять богатыря на воздух, оторвать от родной почвы. И это не просто красивый образ, это – *цивилизационный диагноз!* Заданный в самом начале нашей истории и на тысячу лет вперед!

В повести Распутина «Дочь Ивана, мать Ивана» мы видим итог русского исхода – начавшегося в годы революции и коллективизации, и окончательно свершившегося в послевоенные десятилетия, когда крестьянская Россия перестала существовать, и количество городского населения впервые за последнюю тысячу лет нашей истории превысило её население сельское. Тот самый «народ», который два последних столетия являлся для русской литературы синонимом *национальной идентичности*... исчез, растворился в сутолоке больших городов.

Итог этого исхода двоякий. С нравственной точки зрения он характеризуется *онтологический растерянностью*: «что же мы за народ», «почему с нами это происходит», «что в нас сломалось»? – спрашивают себя герои повести. С точки зрения национальной итог русского исхода оказался не более утешителен – сильно «посмуглевшие» в городах потомки Иафета* (что было бы невозможно в крестьянской России при стопроцентном русском населении деревень) и сами-то не очень озабочены своей национальной идентичностью. Они – фон повествования, потому что недавние выходцы из деревни и ещё хотя бы в детстве заставшие «норму» муж и жена Воротниковы уже, пожалуй, исключение в окружающей их городской жизни. Во всяком слу-

чае, в центральных губерниях русский исход совершился на одно-два поколения раньше.

Как же будет жить народ с затопленными родительскими могилами и церквями, с затопленной тысячелетней почвой, с «затопленной памятью»? – спрашивает нас Распутин в «Прощании с Матёрой». В повести «Дочь Ивана, мать Ивана» он показывает, *как* живёт этот народ.

2. Цивилизационная подмена

Справедливости ради надо признать, что послевоенная советская цивилизация, «коммунизм переварившая» и тайком под интернационалистский галдеж узаконившая многие основополагающие принципы цивилизации русской, сколько могла, камуфлировала цивилизационный переворот, происшедший после оттока русских из деревни. Во всяком случае, на уровне носившихся в воздухе фраз о «народе-труженике», «трудовой доблести», официальной пропаганде труда производительного.

Таким образом, лишённые русской почвы новые жители больших городов, в их числе и Тамара с Анатолием Воротниковы, ещё не сталкивались в них с резким, чуждым им воздухом, потому что до них там уже «надышали» – русский воздух буквально вдыхался предшествующими поколениями русских людей в искусственную, безвоздушную оболочку советской эпохи. Однако всему бывает конец. И в 90-е в России было легализовано то, что фактически сложилось уже к началу 80-х. Сделано это было по-русски, одним махом, потому у героев повести и возникает чувство обвала, оползня, при наступлении «новой жизни». Приглядись они пристальнее, как и все мы, к тому, что забурлило в восьмидесятых, заметь всё возраставшие аппетиты оборотистых людей «новой формации»: партийных и комсомольских чиновников, руководителей производств, работников торговли и сферы обслуживания, с их жаждой легализовать и преумножить своё незаконное и в русском, и в советском понимании благосостояние, увидь всё это герои повести – может быть, и не стало бы для них последующее такой неожиданностью. Но уж – пока не грянет, не перекрестимся! И это тоже наше.

Поэтому наиболее неотступное ощущение, преследующее отца и мать, Анатолия и Тамару Воротниковых, – это ощущение нового, резко чуждого воздуха, принесённого «новой жизнью». Это дух торгашеской цивилизации, которая, почти не таясь, воцарилась в последние годы советской власти: дух спекуляции, наживы, блата, взятки. Оказалось, что «в стране победившего социализма» продаются и перепродаются не только заморские джинсы и подпольные видеокассеты, но и места и должности, научные степени и положение в турнирной таблице, и ещё очень и очень многое. Однако не всё, и стыдливо. Возможность продавать всё, и в открытую – для героев повести, как и для большинства из нас, стала шоком. Произошло то, что можно назвать *цивилизационной подменой* – на канонической территории земледельцев, потомков Иафета, в открытую воцарился и манифестировал себя торгашеский дух потомков Сима. И ничего удивительного, что именно семитские народы (в первую очередь арабы и евреи) почувствовали себя «в новой политической и экономической реальности», как рыбы в воде. Этим объясняется и невиданный доселе наплыв в крупнейшие русские города (именно города!) выходцев с Кавказа и Закавказья. И даже вековая ненависть между потомками Сима (арабами и евреями), сложившаяся из-за жестокой и опять-таки многовеко-

вой их конкуренции в торговле, даже эта ненависть оказалась забыта. Просто поделили сферы: сверхприбыльная торговля сырьевыми ресурсами и «образом жизни» – у одних, продуктовые и вещевые рынки – у других.

Именно рынок как модель современного мира становится центральным местом в повествовании Распутина. До последней возможности противостоявшая стихии рынка крепкая русская семья Воротниковых тоже оказывается втянутой в его всепоглощающее жерло, и так же как в общенациональной жизни, в жизни семьи это столкновение цивилизаций – побеждающей рыночной и потерявшей себя земледельческой – заканчивается катастрофой. Мотыльком упорхнувшая на запах халвы и блеск всесветной толкучки старшая дочь Воротниковых Света – смята и изнасилована «человеком рынка», торгашом-азербайджанцем, скорее всего и в Россию-то прибывшим нелегально, да только чувствующим себя в ней «победителем», хозяином «новой жизни», который и на таможне кому надо сунет, и в прокуратуре. Стало быть, не подзаконным ничему. И насилующим, и взятки сующим в открытую. Происходит это, напомню, в стране, где 80% населения продолжают оставаться «паспортными» русскими.

И дело не в отчаянном порыве матери, застрелившей дикаря-насильника, а в том, о чём Тамара Ивановна постоянно себя спрашивает: что, разве не видела она, куда всё это ведёт? Разве не понимала, к какой жизни потянуло её дочь? И отвечает сама себе – не видела! В каком-то нравственном обмороке жила все эти годы.

Но слишком просто было бы этим «нравственным обмороком» объяснять все наши беды. В одной из своих статей Сергей Кара-Мурза спрашивает – *разве мог бы ельцинский режим просуществовать почти десять лет, если бы на то не было негласного согласия всего общества*. И отвечает – нет, не мог бы! Значит, не только 2% олигархов, не только 20% чиновников всех уровней, но и б**о**льшая часть населения сумела пристроиться в «новой жизни»! Получила возможность «иметь». Одни больше, другие меньше. Чиновники с торгашей, торгаши с рядовых граждан, те друг с друга: врачи с больных, учителя со школьников, преподаватели со студентов, и т.д. Даже бомж у Распутина, приютившийся в семейном общежитии, получил возможность «иметь» – сдаёт на ночь не принадлежащую ему комнату. А что в ней будет, кого будут убивать-насиловать – его не интересует. Даже своеобразную философийку придумал.

Державу буквально растащили по чуланам и перепродают – и не только Чубайсы и Абрамовичи, но и прапорщики Петровы, механизаторы Ивановы, лесники Сидоровы. На глаза парадокс: в целом жизнь стала хуже, а каждый в отдельности стал жить лучше. Такая вот плата за отказ от небесного статуса, земного могущества и исторической перспективы.

Памятуя о сказанном выше, о том, что определяло русскую цивилизацию на протяжении тысячи лет, такой лёгкий переход большинства русского народа в услужение чуждой торгашеской цивилизации не может не пугать!

3. Два пути

И здесь было бы нелишне вспомнить о том, что лежит в основании любой цивилизации, что канонизирует те или иные принципы её, накладывая печать неповторимости на целое. Я говорю, разумеется, о религии. Вспомним, что сынам Иафета, населившим 1/6 мировой суши, было заповедано

евангельскими притчами именно возделывание своей земли! И именно русские землепашцы (7/8 населения страны) в качестве *сословного* определения усвоили себе определение *религиозное*: крестьяне! Где всякий русский без труда расслышит первоначальное «христиане».

Для сравнения заметим, что Коран отнюдь не так приветствует земледельческий труд, и, напротив, благословляет торговлю. Это не говоря уже о Талмуде, по которому едва ли ни единственно важным делом являются ростовщические операции. Поэтому, когда потомки Сима, воспитанные этими религиозными учениями, занимаются торговлей и финансовыми спекуляциями – они занимаются своим. И ни о каком уважении к неприспособленным и неискусным в умении наживаться «чужакам» (а именно так воспринимается ими коренное население России) речи быть не может! Ведь русские даже и не торгуют, а всего лишь распродают, пока им есть, что распродавать, – остатки державной плоти: большую и малую госсобственность, должности, звания. И сами того не замечают, как более сплочённые и искусные торгаши-перекупщики занимают уже не только рынки, но и посты в администрациях, кафедры, должности, подтягивая к себе своих бесчисленных чернявых родственников. Отсюда парадокс номер два: оставаясь в численном большинстве, русские оказались в своей стране эмигрантами, которые вынуждены приспосабливаться к чуждым цивилизационным нормам. И мучительные внутренние монологи русских героев повести Распутина разбиваются об эту бесцеремонную, невесть откуда свалившуюся на них действительность. А ведь Тамара Ивановна и её сын Иван, наиболее часто задающиеся такими вопросами, это ещё лучшие, те, кто ещё пытается понять происходящее, не выгнуть душу в угоду «новому»! А большинство и не думает, выгибается (каждый на свой манер), и даже – вспомним слова Кара-Мурзы – не без удовольствия от своего сиюминутного колбасно-шмоточного счастья! Не понимая, что состязаться в умении наживы с теми, кто занимается этим уже тысячелетия, – бессмысленно, и что уже их же детей и внуков, потерявших землю и недра, должности и перспективу образования, ждёт неизбежное физическое рабство и вымирание!

Великий русский филолог, Фёдор Иванович Буслаев приводит в одном своем сочинении древненовгородскую легенду о «благочестивом» купце-ростовщике, перед смертью покаявшемся и оставившем все деньги на строительство собора. Так вот, когда мастера, расписывавшие этот собор, спрашивают у епископа, где им изобразить благодетеля, епископ твёрдо отвечает – в аду! Таким страшным грехом для наших предков было ростовщичество, нажива на несчастии, богатство из пустоты!.. Взглянув на торжество окружившей нас «банковской цивилизации» поневоле задумаешься – то ли наши предки чего-то не понимали, то ли мы очень далеко от них ушли...

Что же дальше будет с народом, в историческое одночасье (без малого за столетье) лишившимся и родной почвы и родного воздуха, оказавшимся, как рыба на суше, в новой, агрессивной для него действительности? – спрашивают себя герои повести. И один ответ перед ними возникает: или же произойдёт большая «встряска», которая вернёт на место загулявшие русские головы, или же наше место займут более приспособленные к воцарившейся у нас всесветной барахолке чужаки. Распутин не говорит об этом открыто, но подводит нас к этому выводу. А нам – нам только и остаётся вспомнить, *как* Господь лечил русских от исторического беспамятства. Офранцузившихся – французами в 1812 году, онемечившихся немецкой социал-демократией – немцами в 1941-м. Глядя на отнюдь недвусмысленные маневры вдоль российских гра-

ниц наших нынешних «стратегических партнёров» – можно предположить, что и обамериканившихся русских ждёт то же лекарство.

И здесь впору задаться вопросом, почему Небо не даёт забыться, исчезнуть именно России – ведь многие великие царства и цивилизации и при гораздо меньших испытаниях и потрясениях канули в Лету? Ответ на этот вопрос будет только один – потому что только Россия на сегодняшний день, как и сто, и двести лет назад, несёт в себе *полноту Христовой веры*, и должна являть её обезумевшему миру до самых последних времён, должна свидетельствовать о Христе! Именно поэтому: Россия без Христа Богу не нужна! Как об этом сказал покойный владыка Иоанн.

В строгом соответствии с этим в повести открывается и второй, *мирный* путь излечения русских от онтологического беспамятства, постигшего всех нас – он указан в образе сына Тамары Ивановны, Ивана. Это то самое поколение молодых русских людей, которым сегодня по двадцать три – двадцать семь лет, их, разумеется, меньше, чем оглушённых «ящиком» и «свободой» их сверстников, однако присутствие этого поколения в нашей жизни уже чувствуется. Писатель о нём только намекает в конце повествования, и здесь нужно отдать должное художественной совести Валентина Григорьевича: он их не знает, не знает в таком целостном и всепроникающем знании, как Тамару и Анатолия, – и умолкает. Осмелюсь продолжить там, где поставил точку художник: у меня много друзей, кумовьев, просто «родственников по духу» в этом поколении. Им по двадцать пять – двадцать девять лет, но у них уже по двое (чаще по трое) детей, по выходным и праздникам они всей семьей в церкви, утром и вечером – на молитве. Они знают, для чего и зачем они здесь, *почему они – русские*. Даст Бог, к своим сорока-пятидесяти годам они вырастят и воспитают по пять-семь крепких духом и телом русских мальчиков и девочек, те – своих. Это – и есть та будущая Россия, о которой пророчил Св. Серафим Саровский. А зрители «Фабрики звёзд» и «Последнего героя» – вымрут. Сами собой, без СПИДа и эпидемий. Просто потому, что, посмотрев «ящик», они идут выгуливать своих тысячедолларовых пудельков, а их место у пульта занимает одно единственное, изнеженное и обречённое чадо. Жизненный минус.

Что же касается распоясавшихся «гостей», то поставить их на место смогут только Иваны и воспитанные ими дети, и сделать это будет не так трудно, как представляется многим сегодня, – ведь дикари отравляются комфортом западной цивилизации гораздо быстрее. Необходимо просто помнить, что полтора века назад, когда русские покоряли среднюю Азию и Закавказье, у нас в центральных губерниях было в среднем по семь-восемь детей в семье, у туземцев – три-четыре.

P.S.

Кстати, у Распутина в конце повести Иван едёт строить храм в родовом своем селе, то есть возвращается на землю. Он ещё не определился, что будет дальше. Но, помня о том, что прокормить большую семью в городе практически невозможно, а также о той немыслимой хрупкости и уязвимости, которая характеризует современную городскую цивилизацию, несложно предположить, что движение назад, на землю, станет ещё одним из признаков становления России новой. А земли, доставшейся от предков, у нас ещё, слава Богу, много!

Примечание:

**По статистике каждая пятая москвичка выходит замуж за кавказца.*

Влад ЧЕРЕМНЫХ

ГЕРОЙ МИХАИЛА ТАРКОВСКОГО

Заметки на полях романа «Полёт совы»

Начало показалось просто бегством. “Успокоюсь, окрепну” – это виделось отговоркой. Герой объясняет свой отъезд в глушь: ”Моё решение работать именно в таком месте, кроме желания набраться силы и разгладить душу простором, было вызвано желанием отпоиться этим взваром незыблемости, вековечно питавшим нашу литературу”.

Город зажёвывал очередного человека своими правилами в погоне за “успешностью” и ноющей, как зубная боль “толерантностью”. Как из чумного барака он рванулся на волю. Что тут нового? Ну, ещё один отшельник, искатель душевного покоя появился... но царапнуло: “времени-то нет на расследование” – это герой о разрушителях России. Может быть тут не бегун-совестник, он что-то смочь хочет? Переживает: “покой, тишина, разговор с тайгой...”, “картина чудная” – “обветрится”, “не дай Бог, сорвётся с гвоздика” картина эта.

А дальше он пишет картину эту и детали уж не покойные, а всякие и такие давешние, родные слова, которыми мы в городах перестали говорить, и люди тоже вроде забытые, как сквозь дымку времени узнаёшь их, а потом понимаешь, они не забытые, они очищенные, одна только сердцевина их крупными, точными мазками выписана. Мы и в городах таких людей видим, может и сами такие, только зараза эта сбербанковская уши заткнула и сердца суетой треплет – не видим и не слышим друг дружку, только изредка заденем плечом, в глаза глянем – свой-чужой... и дальше бежим не знамо куда. А Михаил Тарковский поместил героя своего в “лабораторию”, там чисто и всё насквозь видно, как на ладошке. Люди там живут, детей растят, и не треп-

лет их суета большой земли. Хотя как раз они-то и живут на большой земле, которая и фильтрует нетвёрдость жизни.

Где они? “На обочине дороги”, по которой гонит автобус, или их-то путь самый главный? Сойти к ним с автобуса, пойти рядом? Чтобы что? Помогать Эде выталкивать его аэросани с кедровым пропеллером – благо, что “лопостя” у него с собой, целая поленница? Или впрягаться в любое дело и прослыть человеком добрым и покладистым? Учеников людьми русскими делать вслед за миром, в котором они живут? Но мир-то этот меняется. Мужики уж на “Вихрях” не ходят – им японских зверюг мало. А там, за горами горят огни, бесшумно текут электронные деньги, и за те деньги покупается всё!!! И тело, и душа. Что скажет Колька, попав туда: “Ты мне врал! Я сильный. Я хочу взять это”.

Вот и всё – “лаборатория” кончится. Герой кидается убеждать Валентину Игнатьевну – директрису школы, Лидию Сергеевну – информатика, Екатерину Фроловну – химия, как же учить надо детишек – жарко убеждает, даже отчитывает. А глаза у Екатерины Фроловны, когда снимает очки, “огромные”, “босые и мокрые” и говорит она: ”детишки... невозможные – ...аж прослезилась”. Вот такой искренний, наивный герой в “лаборатории”, которую создал автор. Кажется, что Михаил Тарковский применил тот же приём, что Грибоедов, – пред нами Чацкий, только наоборот. Ему не карета, ему “ветка” необходима – до самого края, чтобы на озеро выйти, ширь его увидеть, звуками и запахами наполниться и силу набрать. “Лабораторный процесс” продолжается, впитывает герой с воздухом, с каждым словом, с пожатием рук силу земли нашей и ложится эта сила на прочный фундамент, который дала Сергею его бабушка. Ах эта “баушка”, как зубами скрипят на наших “баушек” интеллектуалы без рода и племени и брошюрами своими хотят оторвать корни наши.

Реакция пошла, забурлила субстанция и вот уже несётся собачья упряжка через посёлок, и Валентина Игнатьевна невозмутимо провожает гарцующего коллегу, и Баба Катя падает на колени учителя в “однорукую полуохапку”, и под истошный бабкин мат несётся караван, и весь посёлок уже говорит: свой. Хохочешь взахлёб, словно сам идёшь по посёлку и видишь эту картину...

Микроскоп устанавливает фокус, вот тут перед тобой, как на предметном стекле, встаёт герой – чистый, без замутнений и погрешностей. Только для пущей чистоты Тарковский добавляет в процесс коньячно-самогонной смеси – чуть-чуть, как из пипетки...

Отвожу глаза от окуляра и смотрю на телевизор в углу. Слышу мелодию из знаменитого “Доживём до понедельника” и вижу внимательные глаза в очках учителя истории. Илья Семёнович – эталон учителя уж почти полвека. Ах, как все вздыхали по нему, и влюблялись, и в пример брали, и мечтали о таком учителе для своих детей. А он полюбить даже не мог. Он жил с мамой, водку в одиночестве пил, рефлексировал и шарахался от жизни. Рядом ходили женщины, их целый город, а две ждали от него действия. Молоденькую учительницу английского языка учитель истории боялся – погоня за успехом молодых его пугала, а взрослая учительница русской литературы была ниже его исканий. По Светлане Михайловне как серой краской мазнули – ни румянца Наташи Ростовой, ни Сатинского вопля о Человеке – просто серость. Кем мы восхищались полвека?! Учитель Истории нашей Родины своим ученикам приводит в пример офицера, изменившего Присяге... Глаза, глаза, ребячьи глаза... Через тридцать три года мы сдадим нашу Родину.

Но метроном стучит, в “лаборатории” творца рождается тот, кто под самодельные безе Валентины Игнатьевны произносит свой Манифест, Манифест Русского учителя: *“Так вот, патриотизм – это когда в твоей беспутной головизине всё не наразно, не порозь, и даже не в кучу, – а в жгут, в самый что ни на есть кишошный, совокупный и многоипостасный... э-э-э... жгут-плетенец!”*.

И ещё: патриотизм – *“когда чувствуешь Россию исключительно в совокупности всех её прожилин, пространственных, временных, хозяйственных, духовных, военных, воспитательных, научных, художественных и всяких разных, и пренебрежение хоть одной из этих жил-арматурин грозит ампутацией России”*.

Так хотелось крикнуть тому учителю истории, да и всем нонешним*: “Ты пошто ж такой-то? Пошто ж в века-то наши не заглядывашь? Думашь, там одно околеванне? Да там свет немеркнущий...”*. Сергей и крикнул, отчеканил: *“Будешь мерить судьбу Жениным подвигом – всё на место встанет. Аминь”*. Это Герой о солдатском, гражданском подвиге воина Евгения Родионова, казнённого врагами за отказ снять нательный крест.

Вот какого Героя создал Михаил Тарковский – цельного, твёрдого, молодого.

Всё, скатерть сдёрнута со всеми прошлыми фантазиями под стол. Пред нами встал Герой просыпающейся России... пусть ещё спящей, но глубинные соки уже бродят и глаза ребячьи уже ждут его.

“...долбанный петух! – орёт Эдик-Циалковский с порога. – У меня аэросани встали... Аварийная ситуация...”. Как силу-то замурованную в мир вывести? Герой, там за стенами “лаборатории”, за горами и реками, мир *больной* – туда твой путь.

Как бактерия живительная, чистоту вод от нечисти спасающая, должен устремиться Герой в мир и за ним должны пойти ученики его, такие, какими вылепит он их и люди будут голову поднимать и наконец зададут себе, произнесут громко, среди суеты и тлена простой вопрос: *“что значит быть русским?”* – и отвечать делами будут.

Разве создатель для гибели слепил своего Героя? “Вам ещё до директора дожить надо”, – говорит Герою всё понимающая Екатерина Фроловна. А мы скажем: Серёга, тебе ещё влюбиться надо, и тебя полюбят, и ещё долгая жизнь впереди.

Создатель закалял своего Героя в озере заповедном, чтобы Герой полярной совой бесшумно пронёсся в наш мир, и чтобы Колька пошёл за ним, и чтобы мы пошли за ним.

P.S.

Как фильм нужен про то, что сделал Михаил Тарковский, просто до краю нужен. Не продажные “Сталинград” с “Притяжением”, а фильм, которым пить – не напиться, и меняться захочется, и жить.

Кирилл ШИШОВ

ИЗБРАННИЦА МУЗ

Заметки о творчестве Нины Ягодинцевой

Сколько бы ни прошло стремительного времени, сколь бы ни менялись ветра и пути человечества, востребованность поэтического слова всегда остаётся неизменной. Главное – это обнажённая исповедальность, личная выстраданность этого Слова, вбирающего в себя накопленное прошлым опытом, придающим ему – Слову – масштаб обобщений и тонкость восчувствований без назидательности и самолюбования.

Именно таким поэтом – дорогим и понятным мне в каждом признании – была и остаётся моя землячка, Нина Ягодинцева, выпустившая в петербургском издательстве скромный и лаконичный сборник стихов «Избранное», вобравший самое ценное из её многочисленных книг за три десятилетия.

Ещё Блок писал: «Первым и главным признаком того, что данный писатель не есть величина случайная и временная, – является чувство ПУТИ»*.

Издание «Избранного» Нины Ягодинцевой – свидетельство необычайного для нашего времени духовного пути творческой личности, одарённой не просто зоркостью к деталям подмеченных в природе и обществе событий, но и редчайшим философским мастерством в создании глубинной картины явлений современной жизни – жизни на глобальном сломе традиций, обнажения сущности современного кризиса. Исследователи творчества поэта давно подметили особое свойство нравственной и духовной устойчивости её мировоззрения, тонкость её психологического рисунка и пейзажных описаний: *«Вспоминая Сыростан, / вспоминаешь неземное, / словно снег несёшь устам, / истомившимся от зноя...»*. Или: *«Огонь в печи воздел ладони / И замирает, трепеща, / И на серебряной иконе / Подхвачен ветром край плаща...»*.

Признание поэтессе принесла также внешняя лёгкость и смиренная простота её стихосложения:

В январь – как на горочку тянешь сани.
Взгляни распахнутыми глазами
С крутого, высокого царь-холма:
Зима!
<...>
Дай Бог тебе, Родина, столько света,
Сколь в песнях твоих за века напето.
Дай Бог тебе воли – сколь все ветра!
Любви, всепрощения и добра...

Но все эти черты, бросающиеся в глаза даже при поверхностном чтении, в настоящем итоговом сборнике «Избранного» дополняются куда более значительным смыслом, когда знакомишься с пульсирующим, напряжённым развитием мыслей и чувств поэта, её внутренним эволюционным ПУТЁМ, который и хочется открыть для заинтересованного читателя.

I.

«Тёмный сад» – так называет Нина Ягодинцева первую часть своего поэтического пути, датированного 1982–1991 годами. Из её биографии известно, что этим годам предшествовала работа на Магнитогорском металлургическом комбинате и последующая учёба в Литературном институте в Москве. За плечами – и первая публикация в одиннадцать лет в газете «Знамя», и занятия в замечательном литобъединении у яркой поэтессы Нины Кондратковской – ветерана поэтических битв магнитогорской гвардии словотворцев. Словом, позади – детство, юность, школа, родной край, а затем – созревание в стенах лучшей литературной академии мира... Именно тот период (1982–1987 гг.) вкупе с последующим – челябинским (1987–1991 гг.) и является пространством «Тёмного сада», наполненным взрывной динамикой мятежных событий, чью сущность молодая поэтесса выплёскивает в первой части «Избранного»:

Свобода! Твой высокий гром
Взрывает глушь почти желанной мукой,
Я знаю, завтра мы умрём,
Но здесь, сейчас, перед разлукой
Мы видели прекрасные черты,
Пустые тропы молодого рая,
И слава Богу, если знаешь ты,
Зачем ты губишь нас так рано...

Вместе со своими современниками упоение свободой не могло миновать молодую душу; однако тревога и смертельная опасность этой неожиданной свободы передаётся поэтессой абсолютно нетрадиционно и тревожно:

Желанье властвовать и страсть
К движению или созиданью:
Дымящиеся глыбы класть
В основу мирозданья...

Это желанье раскованности происходит в стране, где *«в убогих русских городах / горят огни до поздней ночи, / но гаснет свет – и волчий страх / у спящих выедает очи...»*. Поэт знает, в какой исторической канве творится новый разлом, происходит неистовая схватка за власть: *«Как странно в вязкой пустоте / Среди погибших слов / заговорить на языке / утраченных богов...»*. Или: *«Куда идти? Кого винить? / Кого молить повинным словом, / Коль под Твоим высоким кровом / Нам негде голову склонить...»*. Автор этих пронзительных строк глубоко чувствует исконную связь «крова» и «крови»... Её накопленный в столь раннем возрасте опыт предшествующих катаклизмов Отчизны делает её зоркой и не по годам мудрой: *«И кто-то последний умрёт на пороге свободы, / Последнего знака, последней звезды не дочтя...»*.

У Блока в той же статье замечается: «Не дело художника – смотреть за тем, как исполняется задуманное, печься о том, исполнится оно или нет. У художника – всё бытовое, житейское, быстро сменяющееся – найдет своё выражение потом, когда перегорит в жизни... Дело художника – видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которой гремит “разорванный ветром воздух”».

Словно подхватывая это поэтическое ощущение гения русского слова, Нина Ягодинцева говорит: *«Если о России / Не говорить, не думать, не дышать <...> // Мы канем в пустоту, не отыскав ночлег...»*. *«Спеши! Наградою тебе / Деревня. Люди. Ночь в избе...»*. И от этого земного, осязаемого, домашнего – к стремительному, небесному, космическому:

Когда позор, тоска, бессилье
Отравят грудь –
Для тайных странствий по России
Есть Млечный путь...

Это бегство в язычество, в Средневековье, этот инстинкт самосохранения души и веры так входит в миро-созревание юной, в сущности, поэтессы, что, сохраняя этот период в итоговом «Избранном», она ясно показывает, какой путь она избрала, став сама избранницей классической и трагической линии русской поэзии. Именно этот выбор сделает её стойкой в последующих испытаниях.

Впоследствии, через четверть века, обретя стойкость и мужество в испытаниях, в микропоэме «Вечерний круг» она напишет о том прошлом времени:

Страна умирать не хочет. Она живёт
В бессрочной коме... Открой теперь и прочти,
Что было написано в тысяча девятьсот
Восемьдесят четвёртом, с каких высот
Летела в стаю пущенная стрела
И круг её вечерний разорвала...

«Ужас возвращения в средневековье: / Будни пахнут пивом, пылью и кровью... / / <...> Мир рационален ровно настолько, / Чтобы снова затеять вавилонскую стройку...» (2011 г.). Но это будет уже в абсолютно другом качестве её поэтической зрелости, до которой ещё длинная, изматывающая разум и душу дорога.

II.

Девяностым годам в «Избранном» соответствует крупный раздел «Ради шелеста, лепета, пенья» (1992–2001 гг.). Само его название знаменует по-

гружение в чародейство природы, соприкасаясь с которой только и возможно «дойти до самой сути, до сущности протекших дней, до их причины, до оснований, до корней, до сердцевины» *(Б.Пастернак)*...

Выходец из городской промышленной среды, питомица тесных студенческих, а потом – рабочих общежитий, поэтесса преображается в поэта-ясновидца и духовидца, впитывая всей полнотой чувств знаки и язык растений, гор, стремительных уральских рек и таинственных самодостаточных лесов – чернолесья. *«В России надо жить бездомно и смиренно... <...> В России надо жить не хлебом и не словом, А запахом лесов – берёзовым, сосновым. <...> // Великая страна, юдоль твоя земная, / Скитается в веках, сама себя не зная...»*.

Наитие вместо логики технического расчета. Интуиция вместо фальшивого оптимизма. Импрессионизм вместо бунтарского реализма передвижников, которых так любили наши просвещенные учителя-добротолюбы. И вместе с этим наряду с нарастающей зоркостью деталей («нежная жасминовая кожа», «неспелый жемчуг», «сирень, как туча грозовая», «острые копья весенних трав») идёт нарастание видения незримого, обобщение сцеплений первопричин:

Из наших молитв и чаяний – верных нитей,
Из наших наивных песен и смутных снов
Ткётся в холодной выси канва событий
И укрывает Россию её покров...

Где-то на обочине сознания оставляет поэт личную драму крушения любви: *«Оставим всё как есть: / Кафе. Театр. Почта. / Ожог»*. Она даже находит исключительные формулы этому самоотречению от личного счастья: *«Мы служим любви, а запроданы силе за страх / Какой-то бедой»*, которые недоступны обывателю и редки даже у самых выдающихся творцов слова. И, хотя поэт осознаёт всю трагичность такого холодно-пустынного отречения: *«Мне страшно. Мне темно. Окликните меня!»*, она с отчаянным самоистязанием констатирует:

Но наступает, как проклятье,
Необратимый тайный час,
Когда учителя и братья
Уже не понимают нас...

Выбор судьбы становится всё яснее самому автору, давая неизъяснимое мужество и дар прозрения:

Куда бежать воде? Куда векам стремиться
И нам держать свой путь?
Мы отыскали том. Но каменной страницы
Нам не перевернуть...

Именно в девяностые, когда испытания и их жестокость достигают пика как для всей страны, так и для личности автора, у неё вырываются исповедальные строчки: *«Я говорю: печаль мудра, / Ещё не зная, так ли это...»; «Я солгала. Я неповинна...»; «Я умирала дважды. Оба раза – / Из-за любви...»*. Тогда все бытовые внешние пейзажи родного края наполняются такой психо-

логической трагичностью, таким сконцентрированным напряжением, что предвещают «разрыв аорты»: это стихотворения «Сыростан», «Златоуст», «Время – ветер», «Ресницам – сна...», «Теченье донных трав»: *«Они текут, текут: отныне и доныне... / Опомнишься – зима. Оглянешься – пустыня»*. И только инстинкт материнства, мощь которого в русском слове воплотила её могучая предшественница (а теперь – учитель) Марина Цветаева, заставляет уже теперь зрелого поэта и мать воскликнуть:

О, Господи, ведь ты послал детей
Спасать меня из гиблой круговерти!
И если я подумала о смерти,
То это было: Боже, не теперь!..

Петербург, красавица-Москва, торгующая всем и на каждом углу, своими контрастами и обнажающимся бесстыдством дают поэту всё нарастающую силу и право на пророчества:

Знать, из горького опыта
Не выходит хорошего:
Что не продано – пропито,
Что не пропито – брошено.
Что не взято – отравлено,
У потомков украдено...
Если сказано правильно,
Ты прости меня, Родина...

По её биографии, так близко и сердечно знакомой мне, я знаю, как целительно было тогда поэту стать самоотверженной водительницей молодых, незрелых, растерянных «птенцов, встающих на крыло»... Судьба подарила ей роль наставницы молодых из «потерянного поколения», и это стало праведной «миссией» поэта на всю последующую эпоху:

Единственный огонь из всех огней,
Способных озарить собою сферу,
В которой мы живём, испытывая веру
И многократно утверждаясь в ней...

Самоотдача на грани «самопожертвования» – вот высший нравственный путь и (не побоюсь произнести) подвиг Поэта, который в те годы дала ей судьба, были переплавлены и осмыслены Ниной Ягодинцевой в исполинско-масштабном ракурсе:

Живя меж облаками и людьми,
Отдав долги и дерзости, и лести,
Я научилась кланяться любви
И праздновать тоску по-королевски...

«О да, я знаю, исхода нет, / Но вижу: над стаей наших судеб / Кружится, кружится вечный снег, / Крошится, крошится вечный хлеб...». Именно тогда в её публицистике, к которой она имела мужество снизойти, возникла формула: «Культура – это достоинство».

III.

Третья – и заключительная – часть «Избранного» была создана в первое десятилетие XXI века (2002–2011 гг.). Как известно, столетие заканчивается в своём культурном наследии где-то спустя десять-пятнадцать лет, забегая в следующий век. XVII век Руси кончился победами Петра, XVIII век – разгромом Наполеона, XIX век – Октябрьским переворотом. Где-то в середине десятых годов произойдёт окончательный отказ от книгочтения и классического искусства, как ясно всем нам сегодня.

Автору «Избранного» посчастливилось обрести зрелость в так называемые нулевые годы XXI века, и это время было ею озаглавлено «Трава-тишина». «Листья травы» – любимая тема великого Уолта Уитмена – переосмысливаются Ниной Ягодинцевой как бессмертие жизни, всего живого на земле:

Да будут родники целительно-медовы,
Полны живой водой,
И ноши никакой в пути – и только Слово
Всегда с тобой...

Ей, ставшей воительницей, владелицей великого наследия, уже не страшно вступать в схватку с любыми химерами, смущавшими ещё древних греков. Поэт азартно одолевает «птице-змея» и «пауко-льва», «ящеро-пса» и «рыбо-дракона» (последнего – впоследствии), в которых она «мечет стрелы огненные»...

Дай стрелу. Уйди за спину.
Учись. Я на мгновение застыну
Меж двух ударов сердца наяву
И отпущу тугую тетиву...

Поэт, находясь в бывшем стольном граде древней Руси, украшенном соборами девяти веков с языческим узорочьем, *гордо* и с вызовом произносит:

А где ж ещё
До бела снега догорать,
Как не в России, во Владимире,
Где ты несёшь домой свечу,
А я шепчу: “Прости, прости меня”, –
Но быть прощённой не хочу...

Зорким зрением видит Поэт далеко за рубежами своей тысячелетней Отчизны все её смутные и судьбоносные времена:

Листвы взволнованная речь
Ошеломляет, нарастая...
<...>
Спасти, утешить, оберечь,
Дать мужество на ополченье,
И небо – речь, и поле – речь,
И рек студёные реченья...

Она обретает искусство точно и лаконично передать суть гражданского братоубийства: «Непогода пришла, как отряд батьки Махно», исполинскую трагедию Великой Отечественной: *«Военные грузовики, брезент заиндевелый... <...> / На три открытых стороны – / России, вечности, войны...»*. В её строках выстраиваются и собственные героико-эпические заповеди:

Помилосердствуй же! И впредь,
Где горя горького напластано,
Не дай соблазна умереть,
Не допусти соблазна властвовать!

«Руки ли греют, Богу ли мстят / За немоту свою? / Ты принимаешь пламенный стяг: / – Я и в огне спою!». Отчеканиваются категорические императивы, коими и будет питаться та неокрепшая поросль, что ныне скитается без пастырей, без милосердия: *«В немилосердии прошедшего – / Немилосердие грядущего!»*.

Обжигая губы об имена,
Не позаришься на чужую ложь...
Три глотка спасительных: “Ро-ди-на” –
И опять живёшь...

«Всё кажется: тебе / Какой-то смысл загадан, / И если ты его сумеешь отгадать – / Как посуху пройдёшь...».

Надо ли говорить, сколь целительным и жизнеспособным оказывается такое слово, подземными токами связанное с древнесказовым и исконно русским наследием, языческим, или первохристианским, или фольклорным, былинным, каким свободно владеет ныне Нина Александровна – признанный знаток культурных заповедей наших предков и – одновременно – яркий публицист, борец за сохранение наследия русского языка как «кода нации».

Моя любовь навсегда останется здесь,
На этой горькой земле,
Вымирающей каждый день,
Чтобы просто жить,
В потоках липкой,
Политой синтетическим шоколадом лжи...

Юному сыну, вступающему в жизнь, своему выкормышу-«стрижу» она исповедально пишет:

Никто не обещал тебе покоя,
Но вот они – воздушные пути!
А сбудется – лети – совсем другое.
Совсем другое сбудется. Лети...

В финале «Избранного» дерзко и с вызовом стоят аллегорические строфы:

Я – жизнь твоя. Я сон твой безымянный,
Припоминаньем спутанный к утру.
Не окликай Мариной или Анной –
Без имени умру!..
<…>
Под утро просыпаешься – пустое
Купе, сквозняк, озноб и тишина...
Я жизнь твоя. Я ничего не стою,
Сама себе цена...

Так наследуется в исповедальности традиция безымянных русских иконописцев и летописцев. Так отрекаются от всемирных авторитетов слова во имя смирения и бескорыстия, что тоже признак достоинства и благочестия. И хотя сквозняк и пустота явно предсказывают катастрофу брошенности наших детей и внуков в грядущие времена, думается, что книга и опыт Нины Александровны будут востребованы в «немилосердном Грядущем».

***

Остаётся только констатировать как доказанный факт наличие в русской поэзии мощного поэтического таланта, прошедшего свой, уникальный и мало оцененный современниками путь Художника высокого самоотверженного труда, преданности Отчизне и – самое главное – феноменальной трудолюбивости и бескорыстия. Прикосновение как к её творчеству, так и к её искусству бытия – всегда знаменательно для нас, её современников.

**Блок А. А. Душа писателя. Собр. соч. Т. 5. С. 369.*

Максим ЯКОВЛЕВ

ПУШКИН В ИЮЛЕ

Первые встречи

Поехали к Пушкину в Михайловское...

Сколько лет собирались, да всё никак не случалось, всегда что-нибудь отменяло и не пускало, а тут вдруг в июле – несколько неприкаянных вольных дней. Едем!

Как-то он встретит нас?

Еду и думаю, кто он нам? Александр Сергеевич, душа... Вроде тысячу лет знакомый, а вот доведись нос к носу, и что тогда? Смог ли поговорить с ним? И о чём?.. Хотя, о чём же ещё, как не о нашей России, о том, что творится в ней. О литературе, конечно...

Очень бы надо поговорить, да только сам-то Александр Сергеевич пожелал бы он общаться со мной, вот в чём вопрос. С давних пор спрашиваю себя: с кем бы я хотел потолковать начистоту обо всём, что называется «по душам»? А ведь было с кем. Василий Макарович, например. Умер он, умерла и возможность встречи. Кто ещё... Виктор Попков, живописец. Тоже ушёл безвременно. Ещё Георгий Свиридов. И его уже нет с нами. Но с Пушкиным я готов был всегда, нет-нет, да и заговаривал с ним, вернее, обращался к нему, почти не надеясь на диалог.

И вот, едем в гости к нему в Михайловское. Почему он для меня в Михайловском, именно там, как нигде ещё? Может быть потому, что он и лежит там, рядом – в Святогорском монастыре, или потому, что места там пронзительные своей какой-то

особой русскою вечностью, а вместе с тем, безоговорочно пушкинские, – того и гляди, с поворота на бричке выкатит или пересечёт шоссе верхом на лошади с прогулки по вечернему полю... А может, и потому, что здесь «приют, сияньем муз одетый»... Дух, душа этой псковской местности – вот, что притягивает, «прилелеивает» прежде всего. Откуда он тут, этот дух? Кто вселил его в эти пределы? Пушкин дышал этим духом, питал им свой гений, и столько успел явить от этого духа! Любой поэт и писатель кто он, как не приёмник-носитель духа, подобно почве приемлющей солнце и воду с неба и рождающей от него по своему характеру и составу. Здесь из Пушкина выросли «Борис Годунов», все основные главы «Евгения Онегина», вырос «Пророк», плеяды неподдельно русских лирических его шедевров... «Чувствую, что душа моя развилась вполне – я могу творить» – откровение, вырвавшееся из груди поэта именно здесь в Михайловском. Пушкин обрёл себя, тот великий и русский Пушкин, которого мы любим и чтим, – вот, что случилось здесь на этих холмах и дубравах, на брегах и лугах тихой и чистой Сороти. Обрёл от этого духа свыше. Вдохновение? Да. Ибо вдохновение это не выдох, а вдох! По Пушкину: «Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно, и объяснению оных». Вот, что такое Михайловское и вся здешняя местность – Пушкиногорье, со всей несказанной музыкой: лугами, горками, речками, усадьбами, монастырём...

Приехали мы ещё светлой ночью. Остановились на ночлег в нескольких верстах от Михайловского. Нам с женой достался скромный двухместный номер на втором этаже гостиницы, что стоит на лесной окраине городка. Мы успели поужинать в местном кафе, и заснули под шёпот дождя и всплески игривого смеха шатавшейся под окнами молодёжной компании...

Название городка Пушкинские Горы. Народу на улицах мало, в основном приезжие. Местные жители, большей частью, на рынке. Торгуют. Но, что сразу бросилось в глаза, так это обилие «Волг». Их тут чуть не на каждом шагу – разного цвета и года выпуска, иномарок в разы меньше. С чего это вдруг такое в пушкинских-то местах? И думается неспроста: Пушкин себе, какую бы марку авто предпочёл? То-то и оно, «Волгу» и предпочёл бы. Пожалуй, это точно его машина. На другой он как-то не представляется мне. Пушкин в «Мерседесе»... на «Тойоте»... в навороченном джипе... Это Пушкин-то?! Как-то смешно и лживо. Нет, всё правильно – «Волга», только она. А вот Лермонтов, скорее всего, на отечественной «девятке» гонял бы...

Мы у входа в Михайловское. В лесу, слева от шоссе, въезд на территорию музея-заповедника, перегороженный, как зачёркнутая строка, шлагбаумом. За неимением пропуска, оставляем машину свою на обочине. Минуем сторожевую будку, и вступаем в столь вожделенную нами область...

Спускаемся по лесной асфальтовой дорожке, где начинает радовать всё, – от кристального, настоянного на хвое и травной свежести воздуха, до непременных, но таких не злобных, можно даже сказать, весёлых комариков.

– Смотри – земляника!

В Подмосковье и далее к югу земляника давно уже отошла, а здесь вот она – проглядывает тут и там алыми огоньками ягод... Собрали по горсточке и вкусили. Ай, душиста! Гостеприимно встречают. И общая мысль у обоих: Александр Сергеевич...

Открылось поле с берёзами, разделённое по центру плавной дорожкой, ведущей, надо думать, к самой усадьбе. Справа футбольная полянка с необычного размера воротами из жердей, но, видать, такие были в то время.

Здесь Пушкин играл в футбол. С кем играл? С местными парнями деревенскими, с кем ещё. Судя по не очень большой площадке, где-то – пять на пять или шесть на шесть тут рубились, – иной раз дотемна, освещенья-то не было. Пущин, когда приезжал, на воротах стоял, как пропустит меж ног, так ему Пушкин и скажет: «Эх, Пущин, Пущин, надо б тебе «Непущин» зваться!». Пушкин, коли заведётся, неудержим был, мог троих-четверых накрутить финтами, и вратаря на пятую точку посадить, а после мяч партнёру на блюдечке выложить. Лучше всего они с Языковым в пас играли, понимали друг друга не глядя. Тот тоже заводной был, азартный до невозможности, проигрывать не любил... А Вяземский никогда не играл, не любил «гонять в футболянку», стоял в сторонке, поблёскивая очёчками. Пушкин промахнётся в пустые ворота, а он посмеивался: «Это тебе не эпиграмки строчить, тут уметь надо!..».

Дальше, по правую же руку, спиной к кромке леса, крытая деревянная сцена, наподобие летней эстрады в парке, а перед ней – ничем не ограниченная поляна для зрителей. Для чего сие заведение предназначалось, догадаться не сложно: во-первых, на этой сцене местные крестьянки исполняли для Пушкина и его гостей народные песни, слова из которых поэт записывал в свою записную книжку; во-вторых, Александр Сергеевич представлял здесь отдельные сцены из «Бориса Годунова» перед деревенскими обитателями и ближайшими к нему помещиками, в том числе, перед Вульфами и, разумеется, Анной Керн; в-третьих, он и сам выступал, читая со сцены свои стихи... *«Роняет лес багряный свой убор, Сребрит мороз увянувшее поле...»*. Или: *«Я памятник себе воздвиг не рукотворный, К нему не зарастёт народная тропа...»*. И тропа эта воистину не зарастает!

Вот мы идём по ней – по широкой, сплетённой из рукавов-тропинок, вместе с многочисленными попутчиками, – встречаются целые семьи, встречаются и богомольцы-паломники, что после намоленных русских твердынь Изборска и Пскова, после Святогорского монастыря сворачивают обязательно и сюда, в намоленное пушкинскими стихами Михайловское. Да и как не свернуть, если в этих местах, в этом певучем, отзывчивом, радушном пространстве таинственно творил святой русский дух поэзии!

Здесь же, на этой поляне устраиваются в наши времена знаменитые Пушкинские праздники поэзии, начало и жизнь которым положил первый ангел-хранитель, ангел-спасатель и собиратель Михайловского, он же первый его директор, легендарный Семён Степанович Гейченко. Вечный поклон ему.

По-соседству с этой театральной поляной разместилось кафе: скромное, но уютное сооружение, заставленное деревянными столами и откидными скамейками. Рядом с кафе пара полотняных шатров с пластиковыми столиками и стульчиками. Видимо, всё это на месте более древней постройки такого же употребления, где Александр Сергеевич отмечал с друзьями свои футбольные виктории, а равно и поражения, а также поднимал бокал на шумных банкетах по случаю удачных авторских выступлений...

А вот и пушкинский пруд под ивами... с ажурною дугою мостика, словно лёгкая белая строчка, да хоть из «Онегина»: *«Мы все учились понемногу, Чему-нибудь и как-нибудь»*... отражённая белой улыбкой в воде: *«Так воспитаньем, слава богу, У нас немудрено блеснуть»*...

Под деревьями, водя по холстам неуверенно-дерзкой кистью, сутулятся студенты художники, им есть из чего выбирать. Этюдники – как большие раскрытые книги на ножках. Но язык не поворачивается называть всё это михайловское роскошество «натурой»:

Деревня, где скучал Евгений,
Была прелестный уголок...
Господский дом уединенный...
Стоял над речкою. Вдали
Пред ним пестрели и цвели
Луга и нивы золотые,
Мелькали сёлы; здесь и там
Стада бродили по лугам
И сени расширял густые
Огромный, запущенный сад...

И всё это есть пред нами! Всё это живо! Мы, право, даже в затрудненье, какое предпочесть решенье: пойти ли мостиком, аллеей, иль пруда берегом – правее, над лугом и потоком вод под небом по июльски медленным?.. Выбираем последнее. (А написалось-то невольно почти стихом!)

По одну сторону от дорожки лежит недвижная Сороть, раскидавшаяся, словно во сне, по лону живописной поймы. А слева начинаются постройки. Вот, на пригорке домик – «туалет», а проще – «нужник». Не сюда ли забегал он, пошикивая от нетерпенья? Нагуляется, набегается за день-то... Внутри всё чисто и опрятно, по случаю, всегда приятно. Бывало, что и засидится с каким-нибудь романом Вальтер Скотта... Ему стучат, а он не отвечает – читает... или сочиняет...

Не терпится увидеть дом. Взбираемся... Ну, где же, где... Ах, вот он! Дом Пушкина! Спешим во двор... И замираем. Дуб разветвлённый, чудо-дуб, собравший младших братьев в круг... Ну, пусть не дуб, а вяз, но всё равно оттуда – с Лукоморья! Подумать только, сколько на сучьях его – за годы и годы – понавешено догадливым воображеньем посетителей разнообразных русалок, котов, кощеев... На самом деле, они все здесь – за тонкой плёнкой видимого мира – в волшебном царстве сказки, куда они в заветный час с начальных строк уводят нас...

Перед нами обширный круг поляны со странными деревьями, они так дружно обрамляют её, но, кажется, и защищают простодушно. Да, полно, деревья ли они? Вот вместо дерева – одна кора, как заскорузлая от древности рубаха или кафтан? Откуда? Кто носил его? А всё же и оно цветёт, как остальные братья. Но тут же, думаю, не сёстры ли? Ведь это липки. Всего их двадцать шесть, посаженных когда-то младшим сыном поэта: как дата рождения Пушкина – 26 мая, по старому, само собой. Здесь же домик Арины Родионовны, няни поэта.

Интересно звучит – «няня поэта»... Сказать: вынянчила нам Пушкина, и сказать: вынянчила нам Поэта! Она была назначена ему даже прежде его рожденья. У России много имён, одно из них – Арина Родионовна.

Карусель круга... Вращенье... встречное движенье... разнообразный говор и язык экскурсий... Кто в праздности, кто в любопытстве, кто мыслью движется, а кто – весельем... Легко представить, как в одиночестве он нарезал с загадочной улыбкой круг за кругом, наяривая на велосипеде... Так Божий взор предвечный бродил по кругу всех времён всех русских гениев (ещё не явленных до времени), отмеченных небесным даром слова, ища того, чьим голосом заговорит, заблещет, запоёт Россия, кто отворит оковы немоты её, всему придаст гармонию, всему определит начало в словесном русском мирозданье, и выбрал Пушкина, и имя дал ему, и срок, и пламень, и высший долг, и муку, и восторг, и вечно молодую славу. И вся эта немыслимая грома-

да, она же – награда? была возложена на внешне хрупкого, подвижного и очень эмоционального человека с душой феноменально восприимчивой и отзывчивой, но осознавать это в полной мере не под силу никому из смертных. Не мог осознавать и Пушкин, хотя и не мог не улавливать ощущения этой громадности предназначения, особенно в последний период жизни. Но в молодости...

Великим быть желаю,
Люблю России честь,
Я много обещаю –
Исполню ли? Бог весть!

Как угаданы основные слагаемые: величие творчества и судьбы, сыновняя любовь и преданность к той, во многом косноязычной в слове России, и необъятность Божьего предназначенья. Эти четыре строки, приписываемые Пушкину, высказались им в 1824 году. Он пока ещё в ссылке, на юге империи: Кишинёв, Одесса, Крым... И всё же, каков он по тогдашнему своему устроению, чего так неистово ищет, где и в чём его страсти, мечты, желанья? Они в свободе! Всесокрушающей свободе, которой не может определить границ. Заносит до такой степени, что даже не знает, что ему с этим делать! Он преступает любые границы. В любви, – не важно, кто будет любовницей – девица или чья-то жена, – довольно искреннего чувства, а то и просто эротического пыла. В словах, – не важно, ранена ли чья-то душа, задета ли чья-то честь, – говорю о всяком, что думаю, и что хочу. В поэзии, – какие могут быть «святости», какие непотребства? – прочь всё запретное, я гений!.. И найдутся всегда, у локтя, те, что тотчас и поддакнут в этом.

Каким он видел тогда себя?

Не тем горжусь...
Что непреклонным вдохновеньем
И бурной юностью моей
И страстью воли и гоненьем
Я стал известен меж людей, –
Иная, высшая награда
Была мне роком суждена –
Самолюбивых дум отрада!
Мечтанья суетного сна!..

Всё точно, всё названо. В последних двух строчках не поймёшь чего больше: пафоса, отчаянья, или насмешки? Покуролесил на югах. А что было б, если он ещё и в Европу сорвался? Бунтарь, поэт, масон, драчун, и ловелас... Так, что пришлось государю, которого, что называется, «достали» пушкинские похождения, возвращать молодое дарование в более трезвые северные пределы – охолонить головушку – на ближнюю петербургскую орбиту, под постыдный надзор родного отца. В Михайловское.

Он едет сюда в Михайловское, понемногу остывая от жарких южных ветров. Знает ли, что всё самое главное начнётся отсюда? Чуял ли?

Громада грядущих свершений уже нависла над ним...

Выделяются, по крайней мере, два случая, что явно спасли нам Пушкина, того Пушкина, который есть «наше всё», которого только и можем знать теперь, а другим – и не представляем.

Первый случай, это момент его ссылки в Михайловское – изъятого из страстных объятий южной, а паче, крамольной вольности.

Второй случай, это счастливая невозможность его опрометчивого побега зимой 1825 года из того же Михайловского, отменившая его прямое попадание на Сенатскую площадь, а следственно, неизбежное принятие участи декабристов, и, вполне возможно, – самой трагической...

Бричка с парою лошадей – от стации к станции – несёт его в псковскую землю, в родовое имение матери, Надежды Осиповны, где проведёт он два нечаянных года.

Да, он – Пушкин, – со всеми присущими ему чертами, с «Русланом и Людмилой», «Кавказским пленником», с начальными главами «Евгения Онегина», и первой россыпью новаторских ярких стихов, но ещё далеко не тот умнейший и великий Пушкин, а посему, свершись всё то, к чему он так стремился в обоих случаях по своему хотенью и «страстью воли», и мы бы знали совсем другого Пушкина. Ведь видно же по разным свидетельствам, что запросто мог ввязаться в какую-нибудь авантюру с самыми непредсказуемыми последствиями. Так, мятежное вольномыслие, помноженное на своенравие, привело бы, скорее всего, к неминуемому фиаско – и личному, и творческому. Всё спасло одиночество.

Великое, благословенное, спасительное одиночество...

«Кто думает ко мне заехать?»

В кассе покупаем билеты, на право оказаться гостями Пушкина. Или на право набиться в гости? Заходим в дом со двора и попадаем в переднюю. Сколько через неё прошло народу за все минувшие времена – невозможно представить, верно, целые города и губернии! Впрочем, в прихожей задержаться нам не дают, надрывают билеты, и пропускают влево в «комнату няни» или в девичью. Отсюда положено начинать... обход? осмотр?.. Ужасно протокольно звучит. Пусть будет – знакомство. А для тех, кто не в первый раз? – навестить ещё раз? Навестить! Вот слово близкое, не рассудочное. Нас двое, не принадлежащих к экскурсии. Экскурсия – человек десять, несколько раз, невзначай, мы присоединимся к ним; и все мы будем проходить из комнаты в комнату, вслушиваясь, всматриваясь, вживаясь...

Кто нынче приходит к Пушкину? С виду – обыкновенные приезжие люди, иностранцев средь нас не заметно. Ну, а шире, всё-таки, кто мы такие? Представители общества потребления? Или народ? Что такое «общество потребления»? Надо думать, общество, которое живёт исключительно потреблением. По Далю, есть два различных определения «потреблять»: с одной стороны – использовать по надобности, по необходимости; с другой – изводить, губить, уничтожать. Получается общество нужды и уничтожения... переходящее в самоуничтожение. Ещё у Даля противопоставляются «потребители» и «производители». С «производительством» у нас уже какое десятилетие большие проблемы, причём, во всех сферах жизни, так что, похоже, мы из противоположного общества: потребляем всё, что нажито и не нажито... Пушкин, образно говоря, был «производитель». А мы, стало быть, «потребители-истребители» Пушкина? А может, мы всё же – народ? То есть, НАрождающиеся из рода в РОД ради общей цели. В отличие от общества потребления, народ живёт Идеей, движущей его от поколения к поколению, растворённой во всей его деятельности, вплоть до повседневного

быта, той Идеи, которая объединяет его в единое целое. Раньше такой Идеей было Русское Православное Царство – как оплот спасения и охранения всех входящих в него народов. Жили не просто так, жили и умирали «за веру, царя, и Отечество». Искали высшую Правду, и утверждали её на земле – ступень за ступенью, восходя из жизни земной в Жизнь вечную...

Разумеется, приходит на память и Советский Союз. Но что такое коммунизм с его «каждому по потребностям»? – то же самое «общество потребления», пусть и по-марксистски бесклассовое.

Разве у нас нынешних есть какая-нибудь Идея? Нельзя же всерьёз поднимать на знамя «борьбу с нищетой», «удвоение ВВП», или пресловутое «сбережение народа», что лукаво подразумевает именно «сбережение общества потребления»? Право, даже неловко выставлять такие «идеи» на суд Александра Сергеевича. Нация, коли она едина и неделима по временам, не меняет своей Идеи. В противном случае, она исчезает с мировой исторической сцены, и Пушкин это прекрасно осознавал в отличие от многих из нас, клянущихся ему в любви. Подлинное сбережение народа требует твёрдой и справедливой отцовской руки, а не потакание чадам в свободе растления и самодовольства.

Итак, мы в девичьей. Здесь, у Арины Родионовны, собирались за рукоделием крестьянские девушки... здесь, в этой самой светлице из хранилищ народного духа и памяти, выпевались, высказывались старинные предания, русские сказки, былины, песни... Пушкин засидится с ними... никакого телевизора и «компа» не надо... Не от того ли он называл Москву «нашей девичьей». (Правда, большой вопрос, назвал бы он так сегодняшнюю нашу столицу, изувеченную безликими небоскрёбами и холуйским «шиком» реклам?)

Эта проходная комнатка с гладкими сосновыми половицами и некоторыми предметами быта, кажется, ещё удерживает в себе нечто лёгкое, светлое, от тех ли девичьих улыбок и песен, от тех ли ясных и чистых душ?..

Здесь же, под Рождество ставилась ёлка, увешенная семейными украшениями из тонкого стекла, фольги, и папье-маше, а то и простыми крестьянскими игрушками, и пелись колядки ряженых в тулупы овчиной наружу и размалёванных масках... На Троицу вся эта комнатка озарялась светом свежих берёзовых веток, полевых и садовых цветов и трав; Пушкин, на правах хозяина и радушного барина, самолично наливал серебряную чарочку, поднося гостям и знакомцам, потчуя с большого подноса душистым румяным нагроможденьем всевозможных пирогов и печений от Родионовны...

Белыми летними вечерами, занятыми рукоделием, – под соловьиное щёлканье, под чью-то певучую речь, и всполох свечей – зайдёт, забежит, прокрадётся он; подшутит ли, скажет ли что с намёком, встанет ли, скрестивши руки, в неосвещённом углу... а всё ради той, что, зардевшись, боится поднять ресницы от вышивки горлицы... А сердце заходится!..

И всё это видела, по-матерински, и была в курсе всех сердечных и прочих дел, хранительница-распорядительница Михайловского, Арина Родионовна, пряча в мягкой улыбке все их вздохи, и шалости, стреляния и метания глаз, и шёпот, и слёзы, и стыдливые тайны свиданий...

Из девичьей – в гостиную. Александр Сергеевич, говоря о «нашей гостиной», имел в виду Петербург. Получается, мы попадаем из «Москвы» в «Петербург», не так ли? Вполне возможно, что в этой гостиной и состоялись два скандальных разговора Пушкина со своим отцом, Сергеем Львовичем.

Приехавший в Михайловское из южной ссылки сын был аттестован в устах своего родителя «атеистом», «выродком», и «чудовищем». Обвинения самые страшные. К сожалению, было за что! Кощунственные вирши, слетевшие с пушкинского пера, доставившие ему славу ко всему ещё и залихватского богохульника, вкупе с прочими ходившими по рукам стихотворными хулиганствами, откровенно противоречили своей непристойностью идеалам дворянской чести. Но подлинным ужасом для родителя стали безумные строчки из оды «Вольность», пылавшие ненавистью к государю-помазаннику: «Самовластительный злодей!/ Тебя, твой трон я ненавижу,/ Твою погибель, смерть детей/ С жестокой радостию вижу», и полные той же детской мстительностью к своему народу из другого стихотворения: «Паситесь, мирные народы!/ Вас не разбудит чести клич./ К чему стадам дары свободы,/ Их должно резать или стричь». Да и в поступках своих успел понахватать всяких вольностей – от любовных до заговорщицких. Словом – всё, что бросало пятно на фамилию и позорило весь именитый род. Отсюда и «выродок».

Отец мучительно горько переживал ситуацию, и не видел надежды на её исправление в будущем, боясь, что высочайшая немилость отразится на судьбе, как его самого, так и всего семейства; вскрывал личную переписку сына, испытывая всю унизительность взятого на себя обязательства... Всё это не могло не сказаться на отношениях внутри семьи. «И был печален мой приезд...».

Какое-то время тянулось это гнетущее неразрешённое состояние. Гроза, столь же внезапная сколь и назревшая, между отцом и сыном всё разрешила.

«Чудовище» пожелало, наконец, объясниться, однако, столкнувшись с прежними – не остывшими ни на градус – отцовскими обвинениями, в том числе, и в дурном влиянии «атеиста» на младших сестру и брата, вспыхнуло, как порох, и высказалось обо всём, что думает...

В итоге, отец обвиняет сына чуть ли не в рукоприкладстве; сын убит и расстроен, пропадает в Тригорском...

И всё же, надо полагать, отец что-то понял. Может быть то, что сын не во всём уж так безнадёжен. Но ссора есть ссора.

В конце ноября 1824 года Сергей Львович со всей семьёй выезжает из Михайловского в Петербург, оставляя старшего сына на волю Божию, и на полный произвол безысходного деревенского одиночества.

По сути, в самом центре болезненно-резких отцовских обвинений стоял религиозный вопрос. «Кто он? Ужели отъявленный безбожный революционер-вольнодумец, и, в таком случае (в таком качестве!), он может быть окончательно потерян для семьи, для рода, а по большому счёту, и для Отечества, или – пусть запутавшийся, заблудший и многогрешный по молодости, но всё же христианин?» – такими представляются думы, терзавшие родительское сердце Сергея Львовича, который, к тому же, не мог не переживать и за будущее других детей: достигших возраста дочери и младшего сына. Религиозность, а точнее – православное вероисповедание, при всей, так называемой, «просвещённости» светского общества, при всём растущем воздействии на русские умы западного либерализма и лёгкости нравов, являлось непререкаемой основой общерусского мировоззрения, и фундаментом нравственности.

Религиозность Пушкина и религиозность его поэзии в молодые годы не всегда прозрачны, но, без всякой предвзятости, несомненны. Да разве могло быть иначе, коли духовная почва той эпохи всё ещё курилась терпким священным ладаном литургии, всё ещё просвечивала мерцанием домашних

лампад, всё ещё оглашалась вздохами материнских молитв, и, не в последнюю очередь, подпиралась набожностью государя-помазанника.

При всей своей необузданной вольности атеистом он всё-таки не был.

В апреле 1821 года Пушкин пишет паскуднейшую поэму «Гавриилиада», что явно не только молодая проказа, но и вызов вере (парадокс, но душе неверующей сей вызов Богу не свойствен, он ей ни к чему), и упоение поэтической дерзостью, то самое – у «бездны мрачной на краю», за которым угадывается эпатаж. Эпатаж не прошёл бесследно. Едва ли не всю оставшуюся жизнь над Пушкиным будет тяготеть этот грех, ненавистный ему до зубовного скрежета. Но это-то и утвердит в нём, в осознанном грешнике, осознанную же Истину.

Говорят, Бог любит искренних. Почему бы ни допустить, что Он избрал эту душу за её бесстрашную пылкую жажду правды, по аналогии с Савлом. «Ищите же прежде Царствия Божия и правды его, и вся сия приложатся вам». Молодое вино должно было перебродить в молодых мехах, чтобы стать, наконец, тем славным и добрым вином, которое делает честь на пиру своему хозяину, и которым зрелое милосердие врачует раны греховной молодости.

Здесь, в Михайловском родится величайший поэтический шедевр, будет написан «Пророк»: «Духовной жаждою томим...». Томим не кто-нибудь, а Пушкин. Гениальный поэт по имени Пушкин.

Мы говорим «гениальный поэт», различая творческую ипостась и собственно человеческую: подкожную, присущую всему земному. Проще говоря, гениальность приложима исключительно к творческой ипостаси. Разве могут быть гениальные люди? Разве сам по себе человек может быть гениальным? Разве необходимо доказывать, что художник и человек – две разные двери в две разные комнаты одного здания? Что иные роли умнее актёра, который играет их?

Согласно словарю, «гений» – есть высшая творческая способность, а «гениальность» – связана с созданием качественно новых, уникальных творений. Трудно вообразить человека, достигшего высшего, качественно нового человеческого состояния, то есть, возведшего всё своё человеческое до степени гениальности. Человек, гениально встающий по утрам, гениально завтракающий, гениально опаздывающий на работу... или не опаздывающий? Что может быть качественно нового в человеке? «Сверхчеловек»? Ну, это уже проходили. Итак, гениальный человек в природно-душевном своём обличии невозможен. Даже святой при жизни. Получается, что единственный истинный и бесспорный Гений – Бог, и вся гениальность – у Бога, ибо «связана с созданием качественно новых, уникальных творений». Стало быть, и всякая гениальность – от Бога. А не от человека, не от природы его. Знает ли Бог, кому Он дарует гениальность? Ещё бы Ему не знать! А как же пушкинский постулат: «гений и злодейство две вещи не совместные»? Вот ведь хотелось ему, чтобы ни коем образом «не совместные» в человеке-творце, – какой отчаянный идеал, какой порыв к совершенству!

Ох, Александр Сергеевич... Конечно, если иметь в виду две разные комнаты, то – не совместные. Но если иметь ввиду единое здание, то ещё какие совместные в одном человеке-то, понимая под злодейством всякий грех и всякое преступление. Да и комнаты, думается, смежные всё-таки. Небось, сами знаете.

Весь дошедший до нас опыт человеческого бытия свидетельствует, что человек есть совмещение несовместимого (в том числе, гениальный дар и

грешная человеческая природа), правда, с маленькой такой оговоркой – с точки зрения окружающих... Духовной жаждой томим человек грешный Пушкин, но выражает её в слове своим поэтическим гением: «Духовной жаждою томим/ В пустыне мрачной я влачился...». Пустыня, одиночество – вот во что он поставлен, вот во что погружён теперь со всеми своими душевными бурями, бесами, нимфами... Но и жаждой!..

Вернёмся в Михайловское. Вслед за тёмными ноябрьскими дождями приходит молочная зимняя стынь. Гостиная со столовой – пространство, остывшее от безлюдства, выстуженное безмолвное эхо домашних обид и ссор, становится ещё холоднее, сюда больше не ходят. На зиму эти комнаты наглухо запирают. От всего дома остаётся только два тёплых помещения: его рабочий кабинет и комната няни. Смежные...

Всё обнимает долгая, тугая, звенящая деревенская глушь.

Пустыня. Одиночество. Тишина. Всё это кажется невыносимо для его неуёмной подвижной натуры, он всюду жалуется: «влачу закованные дни», «настала скучная пора»... Но всё это именно то, без чего не вызреть, не родиться в полноте шедеврам русской словесности, как и всей последующей русской классике и её всемирной славе. Подступает великое – некое предощущение серьёзного решительного испытания души и таланта... А всё великое рождается в тишине. Пушкин не был бы Пушкиным, если б не смог оценить этого:

Служенье муз не терпит суеты;
Прекрасное должно быть величаво...

Величаво! а не подло, гнусно, кроваво, с подначкой или в насмешку, мои уважаемые современники и коллеги; мы, похоже, давно забыли об этом. Потому-то всё прекрасное позабыло о нас.

Эти два ссыльных года в Михайловском примиряют Пушкина с тишиной (и, хочется сказать, обручают). Его поэзия научается освобождаться от всего суетного, второстепенного. Он открывает в себе путь к великим вещам. В тишине одиночества. В стихотворении «Пророк» в пустынной мёртвой тишине является от Бога серафим...

И он к устам моим приник,
И вырвал грешный мой язык,
И празднословный и лукавый,
И жало мудрыя змеи
В уста замершие мои
Вложил десницею кровавой...

Он выбрал Жизнь

Пора возвращаться. Мы уже бредём, не спеша, к своей машине. Речка где-то слева теперь. Так не хочется уходить отсюда. Ветер дохнул берёзовый, снова прильнуло сердце к этой равнине... Нет, не нужны природному «русаку» ни Америки, ни Европы, ни какие райские острова, душа не вытянет без России! Мгновенно отзывается пушкинское: «Климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу».

Можно представить себе нашу нынешнюю «физиономию»!

С нашим климатом ещё туда-сюда, хоть зачастую непредсказуем; образ правления – либерально олигархический и, по сути, антинародный, по принципу «всё и вся имеет цену в «баксах»!»; вера... с верой тоже проблемы, от силы пять-шесть процентов верующих не на словах, а на деле, а прочие – ни Богу свечка, ни чёрту кочерга: творят, что хотят. Вот и вся наша «физиономия».

Родная историческая мама нас не признала бы.

Хочется выйти и крикнуть: русские, где вы?! На кого мы похожи стали! Чего нам, убогим, в диковину? воровство, лихоимство ли? суд ли неправедный? подлость ли к ближним своим? убийство ли не за грош? пьянство ли беспробудное? растленье? разврат?.. Эка невидаль! Но никогда ещё не было так подавляюще массово, в таких масштабах! Никогда! Ударились в погоню за «баксами», «бабками», за жалкою выгодой, и готовы сожрать друг друга до полного самоистребления на радость врагам нашим.

Этим ли мы прославились в мире других народов?

Ужаснись, всякая душа, коли не истёрлось в тебе имя русское. Обратись со стыдом к своей совести, к своим предкам, к тем, кто отвоевал, отстроил, украсил для тебя единственную в мире Россию. Ты ли сын её? Ты ли дочь её любящая? Обратитесь к тем, кто любил, и будет любить нас, кто молился, и будет молиться о нас, они жили до нас на этой земле, веря в то, что мы их лучшее продолжение, а без этой веры им бы не было смысла жить: «Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца?» – это нам сказано.

Русские! Мы, породившие Пушкина, Есенина, Достоевского, Чайковского, Шостаковича, Шолохова, Сурикова, Станиславского, Менделеева, Королёва, Гагарина... можем сгинуть, исчезнуть, уйти в историческое небытие, если не остановимся на краю обрыва, если не возродим и не обновим свою русскость. Пока не поздно!

Уж как стараются «всечеловеки» запинать, затереть и развеять в прах звание «русский». Но с ними, чающими ценою русских богатств слиться в холуйском обожании с самодовольным и комфортным Западом, всё понятно. Но не понятны граждане, разделяющие эти русофобские взгляды, видящие в русскости мрачные фантомы фашизма и шовинизма. Не понятны и жалки те, что «запутались в трёх соснах» простого исконного понятия «русский».

Кто не знает имён князя Багратиона, или генерал-аншефа Юсупова (сподвижника Петра Великого)? кто не слышал о Владимире Дале, о художнике Левитане, о композиторе Глинке? Спросите их: «Кто ты по роду племени?». И, думаю, каждый из них, не задумываясь, скажет о себе: – «Я – грузин», – «Я – татарин», – «Я – датчанин», – «Я – еврей», – «Я – славянин». Но спросите у них: «Какой ты по духу, по культуре, по языку, по принадлежности к государственному устроению власти?». И все ответят: «Я русский!».

Русский – не разделение по кровям, не жупел, и не красивая цацка, а определение по существу. Определение, которое надобно ещё заслужить, как заслуживают честь быть в одной «команде» с Александром Невским, Сергием Радонежским, Дмитрием Донским, Александром Суворовым, Михаилом Ломоносовым, Александром Пушкиным, Фёдором Шаляпиным, Сергеем Рахманиновым, Георгием Жуковым, и многими, многими соотечественниками, возвысившими русское имя в ряду славных имён других народов.

Русский – это ответственность перед Богом, совестливость перед людьми, и строгость перед собой. Русский – это душа народов.

Спросите у Пушкина, что значит быть русским?
«Будучи русским писателем», он мог бы ответить многим:

Страшись, о рать иноплеменных!
России двинулись сыны;
Восстал и стар и млад; летят на дерзновенных...
Ты в каждом ратнике узришь богатыря,
Их цель иль победить, иль пасть в пылу сраженья
За Русь, за святость алтаря...

«Поймите же и то, что Россия никогда ничего не имела общего с остальною Европою; что история её требует другой мысли, другой формулы...». И ещё одно неоспоримое пушкинское наблюдение: «Дикость, подлость и невежество не уважает прошедшего, пресмыкаясь пред одним настоящим...».

Он ощущал себя полнокровным русским человеком, верным своей истории: «Слава Кутузова неразрывно соединена со славою России, с памятью о величайшем событии новейшей истории. Его титло: спаситель России; его памятник: скала святой Елены! Имя его не только священно для нас, но не должны ли мы ещё радоваться, мы русские, что оно звучит русским звуком?».

Спросите о Пушкине у Достоевского. «Это был один из первых русских, ощутивший в себе русского человека всецело, вызвавший его в себе и показавший на себе, как должен глядеть русский человек, – и на народ свой, и на семью русскую, и на Европу...».

Всякому писателишке приятно пристроиться со своей скудной тележкой к классическому составу великой русской литературы; также и всякому образованцу лестно чтить себя принадлежностью к русской культуре, снискавшей мировую славу. В таких случаях употребление слова «русский» допускается у них приемлемым. Но заведи только речь о народном самосознании, как сломя голову, со всех щелей, несутся с наспех намалёванными табличками: «россияне», «российские» и т.д. Но Пушкин «россиянином» себя не числил, и к «российской культуре» никакого отношения не имел, по причине полнейшего отсутствия оной.

На самом деле в человеческом мире существуют всего две общих культуры. Культура жизни, и культура смерти (она же – антикультура или метод духовной деструкции). Антикультура – продукт современного, равнодушного к человеку города.

В наших городах царствует ночь.

Ночь – один из символов смерти. Парадокс в том, что ночь в наше время это самое активное время тех, в ком заложено светоносное продолжение жизни, её качественное обновление через развитие положительного, добродетельного опыта предшествующих поколений. Ночь, как таинство зачатия новой жизни, как период временного упокоения организма и сохранения сил ради восстания на дневное светлое делание обратилась в ночь без зачатия, без упокоения сил – в ночь разврата, развлечений, наркотиков, самоубийств, в антиэнергию, сжигающую жизненную потенцию духовного и физического здоровья. Ночная антиэнергия перетекла в дневное поле полезной деятельности и работы. День стал продлением ночи, её смертельным проклятием.

А начиналось ещё тогда, при Пушкине:
Перед померкшими домами

Вдоль сонной улицы рядами
Двойные фонари карет
Весёлый изливают свет
И радуги на снег наводят;
Усеян плошками кругом,
Блестит великолепный дом;
По цельным окнам тени ходят,
Мелькают профили голов
И дам и модных чудаков...

А вот и прозаическое описание: «Избранные званы были во дворец на бал утренний, к половине первого. Другие на вечерний, к половине девятого. Я приехал в 9. Танцевали мазурку, коей оканчивался утренний бал. Дамы съезжались, а те, которые были с утра во дворце, переменяли свой наряд. Было пропасть недовольных: те, которые званы были на вечер, завидовали утренним счастливцам... Всё это кончилось тем, что жена моя выкинула. Вот до чего доплясались».

Ночь напролёт балы, веселье... Нынче ж, вместо каретных фонарей – автофары иномарок, вместо плошек – огни и вспышки реклам, а количество «великолепных домов» развлечений, разнообразных «дам и модных чудаков» умножилось тысячекратно.

Сплошное забубённое «развлекалово» на фоне умирающей в заросших полях огромной страны...

Ночь души это пляска тёмных страстей. Ночь это негатив – не проявленный день. Свет это верх. Ночь души это низ. Что такое низ? Низменные удовольствия. Ненасытное чрево, животный смех, мат, секс, вонь, дерьмо... Низ – прямая дорога в ад. Низость этическая порождает с адским энтузиазмом и эстетическую. Ночь – смерть. Ночные клубы – оазисы смерти (вспомним ту же «Хромую лошадь»), ночной пир мертвецов. Пир мертвецов, потому что мертвы к целомудрию, к зову совести, к свету Евангелия, ко всему, что возвышает душу, потому что добровольно убивают себя адскими удовольствиями и страстями. Потому что для таковых смерть это жизнь, и наоборот.

Культ смерти в абортах, в корыстном обмане, в глумлении над святыней, в жажде наживы, в безумном шопинге, в игромании, в отказе от Родины и родства. Культ смерти там, где любой обман превозносится в добродетель, в искусство «делать деньги».

Культура смерти присутствует и в курении, и в таких, казалось бы, безобидных вещах, как тупая песенная попса, и пустые бесконечные празднества, – во всём, что убивает время, а значит и жизнь.

В культе смерти властвует страх, всё ужасное, мрачное, звериное, инфернальное. Детям прививается эстетика смерти: привлекательные дракончики, скелетики, черепа, роботы-монстры, эротические картинки, фильмы и мультики про привидения, вампиров, ведьм, чудовищ, кровавые приключения... Всё это совершает над душой свою невидимую работу, и, спустя короткое время, выдаёт видимые результаты: новости дня кишат малолетней проституцией и наркоманией, расчленением одноклассников, убийствами учителей, попытками самоубийства...

Это дети. А что говорить о взрослых!

Города, будучи некогда огранными мастерскими природных, сиречь, народных (преимущественно деревенских) талантов, и служа рассадниками народного образования, превратились в мастерские по штамповке искусст-

венных талантов (или, как принято у них – «звёзд»), в рассадники смертельных технологий греха и порока, как следствие вымирания полнокровной русской деревни и русской жизни.

Город, лишённый притока свежих здоровых сил, замкнулся в себе самом, работая на полное и окончательное вырождение и самоуничтожение, как и подобает цитадели ночи и смерти.

Новейшее дополнение к сказанному: московские власти всерьёз рассматривают проект строительства подземного города, в котором можно будет жить без выхода на поверхность земли на дневной солнечный свет. Взахлёб перечисляются преимущества: там под немеркнущим искусственным светилом будет всегда уютно, тепло и сухо (никаких сугробов и слякоти, никаких перемен погоды, никакой природы, она не нужна!); там лучшие магазины, жильё, рестораны, и развлечения, там будет всё. Город опустят в низ. Поближе к аду.

Формирование творческой личности в условиях города-мегаполиса возможно лишь в контексте культуры смерти, с усвоением (чуть ли не с молоком матери) соответствующей эстетики. Доказывать сие нет даже малой необходимости, надо просто включить телевизор, раскрыть газету или журнал, зайти на выставку современного искусства, послушать современные песни и музыку...

Исключения имеют право на существование: таковые могут отыскаться среди приверженцев и наследников классической традиционной культуры, или среди воспитанных в церковной ограде. Но таковые, даже увеличиваясь числом, закономерно увеличивают и свою отравленность культурой смерти.

Пушкинскую Москву ещё можно было признать природным городом, не зря она называлась «большой деревней». И дело не в цветущих садах, не в живых полноценных прудах и речках (хотя, и в них тоже!), и не в бродивших по улицам гусях и телятах, но в восприятии размеренного богоданного бытия: жить, согласно правилам дня и ночи, где есть своё место труду и отдыху, сообразно временам года, сменяя одежду и пищу, проходя земной чередою будней, постов, и праздников, в ритме связанных с ними обычаев и укладов, в общении с миром природы, в постижении естественных радостей и утрат, что вместе воспитывало в человеке основные нравственные понятия, безошибочное различение добра и зла.

Однако и та Москва бывала ему порою невмоготу: «Москва шумна и занята празднествами до такой степени, что я уже устал от них и начинаю вздыхать по Михайловскому...». Что бы он сказал сейчас!

Когда-то было достаточно пристыдить: «Опомнись! Прекрати безобразие! Это дурно!», и человек опоминался, хватался за голову: «Что я делаю?!», признавал за собой вину, и ничего не надо было ему объяснять и доказывать. Он понимал, что совершил преступление – переступил через норму. По крайней мере, так можно было говорить когда-то о подавляющем большинстве из нас, в ком жил ещё голос совести.

Сейчас это не действует. Можно сколько угодно призывать к совести, к верности делу предков, говорить о стыде, о предательстве Родины, и услышать в ответ: «Ну, и что?». Эти слова смертельный приговор душе. Убеждать не нужно и бесполезно. Есть такое понятие «выродок», сиречь, тот, кто выламывается из рода: предаёт свой род, свою родину ради более сладкой жизни, и грех духовного отчуждения выбрасывает его из рода. Современный город (мегаполис) штампует выродков.

«Свобода слова» это всё тоже выдумки города. Распущенность воли, души, и разума потребовала и распущенности языка под предлогом «творческого самовыражения». Так развращённый импотент бессилен обрести естественность здорового влечения, прибегая к разного рода суррогатам. К примеру, ринулись писать или рявкать со сцены матом, убивая не только воздух, но и собственный цвет души.

Природа и христианство не учит мату. Раньше учило язычество. Теперь учит город.

Пресловутой «свободой слова» принялись узаконивать всё самое безнравственное и постыдное, тщась заглушить разящий приговор Александра Сергеевича: «Безнравственное сочинение есть то, коего целию или действием бывает потрясение правил, на коих основано счастие общественное или человеческое достоинство. Стихотворения, коих цель горячить воображение любострастными описаниями, унижают поэзию...». Унижают изо всех сил, со всей изощрённостью, и не только поэзию.

Отсутствие при Пушкине свободы слова в её нынешнем представлении оказало ему добрую службу: всё лучшее было напечатано, всё худшее стыдливо спрятано.

Много говорят о цензуре, но если раньше это было, в первую очередь, делом совести, авторского вкуса и нравственности, то сейчас, в условиях почти полного отсутствия таковых у пишущей братии, цензура представляется единственно потребностью государства, озабоченного катастрофическим состоянием общественной морали и воспитания.

Современный город представляет собой наглядное попрание золотого пушкинского опыта культуры жизни, дарованного нам свыше. Вкратце выводы этого опыта таковы. Развитие и усовершенствование таланта невозможно без впитывания народной, преимущественно крестьянской культуры и глубоких национально-религиозных традиций, а также вне природно-географического воздействия.

Талант духовен по сути, а посему где ж ему ещё удобней быть вскормлену, как не на материнском лоне природы, исполненной плодотворящего духа жизни. Через неё Господь открывает нам тайны гармонии, правды, и красоты. Они суть слагаемые здоровой жизни.

Не случайно пушкинская Татьяна, этот чистейший образ глубокой, цельной, природной русской натуры, – дитя деревни. А Онегин – несчастный, опустошённый выкормыш праздного города. Его и русским вряд ли можно назвать. Всё не случайно.

У кого же, как не у Пушкина, надо учиться культуре жизни.

Здоровью моему полезен русский холод;
К привычкам бытия вновь чувствую любовь:
Чредой слетает сон, чредой находит голод;
Легко и радостно играет в сердце кровь,
Желания кипят – я снова счастлив, молод,
Я снова жизни полн...

Человек, имеющий возможность выйти утром в свой сад, а не в загаженный, безразличный к нему подъезд, имеющий счастье жить в окружении роскошного театра русской природы, со всеми её гениальными «актами, персонажами, и представлениями» это уже совсем другой человек, и дети его это уже совсем другие дети, в отличие от обработанных городом сверстников.

Человек, живущий на земле, в своём доме, гораздо более склонен к общению со своими соседями по земле, он элементарно добрее, гостеприимнее, самодостаточнее, отзывчивее на чужую боль, на взаимопощь. Его душа, избавленная от агрессивных воздействий культуры смерти, открыта гармонии мира, восприятию вечности. Его природные способности развиваются полнокровнее, искреннее, оригинальнее вне зависимости от того, где он работает: в поле, на ферме, или за компьютером. Он знает, что такое родина: он в ней живёт. Ему есть, что терять, поэтому он не равнодушен ко злу, он не станет засорять и губить природу, она ему не чужая.

Постоянное усовершенствование электронных коммуникаций и технологий всё увереннее решает проблему зависимости человека от города, тем самым освобождая личность от бесчеловечного механизма толпы.

Что из этого следует? Оживить, наполнить деревню и жизнь на земле. Освежить, и очистить город от всякой дряни, чтобы снова увидеть в нём блистательного профессора, мудрого, разборчивого библиотекаря и музейщика, противостоящих культуре смерти. Устроить современный город как благодатный цветник просвещения.

Стоит ли объяснять, что Пушкин всецело принадлежит культуре жизни. Он выбрал Жизнь. Несмотря на все искушенья чрезвычайно восприимчивого ума и стихийной страстной своей натуры, он сумел удержаться, а затем и окончательно утвердиться в звании русского патриота, монархиста, и христианина.

Он не стал ни масоном, ни декабристом, ни интеллектуальным язычником, ни диссидентом. Даже в самом крайнем случае неизбежных духовных и идейных противоречий он не переступал черты. «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости». Иными словами, не противоречить ни словом, ни делом богоустановленному порядку на Русской Земле.

С этим у нашей славной «русской интеллигенции» (достойных наследников «друзей»-масонов поэта?) обстоит всё совершенно наоборот, и наши честняги ниспровергатели исторических национально религиозных устоев, «взявшись за руки», или, «сплотившись теснее», заперли бы вас, Александр Сергеевич, объявись вы у нас с этакой «крамолой», в глухой безвестности и презрении. Вам, как чисто легендарному персонажу от русской литературы, дозволено проступать в пространстве исключительно в виде отдельных стихов и прозы. Остальное в расчёт не принимается: «другие времена», милостивый государь.

Они плохо читали «Бориса Годунова»!

Природа и национальная культура есть главные воспитатель и учитель таланта. И Пушкин как никто осознавал и принимал эту истину. Он опытно испытал её на себе, на своём таланте.

Лицей, этот пасынок города, дал пушкинскому таланту грамотность и книжность. Тотчас явились амуры, фебы, психеи, хлои, киприды, и нереиды, а с ними римские герои, рыцари, русланы... Взметнулись легкокрылые витиеватые оды, элегии, стансы, и мадригалы; тут же и переводы, и подражания (а как без этого!) под кумирной сенью теней Овидия, Расина, Байрона, Парни, Вольтера, Шенье... Кишинёв, Одесса, и Крым, сама география и культурное окружение южной ссылки произвели в нём «Цыганов», «Бахчисарайский фонтан», «Кавказского пленника»... которым автор прекрасно знал цену, и относился (судя по откровенным признаниям в письмах) весьма скептически.

Всё это было весной поэта.

Наконец обветренный европейской книжностью и черноморскими степями талант всё ещё ссыльного Пушкина попадает на русскую деревенскую почву, и происходит чудо. Михайловское, как сгусток исконной природной Руси, прорастает в нём по-настоящему великими творениями.

Соединилось!

К нему постепенно приходит летняя июльская зрелость мастера.

Он вымахивает здесь в подлинного национального гения, поэта первой величины. В классика русской литературы.

Господь, ведающий нашими судьбами, сведёт его в будущем с собирателем русского разговорного языка (этих подлинных народных сокровищ!) Владимиром Ивановичем Далем, от коего многое запомнит и почерпнёт. Какой восторг эти пословицы и поговорки! – эта соль, эти золотые уроки природного человечьего бытия!

Пушкин, как никто до него, воспринял и впитал в своё творчество народную мудрость, осознав её как коренную составляющую национальной культуры.

Отныне он будет искать деревни: «я убежал в деревню, почуя рифмы».

Но лишь божественный глагол
До слуха чуткого коснётся,
Душа поэта встрепенётся,
Как пробудившийся орёл...
Бежит он дикий и суровый
И звуков и смятенья полн,
На берега пустынных волн,
В широкошумные дубровы...

Ещё не раз приедет работать в Михайловское, продолжит наезжать за вдохновением в Тригорское, Малинники, Остафьево... но впереди и Болдино с его плодоноснейшей осенью. Впереди засверкают «Полтава», «Медный всадник», «Маленькие трагедии», «Повести Белкина», «Капитанская дочка». И где бы ни состоялось создание их (а большинство из них всё же написано будет в деревне), его талант уже привит к русскому древу жизни, уже напоён его силой и соками, его забота теперь не искать себя, а цвести и плодоносить.

«Осень подходит. Это моё время – здоровье моё обыкновенно крепнет – пора моих литературных трудов настаёт». Сколько отзывается в нём спокойствия, душевного довольства труженика: «Ты спрашиваешь, как я живу и похорошел ли я? Во-первых, отпустил я себе бороду; ус да борода – молодцу похвала; выйду на улицу, дядюшкой зовут. 2) Просыпаюсь в семь часов, пью кофей и лежу до трёх часов. Недавно расписался, и уже написал пропасть. В три часа сажусь верхом, в пять в ванну и потом обедаю картофелем да грешневой кашей. До девяти часов – читаю. Вот тебе мой день, и все на одно лицо». Тут надо заметить, что он любил писать лёжа, так что с семи утра до трёх дня – это время работы.

Но что более всего поражает в личности Пушкина, так это абсолютно органичная искренность. Он не умел притворяться, никогда ни в кого не играл. Он мог быть замкнутым, обиженным, легкомысленным, гневным, в хандре и желчи... не скрывая этого в письмах, тогда как в обществе, разумеется, удерживал себя в рамках приличия.

Мог быть противоречивым до крайности. Противоречия порой раздира-

ли его на части – порывиста, как свеча под ветром, металась душа его. Бывало, ругал Россию, Москву, Петербург, деревню, погоду, друзей, рвался в Европу: «Я, конечно презираю отечество моё с головы до ног, – но мне досадно, если иностранец разделяет со мною это чувство... Если царь даст мне слободу, то я месяца не останусь. Мы живём в печальном веке, но когда воображаю Лондон, чугунные дороги, паровые корабли, английские журналы или парижские театры... то моё глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство...». И это Пушкин? Какая изумительная детскость!

Доставалось «на орехи» и дружбе:

Что дружба? Лёгкий пыл похмелья,
Обиды вольный разговор.
Обмен тщеславия, безделья
Иль покровительства позор.

(Последнее справедливо по отношению к его либеральным опекунам, пытавшимся использовать поэта в своих политических целях.)

Вдруг не признавал за собою искренности: «Писать свои записки – заманчиво и приятно. Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый. Но трудно. Не лгать – можно; быть искренним – невозможность физическая. Перо иногда остановится, как с разбега перед пропастью, – на том, что посторонний прочёл бы равнодушно. Презирать суд людей не трудно; презирать суд собственный невозможно». Здесь всё противоречит друг другу. Писать о себе «приятно», и тут же «трудно» – но это разнополюсные понятия. «Не лгать», значит говорить правду, но «быть искренним» – не то же ли самое? Наверное, имеется в виду тот порог правды, через который не позволяет переступать стоящее на страже благоразумие, или чувство приличия (что само по себе разве не гораздо дороже искренности?), или страх самоуничижения. Ну и как тут обойти его самый рейтинговый у наших либеральных образованцев вызов: «чёрт догадал меня родиться в России с душою и с талантом!». Нет, не чёрт, Александр Сергеевич, но Тот, Кто дал вам и душу, и талант, и Россию, без коих кто бы вы были, положа руку на сердце?

И так во всём, когда природа характера вступала в противоречие с природой таланта, и теряла гармонию с непосредственною живою природою. И в этом (как и во всех скандальных и отчаянных виршах своих), да простится мне, Пушкин уже не столь поэтичен, не гениален. Совсем другое дело, когда все эти три природы сливались, созвучивались в гармонии между собой! Он переменялся мгновенно, и был светлее, лучше, самодостаточнее, и гений сиял в нём.

Гоголь знал, что говорил: «Сочинения Пушкина, где дышит у него русская природа, так же тихи и беспорывны, как русская природа. Их только может совершенно понять тот, чья душа носит в себе чисто русские элементы, кому Россия родина, чья душа так нежно организована и развивалась в чувствах, что способна понять неблестящие с виду русские песни и русский дух...».

Чуткая, отзывчивая душа сильнее подвержена агрессии зла, ей бывает неимоверно тяжко в борьбе за жизнь. Благо, что средства к преодолению этих мук были рядом. За всем этим нельзя не признать простого и непреложного факта: мирный природный дух русской деревни, вот что спасало Пушкина, выправляя и очищая его талант.

Жаль, что ему так и не удалось ни разу вырваться за границу. А может, и не жаль, Бог весть. Во всяком случае, к тридцати годам он уже и не поминает об

этом. Его талант работает на полную мощь, и всё что ему потребно для этого – всё здесь, в России, всё есть.

«Теперь, кажется, и на жизнь нечего роптать, и старости нечего бояться. Холостяку в свете скучно: ему досадно видеть новые, молодые поколения; один отец семейства смотрит без зависти на молодость, его окружающую. Из этого следует, что мы хорошо сделали, что женились». Он, прошедший «огни, и воды, и медные трубы» творчества, не заблуждался в жизненных приоритетах: «никакие успехи тщеславия не могут вознаградить спокойствия и довольства». Вот главное! Он загадывал жить: «Но жизнь всё ещё богата; мы встретим ещё новых знакомцев, новые созреют нам друзья... мы будем старые хрычи, жёны наши – старые хрычовки, а детки будут славные, молодые, весёлые ребята; а мальчики станут повесничать, а девчонки сентиментальничать; а нам то и любо...». Боже, сколько здесь невыраженного отчаянья, отчаянья по так и не сбывшемуся! Судьба сгущалась его, как туча; он чувствовал это.

«Умри я сегодня, что с вами будет? Мало утешения в том, что меня похоронят в полосатом кафтане, и ещё на петербургском кладбище, а не в церкви на просторе, как прилично порядочному человеку...». Это 1834-й год! У них с женой двое детей: дочка Машенька, и сын Сашенька. Родят же ещё двоих; наконец, найдут себе квартиру, коих столько переменяли...

Проживи он ещё лет тридцать, что было бы? Сблизился, сдружился бы («новые созреют нам друзья») с Лермонтовым, с Некрасовым, с Тургеневым, с молодым Толстым? Но последуем пушкинскому совету: «Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением».

Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит –
Летят за днями дни, и каждый день уносит
Частичку бытия, а мы с тобой вдвоём
Предполагаем жить... И глядь – как раз – умрём.
На свете счастья нет, но есть покой и воля.
Давно завидная мечтается мне доля –
Давно, усталый раб, замыслил я побег
В обитель дальную трудов и чистых нег.

Лежащий на одре смертельно раненый, он, любимец жизни, как вслушивался в последние её мгновенья!

«Уходит жизнь...», – произнёс он вдруг посреди молчанья друзей. Жизнь, в которой он привык вращаться, «мыслить и страдать», жизнь, с которой мчался, как в гремящей однозвучным колокольцем почтовой тройке, теперь уходила от него. Уходила, как уходит воздух, а он, словно путник, оставался посреди дороги, покинутый неудержимо бегущей жизнью... Жизнь без Пушкина! Невообразимо.

Но пока ещё Пушкин в июле. Молод, молод, как жаркий полдень! Он пишет, он полон планов, ошеломлённый новой и свежей силой своего таланта: «Я могу творить!». Пока что всё впереди, как перед зовом и тайной великого поприща.

Пока ещё дышит, цветёт, колышется русское лето...

Григорий БЛЕХМАН

СНЕЖНАЯ УЛЫБКА
или
АЛЕКСАНДР БЛОК В МОЕЙ ЖИЗНИ

(Из книги «Слово средь земных тревог...»)

Я бы хотел жить, если бы знал как.
Александр Блок

Словосочетание «снежная улыбка» я услышал ещё в детстве. Кто-то читал по радио незнакомое мне стихотворение, из которого запомнил тогда лишь эту «улыбку». Может, и запомнил потому, что в тот момент моей любимой книгой была сказка Андерсена «Снежная королева».

Королеву я не любил, потому что она надолго разлучила моих любимых в ту пору Кая и Герду, за которых очень переживал и всегда спешил к тому моменту в сказке, когда Герда вернёт похищенного королевой Кая.

Услышав эти слова в незнакомом мне тогда стихотворении, был уверен, что они о снежной королеве и её улыбке. Долгое время думал, что это тоже написал Андерсен, и в какой-то момент очень озадачил родителей просьбой купить мне книжку, где «Снежная королева» написана в стихах. Они не могли понять, о чём речь, уверяли, что не писал Андерсен эту сказку в стихах. Никто из наших знакомых тоже не знал о существовании такого стихотворения о снежной улыбке. И не только стихотворения, но и вообще, где написано о снежной улыбке, ни от кого не сумел узнать.

Много позже услышал об этой улыбке по радио:

И только с нежною улыбкой
Порою будешь вспоминать

О детской той мечте о зыбкой,
Что счастием привыкли звать!

Но тогда уже знал и об «улыбке», и об авторе...

Впервые услышал незнакомую, показавшуюся мне на фоне фамилий Пушкина, Лермонтова, Маршака, Чуковского, Берестова... странной, фамилию Блок, до 1955 года – года нашего переезда из кубанской казачьей станицы в Москву. Следовательно, до десятилетнего возраста. В нашем доме в один из вечеров услышал, как папа читал для своих гостей:

...И перья страуса склонённые
В моём качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу...

Может быть, эти строчки запомнились мне тогда особенно, потому что кто-то ещё их повторил, и в памяти отпечатались именно они. И хотя смысл сказанного мне в том возрасте был непосилен, что-то заворожило. Мне показалось, что перья этой заморской птицы особенно красивы потому, что в них на том – очень далёком от моей станицы – берегу постоянно цветут очи. Поэтому страус сразу и надолго стал моей любимой птицей, которая, как тогда себе представлял, может видеть перьями. И довольно долго в ту пору мечтал, чтобы это заморское чудо мне приснилось.

А в тот вечер, когда меня укладывали спать, спросил у мамы, кто написал эту красивую сказку о перьях страуса, и она, засмеявшись, ответила, что такие «сказки» писал Александр Блок. И дальше был очень удивлён, узнав от неё, что он жил не в Африке, а в очень красивом городе, который сначала назывался Петербургом, потом, Петроградом, а теперь Ленинградом. Об этих городах ребёнок, рождённый в сороковых, не мог не знать.

Та же пора моей детской жизни связана и с ещё одним стихотворением Блока. Оно было про девочку, которая «*пела в церковном хоре*». И связано с моим удивлением – как эта девочка оказалась в церкви. За окном было начало пятидесятых, и в нашей стране, насколько я тогда знал, в церковь ходили лишь пожилые люди, как, например, моя бабушка, которая «*привыкла*». Но как туда попала, а тем более пела там девочка, не понимал. Однако что-то в этом очень нравилось, особенно, «*как белое платье пело в луче*». Помню, даже спрашивал бабушку, нет ли случайно в нашей станичной церкви такой девочки. Но бабушка сказала, что сейчас нет. Всё, о чём написано в стихотворении, было давно. Теперь дети в церковь не ходят. А та девочка, если и жива, уже стала старенькой, как и моя бабушка.

То, что у Блока не «девочка», а «девушка», я узнаю много позже, чему немало удивлюсь, поскольку успею свыкнуться с «девочкой».

Вот эти три эпизода: со «снежной улыбкой», перьями страуса «с очами» и этой «девочкой» из церковного хора остались в моей памяти из детства, связанного с Александром Блоком. Правда, как уже говорил, «снежная улыбка» долгое время – лишь косвенно.

И ещё осталась какая-то тайна. Когда мне читали, а потом и сам читал книги других поэтов и писателей, если не всё, то почти всё было понятно сразу. А у этого – странного для меня Александра Блока, начиная с его фамилии, всё казалось каким-то загадочным. И потому, когда встречал его имя, испытывал заметный трепет таинственности.

Что, впрочем, сохранилось и по сей день...

***

В 1958 году маме подарили маленький томик из серии «Библиотеки советской поэзии», который называется «Александр Блок. Стихотворения и поэмы». И именно с этого момента предстояло мне «окунуться» в мир его «*заморских песен*», потому что так захотелось, чтобы в тот мир и для меня «*открылись торные пути*». Составитель томика – известный российский литературовед Владимир Орлов включил в него избранные стихотворения и поэмы, написанные поэтом лишь в двадцатом веке – начиная с 1901 года.

Когда стал читать, начал делать закладки на страницах особенно полюбившихся стихотворений. Однако вскоре это занятие прекратил, поскольку понял, что с этими закладками сборник «распухнет» настолько, что объём его увеличится едва ли не вдвое. И потому, прочитав первый раз, потом открывал томик уже на любой странице и начинал перечитывать либо дальше, либо возвращаясь назад.

В какой-то момент дошёл до начала и прочитал предисловие Владимира Орлова, которое заканчивалось так: «С весны 1921 г. здоровье Блока пошатнулось, и 7 августа 1921 г. он скончался от болезни сердца».

Поскольку, как уже сказал, перечитывал этот томик не единожды, обратил внимание, что оканчивается он стихотворениями, написанными в 1918 году. И узнав из предисловия о дате смерти поэта, удивился тому, что в книжку не вошли стихотворения остальных трёх лет его жизни.

Когда спросил об этом у старших, мне ответили, что «у поэта было сложное восприятие революционных преобразований в стране». В ту пору такого ответа для меня было достаточно.

Однако чуть позже, разговорившись о Блоке с нашим учителем по литературе Александром Александровичем Пластининым, чей отец был знаком с поэтом, узнал об этой «сложности» такое, что в те годы советскому юноше сложно было воспринять.

От него же я впервые услышал и определение «*невольник совести*», чего в пору моей юности по отношению к Блоку официально не произносили.

И с той поры окончательно и сознательно «заболел» Блоком, читая всё, что мог достать из написанного поэтом и о нём – в стихах и прозе. В первую очередь, конечно, его дневники, письма, автобиографию и статьи, а также воспоминания современников: тётушки и биографа поэта Марии Андреевны Бекетовой, жены Любови, Сергея Городецкого, Андрея Белого, Нины Берберовой, Зинаиды Гиппиус, Владимира Пяста, Мережковского, Горького, Чуковского, Пастернака, Ходасевича, Ахматовой, Вячеслава Иванова, Георгия Иванова, Алексея Ремизова, Всеволода Мейерхольда...

А однажды – в середине 60-х – приехал студентом в Ленинград, зашёл к своей тётушке-петербурженке и в разговоре неожиданно узнал, что она была знакома с Блоком. Её рассказы тоже в немалой степени сформировали во мне образ полюбившегося поэта – *«невольника предчувствий и обострённой совести»,* – который по сей день стоит для меня особняком.

Из всего этого – размышлений и откровений поэта, воспоминаний и впечатлений о нём его современников стал постепенно складываться тот образ , который так заворожил меня с детства. И чем больше узнавал о нём, тем сложнее, многомерней и ближе он становился. А точнее, становится до сих пор и, уверен, что пока живу, это будет продолжаться с каждым новым прочтением.

Для меня в нём сразу стало важным всё: как жил, кого и что любил и, конечно, что и КАК писал.

Слова самого поэта и его современников о нём привожу в кавычках. И

порой, чтобы не перегружать текст не указываю имя автора, о котором или нетрудно догадаться, или неважно, поскольку многие из них, по сути, так и говорили.

***

Будущий поэт родился 16 (28) ноября 1880 года в доме своего деда в Петербурге и рос в любви. Его с самого рождения окружали прабабушка, бабушка, мама, тётки, няня...

Больше того, стоило малышу заплакать, как сам знаменитый профессор ботаники, ректор Петербургского университета Андрей Николаевич Бекетов – дед по линии мамы – брал его на руки, прохаживался с ним по всему дому, часто подносил к окну, показывая кораблики на Неве.

Может, от этого на всю жизнь у него осталась необычайная тяга к кораблям. В детстве выпускал рукописный журнал, который назвал «Кораблик», а много позже появятся его знаменитые строчки:

....Мир стал заманчивей и шире,
И вдруг – суда уплыли прочь.
Нам было видно: все четыре
Зарылись в океан и в ночь.

И вновь обычным стало море,
Маяк уныло замигал,
Когда на низком семафоре
Последний отдали сигнал...

Как мало в этой жизни надо
Нам, детям, – и тебе и мне.
Ведь сердце радоваться радо
И самой малой новизне.

Случайно на ноже карманном
Найди пылинку дальних стран –
И мир опять предстанет странным,
Закутанным в цветной туман!

Дедушка стал его первым другом. Они играли в разбойников, переворачивая квартиру вверх дном, ходили гулять... Из года в год прогулки становились всё более продолжительными, и возвращались с них нередко перепачканными, но с «трофеями»: какой-нибудь необыкновенной фиалкой, неизвестной разновидностью папоротника...

И получилось, что дед заменил ему отца, с которым у матери «не сложилось», и они расстались сразу после рождения сына. Но это отдельная история. О ней он многое скажет потом – в своём знаменитом «Возмездии»...

Раннее развитие и красота мальчика восхищали всех, включая почтенных профессоров – коллег и товарищей деда. Знаменитый Дмитрий Иванович Менделеев познакомил юного Сашу со своей дочкой, которая была годом моложе его. И на набережных Петербурга прохожие оборачивались, чтобы полюбоваться прелестными детьми, гулявшими под присмотром нянь...

Он обожал животных и дружил со всяким зверьём: дворовыми псами, кошками, ежами, ящерицами... Может, поэтому первое стихотворение, сочинённое пятилетним мальчиком звучит так:

Жил на свете котик милый,
Постоянно был унылый, –
Отчего – никто не знал:
Котя это не сказал.

***

Самым дорогим ему человеком была мать Александра Андреевна. И все это замечали. Казалось, какие-то тайные узы соединяют их, не прерываясь ни на миг. Их взаимная привязанность проявлялась в постоянном беспокойстве и почти болезненной обоюдной заботливости.

Долгие годы мать оставалась его лучшей советчицей и самым близким другом.

Нервная, со слабым зрением женщина, которая мечтала об идеальной любви, но так и не обрела этого счастья, видела в сыне единственную надежду «*ускользнуть от такого небытия*».

У неё были явные способности переводчика – переводила с французского – стихи и прозу: Бальзак, В.Гюго, Флобер, Золя, Мюссе, Додэ, Бодлер, Верлен... В молодости писала стихи, но печатала только детские.

Когда мальчику было девять лет, она, «*желая дать ему отца*» и, может быть, уйти от тяжёлых воспоминаний первого замужества, вновь вышла замуж – за офицера Кублицкого.

Однако именно сын стал для неё единственной опорой, способной придать смысл её жизни. И он всегда был рядом даже в недолгих разлуках...

***

Но пока его жизнь состоит из игр, прогулок, волшебных сказок. И всё, что мальчику дорого, он старается держать под рукой: зверьё, парусники, которые пускает плавать по озеру, картон, бумагу и клей, чтобы переплетать книжки и мастерить кораблики.

Раз в год отец Александр Львович Блок, профессор Варшавского университета по кафедре государственного права, приезжает повидаться с сыном, но каждый раз убеждается, что разговаривать им не о чем. К тому же с наступлением отрочества и юности сын становится всё более молчаливым: хотели научить его французскому, но он так мало говорил с гувернанткой-француженкой, что пришлось её уволить.

Задумчивость и молчаливость заметно ослабевали, стоило ему летом попасть в загородное имение Шахматово, где, по его словам, он чувствовал себя привольнее всего.

Имение нисколько не напоминало дворянскую усадьбу. Окружённый густым садом дом был очень скромным. Профессор Бекетов купил его главным образом потому, что неподалёку жил его друг – профессор Менделеев.

Позже имение перейдёт по наследству Блоку и Шахматово станет знаменитым, благодаря имени поэта.

А пока расположенный на полпути из Петербурга в Москву в чаще бескрайнего казённого леса дом еле виден за столетними липами. К озеру ведёт еловая аллея, в глубине которой – заросли старых деревьев, кустов жасмина, сирени, шиповника... И всё это нравится хозяевам больше, чем «регулярный английский парк».

Именно здесь мальчик учился ходить, говорить, читать и полюбил животных. Здесь берут начало и его стихи, о чём позже напишет: *«С раннего детства я помню постоянно набегавшие на меня лирические волны, еле связанные ещё с чьим-нибудь именем...»*.

***

В четырнадцать лет он – главный редактор журнала «Вестник», выходившего в одном экземпляре. Журнал семейный: бабушка сочиняет поэмы, мама – сказки, дед рисует к ним картинки. Юный Блок и сам неплохо рисует, но иллюстрации деда ему нравятся больше, и потому для журнала предпочитает их. Дяди, тёти, кузены тоже принимают активное участие своими сочинениями. А он сам не только редактор, но и автор: пишет эпиграммы, пародии на темы семейной жизни, стихи, по большей части посвящённые матери, воспевающие лунный свет, весну в Шахматове...

В шестнадцать открывает для себя театр. И это впечатление, как он потом скажет – «*перевернуло всю мою жизнь*». На театральных утренниках смотрит классические спектакли: Грибоедова, Шекспира, Мольера... Особенно поражает Шекспир накалом страстей и буйством фантазии.

Скоро он хочет играть сам. Неважно где и перед кем, важно, чтобы его готовы были слушать: монологи из «Гамлета», «Макбета»... Он уже видит себя актёром и не сомневается, что так и будет.

В семнадцать – поездка в Германию на курорт Бад-Наугейм. Сопровождает любимую маму, страдающую сердечным и нервным заболеваниями, которые с годами усилятся.

Все обращают внимание, насколько он хорош собой, задумчив, молчалив, в несколько старомодной манере декламирует Фета, Майкова, Полонского, Апухтина... и мечтает сыграть Гамлета в качестве профессионального артиста.

Как и большинство его сверстников, он ещё немного ребячлив, но уже заметно и некое щегольство. Ненасытная любознательность и неуёмная жажда знаний в нём не замечены. Впоследствии он тоже не пристрастится к «запойному» чтению: не увлекают его чужие мысли. Всецело отдаётся лишь собственным чувствам, волнениям, помыслам...

Именно они отражены в его творчестве той поры, когда хоть и не видны ещё особые литературные задатки, но зато отчётлива самостоятельность писания без намёка кому-то подражать, чем грешит подавляющее большинство юных, берущихся за перо.

Здесь же в Германии, в приятной обстановке светского курортного городка, вдали от всех тревог и обязательств встретит и переживёт он свою первую любовь. Любовь безмятежную, нежную и прекрасную, полную юношеской свежести. И хотя она – Ксения Садовская – замужем и намного старше, но настолько красива и чарующа, что остальное не имеет значения...

Память о ней поначалу запечатлена в нескольких стихах – «*пока не очень выразительных, но наполненных высокой степенью романтизма, чистотой и накалом юношеских чувств*». Эти строчки мало кто приводит, потому что в них ещё не проглядывается будущий Блок, с чем полностью согласен ...

Влюблённые вновь встретятся в Петербурге. Но их любовный пыл к тому времени угасает. Свидания становятся всё реже и постепенно прекращаются.

Однако для юного Блока первое пробуждение таких сильных чувств останется на годы, если не навсегда. Во всяком случае, двенадцать лет спустя в его цикле «Через двенадцать лет», состоящем из 8 стихотворений, в последнем из них идут такие строки:

...Жизнь давно сожжена и рассказана,
Только первая снится любовь,
Как бесценный ларец перевязана
Накрест лентою алой, как кровь...

Эта юность, эта нежность –
Что для нас она была?
Всех стихов моих мятежность
Не она ли создала?

В отличие от юношеских стихов эти стихотворения уже написаны рукой Мастера...

***

О том, что его юношеские стихотворения не свидетельствовали о каких-либо особых поэтических задатках, он впоследствии неоднократно скажет сам. Да и современники отмечали, что стихи юного Блока «*мало чем примечательны*», и что в нём лишь зарождалось то, чему предстояло стать ЕГО поэзией. А пока зачатки будущих идей и форм бродили в его душе, притягиваясь, отталкиваясь и до времени не находя себе места.

Сам же он в «Автобиографии» напишет*: «Серьёзное писание началось, когда мне было около 18 лет. Года три-четыре я показывал свои писания только матери и тётке. Всё это были лирические стихи, и до времени выхода первой моей книги «Стихов о Прекрасной Даме» их накопилось до 800, не считая отроческих. В книгу из них вошло около 100. После я печатал и до сих пор* (1915 г.) *печатаю кое-что из старого в журналах и газетах.* (Это *«кое-что»* составит ещё 64 стихотворения. – *Г.Б.*)

Семейные традиции и моя замкнутая жизнь способствовали тому, что ни строки так называемой «новой поэзии» я не знал до первых курсов университета. Здесь, в связи с острыми мистическими и романтическими переживаниями, всем существом моим овладела поэзия Владимира Соловьёва...».

***

И теперь – чуть подробнее о зачатках его будущих поэтических идей: их истоках, или о том, что Блок назвал «новой поэзией».

Дело в том, что в конце девятнадцатого века в России образовался некий вакуум выдающихся поэтических имён. К этому времени ушли из жизни последний поэт-романтик Фет и последний классицист Майков. С их уходом будто обрывалась ниточка, шедшая от пушкинской плеяды. И к 1890-м годам, которые позже назовут «эпохой политической реакции», начинается и литературное безвременье. Потом оно получит определение эпохи «примитивной гражданственности». Её суть состоит в том, что к месту и не к месту среди людей, пишущих в разных жанрах художественной литературы, постоянно звучат слова Некрасова:

Поэтом можешь ты не быть,
Но гражданином быть обязан.

От писателя требуется, чтобы он служил *только* общественным интересам. Романист, например, обязан изображать жизнь своих героев и общественную среду как можно точнее и подробнее. Он «*должен способствовать решению политических и социальных проблем*». От поэта требовалось сострадание к «*страдающим братьям*» или борьба «за *лучшее будущее*». И если всё это в произведении есть, то вполне достаточно, чтобы считать его состоявшимся.

Даже, если оно абсолютно «*без божества, без вдохновенья*».

Поэтому, в конечном счёте, и случилось так, что общественное мнение

тех лет пошло вразрез с великой русской литературной традицией: Гоголь оставался непонятым, Достоевского тоже не понимали и, по большей части, отвергали, Пушкин, Тютчев, Лермонтов... будто и не «*подняли художественное слово на заоблачную высоту*».

Конечно, «гражданское» направление в искусстве имеет глубокие психологические корни и безусловные нравственные достоинства. Но, когда эти корни лишаются эстетических установок, произведение не становится художественным.

К концу же девятнадцатого века эти установки крайне убоги. Русская критика того времени решительно отделяет форму от содержания: теперь «*лишь тема делает произведение значительным*». А форме придаётся вспомогательная роль. От поэзии требуется *только* соблюдение простейших правил стихосложения. Любая усложнённость воспринимается позёрством, которое обличают, как постыдную измену «*общему делу*» и проявление «*реакционности*».

Такое положение дел привело к тому, что поэты стали искать прибежище в философии, цыганщине или бесплодном подражании классикам.

И в литературе этой поры наблюдается парадокс: каждая строчка Толстого становится событием, Чехов достигает вершины славы, а поэзия оскудевает.

Однако, ненадолго.

***

В какой-то момент «*ударил в набат французский символизм*». Он будто *«дал сигнал к восстанию»*. А девизом к этому восстанию стали слова французского поэта, одного из основателей литературного импрессионизма и символизма, Поля Верлена: *«De la musique avant toute chose...»* (Музыка прежде всего).

Эти слова станут девизом сразу для нескольких молодых поэтов, в основном в Москве и Петербурге. И именно они дали толчок тому, что позже назовут «русским символизмом».

В Москве первыми последователями такого направления будут Брюсов и Бальмонт, в Петербурге – Зинаида Гиппиус и Дмитрий Мережковский. Их всех позже назовут *«старшими символистами»*.

Конечно, третий закон Ньютона о том, что всякое действие вызывает равное и противоположно направленное противодействие, применим не только к физическим телам, а универсален во всём обозримом пространстве. И потому «потребительское» отношение к поэзии конца девятнадцатого века привело к обратному: перехлёсту в сторону формы.

Вот и Брюсов с Бальмонтом услышали в словах Верлена призыв к другой крайности: именно работа над формой, настоящий её культ стали для них основой и главной движущей силой их поэзии. Произошло это вполне естественно, поскольку, по словам Ходасевича, *«ни у Бальмонта, ни* у *Брюсова не было никакой положительной программы – философской, религиозной или общественной. У них имелись лишь литературные убеждения, ограниченные поэтической формой, и сама их поэтическая практика по сути оставалась формальной»*.

Отсюда и ставшие скоро знаменитыми строчки Брюсова:

Быть может всё в мире лишь средство
Для ярко певучих стихов,
И ты с беспечального детства
Ищи сочетания слов.

В моде становятся поэты, недостаток мысли которых возмещается из-

бытком чувства и для кого, по выражению Ходасевича, главное – *«лихорадочная погоня за эмоциями, безразлично за какими»*.

Правда, это в основном в Москве, где очень сильно влияние Брюсова.

В Петербурге же, где испокон веков почти всё и всегда не так, как в Москве, поэтическая революция идёт в ином русле. *Вместо новой формы предлагается новое содержание*. Мережковский, например, изберёт для себя религиозную тему, которую прежняя литературная критика полагала реакционной и подвергала гонениям.

Но его религиозность ни в коей мере не догмат. Она лишь – нравственная основа. Он заботится о воспитании и критика, и читателя, приучая их видеть в литературе прежде всего глубочайшую философскую сторону.

После знаменитой речи Достоевского о Пушкине именно Мережковский первым обратился к смыслу и пророческому значению русской литературы, рассказывая и опираясь на новое прочтение не только Пушкина, а и Достоевского, Толстого, Гоголя, Лермонтова...

Зинаиде Гиппиус тоже близки эти позиции. И потому они – соратники: оба отводят одинаковую роль форме и содержанию...

Такая обстановка сложилась в литературной жизни России к тому времени, когда Блок начинает уже серьёзно относиться к написанию своих стихов.

***

Начинает он этот этап с увлечения, как мы уже знаем, поэтом-философом Владимиром Соловьёвым. Поначалу мистика и гностицизм, какими были пронизаны стихотворения этого автора, очень импонировали юноше.

Позже Блок поймёт, что «*Соловьёв-мыслитель сильнее, чем Соловьёв-поэт и его прозаические произведения значительнее его стихов*». И ещё напишет: *«До сих пор мистика, которой был насыщен воздух последних лет старого и первых лет нового века была мне непонятна; меня тревожили знаки, которые я видел в природе, но всё это я считал субъективным и бережно оберегал от всех... Трезвые и здоровые люди, которые меня тогда окружали, кажется, уберегли меня тогда от заразы мистического шарлатанства, которое через несколько лет после того стало модным в некоторых литературных кругах...»*.

А Нина Берберова, анализируя это увлечение, скажет: «*....к 1898 году его захватила одна идея: Вечная Женственность стремится воплотиться в его поэзии не как объект зарождающейся любви, но как смысл и цель мироздания. Именно тогда Блок открыл для себя поэзию Владимира Соловьёва, неразрывно связанную с образом Вечной Женственности. Эта поэзия – перегруженная идеями, апокалиптическая, насквозь пронизанная духом второй части «Фауста», велеречивая – безнадежно устарела в наших глазах. Но юного Блока она потрясла; благодаря ей внезапно обрело форму всё то, что давно шевелилось в нём...»*.

***

Пока это *«шевелится в нём»,* он продолжает верить, что его истинное предназначение – театр. Хотя на любительской сцене в доме будущей невесты он не столько играл, сколько декламировал – Скупого рыцаря, Чацкого, Гамлета. Особенно любил монолог Гамлета, вслушиваясь в звучание стихов, в музыку слов. Играл и в водевилях Но *ни в одну роль не вживался...*

Однако друзья и близкие хвалят. Их привлекает красота, изысканность, низкий тембр голоса и романтический облик юноши, от которого исходит очарование возраста.

Люба Менделеева играет Офелию. Красивая, высокая златовласая и сероглазая, румяная и темнобровая, она скорее напоминает Валькирию, чем Офе-

лию. И тем не менее именно в сцене безумия имеет оглушительный успех.

Они оба увлечены театром и Шекспиром. Блок – частый и желанный гость в имении Менделеевых. Нередко приезжает верхом в костюме принца Датского. И в стихах его появляются берет, перо, бант... В них появилась и Люба в роли Офелии – песенка, которую он для неё переделал, её венок, её безумная улыбка... В частности, такие слова песенки:

Разлучаясь с девой милой,
Друг, ты клялся мне любить!..
Уезжая в край постылый
Клятву данную хранить!..

Там, за Данией счастливой,
Берега твои во мгле...
Вал сердитый, говорливый
Моет слёзы на стекле...

Милый воин не вернётся,
Весь одетый в серебро...
В гробе тяжко всколыхнётся
Бант и чёрное перо...

Позже он напишет, что его «*лирические стихотворения... с 1897 года можно рассматривать как дневник...*». А ещё напишет: *«Помню ночные возвращения* (из имения Менделеевых) *шагом, осыпанные светлячками кусты, темень непроглядную и суровость ко мне Любови Дмитриевны*».

И хотя потом она признается ему, что ждала его с нетерпением, сильнее этого нетерпения было желание не показать своих чувств. Оттого и виделась ему зачастую *«суровой, гордой, серьёзной и надменной барышней»*, которая влекла всё сильней и сильней...

***

Незаметно наступает век двадцатый. В течение первых его лет Блок всецело поглощён мистикой, любовью и поэзией, которая в нём уже полностью «*расшевелилась*». И уже отчётливо проглядывают поэтические черты будущего – неповторимого Блока:

Я шёл во тьме дождливой ночи
И в старом доме, у окна,
Узнал задумчивые очи
Моей тоски. – В слезах, одна
Она смотрела в даль сырую...
Я любовался без конца,
Как будто молодость былую
Узнал в чертах её лица.
Она взглянула. Сердце сжалось,
Огонь погас – и рассвело.
Сырое утро застучалось
В её забытое стекло.

Его творчество совершенствуется, становится мощным и цельным. Причём, *«расшевелилось»* настолько сильно и ярко, что рождается изумительный,

поразивший современников цикл: «Стихи о Прекрасной Даме», который останется в русской литературе высоким образцом чистоты и возвышенности.

И всем уже очевидно, что появился Поэт, потому что НЕ Поэт в двадцать лет не напишет:

Душа молчит. В холодном небе
Всё те же звёзды ей горят,
Кругом о злате или хлебе
Народы шумные кричат...
Она молчит и внемлет крикам,
И зрит далёкие миры,
Но в одиночестве двуликом
Готовит чудные дары,
Дары своим богам готовит
И, умащённая, в тиши,
Неустающим слухом ловит
Далёкий зов другой души...

Так – белых птиц над океаном
Неразлучённые сердца
Звучат призывом за туманом,
Понятным им лишь до конца.
3 февраля 1901 г.

Этот цикл получает серьёзный резонанс в поэтических и читательских кругах России. В частности, стихи производят очень сильное впечатление на молоденького московского поэта Бориса Бугаева, ставшего впоследствии знаменитым Андреем Белым...

***

В Москве и Петербурге стихи Блока нарасхват. В марте 1903 года они одновременно появились в брюсовском альманахе «Северные цветы» и в «Новом пути», которым руководит Мережковский. Но критики, воспитанные на «установках» конца прошлого века, к нему суровы: его, как Бальмонта и Мережковского, не вдаваясь в существенные индивидуальные различия между ними, определяют одним словом – декаденты.

Однако мнение *такой* критики Блока не смущает. Он уже знает себе цену. Да и грядёт чудесное событие – не за горами свадьба. Прекрасная Дама, чьи следы поэт так часто искал на городских улицах, согласна стать его женой ...

Венчание произвело на него неизгладимое впечатление. Александра Андреевна и старик Менделеев плакали от волнения и радости. Новобрачная в белоснежном батистовом платье и притихший, сосредоточенный Блок вышли из церкви. Их поджидала тройка: на козлах – кучер в ярко-розовой рубахе, в шапке, украшенной пером. Крестьяне пели хором, подносили им белых гусей, хлеб-соль...

Вернувшись в Петербург, продолжают учёбу. Он – студент-филолог университета, она учится на историко-филологическом факультете Высших женских курсов...

***

В 1922 году Андрей Белый опубликует свои воспоминания о Блоке. И в них 1899-1901 годы назовёт «*годами зорь*». Он напишет, что «*До 1898 года дул*

северный ветер под северным небом. «Под северным небом» – заглавие книги Бальмонта; оно – отражает кончавшийся девятнадцатый век; в 1898 году – подул иной ветер; почувствовали столкновение ветров: северного и южного; и при смешеньи ветров образовались туманы: туманы сознания. В 1900-1901 годах очистилась атмосфера; под южным ласкающим небом двадцатого века увидели мы все предметы иными...».

Именно такое настроение царит в зарождающейся литературе: «*И старое отделилось от нового» как вода и земная твердь при сотворении мира*». А для молодого московского студента-математика, делавшего первые шаги в литературных кругах Москвы и Петербурга, Блок уже в ту пору был «*единственным выразителем наших дум: дум священных годов»,* о чём он позднее и скажет. На протяжении жизни у них будут сложные, очень неровные отношения, но это не коснётся поэзии Блока, к которой Белый всегда будет относиться трепетно.

А пока они оба увлечены словами Гёте:

Alles Vergangliche ist nur ein Gleichniss (Всё преходящее – лишь символ) – словами, которые послужили отправной точкой для «*младшего» поколения символистов*. А их временный духовный наставник Владимир Соловьёв, опираясь на эту мысль Гёте, напишет:

Милый друг, иль ты не видишь,
Что всё видимое нами
Только отблеск, только тени
От незримого очами?..

И различить нетленное в преходящем, вечное во временном, сокровенное в зримом – вот что «*младшие» символисты* считали истинной задачей всякого искусства.

Чтобы решить эту задачу, нужно было *«заново открыть при помощи интуиции и усвоить разумом преходящее, обычно познаваемое при помощи чувств»*. С этой точки зрения *«художественное творчество преображает действительность: искусство – не только претворение хаоса в космос, но и постоянное, нескончаемое превращение»*.

Из этого следует, что *«временная реальность предстаёт нам и может быть познана как череда образов»*. Следовательно, художник, воспринимая эту реальность преобразует её в цепочку символов. Сам же символ – *«это образ, но изменённый и как бы озарённый жизненным опытом. И он принадлежит форме постольку, поскольку остаётся образом; но в то же время он и сущность, – в той мере, в какой через него открывается путь к познанию того, что скрыто за поверхностью вещей. Самим своим рождением символ одновременно порождает неотделимую от него сущность. В подлинном искусстве форма неотделима от содержания; она и есть содержание»*.

Вот на таких позициях стояли «*младшие» символисты.* Да, в конечном счёте, наверное, и *«старшие»,* поскольку из приведённого кредо видно, что символизм по сути не отрицает ни реализма, ни романтизма, ни классицизма.

Он лишь подчёркивает, что реализм, романтизм и классицизм это – тройственное проявление единого принципа творчества, поскольку всякое произведение искусства – символично.

И потому как «*старый*», так и «*новый*» символизм ничего нового в определении искусства не сказали, а лишь свели к единству мысль о том, что смысл красоты в *художественном образе*, а не в эмоциях, которые возбуждает

в нас образ, и не в рассудочном его толковании. А художественный образ создаётся с помощью известных символов, таких как метафора, гипербола... вызывающих определённые эмоциональные ассоциации...

Потом и сами *«революционеры-символисты»*, по словам Ходасевича, *«придут к тому, что ничего нового не изобрели, а лишь систематизировали то, к чему давно и спонтанно пришли в искусстве их выдающиеся предшественники...»*.

Но пока символизм в моде. И, ставшего сразу его ярким именем, молодого Блока ждут в Москве. Белый очень хочет представить его московской публике, хотя Брюсов, тогдашний «*властитель дум*» первопрестольной, настроен враждебно. Да, напечатал стихи Блока в своих «Северных цветах», но лишь потому, что о молодом поэте пошла молва, и такая публикация сулила дополнительную популярность альманаху.

Не разглядел он в Блоке великого поэта, которому суждено будет затмить его временную славу, – настолько, что для будущих поколений Брюсов представит лишь исторический интерес.

Но пока он ещё чувствует себя кумиром, лидером русской поэзии, и ему не по нраву вольное поведение этого *«нового»* – Белого, который усиленно зовёт Блока выступить в Москве...

После первого обмена письмами между молодыми поэтами завязалась переписка, в которой отражаются все перемены в душевном состоянии Блока. Он всё сильнее погружается в философию Владимира Соловьёва и много занимается в университете.

Пишет тоже много, *«разделяя все пороки своего вре*мени», как позже скажет. Скажет и о том, что *«болезненно переживал глубокое отчаяние, терзавшее его современников, подобно гнетущей скуке, от которой страдали его герои...»*. И это не просто один из ликов его романтизма – отчаяние *«разлито в воздухе»*, а Блок, как и ранее Пушкин или Лермонтов, неотделим от своей эпохи. Он носит в себе щемящую тоску, сильную тревогу, смутное беспокойство:

Мы всюду. Мы нигде. Идём,
И зимний ветер нам навстречу.
В церквах и в сумерки, и днём
Поёт и задувает свечи.

И часто кажется – вдали,
У тёмных стен, у поворота,
Где мы пропели и прошли,
Ещё поёт и ходит Кто-то.

На ветер зимний я гляжу:
Боюсь понять и углубиться.
Бледнею. Жду. Но не скажу,
Кому пора пошевелиться.

Я знаю всё. Но мы вдвоём.
Теперь не может быть и речи,
Что не одни мы здесь идём,
Что Кто-то задувает свечи.

Правда, счастливые дни смягчают и приглушают боль. Но полностью она не уходит. А первые годы жизни с Любой – 1903-1904, – когда *«суровая богиня»* снизошла к нему, стали для него самыми счастливыми, о чём он не раз скажет...

В январе 1904 года, через полгода после свадьбы, они приехали в Москву. Все видят в них дружную пару, которая вызывает всеобщее восхищение. Изящная юная дама и кудрявый молодой человек с *«крепко стянутой талией»* позвонили в дверь квартиры, где жил Белый и его мать. Истинный петербуржец, светский, несколько заторможенный, Блок был введён в гостиную, где *«ненужно сутулясь, весь изгибаясь, то вырастая, то на глазах уменьшаясь, их шумно приветствовал Белый»*.

Брюсов и его окружение с любопытством разглядывают Блока. Интерес к нему велик, и никто не думает этого скрывать...

Он ежедневно пишет матери, сообщая обо всех событиях московской жизни. А она бурлит: встреч и выступлений много. Он уже известен и любим. С издательством «Гриф» подписан договор, там выйдет его первый стихотворный сборник.

Демон и *«маг»* Брюсов его пленяет. И это неудивительно. Кто в начале века мог сравниться с Брюсовым. Бальмонт быстро спивался; слава его стремительно меркла. Сологуб, хотя и был старше Блока, только начинал писать. Зинаида Гиппиус – крупный поэт, но слишком поглощена своими философскими, богословскими и политическими увлечениями. Вячеслава Иванова в России тогда не было, он ещё учился за границей. А Мережковский окончательно забросил поэзию ради романов и философских очерков. Брюсов же был рядом и всеми признан.

Но это очарование длится год, затем внезапно исчезает*: «Что прошло, то прошло»* скажет он в одном из писем своему дальнему родственнику – поэту и историку Сергею Соловьёву. А *«прошло»* потому, что скоро станет находить в поэзии Брюсова *«много перепетого у самого себя»*...

Вернувшись в Петербург, Блок вдруг болезненно ощутит *«как холоден этот город»*. Он скучает по Москве, где *«цвёл сердцем»* Белый и так тепло его – петербуржца, принимали...

«Стихи о Прекрасной Даме» закончены, и неожиданно свершилось то, что Блок смутно предчувствовал в 1902 году, чего он боялся; никто ещё не ведал об этом, он и сам едва что-то почувствовал:

Но страшно мне: изменишь облик Ты!

И страх был не напрасен – *«облик Её изменился»*. Последние несколько лет Блок жил мистикой, романтической поэзией, которые неразрывно связаны с *Нею – его «Прекрасной Дамой»*. Но *«ныне они исчерпаны»*. Сами же стихи могут быть прочитаны как история любви...

Но была ли она действительно его женой? *«Существует стойкое предположение, что брак их остался фиктивным, и это омрачало «счастливую» пору молодожёнов»* – скажет позже Нина Берберова. Скажет о том, что будет на устах многих его современников, наблюдавших личную жизнь поэта.

Хотя в те годы среди молодых людей «авангарда», *«изломанных разными мистическими философскими течениями»,* ТАКОЕ *«обожествление»* своих любимых наблюдалось и мало кого удивляло.

***

Летом 1904 года в Шахматово приехали погостить Белый и Сергей Соловьёв. Гостеприимство Александры Андреевны, красивые места, старый дом в саду, полном цветов, мирская упоительная жизнь, над которой царила Любовь Дмитриевна, *«молчаливая, но уверенная в себе и уже принимавшая как должное поклонение, которым окружали её друзья мужа»,* – всё это совершенно очаровало молодых людей.

К тому же они тоже были во власти разного рода философских течений, которые *«сильно отрывали от земли, нередко мешая нормально жить»*. Так в малейших Любиных поступках гости усматривали пророческий смысл. Была ли она сегодня в красном? Из этого немедленно делались всевозможные выводы. Переменила причёску? И в этом тоже – *«знак»*...

В том, что Блок тогда писал, нет и следа ревности...

После обеда прогуливались. По вечерам на террасе разгорались горячие споры. Люба хранила молчание. Блок, от природы немногословный, позволял высказаться другим...

В эти несколько недель они с Белым сдружились ещё больше: *«это братство пройдёт сквозь все их грядущие разногласия»*. По старинному обычаю они обмениваются рубашками, и Белый расхаживает в расшитой лебедями красивой сорочке, которую Люба вышила для мужа.

«*Расходились поздно. Люба и Блок шли спать в розовый флигель. Гости не могли заснуть: они прогуливались и всё что-то обсуждали*» – вспоминает Александра Андреевна.

Белый отличается редкой непосредственностью. Он торопится признаться Блоку в своих чувствах к Любови Дмитриевне. Атмосфера сгущается.

Но больше всего Блоку докучает бесконечная «*мистическая игра в символы Любиных поступков*».

Гармония постепенно нарушается...

Но дружба не распалась. В конце лета, перед отъездом Андрей Белый вновь излил душу с бесконечными объяснениями. Всё, что мог ему посоветовать Блок, – *«поскорее покончить с влюблённостью»*. Так считала и Любовь Дмитриевна. Белый пообещал...

На следующий год они снова приедут с Сергеем Соловьёвым. Но *«треугольника»* уже не будет. Революция 1905 года наложит на Блока глубокий отпечаток: он станет ещё серьёзнее и даже сумрачным...

А в августе этого года у него случится одно из самых изумительных стихотворений не только в русской, но и мировой поэзии:

Девушка пела в церковном хоре
О всех усталых в чужом краю,
О всех кораблях, ушедших в море,
О всех, забывших радость свою.

Так пел её голос, летящий в купол,
И луч сиял на белом плече,
И каждый из мрака смотрел и слушал,
Как белое платье пело в луче.

И всем казалось, что радость будет,
Что в тихой заводи все корабли,
Что на чужбине усталые люди
Светлую жизнь себе обрели.

И голос был сладок, и луч был тонок,
И только высоко, у царских врат,
Причастный тайнам, – плакал ребёнок
О том, что никто не придёт назад.

Позже, когда он прочтёт стихотворение на знаменитой в те времена *«башне*

Вячеслава Иванова», слушавшие его, по словам К.И. Чуковского, сойдутся во мнении, что *«даже, если бы Блок написал только это стихотворение, он вошёл бы в историю мировой поэзии»*.

Видно, и для него «*девушка*» много значит, потому что именно этим стихотворением он станет закачивать свои поэтические вечера, включая последний...

***

А пока гости на даче в Шахматово. Белого терзают его поэтические концепции, неосуществимая любовь к Любе, братская привязанность к Блоку и в то же время – предчувствие разлада, который исподволь подтачивает их отношения.

До самого конца он будет относиться к Блоку *«как к брату, а к себе – как к одержимому»*...

Любовь Дмитриевна теряет терпение: мучительное чувство, которое Белый к ней испытывает, стесняет и удручает её, хотя оно, по словам Нины Берберовой, *«больше напоминает поклонение инока Мадонне, чем преклонение рыцаря перед дамой»*.

Утомляет её и «*болтовня*» Соловьёва: она находит её *«надуманной и фальшивой»*. Смысл его *«болтовни»* состоит в том, что Соловьёв возражает против *«непоследовательности»* новых мотивов в поэзии Блока, наблюдаемых, что уже отмечено, после 1905 года. Блок же не приемлет стихов *«этого богослова, который пытается втиснуть в рифмы свои религиозные устремления»*.

Постепенно взаимопониманию и согласию в доме в Шахматово приходит конец. Да и Александре Андреевне тоже разонравился Сергей, а также, тяготит присутствие Белого. Она, как никто другой чувствует, что сын «*вышел на какой-то новый – более высокий уровень в своей поэзии»,* а Соловьёв и Белый по-прежнему призывают его:

Отлетим в лазурь!

Постепенно эти споры и призывы раздражают Александру Андреевну всё больше. В какой-то момент очередное недоразумение между ней и Сергеем приводит к ссоре недавних друзей. Белый принимает сторону Сергея, и они оба возвращаются в Москву. Туда, где Брюсов, шумная толпа учеников и поклонников этого *«мага»,* литературные альманахи, собрания и жизнь полная раздоров и болтовни.

А Блок с Любой остаются в Шахматово. Она попросила Белого больше не писать к ней: ей нечего ему сказать. И на время Андрей Белый исчезнет из жизни Блока...

***

Блока серьёзно волнуют события 1905 года. В Петербурге он *«мечется по улицам, слушает, о чём говорят люди, и внезапно осознаёт, что существует иная жизнь, жизнь народа, бурная, суровая, значительная, ничем не похожая на ту, что он знал до сих пор: возможно, это и есть подлинная жизнь»* – вспомнит К.И. Чуковский.

Для Блока нет сомнений, что народ освободится сам – ему не нужна ни помощь болтливых политиков, ни умеренная консервативная буржуазия, *«с её постоянной оглядкой на европейское общественное мнение и страхом перед кровопролитием»*.

Он говорит всё меньше, а когда говорит, то *«едва разжимает губы»*. Смех его смолк, улыбка стала серьёзной, *«вокруг голубых с прорезью глаз залегли*

тени». Пристальный взгляд неподвижен. Он выглядит оцепеневшим: те, кто его недолюбливают, говорят, что *«он словно деревянный»*...

Может, потому, что уже живёт предчувствием, о котором скажет: *«Мы ещё не знаем в точности, каких нам ждать событий, но в сердце нашем уже отклонилась стрелка сейсмографа. Мы видим себя уже как бы на фоне зарева...»*.

А у Любы именно в это время впервые появляется желание стать актрисой. Она старается внушить Блоку мысль писать для театра.

Но пройдёт ещё больше года, прежде чем он начнёт это делать...

Пока же *«расплодились салоны, редакционные кабинеты, журналы»,* где он – желанный: его всюду приглашают и ждут. И поскольку жить как на необитаемом острове в столице сложно, приходится встречаться и знакомиться с людьми.

Дмитрий Мережковский и его жена Зинаида Гиппиус были в начале века центром притяжения петербургской элиты. Подобно Брюсову в Москве, они окружены поклонниками здесь. Но, в отличие от Брюсова, к ним тянутся *«мыслители»,* а не *«творцы»*. И, если в Москве крен увлечений в сторону необычной рифмы или стиха Рембо, здесь в почёте глубокая, самобытная мысль...

Гиппиус рассматривает его в свою лорнетку с любопытством, симпатией, приветливо и... скептически. Её удивляет женитьба на *«красивой, но довольно заурядной девушке»*. У неё собственные представления об отношениях полов – *«глубокие, необычные, и чрезвычайно передовые для того времени: обычные, нормальные браки казались ей пресными...»*.

Блок же ведёт себя очень самостоятельно: ни о чём не просит, никому не льстит...

Вплоть до 1918 года, когда они станут врагами, хорошее отношение Мережковских к Блоку почти не меняется. С ним же всё обстояло иначе. Эти люди вызывали у него целую гамму разнообразных и противоречивых чувств. Иногда он их почти ненавидел, полагая, что они *«незаметно пытаются давить на него – сделать «своей собственностью»*. А иногда *«чуть ли не хотелось целовать им руки»*.

Но, как бы то ни было, все трое многое дали друг другу...

Зимой 1905-1906 года Блок встретил ещё трёх человек, оставивших в его жизни неизгладимый след: Алексея Ремизова, с которым очень подружились, Фёдора Сологуба и Вячеслава Иванова – мыслителя, эрудита, поэта, будущего теоретика русского символизма.

В Ремизове, помимо редкого дарования, Блока привлекает *«та заразительная душевная теплота, та бескорыстная искренняя дружба»,* которой он одаривал. Никаких пылких излияний – чего Блок терпеть не мог, – но постоянная, прочная привязанность.

Первая же встреча с Сологубом привела к их мгновенной взаимной симпатии. *«Сологуб замечательный поэт – один из тех талантов, чьё развитие сокрыто ото всех. Однажды они являются в литературу уже сложившимися и умудрёнными поэтами... Вдали от шума, от борьбы партий, школ, тщеславий, живут они своей таинственной жизнью, замкнутые, скрытные, создавая свою чистую поэзию...»*.

И действительно, настоящая слава пришла к нему через много лет после его смерти.

Вдумчивостью и неприязнью к суетности, которая мешает *«дойти до самой сути»*, оказались они близки друг другу, несмотря на существенную – 17 лет – разницу в возрасте.

Вячеслав Иванов – это *«пиршество ума»*. Ему принадлежит, в частности, самый чёткий вывод, подводящий итоги отечественного символизма:

«Ближайшее изучение нашей символической школы покажет, как поверхностно было западное влияние, как было юношески непродуманно и, по существу, мало плодотворно заимствование и подражание, и как глубоко уходит корнями в родную почву её подлинное и жизнеспособное в отечественной поэзии последних полутора десятилетий». Эти слова станут основой его знаменитой работы «Заветы символизма», написанной в 1910 году...

С осени 1906 года – начало новой жизни. Блок уже известный поэт. У него собственная квартира, где принимает близких друзей; бывает *«в свете»*. В *«башне»* Иванова, на воскресных приёмах у Сологуба его встречают как дорогого и почётного гостя. И у Мережковских он всегда желанен: от славы, как от моды, не скрыться.

Но многие его стихи уже пронизывает горькая ирония и почти безысходное отчаяние:

Над чёрной слякотью дороги
Не поднимается туман.
Везут, покряхтывая дроги
Мой полинялый балаган.

Лицо дневное Арлекина
Ещё бледней, чем лик Пьеро,
И в угол прячет Коломбина
Лохмотья, сшитые пестро...

Тащитесь траурные клячи!
Актёры, правьте ремесло,
Чтобы от истины ходячей
Всем стало больно и светло!

В тайник души проникла плесень,
Но надо плакать, петь, идти,
Чтоб в рай моих заморских песен
Открылись торные пути.

Хотя «*...Чтобы от истины ходячей/ Всем стало больно и светло!..»* – строки, которые собратьями по перу, и его читателями будут признаны гениальными: *«на все времена»,* – лучик надежды дают...

Всё чаще во время одиноких блужданий по городу заходит он в жалкие притоны – не как сторонний наблюдатель, а как собрат и собутыльник пьяниц и проституток.

Такое состояние и настроение ведёт к тому, что двумя годами позже скажет:

Я пригвождён к трактирной стойке.
Я пьян давно. Мне всё равно.
Вон счастие моё – на тройке
В сребристый дым унесено...
.....
А ты, душа... душа глухая
Пьяным пьяна... пьяным пьяна.

***

Однако *«пьяным пьяна»* не так, как, допустим полвека назад у Аполлона

Григорьева, который *«пил горькую»,* чтобы забыть свою бедность, убогую жизнь захудалого дворянина, забыть жену, преждевременно постаревшую от горя и забот, своих босоногих детей, постоянно грозившую ему долговую яму и нехватку чистых рубашек, мешавшую выходить из дому. Напившись до бесчувствия, он никого не узнавал, забывая обо всём...

У Блока голова была ясной. Его разрушало не вино, а отчаяние. *«Так сложилась жизн*ь»: тут – пустота унылых лет, поиски чего-то недостающего, что он тщетно пытается обрести в цыганских песнях, бесчисленных мимолётных связях, желая забыть, во многом им придуманную как образ, что её по понятным причинам не устраивало, Любу, посвятившую себя в эти годы артистической карьере...

В его стихах, письмах, статьях, дневниках и даже фотографиях сквозит нарастающая, смертная, неотступная тоска, словно четверть века его жизни были постоянным душевным надрывом:

Опустись, занавеска линялая,
На больные герани мои.
Сгинь, цыганская жизнь небывалая,
Погаси, сомкни очи твои!

Ты ли, жизнь, мою горницу скудную
Убирала степным ковылём!
Ты ли, жизнь, мою сонь непробудную
Зеленым отравляла вином!

Как цыганка, платками узорными
Расстилалася ты предо мной,
Ой ли косами иссиня-чёрными,
Ой ли бурей страстей огневой!

Что рыдалось мне в шёпоте, в забытьи,
Неземные ль какие слова?
Сам не свой только был я, без памяти,
И ходила кругом голова...

Спалена моя степь, трава свалена,
Ни огня, ни звезды, ни пути...
И кого целовал – не моя вина,
Ты, кому обещался, – прости...

Тем не менее, даже в таком отчаянии рождается одно из самых красивых и мелодичных стихотворений мировой поэзии.

И в этом – ни на кого никогда не похожий и всегда естественный Блок.

Здесь напрашивается воспоминание Горького о событии в ресторане «Пекарь». Он привёл слова «барышни с Невского», которая, увидев в руке «клиента» книжечку Блока, рассказала: *«...Как-то осенью, очень поздно и, знаете, слякоть, туман, уже на думских часах около полуночи, я страшно устала и собиралась идти домой, – вдруг, на углу Итальянской, меня пригласил прилично одетый, красивый такой, очень гордое лицо, я даже подумала: иностранец. Пошли пешком, – тут, недалеко, по Караванной, десять, комнаты для свиданий. Иду я, разговариваю, а он – молчит, и мне было неприятно даже, необыкновен-*

но как-то, я не люблю невежливых. Пришли, я попросила чаю; позвонил он, а слуга – не идёт, тогда он сам пошёл в коридор, а я так, знаете, устала, озябла и уснула, сидя на диване. Потом проснулась, вижу: он сидит напротив, держит голову в руках, облокотясь на стол, и смотрит на меня так строго – ужасные глаза! Но мне – от стыда – даже не страшно было, только подумала: «Ах, боже мой, должно быть, музыкант!». Он – кудрявый. «Ах, извините, говорю, я сейчас разденусь.

А он улыбнулся вежливо и отвечает: «Не надо, не беспокойтесь». Пересел на диван ко мне, посадил меня на колени и говорит, гладя волосы: «Ну, подремлите ещё». И – представьте ж себе – я опять заснула, – скандал! Понимаю, конечно, что это нехорошо, но – не могу. Он так нежно покачивает меня и так уютно с ним, открою глаза, улыбнусь, и он улыбнётся. Кажется, я даже и совсем спала, когда он встряхнул меня осторожно и сказал: «Ну, прощайте, мне надо идти». И кладёт на стол двадцать пять рублей. «Послушайте, говорю, как же это?». Конечно, очень сконфузилась, извиняюсь, – так смешно всё это вышло, необыкновенно как-то. А он засмеялся тихонько, пожал мне руку и – даже поцеловал. Ушёл, а когда я уходила, слуга говорит: «Знаешь, кто с тобой был? Блок, поэт – смотри!». И показал мне портрет в журнале, – вижу: верно, это он самый. «Боже мой, думаю, как глупо вышло».

А дальше – уже Горький: *«И действительно, на её курносом, задорном лице, в плутоватых глазах бездомной собачонки мелькнуло отражение сердечной печали и обиды. Отдал барышне все деньги, какие были со мной, и с того часа почувствовал Блока очень понятным и близким»...*

***

Почти смолк его смех, постепенно исчезла и улыбка. Он всё реже и реже вступает в разговоры. *«Некогда румяное лицо его пожелтело, потом приобрело землистый оттенок. Волосы из золотистых стали пепельными, начали выпадать. В его стихах догорели и зори и «закаты». Остались одни туманы, снежные бури, вьюги...»* – скажет Мария Андреевна Бекетова...

В двадцать шесть он завершает поэтический сборник, «Нечаянная радость». И все, кто считали Блока «Поэтом Дамы», «Певцом Красоты», разочарованы: *«Что за бледная, непрочная эта радость, смешанная с горькой иронией!»* – будет раздаваться в литературных салонах, где стали привыкать к воспеванию «Прекрасной Дамы». Конечно, трудно перейти к тому, что сейчас его мотив:

Полюби эту вечность болот,
Никогда не иссякнет их мощь.
Этот злак, что сгорел, – не умрёт.
Этот куст – без истления – тощ.

Эти ржавые кочки и пни
Знают твой отдыхающий плен.
Неизменно предвечны они, –
Ты пред Вечностью полон измен.

Одинокая участь светла.
Безначальная доля свята.
Эта Вечность Сама снизошла
И навеки замкнула уста.

Предваряя сборник, Блок пишет: *«Нечаянная Радость – это мой образ*

грядущего мира... над миром, где всегда дует ветер, где ничего не различить сквозь слёзы, которыми он застилает глаза, – Осень встаёт, высокая и широкая. Раскидывается над топью болот и золотою короной лесов упирается в синее небо. Тогда понятно, как высоко небо, как широка земля, как глубоки моря и как скорбна душа. Нечаянная радость близка. Она смотрит в глаза мне очами синими, бездонными и незнакомыми, как очи королевы Ночной Фиалки, которая молчит и прядёт. И я смотрю на неё, но вижу её, как бы во сне. Между нами нет ничего неразгаданного».

Стихи этого цикла кому-то нравятся меньше его ранних стихотворений, кажутся, порой, менее совершенными. В них уже нет «розовых зорь» Шахматово, а есть невзрачные пейзажи этих мест, грязные перекрёстки Петербурга и «*...бескрайняя зыбь..., болотная схима – желанный покой..., зелёная мгла..., старость мёртвая бродит вокруг...*». Он давно уже познал опьянение от вина. Придуманная «Она» исчезла навсегда. Рифмы, порой, «*утрачивают изысканность*», ритм тоже иной раз «*становится капризным*»...

Ещё никому не ведомо, что чуть позже создаст он стихи третьего своего периода, которые будут признаны современниками и потомками, как «самые прекрасные и великие»...

Однако многие и во втором сборнике отдельно отметили стихотворение «Холодный день»:

Мы встретились с тобою в храме
И жили в радостном саду,
Но вот зловонными дворами
Пошли к проклятью и труду.

Мы миновали все ворота
И в каждом видели окне,
Как тяжело лежит работа
На каждой согнутой спине...
.....
Я близ тебя работать стану,
Авось, ты не припомнишь мне,
Что я увидел дно стакана,
Топя отчаянье в вине.

Мотив, который вылился здесь в «*мелодию контраста*», зародился немного раньше – в его «Фабрике»:

В соседнем доме окна жолты.
По вечерам – по вечерам
Скрипят задумчивые болты,
Подходят люди к воротам...
.....
Они войдут и разбредутся,
Навалят на спины кули,
И в жолтых окнах засмеются,
Что этих нищих провели.

А между этими стихотворениями появится одно из самых знаменитых в мировой поэзии – «Незнакомка», строчки которой так очаровали меня ещё ребёнком, даже не понявшим их сути:

...И медленно, пройдя меж пьяными,
Всегда без спутников, одна,
Дыша духами и туманами,
Она садится у окна.

И веют древними поверьями
Её упругие шелка,
И шляпа с траурными перьями,
И в кольцах узкая рука.

И странной близостью закованный,
Смотрю за тёмную вуаль
И вижу берег очарованный
И очарованную даль.

Глухие тайны мне поручены,
Мне чьё-то сердце вручено,
И все души моей излучены
Пронзило терпкое вино...

***

1907-й отмечен тем, что в *«позеленевших зеркалах ресторанного зала, с незатейливыми обоями»* видит отражение, которое материализуясь больше года владеет его сердцем, пробуждая неистощимую страсть. Он испытывает смешанное чувство: радости, тревоги, восторга – полноты ощущений...

Цыганские скрипки провожают их до дверей. Там ждут сани «*с тёплым пологом из медвежьей шкуры*». Сухощавая зеленоглазая брюнетка, заслоняясь муфтой и *«рассыпая в ледяной ночи свой жаркий смех»*, улетает вместе с ним в снежную метель. Воздух пахнет шампанским и её духами, взмыленная лошадь несётся по набережной Невы...

Это состояние в зимнем декабрьском водовороте на рубеже 1907-го выльется стихотворением «Снежное вино», открывающим целый цикл «Снежная маска»:

И вновь, сверкнув из чаши винной,
Ты поселила в сердце страх
Своей улыбкою невинной
В тяжелозмейных волосах.

Я опрокинут в тёмных струях
И вновь вдыхаю не любя,
Забытый сон о поцелуях,
О снежных вьюгах вкруг тебя.

И ты смеёшься дивным смехом,
Змеишься в чаще золотой,
И над твоим собольим мехом
Гуляет ветер голубой.

А как, глядясь в живые струи,
Не увидать себя в венце?

Твои не вспомнить поцелуи
На запрокинутом лице?

И всё вокруг опять смещается в сторону чарующего, манящего. Нет сил остановиться. Да и желания такого нет – *«как быть должно, так быть должно»:*

И я провёл безумный год
У шлейфа чёрного. За муки,
За дни терзаний и невзгод
Моих волос касались руки,
Смотрели тёмные глаза,
Дышала синяя гроза...

Именно она – Наталья Волохова, актриса театра Мейерхольда – вдохновительница «Снежной маски» и цикла «Фаина». По-гречески Фаина – сияющая, блестящая ...

В тот год Блок пристрастился к театру – особенно к тому, где играла Волохова. Но это увлечение не только не отдаляет его от Любы, а даже сближает их: Люба больше чем когда-либо мечтает стать актрисой, и принята Мейерхольдом в его труппу.

Мейерхольд в эту пору возглавляет труппу молодых артистов в Драматическом театре Веры Комиссаржевской, куда она – «Русская Дузе», пригласила его в качестве режиссёра-постановщика...

Он приводит к Блоку своих друзей, которые без ума от поэта и просят написать что-нибудь для них. В эту пору прежний *«театр нравов»* уходит в прошлое, а вместе с ним – и прежний образ жизни. И потому манифест труппы гласит: *«Нужно создать не только новый театр, но и научиться жить по-новому, отбросить условности, освободиться от «приличий» – забыть всю «приличную жизнь»: пусть день будет праздником или пыткой...».*

У этих молодых людей, влюблённых в театр, *горят глаза:* они у истоков чего-то – на сцене ещё небывалого. И готовы работать сутками. Даже *«отдать жизнь»* за то, чтобы их идеи нашли воплощение.

И Блоку, с его ненавистью к условностям, ко всему незыблемому, *«легко дышится среди них»...*

В это время Люба получает ангажемент и выступает в провинции вместе с частью труппы.

Мейерхольд просит Блока создать что-нибудь созвучное идеям их нового театра. И Блок пишет «Балаганчик».

Такого зритель ещё не видел. Маленький театр или театрик канатных плясунов – ярмарочный балаганчик, где печальный Пьеро ждёт свою Коломбину, которую отнимает у него Арлекин. Прекрасная Дама здесь из картона, а небо, куда улетают счастливые влюблённые, – из папиросной бумаги. Кровь, которая течёт из смертельной раны бедного покинутого любовника, – клюквенный сок. А «мистики», хором бормочущие свои теории, так и застывают, открыв рты и, становясь плоскими, тают, когда Автор, которого буквально рвут на части, не знает, что придумать, чтобы объяснить публике происшедшее. Потом находит объяснение: *«...в немногих словах: дело идёт о взаимной любви двух юных душ! Им преграждает путь третье лицо, но преграды, наконец, падают, и любящие навеки соединяются... Я никогда не рядил моих героев в шутовское платье! Они без моего ведома разыгрывают какую-то старую легенду...».*

Но те, кто понимали душевное состояние поэта, вылившееся в стихотворный цикл второго периода, сразу почувствовали в «Балаганчике» не фарс, а *«важный и мучительный этап в его жизни, когда рассеиваются иллюзии, остаётся тревожная пустота, которая терзает душу»*.

Да и многие узнали себя в этих болтливых мистиках. Белый был в гневе. Поклоннику Любови Дмитриевны и «Мировой Души» нестерпимы насмешки Блока над Прекрасной Дамой из картона, с небом из папиросной бумаги и двухмерными мистиками.

Но тут играет роль и личное: 1906-1907 годы были бесконечной чередой ссор и примирений его с Блоком. Встречи – почти всегда по инициативе Белого – тягостны. Блок вполне владеет собой: холодный, вежливый, никогда не пытаясь унизить, он слегка высокомерным тоном говорит любезности. Белый – нервный, задыхающийся, пылающий то любовью, то ненавистью, – вызывает его на дуэль, затем требует объяснений, чтобы простить или... *«получить прощение»*. Он чувствует свою полную ненужность в жизни Блока, и перенести это не в силах, что делает его временами совершенно несносным и постоянно навязывающим своё присутствие. Блок терпит его из жалости, *«сочувствуя гению, который так и не сумел осуществиться...»*.

С удивительной откровенностью Белый расскажет в своих воспоминаниях как *«всеми силами пытался развести Любовь Дмитриевну с мужем...»*. Но ей всё это было уже чуждо, и потому не трогало: *«в ней пробудилось желание жить собственной жизнью, быть живой женщиной, а не символом...»*.

Теперь она и Блок *«живут каждый своей особою жизнью: Блок рассеян, нередко пьян, иногда он пропадает по нескольку дней кряду; Люба очень занята – она играет, принимает друзей...»*.

Потом она признается Белому, что *«многое вынесла в предыдущем году, и не знает сама, как уцелела...»*.

Александра Андреевна, всегда и во всём поддерживающая сына, всё труднее мирится с Любой и редко заходит к ним. В доме постоянно толпятся люди. Презирая старомодные условности, Люба и Волохова *«отлично ладят между собой; они – подруги...»*. Провинциалу-москвичу Белому это кажется *«диким и неприличным»*.

Власть Волоховой над Блоком беспредельна; *«люди заурядные и ничтожные заняли место прежних друзей. Люба и Блок словно всю свою жизнь превратили в театр...»*.

Белый не в силах это вынести; он чувствует себя несчастным, страдая здесь окружением незнакомых и едва знакомых людей, которые ему неприятны.

Отчаявшись, он возвращается в Москву, и на несколько лет общение между ним и Блоком *«замирает»*; они даже перестали писать друг другу...

***

«*Мама... жить становится всё трудней – очень холодно... Полная пустота кругом: точно все люди разлюбили и покинули, а впрочем, вероятно, и не любили никогда. Очутился на каком-то острове в пустом и холодном море... Тем двум – женщинам с ищущими душами, очень разным, но в чём-то неимоверно похожим, – тоже страшно и холодно*» – напишет он *«в глухом отчаянии»*...

Но этот *«безумный год»* миновал. С Волоховой они расстаются, даже не простившись:

...Когда один с самим собою
Я проклинаю каждый день, –

Теперь проходит предо мною
Твоя развенчанная тень...

Кончились их вечера втроём. Теперь он остался один: Люба уехала на гастроли. Она счастлива своей работой в театре, своим успехами. С Волоховой у неё по-прежнему дружеские отношения.

А он растерян, обескуражен. Словно переживший кораблекрушение, никак не может прийти в себя: *«Пью много, живу скверно. Тоскливо, тревожно, не по-людски...»*.

Но почти тут же: *«Чем холоднее и злее эта неудачная «личная» жизнь (но ведь она никому не удаётся теперь), тем глубже и шире мои идейные планы и намерения»*.

Когда приезжает жена, он бывает счастлив: *«её милые жесты, приветливое, улыбающееся лицо успокаивают его...»*. Она наводит в его жизни порядок: ему нравится чистота в доме, свежие занавески, расставленные книги в шкафу...

Но она снова едет на гастроли, и он опять погружается в молчание, грустнеет, на лице его застывает *«каменная улыбка»*... И теперь, лёжа в постели, часами наблюдает, *«как мухи вьются вокруг лампы, словно бессмертный символ русской тоски...»*.

***

Он всегда будет говорить, что в его формировании огромную роль сыграли революционные события 1905 года. Благодаря им, поэт впервые открыл для себя иную жизнь – непохожую на идейные, философские и религиозные метания, наблюдаемые в этот период в среде, некогда ему близкой. Конечно, и символизм, и страстные речи Белого, и сверхизысканные статьи Вячеслава Иванова... – всё это было важно и ценно в его жизни, но, оказалось, чего-то не хватало. И, видимо, главного.

Блок не требует от русской духовной элиты немедленного действия, отказа от поклонения Красоте, без которой и сам не мыслит своей жизни. Но удивлён тем, как можно было – и ему в том числе – восторгаться балетами Дягилева, увлекаться стихами Корбьера в переводе Брюсова, воспевать красоту греческих героев... *«не замечая (не чувствуя!), что буря вот-вот грянет»*. Видно, *«во всём этом был настолько велик соблазн, что никто не желал прислушаться...»*.

Он и теперь не считает, подобно Некрасову, что его друзья *«обязаны быть гражданами»*, но, как только осознаёт *«проклятие абстрактного, нависшее над русской интеллигенцией»*, останавливается *«в середине своего пути»*. И его призыв: *«Завесьте ваши лица! Посыпьте пеплом ваши головы! Ибо приблизились сроки»*, звучит немедленно. Хотя многие, в эту пору, по словам Зинаиды Гиппиус, *«чувствовали в нём какую-то незащищённость»*.

В это время он обнаруживает в себе большую потребность перенести свои мысли в статьи. И с 1907-го по 1918-й создаст целый цикл под общим названием «Россия и интеллигенция», где, в частности, скажет: *«Образованные и ехидные интеллигенты, поседевшие в спорах о Христе и антихристе, дамы, супруги, дочери свояченицы в приличных кофточках, многодумные философы, попы, лоснящиеся от самодовольного жира..., зная, что за дверями стоят нищие и что этим нищим нужны дела... И вот... один честный с шишковатым лбом, социал-демократ злобно бросает десятки вопросов, а лысина елеем сияющая, отвечает только, что нельзя сразу ответить на столько вопросов. И всё это становится модным – доступным для приват-доцентских жён и для благотворительных дам. А на улице – ветер, проститутки мёрзнут, люди голодают, людей веша-*

ют, а в стране – реакция, а в России – жить трудно, холодно, мерзко. Да хоть бы все эти нововременцы, новопутейцы, болтуны – в лоск исхудали от собственных исканий, никому на свете, кроме «утончённых натур», не нужных, – ничего в России не убавилось бы и не прибавилось!..».

Очень многие после 1905 года *«открыли для себя нового, неожиданного Блока»*. И московским, и петербургским символистам становится ясно, что он уже никогда не будет Певцом Прекрасной Дамы; он стал *«человеком современной России: с больной совестью, полный неукротимой тоски и трезвым взглядом в будущее»*.

Конечно, он давно перерос свою школу, перерос «учителей». Он – *«другой от природы: не страшится слов, не стыдится слёз...»*

После этой революции и пережитого в нём внутреннего кризиса, мысли приобретают новую направленность – *«пока ещё робкое ощущение грядущего возмездия»*. Он вдруг почувствовал, насколько хрупко всё, что его окружает. А ещё пришло предчувствие, что *«всё внешнее скоро рухнет, кончится привычная жизнь, может быть, вся страна погибнет... погиб Рим, а вслед за ним погибнет Русь»:*

...Ты видишь ли теперь из гроба,
Что Русь, как Рим, пьяна тобой? –
Что я и Цезарь – будем оба
В веках верны перед судьбой?...

– напишет он в стихотворении «Клеопатра». А немного позже в «Голосе из хора»:

...И век последний ужасней всех,
Увидим и вы и я.
Всё небо скроет гнусный грех,
На всех устах застынет смех,
Тоска небытия...
.....
О, если б знали, дети, вы,
Холод и мрак грядущих дней!

В таком состоянии живёт его душа. Это не страх, это – отчаяние и вместе с тем какой-то удивительно трезвый взгляд на происходящее вокруг. И всё отчётливее мысль о грядущем возмездии...

***

Он уже в зените славы. Его встречают овациями в Петербурге, Москве, Киеве. Газеты и журналы публикуют его статьи. У Сологуба и Мережковских, в «башне» у Иванова он самый почётный и желанный гость. В Петербурге в его переводе ставят «Праматерь» австрийского романтического писателя Франца Грильпарцера...

В эти же дни расставание с Любой:

...Но час настал, и ты ушла из дому,
Я бросил в ночь заветное кольцо.
Ты отдала свою судьбу другому,
И я забыл прекрасное лицо.

Летели дни, кружась проклятым роем...
Вино и страсть терзали жизнь мою...
И вспоминал тебя пред аналоем,
И звал тебя, как молодость свою...

Я звал тебя, но ты не оглянулась,
Я слёзы лил, а ты не снизошла.
Ты в синий плащ печально завернулась,
В сырую ночь ты из дому ушла...

Ничего он не забыл. И Она, как покажет время, не найдёт того – «*другого*», которому отдаст свою судьбу: не найдёт *«приют соей гордыне»*. С очередных гастролей Люба вернётся домой беременной, расставшись «*по своей инициативе»* с очередным поклонником-актёром. Она очень боится материнства и хочет избавиться от ребёнка. Но слишком поздно. Да и на семейном совете Блок предлагает ей оставить малыша и выдать его за их общего. В феврале 1909 года рождается мальчик, которого в честь знаменитого деда, создавшего периодическую систему элементов, называют Дмитрием. Однако малыш прожил всего восемь дней...

Общее горе их снова сближает. Люба остаётся. Летом они вместе едут в Италию. Из его записных книжек видно, что хорошо ему с ней, что он любит *«её милое лицо, её беззаботность, детские шалости»*. Отмечает, «*как она похорошела, помолодела в Венеции»*. Что она необходима ему: «*Смерти я боюсь и жизни боюсь, милее всего прошедшее, святое место души – Люба. Она помогает – не знаю чем, может быть, тем, что отняла?»*.

Они побывают в Академии, во Дворце Дожей. Блоку нравится итальянское Возрождение, особенно – сцены Благовещенья. Любуясь картинами, он на какое-то время вновь погружается во времена Прекрасной Дамы: «*Но Ты – вернись, вернись, вернись – в конце назначенных нам испытаний. Мы будем Тебе молиться среди положенного нам будущего страха и страсти. Опять я буду ждать – всегда Твой раб, изменивший Тебе, но опять, опять – возвращающийся. Оставь мне острое воспоминание, как сейчас. Острую тревогу мою не усыпляй. Мучений моих не прерывай. Дай мне увидеть зарю Твою. Возвратись...»*.

И в эти же дни, путешествуя по Италии, он впервые видит свою страну со стороны, на расстоянии, и она кажется ему ужасной. Всплывает то, о чём за несколько дней до отъезда за границу он писал матери, вернувшись с «Трёх сестёр» потрясённым: *«Несчастны мы все, что наша родная земля приготовила нам такую почву – для злобы и ссоры друг с другом. Все живём за китайскими стенами, полупрезирая друг друга, а единственный общий враг наш – российская государственность, церковность, кабаки, казна и чиновники – не показывают своего лица, а натравливают нас друг на друга...»*.

Теперь в Венеции эти чувства только усиливаются: «*Несчастную мою нищую Россию с её смехотворным правительством... с ребяческой интеллигенцией я презирал бы глубоко, если бы не был русским... Единственное место, где я могу жить, – всё-таки Россия, но ужаснее того, что в ней, нет нигде... – на таможне обворуют, в середине России повесят или посадят в тюрьму, оскорбят, – цензура не пропустит того, что я написал...»*.

Он и здесь постоянно ищет какой-то выход – *«свет в конце тоннеля»,* но не находит: *«Более чем когда-нибудь я вижу, что ничего из жизни современной я до смерти не приму и ничему не покорюсь. Её позорный строй внушает мне только отвращение. Переделать уже ничего нельзя – не переделает никакая револю-*

ция... Люблю я только искусство, детей и смерть. Россия для меня – всё та же – лирическая величина. На самом деле – её нет, не было и не будет».

Всё это происходит в его душе и ещё – желание быть свободным, хотя понимает, что быть свободным *по большому счёту* – значит, больше не зарабатывать на жизнь своим пером: *«Надо резко повернуть, пока ещё не потерялось сознание, пока не совсем поздно. Средство – отказаться от литературного заработка и найти другой. Надо же как-нибудь жить. А искусство – моё драгоценное, выколачиваемое из меня старательно моими мнимыми друзьями, – пусть оно остаётся искусством без...модных барышень и альманашников, без благотворительных лекций и вечеров, без актёрства и актёров, без ИСТЕРИЧЕСКОГО СМЕХА... Хотел бы много и тихо думать, тихо жить, видеть немного людей, работать и учиться, неужели это невыполнимо?.. Мне кажется, что только при таких условиях я могу опять что-нибудь создать... Как Люба могла бы мне в этом помочь...».*

Флоренция, Сиена, Милан, – всё это потом выльется в «Итальянские стихи», – самую классическую часть его творчества:

...Слабеет жизни гул упорный.
Уходит вспять прилив забот.
И некий ветр сквозь бархат чёрный
О жизни будущей поёт...
.....
Кто даст мне жизнь? Потомок дожа,
Купец, рыбак, иль иерей
В грядущем мраке делит ложе
С грядущей матерью моей...
.....
Нет! Всё, что есть, что было – живо!
Мечты, виденья, думы – прочь!
Волна возвратного прилива
Бросает в бархатную ночь.

Они ещё проедут через Бад-Наугейм. С первого приезда сюда прошло двенадцать лет. Просыпается память о первой любви – нежные, трогательные воспоминания. В записной книжке его об этом недолгом возвращении находим: *«Первой влюблённости, если не ошибаюсь, сопутствовало сладкое отвращение к половому акту (нельзя соединяться с очень красивой женщиной, надо избрать для этого только дурных собой...)».*

Эта мысль или чувство *«сладкого отвращения к половому акту»* с той, кто для тебя Прекрасна и Возвышена, отразилось и на его изначальном отношении к Любе, что, к большому сожалению обоих, вылилось в драму их личной жизни. О чём он позже заметит: *«У меня женщин не 100 – 200 – 300 (или больше?), а всего две: одна – Люба, другая – все остальные, и они – разные, и я – разный».*

***

Вернувшись в Россию, они тотчас едут в любимое Шахматово, где их ждёт лето и такое желанное уединение, о чём так недавно мечталось ему в Италии.

Но... Блок вдруг обнаруживает, что там ему не живётся. Почему-то становится скучно в этих, некогда дорогих местах, рядом с любимыми – женой и матерью, которые делают всё, чтобы ему было хорошо. И они обе для него дороги. Но... оказалось, изнывает он здесь, в деревенской глуши...

В Петербурге тоже радости не находит. Хотя здесь – шумный успех у его цикла «Итальянских стихов» и пишет он много статей, которые печатают все крупные газеты. Однако ко всему этому Блок почти равнодушен. Хочет, правда, чтобы поставили его «Песню Судьбы», но это затягивается!

Образуется какой-то душевный тупик: *«Я уже третью неделю сижу безвыходно дома, и часто это страшно угнетает меня. Единственное «утешение» – всеобщий ужас, который господствует везде, куда ни взглянешь. Все люди, живущие в России, ведут её и себя к погибели. Теперь окончательно водворился «прочный порядок», заключающийся в том, что руки и ноги жителей России связаны крепко – у каждого в отдельности и у всех вместе. Каждое активное движение... ведёт лишь к тому, чтобы причинить боль соседу, связанному точно так же, как я. Таковы условия общественной, государственной и личной жизни... Всё одинаково смрадно, грязно и душно...»:*

Как тяжело ходить среди людей
И притворяться непогибшим,
И об игре трагической страстей
Повествовать ещё не жившим.

И вглядываясь в свой ночной кошмар,
Строй находить в нестройном вихре чувства,
Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельный пожар!

В другом стихотворении – о Руси, судьбу которой никогда не отделяет от своей, пишет:

Русь моя, жизнь моя, вместе ль нам маяться?
Царь, да Сибирь, да Ермак, да тюрьма!
Эх, не пора ль разлучиться, раскаяться...
Вольному сердцу на что твоя тьма?

Знала ли что? Или в бога ты верила?
Что там услышишь из песен твоих?
Чудь начудила, да Меря намерила
Гатей, дорог да столбов верстовых...

Лодки да грады по рекам рубила ты,
Но до Царьградских святынь не дошла...
Соколов, лебедей в степь распустила ты –
Кинулась в степи чёрная мгла...

За море Чёрное, за море Белое
В чёрные ночи и белые дни
Дико глядится лицо онемелое,
Очи татарские мечут огни...

Тихое, долгое, красное зарево
Каждую ночь над становьем твоим...
Что же маячишь ты, сонное марево?
Вольным играешься духом моим?

В эти же дни продолжают звучать и уже привычно сводящие с ума всю поэтическую Россию его мотивы:

...Две тени, слитых в поцелуе,
Летят у полости саней.
Но не таясь и не ревнуя,
Я с этой новой – с пленной – с ней.

Да, есть печальная услада
В том, что любовь пройдёт, как снег.
О, разве, разве клясться надо
В старинной верности навек?
.....
Я чту обряд: легко заправить
Медвежью полость на лету,
И, тонкий стан обняв, лукавить
И мчаться в снег и в темноту,

И помнить узкие ботинки,
Влюбляясь в хладные меха...
Ведь грудь моя на поединке
Не встретит шпаги жениха...
.....
Чем ночь прошедшая сияла
Чем настоящая зовёт,
Всё только – продолженье бала,
Из света в сумрак переход...

Однако всё ближе знаменитые строчки «Возмездия»:
Жизнь – без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами – сумрак неминучий,
Иль ясность божьего лица...

Перед ними будет стоять эпиграф из Ибсена: *«Юность – это возмездие»*...

***

С конца 1909 года следует полоса утрат. 1 декабря в Варшаве умирает отец. Сын едет прощаться, неожиданно для себя ощутив к нему – *«человеку, который при жизни был совершенно чужим..., посмертную любовь и непонятное раскаяние...»*. Собственно, из этого чувства и там же – в Варшаве родится мысль о таком эпиграфе из Ибсена...

Затем 1910 год – смерть Комиссаржевской, Врубеля, Толстого.

С Комиссаржевской *«умерла лирическая нота на сцене»;* с Врубелем – громадный личный мир художника, *«безумство, упорство – вплоть до помешательства»;* с Толстым умерла *«человеческая нежность – мудрая человечность»*.

Всё это и другие события *«мирового водоворота»* – грандиозные забастовки железнодорожных рабочих в Лондоне, убийство Столыпина и переход управления страной *«из рук полудворянских, получиновничьих в руки департамента полиции»*... – для него *«имеют один музыкальный смысл»* и подсказывают структуру поэмы «Возмездие».

Путешествие в Варшаву, похороны и потрясшая его посмертная близость к отцу ускоряют её начало.

Поэма, в которой на фоне судьбы его семьи или рода, пройдёт судьба страны, должна состоять из пролога, трёх больших глав и эпилога.

Первая глава начнётся 70-ми годами 19-го века: в просвещённую либеральную семью является некий «*демон*», первая ласточка «*индивидуализма*».

Вторая – с конца 19-го входит в начало 20-го века. В ней речь пойдёт о сыне этого «*демона*» – наследнике *«его мятежных порывов и болезненных падений»*. Сын – одно из звеньев *«длинного рода»,* от которого потом «*не останется, по-видимому, ничего, кроме искры огня, заброшенной в мир, кроме семени, кинутого им в страстную грешную ночь в лоно какой-то тихой и женственной дочери чужого народа...»*.

В третьей – о том, как кончил жизнь отец, что сталось с бывшим блестящим «*демоном*», – человеком, *«похожим на Байрона, с какими-то нездешними порываниями и стремлениями, притуплёнными, однако, болезнью века...»*.

В эпилоге должен быть изображён младенец, *«которого держит и баюкает на коленях простая мать, затерянная где-то в широких польских клеверных полях, никому не ведомая и сама ни о чём не ведающая»*. Она баюкает и кормит грудью сына, и сын растёт. Он начинает уже играть и повторять вслед за матерью: *«И за тебя, моя свобода, взойду на чёрный эшафот»*. Этот мальчик и есть *«отпрыск рода, который, может быть, наконец, ухватится ручонкой за колесо, движущее человеческую историю...»*.

Поэма должна сопровождаться лейтмотивом «Возмездия». Он будет чем-то вроде мазурки – танца, который *«носил на своих крыльях Марину, мечтавшую о русском престоле... и Мицкевича на русских и парижских балах...»*.

В первой главе мазурка *«легко доносится из окна какой-то петербургской квартиры»*.

Во второй – танец гремит на балу, смешиваясь со звоном офицерских шпор.

В третьей главе мелодия *«разгулялась»:* она звенит в снежной вьюге, проносящейся над ночной Варшавой, над занесёнными снегом польскими клеверными полями. И в ней явственно *«слышится уже голос «Возмездия»...*

Вот такое преддверье великой, но, к сожалению, незаконченной поэмы.

И хотя она останется неоконченной, будет признана *«шедевром мировой литературы»*.

В её прологе ямб напоминает пушкинский стих:

...Но ты, художник, твёрдо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить всё, что видишь ты.
Твой взгляд – да будет твёрд и ясен.
Сотри случайные черты –
И ты увидишь: мир прекрасен.
Познай, где свет, – поймёшь, где тьма.
Пускай же всё пройдёт неспешно,
Что в мире свято, что в нём грешно,
Сквозь жар души, сквозь хлад ума...

Девятнадцатый век, о котором речь идёт в первой главе, – это эпоха Бекетова-деда, спокойная, простая, деятельная, с её *«либеральным милым образом мысли и не менее милым образом жизни»*.

К концу века очень быстро происходит распад – вокруг человека и в нём самом: исподволь, незаметно начинают сказываться первые его признаки. Они отражаются на внешней и внутренней жизни – всё меняется «*снаружи*», как и меняется в умах, «*охваченных лихорадочными и бесплодными построениями*»:

Век девятнадцатый, железный,
Воистину жестокий век!
Тобою в мрак ночной беззвездный
Беспечный брошен человек!..
.....
...Век расшибанья лбов о стену
Экономических доктрин,
Застольных спичей, красных слов,
Век акций, рент и облигаций,
И мало действенных умов...
.....
...Век буржуазного богатства
(Растущего незримо зла!).
Под знаком равенства и братства
Здесь зрели тёмные дела...
.....
...А вместо подвигов – «психоз»,
И вечно ссорится начальство,
И длинный громоздкой обоз
Волочит за собой команда,
Штаб, интендантов, грязь кляня,
Рожком горниста – рог Роланда
И шлем – фуражкой заменя...
Тот век немало проклинали
И не устанут проклинать.
И как избыть его печали?
Он мягко стлал – да жёстко спать...

Грядёт двадцатый век – век комет, вооружений, авиации и... оскудения веры:

Двадцатый век... ещё бездомней,
Ещё страшнее жизни мгла...
.....
...Сознанье страшное обмана
Всех прежних малых дум и вер...
.....
...И отвращение от жизни,
И к ней безумная любовь,
И страсть и ненависть к отчизне...
И чёрная, земная кровь
Сулит нам, раздувая вены,
Все разрушая рубежи,
Неслыханные перемены,
Невиданные мятежи...

Повествование продолжается. «Демон» бросается на свою добычу, как ястреб, и юная девушка, рождённая для мирной жизни, вырвана из лона семьи:

...Жених – противник все обрядов
(Когда «страдает так народ»).
Невеста – точно тех же взглядов:
Она – с ним об руку идёт,
Чтоб вместе бросить луч прекрасный,
«Луч света в царстве темноты»...
.....
...Связал её своей судьбой,
И вдаль увёз её с собой,
Уже питая в сердце скуку, –
Чтобы жена с ним до звезды
Делила книжные труды...
.....
...В семье печаль. Упразднена,
Как будто часть её большая:
Всех веселила дочь меньшая,
Но из семьи ушла она...
.....
...Тоска! От дочки вести скудны...
Вдруг – возвращается она...
Что с ней? Как стан прозрачный тонок!
Худа, измучена, бледна...
И на руках лежит ребёнок.

Этот ребёнок во второй главе – уже юноша и даже молодой человек. Он бродит по широким набережным Невы, обращается к «*проклятому городу*», которому *«однажды суждено исчезнуть»:*

...О, город мой неуловимый,
Зачем над бездной ты возник?
Ты помнишь: выйдя ночью белой
Туда, где в море сфинкс глядит,
И на обтёсанный гранит
Склонясь главой отяжелелой,
Ты слышать мог: вдали, вдали,
Как будто с моря звук тревожный,
Для божьей тверди невозможный
И необычный для земли...
.....
...Какие ж сны тебе, Россия,
Какие бури суждены?
Но в эти времена глухие
Не всем, конечно, снились сны...
.....
...Уже грядущий день сиял,
И дремлющими вымпелами
Уж ветер утренний играл,
Раскинулась необозримо
Уже кровавая заря,
Грозя Артуром и Цусимой,
Грозя Девятым января...

Современники сразу услышат здесь *«отзвуки пушкинского «Медного всадни-*

ка», голоса Гоголя и Достоевского...». Да и как можно было не услышать, когда Блок, как и великие его предшественники – *«собратья по перу и мысли»*, стал в поэме *«певцом Петербурга»* – его тайны и необычайной судьбы...

В третьей незаконченной главе уходит из жизни отец – бывший блестящий *«демон»*:

Отец лежит в «Аллее роз»,
Уже с усталостью не споря,
А сына поезд мчит в мороз
От берегов родного моря...
.....
...Вокзал заплёванный, дома,
Коварно преданные вьюгам;
Мост через Вислу, как тюрьма;
Отец, сражённый злым недугом...
.....
...Да, сын любил тогда отца
Впервой – и, может быть, в последний,
Сквозь скуку панихид, обедней,
Сквозь пошлость жизни без конца...

А дальше все предшествующие размышления выливаются в знаменитые строчки, которыми неоконченной, к сожалению, поэме будет суждено завершиться:

...Когда ты загнан и забит
Людьми, заботой иль тоскою;
Когда под гробовой доскою
Всё, что тебя пленяло, спит;
Когда по городской пустыне,
Отчаявшийся и больной,
Ты возвращаешься домой,
И тяжелит ресницы иней,
Тогда – остановись на миг
Послушать тишину ночную:
Постигнешь слухом жизнь иную,
Которой днём ты не постиг;
По-новому окинешь взглядом
Даль снежных улиц, дым костра,
Ночь, тихо ждущую утра
Над белым запушённым садом,
И небо – книгу между книг;
Найдёшь в душе опустошённой
Вновь образ матери склонённый,
И в этот несравненный миг –
Узоры на стекле фонарном,
Мороз, оледенивший кровь,
Твоя холодная любовь –
Всё вспыхнет в сердце благодарном,
Ты всё благословишь тогда,
Поняв, что жизнь – безмерна боле,
Чем quantum satis Бранда воли.
А мир – прекрасен, как всегда.

(«*Quantum satis*» по латыни: «*сколько схватишь*» или литературно – «*сколько потребуется*» – приведены слова Бранда – героя одноимённой драмы Ибсена «В полную меру»).

Поэму Блок писал частями вплоть до лета 1919 года, и её завершающие строчки стали откровением прожитой жизни – такой короткой, но яркой, неординарной, полной внутренней драмы, приведшей в итоге к трагедии.

Несмотря на то, что творилось в его душе, поэт сумел быть объективным – выше «*личных бурь*», о чём говорит последняя строчка, и что свидетельствует о величии его духа.

***

Поскольку окончательному замыслу поэмы суждено было получить рождение в Варшаве, на этой поездке, а точнее, её результатах остановлюсь чуть подробнее.

Поездка оказалась для него мучительной, так как на сей раз едет один, а ему с какой-то поры «*всё труднее и труднее обходиться без Любы*». Потому и запись в дневнике: «*...Всё что я мог, у убогой жизни взял, взять больше у неба – не хватило сил...Только её со мной нет – чтобы по-детски скучать, качать головкой, спать, шалить, смеяться...*».

В Варшаве его ждёт немало дел. Он встречается со второй женой отца и своей сводной сестрой – девушкой шестнадцати лет, с которой делит наследство: «*около восьмидесяти тысяч рублей*».

Материальные заботы и раньше не обременяли Блока: в первые годы женитьбы молодые жили у его матери, а в 1907-м году после смерти Менделеева им досталось и небольшое наследство. Да и литературных заработков популярного, всюду желанного поэта «*на жизнь хватало*».

Но таких денег у него ещё не было. Теперь он может «*жить на широкую ногу, путешествовать, купить старинную мебель, которую облюбовала жена*» во время их походов в антикварную лавку...

Часто переезжая из квартиры в квартиру, он всегда жил вдали от богатых кварталов, но обязательно, поблизости реки или каналов. Вода, острова, и залив влекли его неотвратимо. И нравились «*подозрительные закоулки*», в которых «*странного поэта*» часто видели блуждающим среди портовых и заводских рабочих. Заходил в убогие пивные, где подавали только водку, пиво или чай.

Был и завсегдатаем известных ресторанов на северной окраине Петербурга; там пели его любимые цыгане, и благодаря им эти места становились для него «*лучшими местами на свете*».

В этом смешении мест и настроений постоянно рожаются магические строчки. Они с быстротой молнии распространяются поклонниками, сходящими по нему с ума, в Петербурге, Москве, Киеве... Строчки, которым, как и многому, что он напишет, суждено стать знаменитыми и остаться во времени:

...Я сидел у окна в переполненном зале,
Где-то пели смычки о любви.
Я послал тебе чёрную розу в бокале
Золотого, как небо, аи.
.....
И сейчас же в ответ что-то грянули струны,
Исступлённо запели смычки...
Но была ты со мной всем презрением юным,
Чуть заметным дрожаньем руки...

Ты рванулась движеньем испуганной птицы
Ты прошла, словно сон мой, легка...
И вздохнули духи, задремали ресницы,
Зашептались тревожно шелка.

Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала
И, бросая, кричала: «Лови!..»
А монисто бренчало, цыганка плясала
И визжала заре о любви.

И в этот же период – двумя месяцами позже:
Под насыпью, во рву нескошенном,
Лежит и смотрит, как живая,
В цветном платке, на косы брошенном,
Красивая и молодая...
.....
...Не подходите к ней с вопросами,
Вам всё равно, а ей – довольно:
Любовью, грязью иль колёсами
Она раздавлена – всё больно.

В Петербург переселилась сводная сестра Ангелина, милая очаровательная девушка – *«единственная кровная ниточка»*, связывающая его с отцом. Он любит что-то показать ей в городе или рассказать. С ней ему *«временами бывает тепло и просто»*.

Во время войны она умрёт от туберкулёза...

Поскольку появились свободные деньги, решено перестроить шахматовский дом. Шахматово для него дорого, и хотя ему здесь скучно, не хочет, чтобы в это место пришло запустение.

После того, как всё перестроено, они с Любой мечтают о путешествии в Европу: хотят побывать во Франции, Бельгии, Голландии и Германии. И едут. Сперва проводят месяц в курортном Абервраке, потом – Париж, где несколько раз подолгу бывают в Лувре. Он мечтал посмотреть «Джоконду», но её только что похитили: *«...Печальный, заброшенный Лувр – место для того, чтобы приходить, плакать и размышлять о том, что бюджет морского и военного министерства растёт каждый год, а бюджет Лувра остаётся прежним уже 60 лет. Первая причина (и единственная) кражи Джоконды – дредноуты...»*.

Здесь – в Европе он охвачен *«неясными и противоречивыми чувствами ещё сильнее, чем в 1909 году в Италии. Да, видеть эти древние камни, приветствовать руины – прекрасно и трогательно. Но Европа – не только музей, где прогуливаются туристы. Жизнь грохочет в ней, и что за страшная жизнь! Крупп наращивает вооружения; французы думают лишь о том, как отыграться, в Португалии и Италии – землетрясения; влияние Америки всё больше сказывается на вкусах и нравах, и это напоминает ухаживание юного боксёра за старой аристократкой...»*.

Быстрое развитие *«синематографа»*, автомобилизма и авиации видится ему *«предвестием ужасной катастрофы...»* – войны, упадка культуры? – он даже не уточняет. Но чувство, что *«в воздухе пахнет войной..., и она неминуема»* и что *«Европа готова сражаться»*, его не отпускает. Оно даже усиливается: *«Жизнь – страшное чудовище, счастлив человек, который может, наконец, спокойно протянуться в могиле», – так я слышу голос Европы, и никакая работа, никакое веселье не может заглушить его. Здесь ясна вся чудовищная бессмыслица, до которой дошла цивилизация...»*.

Из первого путешествие в Европу он привёз «Итальянские стихи». Сейчас – «*любовь к старым бретонским легендам, интерес к средним векам*» и замысел поэмы, которая позднее выльется в историческую драму «Роза и Крест», действие которой происходит в южной и северной французских провинциях в начале 13-го столетия.

В своих набросках Блок напишет: *«Эпиграфом ко всей пьесе может служить стихотворение Тютчева «Два голоса»:*

Тревога и труд лишь для смертных сердец...
Для них нет победы, для них есть конец.

***

А в литературной жизни России постепенно происходят изменения. После 1910 года «башня» Иванова начинает утрачивать былую притягательность. Белый увлёкся антропософией, Брюсов превратил свою поэзию в сплошной эксперимент – в *«фиолетовые руки на эмалевой стене»,* Мережковский и Гиппиус видят в стихах и прозе лишь *«рупор для своих политических и религиозных идей»*. Все вокруг в литературном мире и среди просвещённых читателей начинают поговаривать о кризисе символизма. А ещё о том, что в России остаётся один крупный поэт – Александр Блок, *«к которому никакие «измы» не подходят, поскольку он выше их»*.

Сам же он в это время пишет: *«Я чувствую, что у меня, наконец, на 31-м году определился очень важный перелом, что сказывается и на поэме (*имеется в виду «Возмездие»)*, и на моём чувстве мира. Я думаю, что последняя тень «декадентства» отошла. Я определённо хочу жить и вижу впереди много простых, хороших и увлекательных возможностей – притом в том, в чём прежде их не видел. С одной стороны – я «общественное животное», у меня есть определённый публицистический пафос и потребность общения с людьми – всё более по существу. С другой – я физически окреп и очень серьёзно способен относиться к телесной культуре, которая должна идти наравне с духовной. Я очень не прочь не только от восстановлений кровообращения (пойду сегодня уговориться с массажистом), но и от гимнастических упражнений. Меня очень увлекает борьба и всякое укрепление мускулов, и эти интересы уже заняли определённое место в моей жизни; довольно неожиданно для меня (год назад я был от этого очень далёк) – с этим связалось художественное творчество...»*.

Немного позже, когда уйдёт в мир иной его сводная сестра, он напишет посвященные её памяти строчки, в которых будет звучать мотив того, что сейчас для него *«довольно неожиданно»*; и в этом *«неожиданно»* многое связано с коротким и таким благотворным появлением в его жизни *«милого, родного»* существа:

О, я хочу безумно жить:
Всё сущее – увековечить,
Безличное – вочеловечить,
Несбывшееся – воплотить!

Пусть душит жизни сон тяжёлый,
Пусть задыхаюсь в этом сне, –
Быть может, юноша весёлый
В грядущем скажет обо мне:

«Простим угрюмство – разве это
Сокрытый двигатель его?

Он весь – дитя добра и света,
Он весь – свободы торжество!».

Пройдут годы, и кто бы из близких или хорошо его знающих людей о нём ни вспоминал – о его внутренних страданиях, смятениях, *«пригвождениях к трактирной стойке»,* – в конечном счёте все отмечали, что написал он о себе в этом стихотворении словами *«юноши весёлого»* абсолютно точно. Вспомним хотя бы эпизод, рассказанный ранее Горьким...

Но вернёмся ближе к зиме 11-12 годов. Всё это *«довольно неожиданно»* не только для него, но и тех, кто близко его знает. Он почти не пьёт. Женщины *«проходят чередой, не оставляя воспоминаний»*. И хотя называет эти годы *«мрачными, серыми, нескончаемыми»,* стихи, по всеобщему мнению, *«достигают невиданного совершенства»*. Например, его *«зеркальное»,* вызвавшее и вызывающее до сих пор всеобщее восхищение своей *«лаконичной глубиной»:*

Ночь, улица, фонарь, аптека,
Бессмысленный и тусклый свет.
Живи ещё хоть четверть века –
Всё будет так. Исхода нет.

Умрёшь – начнёшь опять сначала,
И повторится всё как встарь:
Ночь, ледяная рябь канала,
Аптека, улица, фонарь.

И тем не менее годы эти кажутся ему *«пустыми»*. Такое настроение в немалой степени от того, что всё-таки здоровье пошатнулось. Может, именно поэтому так восхищается он сейчас физической силой и борцами. Сам же страдает от цинги, и его *«неврастения тревожит врачей»*.

Он лечится, много времени проводит дома, хотя скучает, несмотря на присутствие Любы. А ещё – его снова влечёт театр...

Летом 1912 года Мейерхольд и его труппа дают несколько представлений в Териоках – небольшом финском водном курорте в двух часах езды от Петербурга по железной дороге. Артисты снимают на всё лето просторный загородный дом, окружённый огромным парком, и Блок приезжает сюда к Любе каждую неделю. Ей поручены ответственные роли в Мольере, Бернарде Шоу, Гольдони, Стринберге, и она в восторге. Не только от ролей, но и общей атмосферы веселья, переездов, танцевальных вечеров Айседоры Дункан, оперы, музыки Вагнера... Это очень радует Блока.

И его самого чествуют в Териоках. Он желанен и любим. Поэта приветствует восхищённая поклонница – дочь шведского короля, побывавшая проездом в Териоках на постановке Стринберга.

***

Но... Блок всё сильнее ощущает усталость.

В редкие свободные дни Люба приезжает в Петербург, где он ждёт её нетерпеливый и счастливый. Готовится к каждой встрече: покупает цветы и *«словно наводит порядок в своей душе»*. Она приезжает оживлённая, радостная. Вместе ужинают и болтают до поздней ночи Им так хорошо: *«Вечером принёс Любе, которая сидит дома в уюте, горлышко побаливает, шоколаду, пирожного и забав – фейерверк: фараоновы змеи, фонтаны и проч.»*.

Но бывает и так, что ждёт напрасно, и это сильно огорчает: *«В моей жизни*

всё время происходит что-то бесконечно тяжёлое. Люба опять обманывает меня. На основании моего письма, написанного 23-го и на основании её слов, я мог ждать сегодня или её или телеграмму о том, когда она приедет. И вот – третий час, день потерян, всё утро – напряжённое ожидание, и, значит, плохая подготовка встречи».

Даже *«плохая подготовка встречи»* его сильно огорчает. Хотя такая реакция во многом и от того, что *«усталость всё усиливается; тело сохраняет видимость здоровья, но его явно что-то точит».*

Он поздно встаёт и начинает день с чтения газет: *«реакция, революция, угроза войны, надменная и вероломная Германия, ограниченная и самодовольная Франция, нерешительная и враждебно настроенная Англия...».* Потом берётся за бесчисленные журналы: «*Мережковский проповедует в пустыне; инстинкт самосохранения заставляет Брюсова сблизиться с футуристами, но они не обращают на него внимания, несмотря на все его потуги; ультраправые переживают свои замшелые лозунги и видят спасение самодержавия в виселице...».*

А ещё Блок ведёт обширную переписку: в основном письмами «*донимают»* издатели.

Потом он держит корректуру третьей книги стихов, которая вот-вот выйдет в московском издательстве «Мусагет», где сотрудничает Белый. Через силу отделывает несколько стихотворений: быстро устаёт...

Тем не менее третья книга из его 3-х томного «Собрания стихотворений», вышедшая в 1912 году, по всеобщему признанию – «*лучшее, что было создано на поэтическом небосклоне после Тютчева»*. Она в очередной раз показывает, насколько Блок возвышается надо всеми поэтами-современниками. И признают это все, несмотря на расхождения во вкусах, жизненных позициях...

У него же – амплитуда настроений, нередко значительная, о чём он сам однажды напишет:

И вновь – порывы юных лет,
И взрывы сил, и крайность мнений...
Но счастья не было – и нет,
Хоть в этом больше нет сомнений!

Пройди опасные года.
Тебя подстерегают всюду.
Но, если выйдешь цел – тогда
Ты, наконец, поверишь чуду.

И, наконец, увидишь ты,
Что счастья и не надо было,
Что сей несбыточной мечты
И на полжизни не хватило.

Что через край перелилась
Восторга творческого чаша,
И всё уж не моё, а наше,
И с миром утвердилась связь. –

И только с нежною улыбкой
Порою будешь вспоминать
О детской той мечте, о зыбкой,
Что счастием привыкли звать!

Но эти внутренние *«порывы юных лет»* и поддерживают, когда *«на дне твоей души, безрадостной и чёрной, безверие и грусть»*. К сожалению, с годами *«безверие и грусть»* неотвратимо усиливаются: *«Кровь стынет от стыда и отчаяния. Пустота, слепота, нищета, злоба. Спасение – только скит; барская квартира с плотными дверьми – ещё хуже. Конечно, я воспринимаю так, потому что у меня совесть не чиста...»*. Именно это ощущение, что *«у меня совесть не чиста»,* с какого-то момента и оседает *«на дне души»*...

Всё его страшит, всё ужасает: лица на улицах, в трамваях... лицо прислуги: *«Я вдруг заметил её физиономию и услышал голос. Что-то неслыханно ужасное. Лицом – девка как девка, и вдруг – гнусавый голос из беззубого рта. Ужаснее всего – смешение человеческой породы с неизвестными низшими формами (в мужиках это бывает вообще, вот почему в Шахматово тоже не могу ехать). Можно снести всякий сифилис в человеческой форме; нельзя снести такого, что я сейчас видел, как, например, генерала, с исключительно жирным затылком... То и другое – одинаковое вырождение, внушающее страх – тем, что человеческое связано с неизвестным»*.

В ту пору его знаменитый дед-Бекетов не мог рассказать внуку о *«скрытых и неизвестных резервах нашего генома»*. О том, что в процессе жизни у высших организмов, к каким относится и человек, реализуется не больше десяти процентов, находящейся в нём *«генетической информации»*. А содержание другой – *«дремлющей части»* нашего генома – тайна природы, которая, может, и хранит ответ, почему в нас *«человеческое связано с неизвестным»*. И почему в ком-то проявляется в виде высочайших поступков духа, а в ком-то – в виде *«вырождения»*. Хотя в каждом из нас много чего проявляется, порой, непонятного, необъяснимого и не сочетаемого...

Но, к счастью, есть Люба. Она оглушает его театральными *«сплетнями»*. Он восхищённо ловит каждое её слово. А ещё его охватывает желание увидеть жену на сцене. Но втайне от неё.

Однако, когда она начинает рассказывать о Мейерхольде и его новаторских идеях, он не может скрыть раздражения и пытается втолковать ей, что «модернисты» их с ней разделяют – что *«они пусты, в них нет ничего значительного и истинного»,* а Мейерхольд в искусстве – *«просто соглашатель»*. Всё это Любу сильно огорчает, но не до такой степени, чтобы ссориться. Да и видит она, как что-то его *«точит»*. Однажды он признается: *«Я бы хотел жить, если бы знал как»*.

Но, видно, Люба и есть та *«соломинка»,* которая не позволяет ему бесповоротно пойти на дно. И однажды вечером, вместо того, чтобы, как нередко теперь бывает, писать и отправлять ей стихи, переписывает в свой дневник стихотворение Каролины Павловой:

Ты всё, что сердцу мило,
С чем сжился я умом;
Ты мне любовь и сила; –
Спи безмятежным сном.

Ты мне любовь и сила,
И свет в пути моём;
Всё, что мне жизнь сулила; –
Спи безмятежным сном.

Всё, что мне жизнь сулила
Напрасно с каждым днём;

Весь бред младого пыла; –
Спи безмятежным сном.

Судьба осуществила
Всё в образе одном,
Одно горит светило; –
Спи безмятежным сном.

Она, созданная его воображением, очень во многом придуманная «Прекрасная Дама», так и останется для него всем *«в образе одном»*...

***

Но жизнь продолжается. Алексей Ремизов знакомит его с Михаилом Терещенко – умным, образованным и сказочно богатым молодым человеком, который хочет стать просвещённым меценатом молодых писателей и поэтов. Он намерен издавать журнал, основать издательство – это будет издательство «Сирин», – чтобы его любимые Ремизов, Сологуб, Белый, Блок были главными и постоянными авторами. В этих начинаниях его поддерживают две сестры – *«деятельные, энергичные барышни»*.

И отныне, исполненный рвения Михаил Терещенко – позже ещё и министр финансов, а затем министр иностранных дел во Временном правительстве – неразлучен со *«своими новыми друзьями»*. Он возит Ремизова и Блока обедать на Острова. А по вечерам единомышленники встречаются вновь, весело болтают, спорят, и у них рождаются бесконечные замыслы. Эта дружба приносит Блоку успокоение, и он её ценит. Влияет новая дружба и на его работу – заканчивает «Розу и Крест», которую писал фрагментами, нередко отвлекаясь.

Эта средневековая рыцарская драма очень волнует Терещенко, и он бредит замыслом её поставить.

Они подолгу обсуждают возможность постановки. Блоку всё больше нравятся эти встречи. Может, ещё и потому, что он слегка увлечён одной из сестёр нового друга. А это в свою очередь приводит к смене прежних увлечений: любование цирковыми борцами уступает место восторгу от русских горок, которые влекут всё больше. Ему хочется приобщить Терещенко к своему новому увлечению, и он *«чуть не силой»* приводит того в Луна-парк.

В том шумном и весёлом месте они ещё и беседуют о самых серьёзных вещах: *«Терещенко говорит, что никогда не был религиозным, и всё, что может, думает он, давать религия, даёт ему искусство... Я стал в ответ развивать своё всегдашнее: ЧТО в искусстве – бесконечность, неведомо «о чём», по ту сторону всего, но пустое, гибельное, может быть, ТО в религии – конец, ведомо «о чём», полнота, спасение...*

И об искусстве: хочу ли я повторить или вернуть те минуты, когда искусство открывало передо мною бесконечность? Нет, не могу хотеть, если бы даже сумел вернуть. Того, что за этим, нельзя любить... я спорил, потому что знал когда-то нечто большее, чем искусство, т.е. не бесконечность, а конец, не миры, а Мир; не спорил, потому что утратил То, вероятно, навсегда, пал, изменил, и теперь, действительно, «художник», живу не тем, что наполняет жизнь, а тем, что её делает чёрной, страшной, что её отталкивает...».

Вот эти глубины, в какие он проник, и стали *«личным результатом души»*. Его души...

А ещё обсуждают, где ставить «Розу и Крест». Вспоминают о Дягилеве, но Блок решает прочесть драму Станиславскому.

Однако Станиславский, предпочитавший реалистический, психологический театр, остался равнодушен к драме, которую посчитал *«скорее романтической поэмой, нежели театральной пьесой»*.

И всё же он не отказывает Блоку. Тот надеется на постановку целый год, но время летит, и ничего не происходит...

Лишь в 1916 году его вызовут в Москву, где актёры будут разучивать роли, станут утрясаться последние мелочи, а Блок – находиться в радостном ожидании. Но... революция 1917 года всем этим надеждам положит конец.

Позже он скажет, что встреча с самим Станиславским его *«скорее огорчила»*.

Вероятно потому, что отношение к театру менялось у Блока не в лучшую сторону. В период «Балаганчика» новый театр Мейерхольда казался ему непревзойдённым. Позже – в 1912 году, узнав, благодаря Любе, его *«скрытые пружины»,* разочаровался в нём и, следовательно, в самом Мейерхольде. А потом его озадачил и привёл в недоумение Художественный театр: *«что-то в нём кажется безнадёжно устаревшим, безжизненным...»*.

К театру он ещё вернётся. Это будет в 1919 году, *«но на сей раз ради заработка»*...

А тем временем в издательстве Михаила Терещенко выходят сочинения Ремизова, Сологуба. Лихорадочно и в очень *«стеснённых обстоятельствах»* работает над своим «Петербургом» Белый. Зная об этих *«обстоятельствах»*, Блок посылает ему пятьсот рублей и убеждает Терещенко издать «Петербург», который станет *«одним из самых необыкновенных прозаических произведений, вышедших накануне Первой мировой войны»*...

Приближается лето. Терещенко уезжает из Петербурга, а Блок и Люба собираются провести месяц на побережье Средиземного моря, в стране басков.

Там – в курортной деревеньке Гетари, дни их текут незаметно и беспечно. Они плавают, ездят верхом и наслаждаются особым незнакомым привкусом воздуха Средиземного моря. *«...Природа здесь пышная, люди беззаботные, солнце щедрое, палящее. Как тяжело расставаться с этим чудесным пленительным краем!..»*.

Но Люба должна вернуться в театр, а он – к неотложным делам. Приходится возвращаться. И для него, и для неё – именно *«приходится»*...

В Петербурге ходит в оперу. В Большом Мариинском и Театре музыкальной драмы репертуар почти одинаковый. Но в Театре музыкальной драмы «*декорации современнее, актёры моложе и иная манера игры»*. В ту пору этот театр был очень популярен, *«зрители в нём – проще и серьёзнее, чем в императорских театрах»*.

Здесь поёт арию Кармен высокая, худощавая, с рыжими волосами, зелёными глазами, необыкновенной осанкой солистка Любовь Дельмас. Стоило Блоку увидеть и одновременно услышать её в этой роли, где судьба героини из новеллы Мериме сливается с музыкой Бизе в один пламенный, страстный образ, он сразу забывает о любимой цыганщине...

Эта любовь – такая непохожая на его прежние увлечения, откроет Блоку грустную истину: молодость кончилась. Если время с Волоховой наполняли цыгане, безумства, музыка, белые ночи, любовные бури... то теперь *«утихшая страсть превратилась в преданную дружбу»*. И его восторженные чувства и стихи непонятным образом уживаются с мирными прогулками, тихими вечерами, проведёнными с Дельмас.

Эта тонкая и умная женщина, которую он ассоциирует и с Кармен, и с неожиданно прекрасным сном, понимает и угадывает «*всю мучительную сложность Блока»*. И ему с ней «*одновременно светло, пленительно и уютно, как в детстве»:*

Ты – как отзвук забытого гимна
В моей чёрной и дикой судьбе,
О, Кармен, мне печально и дивно,
Что приснился мне сон о тебе.

Вешний трепет, и лепет, и шелест,
Непробудные, дикие сны,
И твоя одичалая прелесть –
Как гитара, как бубен весны!

И проходишь ты в думах и грёзах,
Как царица блаженных времён,
С головой, утопающей в розах,
Погружённая в сказочный сон.

Спишь, змеёю склубясь прихотливой,
Спишь в дурмане и видишь во сне
Даль морскую и берег счастливый,
И мечту, недоступную мне.

Видишь день беззакатный и жгучий
И любимый, родимый свой край,
Синий, синий, певучий, певучий,
Неподвижно-блаженный, как рай.

В том раю тишина бездыханна,
Только в куще сплетённых ветвей
Дивный голос твой, низкий и странный,
Славит бурю цыганских страстей.

Этой *«царице блаженных времён»* посвятит он цикл «Кармен», который составит небольшую, но значимую часть его третьей книги.

А она не оставит Блока до его смерти; будет ему нежным и преданным другом. Во время их встреч красота, выдержка, простота, уравновешенность и почти материнская забота этой одарённой женщины вносят мир в его мятущуюся душу. *«Пылкая испанка станет его ангелом-хранителем...»*.

Но, когда её рядом нет, *«трудно представить себе более полное одиночество»*. Без друзей – у него нет ничего общего с *«писательской братией»*, соседями по литературному словарю 20-го века, – без жены, поскольку «*его настоящая жена*, *связанная с ним роковыми узами*, *упорно прячет от него своё лицо»*. Он пытается разглядеть эти *«таинственные черты Прекрасной Девы»*. Не получается...

И здоровье пошатнулось. Всё это нередко приводит к тому, что сникает душой и сам себя не узнаёт:

...Я и сам ведь не такой – не прежний,
Недоступный, чистый, гордый, злой.
Я смотрю верней и безнадежней
На простой и скучный путь земной...
.....
Что же делать, если обманула
Та мечта, как всякая мечта,

И что жизнь безжалостно стегнула
Грубою верёвкою кнута?..

Такие *«качели настроения»* продолжаются и продолжаются в борьбе с самим собой...

***

Война застаёт его в Шахматове. Блок встретил её *«как новую нелепость и без того нелепой жизни»*. Германию он любил – немецкие университеты, поэтов, музыкантов, философов... И потому трудно ему понять, *«почему народы должны сражаться в угоду своим властителям»*.

Люба сразу выучилась на сестру милосердия и едет на фронт. Михаил Терещенко отказался от всякой литературной деятельности. Петербург – «*зловещий и мрачный*». Многие друзья в отъезде, а *«квартира на Пряжке без Любы опустела»*.

Но когда его приходит проведать Дельмас, то «*Петербург становится попрежнему прекрасен*»...

Однако мысли о войне постоянны. *«Одинокую фигуру»* Блока, знакомую всему Петербургу, а теперь – с начала войны – Петрограду, часто можно было видеть на вокзале, где он вглядывался, слушал и... предчувствовал:

Петроградское небо мутилось дождём,

На войну уходил эшелон.
Без конца – взвод за взводом и штык за штыком
Наполнял за вагоном вагон.

В этом поезде тысячью жизней цвели
Боль разлуки, тревоги любви,
Сила, юность, надежда... В закатной дали
Были дымные тучи в крови.

И садясь, запевали Варяга одни,
А другие – не в лад – Ермака,
И кричали ура, и шутили они,
И тихонько крестилась рука.

Вдруг под ветром взлетел опадающий лист,
Раскачнувшись, фонарь замигал,
И под чёрною тучей весёлый горнист
Заиграл к отправленью сигнал.

И военною славой заплакал рожок,
Наполняя тревогой сердца,
Громыханье колёс и охрипший свисток
Заглушило ура без конца...
.....
Нет, нам не было грустно, нам не было жаль,
Несмотря на дождливую даль,
Это – ясная, твёрдая, верная сталь,
И нужна ли ей наша печаль?

Эта жалость – её заглушает пожар,
Гром орудий и топот коней.

Грусть – её застилает отравленный пар
С галицийских кровавых полей...

Он всегда жил одним дыханием с Россией, и в эти дни душой был там – в этих эшелонах.

А ещё – мучит его постоянный вопрос: «Доколе?»:
Чертя за кругом плавный круг,
Над сонным лугом коршун кружит
И смотрит на пустынный луг, –
В избушке мать над сыном тужит:
«На хлеба, на, на грудь соси,
Расти, покорствуй, крест неси».

Идут века, шумит война,
Встаёт мятеж, горят деревни,
А ты всё та ж, моя страна,
В красе заплаканной и древней. –
Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить?

В июле 1916 его призывают в армию. Ему ничего не стоило при не самом лучшем здоровье получить заключение домашнего врача, как это делали тогда большинство *«диванных патриотов»*. Однако в далеко не самом призывном возрасте, когда к лету 16-го года армия понесла серьёзные потери солдат, кадровых офицеров и гвардии, Блок, не раздумывая, в свои 36 лет вошёл в число ополченцев старших возрастов.

«Я не боюсь шрапнелей. Но запах войны и сопряжённое с ней – есть хамство», – запишет он в те дни.

Призвали его в инженерную часть Всероссийского Земского Союза, и на фронт он попал табельщиком одной из инженерно-строительных дружин. Эта дружина занимается сооружением в прифронтовой полосе резервных оборонительных позиций. До передовой километров десять, и потому *«слышны разрывы снарядов, в небе видны немецкие аэропланы, бомбят железнодорожную станцию неподалёку...»*.

На службе он – образцовый чиновник: предельно аккуратен, со всеми корректен и вежлив, что отмечает каждый сослуживец. Когда его удивлённо спросят, чем вызвано такое усердие, скажет: *«Поэт не должен терять носовых платков»*.

Блок исполняет обязанности заведующего партией. Под его началом две тысячи человек. Приходится полдня сидеть в седле, объезжая все точки. Вторую половину сидит за табелями и отчётами. Вечером единственный отдых – шахматы.

Такую жизнь переносит *«легко и не без удовольствия»*. В какой-то момент запишет: *«Во всём этом много хорошего, но когда это прекратится, всё покажется сном...»*.

***

В начале марта его отзывают в Петроград. Там – февральская революция, царь отрёкся от престола, создано Временное правительство, в котором Михаил Терещенко назначен министром финансов.

Блока, как человека безукоризненной репутации, приглашают принять

участие в качестве редактора в работе «Чрезвычайной следственной комиссии», созданной для расследования противозаконных действий бывших министров и прочих должностных лиц гражданского, военного и морского ведомств.

В городе царит праздник, мгновенно разносятся живительные, пьянящие вести. Война далеко. И впервые в жизни вечно страдающий от невыносимого одиночества Блок чувствует полное единение с народом.

Он, конечно, не знал этого народа, считал его бесконечно далёким, а, порой, и боялся его. Но сейчас делит его радости и надежды и чувствует себя готовым *«разделить его борьбу и страдания»*...

Однако очень скоро надежды рассеются, радость и пыл угаснут. Русские социалисты, как и их французские и английские собратья, прежде всего хотят разбить Германию.

И Блок *«вновь один – со своей жаждой мира, внезапной тревогой и новым предчувствием катастрофы...»*.

С пугающей быстротой распространяется разруха. Битком набитые поезда плохо обеспечивают перевозки. Почта работает всё хуже. Снабжение – со всё большими перебоями.

Но – весна, и город прекрасен: весь в красных знамёнах, звенящий революционными песнями, хмельной от упований. По нему идут украшенные цветами грузовики с портретами Керенского – первого избранника русской революции.

Блок тоже на какое-то время в этом единении и ожидании перемен к лучшему: *«Мне уютно в этой мрачной и одинокой бездне, которой имя – Петербург 17 года, Россия 17 года»,* – пишет он в мае.

А через несколько дней: *«Трагедия ещё не началась»*.

Обратим внимание, что так он и не привык к новому названию города, и время от времени старое, привычное – Петербург продолжает появляться в его записях...

Начинается работа в «Чрезвычайной следственной комиссии», состоящая, как он позже скажет, из *«заседаний планетарных масштабов»*. Комиссия заседает ежедневно, и Блок ведёт протоколы бывших – министров и других чиновников высокого ранга, заключённых в Петропавловской крепости.

Эти узники – одни отталкивающие трусостью, другие смелые и решительные, есть среди них и *«постаревшие светские львы»,* которые не в силах понять, что же произошло, – рождают в нём рой мучительных и запутанных чувств. В какие-то дни он готов потребовать смертной казни для всей этой *«преступной старой гвардии»*. А в какие-то пишет: *«Сердце, обливайся слезами жалости ко всему, ко всему, и помни, что никого нельзя судить...; Завтра я опять буду рассматривать этих людей. Я вижу их горе и унижение, я не видел их – в «недосягаемости», в «блеске власти». К ним надо относиться с величайшей пристальностью, в сознании страшной ответственности...»*.

Эта работа – лишь первая в череде обязанностей, которые Блок на себя взваливает *«ради благого будущего»*. Конечно, теперь и речи быть не может о том, чтобы, как прежде, располагать своим временем по собственному усмотрению, когда бессонные ночи и привольные дни давали возможность писать.

Но он не жалуется, поскольку убеждён, что сейчас должен служить этой революции, перед которой преклоняется. Ему нравится, что *«явился революционный народ, сильный и решительный, готовый к действию»*. Нравится,

что народ больше не хочет сражаться и хочет поделить помещичьи земли, взять в руки заводы, дворцы, банки... И второе, что важно, – это мир. Теперь он возможен и даже близок: «*Эта чудовищная страшная, безобразная и тупая война может скоро кончиться...*».

А времена тяжёлые. Свирепствует засуха. В окрестностях Петербурга горят леса и поля. Грязно-жёлтый туман доходит до предместий. Над страной нависает печаль и тревога. И в его душе тоже: *«Страшная усталость... В России всё опять черно... Для России, как и для меня, нет будущего...»*.

Выплывают фигуры Ленина и Троцкого в противовес нерешительному Керенскому. В июле они пытаются захватить власть, но терпят неудачу, хотя побеждёнными себя не признают.

В обществе раскол. Блок, как и многие, не понимает сути того, что происходит, и потому ему трудно прийти к определённому решению: *«Я попрежнему «не могу выбрать». Для выбора нужно действие воли. Опоры для неё я могу искать только в небе, но небо – сейчас пустое для меня, я ничего не понимаю!..»*.

Да и как ему – *«человеку культуры духа и невольнику совести»* – это понять.

Многие вокруг уже сделали выбор. Интеллигенция поддерживает Керенского, желая продолжения войны до поражения Германии и немедленного ареста Ленина и Троцкого.

Блок же согласен с народом, но его раздирают сомнения, противоречия и преследуют тревожные мысли: *«Сейчас самые большие врали (англичане, а также, французы и японцы) угрожают нам, пожалуй, больше, чем немцы; это признак, что мы устали от вранья. Нам надоело; этого Европа не осмыслит, ибо это просто, а в её запутанных мозгах – темно. Но, презирая нас более чем когда-либо, они смертельно нас боятся, я думаю; потому что мы, если уж на то пошло, с лёгкостью пропустим сквозь себя жёлтых и затопим ими не один Реймский собор, но и все остальные их святые магазины. Мы ведь плотина, в плотине – шлюз, и никому отныне не заказано приоткрывать этот шлюз «в сознании своей революционной силы»*.

Не от этого ли ощущения зарождаются и зреют в нём его гениальные «Скифы», которые всего за два дня «вырвутся» из его души в конце января будущего года ....

В эти дни Мережковский стремится объединить вокруг себя всех, у кого *«ещё есть силы и воля обороняться против грядущей тьмы»*.

Блок держится в стороне, и уже начинают поговаривать о его большевизме. Но он остаётся безучастным.

Скучает по Любе, которая играет в Пскове. А в его дневнике тех дней запись: *«Люба, Люба! Что же будет?.. А я уже, молясь Богу, молясь Любе, думал, что мне грозит беда, и опять шевельнулось: пора кончать»*.

Она приезжает и видит его «*растерянным, усталым, стареющим*». Даже солнечный луч вызывает у него грустную улыбку: *«Вот немного тепла и света для меня»*. Жалуется на боли в спине и говорит о приближающейся *«тихой старости»*.

С любопытством наблюдает за своей болезнью – непонятной для докторов болью в спине и ногах: *«Вдруг – несколько секунд – почти сумасшествие... почти невыносимо... Иногда мне кажется, что я всё-таки могу сойти с ума»*.

Любе с ним – *«с таким»* нелегко, и она этого не скрывает. Да и он, с его врождённой чуткостью, понимает, каково ей сейчас рядом: *«Я не умею тешить малютку..., она хочет быть со мной, но ей со мной трудно: трудно слушать мои разговоры»*.

Любе передаётся его отчаяние, и она говорит о *«коллективном самоубийстве»* в обществе и о том, что: *«Слишком трудно, всё равно – не распутаемся»*...

Но женщины к нему по-прежнему льнут. Навещает Дельмас, а приятельницы и незнакомки присылают письма и любовные признания. И не только: *«Каждую ночь всё та же женская тень маячит под окнами»*. Однако они его больше не интересуют. Если и подходит к окну, то лишь затем, чтобы *«послушать приближающийся грохот канонады: вспыхнул корниловский мятеж...»*.

О том, чтобы жить *«свободно, спокойно и мирно»*, приходится забыть. Кроме работы в Чрезвычайной комиссии, просят войти в состав Литературно-репертуарной комиссии бывших Императорских театров. Он не чувствует себя вправе отказать, и вот уже прикован двойными узами к этой «*машине*» – скорее бюрократической, чем революционной...

События стремительны и непонятны: *«Всё разлагается. В людях какая-то хилость, а большею частью недобросовестность. Я скриплю под заботой и работой. Просветов нет. Наступает голод и холод. Война не кончается, но ходят многие слухи»*...

***

Октябрь!.. По приказу Троцкого вооружённые рабочие выходят на улицы Петрограда; Ленин произносит пламенную речь, определившую ход событий. Крейсер «Аврора» подходит к Зимнему дворцу и направляет на него пушки. Власть переходит в руки большевиков....

Ледяная, тёмная, тяжкая зима. Неосвещённые улицы по вечерам пустеют. Тюрьмы переполнены новыми пленниками, которым вчера ещё рукоплескали. Связи нет. Город отрезан не только от мира, но и остальной России. На фронте – полный хаос, о бывших союзниках уже никто не вспоминает. Немцы продвигаются, и, кажется, ничто не может их остановить...

Мать получает печальное известие из Шахматова от бывшего управляющего: *«Ваше Превосходительство Милостивая Государыня Александра Андреевна.*

Именье описали, ключи у меня отобрали, хлеб увезли, оставили мне муки немного... В доме произвели разруху. Письменный стол Александра Александровича открывали топором, всё перерыли.

Безобразие, хулиганства не описать. У библиотеки дверь выломана. Это не свободные граждане, а дикари, человеки-звери... На рояли играли, курили, плевали, надевали бариновы кэпки, взяли бинокли, ножи, деньги, медали, а ещё не знаю, что было, мне стало дурно, я ушёл... Отныне я моим чувством перехожу в непартийные ряды... Есть люди, которые Вас жалеют, и есть ненавидящие...».

Ни мать, ни Блок на письмо не ответят. Никто из них больше в Шахматово не приедет. В 18-м году случится пожар, который уничтожит дом вместе с книгами и архивами...

Двоюродный брат Блока, который будет здесь проездом в 20-м году, не узнает эти места: всё порастёт колючим кустарником...

Однако нужно жить. Но как? Он хотел бы заткнуть уши, чтобы до него не доносились бесчинства пьяной толпы, которая *«крушит и грабит магазины, винные подвалы и напивается до бесчувствия»*. Он хотел бы больше не слышать обо всех этих *«бессмысленных и глупых декретах, не способных поддержать хоть какой-то «революционный порядок...»*. И угораздило же наступить таким временам, когда не знаешь, что делать: *«О, сволочь, родимая сволочь!.. К чорту бы всё, к чорту! Забыть и вспомнить другое...»*. И опять этот «прокля-

тый», назойливый вопрос: *«Но как!?»* – остаётся без ответа, потому что эта *«сволочь – родимая»*.

Оттого и смятение души. В статье «Интеллигенция и революция» напишет: *«...диктатура пролетариата вот-вот приоткроет истинное лицо народа. ...Те из нас, кто уцелеет, кого не «изомнёт с налёту вихорь шумный», окажутся властителями неисчислимых духовных сокровищ... Мы – звенья одной цепи. Или на нас не лежат грехи отцов? – Если этого не чувствуют все, то это должны чувствовать «лучшие»»...*

И он призывает *«слушать ту великую музыку будущего, звуками которой наполнен воздух, и не выискивать отдельных визгливых и фальшивых нот в величавом рёве и звоне мирового оркестра... Всем телом, всем сердцем, всем сознанием – слушайте музыку Революции... Дело художника, ОБЯЗАННОСТЬ художника – видеть то, что задумано, слушать ту музыку, которой гремит «разорванный ветром воздух»*.

Что же задумано?

ПЕРЕДЕЛАТЬ всё. Устроить так, чтобы всё стало новым; чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, весёлой и прекрасной жизнью...».

Видимо, это его пока и поддерживает. Каким-то образом слышит он эту *«музыку»*, которая чуть позже зазвучит в его поэме «Двенадцать», вызвавшей много шума в *«его среде»*.

А в этой среде – полный разнобой. *«Белый – то в Петербурге, то неизвестно где... Есенин здесь, чувствительный, как гимназистка... В голове у него сумбур, но его поэтический дар неоспорим... Сологуб и другие призывают саботировать правительство... Некоторые остаются в тени...»*.

В Москве, как это и раньше нередко бывало, – иначе: Брюсов и футуристы поддерживают новую власть. Эта поддержка и вступление в коммунистическую партию приносят Брюсову ответственные посты – в литературном отделе Наркомпроса, Госиздате, Коммунистической академии Института слова...

Тем временем Блок продолжает *«вслушиваться в «музыку революции»*, что приводит к неожиданному: *«Если вглядеться в столбы метели на этом пути, то увидишь образ Христа... Что Христос перед ними – это несомненно. Дело не в том, «достойны ли они его», а страшно то, что опять Он с ними, и другого пока нет; а надо Другого – ?»*.

И в знаменитом финале ставшей сразу знаменитой поэмы «Двенадцать» это имя прозвучит вновь:

...Так идут держаным шагом –
Позади – голодный пёс,
Впереди – с кровавым флагом,
И за вьюгой невидим,
И от пули невредим,
Нежной поступью надвьюжной,
Снежной россыпью жемчужной,
В белом венчике из роз –
Впереди – Исус Христос.

И такой финал вызовет много споров, недоумений, осуждений... Всё это будет длиться годами, десятилетиями, потому что есть вещи, которые нужно читать внимательно. Да и всегда нужно обращать внимание на знаки препинания, что ставит автор.

Моя тётушка-петербурженка, о которой упоминал, рассказала, что как-то, встретив Блока на улице, спросила о непонятном ей финале поэмы. А он посоветовал обратить внимание на два финальных тире.

И приведённые уже слова его дневника: *«Что Христос перед ними – это несомненно»,* сразу становятся ясными: каждого, что бы он ни делал, как бы ни жил, всегда в той или иной мере ждут испытания...

«Правые» называют это богохульством; «левые» – Луначарский, Каменев... – не одобряют «*устаревший символ*». Троцкий советует и вовсе Христа заменить Лениным...

Неожиданно, «Двенадцать» становится заработком их семьи. Каждый вечер Люба читает поэму в артистическом кафе, где собираются модные поэты и буржуазная богема: *«ничтожные личности, сильно накрашенные женщины приходят, чтобы послушать «жену знаменитого поэта Блока, продавшегося большевикам»*. И этим Люба зарабатывает деньги, поскольку о работе в театре теперь *«нечего и мечтать»*...

***

События на фронте развиваются стремительно и так же бурно обсуждаются в тылу. И вот уже – подписание Брест-Литовского мира, которое вызовет ощутимый раскол общества. Для России война закончена, и Блок, исполненный надежд, зовёт Европу сделать выбор. Зовёт в своих гениальных «Скифах», которые вырвались из-под его пера в последние дни января 18-го года.

Эпиграфом берёт строчку Владимира Соловьёва, где авторское «слово» заменяет на «имя». Случайно ли, нет, никто не знает:

Панмонголизм! Хоть имя дико,
Но мне ласкает слух оно.

Эпиграф сразу даёт понять:
...Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы, –
С раскосыми и жадными очами!

Для вас – века, для нас – единый час.
Мы как послушные холопы,
Держали щит меж двух враждебных рас –
Монголов и Европы!..
.....
Но сами мы – отныне – вам не щит,
Отныне в бой не вступим сами!
Мы поглядим, как смертный бой кипит,
Своими узкими глазами!..
.....
В последний раз – опомнись, старый мир!
На братский пир труда и мира,
В последний раз – на светлый братский пир
Сзывает варварская лира!

Уже почти век с момента, когда эти слова сказаны, но звучат они так, будто сказаны сегодня. Потому что не *«опомнился старый мир»*...

Тогда же никто не обратит внимания, что ещё за десять лет до появления

«Скифов» в изумительном по динамике полёта мысли, красоте лирического звучания и степени предчувствия цикле «На поле Куликовом» поэт писал:

...О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь – стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.
.....
...И вечный бой! Покой нам только снится
Сквозь кровь и пыль...
Летит, летит степная кобылица
И мнёт ковыль...

И нет конца! Мелькают вёрсты, кручи...
Останови!
Идут, идут испуганные тучи,
Закат в крови!

Закат в крови! Из сердца кровь струится!
Плачь, сердце, плачь...
Покоя нет! Степная кобылица
Несётся вскачь!

И чуть позже в этом же цикле:
...Не может сердце жить покоем,
Недаром тучи собрались.
Доспех тяжёл, как перед боем.
Теперь твой час настал. – Молись!

Писал, также: «*Куликовская битва принадлежит... к символическим событиям русской истории. Таким событиям суждено возвращение. Разгадка их ещё впереди... Прошлое страстно глядит в будущее...*».

Лишь много позже в статье уже наших дней «Послание Блока, или Россия между Западом и Востоком» Сэда Вермишева, чей дальний родственник – известный писатель, литературный критик, драматург, переводчик и издатель Иероним Ясинский был в дружеских отношениях с Блоком, объединит стихотворение «Скифы» и мотивы цикла «На поле Куликовом» в единое целое, сделав вывод, что: *«стихотворение «Скифы»... можно рассматривать как логическое продолжение темы, обозначенной в цикле «На поле Куликовом»*.

***

Тем временем никто толком не знает, что творится за пределами города. И это плодит слухи. Говорят, что Сибирь и юг России заняты *«врагами нового режима, а в театральной и литературной жизни Москвы творится что-то неслыханное...»*. Но точно ничего неизвестно. Теперь всё это так далеко...

В Петрограде Горький увеличивает число учреждений, чтобы *«поднять культурный уровень масс»*. Благодаря ему, мгновенно рождается крупное издательство «Всемирная литература», которое станет издавать шедевры мировой классики, и «Пролеткульт» – школа пролетарской культуры, куда «*молодые поэты из рабочих приходят поучиться у старорежимных поэтов*». В театрах *«комиссары от культуры толкуют Маркса директору, трагической ак-*

трисе, суфлёру, дворнику...». Улицы заросли травой, дворцовый мрамор потускнел, нет ни экипажей, ни трамваев...

«Чрезвычайная следственная комиссия» закрылась. Теперь она не актуальна – никого не интересует то, что было важно Временному правительству. Теперь рождаются новые органы, которые тоже требуют присутствия Блока. И он считает своим долгом служить. Служит не только в Комиссии правительственных театров, но и в Издательской комиссии при Наркомате просвещения. Иногда за один день участвует в пяти заседаниях.

На публичный вопрос Сологуба: *«Что сейчас делать?»,* отвечает как художник: *«Художнику надлежит знать, что той России, которая была, – нет и никогда не будет. Европы, которая была, нет и не будет. То и другое явится, может быть, в удесятерённом ужасе, так что жить станет нестерпимо. Но того рода ужаса, который был, уже не будет. Мир вступил в новую эру. Та цивилизация, та государственность, та религия – умерли. Они могут ещё вернуться и существовать, но они утратили бытие, и мы, присутствовавшие при их смертных и уродливых корчах, может быть, осуждены теперь присутствовать при их гниении и тлении; присутствовать, доколе хватит сил у каждого из нас. Не забудьте, что Римская империя существовала ещё около пятисот лет после рождения Христа. Но она только существовала, она раздувалась, гнила, тлела – уже мёртвая... Художнику надлежит... хранить огонь знания о величии эпохи, которой низкая злоба недостойна... Художнику надлежит готовиться встретить ещё более великие события, имеющие наступить, и встретив, суметь склониться перед ними...»*.

Зинаида Гиппиус посвящает ему стихотворение, предваряя его словами: *«Дитя, потерянное всеми...»,* и заканчивает:

...Прямая улица была пустынна,
И ты ушёл – в неё, туда...
Я не прощу. Душа твоя невинна.
Я не прощу ей – никогда.

Ей он пишет в ответ: *«Я отвечаю Вам в прозе, потому что хочу сказать Вам больше, чем Вы – мне; больше, чем лирическое... «Роковая пустота» есть и во мне, и в Вас. Это – или нечто очень большое, и – тогда нельзя этим корить друг друга; рассудим не мы; или очень малое, наше частное, «декадентское», – тогда не стоит говорить об этом перед лицом тех событий, которые наступают... Не знаю (или – знаю), почему Вы не увидели величия за октябрьскими гримасами, которых было очень мало – могло быть во много раз больше... Неужели Вы не знаете, что «России не будет» так же, как не стало Рима – не в 5-м веке после Рождества Христова, а в 1-й год 1-го века? Также не будет Англии, Германии, Франции. Что мир уже перестроился? Что «старый мир» уже расплавился?»*.

В конце 1919 года Зинаида Гиппиус вместе с Мережковским, не желая *«жить в этом безобразии»,* навсегда уедут из России – сначала в Польшу, а из неё в Париж...

Здесь же – в Петрограде, несмотря на голод и холод, жизнь кое-как устраивается. Но все должны где-то служить – работать в учреждении, состоять на государственной службе... Сидеть дома означает лишиться пайка.

Поэтому Блок не отказывается ни от какой *«мобилизации»*. Каждый вечер у него неизбежные собрания, лекции, деловые встречи... И отношения с людьми ограничены сейчас лишь работой. Нужно выбирать классические пьесы, читать и готовить отзывы о пьесах современных, объяснять режиссёрам и актёрам, почему отобрана та или иная вещь, обсуждать с руковод-

ством «Народных театров» произведения пропагандистского толка, присутствовать на репетициях и представлениях...

Планов много, но мало что удаётся осуществить. Жена Каменева, руководящая Комиссией правительственных театров, не ладит с женой Горького – Андреевой, которая работает в Репертуарной комиссии. Андреева хочет *«отнять»* Блока у своей соперницы по службе и добивается его назначения директором Петербургского Большого Драматического театра.

И здесь работы у него много. Но... никакой реальной власти: политкомиссар по театрам и сама Андреева имеют право вето.

Тем не менее он добросовестно выполняет положенное, а поначалу – даже с воодушевлением. Репертуар этого театра в основном классический: Шекспир, Шиллер, Мольер, комедии Гольдони, исторические пьесы Мережковского... Блок должен *«произносить речи, составлять репертуар на год вместе с комитетом* (куда он входит), *править новые переводы...*

В театре поставлены «Отелло», «Разбойники», «Синяя птица» и, как тогда шутили, *«бывший»* «Король лир». Образованные, уже не очень молодые актёры горды и счастливы, что работают *«с самим Блоком»*.

Но он не может посвятить всё своё время театру: его ждёт другая работа, и прежде всего – «Всемирная литература». Горький, горевший желанием перевести на русский язык шедевры мировой литературы, *«собрал для этого колоссального предприятия все «культурные силы»»*.

И работа закипела. Откопали и старые переводы, их подновили, переиздали. В том числе переводы его бабушки Елизаветы Григорьевны Бекетовой и матери Александры Андреевны – под редакцией Блока.

Это дало ему возможность купить немного табака на чёрном рынке. Хотя и поговаривали об отмене денег, государство всё ещё оплачивало работу *«сотнями тысяч и даже миллионами рублей»*.

«Вина больше не купишь – только самогон; его гонят тайно. В помещении «Всемирной литературы» несколько раз в неделю собираются вокруг Горького академики, профессора, поэты, писатели, люди без профессии, ищущие работу... Здесь в перерывах можно пить чай – безвкусный настой из сушёной моркови без сахара: зачастую это единственное горячее питьё за весь день».

У многих уже истёртая поношенная одежда, которая становится всё причудливее и *«постепенно сводится до минимума: часто под шубой нет ни рубашки, ни пиджака – ничего, кроме гимнастёрки, перешитой из старого одеяла. Но Блок продолжает ходить свежевыбритым, всегда в белом свитере с высоким воротником, упорно не желает говорить о бытовых тяготах»*. Таким, по словам Ахматовой, запомнили Блока все, кто в ту пору был рядом.

Пайки скудные, и они с каждым разом уменьшаются. Блок продаёт мебель, дорогие вещи, которые у него остались, книги... *«Худой, печальный и молчаливый»*, измученный такой жизнью, он изо всех сил борется, чтобы не сдаться, не опуститься, не заболеть...

Читает лекции о Гейне, которого переводит для «Всемирной литературы», и принимает предложение сотрудничать в «Исторических картинах» – ещё одном начинании Горького, призванном *«поднять культурный уровень масс»*. Нужно было написать исторические сцены на заданные темы для того, чтобы их ставили в народных театрах. Он пишет историческую картину «Рамзес» из жизни Древнего Египта.

Выходит дополнение к третьей книге его стихов, потом сборник ранних стихов. И так как это приносит хоть какие-то деньги, Блок издаёт всё, что ему удаётся отыскать: статьи, пьесы...

В Петрограде открываются два клуба: Дом искусств и Дом литераторов. И таким образом, все учреждения, которые имеют отношение к литературе и искусству, централизованы. В этих домах создаются «коммуны», где живут художники и писатели, открываются школы поэзии, перевода, кружки по истории литературы... Работают библиотеки, рабочие комнаты, залы для собраний и даже столовые, где подавали кашу.

И Блок – член совета этих Домов – вынужден тратить на них уйму времени...

После смерти отчима – генерала Кублицкого, в январе 1920 года он забирает жить к себе мать – в том же доме, но двумя этажами ниже. Сюда легче таскать дрова. И теперь отношения матери с Любой – и до этого не гладкие – ещё ухудшаются: часто вспыхивают неприятные сцены, от которых он очень страдает.

В это же время публике из артистического кафе наскучило слушать каждый вечер «Двенадцать», поэтому Любе пришлось принять приглашение в Народный театр. И она, «*привыкшая к вольной жизни, избалованная поклонением, без всяких жалоб приспосабливается к трудному и утомительному быту: уборка, стирка, поиски еды, ежедневные представления на другом конце города, откуда приходится возвращаться пешком, голод, холод...*», принимает это как необходимость. Всё, что может отыскать, продаёт на рынке или меняет на мёрзлую картошку. В положенные дни с мешком за плечами возвращается из театрального кооператива, принося с собой муку, соль, керосин...

Нет электричества, не работает телефон, и потому средств связи больше не существует...

Он помогает Любе, чем может. В непроглядной, холодной мгле, под порывами колючего ветра тащится в свободные вечера к её кооперативу, впрягшись в санки. Тащится вдоль длинного, замёрзшего, пустынного канала по тёмному городу, под снегопадом, едва передвигая ноги. «...*Пустынные лавки, разбитые оконные стёкла, дома, открытые всем ветрам, где давно сорваны и сожжены двери, дворы, полные испражнений из прорвавшей канализации*», – вот его путь через *«мёртвый город»*...

Продолжает распродавать книги. Большая часть уже продана или обменена на скудную мебель...

А ещё его одолевают то налоговая инспекция, то домком, который ни с того, ни с сего вздумал поэта выселить. Потом оставили, но обязали вместе с другими жильцами охранять улицу и двор...

В свободные вечера Люба чинит старую одежду, а он читает и правит театральные пьесы для красноармейцев, которые поступают в репертуарную комиссию.

И часто очень рано по утрам отправляется в театр – не на заседание какой-нибудь комиссии, а чтобы разбирать вместе с артистами и рабочими дрова, которые Андреевой время от времени удаётся выхлопотать для отопления театра.

Не знаю, вспоминал ли он тогда слова своего «Возмездия», которое уже никогда не будет возможности продолжить и окончить:

...Сотри случайные черты –
И ты увидишь: мир прекрасен...

***

Пришла весна, и люди чаще стали выходить на улицы. Те люди, которые, как ни силились, не могли понять, что же всё-таки происходит и что их ждёт. Но они умели держаться с достоинством. Несмотря на оборванную

одежду, порой напоминающую карнавальные костюмы, и обувь без подмёток, они не были смешны. Их было жалко, но потешаться никому не пришло бы в голову. Обросшие, в сюртуках, болтающихся на исхудавшем теле, голодные, но с непонятным образом горящими глазами, влачились они как тени, с книгами под мышкой, из Эрмитажа – в Академию, из Дома Искусств – в Вольно-Философскую ассоциацию.

Дворцы опустели, бронзовые решётки сорваны, посольства обезлюдели, министерства эвакуированы в Москву. *«Всё окутано смертью, величественной и прекрасной...»*.

Приходит и прозрение, которое усиливается и всё больше мучит поэта. А признаний в дневнике меньше и меньше; и они становятся сдержаннее: *«из-за частых обысков вести дневники опасно»*.

И всё же некоторые записи для того времени очень смелы: *«Искусство несовместимо с властью... Следующий сборник стихов, если будет: «Чёрный день»... Как безысходно всё. Бросить бы всё, продать, уехать далеко – на солнце и жить совершенно иначе... Тоска. Когда это кончится? Проснуться пора...»*.

Его признанный биограф – тётушка Мария Андреевна Бекетова – лишь вскользь говорит о последних годах жизни знаменитого племянника. И в основном о том, что, несмотря ни на какие трудности, он продолжал работать: *«Он работал из чувства долга, ему казалось, что революционные огни погасли, что кругом было серо и уныло. Александр Александрович был глубоко разочарован и замкнулся в своей печали»*.

Сам же он в один из июньских дней этого – 1920 года на лоскутке бумаги запишет:

Хотел я, воротясь домой,
Писать в альбом в стихах,
Но – ах!
Альбом замкнулся сам собой,
А ключ у Вас в руках,
И не согласен сам замок,
Чтобы вписал хоть восемь строк
Писать стихи забывший
Блок.

***

Блок всё чаще пребывает в унынии: всё более утомительными и тщетными кажутся ему его обязанности – присутствие на собраниях бесчисленных комитетов, где *«часами происходят бесконечные словопрения»*. Блоку тоже приходится говорить, *«хотя всё это совершенно бесплодно»*...

Устраивает два литературных вечера. На первом произносит речь в память о Владимире Соловьёве – по случаю двадцатилетия его кончины. На втором – читает вторую и третью главы поэмы «Возмездия». Но *«это не приносит радости»*...

Изредка начинают ходить поезда. Ему предлагают провести литературные вечера и прочитать несколько лекций в Москве. В начале мая 1920 года он едет в Москву вместе с другом семьи издателем Алянским. Едет ещё и *«с тайной надеждой повидаться со Станиславским и снова поговорить о «Розе и Кресте»*.

Москва, как и в предыдущий приезд шестнадцать лет назад, встречает его рукоплесканиями. На этот раз приходится выступать уже в не узком и

замкнутом кругу интеллигенции. На его выступление в Политехнический приходят до двух тысяч человек. Другие залы будут меньше, но тоже переполнены.

Алянский вспоминал, что перед первым выступлением 9 мая *«задолго до объявленного часа начала вечера толпа молодёжи заполнила площадь перед музеем, вход в помещение был забит, и люди, пришедшие с билетами, не могли попасть внутрь. Пока мы обсуждали, как нам быть, нас затянуло в толпу... Он будто помолодел в этой толпе. Хорошо, что никто здесь не знал его в лицо... В дверях какой-то человек схватил Блока под руку и втащил его внутрь, в подъезд... Человек этот оказался представителем администрации... В комнате, куда провёл нас администратор, Александра Александровича окружили московские друзья, пришедшие пожать ему руку. И неизвестно, чем Блок был больше взволнован – предстоящим выступлением или встречей с друзьями в артистической»*.

Моя ленинградская тётушка, которая была на том вечере в Большом зале Политехнического музея, рассказывала, что даже проходы, где в основном стояла молодёжь, были заняты. У многих в зале и проходах – цветы.

Когда он вышел на сцену, ей показалось, что зал *«дрогнул»*. Потом раздались аплодисменты, которым, казалось, не будет конца: он давно уже стал первым русским поэтом, и теперь здесь – в Политехническом – особенно отчётливо почувствовал, как его любят.

Блок стоял, немного наклонив голову, и ждал, не выражая никаких чувств. Потом стал читать. И тут мгновенно на его внешне бесстрастном лице что-то неуловимо и в то же время отчётливо преобразилось. Это «что-то» менялось в зависимости от того, что он читал, хотя казалось, читал лишь для себя – «*внутрь себя*». Очень ритмично, сливая ритм с мелодией стихотворения. И всё это в каком-то «*молитвенном слиянии»,* что завораживало.

Читал стоя, опираясь на спинку стула кончиками пальцев.

Когда закончил, сначала – тишина, а через мгновение – невообразимое, по словам москвичей, ещё невиданное после выступлений кого-либо *«приветствие ладонями, голосами, цветами...»*.

После перерыва Блок вышел, встреченный новой бурей аплодисментов. За ним на эстраду устремились все те, кто был в артистической. Их было так много, что вся эстрада оказалась заполненной, а Блок, окружённым со всех сторон.

Потом его пропустили вперёд и он стал читать. Чтение перемежалось взрывами аплодисментов. Последним на этом вечере прочитал «*Девушка пела в церковном хоре*». Это стихотворение вызвало особый триумф.

Его долго не отпускают с эстрады, а брошенные записки так и остаются без ответа, всеми забытые.

У выхода его ждёт толпа. Тоже приветствуют, благодарят, провожают, просят бесчисленное количество автографов. Никому не отказывает...

Примерно то же происходит и потом – во время и после его вечеров во Дворце искусств (Поварская ул., 52), в Доме печати (Никитский б-р, 8-а) и Доме итальянского Общества Данте Алигьери (Поварская ул., 8)...

Мне доводилось читать много воспоминаний о приезде поэта в Москву 1920 года, но рассказ тётушки стал для меня – ещё студента – первым, и потому так отчётливо сохранился в памяти. Хотя впечатления и других его современников об атмосфере тех дней вокруг Блока, ставшие мне известными позже, были примерно такими же. Различия состояли лишь в некоторых деталях...

Каменев с женой принимают Блока в Кремле. Но здесь, в отличие от остальных встреч, приём не слишком радушный. И это потому, что хоть его и ценят как великого поэта, понимают: для нынешней власти ждать от него нечего. Для Кремля он уже *«выжат»*...

Того же мнения и футуристы, которые отдают свою поэзию и энергию на службу пропаганды. Для них: «*Блок мертвец, его больше нет!*».

Эту реплику, звучавшую тогда в разных вариациях, естественно, поддерживает и Брюсов.

Но восторженная толпа считает иначе: его провожают до вокзала, обступают, забрасывают цветами. Кричат: *«Возвращайтесь! Мы вас любим! Вы наш!»*...

«Какие прекрасные люди в Москве» – запишет он по приезде.

Даже нерешимость Станиславского поставить «Розу и Крест», которой уже заинтересовались и другие театры, но везде: *«надо подождать, что будет дальше»,* не испортило его впечатлений о поездке...

***

После бурлящей и шумной московской жизни *«томительное, молчаливое затишье Петрограда, его израненная красота»* производят на Блока впечатление тягостное.

Да и здоровье оставляет желать лучшего. Боли в спине усиливаются, а когда таскает дрова, начинает болеть и сердце.

А ещё – в письмах близким и разговорах с ними всё чаще жалуется на *«глухоту»*, хотя прекрасно слышит. Он говорит о другой *«глухоте»,* которая *«мешает слушать прежде никогда не стихавшую музыку»*. «Музыку», что ещё в 1918 году звучала в его стихах.

И кроме того: *«Мне нечем дышать, я задыхаюсь. Неужели я болен?»* – это он не о физическом недуге, который тоже был серьёзен. Это он – о другом.

Его тяготят отношения с людьми, и поэтому *«дом стал печален»*. Ночью не ложится спать, а сидит в кресле, забросив все дела. Днём бродит по квартире, по улицам.

Из письма Корнею Чуковскому: *«...Но сейчас у меня ни души, ни тела нет, я болен, как не был никогда ещё...: слопала-таки поганая, гугнивая родимая матушка Россия, как чушка своего поросёнка...»*.

А Владимир Княжнин, вспоминая один из своих разговоров тех дней с Блоком, рассказывает:

«– *Завидная тогда* (в 1918 г.) *у Вас была вера, завидная нетерпимость: «Всё старое к чёрту». Россия?*

– *России не будет.*

– *Зачем же Вы писали стихи о России?*

– *Я прощался с Россией»*...

***

Зима 1920-1921 года. Продолжает таскать дрова из подвала и ежедневно участвует в многословных и совершенно бесцельных прениях по службе, которую исправно несёт ...

А тем временем нет бумаги, чтобы издавать книги, нет декораций и костюмов, чтобы ставить спектакли. «*Культурная жизнь всё больше зависит от людей ограниченных, посредственных, открыто ведущих кампанию, уже получившую название: «борьба за снижение культуры»*»...

Его состояние ухудшается. Врачи говорят об эндокардите, настаивают на том, что *«надо вести спокойный, размеренный образ жизни, не нервничать и*

срочно уезжать на курорт... больному необходимы санаторные условия, особое питание». Советуют курортное лечение в Финляндии и настаивают на том, что *«нужно непременно уговорить Александра Александровича согласиться на хлопоты о заграничном санатории»*.

Люба обивает пороги соответствующих учреждений, чтобы получить разрешение на выезд. Однако всё движется слишком медленно, даже несмотря на участие Горького.

Сам же Блок всё время решительно отказывается, поскольку «*не видит большой разницы между эмигрантством, которое ненавидит, и поездкой для лечения за границу...»*.

В феврале 1921 года он участвует в вечере, посвящённом годовщине смерти Пушкина. Желающих попасть в Дом писателей так много, что пришлось проводить три вечера. А на первом, *«услышав своё имя, Блок поднимается, худой, с красноватым лицом, седеющими волосами, тяжёлым и погасшим взглядом, всё в том же белом свитере, в чёрном пиджаке и валенках; он говорит, не вынимая рук из карманов»*.

В публике – его единомышленники и те, кто пришёл специально *«уличить его в крамоле»*. Есть представители власти, чекисты и молодёжь – будущие строители новой эпохи.

Блок говорит:

«Наша память хранит с малолетства весёлое имя: Пушкин. Это имя, этот звук наполняет собою многие дни нашей жизни. Сумрачные имена императоров, полководцев, изобретателей орудий убийства, мучителей и мучеников жизни. И рядом с ними – это лёгкое имя: Пушкин. Пушкин легко и весело умел нести своё творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта – не лёгкая и не весёлая; она трагическая; ... и у нас часто сжимается сердце при мысли о Пушкине: праздничное и триумфальное шествие поэта, который не мог мешать внешнему, ибо дело его – внутреннее – культура, – это шествие слишком часто нарушалось мрачным вмешательством людей, для которых печной горшок дороже бога...

Поэт – величина неизменная. Могут устареть его язык, его приёмы; но сущность его дела не устареет... он пишет стихами, то есть приводит в гармонию слова и звуки, потому что он – сын гармонии, поэт...

...Любезные чиновники, которые мешали поэту испытывать гармонией сердца, навсегда сохранили за собой кличку черни... Пускай же остерегутся от худшей клички те чиновники, которые собираются направлять поэзию по каким-то собственным руслам, посягая на её тайную свободу и препятствуя ей выполнять её таинственное назначение...

Пушкина... убила вовсе не пуля Дантеса. Его убило отсутствие воздуха. С ним умерла его культура.

«Пора, мой друг, пора! покоя сердце просит...»

Это – предсмертные вздохи Пушкина и также – вздохи культуры пушкинской поры.

...На свете счастья нет, но есть покой и воля...

Покой и воля. Они необходимы поэту для освобождения гармонии. Но покой и волю тоже отнимают. Не внешний покой, а творческий. Не ребяческую волю, не свободу либеральничать, а творческую волю – тайную свободу. И поэт умирает, потому что дышать ему уже нечем; жизнь потеряла смысл...

Мы умираем, а искусство остаётся...».

Многие в зале уже знают или догадываются, что он говорит и о себе. Чувствуют, что он тоже умирает. И от болезни, и от тоски, которая стала причиной *«его главной болезни»*...

Через месяц в Большом Драматическом театре объявлен вечер его поэзии. Как и в Москве, здесь то же *«бесстрастное лицо, глаза устремлены выше последних лож, приглушённый голос»*. Его *«слушают не дыша: магия его стихов покоряет публику»*. Просят прочесть о России. «*Здесь всё – о России»,* – отвечает он.

Читает «Музу», «На поле Куликовом», «Стихи о Прекрасной Даме»... Кто-то просит «Двенадцать», и тут *«его лицо искажает мучительная судорога»*. А вообще, *«лицо его хранит отпечаток суровой красоты»,* но:

...Я и сам ведь не такой – не прежний,
Недоступный, гордый, чистый, злой...

Слова, сказанные о себе несколько лет назад в стихотворении «Перед судом», тоже точны.

«*...Публике хотелось, чтобы он явился перед ней прежним Блоком, каким она его знала и воображала, – и он, как актёр, с мучением играл перед нею того Блока, которого уже не было...»* – напишет позже Ходасевич.

По окончании вечера ему очень долго рукоплещут. Многочисленная толпа поджидает у выхода, просят автографы. И хотя чувствует себя неважно, никому, как и раньше в Москве, не отказывает.

Мало кто из поэтов когда-либо знал такой успех...

Его болезнь усиливается. Он продолжает с ней бороться, но... никакая сила уже помочь не может. Да и как тут поможешь, если: «*Я оглох и... не слышу музыки революции»*. А та *«музыка»*, что *«слышит»,* как раз и становится причиной неизлечимой болезни...

***

В мае 1921 года Блок в последний раз едет в Москву. Поездка была отчасти вынужденной – не только *«как-то встряхнуться»*, но и хоть немного поправить материальные дела. Выступал шесть раз. Дважды в Политехническом, в Союзе писателей, Доме печати, Доме итальянского Общества... Матери написал: *«успех был всё больше (цветы, письма и овации)...»*.

Но всё это давалось с огромным трудом: трудно ходить, дышать, болит нога – вынужден ходить с палочкой. За кулисами в Доме печати, разговаривая с Корнеем Чуковским, который вместе с Алянским и привезли его в Москву, вспомнит слова своих «Плясок смерти», написанных почти десять лет назад:

Как тяжко мертвецу среди людей
Живым и страстным притворяться!..

И скажет: *«Это обо мне. А я и не знал!»*...

А Борис Пастернак вспоминает: *«На вечере в Политехническом был Маяковский. В середине вечера он сказал мне, что в Доме печати Блоку под видом критической неподкупности готовят «бенефис», разнос и кошачий концерт. Он предложил вдвоём отправиться туда, чтобы предотвратить задуманную низость.*

Мы ушли с блоковского чтения, но пошли пешком, а Блока повезли на второе выступление на машине, и пока мы добирались до Никитского бульвара, где помещался Дом печати, вечер кончился, и Блок уехал в Общество любителей итальянской словесности.

Скандал, которого опасались, успел тем временем произойти. Блоку пос-

ле чтения в Доме печати наговорили кучу чудовищностей, не постеснявшись в лицо упрекнуть его в том, что он отжил и внутренне мёртв, с чем он спокойно согласился...».

Позже станет известно, человек, который это сказал, был неудачником в литературе.

А материальные дела поправить ему почти не удалось: если бы не друзья, которые добились в театре аванса за «Розу и Крест», и вовсе ничего бы не получилось...

***

Вернувшись из Москвы, он уже не выходит из комнаты. Алянский, почти ежедневно бывавший в эти дни у Блока, вспоминает: «*Александр Александрович страдал от недостатка хлеба, жиров и мяса. Чтобы приобрести эти продукты на рынке у спекулянтов, Любови Дмитриевне пришлось продать почти весь свой театральный гардероб... Вещи раз от разу обесценивались, а продукты, наоборот, с такой же стремительностью дорожали. А когда вещей не стало, очередь дошла до книг, до библиотеки Александра Александровича... Он изменился: похудел и был очень бледен».*

В какой-то момент уже почти не вставал с постели и работал с перерывами при приступах боли. Работал полусидя, обложенный подушками. Во время разговора с Алянским о том, в каком положении находится набор его книги «Последние дни императорской власти», вдруг спросил: *«Как вы думаете, может, мне стоит поехать в какой-нибудь финский санаторий?»*. И добавил: «*Говорят там нет эмигрантов»...*

Порой наступали и относительно спокойные дни, когда он мог работать подолгу. Об одном из таких дней Алянский вспоминает: «*Наконец я принёс Блоку долгожданные гранки его книги «Последние дни императорской власти». Он обрадовался, просил оставить их, обещая прочитать в два-три дня. Блок точно выполнил обещание: через два дня он вернул мне, как всегда, тщательно исправленную корректуру... Блока я застал свободно сидящим в постели, он даже не прислонялся к подушкам, как прежде... казался бодрым, весело улыбнулся и, передавая корректуру, сделал какое-то указание. Я обратил внимание, что вокруг, на одеяле, были аккуратно разложены записные книжечки. Их было много. Я спросил Александра Александровича, чем он занимается. Блок ответил, что рассматривает свои записные книжки и дневники, а когда я заметил несколько книжек, разорванных надвое, а в другой стопке – отдельно выдранные странички, я спросил о них. Блок совершенно спокойно объяснил, что некоторые книжки он уничтожает, чтобы облегчить труд будущих литературоведов, и, улыбнувшись, добавил, что незачем им здесь копаться... В тот момент, несмотря на спокойное улыбающееся лицо, Блок показался мне безумцем...».*

Встревоженный всем этим, Алянский вышел из комнаты и рассказал всё, что увидел, Любе, попросив её немедленно отнять эти книжки и спасти их. Она испуганно ответила: *«Что вы, разве это возможно? Второй день он занимается дневниками и записными книжками, всё просматривает, – какие-то рвёт на мелкие части целиком, а из некоторых вырывает отдельные листки и требует, чтобы тут же, при нём, я сжигала всё, что он приготовил к уничтожению, в печке, возле которой стояла кровать».*

Люба тоже была потрясена. Но такова была его воля, и никто не в силах был её нарушить.

«Если бы я мог предположить, что Блок уничтожает дневники и записные книжки в припадке раздражения, то факт уничтожения меня не удивил бы. Но

это происходило на моих глазах, внешне Блок оставался совершенно спокоен и даже весел. И этот «безумный» акт в спокойном состоянии особенно потряс меня» – продолжает Алянский...

***

Однако страдания становятся невыносимыми: не может лечь, так как лёжа задыхается. Боли не утихают ни днём, ни ночью.

Вечером 3 августа доктор Пекелис вышел из комнаты больного с рецептом в руках. Люба осталась с мужем. На вопрос находившегося в доме Алянского о состоянии доктор только развёл руками и передал рецепт: *«Постарайтесь раздобыть продукты по этому рецепту. Вот что хорошо бы получить.* – И продиктовал: *«Сахар, белая мука, рис, лимоны... 4 и 5 августа я бегал в Губздравотдел. На рецепте получил резолюцию зам. зав. Губздравотделом, адресованную в Петрогубкоммуну. В субботу 6 августа заведующего не застал. Пошёл на рынок и купил часть из того, что записал. Рецепт остался у меня»...*

Ранним утром в воскресенье 7 августа Блок, не приходя в сознание, уйдёт из жизни.

В день смерти в шесть вечера отслужат заупокойную службу по православному обряду. Вокруг его смертного ложа соберутся человек десять. В комнате, где почти не осталось мебели, теперь уже рядышком будут плакать так не ладившие при его жизни Люба и Александра Андреевна...

И только во вторник 9 августа станет известно, что похороны могут состояться 10 августа.

По иронии судьбы накануне придёт разрешение на выезд и заграничный паспорт.

Организации, взявшие на себя похороны поэта – Дом искусств, Дом учёных, «Всемирная литература», – срочно отпечатали и вечером 9 августа на главных улицах Петербурга расклеили афиши.

И почти тотчас у его дома на Офицерской стал собираться народ. Очередь растянулась по всей улице. Со двора поднимались по узкой лестнице, проходили мимо гроба. Многие плакали...

Похороны состоятся 10-го августа в чудесный солнечный день. И вновь тысячи благодарных горожан придут проститься с Поэтом.

Такое число людей будет поразительным для голодающего и больного Петрограда.

Гроб понесут на руках шесть километров до Смоленского кладбища.

Надгробных речей не последует. Но скорбь и благодарность будет читаться на лицах, пришедших к Поэту в тот день...

Кто-то из них потом уедет, кого-то вышлют, кого-то уничтожат, но все они знали и разделяли однажды сказанное им:

...Мы – дети страшных лет России –
Забыть не в силах ничего...

Именно он сумел так просто сказать то, что чувствовали его соотечественники на переломе эпох:

...В сердцах, восторженных когда-то,
Есть роковая пустота...

***

О причине его физической смерти написано и продолжают писать мно-

го. Больше всего запомнились мне слова Ходасевича: *«...никто не называл и не умел назвать его болезнь ...от боли ЧЕГО же он всё-таки умер? Неизвестно. Он умер как-то «вообще», оттого, что был болен весь, оттого, что не мог больше жить. Он умер от смерти»*.

Сам же всегда вспоминаю: *«Я бы хотел жить, если бы знал как»* и конечно, знаменитое:

О, я хочу безумно жить:
Всё сущее – увековечить,
Безличное – вочеловечить,
Несбывшееся – воплотить!..

Вспоминаю потому, что этот одинокий, силою собственной фантазии сломавший свою личную жизнь, мятущийся, сомневающийся, но, когда надо, твёрдый и решительный *«невольник предчувствий и обострённой совести»,* подарил мне в детстве свою таинственную *«снежную улыбку»*.

И всегда помню, что Поэт, признанный при жизни великим, не мыслил себя *вне* России. Поэтому в самые тяжёлые для неё годы, в отличие от многих его собратьев по перу, остался здесь и даже серьёзно больным служил ей.

Он любил и чувствовал *свою* Россию – её полную драмы многовековую, многострадальную историю, её культуру...

Поэт – мыслитель и умирает лишь со своими строчками.

Его же строка, как показывает время, не имеет срока давности.

Многое из того, что он сказал век назад, будто сказал сегодня, в чём убеждаешься ежедневно.

Дмитрий ЕРМАКОВ

НОРИНСКАЯ ССЫЛКА – В ГОСТИ К БРОДСКОМУ

... В пятом часу хмурого утра я вышел на перрон Вологодского вокзала к поезду «Москва – Архангельск». И первый вагон его был с зарешёченными окнами, на подножке стоял офицер или прапорщик, в сумерках не разглядишь... Видел же и раньше я это не раз, но почему-то именно сейчас задело. Годы, десятилетия везут и везут зарешёченные вагоны людей в северном направлении... Сотни, тысячи, сотни тысяч людей... «Кому озеро Лача, а мне море плача!» – вспомнился аж Даниил Заточник. Да ведь и человека, «в гости» к которому еду, тоже везли из Вологодской пересылки в Архангельскую скорее всего этим же поездом в подобном же вагоне, не просто же это слова: «Я входил вместо дикого зверя в клетку...».

И все три часа до Коноши я дремал и думал сквозь дрёму, и о людях в первом вагоне (да, они преступники, но они – люди), и о поэте...

На вокзале Коноши меня встречает Надежда Ильинична Гневашева, сотрудница Коношской районной библиотеки. И пока мы идём над путями и составами по мосту-путепроводу, самое время объяснить читателю, что я делал в Коноше...

Общественная организация «Открытая библиотека» пригласила меня пожить в «арт-резиденции» «Норинская: добровольная ссылка». («Арт-резиденцию» я бы назвал «творческой дачей».) Честно сказать – не много я знал до этой поездки и о Коноше, и о Норинской... Коноша – станционный посёлок, довольно крупный, «столица» района Архангельской области. Норинская – деревня в 23 километрах от Коноши, в которой с апреля 1964 года по октябрь 1965 года отбывал ссылку поэт-«тунеядец», будущий Нобелевский лауреат Иосиф Бродский...

Мы уже идём по улице посёлка, по сторонам обычные двухэтажные ба-

рачного типа дома и новые кирпичные. Обычный железнодорожный посёлок, возникший при строительстве Северной железной дороги в самом конце 19 века. И как у всякого обычного посёлка или человека, у Коноши своя судьба и своя история, делающие его интересным и ни на кого не похожим.

То и дело попадаются дома, так или иначе связанные с Бродским: здание суда, в котором его судили и дали 15 суток то ли за отказ от работы, то ли за опоздание из отпуска; милиция, в которой отмечался периодически, как положено ссыльному; здание библиотеки, в которую был записан; редакция газеты, в которой публиковались его стихи... Деревянный дом (напоминающий мне дом, в котором я жил в Вологде в детстве) – бывший комбинат бытового обслуживания, в котором Бродский уже в конце своей ссылки работал фотографом, а сейчас в этом бывшем комбинате из всех услуг предлагают лишь могильные памятники (уж простите за невольный мрачный юмор). Невольно напрашивается символизм – производства когда-то бывшие и процветавшие в Коноше – умерли или умирают, осталась лишь железная дорога-кормилица, да может, ещё что-то. Молодёжь, конечно же, уезжает по окончании школы в Питер, Москву, Архангельск, Вологду... Пусть бы она уезжала – было бы к чему вернуться...

Впрочем, сейчас я пытаюсь коротко рассказать о том, что узнал из семи (!) экскурсий, именно столько их по условиям договора провели для меня... Поэтому я остановлюсь здесь и лишь скажу спасибо сотрудницам районного музея, районной библиотеки, дома-музея Бродского, всем, кто так тепло принимали меня...

О Коноше, можно написать не очерк, а целую книгу, что и делают местные писатели-краеведы; о деревне Норинской (она же Норенская) – тоже, пребывание в ней Бродского лишь эпизод (но яркий) в её многовековой истории. Ну а уж о Бродском в Норинской, о Бродском в Коноше и вообще о Бродском написаны уже десятки книг... За подробностями к книгам и отсылаю, а сам продолжаю рассказ о том, что я успел увидеть, узнать, понять...

Барачного типа двухэтажный дом, у крыльца – Бродский во весь рост и скамейка с надписью: «Северный край, укрой...».

Библиотека имени Иосифа Бродского. Снаружи она неказиста, а внутри, особенно в том «пространстве», что касается Бродского, – всё современное, стильное... Тут увидел я впервые книжку Владимира Бондаренко из серии ЖЗЛ «Иосиф Бродский – русский поэт» (позже в Норинской я успел прочитать и эту книгу, и ещё несколько)... Книги, портреты, электронные страницы – вся жизнь поэта, и особенно полтора года его жизни в Коноше и Норинской сконцентрированы здесь на 20 квадратных метрах... Здесь побывали все ныне живые друзья Бродского, все исследователи его творчества...

А я не друг, и не исследователь... И зная, что кто-нибудь да скажет: «От Рубцова-то да к Бродскому» (и сказали!), я не раздумывая долго, собрался и поехал... Даже зная, что и многие друзья – не скажут, но подумают... Поехал. Потому что помню, как в армии, в 1987 году, впервые увидел статью с названием «Я всегда ощущал себя свободным...» и имя Бродского (в том году ему Нобелевку дали). Не помню, что там было в статье, но те слова про свободу (услышанные в армейской несвободе), они с тех пор всегда со мной, и я могу повторить: «Я всегда ощущаю себя свободным...». Потом уже, позже, попала в руки книга «Бог сохраняет всё...», и я понял, что в целом – нет, не близок. Но... И сейчас, когда читаю строчки: «...бросил страну, что меня вскормила, из забывших меня можно составить город...» – мурашки бегут по спи-

не. Не дай Бог никому такого одиночества! А ему Бог дал... И дальше шепчу же: «...что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной. Только с горем я чувствую солидарность. Но пока мне рот не забили глиной, из него раздаваться будет лишь благодарность». Воистину: «Бог сохраняет всё, особенно слова прощенья и любви...».

Но мы с Надеждой Ильиничной снова идём по улицам мимо тех же домов... Вот сюда, редактору районной газеты «Призыв» он принёс стихотворение «Тракторы на рассвете», и оно было напечатано, а затем и ещё одно – «Осеннее». Взяла на себя такую смелость редактор газеты С.И. Ерёмина – дать слово административно высланному, стихи которого то и дело звучат в передачах западных радиостанций. И это были первые «взрослые» публикации Бродского в СССР, до того были лишь детские стихи в журнале «Костёр».

Ну, пусть здесь и будет это стихотворение Бродского. Вот что писал он, прожив уже год с лишним в деревне...

Тракторы просыпаются с петухами,
Петухи просыпаются с тракторами,
Вместе с двигателями и лемехами,
Тишину раскалывая топорами,
И в тумане утреннем по колено,
Рокоча, выстраиваются вдоль фронта.
Тишина разваливается, как полено,
По обе стороны горизонта.
Затопляются печи. Дым вьется прямо.
Птицы склоняются над птенцами.
Лес, как гигантская пилорама,
Облака раскраивает зубцами.
И всходит солнце, и смотрит слепо,
И лучами сонные избы косит.
И тракторы возносятся, как птицы, в небо
И плугами к солнцу поля возносят.
Это рабочее утро, утро Народа!
Трудовое утро с улыбкой древней.
Как в великую реку, глядит на людей Природа
И встает, отражаясь, от сна с деревней.
(«Тракторы на рассвете», август 1965)

Это лишь одно из сотни с лишним написанных за полтора года ссылки стихотворений. Может я не прав, но, по-моему, именно ссылка сделала его истинным поэтом. Причём, соглашусь с Владимиром Бондаренко – русским поэтом.

Мы пришли в Коношскую среднюю школу, где я встречался сразу с двумя одиннадцатыми классами... Прекрасные молодые лица... Я не помню, что я говорил (каждый раз на таких встречах я говорю о том, что беспокоит меня именно в этот момент), но внимательные глаза я видел. Что бы мы ни говорили о молодёжи – за ней всегда будущее. И я верю, что, да-да, именно светлое будущее. Светлое, как души и лица этих юношей и девушек... Говорил, конечно, и о Бродском...

...Мы уже в Коношском краеведческом музее. Надо сказать, что Коноша, как и Вельск – были землями Вологодской губернии, они и сегодня тяготе-

ют к Вологде... В романе В.И. Белова приводятся документы крестьян Кадниковского уезда, из нынешнего Коношского района (велик был Кадниковский уезд Вологодской губернии!). И где-то ведь здесь близь Коноши погиб на строительстве Северной железной дороги дед Василия Ивановича Белова... Мир тесен, мы, люди, гораздо ближе друг к другу, чем нам иногда кажется, то и дело, как крючочки, цепляют душу знакомые имена, фамилия, названия... Первый зал музея – железная дорога. Второй зал – Великая Отечественная... Сотни солдатских писем-треугольников, оцифрованных сотрудницами музея – их подвиг... И ещё зал, посвящённый лётчикам, погибшим неподалёку от Коноши – во время войны перегоняли самолет «Ил», потерпели крушение... Вспомнил, что и мой земляк, легендарный ас Александр Клубов погиб не в бою, а при аварии. А на экране «самолет Победы» – и его конструктор С.В. Ильюшин. Тоже наш. Ещё – зацепка...

И вот мы едем в Норинскую... Машина бодро бежит по асфальтовой дороге, по краям которой, как и у нас под Вологдой, – болота да лес... Правда, под Вологдой поля в основном обрабатываются (если не заглядывать чуть дальше от большой дороги), под Коношей – зарастают дурнолесьем и борщевиком. Проскакиваем пустынные «дачные» деревеньки...

И всё же «Норинская» или «Норенская»? Повсеместно – на стендах, в буклетах и книжках я вижу то одно, то другое написание. Вот переезжаем речку Норешку (значит – Норенская). Но на щите-указателе чётко написано – Норинская. Надежда Ильинична поясняет, что совсем недавно официально деревня называлась Норенская, но теперь ей вернули первоначальное (первоначальное ли? – уже сомневаюсь я) название. Для себя я развеял сомнения, увидев фотографию в доме-музее: Бродский с одним из своих многочисленных ленинградских гостей у указателя, на котором название деревни написано через «И». Он жил в Норинской, и я буду жить в Норинской. А вот Владимир Бондаренко в своей книге остановился на Норенской...

В деревне, в которой сейчас не более десятка домов, пустующих большую часть года, – два дома, в которых жил Бродский. Один из них ныне дом-музей. Его директор Ольга Александровна Терёхина – дочь того смелого редактора районной газеты С.И. Ерёминой. Она и Бродского в детстве видывала.

Сначала экскурсоводы из районного музея показывают мне музей деревни Норинской... А ведь это очень здорово – «музей деревни», не лубочный, а показывающий истинную жизнь настоящей деревни... И опять лишь скажу, что о Норинской и всей Кремлевской волости, к которой она принадлежала, можно написать отдельную книгу... И вот идём к дому-музею Бродского. Дорога Коноша – Вельск проходит прямо через деревню, и надо быть осторожными, водители не слишком-то скидывают скорость в обычно пустой деревне. Идём мимо первого дома, в котором жил Иосиф, – это столетний огромный крестьянский домина, сейчас один из гостевых домов (я жил в другом, меньшим по размеру). А вот и дом-музей. Здесь опять всё рассказывает о Бродском, воссоздана его комната: стол с письменной машинкой, стул, диван, кровать, приёмник...

Здесь остановлюсь, и не буду рассказывать (об этом можно прочитать в интернете и в книгах), а порассуждаю о его ссылке, о нём...

Он был осужден по «Указу о тунеядстве» весной 1964 года. Дело было полностью сфабриковано (главный «фабрикатор» этого дела некий Я.Лернер позже был осуждён за мошенничество). Дали максимум по тому указу – пять лет ссылки. В одиночной камере во время предварительного следствия

(«я впустил в свои сны воронёный зрачок конвоя») случился первый инфаркт (в двадцать четыре-то года). А всего за его жизнь было четыре инфаркта («дважды тонул, трижды бывал распорот...»). Почти сразу же стенограмма суда над ним оказалась на Западе. За него вступились (письмами в ЦК!): Ахматова, Твардовский, Паустовский, Чуковский и т.д. Решающими для освобождения Бродского стали, видимо, выступления в его защиту иностранных знаменитостей: Сартра, Арагона, Неруды... Но это было через полтора года. А весной 1964-го он ещё ничего не знал о досрочном освобождении и ехал на все пять лет, по этапу, через Вологодскую и Архангельскую пересылки...

В апреле он появляется в Коноше, устраивается (по совету начальника милиции: «Найдите спокойное место на это время...») рабочим в совхоз «Даниловский» и поселяется в деревне Норинской – отделении совхоза. Совхоз занимался откормом телят. На телятнике он и работал: корм задавал, выгребал навоз, пас. Поработал и на севе, на уборке с полей камней...

Ну какой из него работник: отправили заготавливать колья – в кровь стёр руки, отправили пасти телят – разбежались, вместо обеда – чёрствые пряники из сельповского магазина в карманах...

Над ним посмеивались, его поругивали, но его и жалели, и даже любили этого рыжего Оську-тунеядца (кажется, гораздо добрее к нему относились, чем к Рубцову в деревне, о которой тот сказал: «Здесь родина моей души»). Ему прощалось даже такое: бригадир отправляет его рубить колья, а он достаёт из кармана трёшник: «Найми кого-нибудь, я этого делать не умею». Рубцов за тот трёшник и пошёл бы колья рубить, наверное, хотя думается мне, что с топором не лучше Бродского умел обращаться. Кстати, летом того же 1964-го Рубцов сидел в своей Николе «без копья», но писал стихи, и страдал от того, что писание стихов там никто не считал за работу... Впрочем, о параллели: «Бродский – Рубцов», чуть позже.

После расконвоирования всё это: жизнь в деревне, работу в совхозе – можно было бы воспринимать как весёлое приключение. За полтора года он четыре раза ездил в отпуск в Ленинград. Почти постоянно у него в деревне жил кто-то из друзей, приезжал в гости отец, мать, любимая женщина. Каждую неделю он получал посылку или перевод, да ведь ещё и зарплату платили. А в свободное время, которого, как сам он признавался, было много – писал стихи, переводил... Да это же курорт! Отдых на творческой даче!

Да ведь не по своей воле на курорт-то попал...

И время на «курорте» не терял, написал более ста стихотворений и среди них такие, как «Мой народ», «В деревне Бог живёт не по углам...».

Впрочем, сам он очень не любил, когда драматизировали эти события, когда его представляли «диссидентом», страдальцем и т.д.

Вот что сам говорил и писал о том времени, о тех людях: «В целом это было очень плодотворное время, я много писал... Были строки, которые я вспоминаю, как некий поэтический прорыв». В другом интервью: «Если у меня и появилось ощущение природы, то это именно тогда». Ещё: «Деревня дала мне нечто, за что я всегда буду благодарен КГБ... Для меня это был огромный опыт, который в какой-то мере спас меня от судьбы городского парня». И ещё: «Мне гораздо легче было общаться с населением этой деревни, нежели с большинством своих друзей и знакомых в родном городе». Ещё: «Это был один из лучших периодов в моей жизни. Бывали и не хуже, но лучше – пожалуй, не было».

Это лишь некоторые его высказывания. Главное, конечно, в стихах. Тут самое время дать полностью знаменитое стихотворение...

Мой народ, не склонивший своей головы,
Мой народ, сохранивший повадку травы:
В смертный час зажимающий зёрна в горсти,
Сохранивший способность на северном камне расти.

Мой народ, терпеливый и добрый народ,
Пьющий, песни орущий, вперёд
Устремлённый, встающий — огромен и прост —
Выше звёзд: в человеческий рост!

Мой народ, возвышающий лучших сынов,
Осуждающий сам проходимцев своих и лгунов,
Хоронящий в себе свои муки — и твёрдый в бою,
Говорящий бесстрашно великую правду свою.

Мой народ, не просивший даров у небес,
Мой народ, ни минуты не мыслящий без
Созиданья, труда, говорящий со всеми, как друг,
И чего б ни достиг, без гордыни глядящий вокруг.

Мой народ! Да, я счастлив уж тем, что твой сын!
Никогда на меня не посмотришь ты взглядом косым.
Ты заглушишь меня, если песня моя не честна.
Но услышишь её, если искренней будет она.

Не обманешь народ. Доброта — не доверчивость. Рот,
Говорящий неправду, ладонью закроет народ,
И такого на свете нигде не найти языка,
Чтобы смог говорящий взглянуть на народ свысока.

Путь певца — это родиной выбранный путь,
И куда ни взгляни — можно только к народу свернуть,
Раствориться, как капля, в бессчётных людских голосах,
Затеряться листком в неумолчных шумящих лесах.

Пусть возносит народ — а других я не знаю судей,
Словно высохший куст, — самомненье отдельных людей.
Лишь народ может дать высоту, путеводную нить,
Ибо не с чем свой рост на отшибе от леса сравнить.

Припадаю к народу. Припадаю к великой реке.
Пью великую речь, растворяюсь в её языке.
Припадаю к реке, бесконечно текущей вдоль глаз
Сквозь века, прямо в нас, мимо нас, дальше нас.
(«Мой народ»)

А вот теперь я скажу о Рубцове. Николай Рубцов и был той самой «рекой», к которой «припадал» Иосиф Бродский, тем самым «народом».

В их судьбах много общего, много пересечений. По окончании седьмого класса Рубцов едет поступать в мореходку, его не принимают. Бродский после седьмого тоже пробует поступить в мореходку (на подводника), и его тоже

не принимают. Рубцов поступает в «лесной техникум», вскоре бросает его, едет в Архангельск, начинаются его скитания по северу. Бродский идёт в восьмой класс, бросает его – начинаются его скитания, смена мест работы, поездки в геологические экспедиции, в том числе и в Архангельскую область... Бродский так больше нигде и не учился официально (но преподавал потом в американском университете); Рубцов, закончив вечернюю школу уже после службы на флоте, поступил и с трудом (с постоянной угрозой отчисления, с переводом на «заочку») окончил Литературный институт.

Бродский после школы работал фрезеровщиком, кочегаром, матросом на маяке, прозектором в морге, рабочим в экспедициях. Ну и конечно, главное – он писал стихи. Думается, что в Норинской он несколько «играл роль», бравировал своим тунеядством, не верю я, что он, имея опыт работы в экспедициях, не умел пользоваться топором, например...

Рубцов был помощником кочегара на траулере, работал на заводе под Ленинградом, служил срочную на Северном флоте, затем работал на Кировском заводе в Ленинграде. В это-то время и пересекались их пути. Конечно, они были очень разные – коренной ленинградец, сын морского офицера, эстет и западник Бродский, и работяга с Кировского, детдомовец Рубцов. Но оба заметили друг друга на одном из поэтических вечеров. И хотя Рубцов несколько иронически отзывается в письме другу о выступлении Бродского, но зачем-то же записал его номер телефона в свой блокнот...

Рубцов, уже взрослым, часто бывал в Череповце, где жила его старшая сестра Галина. Бродский был в Череповце с матерью и бабушкой в эвакуации в 1942-1944 годах, т.е. в 2 – 4 года. Именно в Череповце его крестила его няня Груня. Это, между прочим, ответ тем, кто всё твердит о еврействе Бродского. Да, по крови – еврей, по вере – христианин («нет ни эллина ни иудея во Христе Иисусе»), по судьбе – русский поэт. Сам Бродский писал: «Когда я работал на заводе, даже когда сидел в тюрьме, я удивительно мало сталкивался с антисемитизмом. Сильнее всего антисемитизм проявлялся у литераторов, интеллектуалов. Вот где к национальной действительности относятся болезненно...». Это ли не ответ всем, кто говорят, что чуть ли не всякий русский мужик стихийный антисемит и «погромщик».

Много параллелей и в их поэзии (особенно если брать деревенский период Бродского). Но... Невозможно представить Рубцова эмигрантом... Это не в осуждение Бродскому: выбор у него был небольшой – «горячие дни» (это мог быть и арест и помещение в психушку, где он уже бывал), обещанные сотрудниками КГБ, или отъезд на Запад... У кого повернётся язык осудить?

«Расстаёмся на веки с тобой, дружок, нарисуй на бумаге простой кружок, это буду я – ничего внутри... Посмотри на меня и потом сотри». Чтобы написать такие строчки, что же надо пережить... В 1972 году уехать в Америку – это даже страшнее, чем умереть. Жив, а уже никогда не увидишь всё и всех, кого оставляешь. Его родителей так и не выпустили к нему ни разу...

Впрочем, Рубцов к тому времени уже умер... Слышал ли Бродский о его смерти в 1971 году. Наверное. Друзей-приятелей у Рубцова в Ленинграде оставалось много, они же были и знакомыми Бродского...

Вот ещё говорят, мол, Рубцов написал «я умру в крещенские морозы», так и вышло – значит, он истинный поэт. А вот Бродский сказал: «На Васильевский остров я приду умирать», а умер в Нью-Йорке, поэтому – какой же он поэт... А мне, кажется, что это, мягко говоря, не честно упрекать человека, что он умер там, где он умер. Откуда знать нам, куда летит душа, покидая тело?.. Николай Михайлович, между прочим, написал когда-то отчаянные

«частушечные» строчки: «Наше дело правое, наши карты козыри, наша смерть, наверное, на Телецком озере!». А погиб в вологодской квартире... Так что ж?.. Велика тайна смерти, и не надо бы лезть в эту тайну с земными нашими мерками, с желанием и тут-то задеть, принизить...

Многие вспоминают, что Рубцов иногда не стеснялся называть сам себя гением... О Бродском вспоминала почтальон в Норинской: «Пришёл на почту да вдруг и говорит: «Я вам не просто так, вы обо мне ещё услышите!» «Кто о тебе, тунеядце, услышит», – думала в ответ почтальонка. Рубцов, не поступи он в литинститут, не имей потом корочки члена Союза, тоже ведь вполне мог попасть под тот «указ о тунеядстве»...

Не разделять нам надо поэтов, а любить, кого любится – Рубцова ли, Бродского ли (да ведь есть и другие у нас поэты), да радоваться, что есть они у нас...

Но вернусь в свою Норинскую ссылку. После дома-музея я наконец-то попал в руки моих «хозяев» – Анатолия и Елены Мальцевых, которым принадлежат оба гостевых дома в Норинской. Я жил в маленьком и уютом доме (доме бабушки Анатолия), рядом с музеем. И жилось мне в нём хорошо и спокойно. Печка, кровать, стол, простая и вкусная еда – что ещё нужно-то? А для работы: книги, музей в десяти шагах, вечером – одиночество и покой... Мне хорошо работалось там – читалось и писалось. Я благодарен Анатолию и Елене за их ненавязчивую заботу и внимание.

... Вечером уехали в город музейщики, уехали, натопив печь и накормив меня, Мальцевы, и я остался один в домике на краю пустой деревни. Шелестел по крыше бесконечный дождь. С шипением, обдавая комнату мгновенным светом, изредка проносились по дороге машины. И было в этом одиночестве что-то нереальное и давно ожидаемое, и давнее, забытое. Сладкой тоской наполнилось сердце моё... Впрочем, эта тоска совсем не мешала мне читать материалы «дела Бродского» и книгу Владимира Бондаренко... Вдруг представилось ярко, будто наяву – бредёт по обочине в «контору» получать наряд на работу рыжий парень в джинсах и свитере (в 64-ом-то году!)... А это я уже спал... И то стучал колёсами и качался вагон поезда, то раздавался голос Надежды Ильиничны: «А в этом доме он тоже бывал...». То брёл я, двадцатидвухлетний, по какой-то из линий Васильевского острова...

Второй день в Норинской был насыщенный. С утра я, как положено «резиденту», работал в музее (Ольга Александровна приехала утром и открыла его). Потом нахлынули участники поэтического фестиваля «Поэтическая картошка в Норинской».

Я познакомился с учредителем некоммерческого партнёрства «Норинская» Любовью Николаевной Чеплагиной (она же и главный редактор нынешней районной газеты «Коношский курьер») и с управляющим партнёром НП «Норинская» Антоном Чеплагиным. От них и узнал, как непросто создавался музей, как появилась идея арт-резиденции «Норинская – добровольная ссылка».

Как это обычно бывает – энтузиасты своей неугомонностью пробили чиновничий панцирь, сумели заинтересовать губернатора области, и дом, находившийся уже почти в руинированном состоянии, восстановили, и появился музей, и получен грант на «арт-резиденцию». Теперь уже можно не сомневаться – дом-музей будет жить и развиваться, в Норинскую уже едут люди со всей России и из-за границы и будут ехать ещё и ещё... А ведь могло всего этого и не случиться...

Была в этот день и копка картошки (Бродский, уезжая, обещал хозяйке

вернуться и помочь выкопать картошку, но конечно не вернулся, и вот участники фестиваля выполняют его обещание). Была и печеная картошка. Были и стихи: соревнование в чтении стихов Бродского и собственных между командами из местных школ и литобъединений. Был обед от Мальцевых для всех участников фестиваля с рыжиками, груздями, картошкой и смородиновым чаем и ещё чем-то очень вкусным, деревенским...

А потом был насыщенный мероприятиями вечер в Коноше (моим «сопровождающим» вновь была Надежда Ильинична Гневашева).

В Коноше в детской библиотеке меня ждала выставка рисунков коношских ребят – участников конкурса журнала «Костёр», посвященного 80-летию журнала (напомню – в нём состоялись самые первые официальные публикации Бродского). Потом, в уже знакомой районной библиотеке, состоялось открытие выставки художника Александра Дудорова (первого «резидента» «Норинской сылки»), местного уроженца, давно живущего в Санкт-Петербурге, участника выставок аж в Нью-Йорке. Ну и уж, как говорится «на верхосытку» – спектакль Петербургского театра оперетты в доме культуры. Столь тесное культурное сотрудничество Коноши и Санкт-Петербурга стало возможным тоже благодаря имени Бродского, конечно же...

В сумерках, под непрекращающимся дождём привезли меня в Норинскую. Мигнули фары, я остался один. Печка была тёплая, ужин на столе... Тут же книги и блокнот... Быть одному в деревенском доме, слышать абсолютную древнюю тишину, видеть кромешную тьму за окошком – это, согласитесь, хорошо. По дороге пролетела, осветив окно моей избушки, машина, и я снова взялся (скажу «высоким штилем») за перо... И, честное слово, я старался, чтобы путь от сердца до кончика пера был как можно короче...

И утром я был один... Я не торопясь позавтракал, обулся в привезённые для меня заботливыми Мальцевыми резиновые сапоги, накинул фуфайку и пошёл к недалёкому роднику (дорогу мне вчера указали). С большака свернул на тропу. Тут заброшенная силосная яма – свидетельство былой совхозной жизни, тут где-то был и телятник, в котором совершал свои «трудовые подвиги» Иосиф Бродский... Под сосной переспелые маслята, кустовые заросли... Тропка скользит под ногами и выводит меня к роднику, дающему начало ручью, который, наверняка впадает в одну из речек бассейна Северной Двины (где-то неподалёку от Коноши берёт начала и Кубена), и значит я опять на родном берегу – из ручья в речку, из речки в реку я мог бы добраться и до родной Вологды, и, например, до рубцовской Николы...

Я пью чистейшую родниковую воду... Возвращаюсь в деревню и иду по дороге к кладбищу. По краям этой дороги есть старые дома, даже старинные – высокие, тёмные, с закрытыми ставнями окнами, с упавшими дворами... Останки великой Русской цивилизации, к которой успел прикоснуться Иосиф Бродский.

Кладбище на холме, между сосен – могилы, кресты и памятники. Здесь застаёт меня дождик, и я стою под сосной и читаю фамилии, в основном, уже знакомые по рассказам экскурсоводов и подписям к старым фотографиям: Ждановы, Богачёвы, Пестеревы... Хозяева обоих домов, в которых жил Бродский, были как раз Пестеревы... По каким краям разметало потомков этих людей, упокоившихся на родном холме?.. Да, Норинская, благодаря имени Бродского (как, например, Тимониха благодаря имени Белова), будет жить дачно-музейной жизнью... А десятки, сотни, тысячи других русских деревень?..

Я вернулся в дом, и здесь встретили меня Анатолий и Елена... Я вот думаю: легко сказать – «гостевой дом», а сколько труда и забот в этот дом вложить надо (так что, пожелаю-ка я вам, дорогие Мальцевы, терпения и удачи).

И совсем уже сказочное продолжение дня – Анатолий берёт свою двустволку, и мы идём к недалёкому лабазу, туда, где на окрайке леса и луга посеяна полоса овса. И следы кабаньи и медвежьи там есть... Жаль, что я не охотник (а может и хорошо это).

Вечером меня ещё ведут в гости. Оказывается, не один я ночевал в этой деревне, на другом её конце в старом и крепком доме живёт Валентина Васильевна. Одна. Дети и внуки приезжают, конечно. Блины у неё – ох вкусны! «А я днём гляжу – мужчина по деревне ходит...».

Да, было дело – ходил я по деревне Норинской...

...Последняя ночь и утро пролетели быстро. В десять под окном просигналила чёрная «Волга» (былая роскошь) районной администрации, и немногословный серьёзный водитель, между прочим когда-то работавший в том же самом совхозе, что и Бродский, отвёз меня на вокзал Коноши.

Поезд на этот раз был Мурманский, и он уже подходил к платформе, когда вдруг появились Анатолий и Елена. И подали мне пакетик, а в нём – баночка рыжиков и баночка земляничного варенья. Последний привет мне из Норинской.

Я ехал в поезде, смотрел в окно и думал о том, что «северный край укрыл» многих, не только Бродского... Здесь и сегодня живёт мой народ «в смертный час, зажимающий зёрна в горсти...».

Вологда – Коноша – Норинская – Вологда

«День литературы»

№2, 2017 г.

Журнал русских писателей

Технический редактор Е.И. Косырева

Подписано в печать 12.02.2017 г. Формат 84x108 1/16
Бумага офсет №1. Гарнитура Newton C.
Печать офсетная. Печ. л.: 22,5
Тираж 500 экз. Заказ №

АНО «Редакционно-издательский дом «Российский писатель»
119146, Москва, Комсомольский пр-т, 13
тел: 8-962-965-51-64, факс: 8(499)246-53-11.
sp@rospisatel.ru
www.rospisatel.ru

Отпечатано в типографии ООО «Паблит»
127282, Москва, ул. Полярная, д. 31В, стр. 1
Тел.: (495) 230-20-52